Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ

РУССКИЙ
РОМАН

РУССКИЙ

РОМАН

TERRA FANTASTICA
Санкт-Петербург
1993

Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ

TERRA FANTASTICA
Санкт-Петербург
1993

ББК 84
С 87

Составитель серии Андрей Столяров
Оформление и суперобложка Анатолия Нечаева
Художник Андрей Карапетян
Менеджмент
Александра Кривцова и Николая Ютанова

© А.Стругацкий, Б.Стругацкий, текст, 1993
© А.Карапетян, иллюстрации, 1993.
© А.Столяров, составление серии, 1993.
© А.Нечаев, оформление серии, суперобложка, 1993.

Книга изготовлена при участии
экспортно-импортной компании
Росско
Санкт-Петербург

ISBN 5-7921-0019-5

ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это никакой не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, это — жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала — просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве.

— Ты видишь? — сказала она высоким голосом.— Девчонка, соплячка... Дрянь! Ничего святого, что ни слово — то оскорбление, будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседями стыдно! Мерзавка, хамка...

Да, подумал Виктор, и с этой вот женщиной я жил, я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера, и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах... кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера? Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила? Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом.

— Тебе, конечно, не до того, куда там,— говорила Лола.— Столичная жизнь, всякие балерины, артистки... Я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы... Мне

это, если хочешь ты знать, безразлично, я тебе не мешала, ты жил как хотел...

Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она — знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит молча на диване с сигареткой, выставив коленки... или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно... Виктор представил себе уютный вечерок: этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка, шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду и сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой. Все как у людей, и вдруг входит Ирма... Кошмар, подумал Виктор. Да она же несчастная женщина...

— Ты сам должен понимать,— говорила Лола,— что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают.— Она уже успокоилась, красные пятна пропали.— Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь... Счастливой назвать я себя не могу, но и несчастной тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня — своя. Я, между прочим, еще не старуха, у меня еще многое впереди...

Девочку придется забрать, подумал Виктор. Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный... Хорошо, а куда я ее дену? Давай-ка честно, предложил он себе. Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки... Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. Плохо, подумал он. Можно, конечно, взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру... Да не в этом же дело: девочка должна быть со мной, а не с экономкой... Говорят, дети, которых воспитали отцы,— это самые лучшие дети. И потом, она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен. Как честный человек, как отец. И я виноват перед нею. Но это все литература. А если все-таки честно? Если честно — боюсь. Потому что она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что я ей сумею сказать? Читай,

больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего. Поэтому и боюсь... Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому... Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит, себялюбиво, гнусненько. Честно.

— Что же ты молчишь? — спросила Лола.— Ты так и собираешься молчать?

— Нет-нет, я слушаю тебя,— поспешно сказал Виктор.

— Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов...

А с нею тоже надо честно? — подумал Виктор. Вот уж с нею мне совсем не хочется честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места, между двумя сигаретами.

— Пойми,— сказала Лола,— я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь, ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства, ты все-таки довольно известный человек — помоги ее устроить! Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионы, специальные школы. Она ведь способная девочка, у нее к языкам способности, и к математике, и к музыке...

— Пансион,— сказал Виктор.— Да, конечно... Пансион. Сиротский приют... Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.

— А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора...

— Слушай, Лола,— сказал Виктор.— Это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу...

— Напишу! Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать! Ты же все равно здесь бездельничаешь! Все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери...

О, черт, подумал Виктор, так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь, крупный, тяжелый, неторопливый — дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.

— Ах, как ты мне надоел! — сказала Лола с неожиданной злостью.— Если бы ты знал, как ты мне надоел...

Пора идти, подумал Виктор. Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно ничего я сегодня ей не отвечу. И ничего не стану обещать.

— Ни в чем на тебя нельзя положиться,— продолжала она.— Негодный муж, бездарный отец... модный писатель, видите ли! Дочь родную воспитать не сумел... Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты! Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в сто раз важнее, чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься! Ты ее не учишь, так они ее научат! Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне...

— Брось, Лола,— сказал Виктор морщась.— Ты все-таки, знаешь, как-то... Я отец, это верно, но ты же мать... Все у тебя кругом виноваты...

— Убирайся! — сказала она.

— Ну, вот что,— сказал Виктор.— Ссориться с тобой я не намерен. Буду думать. А ты...

Она теперь стояла выпрямившись и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару.

— А ты,— спокойно сказал он,— постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню.

Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами: «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь.

— До свидания, Лола,— сказал он. Лола не ответила.

На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, думал он. А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь, а за пустырем — свалка, там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу... И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время двенадцатилетняя девчонка? Конопатое хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и белоснежками, всегда парочками-троечками: шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы. Чистюли, ябеды, а самые лучшие из них — точно такие же, как мы, коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам... Времена новые, наконец, наступили, что ли? Нет, подумал он. Это не времена. То есть и времена, конечно, тоже... А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я — отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно, и не столько почетно, сколько хлопотно, да, в конце концов, и не почетно вовсе... А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая. Так, а вот и драка. Правильно, у нас без этого нельзя, мы без этого никак не можем. Это у нас испокон веков. И двое на одного...

На углу стоял фонарь. У границы освещенного пространства мокнул автомобиль с брезентовым верхом, а рядом с автомобилем двое в блестящих плащах пригибали к мостовой третьего — в черном и мокром. Все трое с натугой и неуклюже топтались по булыжнику. Виктор приостановился, затем подошел поближе. Непонятно было, что тут, собственно, происходит. На драку не похоже: никто никого не бьет. На возню от избытка молодых сил не похоже тем более — не слышно азартного гиканья и жеребячьего ржания... Третий, в черном, вдруг вырвался, упал на спину, и двое в плащах сейчас же повалились на него. Тут Виктор заметил, что дверцы машины распахнуты, и подумал, что этого черного либо недавно вытащили оттуда, либо пытаются туда запихнуть. Он подошел вплотную и рявкнул:

— Отставить!

Двое в плащах разом обернулись и несколько мгновений смотрели на Виктора из-под надвинутых капюшонов. Виктор заметил только, что они молодые и что рты у них разинуты от напряжения, а затем они с невероятной быстротой нырнули в автомобиль, стукнули дверцы, машина взревела и умчалась в темноту. Человек в черном медленно поднялся, и, разглядев его, Виктор отступил на шаг. Это был больной из лепрозория — «мокрец», или «очкарик», как их звали за желтые круги вокруг глаз,— в плотной черной повязке, закрывающей нижнюю половину лица. Он мучительно тяжело дышал, страдальчески задрав остатки бровей. По лысой голове стекала вода.

— Что случилось? — спросил Виктор.

Очкарик смотрел не на него, а мимо, глаза его выкатились. Виктор хотел обернуться, но тут его с хрустом ударило в затылок, и когда он очнулся, то обнаружил, что лежит лицом вверх под водосточной трубой. Вода хлестала ему в рот, она была тепловатая и ржавая на вкус. Отплевываясь и кашляя, он отодвинулся и сел, прислонившись спиной к кирпичной стене. Вода, набравшаяся в капюшон, полилась за воротник и поползла по телу. В голове гудели и звенели колокола, трубили трубы и били барабаны. Сквозь этот шум Виктор разглядел перед собой худое темное лицо. Знакомое. Где-то я его видел. Еще до того, как у меня лязгнули челюсти... Он подвигал языком, пошевелил челюстью. Зубы были в порядке. Мальчик набрал под трубой пригоршню воды и плеснул ему в глаза.

— Милый,— сказал Виктор.— Хватит.

— Мне показалось, что вы еще не очнулись,— сказал мальчик серьезно.

Виктор осторожно засунул руку под капюшон и ощупал затылок. Там была шишка — ничего страшного, никаких раздробленных костей, даже крови не было.

— Кто же это меня? — задумчиво спросил он.— Надеюсь, не ты?

— Вы сами сможете идти, господин Банев? — сказал мальчик.— Или позвать кого-нибудь? Видите ли, для меня вы слишком тяжелый.

Виктор вспомнил, кто это.

— Я тебя знаю,— сказал он.— Ты — Бол-Кунац, приятель моей дочки.

— Да,— сказал мальчик.

— Вот и хорошо. Не надо никого звать и не надо никому говорить. А давай-ка немножко посидим и опомнимся.

Теперь он разглядел, что с Бол-Кунацем тоже не все в порядке. На щеке у него темнела свежая ссадина, а верхняя губа припухла и кровоточила.

— Я все-таки кого-нибудь позову,— сказал Бол-Кунац.

— Стоит ли?

— Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо.

— В самом деле? — Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось.— Это тебе только кажется... Так. А теперь мы встанем. Что для этого необходимо? Для этого необходимо подтянуть под себя ноги...— Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими.— Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом...— Ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. Чем же это меня? — подумал он.— Да ведь как ловко...

— Вы наступили себе на плащ,— сообщил мальчик, но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше.

— Ага,— сказал он.— Значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы. Спасибо.

Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Никого не было. Только маленький Бол-Кунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью.

— Куда же они все делись? — спросил Виктор.

Мальчик не ответил.

— Я тут один лежал? — спросил Виктор.— Вокруг никого больше не было?

— Давайте я вас провожу,— сказал Бол-Кунац.— Куда вам лучше идти? Домой?

— Погоди,— сказал Виктор.— Ты видел, как они хотели схватить очкарика?

— Я видел, как вас ударили,— сказал Бол-Кунац.

— Кто?

— Я не разглядел. Он стоял спиной.

— А ты где был?

— Видите ли, я лежал тут за углом...

— Ничего не понимаю,— сказал Виктор.— Или у меня с головой что-то... Почему ты, собственно, лежал за углом? Ты там живешь?

— Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой.

— Очкарик?

Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш.

— Н-нет,— ответил Бол-Кунац, подумав.— По-моему, они все были без очков.

— О, господи,— сказал Виктор. Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку.— Я говорю о прокаженном, их называют очкариками. Ну знаешь, из лепрозория... Мокрецы...

— Не знаю,— сдержанно произнес Бол-Кунац.— По-моему, они все были вполне здоровы.

— Ну-ну! — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился.— Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном...

— Это никакой не прокаженный! — с неожиданной запальчивостью сказал Бол-Кунац.— Он поздоровее вас...

Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло.

— Я не совсем понимаю, куда мы идем,— помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастности тоном.— Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону.

Виктор все стоял, глядя на него сверху вниз. Два сапога пара, подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. Так он мне, видимо, и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина? Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина? Новые, знаете ли, времена... Чепуха, знаю я нынешних уголовников...

— Все правильно,— сказал он и двинулся дальше.— Мы идем в гостиницу, я там живу.

Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло — мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях как подпорка для травмированного.

— Должен тебе сказать,— самым доверительным тоном сообщил ему Виктор,— что у вас с Ирмой очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так.

— Правда? — вежливо спросил Бол-Кунац.— И как же вы говорили?

— Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так: чиво?

Бол-Кунац пожал плечами.

— Вы хотите сказать, что это было бы лучше?

— Упаси бог! Я хочу только сказать, что это было бы естественнее.

— Именно то, что наиболее естественно,— заметил Бол-Кунац,— менее всего подобает человеку.

Виктор ощутил какой-то холод внутри. Какое-то беспокойство. Или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка.

— Естественное всегда примитивно,— продолжал между тем Бол-Кунац.— А человек — существо сложное, естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев?

— Да,— сказал Виктор.— Конечно.

Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Четырнадцать,— рассеянно ответил Бол-Кунац.

— А-а...

Любой мальчик на месте Бол-Кунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе неопределенным «а-а», но Бол-Кунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением

естественного и примитивного в природе и обществе. И он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове...

Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей и попадались прохожие — торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола, в блестящих плащах до пяток. И над всем этим сквозь дождь сияли золотые и синие заклинания: «Президент — отец народа», «Легионер Свободы — верный сын Президента», «Армия — наша грозная слава...»

Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рявкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой.

— А я думал, тебе лет восемьдесят,— сказал Виктор.

— Чиво-чиво? — противным голосом спросил Бол-Кунац, и Виктор облегченно засмеялся. Все-таки это был мальчик, обыкновенный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зурзмансора, Фромма и, может быть, даже осиливший Шпенглера.

— У меня в детстве был приятель,— сказал Виктор,— который затеял прочитать Гегеля в подлиннике и прочитал-таки, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник.

— Да, знаю,— сказал Бол-Кунац.

— И ты не боишься?

— Нет.

Они подошли к отелю, и Виктор предложил:

— Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?

— Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать, а во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?

Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами в совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами, и Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении

наступающего вечера, когда можно будет пить, и безответственно болтать, и отодвинуть локтем на завтра то, что раздражающе наседало сегодня... в предвкушении Юла Голема и доктора Р.Квадриги... и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может быть, что-нибудь случится — драка или сюжет вдруг заиграет... и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть все будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане...

Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Бол-Кунац разговаривал со швейцаром. «Ты зачем сюда вперся?» — шипел швейцар. «У меня разговор с господином Баневым».— «Я тебе покажу разговор с господином Баневым,— шипел швейцар.— Шляешься по ресторанам...» — «У меня разговор с господином Баневым,— повторял Бол-Кунац.— Ресторан меня не интересует».— «Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал... Вот я тебя сейчас отсюда вышвырну...» Виктор взял ключ и обернулся.

— Э...— сказал он. Он опять забыл имя швейцара.— Парнишка со мной, все в порядке.

Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.

Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак, тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Бол-Кунац стоял рядом, с него капало.

— Раздевайся,— сказал Виктор.— Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце.

— Разрешите, я позвоню,— сказал Бол-Кунац, не двигаясь с места.

— Валяй,— Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он громко и внятно произнес: «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вышел в комнату. «Вот тебе»,— сказал он и

тут же увидел, что это ни к чему. Бол-Кунац по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало.

— Благодарю вас,— сказал он.— Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...

— Простудишься,— сказал Виктор.

— Нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?

Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку и стакан.

— Ирма мне много чего говорила,— ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды.

— Она не передавала вам наше приглашение?

— Нет. Приглашений она мне не передавала. На, выпей.

— Благодарю вас, не нужно. Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев.

— Кто это — мы?

— Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов.

— Гм,— сказал Виктор с сомнением.— Ты уверен, что это будет интересно всем?

— Я думаю — да.

— Все-таки я пишу не для гимназистов,— напомнил Виктор.

— Это неважно,— сказал Бол-Кунац с мягкой настойчивостью.— Вы согласились бы?

Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь.

— Может быть, все-таки выпьешь? — спросил он.— Лучшее средство от простуды. Нет? Ну тогда выпью я,— он осушил стакан.— Хорошо, я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг: вы и я... Когда?

— Когда вам будет удобно. Лучше бы на этой неделе. Утром.

— Скажем, через два-три дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу, в одиннадцать. Это подойдет?

— Да. В пятницу в одиннадцать. В гимназии. Вам напомнить?

— Обязательно,— сказал Виктор.— О раутах, суаре и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть.

— Хорошо, я напомню,— сказал Бол-Кунац.— А теперь я с вашего разрешения пойду. До свидания, господин Банев.

— Погоди, я тебя провожу,— сказал Виктор.— Как бы тебя этот... швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары знаешь какой народ...

— Благодарю вас, не беспокойтесь,— возразил Бол-Кунац.— Это мой отец.

И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джину и повалился в кресло. Так, подумал он. Бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже, все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверное, опытнее... Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке. Может быть, это от повышенной влажности?.. Он откинул голову и сморщился от боли. Вот гад, чем это он меня все-таки? Он ощупал желвак. Похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от модернового стула в «Жареном Пегасе» — это я знаю. Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета — я тоже знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским... Надо будет спросить Голема... Вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться...

И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об Ирме, о необходимости от чего-то отказываться и как-то себя ограничивать или куда-то кому-то писать, кого-то просить... «Извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка двенадцати с лишним лет, очень славная девочка, но мать у нее дура и отец тоже дурак, так вот надобно ее пристроить куда-нибудь подальше от глупых людей...» Не хочу я сегодня об этом думать, завтра подумаю. Он посмотрел на часы. Хватит думать вообще. Хватит.

Он поднялся и стал одеваться перед зеркалом. Брюхо растет, вот дьявол, и откуда бы у меня быть брюху? Такой

всегда был сухощавый жилистый человек... Даже и не брюхо, собственно,— благородное трудовое чрево от размеренной жизни и хорошей пищи,— а так, брюшко какое-то паршивенькое, оппозиционерский животик. У господина президента небось не такой. У господина президента небось благородный, обтянутый черным лоснящийся дирижабль...

Повязывая галстук, он придвинул лицо к зеркалу и вдруг подумал, как выглядело это уверенное крепкое лицо, столь обожаемое женщинами известного сорта, некрасивое, но мужественное лицо бойца с квадратным подбородком, как оно выглядело к концу исторической встречи. Лицо господина президента, тоже не лишенное мужественности и элементов прямоугольности, к концу исторической встречи напоминало, прямо скажем, между нами, кабанье рыло. Господин президент изволили взвинтить себя до последней степени, из клыкастой пасти летели брызги, и я достал платок и демонстративно вытер себе щеку, и это был, наверное, самый смелый поступок в моей жизни, если не считать того случая, когда я дрался с тремя танками сразу. Но как я дрался с танками — я не помню, знаю только по рассказам очевидцев, а вот платочек я вынул сознательно и соображал, на что иду... В газетах об этом не писали. В газетах честно и мужественно, с суровой прямотой сообщили, что «беллетрист В.Банев искренне поблагодарил господина президента за все замечания и разъяснения, сделанные в ходе беседы».

Странно, как хорошо я все это помню... Он обнаружил, что у него побелели щеки и кончик носа. Вот таким я и был тогда, на такого орать сам бог велел. Он ведь не знал, бедняга, что это я не от страха, что бледнею я от злости, как Людовик Четырнадцатый... Только не будем махать кулаками после драки. Какая разница, отчего я там у него бледнел... Ладно, не будем. Но — для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы привести себя в порядок перед появлением на люди, чтобы вернуть нормальный цвет этому некрасивому, но мужественному лицу,— я должен напомнить вам, господин Банев, что если бы вы не продемонстрировали господину президенту свой платочек, вы бы сейчас благополучнейшим образом обретались в нашей славной столице, а не в этой мокрой дыре...

Виктор залпом допил джин и спустился в ресторан.

— Может быть, конечно, и хулиганы,— сказал Виктор.— Только в мое время никакой хулиган не стал бы связываться с очкариком. Запустить в него камнем — это еще туда-сюда, но хватать, тащить и вообще прикасаться... Мы их все боялись, как заразы.

— Я же говорю вам: это генетическая болезнь,— сказал Голем.— Они абсолютно не заразные.

— Как же не заразные,— возразил Виктор,— когда от них бородавки, как от жабы! Это же все знают.

— От жаб не бывает бородавок,— благодушно сказал Голем.— От мокрецов тоже. Стыдно, господин писатель. Впрочем, писатели — народ серый.

— Как и всякий народ. Народ сер, но мудр. И если народ утверждает, что от жаб и очкариков бывают бородавки...

— А вот приближается мой инспектор,— сказал Голем.

Подошел Павор в мокром плаще, прямо с улицы.

— Добрый вечер,— сказал он.— Весь промок, хочу выпить.

— Опять от него тиной воняет,— с негодованием произнес доктор Р.Квадрига, пробудившись от алкогольного транса.— Вечно от него воняет тиной. Как в пруду. Ряска.

— Что вы пьете? — спросил Павор.

— Кто — мы? — осведомился Голем.— Я, например, как всегда, пью коньяк. Виктор пьет джин. А доктор — все по очереди.

— Срам! — с негодованием сказал доктор Р.Квадрига.— Чешуя! И головы.

— Двойной коньяк! — крикнул Павор официанту.

Лицо у него было мокрое от дождя, густые волосы слиплись, и от висков по бритым щекам стекали блестящие струйки. Тоже твердое лицо — многие, наверное, завидуют. Откуда у санитарного инспектора такое лицо? Твердое лицо — это: сыплет дождь, прожектора, тени на мокрых вагонах мечутся, ломаются... все черное и блестящее, только черное и только блестящее, и никаких разговоров, никакой болтовни, только команды, и все повинуются... не обязательно вагоны, может быть, самолеты, аэродром, и потом, никто не знает, где он был и откуда пришел... девочки

падают навзничь, а мужчинам хочется сделать что-нибудь мужественное — например, расправить плечи и втянуть брюхо. Вот Голему не мешало бы втянуть брюхо, только вряд ли, куда он его втянет, там у него все занято. Доктор Р.Квадрига — да, но зато ему не расправить плечи, вот уже много дней и навсегда он согбен. Вечерами он согбен над столом, по утрам — над тазиком, а днем — от больной печени. И значит, только я здесь способен втянуть брюхо и расправить плечи, но я лучше мужественно хлопну стаканчик джину.

— Нимфоман,— грустно сказал Павору доктор Р.Квадрига.— Русалкоман. И водоросли.

— Заткнитесь, доктор,— сказал Павор. Он вытирал лицо бумажными салфетками, комкал их и бросал на пол. Потом он стал вытирать руки.

— С кем это вы подрались? — спросил Виктор.

— Изнасилован мокрецом,— произнес доктор Р.Квадрига, мучительно стараясь развести по местам глаза, которые съехались у него к переносице.

— Пока ни с кем,— ответил Павор и пристально посмотрел на доктора, но Р.Квадрига этого не заметил.

Официант принес рюмку. Павор медленно выцедил коньяк и поднялся.

— Пойду-ка я умоюсь,— сказал он ровным голосом.— За городом грязь, весь в дерьме.— И он ушел, задевая по дороге стулья.

— Что-то происходит с моим инспектором,— произнес Голем. Он щелчком сбросил со стола мятую салфетку.— Что-то мировых масштабов. Вы, случайно, не знаете, что именно?

— Вам лучше знать,— сказал Виктор.— Он инспектирует вас, а не меня. И потом вы ведь все знаете. Кстати, Голем, откуда вы все знаете?

— Никто ничего не знает,— возразил Голем.— Некоторые догадываются. Очень немногие — те, кому хочется. Но нельзя спросить: откуда они догадываются? — это насилие над языком. Куда идет дождь? Чем встает солнце? Вы бы простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в этом роде? Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы многое прощаем, не то что Баневу... Слушайте, господин

беллетрист, у меня есть идея. Я выпью коньяку, а вы покончите с этим джином. Или вы уже готовы?

— Голем,— сказал Виктор,— вы знаете, что я — железный человек?

— Я догадываюсь.

— А что из этого следует?

— Что вы боитесь заржаветь.

— Предположим,— сказал Виктор.— Но я имею в виду не это. Я имею в виду, что могу пить много и долго, не теряя нравственного равновесия.

— Ах вот в чем дело,— сказал Голем, наливая себе из графинчика.— Ну хорошо, мы еще вернемся к этой теме.

— Я не помню,— сказал вдруг ясным голосом доктор Р.Квадрига.— Я вам представлялся или нет, господа? Честь имею: Рем Квадрига, живописец, доктор гонорис кауза, почетный член... Тебя я помню,— сказал он Виктору.— Мы с тобой учились и еще что-то... А вот вы, простите...

— Меня зовут Юл Голем,— небрежно сказал Голем.

— Очень рад. Скульпт'р?

— Нет. Врач.

— Х'рург?

— Я главный врач лепрозория,— терпеливо объяснил Голем.

— Ах да! — сказал доктор Р.Квадрига, по-лошадиному мотая головой.— Конечно. Простите меня, Юл... Только почему вы скрываете? Какой вы там врач? Вы же разводите мокрецов... Я вас представлю. Такие люди нам нужны... Простите,— сказал он неожиданно.— Я сейчас.

Он выбрался из кресла и устремился к выходу, блуждая между пустыми столиками. К нему подскочил официант, и доктор Р.Квадрига обнял его за шею.

— Это все дожди,— сказал Голем.— Мы дышим водой. Но мы не рыбы, мы либо умрем, либо уйдем отсюда.— Он серьезно и печально глядел на Виктора.— А дождь будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, сквозь гнилые крыши... потом он смоет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать, и падать, и падать...

— Апокалипсис,— проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать.

— Да, апокалипсис... Будет падать и падать, а потом земля напитается, и взойдет новый посев, каких раньше не бывало, и не будет плевел среди сплошных злаков. Но не будет и нас, чтобы насладиться новой вселенной...

Если бы не эти сизые мешки под глазами, если бы не вислое студенистое брюхо, если бы этот великолепный семитский нос не был так похож на топографическую карту... Хотя, ежели подумать, все пророки были пьяницами, потому что уж очень это тоскливо: ты все знаешь, а тебе никто не верит. Если бы в департаментах ввели штатную должность пророка, то им следовало бы присваивать не ниже тайного советника — для укрепления авторитета. И все равно, наверное, не помогло бы...

— За систематический пессимизм,— сказал Виктор вслух,— ведущий к подрыву служебной дисциплины и веры в разумное будущее, приказываю: тайного советника Голема побить камнями в экзекуторской.

Голем хмыкнул.

— Я всего лишь коллежский советник,— сообщил он.— И потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. Множество лжепророков и ни одного пророка. В наше время нельзя предвидеть будущее — это насилие над языком. Что бы вы сказали, прочитав у Шекспира: предвидеть настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в собственной комнате?.. А вот идет мой инспектор. Как вы себя чувствуете, инспектор?

— Прекрасно,— сказал Павор, усаживаясь.— Официант, двойной коньяк! Там, в вестибюле, нашего живописца держат четверо,— сообщил он.— Объясняют ему, где вход в ресторан. Я решил не вмешиваться, потому что он никому не верит и дерется... О каких шкафах идет речь?

Он был сух, элегантен, свеж, от него пахло одеколоном.

— Мы говорим о будущем,— сказал Голем.

— Какой смысл говорить о будущем? — возразил Павор.— О будущем не говорят, будущее делают. Вот рюмка коньяка. Она полная. Я делаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести.

— Другой умный человек сказал,— заметил Виктор,— что будущего вообще не бывает, есть только настоящее.

— Я не люблю классической философии,— сказал Павор,— эти люди ничего не умели и ничего не хотели. Им просто нравилось рассуждать, как Голему — пить. Будущее — это тщательно обезвреженное настоящее.

— У меня всегда возникает странное ощущение,— сказал Голем,— когда при мне штатский человек рассуждает как военный.

— Военные вообще не рассуждают,— возразил Павор.— У военных только рефлексы и немного эмоций.

— У большинства штатских тоже,— сказал Виктор, ощупывая свой затылок.

— Сейчас ни у кого нет времени рассуждать,— сказал Павор.— Ни у военных, ни у штатских. Сейчас надо успевать поворачиваться. Если тебя интересует будущее, изобретай его быстро, на ходу, в соответствии с рефлексами и эмоциями.

— К чертям изобретателей,— сказал Виктор. Он чувствовал себя пьяным и веселым. Все стояло на своих местах. Не хотелось никуда идти, хотелось оставаться здесь, в этом пустом полутемном зале, еще не совсем ветхом, но уже с потеками на стенах, с расхлябанными половицами, с запахом кухни; особенно если вспомнить, что снаружи во всем мире идет дождь, над булыжными мостовыми — дождь, над островерхими крышами — дождь, и дождь заливает горы и равнину, и когда-нибудь он все это смоет, но это случится еще очень нескоро... хотя, если подумать, сейчас ни о чем нельзя говорить, что это случится нескоро. Да, милые мои, давно оно прошло, то время, когда будущее было повторением настоящего и все перемены маячили где-то за далекими горизонтами. Голем прав, нет на свете никакого будущего, оно слилось с настоящим, и теперь не разберешь, где что.

— Изнасилован мокрецом! — сказал Павор злорадно.

В дверях ресторана появился доктор Р.Квадрига. Несколько секунд он стоял, с тяжелым вниманием обозревая ряды пустых столиков, затем лицо его прояснилось, и он, резко качнувшись вперед, устремился к своему месту.

— Почему вы их называете мокрецами? — спросил Виктор.— Что они — мокрые у вас тут стали от дождей?

— А почему — нет? — сказал Павор.— Как же их, по-вашему, называть?

— Очкарики,— сказал Виктор.— Доброе старое слово. Спокон веков мы их называли очкариками.

Доктор Р.Квадрига приближался. Спереди он был весь мокрый — вероятно, его отмывали над раковиной. Выглядел он утомленным и разочарованным.

— Черт знает что,— брюзгливо сказал он еще издали.— Никогда со мной такого не бывало: нет входа! Куда ни ткнусь — везде сплошные окна... Кажется, я заставил вас ждать, господа.— Он упал в свое кресло и узрел Павора.— Опять он здесь,— сообщил он Голему доверительным шепотом.— Надеюсь, он вам не мешает... А со мной, знаете ли, произошла удивительная история. Всего облили.

Голем налил ему коньяку.

— Благодарю вас,— сказал Р.Квадрига,— но я, пожалуй, лучше пропущу пару кругов. Надо обсохнуть.

— Я вообще за все старое доброе,— объявил Виктор.— Пусть очкарики остаются очкариками. И вообще пусть все остается без изменений. Я — консерватор... Внимание! — сказал он громко.— Предлагается тост за консерватизм. Минуточку...— Он налил себе джину, встал и оперся рукой на спинку кресла.— Я — консерватор,— сказал он.— И с каждым годом я становлюсь все консервативнее, но не потому, что старею, а потому, что ощущаю в этом потребность...

Трезвый Павор с рюмкой наготове глядел на него снизу вверх с подчеркнутым вниманием. Голем медленно ел миноги, а доктор Р.Квадрига, казалось, тщился понять, откуда до него доносится голос и чей. Все было очень хорошо.

— Люди обожают критиковать правительства за консерватизм,— продолжал Виктор.— Люди обожают превозносить прогресс. Это новое веяние, и оно глупо, как и все новое. Людям надлежало бы молить бога, чтобы он даровал им самое косное, самое заскорузлое и конформистское правительство...

Теперь и Голем поднял глаза и смотрел на него, и Тэдди за своей стойкой тоже перестал перетирать бутылки и прислушивался, только вот затылок вдруг заломило, и пришлось поставить рюмку и погладить желвак.

— Государственный аппарат, господа, во все времена почитал своей главной задачей сохранение статус-кво. Не знаю, насколько это было оправданно раньше, но сейчас такая функция государства попросту необходима. Я бы определил эту функцию так: всячески препятствовать будущему запускать свои щупальца в наше время, обрубать эти щупальца, прижигать их каленым железом... Мешать изобретателям, поощрять схоластов и болтунов... В гимназиях ввести повсеместно исключительно классическое образование. На высшие государственные посты — старцев, обремененных семействами и долгами, не моложе шестидесяти лет, чтобы брали взятки и спали на заседаниях...

— Что вы такое несете, Виктор,— сказал Павор укоризненно.

— Нет, отчего же,— сказал Голем.— Необычайно приятно слышать такие умеренные, лояльные речи.

— Я еще не кончил, господа!.. Талантливых ученых назначать администраторами с крупным окладом. Все без исключения изобретения принимать, плохо оплачивать и класть под сукно. Ввести драконовские налоги на каждую товарную и производственную новинку...— А чего я, собственно, стою, подумал Виктор и сел.— Ну, как вам это показалось? — спросил он Голема.

— Вы совершенно правы,— сказал Голем.— А то у нас нынче все радикалы. Даже директор гимназии. Консерватизм — вот наше спасение.

Виктор хлебнул джину и сказал горестно:

— Не будет никакого спасения. Потому что все дураки-радикалы не только верят в прогресс, они еще и любят прогресс — это, кроме всего прочего, дешевые автомобили, бытовая электроника и вообще возможность делать поменьше, а получать побольше. И потому каждое правительство вынуждено одной рукой... то есть не рукой, конечно... одной ногой нажимать на тормоза, а другой — на акселератор. Как гонщик на повороте. На тормоза — чтобы не потерять управление, а на акселератор — чтобы не потерять скорости, а то ведь какой-нибудь демагог, поборник прогресса, обязательно спихнет с водительского места.

— С вами трудно спорить,— вежливо сказал Павор.

— А вы не спорьте,— сказал Виктор.— Не надо спорить: в спорах рождается истина, пропади она пропадом.— Он нежно погладил желвак и добавил: — Впрочем, у меня это, наверное, от невежества. Все ученые — поборники прогресса, а я не ученый. Я просто небезызвестный куплетист.

— Что это вы все время хватаетесь за затылок? — спросил Павор.

— Какая-то сволочь долбанула,— сказал Виктор.— Кастетом... Правильно я говорю, Голем? Кастетом?

— По-моему, кастетом,— сказал Голем.— А может быть и кирпичом.

— Что вы такое говорите? — удивился Павор.— Каким кастетом? В этом захолустье?

— Вот видите,— наставительно сказал Виктор.— Прогресс!.. Давайте снова выпьем за консерватизм.

Позвали официанта, выпили еще раз за консерватизм. Пробило девять, и в зале появилась известная пара — молодой человек в мощных очках и его долговязый спутник. Усевшись за свой столик, они включили торшер, смиренно огляделись и принялись изучать меню. Молодой человек опять пришел с портфелем, портфель он поставил на свободное кресло рядом с собой. Он всегда был очень добр к своему портфелю. Продиктовав официанту заказ, они выпрямились и стали молча глядеть в пространство.

Странная пара, подумал Виктор. Удивительное несоответствие. Они выглядят, как в испорченном бинокле: один в фокусе, другой расплывается, и наоборот. Полнейшая несовместимость. С молодым человеком в очках можно было бы поговорить о прогрессе, а с долговязым — нет. Долговязый мог бы двинуть меня кастетом, а молодой в очках — нет... Но я вас сейчас совмещу. Как бы это мне вас совместить? Ну, например, вот... Какой-нибудь государственный банк, подвалы... цемент, бетон, сигнализация... долговязый набирает номер на диске, стальная башня поворачивается, открывается вход в сокровищницу, оба входят, долговязый набирает номер на другом диске, дверца сейфа откатывается, и молодой по локоть погружается в бриллианты.

Доктор Р.Квадрига вдруг расплакался и схватил Виктора за руку.

— Ночевать,— сказал он.— Ко мне. А?

Виктор немедленно налил ему джину. Р.Квадрига выпил, вытер под носом и продолжал:

— Ко мне. Вилла. Фонтан есть. А?

— Фонтан — это у тебя хорошо придумано,— заметил Виктор уклончиво.— А еще что?

— Подвал,— печально сказал Р.Квадрига.— Следы. Боюсь. Страшно. Хочешь — продам?

— Лучше подари,— предложил Виктор.

Р.Квадрига заморгал.

— Жалко,— сказал он.

— Скупердяй,— сказал Виктор с упреком.— Это у тебя с детства. Виллы ему жалко! Ну и подавись своей виллой.

— Ты меня не любишь,— горько констатировал доктор Р.Квадрига.— И никто.

— А господин президент? — агрессивно спросил Виктор.

— «Президент — отец народа»,— оживляясь, сказал Р.Квадрига.— Эскиз в золотистых тонах... «Президент на позициях». Фрагмент картины: «Президент на обстреливаемых позициях».

— А еще? — поинтересовался Виктор.

— «Президент с плащом»,— сказал Р.Квадрига с готовностью.— Панно. Панорама.

Виктор, соскучившись, отрезал кусочек миноги и стал слушать Голема.

— Вот что, Павор,— говорил тот.— Отстаньте вы от меня. Что я еще могу? Отчетность я вам представил. Рапорт ваш готов подписать. Хотите жаловаться на военных — жалуйтесь. Хотите жаловаться на меня...

— Не хочу я на вас жаловаться,— отвечал Павор, прижимая руку к груди.

— Тогда не жалуйтесь.

— Ну посоветуйте мне что-нибудь! Неужели вы ничего мне не можете посоветовать?

— Господа,— сказал Виктор.— Скучища. Я пойду.

На него не обратили внимания. Он отодвинул стул, поднялся и, чувствуя себя очень пьяным, направился к стойке.

Лысый Тэдди перетирал бутылки и смотрел на него без любопытства.

— Как всегда? — спросил он.

— Подожди,— сказал Виктор.— Что это я у тебя хотел спросить... Да! Как дела, Тэдди?

— Дождь,— коротко сказал Тэдди и налил ему очищенной.

— Проклятая погода стала у нас в городе,— сказал Виктор и оперся на стойку.— Что там на твоем барометре?

Тэдди сунул руку под стойку и достал «погодник». Все три шипа плотно прилегали к блестящему, словно отполированному стволику.

— Без просвета,— сказал Тэдди, внимательно разглядывая «погодник».— Дьявольская выдумка.— Подумав, он добавил: — А вообще-то, бог его знает, может быть, он давно уже заломался — который год уже дождь, как проверишь?

— Можно съездить в Сахару,— предложил Виктор.

Тэдди ухмыльнулся.

— Смешно,— сказал он.— Господин этот ваш, Павор, смешное дело, двести крон предлагает за эту штуку.

— Спьяну, наверное,— сказал Виктор.— Зачем она ему...

— Я ему так и сказал.— Тэдди повертел «погодник», поднес его к правому глазу.— Не отдам,— заявил он решительно.— Пусть-ка сам поищет.— Он сунул «погодник» под стойку, посмотрел, как Виктор крутит в пальцах рюмку, и сообщил: — Диана твоя приезжала.

— Давно? — небрежно спросил Виктор.

— Да часов в пять примерно. Выдал ей ящик коньяку. Росшепер все гуляет, никак не остановится. Гоняет персонал за коньяком, жирная морда. Тоже мне — член парламента... Ты за нее не опасаешься?

Виктор пожал плечами. Он вдруг увидел Диану рядом с собой. Она возникла возле стойки в мокром дождевике с откинутым капюшоном, она не смотрела в его сторону, он видел только ее профиль и думал, что из всех женщин, которых он раньше знал, она — самая красивая и что такой у него больше никогда, наверное, не будет. Она стояла, опершись на стойку, и лицо ее было очень бледным и очень

равнодушным, и она была самой красивой — у нее все было красивое. И всегда. И когда она плакала, и когда смеялась, и когда злилась, и когда ей было наплевать, и даже когда мерзла, а особенно — когда на нее находило... Ох и пьян же я, подумал Виктор, и разит, наверное, от меня, как от Р.Квадриги. Он вытянул нижнюю губу и подышал себе под нос. Ничего не разобрать.

— Дороги мокрые, скользкие,— говорил Тэдди.— Туман... А потом, я тебе скажу, что Росшепер этот — наверняка бабник, старый козел.

— Росшепер — импотент,— возразил Виктор, машинально проглотив очищенную.

— Это она тебе рассказала?

— Брось, Тэдди,— сказал Виктор.— Перестань.

Тэдди пристально на него посмотрел, потом вздохнул, крякнув, присел на корточки, покопался под стойкой и выставил перед Виктором пузырек с нашатырным спиртом и початую пачку чая. Виктор глянул на часы и стал смотреть, как Тэдди неторопливо достает чистый бокал, наливает в него содовую, капает из пузырька и все так же неторопливо мешает стеклянной палочкой. Потом он придвинул бокал к Виктору. Виктор выпил и зажмурился, задерживая дыхание. Свежая и отвратительная, отвратительно-свежая струя нашатыря ударила в мозг и разлилась где-то за глазами. Виктор потянул носом воздух, сделавшийся нестерпимо холодным, и запустил пальцы в пачку с чаем.

— Ладно, Тэдди,— сказал он.— Спасибо. Запиши на меня, что полагается. Они тебе скажут, что полагается. Пойду.

Старательно жуя чай, он вернулся к своему столику. Очкастый молодой человек и его долговязый спутник торопливо поглощали ужин. Перед ними стояла единственная бутылка — с местной минеральной водой. Павор и Голем, освободив место на скатерти, играли в кости, а доктор Р.Квадрига, охватив нечесаную голову, монотонно бубнил:

— «Легион Свободы — опора президента». Мозаика... В счастливый день именин вашего высокопревосходительства... «Президент — отец детей». Аллегорическая картина...

— Я пошел,— сказал Виктор.

— Жаль,— сказал Голем.— Впрочем, желаю удачи.

— Привет Росшеперу,— сказал Павор, подмигнув.

— «Член парламента Росшепер Нант»,— оживился Р.Квадрига.— Портрет. Недорого. Поясной...

Виктор взял свою зажигалку и пачку сигарет и пошел к выходу. Позади доктор Р.Квадрига ясным голосом произнес: «Я полагаю, господа, что нам пора познакомиться. Я — Рем Квадрига, доктор гонорис кауза, а вот вас, сударь, я не припоминаю...» В дверях Виктор столкнулся с толстым тренером футбольной команды «Братья по разуму». Тренер был очень озабочен, очень мокр и уступил Виктору дорогу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Автобус остановился, и шофер сказал:

— Приехали.

— Санаторий? — спросил Виктор. Снаружи был туман, плотный, молочный. Свет фар рассеивался в нем, и ничего не было видно.

— Санаторий, санаторий,— проворчал шофер, раскуривая сигарету.

Виктор подошел к двери и, спускаясь с подножки, сказал:

— Ну и туманище. Ничего не вижу.

— Разберетесь,— равнодушно пообещал шофер. Он сплюнул в окошко.— Нашли место, где санаторий устраивать. Днем — туман, вечером — туман...

— Счастливого пути,— сказал Виктор.

Шофер не ответил. Взвыл двигатель, захлопнулись двери, и огромный пустой автобус, весь стеклянный и освещенный изнутри, как закрытый на ночь универмаг, развернулся, сразу превратившись в мутное пятно света, и укатил обратно в город. Виктор с трудом, перебирая руками решетчатую изгородь, нашел ворота и ощупью двинулся по аллее. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, он смутно различал впереди освещенные окна правого крыла и какую-то особенно глубокую тьму на месте левого, где сейчас спали намотавшиеся за день под дождем «Братья по разуму». В тумане, словно сквозь вату, слышались обычные

звуки — играла радиола, дребезжала посуда, кто-то хрипло орал. Виктор продвигался, стараясь держаться середины песчаной аллеи, чтобы не налететь ненароком на какую-нибудь гипсовую вазу. Бутылку с джином он бережно прижимал к груди и был очень осторожен, но тем не менее вскоре споткнулся о мягкое и прошелся на четвереньках. Позади вяло и сонно выругались в том смысле, что надо, мол, зажигать свет. Виктор нашарил в сумке упавшую бутылку, снова прижал ее к груди и пошел дальше, выставив свободную руку. Скоро он столкнулся с автомобилем, ощупью обошел его и столкнулся с другим. Дьявол, здесь оказалась целая куча автомобилей. Виктор, ругаясь, блуждал среди них, как в лабиринте, и долго не мог выбраться к смутному сиянию, означавшему вход в вестибюль. Гладкие бока автомобилей были влажными от осевшего тумана. Где-то рядом хихикали и отбивались.

В вестибюле на этот раз было пусто, никто не играл в жмурки, никто, тряся жирным задом, не бегал в пятнашки, никто не спал в креслах. Повсюду валялись скомканные плащи, а некий остряк повесил шляпу на фикус. Виктор поднялся по ковровой лестнице на второй этаж. Музыка гремела. Справа в коридоре все двери в апартаменты члена парламента были распахнуты, оттуда несло жирными запахами пищи, курева и разгоряченных тел. Виктор повернул налево и постучал в комнату Дианы. Никто не отозвался. Дверь была заперта, ключ торчал в замочной скважине. Виктор вошел, зажег свет и поставил бутылку на телефонный столик. Послышались шаги, и он выглянул наружу. Направо по коридору широкой и твердой походкой удалялся рослый человек в черном вечернем костюме. На лестничной площадке он остановился перед зеркалом, вскинул голову, поправил галстук (Виктор успел разглядеть изжелта-смуглый орлиный профиль и острый подбородок), а затем в нем что-то изменилось: он ссутулился, слегка перекосился набок и, гнусно виляя бедрами, скрылся в одной из распахнутых дверей. Пижон, неуверенно подумал Виктор. Блевать ходил... Он поглядел налево. Там было темно.

Виктор снял плащ, запер комнату и отправился искать Диану. Придется заглянуть к Росшеперу, подумал он. Где ей еще быть?

Росшепер занимал три палаты. В первой недавно жрали: на столах, покрытых замаранными скатертями, громоздились грязные тарелки, пепельницы, бутылки, мятые салфетки, и никого не было, если не считать одинокой потной лысины, храпевшей в блюде с заливным.

В смежной палате дым стоял коромыслом. На гигантской росшеперовской кровати брыкались полураздетые нездешние девчонки. Они играли в какую-то странную игру с апоплексически багровым господином бургомистром, который зарывался в них, как свинья в желуди, и тоже брыкался и хрюкал от удовольствия. Тут же присутствовали: господин полицмейстер без кителя, господин городской судья с глазами, вылезшими из орбит от нервной одышки, и какая-то незнакомая юркая личность в сиреневом. Эти трое азартно сражались в детский бильярд, поставленный на туалетный столик, а в углу, прислоненный к стене, сидел, раскинув ноги, облаченный в перепачканный вицмундир директор гимназии с идиотской улыбкой на устах. Виктор уже собрался уходить, когда кто-то поймал его за штанину. Он глянул вниз и отпрянул. Перед ним стоял на четвереньках член парламента, кавалер орденов, автор нашумевшего проекта об обрыблении Китчиганских водоемов Росшепер Нант.

— В лошадки хочу,— просительно проблеял Росшепер.— Давай в лошадки! И-го-го! — Он был невменяем.

Виктор деликатно освободился и заглянул в последнюю палату. Там он увидел Диану. Сначала он не понял, что это Диана, а потом кисло подумал: очень мило! Здесь было полно народу, каких-то полузнакомых мужчин и женщин, они стояли кру́гом и хлопали в ладоши, а в центре круга Диана отплясывала с тем самым желтолицым пижоном, обладателем орлиного профиля. У нее горели глаза, горели щеки, волосы летали над плечами, и черт был ей не брат. Орлиный профиль очень старался соответствовать.

Странно, подумал Виктор. В чем дело?.. Что-то здесь было не так. Танцует он хорошо, он просто прекрасно танцует. Как учитель танцев. Не танцует, а показывает, как танцевать... Даже не как учитель, а как ученик на экзаменах. Очень хочет получить пятерку... Нет, не то. Слушай, милый, ты же с Дианой танцуешь! Неужели ты этого не замечаешь?

Виктор привычно напряг воображение. Актер танцует на сцене, все хорошо, все прекрасно, все идет как надо, без накладок, а дома несчастье... Нет, не обязательно несчастье, просто он ждет, когда дадут занавес и погасят огни... И даже никакой не актер, а посторонний человек, изображающий актера, который сам играет совсем уж постороннего человека... Неужели Диана не чувствует? Это же фальшивка. Манекен. Ни капли близости между ними, ни капли соблазна, ни тени желания... Говорят друг другу что-то, представить невозможно — что. Шерочка с машерочкой... Вы не вспотели? Да, читал, и даже два раза... Тут он увидел, что Диана, распихивая гостей, бежит к нему.

— Пошли плясать! — закричала она еще издали.

Кто-то преградил ей дорогу, кто-то схватил ее за руку, она вырвалась, смеясь, а Виктор все искал глазами желтолицего и не находил, и это неприятно его беспокоило.

Она подбежала к нему, вцепилась в рукав и потащила в круг.

— Пошли, пошли! Здесь все свои — вся пьянь, рвань, дрянь... Покажи им, как надо! Этот мальчишка ничего не умеет...

Она втащила его в круг, кто-то в толпе заорал: «Писателю Баневу — ура!» Замолкшая на секунду радиола снова залаяла и залязгала, Диана прижалась к нему, потом отпрянула, от нее пахло духами и вином, она была горячая, и Виктор теперь ничего не видел, кроме ее возбужденного прекрасного лица и летящих волос.

— Пляши! — крикнула она, и он стал плясать.

— Молодец, что приехал.

— Да. Да.

— Зачем ты трезвый? Вечно ты трезвый, когда не надо.

— Я буду пьяный.

— Сегодня ты мне нужен пьяный.

— Буду.

— Чтобы делать с тобой что хочу. Не ты со мной, а я с тобой.

— Да.

Она удовлетворенно смеялась, и они плясали молча, ничего не видя и ни о чем не думая. Как во сне. Как в бою. Такая она была сейчас — как сон, как бой. Диана, На

Которую Нашло... Вокруг били в ладоши и вскрикивали, кажется, еще кто-то пытался плясать, но Виктор отшвырнул его, чтобы не мешал, а Росшепер протяжно кричал где-то неподалеку: «О мой бедный пьяный народ!»

— Он импотент?

— Еще бы. Я его мою.

— И как?

— Абсолютно.

— О мой бедный пьяный народ! — стонал Росшепер.

— Пошли отсюда,— сказал Виктор.

Он поймал ее за руку и повел. Пьянь и рвань расступалась перед ними, воняя спиртом и чесноком, а в дверях путь преградил губастый молокосос с румянцем во всю щеку и сказал что-то наглое, кулаки у него чесались, но Виктор сказал ему: «Потом, потом»,— и молокосос исчез. Держась за руки, они пробежали по пустому коридору, затем Виктор, не выпуская ее руки, отпер дверь и, не выпуская ее руки, запер дверь изнутри... и было жарко, стало нестерпимо жарко, душно... и комната была сначала широкая и просторная, а потом сделалась узкой и тесной, и тогда Виктор встал и распахнул окно, и черный сырой воздух залил его голые плечи и грудь. Он вернулся на кровать, нашарил в темноте бутылку с джином, отхлебнул и передал Диане. Потом он лег, и слева тек холодный воздух, а справа было горячее шелковистое и нежное. Теперь он слышал, что пьянка продолжается — гости пели хором.

— Это надолго? — спросил он.

— Что? — спросила Диана сонно.

— Долго они будут выть?

— Не знаю. Какое нам дело? — Она повернулась на бок и легла щекой на его плечо.— Холодно,— пожаловалась она.

Они повозились, забираясь под одеяло.

— Не спи,— сказал он.

— Угу,— пробормотала она.

— Тебе хорошо?

— Угу.

— А если за ухо?

— Угу... Отстань, больно.

— Слушай, а нельзя здесь пожить недельку?

— Можно.

— А где?

— Я спать хочу. Дай поспать бедной пьяной женщине.

Он замолчал и лежал не шевелясь. Она уже спала. Так я и сделаю, подумал он. Здесь будет хорошо, тихо. Только не вечером. А может быть, и вечером. Не станет же он пьянствовать каждый вечер, ему ведь лечиться надо... Пожить здесь денька три-четыре... пять-шесть... и поменьше пить, совсем не пить, и поработать... давно я не работал... Чтобы начать работать, надо хорошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось... Он вздрогнул, задремывая. Насчет Ирмы... Насчет Ирмы я напишу Роц-Тусову, вот что я сделаю. Не струсил бы Роц-Тусов, трус он. Должен мне девятьсот крон... Когда речь заходит о господине президенте, все это не имеет значения, все мы становимся трусами. Почему мы все такие трусы? Чего мы, собственно, боимся? Перемены мы боимся. Нельзя будет пойти в писательский кабак и пропустить рюмку очищенной... швейцар не будет кланяться... и вообще швейцара не будет, самого сделают швейцаром. Плохо, если на рудники... это действительно плохо... Но это же редко, времена не те... смягчение нравов... Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться, в общем, нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила, подумал он. Это страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, неуязвимая, ни для логики неуязвимая, ни для эмоций... И Дианы не будет...

Он задремал и снова проснулся, потому что под открытым окном громко разговаривали и ржали, как животные. Затрещали кусты.

— Не могу я их сажать,— сказал пьяный голос полицмейстера.— Нет такого закона...

— Будет,— сказал голос Росшепера.— Я депутат или нет?

— А такой закон есть, чтобы под городом — рассадник заразы? — рявкнул бургомистр.

— Будет! — упрямо сказал Росшепер.

— Они не заразные,— проблеял фальцетом директор гимназии.— Я имею в виду, что в медицинском отношении...

— Эй, гимназия,— сказал Росшепер,— расстегнуться не забудь.

— А такой закон есть, чтобы честных людей разоряли? — рявкнул бургомистр.— Чтобы р-разоряли, есть такой закон?

— Будет, я тебе говорю! — сказал Росшепер.— Я депутат или нет?

Чем бы их садануть? — подумал Виктор.

— Росшепер! — сказал полицмейстер.— Ты мне друг? Я тебя, подлеца, на руках носил. Я тебя, подлеца, выбирал. А теперь они шляются, заразы, по городу, и я ничего не могу. Закона нет, понимаешь?

— Будет,— сказал Росшепер.— Я тебе говорю — будет. В связи с заражением атмосферы...

— Нравственной! — вставил директор гимназии.— Нравственной и моральной.

— Что?.. В связи, говорю... с отравлением атмосферы и по причине недостаточного обрыбления прилежащих водоемов... заразу ликвидировать и учредить в отдалённой местности. Годится?

— Дай я тебя поцелую,— сказал полицмейстер.

— Молодец,— сказал бургомистр.— Голова. Дай я тоже...

— Ерунда,— сказал Росшепер.— Раз плюнуть... Споем? Нет, не желаю. Пошли еще по маленькой.

— Правильно. По маленькой — и домой.

Снова затрещали кусты, Росшепер сказал уже где-то в отдалении: «Эй, гимназия, застегнуться забыл!» — и под окном стало тихо. Виктор снова задремал, просмотрел какой-то незначительный сон, а потом раздался телефонный звонок.

— Да,— сказала Диана хрипло.— Да, это я...— Она откашлялась.— Ничего, ничего, я слушаю... Все хорошо, он был, по-моему, доволен... Что?

Она разговаривала, перевалившись через Виктора, и вдруг он почувствовал, как напряглось ее тело.

— Странно,— сказала она.— Хорошо, я сейчас посмотрю... Да... Хорошо, я ему скажу.

Она положила трубку, перелезла через Виктора и зажгла ночник.

— Что случилось? — спросил Виктор сонно.

— Ничего. Спи, я сейчас вернусь.

Сквозь прижмуренные веки он смотрел, как она собирает разбросанное белье, и лицо у нее было такое серьезное, что он встревожился. Она быстро оделась и вышла, на ходу одергивая платье. Росшеперу плохо, подумал он, прислушиваясь. Допился, старый мерин. В огромном здании было тихо, и он отчетливо слышал шаги Дианы в коридоре, но она пошла не направо, как он ожидал, к Росшеперу, а налево. Потом скрипнула где-то дверь, и шаги стихли. Он повернулся на бок и попробовал снова заснуть, но сна не было. Он понял, что ждет Диану и что ему не заснуть теперь, пока она не вернется. Тогда он сел и закурил. Желвак на затылке принялся пульсировать, и он поморщился. Диана не возвращалась. Почему-то он вспомнил плясуна с орлиным профилем. Он-то здесь при чем? — подумал Виктор. Артист, который играет другого артиста, который играет третьего... А, вот в чем дело: он появился как раз оттуда, слева, куда ушла Диана. Дошел до лестничной площадки и превратился в пижона. Сначала играл светского льва, а потом стал играть разболтанного хлыща... Виктор снова прислушался. На редкость тихо, все спят... храпит кто-то... Потом снова скрипнула дверь, и послышались приближающиеся шаги. Вошла Диана, лицо у нее было по-прежнему серьезное. Ничего не кончилось, происшествие продолжалось. Диана подошла к телефону и набрала номер.

— Его нет,— сказала она.— Нет-нет, он ушел... Я тоже... Ничего, ничего, что вы. Спокойной ночи.

Она положила трубку, постояла немного, глядя в темноту за окном, затем села на кровать рядом с Виктором. В руке у нее был цилиндрический фонарик. Виктор закурил сигарету и подал ей. Она молча курила, о чем-то напряженно думая, а потом спросила:

— Ты когда заснул?

— Не знаю, трудно сказать.

— Но уже после меня?

— Да.

Она повернула к нему лицо.

— Ты ничего не слышал? Какого-нибудь скандала, драки...

— Нет,— сказал Виктор.— По-моему, все было очень мирно. Сначала они пели, потом Росшепер с компанией

мочился у нас под окном, потом я заснул. Они уже собирались разъезжаться.

Она бросила сигарету за окно и поднялась.

— Одевайся,— сказала она.

Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. Слушаю и повинуюсь, подумал он. Хорошая вещь — повиновение. Только не надо ни о чем спрашивать. Он спросил:

— Поедем или пойдем?

— Что?.. Сначала пойдем, а там видно будет.

— Кто-нибудь пропал?

— Кажется.

— Росшепер?

Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сомнением. Она уже немного раскаивалась, что позвала его. Она спрашивала себя: а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собою?

— Я готов,— сказал он.

Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком.

— Ну, ладно... тогда пошли.— Она не двигалась с места.

— Может быть, отломать у стула ножку? — предложил Виктор.— Или, скажем, у кровати?..

Она встрепенулась.

— Нет. Ножка не годится.— Она выдвинула ящик стола и достала огромный черный пистолет.— На,— сказала она.

Виктор насторожился было, но это оказался — спортивный мелкокалиберный. И к тому же без обоймы.

— Давай патроны,— сказал Виктор.

Она непонимающе посмотрела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала:

— Нет. Патроны не понадобятся. Пошли.

Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спустились в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел, моросил хилый дождик. Машин у крыльца не было. Диана свернула в аллейку между мокрыми кустами и включила фонарик. Дурацкое положение, подумал Виктор. Ужасно хочется спросить в чем дело, а спросить нельзя. Хорошо бы придумать, как спросить. Как-нибудь облически. Не спросить, а так — отпустить замечание с вопросом в подтексте. Может быть, драться придется? Неохота. Сегодня

нсохота. Буду бить рукояткой. Прямо между глаз... А как мой желвак? Желвак оказался на месте и побаливал. Странные, однако, обязанности у медсестры в этом санатории... А ведь я всегда считал, что Диана — женщина с тайной. С первого взгляда и все пять дней... Ну и сырость, надо было глотнуть перед уходом. Как только вернусь, сейчас же и глотну... А я молодец, подумал он. Никаких вопросов. Слушаю и повинуюсь.

Они обогнули крыльцо, пробрались через сирень и оказались перед оградой. Диана посветила. Одного железного прута в ограде не было.

— Виктор,— сказала она негромко.— Сейчас мы пойдем по тропинке. Ты пойдешь сзади. Смотри под ноги, и ни шагу в сторону. Понял?

— Понял,— покорно сказал Виктор.— Шаг влево, шаг вправо — считается побег...

Диана пролезла первой и посветила Виктору. Потом они очень медленно двинулись под гору. Это был восточный склон холма, на котором стоял санаторий. Вокруг шумели под дождем невидимые деревья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за плечи. Она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше. Каждую минуту она повторяла: «Смотри под ноги... Держись за мной». Виктор послушно смотрел вниз, на ноги Дианы, мелькающие в прыгающем светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по желваку, или чего-нибудь в этом роде, а потом решил: вряд ли. Концы с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих — например, у Росшепера случилась белая горячка, и его придется вести назад, пугая разряженным пистолетом...

Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не дошли до сознания Виктора, потому что в следующую секунду он увидел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огромные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба — только глаза и лоб, и ничего больше, ни рта, ни носа, ни тела — ничего. Сырая тяжелая темнота, и в светлом круге — блестящие глаза и неестественно белый лоб.

— Сволочи,— сказала Диана перехваченным голосом.— Так я и знала. Зверье.

Она упала на колени, луч фонарика скользнул вдоль черного тела, и Виктор увидел какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве, а Диана скомандовала: «Скорее, Виктор»,— и он присел рядом с нею на корточки и только теперь понял, что это капкан, а в капкане — нога человека. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и попытался развести их, но они подались чуть-чуть и сомкнулись снова. «Дурак! — крикнула Диана.— Пистолетом!» Он скрипнул зубами, ухватился поудобнее, напряг мускулы, так что захрустело в плечах, и челюсти разошлись. «Тащи»,— хрипло сказал он. Нога исчезла, железные дуги снова сомкнулись и сжали ему пальцы. «Подержи фонарик»,— сказала Диана. «Не могу,— виновато сказал Виктор.— Попался. Возьми у меня из кармана пистолет...» Диана, чертыхнувшись, полезла к нему в карман. Он снова развел капкан, она вставила между скобами рукоятку, и он освободился.

— Подержи фонарик,— повторила она.— Я посмотрю, что с ногой.

— Кость раздроблена,— сказал из темноты напряженный голос.— Несите меня в санаторий и вызывайте машину.

— Правильно,— сказала Диана.— Сейчас. Виктор, давай мне фонарик, а сам возьми его.

Она посветила. Человек сидел на прежнем месте, прислонившись к стволу дерева. Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. Очкарик, подумал Виктор. Мокрец. Как он сюда попал?

— Бери же,— нетерпеливо сказала Диана.— На спину.

— Сейчас,— отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг глаз. Подкатило к горлу.— Сейчас...— Он сел возле мокреца на корточки и повернулся к нему спиной.— Обнимите меня за шею,— сказал он.

Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и даже, казалось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор оскальзывался, но всякий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, чем думал Виктор, и, когда они дошли до ограды, он основательно запыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, но и с этим они в конце концов справились.

— Куда его? — спросил Виктор, когда они подошли к подъезду.

— Пока в вестибюль,— ответила Диана.

— Не надо,— тем же напряженным голосом произнес мокрец.— Оставьте меня здесь.

— Здесь дождь,— возразил Виктор.

— Перестаньте болтать,— сказал мокрец.— Я останусь здесь.

Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам.

— Оставь его,— сказала Диана.

Виктор остановился.

— Какого черта, здесь же дождь,— сказал он.

— Не будьте дураком,— проговорил мокрец.— Оставьте... здесь...

Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль.

— Кретин,— тихо сказал мокрец и уронил голову на его плечо.

— Болван,— сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав.— Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси и положи его под дождь! Немедленно, слышишь? Ну, чего стоишь?

— С ума вы все посходили,— сердито и растерянно сказал Виктор.

Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно только и ждал этого. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлынул настоящим ливнем. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и вдруг задышал часто-часто, как загнанный. Виктор все еще медлил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса.

— Положите меня,— сказал мокрец.

— В лужу? — язвительно и горько спросил Виктор.

— Это безразлично... Положите.

Виктор осторожно отпустил его на керамические плитки крыльца, и мокрец сразу раскинул руки и вытянулся. Правая нога его была неестественно вывернута, огромный лоб в свете сильной лампы казался синевато-белым. Виктор сел рядом на ступеньки. Ему очень хотелось уйти в вестибюль, но это было невозможно — оставить под проливным дождем раненого человека, а самому уйти в тепло. Сколько раз меня

сегодня назвали дураком? — подумал он, обтирая лицо ладонью. Ох, что-то много. И, кажется, доля истины в этом есть, поскольку дурак, он же болван, он же кретин и прочее — это невежда, упорствующий в своем невежестве. А ведь, ей-богу, ему под дождем лучше! И глаза открыл, и не такие они у него теперь страшные... Мокрец, подумал он. Да, пожалуй, скорее мокрец, чем очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капканы? Второго мокреца сегодня встречаю, и у обоих неприятности. У них неприятности, и у меня из-за них тоже неприятности...

Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался.

— Нога!.. Да. Раздроблена кость... Хорошо... Ладно... Скорее, мы ждем.

Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, как она повесила трубку и побежала вверх по лестнице. Что-то у нас в городе стало с мокрецами нехорошо. Возня какая-то вокруг них. Что-то они стали всем мешать, даже директору гимназии. Даже Лоле,— вспомнил он вдруг. Кажется, она тоже проходилась насчет них... Он поглядел на мокреца. Мокрец смотрел на него.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Виктор. Мокрец молчал.— Вам что-нибудь нужно? — спросил Виктор, повышая голос.— Глоток джину?

— Не орите,— сказал мокрец.— Я слышу.

— Больно? — сочувственно спросил Виктор.

— А как вы думаете?

На редкость неприятный человек, подумал Виктор. Впрочем, бог с ним — встретились и разошлись. А ему больно...

— Ничего,— сказал он.— Потерпите еще несколько минут. Сейчас за вами приедут.

Мокрец ничего не ответил, лоб его сморщился, глаза закрылись. Он стал похож на мертвого — плоский и неподвижный под проливным дождем. На крыльцо выскочила Диана с докторским чемоданчиком, присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. Мокрец тихонько зарычал, но Диана не произносила успокаивающих слов, какие обычно говорят в таких случаях врачи. «Тебе помочь?» — спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, и Диана, не поворачивая головы, проговорила: «Подожди, не уходи».

— Я не ухожу,— сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накладывает шину.

— Ты еще понадобишься,— сказала Диана.

— Я не ухожу,— повторил Виктор.

— Вообще-то ты можешь сбегать наверх. Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу возвращайся.

— Ничего,— сказал Виктор.— Обойдусь.

Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары. Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над мокрецом, взял его руку. Мокрец глухо сказал:

— Никаких уколов.

— Ладно,— сказал Голем и посмотрел на Виктора.— Берите его.

Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, распахнул дверцу и залез внутрь.

— Давайте его сюда,— сказал он из темноты.— Нет, ногами вперед... Смелее... Придержите за плечи...

Он сопел и возился в машине. Мокрец снова зарычал, и Голем сказал ему что-то непонятное, а может быть, выругался, что-то вроде: «Шесть углов на шее...» Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, усаживаясь за руль, спросил Диану:

— Вы им звонили?

— Нет,— ответила Диана.— Позвонить?

— Теперь уж не стоит,— сказал Голем,— а то они все законопатят. До свидания.

Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее.

— Пойдем,— сказала Диана.

— Поплывем,— сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения.

В вестибюле Диана взяла его под руку.

— Ничего,— сказала она.— Сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и все станет хорошо.

— Течет, как с мокрой собаки,— сердито пожаловался Виктор.— И потом, может быть, ты объяснишь, наконец, что здесь произошло?

Диана устало вздохнула.

— Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было фонарик забывать.

— А капканы на дорогах — это у вас в порядке вещей?

— Бургомистр ставит, сволочь...

Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.

— Он сумасшедший? — осведомился Виктор.— Это же уголовное дело. Или он действительно сумасшедший?

— Нет. Он просто сволочь и ненавидит мокрецов. Как и весь город.

— Это я заметил. Мы их тоже не любили, но капканы... А что мокрецы им сделали?

— Надо же кого-то ненавидеть,— сказала Диана.— В одних местах ненавидят евреев, где-то еще — негров, а у нас — мокрецов.

Они остановились перед дверью, Диана повернула ключ, вошла, и зажегся свет.

— Подожди,— сказал Виктор озираясь.— Куда ты меня привела?

— Это лаборатория,— ответила Диана.— Я сейчас.

Виктор остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной комнате и закрывает окна. Под окнами на полу темнели лужи.

— А что он здесь делал ночью? — спросил Виктор.

— Где? — спросила Диана, не оборачиваясь.

— На тропинке... Ты ведь знала, что он здесь?

— Ну, понимаешь,— сказала она,— в лепрозории плохо с медикаментами. Иногда они приходят к нам, просят...

Она закрыла последнее окно и прошлась по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой.

— Гнусно все это,— сказал Виктор.— Ну и государство. Куда ни поедешь — везде какая-нибудь дрянь... Пошли, а то я замерз.

— Сейчас,— сказала Диана.

Она взяла со стула какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это был мужской вечерний костюм. Она аккуратно повесила его в шкафчик для спецодежды. Откуда здесь костюм? — подумал Виктор. Причем какой-то знакомый костюм...

— Ну вот,— сказала Диана.— Ты как хочешь, а я сейчас залезу в горячую ванну.

— Послушай, Диана,— сказал Виктор осторожно.— А кто был этот... с таким вот носом... желтолицый? С которым ты плясала...

Диана взяла его за руку.

— Видишь ли,— сказала она, помолчав,— это мой муж... Бывший муж.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Давно я вас не видел в городе,— сказал Павор насморочным голосом.

— Не так уж давно,— возразил Виктор.— Всего два дня.

— Можно с вами посидеть, или вы хотите побыть вдвоем? — спросил Павор.

— Садитесь,— вежливо сказала Диана.

Павор сел напротив нее и крикнул: «Официант, двойной коньяк!» Смеркалось, швейцар задергивал шторы на окнах. Виктор включил торшер.

— Я вами восхищаюсь,— обратился Павор к Диане.— Жить в таком климате и сохранить прекрасный цвет лица...— Он чихнул.— Извините. Эти дожди меня доконают... Как работается? — спросил он у Виктора.

— Неважно. Не могу я работать, когда пасмурно — все время хочется выпить.

— Что за скандал вы учинили у полицмейстера? — спросил Павор.

— А, чепуха,— сказал Виктор.— Искал справедливости.

— А что случилось?

— Скотина бургомистр охотится на мокрецов с капканами. Один попался, повредил ногу. Я взял этот капкан, пошел в полицию и потребовал расследования.

— Так,— сказал Павор.— А дальше?

— В этом городе странные законы. Поскольку заявления от пострадавшего не поступило, считается, что преступления не было, а был несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего, не повинен. Я сказал полицмейстеру, что приму это к сведению, а он мне объявил, что это угроза, на чем мы и расстались.

— А где все это случилось? — спросил Павор.

— Около санатория.

— Около санатория? Что это мокрецу понадобилось около санатория?

— По-моему, это никого не касается,— резко сказала Диана.

— Конечно,— сказал Павор.— Я просто удивился...— Он сморщился, зажмурил глаза и со звоном чихнул.— Фу, черт,— сказал он.— Прошу прощения.

Он полез в карман и вытащил большой носовой платок. Что-то со стуком упало на пол. Виктор нагнулся. Это был кастет. Виктор поднял его и протянул Павору.

— Зачем вы это таскаете? — спросил он.

Павор, зарывшись лицом в носовой платок, смотрел на кастет покрасневшими глазами.

— Это все из-за вас,— произнес он сдавленным голосом и высморкался.— Это вы меня напугали своим рассказом... А между прочим, говорят, что здесь действует какая-то местная банда. То ли бандиты, то ли хулиганы. А мне, знаете ли, не нравится, когда меня бьют.

— Вас часто бьют? — спросила Диана.

Виктор посмотрел на нее. Она сидела в кресле, положив ногу на ногу, и курила, опустив глаза. Бедный Павор, подумал Виктор. Сейчас тебя отошьют... Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях.

— Меня? — сказал Павор.— Неужели у меня вид человека, которого часто бьют? Это надо поправить. Официант, еще двойной коньяк!.. Да, так на следующий день я зашел в слесарные мастерские, и мне там в два счета смастерили эту штучку.— Он с довольным видом осмотрел кастет.— Хорошая штучка, даже Голему понравилась...

— Вас так и не пустили в лепрозорий? — спросил Виктор.

— Нет. Не пустили и, надо понимать, не пустят. Я уже разуверился. Я написал жалобы в три департамента, а теперь сижу и сочиняю отчет. На какую сумму лепрозорий получил в минувшем году подштанников. Отдельно мужских, отдельно женских. Дьявольски увлекательно.

— Напишите, что у них не хватает медикаментов,— посоветовал Виктор. Павор удивленно поднял брови, а Диана лениво сказала:

— Лучше бросьте вашу писанину, выпейте стакан горячего вина и ложитесь в постель.

— Намек понял,— сказал Павор со вздохом.— Придется идти... Вы знаете, в каком я номере? — спросил он Виктора.— Навестили бы как-нибудь.

— Двести двадцать третий,— сказал Виктор.— Обязательно.

— До свидания,— сказал Павор, поднимаясь.— Желаю приятно провести вечер.

Они смотрели, как он подошел к стойке, взял бутылку красного вина и направился к выходу.

— Язык у тебя длинный,— сказала Диана.

— Да,— согласился Виктор.— Виновен. Понимаешь, он мне чем-то нравится.

— А мне — нет,— сказала Диана.

— И доктору Р.Квадриге тоже — нет. Интересно, почему?

— Морда у него мерзкая,— ответила Диана.— Белокурая бестия. Знаю я эту породу. Настоящие мужчины. Без чести, без совести, повелители дураков.

— Вот тебе и на,— удивился Виктор.— А я-то думал, что такие мужчины должны тебе нравиться.

— Теперь нет мужчин,— возразила Диана.— Теперь либо фашисты, либо бабы.

— А я? — осведомился Виктор с интересом.

— Ты? Ты слишком любишь маринованные миноги. И одновременно — справедливость.

— Правильно. Но, по-моему, это хорошо.

— Это неплохо. Но если бы тебе пришлось выбирать, ты бы выбрал миноги, вот что плохо. Тебе повезло, что у тебя талант.

— Что это ты такая злая сегодня? — спросил Виктор.

— А я вообще злая. У тебя — талант, у меня — злость. Если у тебя отобрать талант, а у меня — злость, то останутся два совокупляющихся нуля.

— Нуль нулю рознь,— заметил Виктор.— Из тебя даже нуль получился бы неплохой — стройный, прекрасно сложенный нуль. И кроме того, если у тебя отобрать твою злость, ты станешь доброй, что тоже, в общем, неплохо...

— Если у меня отобрать злость, я стану медузой. Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость добротой.

— Забавно,— сказал Виктор.— Обычно женщины не любят рассуждать. Но уж когда они начинают, то становятся удивительно категоричными. Откуда ты, собственно, взяла, что у тебя только злость и никакой доброты? Так не бывает. Доброта в тебе тоже есть, только она незаметна за злостью. В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность...

В зал ввалилась компания молодых людей, и сразу стало шумно. Молодые люди вели себя непринужденно: они обругали официанта, погнали его за пивом, а сами обсели столик в дальнем углу и принялись громко разговаривать и хохотать во все горло. Здоровенный губастый дылда с румяными щеками, прищелкивая на ходу пальцами и пританцовывая, направился к стойке. Тэдди ему что-то подал, он, оттопырив мизинец, взял рюмку двумя пальцами, повернулся к стойке спиной, оперся на нее локтями и скрестил ноги, победительно оглядывая пустой зал. «Привет Диане! — заорал он.— Как жизнь?» Диана равнодушно улыбнулась ему.

— Что это за диво? — спросил Виктор.

— Некий Фламин Ювента,— ответила Диана.— Племянничек полицмейстера.

— Где-то я его видел,— сказал Виктор.

— Да ну его к черту,— нетерпеливо сказала Диана.— Все люди — медузы, и ничего в них такого не намешано. Попадаются изредка настоящие, у которых есть что-нибудь свое — доброта, талант, злость... отними у них это, и ничего не останется, станут медузами, как все. Ты, кажется, вообразил, что нравишься мне своим пристрастием к миногам и справедливости? Чепуха! У тебя талант, у тебя книги, у тебя известность, а в остальном ты такая же дремучая рохля, как и все.

— То, что ты говоришь,— объявил Виктор,— до такой степени неправильно, что я даже не обижаюсь. Но ты продолжай, у тебя очень интересно меняется лицо, когда ты говоришь.— Он закурил и передал ей сигарету.— Продолжай.

— Медузы,— сказала она горько.— Скользкие глупые медузы. Копошатся, ползают, стреляют, сами не знают, чего хотят, ничего не умеют, ничего по-настоящему не любят... как черви в сортире...

— Это неприлично,— сказал Виктор.— Образ, несомненно, выпуклый, но решительно неаппетитный. И вообще

все это банальности. Диана, милая моя, ты не мыслитель. В прошлом веке и в провинции это еще как-то звучало бы... общество, по крайней мере, было бы сладко шокировано, и бледные юноши с горящими глазами таскались бы за тобой по пятам. Но сегодня это уже очевидности. Сегодня уже все знают, что есть человек. Что с человеком делать — вот вопрос. Да и то, признаться, уже навяз на зубах.

— А что делают с медузами?

— Кто? Медузы?

— Мы.

— Насколько я знаю — ничего. Консервы, кажется, из них делают.

— Ну и ладно,— сказала Диана.— Ты что-нибудь наработал за это время?

— А как же! Я написал страшно трогательное письмо своему другу Роц-Тусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансион, значит, я никуда не годен!

— И это все?

— Да,— сказал Виктор.— Все остальное я выбросил.

— Господи! — сказала Диана.— А я-то за тобой ухаживала, старалась не мешать, отгоняла Росшепера...

— Купала меня в ванне,— напомнил Виктор.

— Купала тебя в ванне, поила тебя кофе...

— Погоди,— сказал Виктор,— но ведь я тоже купал тебя в ванне...

— Все равно.

— Как это — все равно? Ты думаешь, легко работать, выкупав тебя в ванне? Я сделал шесть вариантов описания этого процесса, и все они никуда не годятся.

— Дай почитать.

— Только для мужчин,— сказал Виктор.— Кроме того, я их выбросил, разве я тебе не сказал? И вообще, там было так мало патриотизма и национального самосознания, что это все равно никому нельзя было бы показать.

— Скажи, а ты как — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет,— сказал Виктор.— Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня

начинает рвать — не тошнить, а уже рвать,— я принимаюсь за дело... Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, что мы будем делать завтра?

— Завтра у тебя встреча с гимназистами.

— Это быстро. А потом?

Диана не ответила. Она смотрела мимо него. Виктор обернулся. К ним подходил мокрец — во всей своей красе: черный, мокрый, с черной повязкой через лицо.

— Здравствуйте,— сказал он Диане.— Голем еще не вернулся?

Виктор поразился, какое лицо сделалось у Дианы. Как на старинной картине. Даже не на картине — на иконе. Странная неподвижность черт, и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника. Она не ответила. Она молчала, и мокрец тоже молча смотрел на нее, и никакой неловкости не было в этом молчании — они были вместе, а Виктор и все прочие были отдельно. Виктору это очень не понравилось.

— Голем, наверное, сейчас придет,— сказал он громко.

— Да,— сказала Диана.— Присядьте, подождите.

У нее был обычный голос, и она улыбалась мокрецу равнодушной улыбкой. Все стало, как обычно,— Виктор был с Дианой, а мокрец и все прочие были отдельно.

— Прошу! — весело сказал Виктор, указывая на кресло доктора Р.Квадриги.

Мокрец сел, положив на колени руки в черных перчатках. Виктор налил ему коньяку. Мокрец привычно небрежным жестом взял рюмку, покачал, как бы взвешивая, и снова поставил на стол.

— Я надеюсь, вы не забыли? — сказал он Диане.

— Да,— сказала Диана.— Да. Сейчас принесу. Виктор, дай мне ключ от номера, я сейчас вернусь.

Она взяла ключ и быстро пошла к выходу. Виктор закурил. Что это с тобой, приятель? — сказал он себе. Что-то тебе слишком многое мерещится в последнее время. Нежный ты стал какой-то, чувствительный... Ревнивый. А зря. Тебя это совершенно не касается — все эти бывшие мужья, все эти странные знакомства... Диана — это Диана, а ты — это ты. Росшепер импотент? Импотент. Вот и будет с тебя... Он знал, что все это не так просто, что он уже проглотил

какую-то отраву, но он сказал себе: хватит, и сегодня — сейчас, пока,— ему удалось убедить себя, что действительно хватит.

Мокрец сидел напротив, неподвижный и страшный, как чучело. От него пахло сыростью и еще чем-то, какой-то медициной. Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с мокрецом в ресторане за одним столиком? Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу. Или это мы стали такие всеядные: дошло до нас, наконец, что все люди — братья? Человечество, друг мой, я горжусь тобою... А вы, сударь, отдали бы свою дочь за мокреца?..

— Моя фамилия Банев,— представился Виктор и спросил: — Как здоровье вашего... пострадавшего? Того, что попал в капкан?

Мокрец быстро повернул к нему лицо. Смотрит, как через бруствер, подумал Виктор.

— Удовлетворительно,— ответил мокрец холодно.

— На его месте я бы подал заявление в полицию.

— Не имеет смысла,— сказал мокрец.

— Почему же? — сказал Виктор.— Не обязательно обращаться в местную полицию, можно обратиться в окружную...

— Нам это не нужно.

Виктор пожал плечами.

— Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление.

— Да. Но нас это не интересует.

Они помолчали. Потом мокрец сказал:

— Меня зовут Зурзмансор.

— Знаменитая фамилия,— вежливо сказал Виктор.— Вы не родственник Павлу Зурзмансору, социологу?

Мокрец прищурил глаза.

— Даже не однофамилец,— сказал он.— Мне говорили, Банев, что завтра вы выступаете в гимназии...

Виктор не успел ответить. За спиной у него двинули кресло, и молодцеватый баритон произнес:

— А ну, зараза, пошел отсюда вон!

Виктор обернулся. Над ним возвышался губастый Фламин Ювента, или как его там,— словом, племянничек. Виктор глядел на него не больше секунды, но уже чувствовал сильнейшее раздражение.

— Вы это кому, молодой человек? — осведомился он.

— Вашему приятелю,— любезно сообщил Фламин Ювента и снова гаркнул: — Тебе говорят, мокрая шкура!

— Одну минуточку,— сказал Виктор и встал. Фламин Ювента, ухмыляясь, смотрел на него сверху вниз. Этакий юный Голиаф в спортивной куртке, сверкающей многочисленными эмблемами, наш простейший отечественный штурмфюрер, верная опора нации с резиновой дубинкой в заднем кармане, гроза левых, правых и умеренных. Виктор протянул руку к его галстуку и спросил, изображая озабоченность и любопытство: «Что это такое у вас?» И когда юный Голиаф машинально наклонил голову, чтобы поглядеть, что у него там такое, Виктор крепко ущемил его нос большим и указательным пальцем. «Э!» — ошеломленно воскликнул юный Голиаф и попытался вырваться, но Виктор его не выпустил и некоторое время старательно и с ледяным наслаждением крутил и выворачивал этот наглый крепкий нос, приговаривая: «Веди себя прилично, щенок, племянничек, штурмовичок вшивый, сукин сын, хамло...» Позиция была исключительно удобной: юный Голиаф отчаянно лягался, но между ними было кресло, юный Голиаф месил воздух кулаками, но руки у Виктора были длиннее, и Виктор все крутил, вращал, драл и вывертывал, пока у него над головой не пролетела бутылка. Тогда он оглянулся: на него, раздвигая столы и опрокидывая кресла, с грохотом неслась вся банда — пятеро, причем двое из них очень рослые. На мгновение все застыло, как на фотоснимке,— черный Зурзмансор, спокойно откинувшийся в кресле; Тэдди, повисший в прыжке над стойкой; Диана с белым свертком посередине зала; а на заднем плане в дверях — свирепое усатое лицо швейцара; и совсем рядом — злобные морды с разинутыми пастями. Затем фотография кончилась, и началось кино.

Первого верзилу Виктор очень удачно сшиб ударом по скуле. Тот исчез и некоторое время не появлялся. Но другой верзила попал Виктору в ухо. Кто-то еще ударил его ребром ладони по щеке — видимо, промахнулся по горлу. А еще кто-то — освободившийся Голиаф? — прыгнул на него сзади. Все это было грубое уличное хулиганье, опора нации,— только один из них применял бокс, а остальные жаждали не столько драться, сколько увечить: выдавить глаз, разорвать

рот, лягнуть в пах. Будь Виктор один, они бы его искалечили, но с тыла на них набежал Тэдди, который свято исповедовал золотое правило всех вышибал — гасить любую драку в самом зародыше, а с фланга появилась Диана, Диана Бешеная, оскаленная ненавистью, непохожая на себя, уже без белого пакета, а с тяжелой оплетенной бутылью в руках; и еще подоспел швейцар, человек хотя и пожилой, но, судя по ухваткам, бывший солдат — он действовал связкой ключей, словно это был ремень со штыком в ножнах. Так что когда из кухни прибежали два официанта, делать им было уже нечего. Племянничек удрал, забыв на столике свой транзистор. Один из молодчиков остался лежать под столом — это был тот, которого Диана свалила бутылью, остальных же четверых Виктор с Тэдди, подбадривая друг друга удалыми возгласами, буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и пинками забили в вертящуюся дверь. По инерции они вылетели наружу сами и только там, под дождем, осознали полную победу и несколько успокоились.

— Сопляки паршивые,— сказал Тэдди, закуривая сразу две сигареты — себе и Виктору.— Манеру взяли — каждый четверг буянить. Прошлый раз недоглядел — два кресла сломали. А кому платить? Мне?

Виктор щупал распухшее ухо.

— Племянничек ушел,— сказал он с сожалением.— Так я до него как следует и не добрался.

— Это хорошо,— сказал Тэдди деловито.— С этим губастым лучше не связываться. Дядюшка у него знаешь кто, да и сам он... опора Родины и Порядка, или как они там называются... А драться ты, господин писатель, навострился. Такой, помню, хлипкий сопляк был — тебе, бывало, дадут, а ты и под стол. Молодец.

— Такая уж у меня профессия,— вздохнул Виктор.— Продукт борьбы за существование. У нас ведь как — все на одного. А господин президент за всех.

— Неужели до драки доходит? — простодушно удивился Тэдди.

— А ты думал! Напишут на тебя похвальную статью, что ты-де проникнут национальным самосознанием, идешь искать критика, а он уже с компанией — и все молодые, задорные крепыши, дети президента...

— Надо же,— сказал Тэдди сочувственно.— И что?

— По-разному. И так бывает, и эдак.

К подъезду подкатил джип, отворилась дверца, и под дождь, прикрываясь одним плащом, вылезли молодой человек в очках и с портфелем и его долговязый спутник. Из-за руля выбрался Голем. Долговязый с острым, каким-то профессиональным, интересом смотрел, как швейцар выбивает через вертящуюся дверь последнего буяна, еще не вполне пришедшего в себя. «Жалко, этого с нами не было,— шепотом сказал Тэдди, указывая глазами на долговязого.— Вот это мастер! Это тебе не ты. Профессионал, понял?» — «Понял», — тоже шепотом ответил Виктор. Молодой человек с портфелем и долговязый рысцой пробежали мимо и нырнули в подъезд. Голем неторопливо двинулся было следом, уже издали улыбаясь Виктору, но дорогу ему заступил господин Зурзмансор с белым свертком под мышкой. Он что-то проговорил вполголоса, после чего Голем сразу перестал улыбаться и вернулся в машину. Зурзмансор пробрался на заднее сиденье, и джип укатил.

— Эх! — сказал Тэдди.— Не того мы с тобой били, господин Банев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал.

— Ну, это ты зря,— сказал Виктор.— Больной, несчастный человек, сегодня он, завтра ты. Мы с тобой сейчас пойдем и выпьем, а его в лепрозорий повезли.

— Знаем мы, куда его повезли! — непримиримо сказал Тэдди.— Ничего ты не понимаешь в нашей жизни, писатель.

— Оторвался от нации?

— От нации не от нации, а жизни ты не знаешь. Поживи-ка у нас: который год дожди, на полях все погнило, дети от рук отбились... Да чего там — ни одной кошки в городе не осталось, от мышей спасенья нет... Э-эх! — сказал он, махнув рукой.— Пошли уж.

Они вернулись в вестибюль, и Тэдди спросил швейцара, уже занявшего свой пост:

— Что? Много наломали?

— Да нет,— ответил швейцар.— Можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого... у последнего отобрал, на вот, возьми.

На ходу считая деньги, Тэдди прошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой. Молодой человек в очках и долговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое кресло доктору Р.Квадриге, которого обычно не жаловала. Перед Р.Квадригой стояла бутылка рому, но он был еще трезв и потому выглядел странно.

— С викторией! — мрачно приветствовал он Виктора.— Сожалею, что не присутствовал при сем хотя мичманом.

Виктор рухнул в кресло.

— Красивое ухо,— сказал Р.Квадрига.— Где ты такое достал? Как петушиный гребень.

— Коньяку! — потребовал Виктор. Диана налила ему коньяку.— Ей и только ей обязан я викторией своею,— сказал он, показывая на Диану.— Ты заплатила за бутылку?

— Бутылка не разбилась,— сказала Диана.— За кого ты меня принимаешь? Но как он упал! Боже мой, как он чудесно свалился! Все бы так...

— Приступим,— мрачно сказал Р.Квадрига и налил себе полный стакан рому.

— Покатился, как манекен,— сказала Диана.— Как кегля... Виктор, у тебя все цело? Я видела, как тебя били ногами.

— Главное цело,— ответил Виктор.— Я специально защищал.

Доктор Р.Квадрига со скворчанием всосал в себя последние капли рома из стакана, совершенно как кухонная раковина всасывает остатки воды после мытья посуды. Глаза у него сразу посоловели.

— Мы знакомы,— поспешно сказал ему Виктор.— Ты — доктор Рем Квадрига, я — писатель Банев...

— Оставь,— сказал Р.Квадрига.— Я совершенно трезв. Но я сопьюсь. Это единственное, в чем я сейчас уверен. Вы не можете себе представить, но я приехал сюда полгода назад абсолютно непьющим человеком. У меня больная печень, катар кишок и еще что-то с желудком. Мне абсолютно запрещено пить, а я теперь пьянствую круглые сутки... Я абсолютно никому не нужен. Никогда в жизни этого со мной не бывало. Я даже писем не получаю, потому что старые

друзья мои сидят без права переписки, а новые — неграмотны...

— Никаких государственных тайн,— сказал Виктор.— Я неблагонадежен.

Р.Квадрига снова наполнил стакан и принялся прихлебывать ром, как остывший чай.

— Так лучше действует,— сообщил он.— Попробуй, Банев. Пригодится... И нечего на меня смотреть! — сказал он вдруг Диане бешено.— Потрудитесь скрывать свои чувства! А если вам не нравится...

— Тихо, тихо! — сказал Виктор, и Р.Квадрига скис.

— Они ни черта во мне не понимают,— сказал он жалобно.— Никто. Только ты немножко понимаешь. Ты меня всегда понимал. Только ты очень грубый, Банев, и всегда меня ранил. Я весь израненный... Они теперь боятся меня ругать, они теперь только хвалят. Как похвалит какая-нибудь сволочь — рана. Другая сволочь похвалит — другая рана. Но теперь все это позади. Они еще не знают... Слушай, Банев! Какая у тебя замечательная женщина... Я тебя прошу... Попроси ее, пусть придет ко мне в студию... Да нет, дурак! Натурщица! Ты ничего не понимаешь, я такую натурщицу ищу десять лет...

— Аллегорическая картина,— пояснил Виктор Диане.— «Президент и Вечно Юная Нация»...

— Дурак,— грустно сказал доктор Р.Квадрига.— Вы все думаете, что я продаюсь... Ну, правильно, было! Но я больше не пишу президентов... Автопортрет! Понимаешь?

— Нет,— признался Виктор.— Не понимаю. Ты хочешь писать свой портрет с Дианы?

— Дурак,— сказал Р.Квадрига.— Это будет лицо художника...

— Моя задница,— объяснила Диана Виктору.

— Лицо художника! — повторил Р.Квадрига.— Ты ведь тоже художник... И все, кто сидит без права переписки... и все, кто лежит без права переписки... И все, кто живет в моем доме... то есть не живет... Ты знаешь, Банев, я боюсь. Я ведь тебя просил: приди, поживи у меня хоть немного. У меня вилла, фонтан... А садовник сбежал. Трус... Сам я там жить не могу, в гостинице лучше... Ты думаешь, я пью, потому что продался? Дудки, это тебе не модный роман...

Поживешь у меня немного и разберешься... Может быть, ты даже их узнаешь. Может быть, это вовсе не мои знакомые, может быть, это твои. Тогда бы я понял, почему они меня не узнают... Ходят босые... смеются...— Глаза его вдруг наполнились слезами.— Господа! — сказал он.— Какое счастье, что с нами нет этого Павора! Ваше здоровье.

— Будь здоров,— сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на Р.Квадригу с брезгливой тревогой.— Никто здесь не любит Павора,— сказал он.— Один я урод какой-то.

— Тихий омут,— произнес доктор Р.Квадрига.— И прыгнувшая лягушка. Болтун. Всегда молчит.

— Просто он уже готов,— сказал Виктор Диане.— Ничего страшного...

— Господа! — сказал доктор Р.Квадрига.— Сударыня! Я считаю своим долгом представиться! Рем Квадрига, доктор гонорис кауза...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Виктор пришел в гимназию за полчаса до назначенного времени, но Бол-Кунац уже ждал его. Впрочем, он был мальчиком тактичным, он только сообщил Виктору, что встреча состоится в актовом зале, и сейчас же ушел, сославшись на неотложные дела. Оставшись один, Виктор побрел по коридорам, заглядывая в пустые классы, вдыхая забытые ароматы чернил, мела, никогда не оседающей пыли, запахи драк «до первой крови», изнурительных допросов у доски, запахи тюрьмы, бесправия, лжи, возведенной в принцип. Он все надеялся вызвать в памяти какие-то сладкие воспоминания о детстве и юношестве, о рыцарстве, о товариществе, о первой чистой любви, но ничего из этого не получалось, хотя он очень старался, готовый умилиться при первой возможности. Все здесь оставалось по-прежнему — и светлые затхлые классы, и поцарапанные доски, парты, изрезанные закрашенными инициалами и апокрифическими надписями про жену и правую руку, и казематные стены, выкрашенные до половины веселой зеленой краской, и сбитая штукатурка

на углах — все оставалось по-прежнему ненавистно, гадко, наводило злобу и беспросветность.

Он нашел свой класс, хотя и не сразу; нашел свое место у окна, но парта была другая, только на подоконнике все еще виднелась глубоко врезанная эмблема Легиона Свободы, и он живо вспомнил одуряющий энтузиазм тех времен, бело-красные повязки, жестяные копилки «в фонд Легиона», бешеные кровавые драки с красными и портреты во всех газетах, во всех учебниках, на всех стенах,— лицо, которое казалось тогда значительным и прекрасным, а теперь стало дряблым, тупым, похожим на кабанье рыло, и огромный клыкастый брызжущий рот. Такие юные, такие серые, такие одинаковые... И глупые, и этой глупости сейчас не радуешься, не радуешься, что стал умнее, а только — обжигающий стыд за себя тогдашнего, серого, деловитого птенца, воображавшего себя ярким, незаменимым и отборным... И еще стыдные детские вожделения, и томительный страх перед девчонкой, о которой ты уже столько нахвастался, что теперь просто невозможно отступить, а на другой день — оглушительный гнев отца и пылающие уши, и все это называется счастливой порой: серость, вожделение, энтузиазм... Плохо дело, думал он. А вдруг через пятнадцать лет окажется, что и нынешний я так же сер и несвободен, как и в детстве, и даже хуже, потому что теперь я считаю себя взрослым, достаточно много знающим и достаточно пережившим, чтобы иметь основания для самодовольства и для права судить.

Скромность и только скромность, до самоуничижения... и только правда, никогда не ври, по крайней мере — самому себе, но это ужасно: самоуничтожаться, когда вокруг столько идиотов, развратников, корыстных лжецов, когда даже лучшие испещрены пятнами, как прокаженные... Хочешь ты снова стать юным? Нет. А хочешь ты прожить еще пятнадцать лет? Да. Потому что жить — это хорошо. Даже когда получаешь удары. Лишь бы иметь возможность бить в ответ... Ну ладно, хватит. Остановимся на том, что настоящая жизнь есть способ существования, позволяющий наносить ответные удары. А теперь пойдем и посмотрим, какими они стали...

В зале было довольно много ребятишек и стоял обычный гам, который стих, когда Бол-Кунац вывел Виктора на сцену и усадил под огромным портретом президента — даром

доктора Р.Квадриги — за стол, покрытый красно-белой скатертью. Потом Бол-Кунац вышел на край сцены и сказал:

— Сегодня с нами будет беседовать известный писатель Виктор Банев, уроженец нашего города.— Он повернулся к Виктору: — Как вам удобнее, чтобы вопросы задавали с места или в письменном виде?

— Мне все равно,— сказал Виктор легкомысленно.— Лишь бы их было побольше.

— В таком случае, прошу вас.

Бол-Кунац спрыгнул со сцены и сел в первом ряду. Виктор почесал бровь, оглядывая зал. Их было человек пятьдесят — мальчиков и девочек в возрасте от десяти до четырнадцати лет — и они смотрели на него со спокойным ожиданием. Похоже, тут одни вундеркинды, подумал он мельком. Во втором ряду справа он увидел Ирму и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ.

— Я учился в этой самой гимназии,— начал Виктор,— и на этой самой сцене мне довелось однажды играть Озрика. Роли я не знал, и мне пришлось сочинять ее на ходу. Это было первое, что я сочинил в своей жизни не под угрозой двойки. Говорят, что теперь стало учиться труднее, чем в мое время. Говорят, у вас появились новые предметы, и то, что мы проходили за три года, вы должны проходить за год. Но вы, наверное, не замечаете, что стало труднее. Ученые полагают, что человеческий мозг способен вместить гораздо больше сведений, нежели кажется на первый взгляд обыкновенному человеку. Надо только уметь эти сведения впихнуть...— Ага, подумал он, сейчас я им расскажу про гипнопедию. Но тут Бол-Кунац передал ему записку: «Не надо рассказывать о достижениях науки. Говорите с нами как с равными. Валерьянс, 6 кл.» — Так,— сказал Виктор.— Тут некий Валерьянс из шестого класса предлагает мне разговаривать с вами как с равными, и предупреждает, чтобы я не излагал достижения науки... Должен тебе сказать, Валерьянс, что я действительно намеревался сейчас поговорить о достижениях гипнопедии. Однако я охотно откажусь от своего намерения, хотя и считаю долгом проинформировать тебя, что большинство равных мне взрослых имеет о гипнопедии лишь самое смутное представление.— Ему было неудобно говорить сидя, он встал и прошелся по сцене.— Должен вам

признаться, ребята, что я не любитель встречаться с читателями. Как правило, совершенно невозможно понять, с каким читателем имеешь дело, что ему от тебя надо и что его, собственно, интересует. Поэтому я стараюсь каждое свое выступление превращать в вечер вопросов и ответов. Иногда получается довольно забавно. Давайте начну спрашивать я. Итак. Все ли читали мои произведения?

— Да,— отозвались детские голоса.— Читали... Все...

— Прекрасно,— сказал Виктор озадаченно.— Польщен, хотя и удивлен. Ну, ладно, далее... Желает ли собрание, чтобы я рассказал историю написания какого-нибудь своего романа?

Последовало недолгое молчание, затем в середине зала воздвигся худой прыщавый мальчик, сказал: «Нет»,— и снова сел.

— Прекрасно,— сказал Виктор.— Это тем более хорошо, что, вопреки широко распространенному мнению, ничего интересного в историях написания не бывает. Пойдемте дальше... Желают ли уважаемые слушатели узнать о моих творческих планах?

Бол-Кунац поднялся и вежливо сказал:

— Видите ли, господин Банев, вопросы, непосредственно связанные с техникой вашего творчества, лучше было бы обсудить в самом конце беседы, когда прояснится общая картина.

Он сел. Виктор сунул руки в карманы и снова прошелся по сцене. Становилось интересно или, во всяком случае, необычно.

— А может быть, вас интересуют литературные анекдоты? — вкрадчиво спросил он.— Как я охотился с Хемингуэем. Как Эренбург подарил мне русский самовар. Или что мне сказал Зурзмансор, когда мы встретились с ним в трамвае...

— Вы действительно встречались с Зурзмансором? — спросили из зала.

— Нет, это я шучу,— сказал Виктор.— Так что мы решим насчет литературных анекдотов?

— Можно вопрос? — сказал, воздвигаясь, прыщавый мальчик.

— Да, конечно.

— Какими бы вы хотели видеть нас в будущем?

Без прыщей, мелькнуло в голове у Виктора, но он отогнал эту мысль, потому что понял: становится жарко. Вопрос был сильный. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь сказал мне, каким я хочу видеть самого себя в настоящем, подумал он. Однако надо было отвечать.

— Умными,— сказал он наугад.— Честными. Добрыми... Хотел бы, чтобы вы любили свою работу... и работали бы только на благо людей. (Несу, подумал он. Да и как тут не нести?) Вот примерно так...

Зал тихонько зашумел, потом кто-то спросил, не вставая:

— Вы действительно считаете, что солдат главнее физика?

— Я?! — возмутился Виктор.

— Так я понял из вашей повести «Беда приходит ночью».

Это был белобрысый клоп десяти лет от роду. Виктор крякнул. «Беда» могла быть плохой книгой и могла быть хорошей книгой, но она ни при каких обстоятельствах не была детской книгой. Она до такой степени не была детской книгой, что в ней не разобрался ни один из критиков: все сочли ее порнографическим чтивом, подрывающим общественную мораль и национальное самосознание. И что самое ужасное, белобрысый клоп имел основания полагать, что автор «Беды» считает солдата «главнее» физика — во всяком случае, в некоторых отношениях.

— Дело в том,— сказал Виктор проникновенно,— что... как бы тебе сказать... всякое бывает.

— Я вовсе не имею в виду физиологию,— возразил белобрысый клоп.— Я говорю об общей концепции книги. Может быть, «главнее» не то слово...

— Я тоже не имею в виду физиологию,— сказал Виктор.— Я хочу сказать, что бывают ситуации, когда уровень знаний не имеет значения.

Бол-Кунац принял из зала и передал ему две записки: «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?» и «Что такое умный человек?» Виктор начал со второго вопроса — он был проще.

— Умный человек,— сказал он,— это тот человек, который сознает несовершенство, незаконченность своих знаний, стремится их пополнять и в этом преуспевает... Вы со мной согласны?

— Нет,— сказала, приподнявшись, хорошенькая девочка.

— А в чем дело?

— Ваше определение не функционально. Любой дурак, пользуясь этим определением, может полагать себя умным. Особенно, если окружающие поддерживают его в этом мнении.

Да-а, подумал Виктор. Его охватила легкая паника. Это тебе не с братьями-писателями разговаривать.

— В какой-то степени вы правы,— сказал он, неожиданно для себя переходя на «вы».— Но дело в том, что вообще-то «дурак» и «умный» — понятия исторические и, скорее, субъективные.

— Значит, вы сами не беретесь отличить дурака от умного? — Это из задних рядов — смуглое существо с прекрасными библейскими глазами, стриженное наголо.

— Отчего же,— сказал Виктор.— Берусь. Но я не уверен, что вы всегда со мной согласитесь. Есть старый афоризм: дурак — это просто инакомыслящий...— Обычно это присловье вызывало у слушателей смех, но сейчас зал молча ждал продолжения.— Или инакочувствующий,— добавил Виктор.

Он остро ощущал разочарование зала, но он не знал, что еще сказать. Контакта не получалось. Как правило, аудитория легко переходит на позиции выступающего, соглашается с его суждениями, и всем становится ясно, кто такие дураки, причем подразумевается, что здесь, в этом зале, дураков нет. В худшем случае аудитория не соглашалась и настраивалась враждебно, но и тогда бывало легко, потому что оставалась возможность язвить и высмеивать, а одному спорить с многими нетрудно, так как противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовлетворению.

— Я не совсем понимаю,— произнесла хорошенькая девочка.— Вы хотите, чтобы мы были умными, то есть, согласно вашему же афоризму, мыслили и чувствовали так же, как и вы. Но я прочла все ваши книги и нашла в них только отрицание. Никакой позитивной программы. С другой стороны, вам хотелось бы, чтобы мы работали на благо людей. То есть фактически на благо тех грязных и неприятных типов, которыми наполнены ваши книги. А ведь вы отражаете действительность, правда?

Виктору показалось, что он нащупал, наконец, дно под ногами.

— Видите ли,— сказал он,— под работой на благо людей я как раз понимаю превращение людей в чистых и приятных. И это мое пожелание не имеет никакого отношения к моему творчеству. В книгах я пытаюсь изобразить все, как оно есть, я не пытаюсь учить или показывать, что нужно делать. В лучшем случае я показываю объект приложения сил, обращаю внимание на то, с чем нужно бороться. Я не знаю, как изменять людей, если бы я знал, я был бы не модным писателем, а великим педагогом или знаменитым психосоциологом. Художественной литературе вообще противопоказано поучать или вести, предлагать конкретные пути или создавать конкретную методологию. Это можно видеть на примере крупнейших писателей. Я преклоняюсь перед Львом Толстым, но только до тех пор, пока он является своеобразным, уникальным по отражательному таланту зеркалом действительности. А как только он начинает учить меня ходить босиком или подставлять щеку, меня охватывают жалость и тоска... Писатель — это прибор, показывающий состояние общества, и лишь в ничтожной степени — орудие для изменения общества. История показывает, что общество изменяют не литературой, а реформами или пулеметами, а сейчас еще и наукой. Литература в лучшем случае показывает, в кого надо стрелять или что нуждается в изменении...— Он сделал паузу, вспомнив о том, что есть еще Достоевский и Фолкнер. Но пока он придумывал, как бы ввернуть насчет роли литературы в изучении подноготной индивидуума, из зала сообщили:

— Простите, но все это довольно тривиально. Дело ведь не в этом. Дело в том, что изображаемые вами объекты совсем не хотят, чтобы их изменяли. И потом они настолько неприятны, настолько запущены, так безнадежны, что их не хочется изменять. Понимаете, они не стоят этого. Пусть уж себе догнивают — они ведь не играют никакой роли. На благо кого же мы должны, по-вашему, работать?

— Ах вот вы о чем!..— медленно сказал Виктор.

До него вдруг дошло: боже мой, да ведь эти сопляки всерьез полагают, будто я пишу только о подонках, что я всех считаю подонками, но они же ничего не поняли, да и

откуда им понять, это же дети, странные дети, болезненно умные дети, но всего лишь дети, с детским жизненным опытом и с детским знанием людей плюс куча прочитанных книг, с детским идеализмом и с детским стремлением разложить все по полочкам с табличками «плохо» и «хорошо». Совершенно как братья-литераторы...

— Меня обмануло, что вы говорите, как взрослые,— сказал он.— Я даже забыл, что вы — не взрослые еще. Я понимаю, это непедагогично — так говорить, но говорить это приходится, иначе мы никогда не выпутаемся. Все дело в том, что вы, по-видимому, не понимаете, как небритый, истеричный, вечно пьяный мужчина может быть замечательным человеком, которого нельзя не любить, перед которым преклоняешься, полагаешь за честь пожать его руку, потому что он прошел через такой ад, что и подумать страшно, а человеком все-таки остался. Всех героев моих книг вы считаете нечистыми подонками, но это еще полбеды. Вы считаете, будто и я отношусь к ним так же, как вы. Вот это уже беда. Беда в том смысле, что так мы никогда не поймем друг друга.

Черт его знает, какой реакции он ожидал на свою благодушную отповедь. То ли они начнут смущенно переглядываться, или лица их озарятся пониманием, или некий вздох облегчения пронесется по залу в знак того, что недоразумение благополучно разъяснилось и теперь можно все начинать сначала, на новой, более реалистической основе... Во всяком случае, ничего этого не произошло. В задних рядах снова встал мальчик с библейскими глазами и спросил:

— Вы не могли бы нам сказать, что такое прогресс?

Виктор почувствовал себя оскорбленным. Ну конечно, подумал он. А потом они спросят, может ли машина мыслить и есть ли жизнь на Марсе. Все возвращается на круги своя.

— Прогресс,— сказал он,— это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга.

— А чем же они занимаются? — спросил толстый мальчик справа.

— Выпивают и закусывают квантум сатис,— пробормотал кто-то слева.

— А почему бы и нет? — сказал Виктор.— История человечества знает не так уж много эпох, когда люди могли

выпивать и закусывать квантум сатис. Для меня прогресс — это движение к состоянию, когда не топчут и не убивают. А чем они там будут заниматься — это, на мой взгляд, не так уж существенно. Если угодно, для меня прежде всего важны необходимые условия прогресса, а достаточные условия — дело наживное...

— Разрешите мне,— сказал Бол-Кунац.— Давайте рассмотрим такую схему. Автоматизация развивается в тех же темпах, что и сейчас. Тогда через несколько десятков лет подавляющее большинство активного населения Земли выбрасывается из производственных процессов и из сферы обслуживания за ненадобностью. Будет очень хорошо: все сыты, топтать друг друга ни к чему, никто друг другу не мешает... и никто никому не нужен. Есть, конечно, несколько сотен тысяч человек, обеспечивающих бесперебойную работу старых машин и создание машин новых, но остальные миллиарды друг другу просто не нужны. Это хорошо?

— Не знаю,— сказал Виктор.— Вообще-то это не совсем хорошо... Это как-то обидно... Но должен вам сказать, что это все-таки лучше, чем то, что мы видим сейчас. Так что определенный прогресс все-таки налицо.

— А вы сами хотели бы жить в таком мире?

Виктор подумал.

— Знаете,— сказал он,— я его как-то плохо себе представляю, но если говорить честно, то было бы недурно попробовать.

— А вы можете представить себе человека, которому жить в таком мире категорически не хочется?

— Конечно, могу. Есть люди, и я таких знаю, которые там бы заскучали. Власть там низачем не нужна, командовать некем, топтать незачем. Правда, они вряд ли откажутся — все-таки это редчайшая возможность превратить рай в свинарник... или в казарму. Они бы этот мир с удовольствием разрушили... Так что, пожалуй, не могу.

— А ваших героев, которых вы так любите, устроило бы такое будущее?

— Да, конечно. Они обрели бы там заслуженный покой.

Бол-Кунац сел, зато снова поднялся прыщавый юнец и, горестно кивая, заговорил:

— Вот в этом все дело... Не в том дело, понимаем мы реальную жизнь или нет, а в том дело, что для вас и ваших героев такое будущее вполне приемлемо, а для нас — это могильник. Конец надежд. Конец человечества. Тупик. Вот потому-то мы и говорим, что не хочется тратить силы, чтобы работать на благо ваших жаждущих покоя и по уши перепачканных типов. Вдохнуть в них энергию для настоящей жизни уже невозможно. И как вы там хотите, господин Банев, но вы показали нам в своих книгах — в интересных книгах, я полностью «за»,— показали нам не объект приложения сил, а показали нам, что объектов для приложения сил в человечестве нет, по крайней мере — в вашем поколении... Вы сожрали себя, простите, пожалуйста, вы растратили себя на междуусобные драки, на вранье и на борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье... Как это у вас поется: «Правда и ложь, вы не так уж несхожи, вчерашняя правда становится ложью, вчерашняя ложь превращается завтра в чистейшую правду, в привычную правду...» Вот так вы и мотаетесь от вранья к вранью. Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше? Вы ругали правительство и порядки, как будто вы не знаете, что лучшего правительства и лучших порядков ваше поколение... да попросту недостойно. Вас били по физиономии, простите, пожалуйста, а вы упорно долбили, что человек по природе добр... или, того хуже, что человек — это звучит гордо. И кого только вы не называли человеком!..

Прыщавый оратор махнул рукой и сел. Воцарилось молчание, затем он снова встал и сообщил:

— Когда я говорил «вы», я не имел в виду персонально вас, господин Банев.

— Благодарю вас,— сердито сказал Виктор.

Он ощущал раздражение: этот прыщавый сопляк не имел права говорить так безапелляционно, это наглость и дерзость... дать по затылку и вывести за ухо из комнаты. Он ощущал неловкость — многое из сказанного было правдой, и он сам думал так же, а теперь попал в положение человека, вынужденного защищать то, что он ненавидит. Он ощущал растерянность — непонятно было, как вести себя дальше, как

продолжать разговор и стоит ли вообще продолжать... Он оглядел зал и увидел, что его ответа ждут, что Ирма ждет его ответа, что все эти розовощекие и конопатые чудовища думают одинаково, и прыщавый наглец только высказал общее мнение и высказал его искренне, с глубоким убеждением, а не потому что прочел вчера запрещенную брошюру, что они действительно не испытывают ни малейшего чувства благодарности или хотя бы элементарного уважения к нему, Баневу, за то, что он пошел добровольцем в гусары, и ходил на «рейнметаллы» в конном строю, и едва не подох от дизентерии в окружении, и резал часовых самодельным ножом, а потом, уже на гражданке, дал по морде спецуполномоченному, который предложил ему подписать донос, и шлялся без работы с дырой в легких, и спекулировал фруктами, хотя ему предлагали очень выгодные должности... А почему, собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до подобного положения... Тут он содрогнулся, представив себе, какую огромную мыслительную работу должны были проделать эти птенцы, чтобы прийти к выводам, к которым взрослые приходят, ободрав с себя всю шкуру, обратив душу в развалины, исковеркав свою жизнь и множество соседних жизней... да и то не все, а только некоторые, а большинство и до сих пор считает, что все было правильно и очень здорово, и если понадобится — готовы начать все сначала... Неужели все-таки настали новые времена? Он глядел в зал почти со страхом. Кажется, будущему удалось все-таки запустить щупальца в самое сердце настоящего, и это будущее было холодным, безжалостным, ему было наплевать на все заслуги прошлого — истинные или мнимые.

— Ребята,— сказал Виктор.— Вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. И ничего она не может принести, кроме нового горя, новых слез и новых подлостей. Вот что вы имейте в виду. И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир и на его костях построить новый — это очень старая идея. И ни разу пока она не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает желание беспощадно разрушать, особенно легко приспосабливается к

процессу разрушения, к жестокости, к беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохранятся, становится хозяином и в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожишь. Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!

Вдруг весь зал поднялся. Это было совершенно неожиданно, и у Виктора мелькнула сумасшедшая мысль, что ему удалось, наконец, сказать нечто такое, что поразило воображение слушателей. Но он уже видел, что от дверей идет мокрец, тощий, легкий, почти нематериальный, словно тень, и дети смотрят на него, и не просто смотрят, а тянутся к нему, а он сдержанно поклонился Виктору, пробормотал извинения и сел с краю, рядом с Ирмой, и все дети тоже сели, а Виктор смотрел на Ирму и видел, что она счастлива, что она старается не показать этого, но удовольствие и радость так и брызжут из нее. И прежде чем он успел опомниться, заговорил Бол-Кунац.

— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев,— сказал он.— Мы совсем не жестоки, а если и жестоки с вашей точки зрения, то лишь теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы — жестоки: вы не представляете себе строительство нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. Мы даже поможем вашему поколению создать этот ваш рай, выпивайте и закусывайте на здоровье. Строить, господин Банев, только строить. Ничего не разрушать, только строить.

Виктор, наконец, оторвал взгляд от Ирмы и собрался с мыслями.

— Да,— сказал он.— Конечно. Валяйте, стройте. Я целиком с вами. Вы меня ошеломили сегодня, но я все равно с вами... Если понадобится, я даже откажусь от выпивки и закуски... Не забывайте только, что старые миры приходилось разрушать именно потому, что они мешали... мешали строить новое, не любили новое, давили его...

— Нынешний старый мир,— загадочно сказал Бол-Кунац,— нам мешать не станет. Он будет нам даже помогать. Прежняя история прекратила течение свое, не надо на нее ссылаться.

— Что ж, тем лучше,— сказал Виктор устало.— Очень рад, что у вас так удачно все складывается...

Славные мальчики и девочки, подумал он. Странные, но славные. Жалко их, вот что... подрастут, полезут друг на друга, размножатся, и начнется работа за хлеб насущный... Нет, подумал он с отчаяньем. Может быть, и обойдется... Он сгреб со стола записки. Их накопилось довольно много: «Что такое факт?», «Может ли считаться честным и добрым человек, который работает на войну?», «Почему вы так много пьете?», «Ваше мнение о Шпенглере?»...

— Тут у меня несколько вопросов,— сказал он.— Не знаю, стоит ли теперь...

Прыщавый нигилист поднялся и сказал:

— Видите ли, господин Банев, я не знаю, что там за вопросы, но дело-то в том, что это, в общем, не важно. Мы ведь просто хотели познакомиться с современным известным писателем. Каждый известный писатель выражает идеологию современного общества или части общества, а нам нужно знать идеологов современного общества. Теперь мы знаем больше, чем знали до встречи с вами. Спасибо.

В зале зашевелились, загомонили: «Спасибо... Спасибо, господин Банев», стали подниматься, выбираться со своих мест, а Виктор стоял, стиснув в кулаке записки, и чувствовал себя болваном, и знал, что красен, что вид имеет растерянный и жалкий, но он взял себя в руки, сунул записки в карман и спустился со сцены.

Самым трудным было то, что он так и не понял, как следует относиться к этим детям. Они были ирреальны, они были невозможны, их высказывания, их отношение к тому, что он написал, и к тому, что он говорил, не имело никаких точек соприкосновения с торчащими косичками, взлохмаченными вихрами, с плохо отмытыми шеями, с цыпками на худых руках, с писклявым шумом, который стоял вокруг. Словно какая-то сила, забавляясь, совместила в пространстве детский сад и диспут в научной лаборатории. Совместила несовместимое. Наверное, так чувствовала себя та подопытная кошка, которой дали кусочек рыбки, почесали за ухом и в тот же момент ударили электрическим током, взорвали под носом пороховой заряд и ослепили прожектором... Да, сочувственно сказал Виктор кошке, состояние которой он

представлял себе сейчас очень хорошо. Наша с тобой психика к таким шокам не приспособлена, мы с тобой от таких шоков и помереть можем...

Тут он обнаружил, что завяз. Его обступили и не давали пройти. На мгновение его охватил панический ужас. Он бы не удивился, если бы его сейчас молча и деловито повалили и принялись вскрывать на предмет исследования идеологии. Но они не хотели его вскрывать. Они протягивали ему раскрытые книжки, дешевые блокнотики, листки бумаги. Они лепетали: «Автограф, пожалуйста!» Они пищали: «Вот здесь, пожалуйста!» Они сипели ломающимися голосами: «Будьте добры, господин Банев!»

И он достал авторучку и принялся свинчивать колпачок, с интересом постороннего прислушиваясь к своим ощущениям, и он не удивился, ощутив гордость. Это были призраки будущего, и пользоваться у них известностью было все-таки приятно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

У себя в номере он сразу полез в бар, налил джину и выпил залпом, как лекарство. С волос по лицу и за шиворот стекала вода — оказывается, он забыл надеть капюшон. Брюки промокли по колено и облепили ноги — вероятно, он шагал, не разбирая дороги, прямо по лужам. Зверски хотелось курить — кажется, он ни разу не закурил за эти два с лишним часа...

Акселерация, твердил он про себя, когда сбрасывал прямо на пол мокрый плащ, переодевался, вытирал голову полотенцем. Это всего лишь акселерация, успокаивал он себя, раскуривая сигарету и делая первые жадные затяжки. Вот она — акселерация в действии, с ужасом думал он, вспоминая уверенные детские голоса, объявлявшие ему невозможные вещи. Боже, спаси взрослых, Боже, спаси их родителей, просвети их и сделай умнее, сейчас самое время... Для твоей же пользы прошу тебя, Боже, а то построят они тебе вавилонскую башню, надгробный памятник всем дуракам, которых ты выпустил на эту Землю плодиться и размножаться, не продумав как следует последствий акселерации... Простак ты, братец...

Виктор выплюнул на ковер окурок и раскурил новую сигарету. Чего это я разволновался? — подумал он.— Фантазия разыгралась... Ну дети, ну акселерация, ну не по годам развитые. Что я, не по годам развитых не видел? Откуда я взял, что они все это сами придумали? Нагляделись в городе всякой грязи, начитались книжек, все упростили и пришли, естественно, к выводу, что надобно строить новый мир. И совсем не все они там такие. Есть у них атаманы, крикуны — Бол-Кунац... прыщавый этот... и еще хорошенькая девчушка. Заводилы. А остальные — дети как дети, сидели, слушали и скучали... Он знал, что это неправда. Ну, положим, не скучали, слушали с интересом,— все-таки провинция, известный писатель... Черта с два в их возрасте я стал бы читать мои книги. Черта с два в их возрасте я пошел бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка — любоваться на ляжки канатоходицы. Глубоко начхать мне было и на старый мир, и на новый мир, я об этом и представления не имел — футбол до полного изнеможения, или вывинтить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло... Виктор откинулся в кресле и вытянул ноги. Мы все вспоминаем события счастливого детства с умилением и уверены, что со времен Тома Сойера так было, есть и будет. Должно быть. А если не так,— значит, ребенок ненормальный, вызывает со стороны легкую жалость, а при непосредственном столкновении — педагогическое негодование. А ребенок кротко смотрит на тебя и думает: ты, конечно, взрослый, здоровенный, можешь меня выпороть, однако как ты был с самого детства дураком, так дураком и останешься, помрешь дураком, но тебе этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать...

Виктор налил себе джину и стáл вспоминать, как все было, и ему пришлось сделать поспешный глоток, чтобы не завыть от срама. Как он приперся к этим ребятишкам, самодовольный и самоуверенный, сверху-вниз-смотрящий, модный остолоп, как он сразу начал с пошлятины, благоглупостей и псевдомужественного сюсюканья, и как его осадили, но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллектуальную недостаточность, как его честно пытались направить на путь истинный, и ведь предупреждали, но он все нес банальщину и тривиальщину, все воображал, что кривая

вывезет, что чего там, и так сойдет — а когда ему, наконец, потеряв терпение, надавали по морде, он малодушно ударился в слезы и стал жаловаться, что с ним плохо обращаются... и как он постыдно возликовал, когда они из жалости стали брать у него автографы... Виктор зарычал, поняв, что о сегодняшнем он, несмотря на всю свою натужную честность, никогда и никому не осмелится рассказать и что через какие-нибудь полчаса из соображений сохранения душевного равновесия он хитроумно перевернет все так, как будто учиненное сегодня над ним плюходействие было величайшим триумфом в его жизни, или, во всяком случае, довольно обычной и не слишком интересной встречей с периферийными вундеркиндами, которые — что с них взять? — дети, а потому неважно разбираются в литературе и в жизни... Меня бы в департамент просвещения, подумал он с ненавистью. Там такие всегда были нужны... Одно утешение, подумал он. Этих ребятишек пока еще очень мало, и если акселерация пойдет нынешними темпами, то к тому времени, когда их будет много, я уже, даст бог, благополучно помру. Как это славно — вовремя помереть!..

В дверь постучали. Виктор крикнул: «Да!» — и вошел Павор в поддельном бухарском халате, расстроенный, с распухшим носом.

— Наконец-то,— сказал он насморочным голосом, сел напротив, извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. Жалкое зрелище — ничего не осталось от прежнего Павора.

— Что — наконец-то? — спросил Виктор.— Джину хотите?

— Ох, не знаю...— отозвался Павор, хлюпая и всхлипывая.— Меня этот город доконает... Р-р-рум-чж-ж-жах! Ох...

— Будьте здоровы,— сказал Виктор.

Павор уставился на него слезящимися глазами.

— Где вы пропадаете? — спросил он капризно.— Я три раза к вам толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь, одно занятие здесь — чихать и сморкаться... в гостинице ни души, к швейцару обратился, так он мне, старый дурень, телефонную книгу предложил и старые проспекты... «Посетите наш солнечный город». У вас есть что-нибудь почитать?

— Вряд ли,— сказал Виктор.

— Какого черта, вы же писатель! Ну я понимаю, других вы никого не читаете, но себя-то уж наверняка иногда перелистываете... Вокруг только и говорят: Банев, Банев... Как там у вас называется? «Смерть после полудня»? «Полночь после смерти»? Не помню...

— «Беда приходит в полночь»,— сказал Виктор.

— Вот-вот. Дайте почитать.

— Не дам. Нету,— решительно сказал Виктор.— А если бы и была, все равно бы не дал. Вы бы мне ее засморкали. Да и не поняли бы вы там ничего.

— Почему это — не понял бы? — осведомился Павор с возмущением.— Там у вас, говорят, из жизни гомосексуалистов, чего же тут не понять?

— Сами вы...— сказал Виктор.— Давайте лучше джину выпьем. Вам с водой?

Павор чихнул, заворчал, в отчаянии оглядел комнату, закинул голову и снова чихнул.

— Башка болит,— пожаловался он.— Вот здесь... А где вы были? Говорят, встречались с читателями? С местными гомосексуалистами?

— Хуже,— сказал Виктор.— Я встречался с местными вундеркиндами. Вы знаете, что такое акселерация?

— Акселерация? Это что-то связанное с преждевременным созреванием? Слыхал, об этом одно время шумели, но потом в нашем департаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат личной заботы господина президента о подрастающем поколении львов и мечтателей, так что все стало на свои места. Но я-то знаю, о чем вы говорите, я этих местных вундеркиндов видел. Упаси бог от таких львов, ибо место им в кунсткамере.

— А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил Виктор.

— Может быть,— согласился Павор.— Только акселерация здесь ни при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра на два, как жирафы, и в двенадцать лет уже готовы размножаться. А здесь — детишки самые обыкновенные, а вот учителя у них...

— Что — учителя?

Павор чихнул.

— А вот учителя — необыкновенные,— сказал он гнусаво.

Виктор вспомнил директора гимназии.

— Что же в здешних учителях необыкновенного? — спросил он.— Что они ширинку забывают вовремя расстегнуть?

— Какую ширинку? — спросил Павор, озадаченно воззрившись на Виктора.— У них и ширинок-то никаких нет.

— А еще что? — спросил Виктор.

— В каком смысле?

— Что у них еще необыкновенного?

Павор долго сморкался, а Виктор посасывал джин и смотрел на него с жалостью.

— Ни черта, я вижу, вы не знаете,— сказал Павор, разглядывая засморканный платок.— Как справедливо утверждает господин президент, главное свойство наших писателей — это хроническое незнание жизни и отрешенность от интересов нации... Вот вы здесь уже больше недели. Были вы где-нибудь кроме кабака и санатория? Говорили вы с кем-нибудь кроме этой пьяной скотины Квадриги? Черт знает, за что вам деньги платят...

— Ну, ладно, хватит,— сказал Виктор.— Хватит с меня и газет. Тоже мне — критик в соплях, учитель без ширинки...

— А-а, не любите? — сказал Павор с удовлетворением.— Так и быть, не буду... Расскажите, как вы встречались с вундеркиндами.

— Да ну, что там рассказывать,— сказал Виктор.— Вундеркинды как вундеркинды...

— А все-таки?

— Ну, я пришел. Задали мне несколько вопросов. Интересные вопросы, вполне взрослые...— Виктор помолчал.— В общем, если говорить честно, мне там здорово всыпали.

— А какие вопросы? — спросил Павор. Он смотрел на Виктора с искренним интересом и, кажется, с сочувствием.

— Дело не в вопросах,— вздохнул Виктор.— Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не просто как взрослые, а как взрослые высокого класса... Адское, какое-то болезненное, несоответствие...— Павор сочувственно кивал.— Словом, плохо мне там было,— сказал Виктор.— Неохота вспоминать.

— Понятно,— сказал Павор.— Не вы первый, не вы последний. Должен вам сказать, что родители двенадцатилетнего ребенка — это всегда существа довольно жалкие, обремененные кучей забот. Но здешние родители — это что-то особенное. Они мне напоминают тылы оккупационной армии в районе активных партизанских действий... Ну, а о чем вас все-таки спрашивали?

— Ну, спрашивали, что такое прогресс.

— Так. И что же такое, по-ихнему, прогресс?

— А по-ихнему прогресс — это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать Зурзмансора и Шпенглера. Такое у меня, во всяком случае, создалось впечатление.

— Что же, очень даже может быть,— сказал Павор.— Каков поп, таков и приход. Вот вы говорите: акселерация, Зурзмансор... А вы знаете, что говорит по этому поводу нация?

— Кто-кто?

— Нация!.. Она говорит, что все беды от мокрецов. Дети свихнулись — от мокрецов...

— Это потому, что в городе нет евреев,— заметил Виктор. Потом вспомнил про мокреца, который пришел в зал, и как дети встали, и какое лицо было у Ирмы.— Вы это серьезно? — спросил он.

— Это не я,— сказал Павор.— Это голос нации. Вокс попули. Кошки из города сбежали, а детишки обожают мокрецов, шляются к ним в лепрозорий, днюют там и ночуют, отбились от рук, никого не слушаются. Воруют у родителей деньги и покупают книги... Говорят, сначала родители очень радовались, что дети не рвут штанов, лазая по заборам, а тихо сидят дома и почитывают книжечки. Тем более, что погода плохая. Но теперь уже все видят, к чему это привело и кто это затеял. И теперь уже больше никто не радуется. Однако мокрецов по старинке боятся и только рычат им вслед...

Голос нации, подумал Виктор. Голос Лолы и господина бургомистра. Слыхали мы этот голос... Кошки, дожди, телевизоры. Кровь христианских младенцев.

— Я не понимаю,— сказал он.— Вы это серьезно или от скуки?

— Это не я! — повторил Павор проникновенно.— Так говорят в городе.

— Как говорят в городе, мне ясно,— сказал Виктор.— А вы-то сами что об этом думаете?

Павор пожал плечами.

— Течение жизни,— туманно сказал он.— Трепотня пополам с истиной.— Он посмотрел на Виктора поверх платка.— Не считайте меня идиотом,— сказал он.— Вспомните лучше детей: где вы еще видели таких детей? Или, по крайней мере, столько таких детей?

Да, подумал Виктор, таких детей... Кошки кошками, но этот мокрец в зале — это вам не кошки пополам с дождем... Есть такое выражение: лицо, освещенное изнутри. Именно такое лицо было у Ирмы, а когда она разговаривает со мной, лицо ее освещено только снаружи. А с матерью она вообще не разговаривает — цедит сквозь зубы что-то брезгливо-снисходительное... Но только если все это так, если это правда, а не грязная болтовня, то выглядит это крайне нечистоплотно. Что им нужно от детей? Они же больные люди, обреченные... и вообще, что за свинство — настраивать детей против родителей, даже против таких родителей, как мы с Лолой. Хватит с нас господина президента: нация превыше родительских уз, Легион Свободы — ваш отец и ваша мать, и мальчишка идет в ближайший штаб и сообщает, что отец назвал господина президента странным человеком, а мать назвала походы Легиона разорительным предприятием. А теперь еще является черный мокрый дядя и уже безо всяких объявляет, что отец твой — пьяная безмозглая скотина, а мать — дура и шлюха. Положим, что это и верно, но все равно свинство, все это должно делаться не так, и не их это собачье дело, не они за это отвечают, и никто их не просит заниматься таким просветительством... Патология какая-то... Если только это просветительство. А если похуже? Дитя начинает розовыми губками лепетать о прогрессе, начинает говорить страшные, жестокие вещи, не ведая, что лепечет, но уже от младых ногтей приучаясь к интеллектуальной жестокости, к самой страшной жестокости, какую можно придумать, а они, намотав черные тряпки на шелушащиеся физиономии, стоят за сценой и дергают ниточки... и, значит, никакого нового поколения нет, а есть все та же старая и грязная игра в марионетки, и я был вдвойне ослом, когда обмирал сегодня на сцене... До чего же это мерзкая затея — наша цивилизация...

— Имеющий глаза да видит,— говорил Павор.— Нас не пускают в лепрозорий. Колючая проволока, солдаты, ладно. Но кое-что можно видеть и здесь, в городе. Я видел, как мокрецы разговаривают с мальчишками и как ведут себя при этом эти мальчишки, какими они становятся ангелочками, а спроси у него, как пройти к фабрике,— он тебя обольет презрением с ног до головы...

Нас не пускают в лепрозорий, думал Виктор. Колючая проволока, а мокрецы гуляют по городу свободно. Но не Голем же это выдумал... Вот сволочь, подумал он, отец нации. Вот мерзавец. Значит, и здесь его работа. Лучший друг детей... Очень может быть, очень на него похоже. А вы знаете, господин президент, на вашем месте я бы попытался разнообразить свои приемы. Слишком легко стало отличить ваш хвост от всех других хвостов. Колючая проволока, солдаты, пропуска — значит, господин президент; значит, обязательно какая-нибудь мерзость...

— На кой черт там колючая проволока? — спросил Виктор.

— А я откуда знаю? — сказал Павор.— Никогда раньше там не было колючей проволоки.

— Значит, вы там уже бывали?

— Почему? Не был. Но не первый же я здесь санитарный инспектор... да дело и не в колючей проволоке, мало ли на свете колючей проволоки. Детишек туда пропускают беспрепятственно, а нас с вами туда не пустят — вот что удивительно.

Нет, это все-таки не президент, думал Виктор. Президент и чтение Зурзмансора, да еще и Банева — это как-то не совмещается. И эта разрушительная идеология... Если бы я такое написал, меня бы распяли. Непонятно, непонятно... И нечисто... Спрошу-ка я у Ирмы, подумал он. Просто спрошу и посмотрю, что она будет делать... Между прочим, и Диана должна кое-что знать.

— Вы не слушаете? — спросил Павор.

— Виноват, задумался.

— Я говорю, что не удивился бы, если бы город принял меры. Причем, как и полагается городу, жестокие.

— Я тоже не удивился бы,— пробормотал Виктор.— Я не удивлюсь, если даже мне самому захочется принять кое-какие меры.

Павор поднялся и подошел к окну.

— Ну и погодка,— сказал он с тоской.— Уехать бы отсюда поскорее... Дадите вы мне книгу или нет?

— У меня нет книг,— сказал Виктор.— Все, что я с собой привез, все в санатории... Слушайте, а зачем мокрецам наши дети?

Павор пожал плечами.

— Это же больные люди,— ответил он.— Откуда нам знать? Мы-то с вами здоровые.

В дверь постучали, и вошел Голем, грузный и мокрый.

— Спросим Голема,— сказал Павор.— Голем, зачем мокрецам наши дети?

— Ваши дети? — сказал Голем, внимательно разглядывая этикетку на бутылке с джином.— У вас есть дети, Павор?

— Павор утверждает,— сказал Виктор,— будто ваши мокрецы настраивают городских детей против родителей. Что вы об этом знаете, Голем?

— Гм...— сказал Голем.— Где у вас чистые стаканы? Ага... Мокрецы настраивают детей? Ну что ж... Не они первые, не они последние.— Он прямо в плаще повалился на кушетку и понюхал джин в стакане.— И почему бы в наше время не настраивать детей против родителей, если белых настраивают против черных, а желтых настраивают против белых, а глупых настраивают против умных... Что вас, собственно, удивляет?

— Павор утверждает,— повторил Виктор,— что ваши больные шляются по городу и учат детей всяким странным вещам. Я тоже заметил кое-что подобное, хотя пока что ничего не утверждаю. Так вот, я ничему не удивляюсь, а спрашиваю вас: правда это или нет?

— Насколько я знаю,— сказал Голем, отхлебнув из стакана,— мокрецы спокон веков имели совершенно свободный доступ в город. Не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите про обучение всяким странным вещам, но позвольте мне спросить вас, аборигена этих мест: знакома ли вам игрушка под названием «злой волчок»?

— Ну, конечно,— сказал Виктор.

— У вас была такая игрушка?

— У меня, конечно, нет... но у ребят, помнится, была...— Виктор замолчал.— Да, действительно,— сказал он.— Ребята

говорили, что этот волчок подарил им мокрец. Вы это имеете в виду?

— Да, именно это. И «погодник», и «деревянную руку»...

— Пардон,— сказал Павор.— Можно узнать мне, пришлецу из столицы, о чем говорят аборигены?

— Нельзя,— сказал Голем.— Это не входит в вашу компетенцию.

— Откуда вы знаете, что входит и что не входит в мою компетенцию? — спросил Павор с обиженным видом.

— Знаю,— сказал Голем.— Догадываюсь, потому что мне так хочется... И перестаньте врать, вы же торговали у Тэдди «погодник» и прекрасно знаете, что это такое.

— Идите вы к черту,— сказал Павор капризно.— Я не про «погодник»...

— Погодите, Павор,— нетерпеливо сказал Виктор.— Голем, вы не ответили на мой вопрос.

— Разве? А мне показалось, что ответил... Видите ли, Виктор, мокрецы — глубоко и безнадежно больные люди. Это страшная штука — генетическая болезнь. Но при этом они сохраняют доброту и ум, так что не надо их обижать.

— Кто их обижает?

— А вы разве не обижаете?

— Пока нет. Пока даже наоборот.

— Ну, тогда все в порядке,— сказал Голем и поднялся.— Тогда поехали.

Виктор вытаращил глаза.

— Куда поехали?

— В санаторий. Я еду в санаторий, вы, я вижу, тоже собираетесь в санаторий, а вы, Павор, ложитесь в постель. Хватит распространять грипп.

Виктор посмотрел на часы.

— Не рано ли? — сказал он.

— Как угодно. Только имейте в виду, с сегодняшнего дня автобус отменили. За нерентабельностью.

— А может быть, сначала пообедаем?

— Как угодно,— повторил Голем.— Я никогда не обедаю. И вам не советую.

Виктор пощупал живот.

— Да,— сказал он. Потом он посмотрел на Павора.— Поеду, пожалуй.

— А мне-то что? — сказал Павор. Он был обижен.— Только книжек привезите.

— Обязательно,— пообещал Виктор и стал одеваться.

Когда они влезли в машину, под сырой брезент, в сырой, провонявший табаком, бензином и медикаментами кузов, Голем сказал:

— Вы намеки понимаете?

— Иногда,— ответил Виктор.— Когда знаю, что это намеки. А что?

— Так вот обратите внимание: намек. Перестаньте трепаться.

— Гм,— пробормотал Виктор.— И как прикажете это понимать?

— Как намек. Перестаньте болтать языком.

— С удовольствием,— сказал Виктор и замолчал, раздумывая.

Они пересекли город, миновали консервную фабрику, проехали пустой городской парк, запущенный, никлый, полусгнивший от сырости, промчались мимо стадиона, где полосатые от грязи «Братья по разуму» упорно лупили разбухшими бутсами по разбухшим мячам, и выкатили на шоссе, ведущее к санаторию. Вокруг, за пеленой дождя, лежала мокрая степь, ровная, как стол, когда-то сухая, выжженная, колючая, а теперь медленно превращающаяся в топкое болото.

— Ваш намек,— сказал Виктор,— напомнил мне один разговор — мой разговор с его превосходительством господином референтом господина президента по государственной идеологии. Его превосходительство вызвал меня в свой скромный кабинет — тридцать на двадцать — и осведомился: «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердительно. «Тогда перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мановением руки.

Голем усмехнулся.

— А чем вы, собственно, бренчали?

— Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо в молодежных клубах.

Голем покосился на него прищуренным глазом.

— Почему вы, собственно, так уверены, что я не шпик?

— А я в этом вовсе не уверен,— возразил Виктор.— Просто мне наплевать. Кроме того, сейчас не говорят «шпик». Шпик — это архаизм. Сейчас все культурные люди говорят «дятел».

— Не ощущаю разницы,— сказал Голем.

— Я практически тоже,— произнес Виктор.— Итак, не будем болтать языком. Ваш пациент выздоровел?

— Мои пациенты никогда не выздоравливают.

— У вас прекрасная репутация! Но я-то спрашиваю про того беднягу, который угодил в капкан. Как его нога?

Голем помолчал, а потом сказал:

— Которого из них вы имеете в виду?

— Не понимаю,— сказал Виктор.— Того, естественно, который попал в капкан.

— Их было четыре,— сказал Голем, всматриваясь в залитую дождем дорогу.— Один попал в капкан, другого вы тащили на спине, третьего я увез в машине, а из-за четвертого вы затеяли давеча безобразную драку в ресторане.

Виктор ошеломленно молчал. Голем тоже молчал. Он очень ловко вел машину, огибая многочисленные выбоины на старом асфальте.

— Ну-ну, не напрягайтесь так,— сказал он наконец.— Я пошутил. Он был один. И нога его зажила в ту же ночь.

— Это тоже шутка? — осведомился Виктор.— Ха, ха, ха. Теперь я понимаю, почему ваши больные никогда не выздоравливают.

— Мои больные,— сказал Голем,— никогда не выздоравливают по двум причинам. Во-первых, я, как и всякий порядочный врач, не умею лечить генетические болезни. А во-вторых, они не хотят выздоравливать.

— Забавно,— пробормотал Виктор.— Я уже столько наслушался об этих ваших мокрецах, что теперь, ей-богу, готов поверить во все: и в дожди, и в кошек, и в то, что раздробленная кость может зажить за одну ночь.

— В кошек? — сказал Голем.

— Ну да,— сказал Виктор.— Почему в городе не осталось кошек? Мокрецы виноваты. Тэдди от мышей пропадает... Вы бы посоветовали мокрецам вывести из города заодно и мышей.

— А-ля гаммельнский крысолов? — спросил Голем.

— Да,— легкомысленно подтвердил Виктор.— Именно а-ля.— Потом он вспомнил, чем кончилась история с гаммельнским крысоловом.— Ничего забавного тут нет,— сказал он.— Сегодня я выступал в гимназии. Видел ребятишек. И видел, как они встречали какого-то мокреца. Теперь я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день на городскую площадь выйдет мокрец с аккордеоном и уведет детишек к черту на рога.

— Вы не удивитесь,— сказал Голем.— Понятно. А еще что вы сделаете?

— Не знаю... Может быть, отберу у него аккордеон.

— И сами заиграете?

— Н-да,— вздохнул Виктор.— Это верно. Мне этих детей увлечь нечем, это я понял. Интересно, чем они увлекают? Вы ведь знаете, Голем.

— Виктуар, перестаньте бренчать,— сказал Голем.

— Как угодно,— сказал Виктор.— Вы очень старательно и более или менее ловко уклоняетесь от моих вопросов, я это заметил. Глупо. Я все равно узнаю, а вы потеряете возможность придать выгодную вам эмоциональную окраску этой информации.

— Сохранение врачебной тайны! — изрек Голем.— И потом, я ничего не знаю. Я могу только догадываться.

Он притормозил. Впереди, за вуалью дождя, появились какие-то фигуры, стоящие на дороге. Три серые фигуры и серый дорожный столб с указателями: «ЛЕПРОЗОРИЙ — 6 км» и «САН. "ТЕПЛЫЕ КЛЮЧИ" — 2,5 км». Фигуры отступили на обочину — взрослый мужчина и двое детей.

— А ну-ка остановитесь,— сказал Виктор, сразу охрипнув.

— Что случилось? — Голем затормозил.

Виктор не ответил. Он смотрел на людей у столба, на рослого черного мокреца в тренировочном костюме, пропитанном водой, на мальчика, который тоже был без плаща, в промокшем костюмчике и сандалиях, и на девочку, босую, в платье, облепившем тело. Затем он рывком распахнул дверцу и выскочил на дорогу. Дождь с ветром ударил ему в лицо, он даже захлебнулся, но не заметил этого. Он ощутил приступ нестерпимого бешенства, когда хочется все ломать, когда еще сознаешь, что намерен делать глупости, но это

сознание только радует. На негнущихся ногах он подошел вплотную к мокрецу.

— Что здесь происходит? — выдавил он сквозь зубы. А потом девочке, глядевшей на него с удивлением: — Ирма, немедленно иди в машину! — А потом снова мокрецу: — Черт бы вас побрал, что это вы делаете? — И снова Ирме: — Марш в машину, кому говорят?

Ирма не двинулась с места. Все трое стояли как прежде, глаза мокреца над черной повязкой спокойно помаргивали. Потом Ирма сказала с непонятной интонацией: «Это мой отец», и он вдруг сообразил, спинным мозгом понял, что здесь нельзя орать и замахиваться, нельзя угрожать, хватать за шиворот и тащить... вообще нельзя беситься. Он сказал очень спокойно:

— Ирма, иди в машину, ты вся промокла. Бол-Кунац, на твоем месте я бы тоже пошел в машину.

Он был уверен, что Ирма послушается, и она послушалась. Не совсем так, как ему хотелось бы. Нет, не то чтобы она хотя бы взглядом испросила у мокреца разрешения уйти, но осталась у него тень впечатления, будто что-то было, некий обмен мнениями, какое-то краткое совещание, в результате которого вопрос был решен в его пользу. Ирма задрала нос и направилась к машине, а Бол-Кунац сказал вежливо:

— Благодарю вас, господин Банев, но, право, я лучше останусь.

— Как хочешь,— сказал Виктор. Бол-Кунац его мало волновал. Сейчас нужно было что-то сказать этому мокрецу на прощание. Виктор заранее знал, что это будет нечто весьма глупое, но что делать? — уйти просто так он не мог. Из чисто престижных соображений. И он сказал.

— Вас, милостивый государь,— сказал он надменно,— я не приглашаю. Вы здесь, по-видимому, чувствуете себя как рыба в воде.

Затем он повернулся и, отшвырнув воображаемую перчатку, зашагал прочь. «Произнеся эти слова,— с отвращением подумал он,— граф с достоинством удалился...»

Ирма, забравшись с ногами на переднее сиденье, отжимала косички. Виктор пролез назад, покряхтывая от стыда, и, когда Голем тронул машину, сказал:

— Произнеся эти слова, граф удалился... Просунь сюда ноги, Ирма, я их разотру.

— Зачем? — с любопытством спросила Ирма.

— Воспаление легких получить хочешь? Давай сюда ноги!

— Пожалуйста,— сказала Ирма и, скособочившись на сиденье, просунула ему одну ногу.

Предвкушая, что вот сейчас он сделает, наконец, что-то естественное и полезное, Виктор взял обеими руками эту тощую девчоночью ногу, мокрую и трогательную, и вознамерился было ее растирать — до красноты, до багровости, добрыми суровыми отцовскими руками, эту грязную костлявую ледышку, извечный проводник насморков, гриппов, катаров дыхательных путей и двусторонних пневмоний,— когда обнаружил, что его ладони холоднее ее ноги. По инерции он сделал несколько оглаживающих движений, затем осторожно отпустил ногу. Да ведь я же знал это, подумал он вдруг, я же знал это, еще когда стоял перед ними, знал, что здесь есть какой-то подвох, что детям ничего не грозит, никакие катары и воспаления, только мне не хотелось этого, а хотелось спасать, вырывать из когтей, гневаться справедливо, исполнять долг, и опять меня обвели вокруг пальца, и я опять дурак дураком, второй раз за этот день...

— Забери свою ногу,— сказал он Ирме.

Ирма забрала ногу и спросила:

— Мы куда — в санаторий едем?

— Да,— ответил Виктор и посмотрел на Голема — не заметил ли тот позора. Голем невозмутимо смотрел за дорогой, грузно расплывшись на водительском сиденье, седой, неряшливый, сутулый и всезнающий.

— А зачем? — спросила Ирма.

— Переоденешься в сухое и ляжешь в постель,— сказал Виктор.

— Вот еще! — сказала Ирма.— Что это ты придумал?

— Ладно, ладно...— пробормотал Виктор.— Дам тебе книжки, и будешь читать.

Действительно, на кой черт я ее туда везу? — подумал он. Диана... Ну, это мы посмотрим. Никаких выпивок, и вообще ничего такого, но как я ее повезу обратно? А, черт,

возьму чью попало машину и отвезу... Хорошо бы сейчас чего-нибудь глотнуть.

— Голем...— начал было он, но спохватился. Дьявол, нельзя, неудобно.

— Да? — сказал Голем, не оборачиваясь.

— Нет, ничего,— вздохнул Виктор, уставясь на горлышко фляги, торчащее из кармана Големова плаща.— Ирма,— сказал он утомленно.— Что вы там делали на этом перекрестке?

— Мы думали туман,— ответила Ирма.

— Что?

— Думали туман,— повторила Ирма.

— Про туман,— поправил Виктор.— Или о тумане.

— Зачем это — про туман? — сказала Ирма.

— Думать — непереходный глагол,— объяснил Виктор.— Он требует предлогов. Вы проходили непереходные глаголы?

— Это когда как,— сказала Ирма.— Думать туман — это одно, а думать про туман — это совсем другое... и кому это нужно — думать про туман,— неизвестно.

Виктор вытащил сигарету и закурил.

— Погоди,— сказал он.— Думать туман — так не говорят, это неграмотно. Есть такие глаголы — непереходные: думать, бегать, ходить... Они всегда требуют предлога. Ходить по улице. Думать про... что-нибудь там...

— Думать глупости,— сказал Голем.

— Ну, это исключение,— сказал Виктор, несколько потерявшись.

— Ходить быстро,— сказал Голем.

— Быстро — это не существительное,— запальчиво сказал Виктор.— Не путайте ребенка, Голем.

— Папа, ты можешь не курить? — осведомилась Ирма.

Кажется, Голем издал какой-то звук, а может быть, это мотор чихнул на подъеме. Виктор смял сигарету и растоптал ее каблуком. Они поднимались к санаторию, а сбоку, из степи, навстречу дождю надвигалась плотная белесая стена.

— Вот тебе и туман,— сказал Виктор.— Можешь его думать. А также его нюхать, бегать и ходить.

Ирма хотела что-то сказать, но Голем перебил ее.

— Между прочим,— сказал он.— Глагол «думать» выступает как переходный также и в сложноподчиненных предложениях. Например: я думаю, что... и так далее.

— Это совсем другое дело,— возразил Виктор. Ему надоело. Ему очень хотелось курить и выпить. Он с вожделением поглядел на горлышко фляги.

— Тебе не холодно, Ирма? — спросил он с неясной надеждой.

— Нет. А тебе?

— Познабливает,— признался Виктор.

— Надо выпить джину,— заметил Голем.

— Да, неплохо бы... А у вас есть?

— Есть,— сказал Голем.— Но мы уже почти приехали.

Джип вкатился в ворота, и тут началось то, о чем Виктор как-то не подумал. Первые струи тумана еще только начали просачиваться через решетку ограды, и видимость была прекрасная. На подъездной дорожке лежало тело в промокшей пижаме; лежало с таким видом, словно пребывало здесь уже много дней и ночей. Голем осторожно объехал его, миновал гипсовую вазу, украшенную незамысловатыми рисунками и соответствующими надписями, и приткнулся к стаду машин, сгрудившихся перед подъездом правого крыла. Ирма распахнула дверцу, и сейчас же испитая морда высунулась из окна ближайшей машины и проблеяла: «Деточка, хочешь, я тебе отдамся?» Виктор, обмирая, полез наружу. Ирма с любопытством озиралась. Виктор крепко взял ее за руку и повел к подъезду. На ступеньках сидели под дождем, обнявшись, две девки в белье и уличными голосами пели про жестокого аптекаря,— не отпускает героин. Узрев Виктора, они замолчали, но, когда он проходил мимо, одна из них попыталась ухватить его за брюки. Виктор втолкнул Ирму в вестибюль. Здесь было темно, окна занавешены, воняло табачным дымом и какой-то кислятиной, трещал проекционный аппарат, и на белой стене прыгали порнографические изображения. Виктор, стиснув зубы, шагал по чьим-то ногам, волоча за собой спотыкающуюся Ирму. Вслед неслась сердитая нецензурщина. Они выбрались из вестибюля, и Виктор пошел шагать через три ступеньки по ковровой лестнице. Ирма помалкивала, и он не рисковал взглянуть на нее.

На лестничной площадке его уже ждал с распростертыми объятьями синий и раздутый член парламента Росшепер Нант. «Виктуар! — просипел он.— Др-руг! — Тут он заметил Ирму и пришел в восторг.— Виктуар! И ты тоже!.. На малолетних малолеточек!..» Виктор зажмурился, крепко наступил ему на ногу и толкнул в грудь — Росшепер повалился спиной, опрокинув урну. Обливаясь потом, Виктор зашагал по коридору. Ирма неслышными прыжками неслась рядом. Он ткнулся в дверь Дианы — дверь была заперта, ключа не было. Он бешено застучал, и Диана немедленно откликнулась. «Пошел к чертовой матери! — заорала она яростно.— Импотент вонючий! Говнюк, дерьмо собачье!» — «Диана! — рявкнул Виктор.— Открывай!» Диана замолчала, и дверь распахнулась. Она стояла на пороге с импортным зонтиком наготове. Виктор отпихнул ее, втолкнул Ирму в комнату и захлопнул за собой дверь.

— А, это ты,— сказала Диана.— Я думала, опять Росшепер.— От нее пахло спиртным.— Господи,— сказала она.— Кого ты привел?

— Это моя дочь,— с трудом сказал Виктор.— Ее зовут Ирма. Ирма, это Диана.

Он смотрел на Диану в упор, с отчаянием и надеждой. Слава богу, кажется, она не была пьяна. Или сразу протрезвела.

— Ты с ума сошел,— сказала она тихо.

— Она промокла,— проговорил он.— Переодень ее в сухое, уложи в постель, и вообще...

— Я не лягу,— заявила Ирма.

— Ирма,— сказал Виктор.— Изволь слушаться, а то я сейчас кого-нибудь выпорю...

— Кое-кого здесь надо бы выпороть,— сказала Диана безнадежно.

— Диана,— сказал Виктор.— Я тебя прошу.

— Ладно,— сказала Диана.— Иди к себе. Разберемся.

Виктор с огромным облегчением вышел. Он отправился прямо в свою комнату, но и там не было покоя. Ему пришлось предварительно вышвырнуть в коридор разнежившуюся совершенно незнакомую парочку и испачканное постельное белье. Потом он запер дверь, повалился на голый матрас, закурил отсыревшую сигарету и стал думать, что же он натворил.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На другой день Виктор проснулся поздно, пора было обедать. Голова побаливала, но настроение оказалось неожиданно хорошим.

Вчера вечером, прикончив пачку сигарет, он спустился вниз, открыл дамской шпилькой чью-то машину, вывел Ирму через служебный вход и отвез ее к матери. Вначале они ехали молча. Он корчился от неприятнейших переживаний, а Ирма сидела рядом, чистенькая, опрятная, причесанная по последней моде — никаких косичек,— кажется даже, с накрашенными губами. Ему очень хотелось завязать разговор, но начинать надо было с признания своей беспросветной глупости, а это казалось ему непедагогичным. Кончилось все тем, что Ирма вдруг ни с того ни с сего разрешила ему курить (при условии, если все окна будут открыты) и принялась рассказывать, как ей было интересно, как это похоже на то, что она читала раньше, но не очень верила, какой он молодец, что устроил ей это неожиданное и в высшей степени поучительное приключение, что он вообще довольно хороший, не разводит скуку и не болтает глупостей, что Диана — «почти наша», всех ненавидит, но жалко вот, что у нее мало знаний, и слишком уж она любит выпить, но это, в конце концов, не страшно, ты тоже любишь выпить, а ребятам ты понравился, потому что говорил честно, не притворялся каким-нибудь хранителем высшего знания, и правильно, потому что никакой ты не хранитель, и даже Бол-Кунац сказал, что в городе ты — единственный стоящий человек, если не считать, конечно, доктора Голема, но Голем, собственно, к городу не имеет никакого отношения, и потом он не писатель, не выражает идеологии, а как ты считаешь, нужна идеология или лучше без нее, сейчас многие полагают, что будущее за деидеологизацией...

Получился прекрасный разговор, собеседники были полны уважения друг к другу, и, вернувшись в гостиницу (автомобиль он загнал в какой-то захламленный двор), Виктор уже считал, что быть отцом — не такое уж неблагодарное занятие, особенно если разбираешься в жизни и умеешь использовать даже теневые ее стороны в воспитательных целях. По этому поводу он выпил с Тэдди, который тоже был

отцом и тоже интересовался воспитанием, ибо его первенцу было четырнадцать лет — тяжелый переломный возраст, ты еще со своей наплачешься... то есть это его первому внуку было четырнадцать лет, а воспитанием сына он не занимался потому, что сын свое детство провел в немецком концлагере. Детей бить нельзя,— утверждал Тэдди. Их и без тебя будут всю жизнь колотить кому не лень, а если тебе хочется его ударить, дай лучше по морде самому себе, это будет гораздо полезнее.

После какой-то рюмки, однако, Виктор вспомнил, что Ирма ни словом не обмолвилась о его диком поведении у перекрестка, и пришел к выводу, что девчонка хитра и что вообще прибегать каждый раз к помощи любовницы, когда не знаешь, как выбраться из тяжелого положения, в которое сам же себя и загнал,— по меньшей мере нечестно. Эти соображения огорчили его, но тут пришел доктор Р.Квадрига и заказал свою обычную бутылку рома, и они выпили эту бутылку, после чего Виктору все опять представилось в радужном свете, потому что стало ясно, что Ирма попросту не хотела огорчать его, а это значит, что она уважает своего отца и, может быть, даже любит... Потом пришел еще кто-то и заказал еще что-то... Потом, вероятно, Виктор отправился спать... Вероятно... Надо полагать, что спать... Правда, сохранилось еще одно — отдельное — воспоминание: кафельный пол, сплошь залитый водой,— но что это был за пол и что это была за вода, вспомнить оказалось совершенно невозможно. И не надо...

Приведя себя в порядок, Виктор спустился вниз, взял у портье свежие газеты и поговорил с ним о проклятой погоде.

— Как я вчера? — спросил он небрежно.— Ничего?

— В общем, ничего,— сказал портье вежливо.— Счет вам Тэдди передаст.

— Ага,— сказал Виктор и, решив пока ничего не уточнять, пошел в ресторан.

Ему показалось, что торшеров в зале поубавилось. Черт возьми, подумал он с некоторым испугом. Тэдди еще не было. Виктор поклонился молодому человеку в очках и его спутнику, сел за свой столик и развернул газету. В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала

решительные протесты. Страны, которые нравились господину президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские, злодейские нападения. Сам господин президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин. Знакомый критик — большая сволочь — восхвалял новую книгу Роц-Тусова, и это было загадочно, потому что книга получилась хорошая.

Подошел официант, новый какой-то, незнакомый, дружелюбно посоветовал взять устрицы, принял заказ, помахал салфеткой по столику и удалился. Виктор отложил газеты, закурил и, расположившись поудобнее, стал думать о работе. После хорошей выпивки ему всегда с удовольствием думалось о работе. Хорошо бы написать оптимистическую веселую повесть... О том, как живет на свете человек, любит свое дело, не дурак, любит друзей, и друзья его ценят, и о том, как ему хорошо,— славный такой парень, чудаковатый, остряк... Сюжета нет. А раз нет сюжета, значит, скучно. И вообще, если уж писать такую повесть, то надо разобраться, почему же этому хорошему человеку хорошо, и неизбежно придешь к выводу, что ему хорошо только потому, что у него любимая работа, а на все прочее ему наплевать. И тогда какой же он хороший человек, если ему на все наплевать, кроме любимой работы?.. Можно, конечно, написать про человека, смысл жизни которого состоит в любви к ближнему, ему потому хорошо, что он любит своих ближних и любит свое дело, но о таком человеке уже писали пару тысяч лет назад господа Лука, Матфей, Иоанн и еще кто-то — всего четверо. Вообще-то их было гораздо больше, но только эти четверо писали в соответствии, остальные были лишены кто национального самосознания, кто права переписки... а человек, о котором они писали, был, к сожалению, полоумный... А вообще интересно было бы написать, как Христос приходит на Землю сегодня, не так, как писал Достоевский, а так, как писали эти Лука и компания... Христос приходит в генеральный штаб и предлагает: любите, мол, ближнего. А там, конечно, сидит какой-нибудь юдофоб...

— Вы разрешите, господин Банев? — пророкотал над ним приятный мужской голос.

Это был господин бургомистр собственной персоной. Не тот апоплексически-багровый, хрюкающий от нездорового удовольствия боров на обширном ложе господина Росшепера, а элегантно-округлый, идеально выбритый и безукоризненно одетый представительный мужчина со скромной орденской ленточкой в петлице и со щитком Легиона Свободы на левом плече.

— Прошу,— сказал Виктор без всякой радости.

Господин бургомистр сел, огляделся и сложил руки на столе.

— Я постараюсь не обременять вас долго своим присутствием, господин Банев,— сказал он,— и попытаюсь не портить вашу трапезу, однако же вопрос, с которым я намерен к вам обратиться, назрел уже достаточно для того, чтобы все мы, и большие, и малые, кому дороги честь и благополучие нашего города, были готовы отложить наши дела для его скорейшего и эффективнейшего разрешения.

— Я вас слушаю,— сказал Виктор.

— Мы встречаемся с вами здесь, господин Банев, в обстановке скорее неофициальной, ибо я, сознавая вашу занятость, не рискнул обеспокоить вас в часы вашей работы, особенно принимая во внимание специфику оной. Однако же я обращаюсь к вам сейчас как лицо вполне официальное — и от своего имени лично, и от имени муниципалитета в целом...

Официант принес устрицы и бутылку белого вина. Бургомистр поднятием пальца остановил его.

— Друг мой,— сказал он.— Полпорции китчиганской осетрины и рюмку мятной. Осетрину без соуса... Итак, я продолжаю,— сказал он, снова оборотившись к Виктору.— Боюсь, правда, что наш разговор трудно будет счесть застольной беседой, ибо речь пойдет о вещах и обстоятельствах не только печальных, но, я бы даже сказал, неаппетитных. Я намеревался поговорить с вами о так называемых мокрецах, об этой злокачественной опухоли, которая вот уже не первый год разъедает нашу несчастную округу.

— Да-да,— сказал Виктор. Ему стало интересно.

Бургомистр произнес негромкую, хорошо продуманную и стилистически совершенную речь. Он рассказал о том, как

двадцать лет назад, сразу после оккупации, в Лошадиной Лощине был создан лепрозорий, карантинный лагерь для лиц, страдающих так называемой желтой проказой, или очковой болезнью. Собственно говоря, болезнь эта, как хорошо известно господину Баневу, появилась в нашей стране еще в незапамятные времена, причем, как показывают специальные исследования, особенно часто она почему-то поражала жителей именно этой округи. Однако только благодаря усилиям господина президента на эту болезнь было обращено самое серьезное внимание, и лишь по его личному указанию несчастные, лишенные медицинского ухода, разбросанные ранее по всей стране, подвергаемые зачастую несправедливым гонениям со стороны отсталых слоев населения, а со стороны оккупантов — даже прямому истреблению, эти несчастные были, наконец, свезены в одно место и получили возможность сносного существования, приличествующего их положению. Все это не вызывает никаких возражений, и упомянутые меры могут только приветствоваться, однако, как это у нас иногда бывает, самые лучшие и благородные начинания обернулись против нас. Не будем сейчас искать виновных. Не будем заниматься расследованием деятельности господина Голема — деятельности, возможно, самоотверженной, но, однако же, чреватой, как теперь выяснилось, самыми неприятными последствиями. Не будем также заниматься преждевременным критиканством, хотя позиция некоторых достаточно высоких инстанций, упорно игнорирующих наши протесты, представляется лично нам загадочной. Перейдем к фактам... Бургомистр выпил рюмку мятной, вкусно закусил осетринкой, и голос его сделался еще более бархатистым — совершенно невозможно было представить себе, что он ставит на людей капканы. Он многословно выразил желание не задерживать внимание господина Банева на овладевших городом слухах, каковые слухи, он должен прямо признаться, есть результат недостаточно точного и единодушного исполнения всеми уровнями администрации предначертаний господина президента: мы имеем в виду чрезвычайно распространенное мнение о роковой роли так называемых мокрецов в резком изменении климата, об их ответственности за увеличение числа выкидышей и процента бесплодных браков, за гомерический исход из города

некоторых домашних животных и за появление особой разновидности домашнего клопа, а именно — клопа крылатого...

— Господин бургомистр,— сказал со вздохом Виктор.— Должен вам признаться, что мне крайне трудно следить за вашими длинными периодами. Давайте говорить просто, как добрые сыновья одной нации. Давайте не будем говорить, о чем мы не будем говорить, и будем — о чем будем.

Бургомистр окинул его быстрым взглядом, что-то рассчитал, что-то сопоставил; черт его знает, что он там сопоставлял, но, наверное, все пошло в ход: и то, что Виктор пьянствовал с Росшепером, и то, что он вообще пьянствовал — шумно, на всю страну, и то, что Ирма — вундеркинд, и то, что есть на свете такая Диана, и еще, наверное, многое что — во всяком случае лоску у господина бургомистра поубавилось прямо на глазах, и он крикнул подать себе рюмку коньяку. Виктор тоже крикнул подать себе рюмку коньяку. Бургомистр хохотнул, оглядел совсем уже опустевший зал, легонько ударил кулаком по столу и сказал:

— Ладно, что нам с вами вилять, в самом деле. Жить в городе стало невозможно, скажите спасибо вашему Голему — кстати, вы знаете, что Голем — скрытый коммунист?.. Да-да, уверяю вас, есть материалы... он на ниточке висит, ваш Голем... Так вот я и говорю: детей развращают на глазах. Эти заразы просочились в школу и испортили ребятишек начисто... избиратели недовольны, некоторые город покидают, идет брожение, того и гляди начнутся самосуды, окружная администрация бездействует — вот такая у нас ситуация...— Он осушил рюмку.— Должен вам сказать, так я ненавижу эту мразь — зубами бы рвал, да тошнит. Вы не поверите, господин Банев, дошел до того, что капканы на них ставлю... Ну, развратили детей, ладно. Дети есть дети, их сколько ни развращай — им все мало. Но вы войдите в мое положение. Дожди наши — это все-таки их рук дело, не знаю, как это у них получается, но это так. Построили санаторий, целебные воды, роскошный климат, деньги греби лопатой. Сюда из столицы ездили, и чем все кончилось? Дождь, туманы, клиенты в насморке, дальше — больше, приезжает сюда известный физик... забыл его фамилию, ну, да вы, наверное, знаете... прожил две недели — готово: очковая болезнь, острая стадия, в лепрозорий его. Хорошенькая

реклама для санатория! Потом еще случай, потом еще — и все, как ножом клиентов отрезало. Ресторан этот горит, санаторий едва дышит — слава богу, нашелся дурак-тренер, тренирует команду-экстра для игры в дождливых странах... Ну и господин Росшепер, конечно, помогает в какой-то степени... Вы мне сочувствуете? Пробовал я договориться с этим Големом — как об стену горох: красный есть красный. Писал наверх — никаких результатов. Писал выше — ничего. Еще выше — отвечают, что приняли к сведению и дали делу ход вниз по инстанции... Ненавижу их, но переломил себя, поехал в лепрозорий сам. Пропустили. Просил, доказывал... До чего же гадкие типы! Моргают на тебя облезлыми своими глазами, как на воробья какого-нибудь, словно тебя здесь и нет...— Он наклонился к Виктору и прошептал: — Бунта боюсь, кровь прольется. Вы мне сочувствуете?

— М-да,— сказал Виктор.— А при чем здесь я?

Бургомистр откинулся на спинку кресла, достал из алюминиевого футляра початую сигару, закурил.

— В моем положении,— сказал он,— остается одно: нажимать на все рычаги. Гласность нужна. Муниципалитет составил петицию в департамент здравоохранения, господин Росшепер подпишется, вы, я надеюсь, тоже, но это не бог весть что. Гласность нужна! Хорошая статья нужна, в столичной газете, и подписанная известным именем. Вашим именем, господин Банев! А материал животрепещущий — как раз для такого трибуна, как вы. Очень прошу. И от себя лично, и от муниципалитета, и от несчастных родителей... Добиться, чтобы лепрозорий убрали отсюда к чертовой бабушке! Куда угодно, но чтобы духу здесь мокрецовского не было, заразы этой. Вот что я вам имел сказать.

— Да-да, понимаю,— сказал Виктор медленно.— Очень хорошо вас понимаю.

Хоть ты и скотина, думал он, хоть ты и боров, но понять тебя можно. Но что же это сделалось с мокрецами? Были тихие, сгорбленные, крались сторонкой, ничего о них такого не говорили, а говорили, будто воняет от них, будто заразные, будто здорово делают игрушки и вообще разные штучки из дерева... мать Фрэда говорила, помнится, что у них дурной глаз, что молоко от них киснет и что накличут они нам войну, мор и голод... А теперь сидят они за колючей проволокой, и

что же они там у себя делают? Ох, много что-то они делают. И погоду они делают, и детей они переманивают (зачем?), и кошек они вывели (тоже зачем?), и клопы у них залетали...

— Вы, наверное, думаете, что мы сидим сложа руки,— сказал бургомистр.— Ни в коем случае. Но что мы можем? Готовлю я процесс против Голема. Господин санитарный инспектор Павор Сумман согласен быть консультантом. Будем упирать на то, что вопрос об инфекционности болезни еще отнюдь не решен, а Голем как скрытый коммунист этим пользуется. Это одно. Далее, пытаемся отвечать террором на террор. Городской Легион, наша гордость, ребята подобрались золотые, орлы... но это как-то не то. Указаний сверху ведь не поступает... Полиция в ложном положении оказывается... и вообще... Так что препятствуем как можем. Задерживаем грузы, которые идут к ним... частные, конечно, не продовольствие там, и не постельные принадлежности, а вот книги всякие, они их много выписывают... Вот сегодня задержали грузовик, и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски, а надо бы радикально...

— Так-так,— сказал Виктор.— Орлы, значит, золотые. Как его там... Фламенда?.. Ну, этот, племянник...

— Фламин Ювента,— сказал бургомистр,— мой заместитель по Легиону, орел! Вы его уже знаете?

— Знаю немного,— сказал Виктор.— А книги-то зачем задерживать?

— Ну как зачем... Глупость это, конечно, но все мы люди, все мы человеки — накипает все-таки. И потом...— Бургомистр стыдливо заулыбался.— Чепуха, конечно, но ходят слухи, будто без книг они не могут... как нормальные люди без еды и прочего.

Наступило молчание. Виктор без аппетита ковырял вилкой бифштекс и размышлял. Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, дело в том, что я не очень-то любил их с детства. Но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо — жир и сало нации, президентские холуи, черносотенцы... Нет, раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть... С другой стороны, статью написать можно, и даже самую разнузданную, все равно никто не рискнет меня напечатать, а бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него шерсти клок,

и мог бы жить здесь припеваючи... Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припеваючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заделаться, например, каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать себе на здоровьице... про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом... и выступить на эту тему перед вундеркиндами... Э, все дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнули тебе в морду, а ты и утерся. Сначала со стыдом утерся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнешь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие...

— Мы, конечно, ни в коей мере вас не торопим,— сказал бургомистр.— Вы человек занятой и так далее. Что-нибудь в пределах недельки, а? Материалы мы все вам предоставим, можем предоставить даже этакую схемку, планчик, по которому было бы желательно... а вы коснетесь опытной рукой, и все заиграет. И подписались бы под статьей три выдающихся сына нашего города — член парламента Росшепер Нант, знаменитый писатель Банев и государственный лауреат доктор Рем Квадрига...

Здорово работает, подумал Виктор. Вот у нас, у левых, такой настойчивости и в помине нет. Тянули бы бодягу, ходили бы вокруг да около — не оскорбить бы человека, не оказать бы на него излишнего нажима, чтобы, упаси бог, не заподозрил бы в корыстных намерениях... «Выдающиеся сыновья!..» И ведь совершенно уверен, скотина, что статью я ему напишу и подпишу, что деваться мне некуда, что придется опальному Баневу поднять лапки и в поте души своей отработать свое безмятежное пребывание в родном городишке... Вот и насчет схемки ввернул... знаем мы, что это за схемка и какая это должна быть схемка, чтобы забрызганного президентскими слюнями Банева и сейчас напечатали. Да-а, господин Банев... коньячок любишь, девочек любишь, миноги маринованные с луком любишь, так люби и саночки возить...

— Я обдумаю ваше предложение,— сказал он, улыбаясь.— Замысел представляется мне достаточно интересным, но осуществление потребует некоторого напряжения совести.— Он безобразно, похабно подмигнул бургомистру.

Бургомистр гоготнул.

— А как же! «Совесть нации, точное зеркало» и прочее... Помню, как же...— Он снова наклонился к Виктору с видом заговорщика.— Прошу вас завтра ко мне,— пророкотал он.— Исключительно свои подберутся. Только чур без жен. А?

— Вот здесь,— сказал Виктор, вставая,— я вынужден прямо и решительно отклонить ваше предложение. Меня ждут дела.— Он опять подмигнул.— В санатории.

Они расстались почти приятелями. Писатель Банев был зачислен в состав городской элиты, и, чтобы привести в порядок потрясенные такой честью нервы, ему пришлось вылакать фужер коньяку, едва спина господина бургомистра скрылась за дверью. Можно, конечно, уехать отсюда к чертовой матери, думал Виктор. За границу меня не выпустят, да и не хочу я за границу, чего мне там делать, везде одно и то же. Но и у нас в стране найдется десяток мест, где можно укрыться и отсидеться. Он представил себе солнечный край, буковые рощи, пьянящий воздух, молчаливых фермеров, запахи молока и меда... и навоза, и комары... и как воняет отхожее место, и скучища... и древние телевизоры, и местная интеллигенция: шустрый поп-бабник и сильно пьющий самогон учитель... А впрочем, что там говорить, есть, есть куда ехать. Но ведь им только и надо, чтобы я уехал, чтобы скрылся с глаз долой, забился в нору, причем сам, без принуждения, потому что ссылать меня хлопотно, шум пойдет, разговоры... вот ведь в чем вся беда: они же будут очень довольны — уехал, заткнулся, забыт, перестал бренчать...

Виктор расплатился, поднялся к себе в номер, надел плащ и вышел под дождь. Ему вдруг очень захотелось снова повидать Ирму, поговорить с ней о прогрессе, разъяснить, почему он так много пьет (а действительно, почему я так много пью?), и, может быть, Бол-Кунац окажется там, а уж Лолы наверняка не будет... Улицы были мокрые, серые, пустые, в палисадниках тихо гибли от сырости яблони. Виктор впервые обратил внимание на то, что некоторые дома заколочены. Городок все-таки сильно переменился — покосились заборы, под карнизами высыпала белая плесень, вылиняли краски, а на улицах безраздельно царил дождь. Дождь падал просто так, дождь сеялся с крыш мелкой водяной пылью, дождь собирался на сквозняках в туманные крутящиеся столбы, волочащиеся от стены к стене, дождь с урчанием хлестал из

ржавых водосточных труб, дождь разливался по мостовой и бежал по промытым между булыжников руслам. Черно-серые тучи медленно ползли над самыми крышами. Человек был незваным гостем на улицах, и дождь его не жаловал.

Виктор вышел на городскую площадь и увидел людей. Они стояли под навесом на крыльце полицейского управления — двое полицейских в форменных плащах и маленький чумазый парнишка в промасленном комбинезоне. Перед крыльцом, левыми колесами на тротуаре, громоздился неуклюжий автофургон с брезентовым верхом. Один из полицейских был полицмейстер; выпятив могучую челюсть, он глядел в сторону, а парнишка, отчаянно жестикулируя, что-то доказывал ему плаксивым голосом. Другой полицейский тоже молчал с недовольным видом и сосал сигарету. Виктор приближался к ним, и шагов за двадцать до крыльца ему стало слышно, что говорит парень. Парень кричал:

— А я-то здесь при чем? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги у меня в порядке? В порядке. Груз правильный, вот накладная. Да что я, первый раз здесь езжу, что ли?..

Полицмейстер заметил Виктора, и лицо его приняло чрезвычайно неприязненное выражение. Он отвернулся и, словно бы не видя парнишки, сказал полицейскому:

— Значит, здесь будешь стоять. Смотри, чтобы все было в порядке. И в кабину не залезай, а то все растащат. И никого к машине не подпускай. Понял?

— Понял,— сказал полицейский. Он был очень недоволен.

Начальник полиции спустился с крыльца, сел в свой автомобиль и уехал. Чумазый парнишка со злостью плюнул и воззвал к Виктору:

— Ну хоть вы скажите, виноват я или нет? — Виктор приостановился, и парня это воодушевило.— Еду нормально. Везу книги в спецзону. Тыщу раз уже возил. Теперь, значит, останавливают, приказывают ехать в полицию. За что? Правил я не нарушал? Не нарушал. Бумаги в порядке? В порядке, вот накладная. Лицензию отобрали, чтобы не сбежал. А куда мне бежать?

— Хватит тебе орать,— сказал полицейский.

Парень живо к нему обернулся.

— Так что я сделал? Скажите, я скорость превысил? Не превысил. С меня же за простой вычтут. И документ вот отобрали...

— Разберутся,— сказал полицейский.— Чего ты, в самом деле, расстраиваешься? Пойди вон в трактир, твое дело маленькое.

— Э-эх, начальнички-и! — вскричал парень, с размаху напяливая на всклокоченную голову картуз.— Нигде правды нету! Налево ездишь — задерживают, направо ездишь — опять задерживают.— Он спустился было с крыльца, но остановился и сказал полицейскому просительно: — Может, штраф возьмете или как-нибудь?

— Иди-иди,— проговорил полицейский.

— Так мне же премию обещали за срочность! Всю ночь гнал...

— Иди, говорю! — сказал полицейский.

Парень снова плюнул, подошел к своему фургону, два раза лягнул передний скат, потом вдруг ссутулился и, сунув руки в карманы, почесал через площадь.

Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, посмотрел на небо, сигарета у него погасла, он выплюнул окурок и, на ходу отгибая капюшон, ушел в управление.

Виктор постоял некоторое время, затем медленно двинулся вокруг грузовика. Грузовик был здоровенный, мощный, раньше на таких возили мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед грузовиком, свернув набок переднее колесо, мокнул под дождем полицейский «харлей», а больше машин поблизости не было. Догнать они меня догонят, подумал Виктор, но хрен они меня остановят. Ему стало весело. А какого черта, подумал он. Известный писатель Банев, снова напившись пьян, угнал в целях развлечения чужую машину; к счастью, обошлось без жертв... Он понимал, что все обстоит не так просто, что не он будет первый, кто доставляет властям благовидный предлог упрятать беспокойного человека в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось повиноваться импульсу. В крайнем случае напишу гаду статью, подумал он мельком.

Он быстро открыл дверцу кабины и сел за руль. Ключа не было, пришлось оборвать провода зажигания и соединить

их накоротко. Когда мотор уже завелся, Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад, на крыльцо управления. Там стоял давешний полицейский все с тем же недовольным выражением лица и с сигаретой на губе. Заметно было, что он ничего еще не понимает. Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на мостовую, переключил скорость и рванулся в ближайший проезд.

Было очень хорошо гнать по пустым, по заведомо пустым улицам, подымая колесами водопады из глубоких луж, ворочать тяжелый руль, наваливаясь всем телом,— мимо консервного завода, мимо парка, мимо стадиона, где «Братья по разуму», словно мокрые механизмы, все пинали и пинали мячи, и дальше, по шоссе, по рытвинам, подпрыгивая на сиденье и слыша, как сзади в кузове каждый раз тяжело ухает плохо закрепленный груз. В зеркальце заднего вида погоня не обнаруживалась, да и вряд ли можно было ее заметить так скоро за таким дождем. Виктор чувствовал себя очень молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным. С потолка кабины ему подмигивали красотки, вырезанные из журналов, в «бардачке» он нашел пачку сигарет, и ему было так хорошо, что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя притормозил и свернул по стрелке указателя: «ЛЕПРОЗОРИЙ — 6 км». Здесь он почувствовал себя первооткрывателем, потому что еще ни разу не ездил и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хорошая, не в пример муниципальному шоссе — сначала очень ровный ухоженный асфальт, а потом даже бетонка, и, когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про проволоку и про солдат, а еще через пять минут он все это увидел.

Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе стороны от бетонки и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с караульной будкой, дверь будки была распахнута, и на пороге уже стоял солдат в каске, в сапогах и в плащ-накидке, из-под которой высовывался ствол автомата. Еще один солдат, без каски, глядел в окошечко. «Никогда я не был в лагерях,— пропел Виктор,— но не говорите: слава богу...» Он сбросил газ и затормозил перед самыми воротами. Солдат вышел из будки и подошел к нему — молоденький такой, веснушчатый солдатик, всего лет восемнадцати.

— Здравствуйте,— сказал он.— Что вы так припоздали?

— Да вот, обстоятельства,— сказал Виктор, дивясь такому либерализму.

Солдатик оглядел его и вдруг подобрался.

— Ваши документы,— сказал он сухо.

— Какие там документы,— сказал Виктор весело.— Я же говорю — обстоятельства.

Солдат поджал губы.

— Вы что привезли? — спросил он.

— Книги,— сказал Виктор.

— А пропуск есть?

— Конечно, нет.

— Ага,— сказал солдат, и его лицо прояснилось.— То-то я гляжу... Тогда подождите. Тогда подождать вам придется.

— Имейте в виду,— сказал Виктор, подняв указательный палец.— За мною может быть погоня.

— Ничего, я быстро,— сказал солдат и, придерживая на груди автомат, забухал сапогами к караулке.

Виктор вылез из кабины и, стоя на подножке, поглядел назад. Ничего не было видно за дождем. Тогда он вернулся за руль и закурил. Было очень забавно. Впереди, за проволокой и за воротами, тоже крутился дождь, там угадывались какие-то темные сооружения — то ли дома, то ли башня, но разобрать что-нибудь определенно было невозможно. Неужели не пригласят посмотреть? — подумал Виктор. Свинство будет, если не пригласят. Можно, правда, попытаться воззвать к Голему, он сейчас где-нибудь здесь... Так и сделаю, подумал он. Зря я, что ли, для них геройствовал...

Солдатик снова вышел из караулки, а за ним выскочил старый знакомец, прыщавый мальчик-нигилист в одних трусах, очень сейчас веселый и без всяких следов всемирной тоски. Обогнав солдата, он вспрыгнул на подножку, заглянул в кабину, узнал, ахнул и засмеялся.

— Здравствуйте, господин Банев! Это вы? Вот здорово... Вы ведь книги привезли? А мы ждем-ждем...

— Ну что, все в порядке? — спросил подошедший солдатик.

— Да, это наша машина.

— Тогда загоняйте,— сказал солдатик.— А вам, сударь, придется выйти и подождать.

— Я хотел бы повидать доктора Голема,— сказал Виктор.

— Можно вызвать сюда,— предложил солдатик.

— Гм,— сказал Виктор и выразительно поглядел на мальчика. Мальчик виновато развел руками.

— У вас пропуска нет,— объяснил он.— А без пропуска они никого не пускают. Мы бы с радостью...

Ничего не оставалось, пришлось вылезать под дождь. Виктор соскочил на дорогу и, подняв капюшон, смотрел, как распахнулись ворота, грузовик дернулся и рывками пополз за ограду. Потом ворота закрылись. Виктор еще некоторое время слышал завывание двигателя и шипение тормозов, потом ничего не стало слышно, кроме шороха и плеска. Вот так так, подумал Виктор. А я? Он ощутил разочарование. Только теперь он понял, что совершал свои подвиги не бескорыстно, что он надеялся многое увидеть и многое понять... проникнуть, так сказать, в эпицентр. Ну и черт с вами, подумал он. Он поглядел вдоль бетонки. До перекрестка шесть километров, и от перекрестка до города километров двадцать. Можно, конечно, от перекрестка до санатория — два километра. Свиньи неблагодарные... Под дождем... Тут он заметил, что дождь ослабел. И на том спасибо, подумал он.

— Так вызвать вам господина Голема? — спросил солдат.

— Голема? — Виктор оживился. Вообще неплохо бы прогнать старого хрыча под дождем взад и вперед, и потом у него — машина. И фляга.— А что же, вызовите.

— Это можно,— сказал солдатик.— Вызовем. Только навряд он выйдет, обязательно скажет, что занят.

— Ничего, ничего,— сказал Виктор.— Вы ему скажите, что Банев спрашивает.

— Банев? Ладно, скажу. Только он все равно не выйдет. Ну, да мне нетрудно. Банев, значит...— И солдатик ушел, симпатичный такой солдатик, сплошные веснушки под каской.

Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил «харлей» с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом, и еще один, до глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. Сейчас начнется, подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к Виктору и рявкнул:

— Где грузовик?

— Какой грузовик? — изумленно озираясь сказал Виктор, чтобы выиграть время.

— А вы не прикидывайтесь! — заорал полицейский.— Я вас видел! Вы под суд пойдете! Угон арестованной машины!

— Вы на меня не орите,— возразил Виктор с достоинством.— Что за хамство? Я буду на вас жаловаться.

Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, подошел и спросил:

— Тот?

— Ясно, тот! — сказал полицейский с недовольным лицом, извлекая из кармана наручники.

— Но-но-но! — сказал Виктор, отступая на шаг.— Это произвол! Как вы смеете?

— Не отягчайте вины сопротивлением,— посоветовал второй полицейский.

— А я ни в чем не виноват,— нагло заявил Виктор и сунул руки в карманы.— Вы меня с кем-то путаете, ребята.

— Вы угнали грузовик,— сказал второй полицейский.

— Какой грузовик? — вскричал Виктор.— При чем тут грузовик? Я пришел сюда в гости к господину Голему, главному врачу. Спросите у охраны. При чем здесь какой-то грузовик?

— А может быть, не тот? — усомнился второй полицейский. — Ну как не тот! — возразил полицейский с недовольным лицом. Держа наготове наручники, он надвинулся на Виктора.— А ну, давай руки! — сказал он деловито.

В этот момент дверь караулки хлопнула, и высокий пронзительный голос прокричал:

— Прекратить скопление!

Виктор и полицейские вздрогнули. На пороге караулки стоял веснушчатый солдатик, выставив из-под накидки автомат.

— Отойти от ворот! — пронзительно крикнул он.

— Ты, там, потише! — сказал полицейский с недовольным лицом. — Здесь полиция.

— Ска-апление у ворот спецзоны более одного постороннего человека запрещается! После третьего предупреждения стреляю! Отойти от ворот!

— Давайте-давайте, отходите,— озабоченно сказал Виктор, тихонько подталкивая в грудь обоих полицейских. Полицейский с недовольным лицом растерянно поглядел на него, отвел его руку и шагнул к солдату.

— Слушай, парень, ты что, сдурел? — сказал он.— Этот тип угнал грузовик.

— Никаких грузовиков! — протяжно и пронзительно проорал симпатичный ласковый солдатик.— Па-аследнее предупреждение! Двоим отойти на сто метров от ворот!

— Слушай, Рох,— сказал второй полицейский.— Давай отойдем, ну их к богу. Никуда он от нас не денется.

Полицейский с недовольным лицом, багровый от негодования, открыл было снова рот, но тут в дверях караулки появился толстый сержант с обкусанным бутербродом в одной руке и со стаканом в другой.

— Рядовой Джура,— сказал он жуя.— Почему не открываете огонь?

На веснушчатом лице под каской появилось выражение озверелости. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, развернулись мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, и ринулись прочь. Багровый полицейский прокричал ему что-то неслышное за треском мотора. Отъехав шагов на пятьдесят, они остановились.

— Близко,— сказал сержант с неодобрением.— Что же ты смотришь? Близко ведь!

— Дальше! — пронзительным голосом завопил солдатик, взмахивая автоматом. Полицейские отъехали дальше, и их не стало видно.

— Повадились посторонние толпиться у ворот,— сообщил сержант солдатику, глядя на Виктора.— Ну ладно, продолжай нести службу.— Он вернулся в караулку, а веснушчатый солдатик, понемногу остывая, несколько раз прошелся взад-вперед перед воротами.

Выждав несколько минут, Виктор осторожно осведомился:

— Прошу прощения, как там насчет доктора Голема?

— Нет его,— буркнул солдатик.

— Какая жалость,— сказал Виктор.— Тогда я пойду, пожалуй...— Он посмотрел в туман и дождь, где скрывались полицейские.

— Как так — пойдете? — встревоженно сказал солдатик.

— А что, нельзя? — спросил Виктор, тоже встревоженно.

— Почему нельзя,— сказал солдатик.— Я насчет грузовика. Вы уйдете, а грузовик как же? Грузовики от ворот положено уводить.

— А я здесь при чем? — спросил Виктор, тревожась все больше.

— Как так — при чем? Вы его привели, вы его... это... Всегда же так, а как же?

Черт, подумал Виктор. Куда я его дену?.. С расстояния в сто метров доносился треск мотоциклетного мотора, работающего на холостых оборотах.

— Вы его в самом деле угнали? — спросил солдатик с любопытством.

— Ну да! Полиция задержала шофера, а я, дурак, решил помочь...

— Да-а,— сочувственно протянул солдатик.— Прямо и не знаю, что вам посоветовать.

— А если я сейчас, скажем, пойду себе? — вкрадчиво спросил Виктор.— Стрелять не будете?

— Не знаю,— честно признался солдатик.— Вроде бы не положено. Спросить?

— Спросите,— сказал Виктор, соображая, успеет он удрать за пределы видимости или нет.

В эту минуту за воротами раздался гудок. Ворота растворились, и из зоны медленно выкатился злосчастный автофургон. Он остановился рядом с Виктором, дверца распахнулась, и Виктор увидел, что за рулем сидит уже не мальчик, как он ожидал, а лысый сутулый мокрец и смотрит на него выжидательно. Виктор не сдвинулся с места, и тогда мокрец снял с руля руку в черной перчатке и приглашающе похлопал по сиденью рядом с собой. Соизволили снизойти, горько подумал Виктор. Солдатик радостно сообщил:

— Ну вот и хорошо, вот все и устроилось, поезжайте с богом.

У Виктора мелькнула мысль, что раз уж мокрец намерен сам доставить грузовик в город или куда там еще, словом, намерен сам иметь дело с полицией, то хорошо было бы тут же распрощаться и дунуть прямо через поле в санаторий, в обход засевшего в засаде «харлея».

— Там впереди полиция,— сказал он мокрецу.

— Ничего, садитесь,— сказал мокрец.

— Дело в том, что я украл этот грузовик из-под ареста.

— Я знаю,— терпеливо сказал мокрец.— Садитесь.

Момент был упущен. Виктор вежливо и сердечно попрощался с солдатиком, забрался на сиденье и захлопнул дверцу. Грузовик тронулся, и через минуту они увидели «харлей». «Харлей» стоял поперек шоссе, оба полицейских стояли рядом и делали жесты — к обочине. Мокрец затормозил, выключил двигатель и, высунувшись из кабины, сказал:

— Уберите мотоцикл, вы загородили дорогу.

— А ну, к обочине! — скомандовал полицейский с недовольным лицом.— И предъявите документы.

— Я еду в полицейское управление,— сказал мокрец.— Может быть, поговорим там?

Полицейский несколько растерялся и проворчал что-то вроде «знаем мы вас». Мокрец спокойно ждал.

— Ладно,— сказал, наконец, полицейский.— Только машину поведу я, а этот пусть перейдет в мотоцикл.

— Пожалуйста,— согласился мокрец.— Но, если можно, в мотоцикле поеду я.

— Еще лучше,— проворчал полицейский с недовольным лицом. У него даже лицо просветлело.— Вылезайте.

Они поменялись местами. Полицейский, зловеще покосившись на Виктора, принялся ерзать и изгибаться на сиденье, поправляя плащ, а Виктор, косясь на полицейского, смотрел, как мокрец, еще сильнее сутулясь и косолапя, похожий со спины на огромную тощую обезьяну, идет к мотоциклу и забирается в коляску. Дождь снова хлынул как из ведра, и полицейский включил дворники. Кортеж двинулся.

Хотел бы я знать, чем все это кончится, с некоторой томительностью подумал Виктор. Смутную надежду, впрочем, подавало намерение мокреца явиться в полицию. Обнаглел мокрец нынешний, изнахалился... Но штраф, во всяком случае, с меня сдерут, этого не миновать. Чтобы полиция да потеряла случай содрать с человека штраф... А, плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда ноги. Все хорошо. По крайней мере душу отвел... Он вытащил пачку сигарет и предложил полицейскому. Полицейский негодующе хрюкнул, но взял. Зажигалка у него не работала, и пришлось ему хрюкнуть еще раз, когда Виктор поднес ему свою. Вообще

его можно было понять, этого немолодого дядьку, лет сорока пяти, наверное, а все ходит в младших полицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов: не тех сажал и не ту задницу лизал, да и где ему в задницах разбираться — та она или не та... Полицейский курил, и вид у него уже был менее недовольный: дела его оборачивались к лучшему. Эх, бутылку бы мне сюда, подумал Виктор. Дал бы ему хлебнуть, рассказал бы ему пару ирландских анекдотов, поругал бы начальство, у которого сплошь любимчики верховодят, студентов бы обложил,— глядишь, и оттаял бы человек.

— Надо же какой дождь хлещет,— сказал Виктор.

Полицейский хрюкнул довольно нейтрально, без озлобления.

— А ведь какой раньше здесь климат был,— продолжал Виктор. Тут его осенило.— И вот заметьте: у них там в лепрозории дождя нет, а как подъезжает человек к городу, так сразу ливень.

— Да уж,— сказал полицейский.— Они там в лепрозории ловко устроились.

Контакт налаживался. Поговорили о погоде — какая она была и какой, черт подери, стала. Выяснили общих знакомых в городе. Поговорили о столичной жизни, о мини-юбках, о язве гомосексуализма, об импортном бренди и о контрабандных наркотиках. Естественно, отметили, что порядка не стало — не то что до войны или, скажем, сразу после. Что полицейский — собачья должность, хотя и пишут в газетах: добрые, мол, и строгие стражи порядка, незаменимая шестерня государственного механизма. А пенсионный возраст увеличивают, пенсии уменьшают, за ранение на посту дают гроши, да еще вот теперь оружие отобрали,— и кто при таких условиях будет лезть из шкуры вон... Словом, обстановка создалась такая, что еще бы пару глотков, и полицейский сказал бы: «Ладно, парень, бог с тобой. Я тебя не видел, и ты меня не видел». Однако пары глотков не было, а момент для вручения красненькой не успел созреть, так что, когда грузовик подкатил к подъезду полицейского управления, полицейский снова поугрюмел и сухо предложил Виктору следовать за ним и поторапливаться.

Мокрец отказался давать объяснения дежурному и потребовал, чтобы их немедленно провели к начальнику полиции.

Дежурный ему ответил, что пожалуйста, начальник лично вас, вероятно, примет, а что касается вот этого господина, то он обвиняется в угоне машины, к начальнику ему идти незачем, а нужно его допросить и составить на него соответствующий протокол. Нет, твердо и спокойно сказал мокрец, ничего этого не будет, ни на какие вопросы господину Баневу отвечать не придется, и никаких протоколов господин Банев подписывать не станет, к чему имеются обстоятельства, касающиеся только господина полицмейстера. Дежурный, которому было безразлично, пожал плечами и отправился доложить. Пока он докладывал, появился шоферишка в замасленном комбинезоне, который ничего не знал и был сильно поддавши, так что сразу принялся кричать о справедливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осторожно взял у него накладную, которой тот размахивал, примостился на барьере и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления часто замигал, и тут мокреца с Виктором пригласили к начальству.

Полицмейстер встретил их сурово. На мокреца он глядел с неудовольствием, а на Виктора избегал глядеть и вовсе.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Разрешите присесть? — осведомился мокрец.

— Да, прошу,— вынужденно сказал полицмейстер после небольшой паузы.

Все сели.

— Господин полицмейстер,— произнес мокрец.— Я уполномочен заявить вам протест против вторичного незаконного задержания грузов, адресованных лепрозорию.

— Да, я слышал об этом,— сказал полицмейстер.— Водитель был пьян, мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие дни все разъяснится.

— Вы задержали не водителя, а груз,— возразил мокрец.— Однако это не столь уж существенно. Благодаря любезности господина Банева груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы должны быть признательны присутствующему здесь господину Баневу, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин полицмейстер, вине могло бы послужить для вас источником крупных неприятностей.

— Это забавно,— сказал полицмейстер.— Я не понимаю и не желаю понимать, о чем идет речь, потому что, как

должностное лицо, я не потерплю угроз. Что же касается господина Банева, то на этот счет существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмотрены.— Он явно отказывался смотреть на Виктора.

— Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения,— сказал мокрец.— Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете иметь дело с генералом Пфердом.

Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Пферд, но зато полицмейстеру это имя было явно знакомо.

— По-моему, это угроза,— сказал он неуверенно.

— Да,— согласился мокрец.— Причем угроза более чем реальная.

Полицмейстер порывисто поднялся. Виктор с мокрецом тоже.

— Я приму к сведению все, что услышал сегодня,— объявил полицмейстер.— Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего, однако я обещаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь и, коль скоро обнаружатся виновные, накажу их. Это в полной мере касается и господина Банева.

— Господин Банев,— сказал мокрец,— если у вас будут неприятности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите господину Голему. До свидания,— сказал он полицмейстеру.

— Всего хорошего,— ответствовал тот.

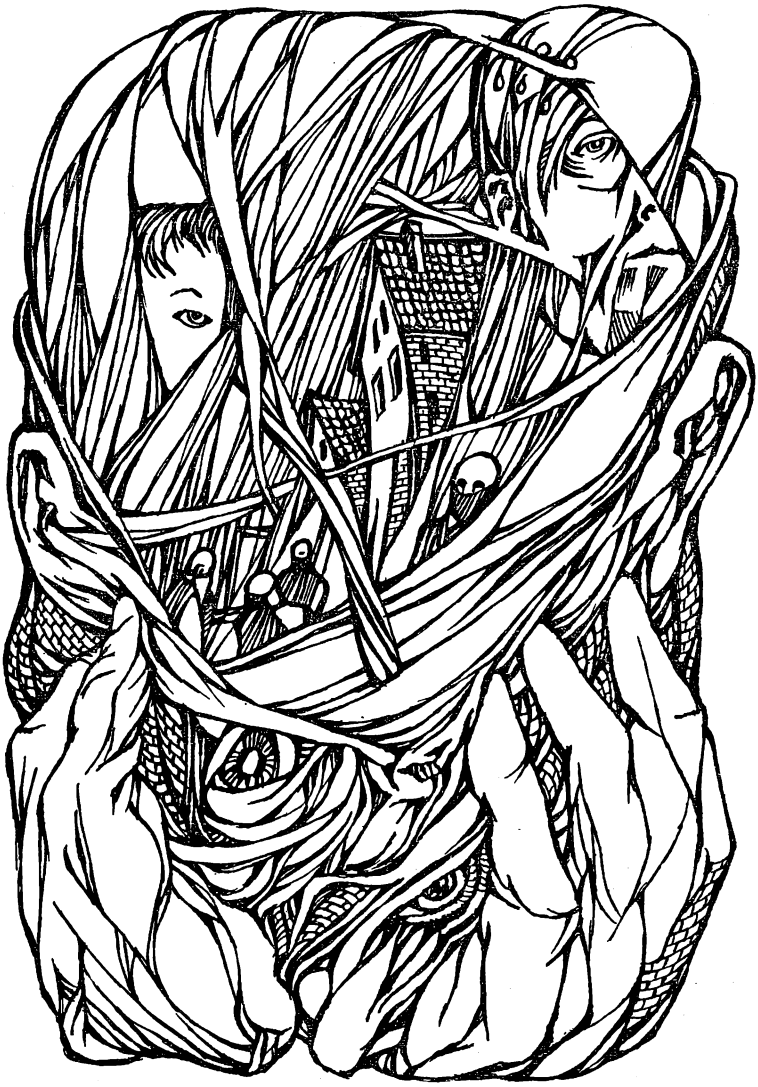
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В восемь вечера Виктор спустился в ресторан и направился было прямо к своему столику, где уже сидела обычная компания, но его окликнул Тэдди.

— Здорово, Тэдди,— сказал Виктор, привалившись к стойке.— Как дела? — Тут он вспомнил.— А! Счет... Сильно я вчера?

— Счет — ладно,— проворчал Тэдди.— Не так уж и много — разбил зеркало да рукомойник своротил. А вот полицмейстера ты помнишь?

— А что такое? — удивился Виктор.



— Так я и знал, что ты не упомнишь. Глаза у тебя были, брат, что у вареного порося. Ничего не соображал... Так вот ты,— он уставил Виктору в грудь указательный палец,— запер его, беднягу, в сортирной кабине, припер дверцу метлой и не выпускал. Ни в какую. А мы-то не знали, кто там, он только что пришел, мы думали, что это Квадрига там. Ну, думаем, ладно, пусть посидит... А потом ты его оттуда вытащил, стал кричать: ах, бедный, весь испачкался! — и совать его головой в рукомойник. Рукомойник своротил, и еле мы тебя, брат, оттащили.

— Серьезно? — сказал потрясенный Виктор.— Ну и ну. То-то он сегодня на меня весь день волком смотрит.

Тэдди сочувственно покивал.

— Да, черт возьми, неудобно,— проговорил Виктор.— Извиниться надо бы... Как же он мне позволил? Ведь крепкий еще мужчина...

— Я боюсь, не пришили бы тебе дело, вот что,— сказал Тэдди.— Сегодня утром тут уже ходил один легавый, снимал показания... шестьдесят третья статья тебе обеспечена — оскорбительные действия при отягчающих обстоятельствах. А может, и того похуже. Террористический акт. Понимаешь, чем пахнет? Я бы на твоем месте...— Тэдди помотал головой.

— Что? — спросил Виктор.

— Говорят, сегодня к тебе бургомистр приходил,— сказал Тэдди.

— Да.

— Ну и что он?

— Да чепуха. Хочет, чтобы я статью написал. Против мокрецов.

— Ага! — сказал Тэдди и оживился.— Ну, тогда в самом деле чепуха. Напиши ты ему эту статью, и все в порядке. Если бургомистр будет доволен, полицмейстер и пикнуть не посмеет, можешь его тогда каждый день в унитаз заталкивать. Он у бургомистра вот где...— Тэдди показал громадный костлявый кулак.— Так что все в порядке. Давай я тебе по этому поводу налью за счет заведения. Очищенной?

— Можно и очищенной,— сказал Виктор задумчиво.

Визит бургомистра представился ему теперь в совсем новом свете. Вот как они меня, подумал Виктор. Да-а... Либо убирайся, либо делай что велят, либо мы тебя скрутим.

Между прочим, убраться тоже будет нелегко. Террористический акт, разыщут. Экий ты, братец, алкоголик, смотреть противно. И ведь не кого-нибудь, а полицмейстера. Хотя, честно говоря, задумано и выполнено неплохо... Он по-прежнему не помнил ничего, кроме кафельного пола, сплошь залитого водой, но очень хорошо представлял себе всю сцену. Да, Виктор Банев, любимый ты мой человек, порося ты мое вареное, оппозиционер кухонный, и даже не кухонный — прибанный, любимец господина президента... да, видно, пришла и тебе пора, так сказать, продаваться... Роц-Тусов, человек опытный, по этому поводу говорит: продаваться надо легко и дорого — чем честнее твое перо, тем дороже оно обходится власть имущим, так что, и продаваясь даже, ты наносишь ущерб идеологическому противнику, и надо стараться, чтобы ущерб этот был максимальным... Виктор опрокинул рюмку очищенной, не испытав при этом никакого удовольствия.

— Ладно, Тэдди,— сказал он.— Спасибо. Давай счет. Много получилось?

— Твой карман выдержит,— ухмыльнулся Тэдди. Он достал из кассы листок бумаги.— Следует с тебя: за зеркало туалетное — семьдесят семь, за рукомойник фарфоровый большой — шестьдесят четыре, всего, сам понимаешь, сто сорок один. А торшер мы списали на ту драку... Одного не понимаю,— продолжал он, наблюдая, как Виктор отсчитывает деньги.— Чем это ты зеркало умудрился раскокать? Здоровенное зеркало, в два пальца толщиной. Головой ты в него бился, что ли?

— Чьей? — хмуро спросил Виктор.

— Ладно, не горюй,— сказал Тэдди, принимая деньги.— Напишешь статеечку, реабилитируешься, гонорарчик отхватишь — вот все и окупится... Налить еще?

— Не надо, потом... Я еще подойду, когда поужинаю,— сказал Виктор и пошел на свое место.

В ресторане все было как обычно — полутьма, запахи, звон посуды на кухне; очкастый молодой человек с портфелем, спутником и бутылкой минеральной воды; согбенный доктор Р.Квадрига; прямой и подтянутый, несмотря на свой насморк, Павор; расплывшийся в кресле Голем с разрыхленным носом спившегося пророка. Официант.

— Миноги,— сказал Виктор.— Бутылку пива. И чего-нибудь мясного.

— Доигрались,— сказал Павор с упреком.— Говорил я вам: бросьте пьянствовать.

— Когда это вы мне говорили? Не помню.

— А до чего ты доигрался? — осведомился доктор Р.Квадрига.— Убил, наконец, кого-нибудь?

— А ты тоже ничего не помнишь? — спросил его Виктор.

— Это насчет вчерашнего?

— Да, насчет вчерашнего... Этот алкоголик,— сказал Виктор, обращаясь к Голему,— напился, как зюзя, загнал господина полицмейстера в клозет...

— А-а! — сказал Р.Квадрига.— Это все вранье. Я так и сказал следователю. Сегодня утром ко мне приходил следователь. Понимаете, изжога зверская, голова трещит, сижу, смотрю в окно, и тут является эта дубина и начинает шить дело...

— Как вы сказали? — спросил Голем.— Шить?

— Ну да, шить,— сказал Р.Квадрига, протыкая воображаемой иглой воображаемую материю.— Только не штаны, а дело... Я ему прямо сказал: все вранье, вчера я весь вечер просидел в ресторане, все было тихо, прилично, как всегда, никаких скандалов — словом, скучища... Обойдется,— ободряюще сказал он Виктору.— Подумаешь... А зачем ты это сделал? Ты его не любишь?

— Давайте об этом не будем,— предложил Виктор.

— Так о чем же мы будем? — спросил Р.Квадрига обиженно.— Эти двое все время препираются, кто кого не пускает в лепрозорий. В кои веки случилось что-то интересное, и сразу — не будем.

Виктор откусил половину миноги, пожевал, отхлебнул пива и спросил:

— Кто такой генерал Пферд?

— Лошадь,— сказал Р.Квадрига.— Конь. Дер пферд. Или дас.

— А все-таки,— сказал Виктор,— знает кто-нибудь такого генерала?

— Когда я служил в армии,— сказал доктор Р.Квадрига,— нашей дивизией командовал его превосходительство генерал от инфантерии Аршманн.

— Ну и что? — сказал Виктор.

— Арш по-немецки — задница,— сообщил молчавший до сих пор Голем.— Доктор шутит.

— А где вы слыхали про генерала Пферда? — спросил Павор.

— В кабинете у полицмейстера,— ответил Виктор.

— Ну и что?

— И все. Так никто не знает? Ну и прекрасно. Я просто так спросил.

— А фельдфебеля звали Баттокс,— заявил Р.Квадрига.— Фельдфебель Баттокс.

— Английский вы тоже знаете? — спросил Голем.

— Да, в этих пределах,— ответил Р.Квадрига.

— Давайте выпьем,— предложил Виктор.— Официант, бутылку коньяку!

— Зачем же бутылку? — спросил Павор.

— Чтобы хватило на всех.

— Опять учините какой-нибудь скандал.

— Да бросьте вы, Павор,— сказал Виктор.— Тоже мне абстинент.

— Я не абстинент,— возразил Павор.— Я люблю выпить и никогда не упускаю случая выпить, как и полагается настоящему мужчине. Но я не понимаю, зачем напиваться. И уж совершенно ни к чему, по-моему, напиваться каждый вечер.

— Опять он здесь,— сказал Р.Квадрига с отчаянием.— И когда успел?..

— Мы не будем напиваться,— сказал Виктор, разливая всем коньяк.— Мы просто выпьем. Как это делает сейчас половина нации. Другая половина — напивается, ну и бог с ней, а мы просто тихонько выпьем.

— Вот в том-то все и дело,— сказал Павор.— Когда по стране идет поголовное пьянство, и не только по стране, по всему миру, каждый порядочный человек должен сохранять благоразумие.

— Вы полагаете нас порядочными людьми? — спросил Голем.

— Во всяком случае, культурными.

— По-моему,— сказал Виктор,— у культурных людей гораздо больше основания напиваться, чем у некультурных.

— Возможно,— согласился Павор.— Однако культурный человек обязан держать себя в рамках. Культура обязывает... Мы вот сидим здесь почти каждый вечер, болтаем, пьем, играем в кости. А сказал кто-нибудь из нас за это время что-нибудь, пусть даже не умное, но хотя бы серьезное? Хихиканье, шуточки... одно хихиканье да шуточки.

— А зачем — серьезное? — спросил Голем.

— А затем, что все валится в пропасть, а мы хихикаем да шутим. Пируем во время чумы. По-моему, стыдно, господа.

— Ну хорошо, Павор,— примирительно сказал Виктор.— Скажите что-нибудь серьезное. Пусть не умное, но хотя бы серьезное.

— Не желаю серьезного,— объявил Р.Квадрига.— Пьявки. Кочки. Фу!

— Цыц! — сказал ему Виктор.— Дрыхни себе... Правильно, Голем, давайте поговорим хоть раз о чем-нибудь серьезном. Павор, начинайте, расскажите нам про эту вашу пропасть.

— Опять хихикаете? — сказал Павор с горечью.

— Нет,— сказал Виктор.— Честное слово — нет. Я ироничен — может быть. Но это происходит оттого, что всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств...

— Нет,— сказал Павор.— Нет... Человечество валится в пропасть, потому что человечество обанкротилось.

— Нехватка денежных средств,— пробормотал Голем.

Павор не обратил на него внимания. Он обращался исключительно к Виктору, говорил, нагнув голову и глядя исподлобья.

— Человечество обанкротилось биологически: рождаемость падает, распространяется рак, слабоумие, неврозы, люди превратились в наркоманов. Они заглатывают сотни тонн алкоголя, никотина, просто наркотиков, они начали с гашиша и кокаина и кончили ЛСД. Мы просто вырождаемся. Естественную природу мы уничтожили, а искусственная уничтожает нас... Далее, мы обанкротились идеологически — мы

перебрали все философские системы и все их дискредитировали; мы перепробовали все мыслимые системы морали, но остались такими же аморальными скотами, как троглодиты. Самое страшное в том, что вся эта серая человеческая масса в наши дни остается той же сволочью, какой была всегда. Она постоянно жаждет и требует богов, вождей и порядка, и каждый раз, когда она получает богов, вождей и порядок, она делается недовольной, потому что на самом деле ни черта ей не надо, ни богов, ни порядка, а надо ей хаоса, анархии, хлеба и зрелищ. Сейчас она скована железной необходимостью еженедельно получать конвертик с зарплатой, но эта необходимость ей претит, и она уходит от нее каждый вечер в алкоголь и наркотики... Да черт с ней, с этой кучей гниющего дерьма, она смердит и воняет десять тысяч лет и ни на что больше не годится, кроме как смердеть и вонять. Страшно другое — разложение захватывает нас с вами, людей с большой буквы, личностей. Мы видим это разложение и воображаем, будто оно нас не касается, но оно все равно отравляет нас безнадежностью, подтачивает нашу волю, засасывает... А тут еще это проклятье — демократическое воспитание: эгалитэ, фратернитэ, все люди — братья, все из одного теста... Мы постоянно отождествляем себя с чернью и ругаем себя, если случается нам обнаружить, что мы умнее ее, что у нас иные запросы, иные цели в жизни. Пора это понять и сделать выводы: спасаться пора.

— Пора выпить,— сказал Виктор. Он уже жалел, что согласился на серьезный разговор с санитарным инспектором. Было неприятно смотреть на Павора. Павор слишком разгорячился, у него даже глаза закосили. Это выпадало из образа, а говорил он, как и все адепты пропастей, лютую банальщину. Так и хотелось ему сказать: бросьте срамиться, Павор, а лучше повернитесь-ка профилем и иронически усмехнитесь.

— Это все, что вы можете мне ответить? — осведомился Павор.

— Я могу вам еще посоветовать. Побольше иронии, Павор. Не горячитесь так. Все равно вы ничего не можете. А если бы и могли, то не знали бы что.

Павор иронически усмехнулся.

— Я-то знаю,— сказал он.

— Ну-с?

— Есть только одно средство прекратить разложение...

— Знаем, знаем,— легкомысленно сказал Виктор,— нарядить всех дураков в золотые рубашки и пустить маршировать. Вся Европа у нас под ногами. Было.

— Нет,— сказал Павор.— Это только отсрочка. А решение одно: уничтожить массу.

— У вас сегодня прекрасное настроение! — сказал Виктор.

— Уничтожить девяносто процентов населения,— продолжал Павор.— Может быть, даже девяносто пять. Масса выполнила свое назначение: она породила из своих недр цвет человечества, создавший цивилизацию. Теперь она мертва, как гнилой картофельный клубень, давший жизнь новому кусту. А когда покойник начинает гнить, его пора закапывать.

— Господи,— сказал Виктор.— И все это только потому, что у вас насморк и нет пропуска в лепрозорий? Или, может быть, семейные неурядицы?..

— Не притворяйтесь дураком,— сказал Павор.— Почему вы не хотите задуматься над вещами, которые вам отлично известны? Из-за чего извращаются самые светлые идеи? Из-за тупости серой массы. Из-за чего войны, хаос, безобразия? Из-за тупости серой массы, которая выдвигает правительства, ее достойные. Из-за чего Золотой Век так же безнадежно далек от нас, как и во время оно? Из-за косности и невежества серой массы. В принципе Гитлер был прав, подсознательно прав, он чувствовал, что на земле слишком много лишнего. Но он был порождением серой массы и все испортил. Глупо было затевать уничтожение по расовому признаку. И кроме того, у него не было настоящих средств уничтожения.

— А по какому признаку собираетесь уничтожать вы? — спросил Виктор.

— По признаку незаметности,— ответил Павор.— Если человек сер, незаметен — значит, его надо уничтожить.

— А кто будет определять, заметный это человек или нет?

— Бросьте, это детали. Я вам излагаю принцип, а кто, что и как — это детали.

— А чего это ради вы связались с бургомистром? — спросил Виктор, которому Павор надоел.

— То есть?

— На кой черт вам понадобился этот судебный процесс? Мельчите, Павор! И ведь всегда так с вами, со сверхчеловеками. Собираетесь перепахать мир, меньше чем на три миллиарда трупов не согласны, а тем временем то беспокоитесь о чинах, то от триппера лечитесь, то за малую корысть помогаете сомнительным людям обделывать темные делишки.

— Вы все-таки полегче,— сказал Павор. Видно было, что он здорово взбесился.— Вы же сами пьяница и бездельник...

— Во всяком случае, я не затеваю дутых политических процессов и не берусь переделывать мир.

— О да,— сказал Павор.— Вы даже на это не способны, Банев. Вы ведь всего-навсего богема, то есть, короче говоря, подонок, дешевый фрондер и дерьмо. Вы сами не знаете, чего вы хотите, и делаете только то, чего хотят от вас. Потакаете желаниям таких же подонков, как вы, и воображаете поэтому, что вы потрясатель основ и свободный художник. А вы просто поганый рифмач, из тех, которые расписывают общественные сортиры.

— Все это правильно,— согласился Виктор.— Жалко только, что вы не сказали этого раньше. Понадобилось вас обидеть, чтобы вы это сказали. Вот и получается, что вы — гаденькая и мелкая личность, Павор. Всего лишь один из многих. И если начнут уничтожать, то вас уничтожат первого. По принципу незаметности. Философствующий санитарный инспектор? В печку его!

Интересно, как мы выглядим со стороны, подумал он. Павор отвратителен. Ну и улыбочка! Что это с ним сегодня? А Квадрига спит, что ему ссоры, серая масса и вся эта философия... А Голем развалился, как в театре, рюмочка в пальцах, рука за спинкой кресла, ждет, кто кому врежет. Что-то Павор долго молчит... Аргументы подбирает, что ли?

— Ну хорошо,— сказал наконец Павор.— Поговорили — и будет.

Улыбочка у него исчезла, глаза снова сделались как у штурмбаннфюрера. Он бросил на стол кредитку, допил коньяк и, не прощаясь, ушел. Виктор почувствовал приятное разочарование.

— Все-таки для писателя вы отвратительно плохо разбираетесь в людях,— сказал Голем.

— Это не мое дело,— легко сказал Виктор.— Пусть в людях разбираются психологи и департамент безопасности. Мое дело — улавливать тенденции повышенным чутьем художника... А к чему вы мне это говорите? Опять «Виктуар, перестаньте бренчать»?

— Я вас предупреждал: не трогайте Павора.

— Какого черта,— сказал Виктор.— Во-первых, я его не трогал. Это он меня трогал. А во-вторых, он свинья. Вы знаете, что он помогает бургомистру упечь вас под суд?

— Догадываюсь.

— Вас это не волнует?

— Нет. Руки у них коротки. То есть у бургомистра коротки, и у суда.

— А у Павора?

— У Павора руки длинные,— сказал Голем.— И поэтому перестаньте при нем бренчать. Вы же видите, что я при нем не бренчу.

— Интересно, при ком вы бренчите,— проворчал Виктор.

— При вас я иногда бренчу. У меня к вам слабость. Налейте мне коньяку.

— Прошу,— Виктор налил.— Может, разбудим Квадригу? Что он, в самом деле, даже не защитил меня от Павора?

— Нет, не надо его будить. Давайте поговорим. Зачем вы впутываетесь в эти дела? Кто вас просил угонять грузовик?

— Мне так захотелось,— сказал Виктор.— Свинство — задерживать книги. И потом, меня расстроил бургомистр. Он покусился на мою свободу. Каждый раз, когда покушаются на мою свободу, я начинаю хулиганить... Кстати, Голем, а может генерал Пферд заступиться за меня перед бургомистром?

— Чихал он на вас вместе с бургомистром,— сказал Голем.— У него своих забот хватает.

— А вы ему скажите — пусть заступится. А не то я напишу разгромную статью против вашего лепрозория, как вы кровь христианских младенцев используете для лечения очковой болезни. Вы думаете, я не знаю, зачем мокрецы привораживают детишек? Они, во-первых, сосут из них

кровь, а во-вторых, растлевают. Опозорю вас перед всем миром. Кровосос и растлитель под маской врача.— Виктор чокнулся с Големом и выпил.— Между прочим, я говорю серьезно. Бургомистр принуждает меня написать именно такую статью. Вам, конечно, это тоже известно.

— Нет,— сказал Голем.— Но это не существенно.

— Я вижу, вам все не существенно,— сказал Виктор.— Весь город против вас — не существенно. Вас отдают под суд — не существенно. Санинспектор Павор раздражен вашим поведением — не существенно. Модный писатель Банев тоже раздражен и готовит гневное перо — опять же не существенно. Может быть, генерал Пферд — это псевдоним господина президента?.. Кстати, этот всемогущий генерал знает, что вы — коммунист?

— А почему раздражен писатель Банев? — спокойно спросил Голем.— Только не орите так, Тэдди оборачивается.

— Тэдди — наш человек,— возразил Виктор.— Впрочем, он тоже раздражен: его заели мыши.— Он насупил брови и закурил сигарету.— Погодите, что это вы меня спрашивали... А, да. Я раздражен потому, что вы не пустили меня в лепрозорий. Все-таки я совершил благородный поступок. Пусть даже глупый, но ведь все благородные поступки глупы. И еще раньше я носил мокреца на спине.

— И дрался за него,— добавил Голем.

— Вот именно. Дрался.

— С фашистами,— сказал Голем.

— Именно с фашистами.

— А у вас пропуск есть? — спросил Голем.

— Пропуск... Вот Павора вы тоже не пускаете, и он на глазах превратился в демофоба.

— Да, Павору здесь не везет,— сказал Голем.— Вообще он способный работник, но здесь у него ничего не получается. Я все жду, когда он начнет делать глупости. Кажется, уже начинает.

Доктор Р.Квадрига поднял взлохмаченную голову и сказал:

— Крепко. Вот пойду, и там посмотрим. Дух вон.— Голова его снова со стуком упала на стол.

— А все-таки, Голем,— сказал Виктор, понизив голос.— Это правда, что вы — коммунист?

— Мне помнится, компартия у нас запрещена,— заметил Голем.

— Господи,— сказал Виктор.— А какая партия у нас разрешена? Я же не о партии спрашиваю, а о вас...

— Я, как видите, разрешен,— сказал Голем.

— В общем, как хотите,— сказал Виктор.— Мне-то все равно. Но бургомистр... Впрочем, на бургомистра вам наплевать. А вот если дознается генерал Пферд...

— Но мы же ему не скажем,— доверительно шепнул Голем.— Зачем генералу вдаваться в такие мелочи? Знает он, что есть лепрозорий, а в лепрозории — какой-то Голем, мокрецы какие-то, ну и ладно.

— Странный генерал,— задумчиво сказал Виктор.— Генерал от лепрозория. Между прочим, с мокрецами у него, наверное, скоро будут неприятности. Я это чувствую повышенным чутьем художника. В нашем городе прямо-таки свет клином сошелся на мокрецах.

— Если бы только в городе,— сказал Голем.

— А в чем дело? Это же просто больные люди, и даже, кажется, не заразные.

— Не хитрите, Виктор. Вы прекрасно знаете, что это не просто больные люди. Они даже заразны не совсем просто.

— То есть?

— То есть Тэдди вот, например, заразиться от них не может. И бургомистр не может, не говоря уже о полицмейстере. А кто-нибудь другой — может.

— Вы, например.

— Я тоже не могу. Уже.

— А я?

— Не знаю. Вообще это — только моя гипотеза. Не обращайте внимания.

— Не обращаю,— грустно сказал Виктор.— А чем они еще необыкновенны?

— Чем они необыкновенны...— повторил Голем.— Вы могли сами заметить, Виктор, что все люди делятся на три большие группы. Вернее, на две большие и одну маленькую... Есть люди, которые не могут жить без прошлого, они целиком в прошлом, более или менее отдаленном. Они живут традициями, обычаями, заветами, они черпают в прошлом радость и пример. Скажем, господин президент. Что бы он делал,

если бы у нас не было нашего великого прошлого? На что бы он ссылался и откуда бы он взялся вообще?.. Потом, есть люди, которые живут настоящим и знать не желают будущего и прошлого. Вот вы, например. Все представления о прошлом вам испортил господин президент, в какое бы прошлое вы ни заглянули, везде вам видится все тот же господин президент. Что же до будущего, то вы не имеете о нем ни малейшего представления и, по-моему, боитесь иметь... И, наконец, есть люди, которые живут будущим. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал для построения будущего, сырье... Да они, собственно, и живут-то уже в будущем... на островках будущего, которые возникли вокруг них в настоящем...— Голем, как-то странно улыбаясь, поднял глаза к потолку.— Они умны,— проговорил он с нежностью.— Они чертовски умны — в отличие от большинства людей. Они все как на подбор талантливы, Виктор. У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные.

— Обыкновенные желания — это, например, женщины...

— В каком-то смысле — да.

— Водка, зрелища?

— Безусловно.

— Страшная болезнь,— сказал Виктор.— Не хочу... И все равно непонятно... Ничего не понимаю. Ну, то, что умных людей сажают за колючую проволоку,— это я понимаю. Но почему их выпускают, а к ним не пускают...

— А может быть, это не они сидят за колючей проволокой, а вы сидите.

Виктор усмехнулся.

— Подождите,— сказал он.— Это еще не все непонятное. При чем здесь, например, Павор? Ну ладно, меня не пускают, я — человек посторонний. Но должен же кто-то инспектировать состояние постельного белья и отхожих мест? Может быть, у вас там антисанитарные условия.

— А если его интересуют не санитарные условия?

Виктор в замешательстве посмотрел на Голема.

— Вы опять шутите? — спросил он.

— Опять нет,— ответил Голем.

— Так он что, по-вашему, шпион?

— Шпион — слишком емкое понятие,— возразил Голем.

— Погодите,— сказал Виктор.— Давайте начистоту. Кто намотал проволоку и поставил охрану?

— Ох уж эта проволока,— вздохнул Голем.— Сколько об нее было порвано одежды, а эти солдаты постоянно болеют поносом. Вы знаете лучшее средство от поноса? Табак с портвейном... Точнее, портвейн с табаком.

— Ладно,— сказал Виктор.— Значит, генерал Пферд. Ага...— сказал он.— И этот молодой человек с портфелем... Вот оно что! Значит, это у вас просто военная лаборатория. Понятно... А Павор, значит, не военный. По другому, значит, ведомству. Или, может быть, он шпион не наш, иностранный?

— Упаси бог! — сказал Голем с ужасом.— Этого нам еще не хватало...

— Так... А он знает, кто этот парень с портфелем?

— Думаю, да,— сказал Голем.

— А этот парень знает, кто такой Павор?

— Думаю, нет,— сказал Голем.

— Вы ему ничего не сказали?

— Какое мне дело?

— И генералу Пферду не сказали?

— И не подумал.

— Это несправедливо,— произнес Виктор.— Надо сказать.

— Слушайте, Виктор,— сказал Голем.— Я позволил вам болтать на эту тему только для того, чтобы вы испугались и не лезли в чужую кашу. Вам это совершенно ни к чему. Вы и так уже на заметке, вас могут погасить, вы даже не успеете пикнуть.

— Меня испугать нетрудно,— сказал Виктор со вздохом.— Я напуган с детства. И все-таки я никак не могу понять: что им всем нужно от мокрецов?

— Кому — им? — устало и укоризненно спросил Голем.

— Павору. Пферду. Парню с портфелем. Всем этим крокодилам.

— Господи,— сказал Голем.— Ну что в наше время нужно крокодилам от умных и талантливых людей? Я вот не понимаю, что вам от них нужно. Что вы лезете во все эти дела? Мало вам своих собственных неприятностей? Мало вам господина президента?

— Много,— согласился Виктор.— Я сыт по горло.

— Ну и прекрасно. Поезжайте в санаторий, возьмите с собой пачку бумаги... Хотите, я подарю вам пишущую машинку?

— Я пишу по старой системе,— сказал Виктор.— Как Хемингуэй.

— Вот и прекрасно. Я вам подарю огрызок карандаша. Работайте, любите Диану. Может быть, вам еще сюжет дать? Может быть, вы уже исписались?

— Сюжеты рождаются из темы,— важно сказал Виктор.— Я изучаю жизнь.

— Ради бога,— сказал Голем.— Изучайте жизнь сколько вам угодно. Только не вмешивайтесь в процессы.

— Это невозможно,— возразил Виктор.— Прибор неизбежно влияет на картину эксперимента. Разве вы забыли физику? Ведь мы наблюдаем не мир как таковой, а мир плюс воздействие наблюдателя.

— Вам уже один раз дали кастетом по черепу, а в следующий раз могут просто пристрелить.

— Ну,— сказал Виктор,— во-первых, может быть, вовсе не кастетом, а кирпичом. А во-вторых — мало ли где мне могут дать по черепу. Мне в любой момент могут подвесить, так что же теперь — из номера не выходить?

Голем покусал нижнюю губу. У него были желтые лошадиные зубы.

— Слушайте вы, прибор,— сказал он.— Вы тогда вмешались в эксперимент совершенно случайно — и немедленно получили по башке. Если теперь вы вмешаетесь сознательно...

— Я ни в какой эксперимент не вмешивался,— сказал Виктор.— Я шел себе спокойно от Лолы, и вдруг вижу...

— Идиот,— сказал Голем.— Идет он себе и видит. Надо было перейти на другую сторону, ворона вы безмозглая!

— Чего это ради я буду переходить на другую сторону?

— А того ради, что один ваш хороший знакомый занимался выполнением своих прямых обязанностей, а вы туда влезли, как баран.

Виктор выпрямился.

— Какой еще хороший знакомый? Там не было ни одного знакомого.

— Знакомый подоспел сзади с кастетом. У вас есть знакомые с кастетами?

Виктор залпом допил свой коньяк. С удивительной отчетливостью он вспомнил: Павор с покрасневшим от гриппа носом вытаскивает из кармана платок, и кастет со стуком падает на пол — тяжелый, тусклый, прикладистый.

— Бросьте,— сказал Виктор и откашлялся.— Ерунда. Не мог Павор...

— Я не называл никаких имен,— возразил Голем.

Виктор положил руки на стол и оглядел свои сжатые кулаки.

— При чем здесь его обязанности? — спросил он.

— Кому-то понадобился живой мокрец, очевидно. Киднапинг.

— А я помешал?

— Пытались помешать.

— Значит, они его все-таки схватили?

— И увезли. Скажите спасибо, что вас не прихватили — во избежание утечки информации. Их ведь судьбы литературы не занимают.

— Значит, Павор...— медленно сказал Виктор.

— Никаких имен,— напомнил Голем строго.

— Сукин сын,— сказал Виктор.— Ладно, посмотрим... А зачем им понадобился мокрец?

— Ну как — зачем? Информация... Где взять информацию? Сами знаете — проволока, солдаты, генерал Пферд...

— Значит, сейчас его там допрашивают? — проговорил Виктор.

Голем долго молчал. Потом сказал:

— Он умер.

— Забили?

— Нет. Наоборот.— Голем снова помолчал.— Они болваны. Не давали ему читать, и он умер от голода.

Виктор быстро взглянул на него. Голем печально улыбался. Или плакал от горя. Виктор вдруг почувствовал ужас и тоску, душную тоску. Свет торшера померк. Это было похоже на сердечный приступ. Виктор задохнулся и с трудом оттянул узел галстука. Боже мой, подумал он, какая же это дрянь, какая гадость, бандит, холодный убийца... а после этого, через час, помыл руки, попрыскался духами, прикинул, какие благодарности перепадут от начальства, и сидел

рядом, и чокался со мной, и улыбался мне, и говорил со мной как с товарищем, подлец, и все врал, наслаждался, издевался надо мной, хихикал в кулак, когда я отворачивался, подмигивал сам себе, а потом сочувственно спрашивал, что у меня с головой... Словно сквозь черный туман, Виктор видел, как доктор Р.Квадрига медленно поднял голову, разинул в неслышном крике запекшийся рот и стал судорожно шарить по скатерти трясущимися руками, как слепой, и глаза у него были как у слепого, когда он вертел головой и все кричал, кричал, а Виктор ничего не слышал... И правильно, я сам дерьмо, никому не нужный, мелкий человечек, в морду меня, сапогом, и держать за руки, не давать утираться, и на кой черт я кому нужен, надо было бить крепче, чтобы не встал, а я как во сне, ватными кулаками, и, боже мой, на кой черт я живу, и на кой черт живут все, ведь это так просто, подойти сзади и ударить железом в голову, и ничего не изменится, ничего в мире не изменится, родится за тысячу километров отсюда в ту же самую секунду другой такой же ублюдок... Жирное лицо Голема обрюзгло еще сильнее и стало черным от проступившей щетины, глаза заплыли, он лежал в кресле неподвижно, как бурдюк с прогорклым маслом, двигались только пальцы, когда он медленно брал рюмку за рюмкой, беззвучно отламывал ножку, ронял и снова брал, и снова ломал и ронял... И никого не люблю, не могу любить Диану, мало ли с кем я сплю, спать все умеют, но разве можно любить женщину, которая тебя не любит, а женщина не может любить, когда ты не любишь ее, и так все вертится в проклятом бесчеловечном кольце, как змея вертится, гонится за своим хвостом, как животные, спариваются и разбегаются, только животные не придумывают слов и не сочиняют стихов, а просто спариваются и разбегаются... А Тэдди плакал, поставив локти на стойку, положив костлявый подбородок на костлявые кулаки, его лысый лоб шафранно блестел под лампой, и по впалым щекам безостановочно текли слезы, и они тоже блестели под лампой... А все потому, что я — дерьмо, и никакой не писатель, какой из меня, к черту, писатель, если я не терплю писать, если писать для меня — это мучение, стыдное, неприятное занятие, что-то вроде болезненного физиологического отправления, вроде поноса, вроде выдавливания гноя из чирья, ненавижу, страшно

подумать, что придется заниматься этим всю жизнь, что уже обречен, что теперь уже не отпустят, а будут требовать: давай, давай, и я буду давать, но сейчас не могу, даже думать об этом не могу, а то меня вырвет... Бол-Кунац стоял за спиной Р.Квадриги и смотрел на часы, тоненький, мокрый, с мокрым свежим лицом, с чудными темными глазами, и от него, разрывая плотную горячую духоту, шел свежий запах — запах травы и ключевой воды, запах лилий, солнца и стрекоз над озером... И мир вернулся. Только какое-то смутное воспоминание, или ощущение, или воспоминание об ощущении метнулось за угол: чей-то отчаянный оборвавшийся крик, непонятный скрежет, звон, хруст стекла...

Виктор облизнул губы и потянулся за бутылкой. Доктор Р.Квадрига, лежа головой на скатерти, хрипло бормотал: «Ничего не нужно. Спрячьте меня. Ну их...» Голем озабоченно сметал со стола стеклянные обломки.

Бол-Кунац сказал:

— Господин Голем, простите, пожалуйста, вам письмо,— он положил перед Големом конверт и снова взглянул на часы.— Добрый вечер, господин Банев,— сказал он.

— Добрый вечер,— сказал Виктор, наливая себе коньяку.

Голем внимательно читал письмо. За стойкой Тэдди шумно сморкался в клетчатый носовой платок.

— Слушай, Бол-Кунац,— сказал Виктор.— Ты видел, кто меня тогда ударил?

— Нет,— ответил Бол-Кунац, поглядев ему в глаза.

— Как так — нет? — сказал Виктор, нахмурившись.

— Он стоял ко мне спиной,— объяснил Бол-Кунац.

— Ты его знаешь,— сказал Виктор.— Кто это был?

Голем издал неопределенный звук. Виктор быстро оглянулся на него. Голем, не обращая ни на кого внимания, задумчиво рвал записку на мелкие клочки. Обрывки он спрятал в карман.

— Вы ошибаетесь,— сказал Бол-Кунац.— Я его не знаю.

— Банев,— пробормотал Р.Квадрига.— Я тебя прошу... Я не могу там один. Пойдем со мной... Очень жутко...

Голем поднялся, поискал пальцем в жилетном кармане, потом крикнул:

— Тэдди! Запишите на меня... и учтите, что я разбил четыре рюмки... Ну, я пошел,— сказал он Виктору.— Подумайте и примите разумное решение. Может быть, вам лучше даже уехать.

— До свидания, господин Банев,— вежливо сказал Бол-Кунац. Виктору показалось, что мальчик едва заметно отрицательно качнул головой.

— До свидания, Бол-Кунац,— сказал он.— До свидания.

Они ушли. Виктор в задумчивости допил коньяк. Подошел официант, лицо у него было опухшее, в красных пятнах. Он стал убирать со стола, и движения его были непривычно неловки и неуверенны.

— Вы здесь недавно? — спросил Виктор.

— Да, господин Банев. Сегодня с утра.

— А что же Питер? Заболел?

— Нет, господин Банев. Он уехал. Не выдержал. Я тоже, наверное, уеду...

Виктор посмотрел на Р.Квадригу.

— Отведите его потом в номер,— сказал он.

— Да, конечно, господин Банев,— ответил официант нетвердым голосом.

Виктор расплатился, прощально помахал Тэдди и вышел в вестибюль. Он поднялся на второй этаж, подошел к двери Павора, поднял руку, чтобы постучать, постоял так немного и, не постучав, снова спустился вниз. Портье за своей конторкой с изумлением рассматривал руки. Руки у него были мокрые, к ним пристали клочья волос, а на лице, на обеих щеках, вспухли свежие царапины. Он посмотрел на Виктора — глаза у него были ошалелые. Но сейчас нельзя было замечать всех этих странностей, это было бы бестактно и жестоко, и тем более нельзя было говорить об этом, необходимо было сделать вид, будто ничего не случилось, все это надо было отложить на потом, на завтра или, может быть, даже на послезавтра. Виктор спросил:

— Где остановился этот... знаете, молодой человек в очках, он всегда ходит с портфелем.

Портье замялся. Как бы в поисках выхода, он посмотрел на номерную доску с ключами, потом все-таки ответил:

— В триста двенадцатом, господин Банев.

— Спасибо,— сказал Виктор, кладя на конторку монету.

— Только они не любят, когда их беспокоят,— нерешительно предупредил портье.

— Я знаю,— сказал Виктор.— Я и не думал их беспокоить. Я просто так спросил... загадал, понимаете ли: если в четном, то все будет хорошо.

Портье бледно улыбнулся.

— Какие же у вас могут быть неприятности, господин Банев,— вежливо сказал он.

— Всякие могут быть,— вздохнул Виктор.— Большие и малые. Спокойной ночи.

Он поднялся на третий этаж, двигаясь неторопливо, нарочито неторопливо, словно бы для того, чтобы все обдумать, и взвесить, и прикинуть возможные последствия, и учесть все на три года вперед, но на самом деле думал он только о том, что ковер на лестнице давным-давно пора сменить, облез ковер, вытерся. И только уже перед тем, как постучать в дверь триста двенадцатого номера (люкс, две спальни и гостиная, телевизор, приемник первого класса, холодильник и бар), он чуть не сказал вслух: «Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга».

Стучать пришлось довольно долго: сначала деликатно, костяшками пальцев, а когда не ответили — более решительно, кулаком, а когда и на это не отреагировали — только скрипнули половицей и задышали в замочную скважину,— тогда, повернувшись задом, каблуком, уже совсем грубо.

— Кто там? — спросил наконец голос за дверью.

— Сосед,— ответил Виктор.— Откройте на минутку.

— Что вам надо?

— Мне надо сказать вам пару слов.

— Приходите утром,— сказал голос за дверью.— Мы уже спим.

— Черт бы вас подрал,— сказал Виктор, рассердившись.— Вы хотите, чтобы меня здесь увидели? Откройте, чего вы боитесь?

Щелкнул ключ, и дверь приоткрылась. В щели появился тусклый глаз долговязого профессионала. Виктор показал ему раскрытые ладони.

— Пару слов,— сказал он.

— Входите,— сказал долговязый.— Только без глупостей.

Виктор вошел в прихожую, долговязый закрыл за ним дверь и зажег свет. Прихожая была тесная, вдвоем они с трудом помещались в ней.

— Ну, говорите,— сказал долговязый. Он был в пижаме, спереди чем-то запачканной. Виктор с изумлением принюхался — от долговязого несло спиртным. Правую руку он, как и полагалось, держал в кармане.

— Мы так и будем здесь беседовать? — осведомился Виктор.

— Да.

— Нет,— сказал Виктор.— Здесь я беседовать не буду.

— Как хотите,— сказал долговязый.

— Как хотите,— сказал Виктор.— Мое дело маленькое.

Они помолчали. Долговязый, уже не скрываясь, внимательно обшаривал Виктора глазами.

— Кажется, ваша фамилия Банев? — сказал он.

— Кажется.

— Ага,— сказал долговязый хмуро.— Так какой же вы сосед? Вы живете на втором этаже.

— Сосед по гостинице,— объяснил Виктор.

— Ага... Так что вам нужно, я не пойму.

— Мне нужно кое-что вам сообщить,— сказал Виктор.— Есть кое-какая информация. Но я уже начинаю раздумывать, стоит ли.

— Ну, ладно,— сказал долговязый.— Пойдемте в ванную.

— Знаете,— сказал Виктор,— я, пожалуй, уйду.

— А почему вы не хотите в ванную? Что за капризы?

— Вы знаете,— сказал Виктор,— я раздумал. Я, пожалуй, пойду. В конце концов, это не мое дело.— Он сделал движение.

Долговязый даже закряхтел от раздиравших его противоречий.

— Вы, по-моему, писатель,— сказал он.— Или я вас с кем-то путаю?

— Писатель, писатель,— сказал Виктор.— До свидания.

— Да нет, погодите. Так бы сразу и сказали. Пойдемте. Вот сюда.

Они вошли в гостиную, где сплошь были портьеры — справа портьеры, слева портьеры, прямо, на огромном окне, портьеры. Огромный телевизор в углу сверкал цветным экраном, звук был выключен. В другом углу из мягкого кресла под торшером смотрел на Виктора поверх развернутой газеты очкастый молодой человек, тоже в пижаме и шлепанцах. Рядом с ним на журнальном столике возвышалась четырехугольная бутылка и сифон. Портфеля нигде не было видно.

— Добрый вечер,— сказал Виктор.

Молодой человек молча наклонил голову.

— Это ко мне,— сказал долговязый.— Не обращай внимания.

Молодой человек снова кивнул и закрылся газетой.

— Прошу сюда,— сказал долговязый. Они прошли в спальню направо, и долговязый сел на кровать.— Вот кресло,— сказал он.— Садитесь и выкладывайте.

Виктор сел. В спальне густо пахло застоявшимся табачным дымом и офицерским одеколоном. Долговязый сидел на кровати и смотрел на Виктора, не вынимая руки из кармана. В гостиной хрустела газета.

— Ладно,— сказал Виктор. Не то чтобы ему удалось полностью преодолеть отвращение, но, раз он сюда пришел, надо было говорить.— Я примерно представляю себе, кто вы такие. Может быть, я ошибаюсь, и тогда все в порядке. Но если я не ошибаюсь, то вам полезно будет узнать, что за вами следят и стараются вам помешать.

— Предположим,— сказал долговязый.— И кто же за нами следит?

— Вами очень интересуется человек по имени Павор Сумман.

— Что? — сказал долговязый.— Санинспектор, что ли?

— Он не санинспектор. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать.— Виктор встал, но долговязый не пошевелился.

— Предположим,— повторил он.— А откуда вы, собственно, все это знаете?

— Это важно? — спросил Виктор.

Некоторое время долговязый раздумывал.

— Предположим, что не важно,— произнес он.

— Ваше дело — проверить,— сказал Виктор.— А я больше ничего не знаю. До свидания.

— Да куда же вы, погодите,— сказал долговязый. Он нагнулся к туалетному столику, вытащил бутылку и стакан.— Так хотели войти и теперь уже уходите... Ничего, если из одного стакана?

— Это смотря что,— ответил Виктор и снова сел.

— Шотландское,— сказал долговязый.— Устраивает?

— Настоящее шотландское?

— Настоящий скотч. Получайте,— он протянул Виктору стакан.

— Живут же люди,— сказал Виктор и выпил.

— Куда нам до писателей,— сказал долговязый и тоже выпил.— Вы бы все-таки рассказали толком...

— Бросьте,— сказал Виктор.— Вам за это деньги платят. Я вам назвал имя, адрес вы сами знаете, вот и займитесь. Тем более что я на самом деле ничего не знаю. Разве что...— Виктор остановился и сделал вид, что его осенило. Долговязый немедленно клюнул.

— Ну? — сказал он.— Ну?

— Я знаю, что он похитил одного мокреца и что он действовал вместе с городскими легионерами. Как его там... Фламента... Ювента...

— Фламин Ювента,— подсказал долговязый.

— Вот-вот.

— Насчет мокреца — это точно? — спросил долговязый.

— Да. Я пытался помешать, и господин санинспектор треснул меня кастетом по голове. А потом, пока я валялся, они увезли его на машине.

— Так-так,— произнес долговязый.— Значит, это был Сумман... Слушайте, а вы молодец, Банев! Хотите еще виски?

— Хочу,— сказал Виктор. Что бы он ни говорил себе, как бы он ни взвинчивал себя, как бы он себя ни настраивал, ему было противно. Ну и ладно, подумал он. И на том спасибо, что в доносчики я, по крайней мере, не гожусь. Никакого удовольствия, хотя они теперь и начнут жрать друг друга. Голем был прав: зря я полез в это дело... Или Голем хитрее, чем я думаю?

— Прошу,— сказал долговязый, протягивая ему полный стакан.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Который час? — сонно спросила Диана.

Виктор аккуратно снял бритвой полоску мыла с левой скулы, поглядел в зеркало, потом сказал:

— Дрыхни, малыш, дрыхни. Рано еще.

— Действительно,— сказала Диана. Диван скрипнул.— Девять часов. А ты что там делаешь?

— Бреюсь,— ответил Виктор, снимая следующую полоску мыла.— Захотелось мне вдруг побриться. Дай, думаю, побреюсь.

— Сумасшедший,— сказала Диана сквозь зевок.— Вечером надо было бриться. Всю меня исполосовал своими колючками. Кактус.

В зеркало ему было видно, как она ломающимися шагами подошла к креслу, забралась с ногами и стала смотреть на него. Виктор ей подмигнул. Опять она была другая, нежная-нежная, мягкая-мягкая, ласковая-ласковая, свернулась, как сытая кошка, ухоженная, обглаженная, благостная,— совсем не та, что ворвалась к нему вчера в номер.

— Сегодня ты похожа на кошку,— сообщил он.— И даже не на кошку — на кошечку, на кошаточку... Чего ты улыбаешься?

— Это не про тебя. Просто почему-то вспомнилось...

Она зевнула и сладко потянулась. Она тонула в пижаме Виктора, из бесформенной кучи шелка в кресле выглядывало только ее чудное лицо и тонкие руки. Как из волны. Виктор стал бриться быстрее.

— Не торопись,— сказала она.— Обрежешься. Все равно мне уже пора ехать.

— Поэтому я и тороплюсь,— возразил Виктор.

— Ну, нет, я так не люблю. Так только кошки... Как там мои шмотки?

Виктор протянул руку и потрогал ее платье и чулки, развешенные на обогревательной решетке. Все высохло.

— Куда ты спешишь? — спросил он.

— Я же тебе говорила. К Росшеперу.

— Что-то я ничего не помню. Что там с Росшепером?

— Ну он же повредился,— сказала Диана.

— Ах да! — сказал Виктор.— Да-да, ты что-то говорила. Откуда-то он там вывалился. Здорово расшибся?

— Этот дурак,— сказала Диана,— решил вдруг покончить с собой и выбросился в окно. Кинулся, как бык, головой вперед, проломил раму, но забыл при этом, что находится на первом этаже. Повредил коленку, заорал, а теперь лежит.

— Что это он? — равнодушно спросил Виктор.— Белая горячка?

— Что-то вроде.

— Подожди,— сказал Виктор.— Так это ты из-за него два дня ко мне не приезжала? Из-за этого вола?

— Ну да! Главный врач мне приказал с ним сидеть, потому что он, то есть Росшепер, без меня не мог. Не мог и все тут. Ничего не мог. Даже помочиться. Мне приходилось изображать журчание воды и рассказывать ему про писсуары.

— Что ты в этом понимаешь,— пробормотал Виктор.— Ты вот ему про писсуары рассказывала, а я тут мучился один, тоже ничего не мог, ни строчки не написал. Ты знаешь, я вообще не люблю писать, а последнее время... Вообще жизнь у меня последнее время...— Он остановился. Какое ей дело? — подумал он. Спарились и разбежались.— Да, слушай... Когда, ты говоришь, Росшепер сверзился?

— Третьего дня,— ответила Диана.

— Вечером?

— Угу,— сказала Диана, грызя печенье.

— В десять часов вечера,— сказал Виктор.— Между десятью и одиннадцатью.

Диана перестала жевать.

— Правильно,— сказала она.— А ты откуда знаешь? Принял его некробиотическую телепатему?

— Подожди,— сказал Виктор.— Я тебе сейчас расскажу кое-что интересное. Но сначала — а ты что делала в этот момент?

— Что я делала?.. А, да. Я в тот вечер, помнится, психанула. Мотала я бинты, и вдруг такая тоска на меня навалилась, как головная боль, хоть в петлю. Сунулась я мордой в эти бинты и реву, да как реву! — в три ручья, с детства так не ревела...

— И вдруг все прошло,— сказал Виктор.

Диана задумалась.

— Да... Нет... Тут вдруг Росшепер как заорет на улице, я перепугалась и выскочила.

Она хотела сказать еще что-то, но в дверь застучали, рванули ручку, и голос Тэдди прохрипел из коридора: «Виктор! Виктор, проснись! Открой, Виктор!» Виктор замер с бритвой в руке. «Виктор! — хрипел Тэдди.— Открой!» — и бешено вертел дверную ручку. Диана вскочила и повернула ключ. Дверь распахнулась, ворвался Тэдди, мокрый, растерзанный, и в руке у него был обрез.

— Где Виктор? — хрипло рявкнул он.

Виктор вышел из ванной.

— Что такое? — спросил он. У него заколотилось сердце. Арест... Война...

— Дети ушли,— тяжело дыша, сказал Тэдди.— Собирайся, дети ушли!

— Постой,— сказал Виктор.— Какие дети?

Тэдди швырнул обрез на стол в кучу исписанной, исчерканной, измятой бумаги.

— Сманили детей, сволочи! — заорал он.— Сманили, гады! Ну, теперь все! Хватит, натерпелись... Теперь все!

Виктор еще ничего не понимал, он только видел, что Тэдди вне себя. Таким он видел Тэдди только один раз, когда во время большого скандала в ресторане у него под шумок взломали кассу. Виктор в растерянности хлопал глазами, а Диана подхватила со спинки кресла белье, проскользнула в ванную и прикрыла за собой дверь. И в этот момент резко и нервно затрещал телефон, Виктор схватил трубку. Это была Лола.

— Виктор,— завыла она.— Я ничего не понимаю, Ирма куда-то пропала, оставила записку, что никогда не вернется, а кругом говорят, что дети ушли из города... Я боюсь! Сделай что-нибудь...— она почти плакала.

— Хорошо, хорошо, сейчас,— сказал Виктор.— Дайте штаны надеть.— Он бросил трубку и оглянулся на Тэдди. Бармен сидел на разворошенной постели и, бормоча страшные слова, сливал в стакан остатки из всех бутылок.— Погоди,— сказал Виктор.— Надо без паники. Я сейчас...

Он вернулся в ванную и принялся торопливо добривать намыленный подбородок, он несколько раз порезался, ему некогда было направить бритву, а Диана тем временем выскочила из-под душа и шуршала одеждой у него за спиной,

лицо у нее было жесткое и решительное, словно она готовилась к драке, но она была совершенно спокойна.

...А дети шли бесконечной серой колонной по серым размытым дорогам, шли, спотыкаясь, оскальзываясь и падая под проливным дождем, шли, согнувшись, промокшие насквозь, сжимая в посиневших лапках жалкие промокшие узелки, шли, маленькие, беспомощные, непонимающие, шли плача, шли молча, шли, оглядываясь, шли, держась за руки и за хлястики, а по сторонам дороги вышагивали мрачные черные фигуры без лиц, и на месте лиц были черные повязки, а над повязками безжалостно и холодно смотрели нечеловеческие глаза, и руки, затянутые в черные перчатки, сжимали автоматы, и дождь лил на вороненую сталь, и капли дрожали и катились по стали... Чепуха, думал Виктор, чепуха, это совсем не то, совсем не теперь, это я видел, но это было очень давно, а теперь совсем не так...

...Они уходили радостно, и дождь был для них другом, они весело шлепали по лужам горячими босыми ногами, они весело болтали, и пели, и не оглядывались, потому что уже все забыли, потому что у них было только будущее, потому что они навсегда забыли свой храпящий и сопящий предутренний город, скопище клопиных нор, гнездо мелких страстишек и мелких желаний, беременное чудовищными преступлениями, непрерывно извергающее преступления и преступные намерения, как муравьиная матка непрерывно извергает яйца, они ушли, щебеча и болтая, и скрылись в тумане, пока мы, пьяные, захлебывались спертым воздухом, поражаемые погаными кошмарами, которых они никогда не видели и никогда не увидят...

Он надевал брюки, прыгая на одной ноге, когда стекла задребезжали, и густой механический рев проник в комнату. Тэдди опрометью бросился к окну, но за окном был все тот же дождь, пустая мокрая улица, и только кто-то проехал на велосипеде, мокрый брезентовый мешок, натужно двигающий ногами. А стекла продолжали дребезжать и позвякивать, и низкий тоскливый рев продолжался, а минуту спустя к нему присоединились отрывистые жалобные гудки.

— Пошли,— сказала Диана. Она была уже в плаще.

— Нет, погоди,— сказал Тэдди.— Виктор, оружие у тебя есть? Пистолет какой-нибудь, автомат... Есть?

Виктор не ответил, схватил свой плащ, и они втроем сбежали по лестнице в вестибюль, совсем уже пустой, без швейцара и портье. Казалось, в гостинице не осталось ни одного человека, только в ресторане за столом сидел Р.Квадрига, недоуменно крутя головой и, видимо, давно уже дожидаясь завтрака. Они выскочили на улицу и влезли в грузовик Дианы — все трое в кабину. Диана села за руль, и они понеслись по городу. Диана молчала, Виктор курил, стараясь собраться с мыслями, а Тэдди все продолжал вполголоса изрыгать невероятную брань, и даже Виктор не понимал значения многих слов, потому что такие слова мог знать только Тэдди — приютская крыса, воспитанник портовых трущоб, а потом спекулянт наркотиками, а потом вышибала в публичном доме, а потом солдат похоронной команды, а потом бандит и мародер, а потом бармен, бармен, бармен и опять бармен.

В городе людей почти не было видно, только на углу Солнечной Диана остановилась, чтобы взять в кузов растерянную супружескую пару. Низкий рев сирен ПВО и писклявые заводские гудки не прекращались, и было что-то апокалиптическое в этом стоне механических голосов над безлюдным городом. Все сжималось внутри, хотелось куда-то бежать и то ли прятаться, то ли стрелять, и даже «Братья по разуму» на стадионе гоняли мяч без обычного энтузиазма, а некоторые из них, разинув рты, оглядывались по сторонам, как бы пытаясь что-то уразуметь.

На шоссе люди стали попадаться все чаще и чаще. Некоторые шли пешком, захлебываясь в дожде, жалкие, перепуганные, плохо соображающие, что они делают и зачем. Другие катили на велосипедах и тоже уже выдохлись, потому что ехать приходилось против ветра. Несколько раз грузовик проехал мимо брошенных автомобилей, поломавшихся или впопыхах не заправленных, а один автомобиль съехал в кювет. Диана останавливалась и подбирала всех подряд, и скоро кузов оказался набит до отказа. Виктор с Тэдди тоже перебрались в кузов, уступив места женщине с грудным младенцем и какой-то полусумасшедшей старухе. Потом места не осталось и в кузове, и Диана уже больше не останавливалась, и грузовик мчался вперед, заливая потоками воды и обгоняя десятки и сотни людей, тащившихся к лепрозорию.

Несколько раз грузовик обгоняли грузовые машины, набитые людьми, мотоциклисты, и еще один грузовик догнал их и пристроился сзади.

Диана привыкла возить коньяк для Росшепера или гонять пустую машину по окрестностям для собственного удовольствия, поэтому в кузове было страшно. Сесть все не могли, не было места, и стоявшие цеплялись друг за друга и за головы сидевших, и каждый старался пробраться вглубь, подальше от бортов, и никто ничего не говорил — все только пыхтели и ругались, а одна женщина непрерывно плакала в голос. И шел дождь — такой, какого Виктор не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что на свете бывают такие дожди — сплошной тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер нес его навстречу движению. Видимость была отвратительная — пятнадцать метров вперед и пятнадцать назад, и Виктор очень боялся, что Диана сшибет кого-нибудь на шоссе или врежется в затормозившую машину. Но все обошлось благополучно, и Виктору только сильно отдавили ногу, когда все в кузове повалились друг на друга в последний раз и грузовик занесло боком перед громадным скоплением машин у ворот лепрозория.

Наверное, весь город собрался здесь. Здесь не было дождя, и казалось, что город прибежал сюда, спасаясь от потопа. Вправо и влево от шоссе, насколько хватало глаз, вдоль колючей изгороди растянулась тысячная толпа, в которой тонули разбросанные, стоящие кое-как пустые автомобили — роскошные длинные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы и даже один автокран, на стреле которого сидело несколько человек. Над толпой висел глухой гул, иногда раздавались пронзительные выкрики.

Все попрыгали из кузова, и Виктор сразу потерял из виду Диану и Тэдди, вокруг были только незнакомые лица, мрачные, ожесточенные, недоумевающие, плачущие, кричащие, с закаченными в обмороке глазами, оскаленные... Виктор попытался пробиться к воротам, но через несколько шагов безнадежно увяз. Люди стояли плотной стеной, никто не желал уступать своего места, их можно было толкать, пинать, бить, они даже не оборачивались, они только втягивали

головы в плечи и все старались просунуться вперед, вперед, ближе к воротам, ближе к своим детям, они вставали на цыпочки, они тянули шеи, и ничего не было видно за колышащейся массой капюшонов и шляп.

— Господи, за что? В чем согрешили мы, господи?

— Сволочи! Давно надо было вырезать. Говорили же умные люди...

— А где бургомистр? Какого черта он делает? Где полиция? Где все эти толстобрюхие?

— Сим, меня сейчас задавят... Сим, задыхаюсь! Ох, Сим...

— В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали, ходили босяками, лишь бы их одеть-обуть...

— Напереть всем разом — и ворота к черту...

— Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего-то ремнем гоняете, а у нас дома и в помине такого не было...

— Видал пулеметы? Это что же, в народ стрелять? За своих-то детей?

— Муничка! Муничка! Муничка! Муничка мой! Муничка!

— Да что это, господа? Это же безумие какое-то! Где это видано?

— Ничего, легионеры им покажут... Они с тылу, понял? Ворота откроют, тут мы и поднапрем...

— А ты пулеметы видел? То-то и оно...

— Пустите меня! Да пустите же вы меня! У меня же дочка там!

— Они давно собирались, я уж видела, да боязно было спрашивать.

— А может, и ничего? Что же они, звери, что ли? Это же не оккупанты все-таки, не на расстрел же их повели, не в печи...

— В кр-р-ровь, зубами рвать буду!..

— Да-а, видно, совсем уж мы дерьмом сделались, если родные дети от нас к заразам ушли... Брось, сами они ушли, сами, никто их не гнал насильно, брось...

— Эй, у кого ружья есть? Выходи! У кого ружья есть, говорю? Выходи ко мне, давай сюда, вот он я!

— Это мои дети, господин хороший, я их породил, и я ими распоряжаться буду как пожелаю!

— Да где же полиция, господи!..

— Надо телеграмму господину президенту! Пять тысяч подписей — это вам не шутка!..

— Женщину задавили! Подвинься, говорю, сволочь! Не видишь?

— Муничек мой! Муничка! Муничка!

— Хрен от этих петиций толку. У нас петиций не любят. Дадут этой петицией тебе же и по мозгам...

— Открывай ворота, так вашу перетак!.. Мокрецы паршивые! Гады!

— Ворота!

— Ворота отворяй!

Виктор полез назад. Это было трудно, несколько раз его ударили, но он все-таки вырвался, пробился к грузовику и снова забрался в кузов. Над лепрозорием стоял туман, в десятке метров от изгороди по ту сторону ничего уже не было видно. Ворота были плотно закрыты, перед ними оставалось пустое пространство, и в этом пространстве стояли, расставив ноги, направив в толпу автоматы, человек десять солдат внутренней службы в касках, надвинутых на глаза. На крыльце караульной будки, вставая от напряжения на носки, надсаживаясь, что-то кричал офицер, но его не было слышно. Над крышей караульной будки, словно громадная этажерка, возвышалась в тумане деревянная башня, на верхней ее площадке стоял пулемет и копошились люди в сером. Потом там, за проволокой, еле слышно позвякивая железом, прокатился вдоль ограды полугусеничный броневик, подпрыгнул несколько раз на кочках и скрылся в тумане. При виде броневика толпа притихла, так что даже стали слышны надсадные вопли офицера («...спокойствие... имею приказ... по домам...»), затем снова загудела, заворчала, заревела.

Перед воротами возникло движение. Среди темных, синих, серых плащей и накидок засверкали знакомые до тошноты медные шлемы и золотые рубашки. Они возникали в толпе, как пятна света, продирались в пустое пространство и там сливались в желто-золотую массу. Здоровенные парни в золотых рубахах до колен, перепоясанные армейскими офицерскими ремнями с тяжелыми пряжками, в начищенных

медных касках, из-за которых легионеров звали попросту пожарниками, с короткими массивными дубинками, и каждый заляпан эмблемами Легиона — эмблема на пряжке, эмблема на левом рукаве, эмблема на груди, эмблема на дубинке, эмблема на каске, эмблема на морде, пробу ставить некуда, на спортивной мускулистой морде с волчьими глазами... и значки, созвездия значков, значок Отличного Стрелка, и Отличного Парашютиста, и Отличного Подводника, и еще значки с портретом господина президента, и его зятя, основателя Легиона, и его сына, обер-шефа Легиона... и у каждого в кармане бомба со слезоточивым газом, и если хоть один из этих болванов в порыве хулиганского энтузиазма бросит такую бомбу — ударит пулемет на вышке, ударят пулеметы броневика, ударят автоматы солдат, и все ведь по толпе, по толпе, а не по золотым рубашкам. Легионеры строились в шеренгу перед солдатами, вдоль шеренги, размахивая дубинкой, носился Фламин Ювента, племянничек, и Виктор уже начал в отчаянии озираться, не зная, что делать, но тут офицеру вынесли из караулки мегафон, и офицер страшно обрадовался, даже заулыбался, и взревел громовым голосом; но он успел прореветь только: «Прошу внимания! Прошу собравшихся...» — а затем мегафон, видимо, опять испортился, офицер, бледнея, подул в раструб, а Фламин Ювента, приготовившийся было слушать, принялся с удвоенным усердием бегать и размахивать, и вдруг толпа грозно загудела — казалось, закричали все разом, и те, кто уже кричали раньше, и те, которые раньше молчали, или просто переговаривались, или плакали, или молились, и Виктор тоже закричал, не помня себя от ужаса при мысли о том, что сейчас произойдет. «Уберите болванов! — кричал он.— Уберите пожарников! Это смерть! Не надо! Диана!» Неизвестно, кто и что кричал в толпе, но сама толпа, до сих пор неподвижная, стала равномерно колыхаться, как гигантское блюдо студня, и офицер, уронив мегафон, попятился к дверям караулки, а лица солдат под касками ощерились и остервенели, а наверху, на башне, больше никто не шевелился, там замерли и целились. И тут раздался Голос.

Он был как гром, он шел со всех сторон сразу, и он сразу покрыл все остальные звуки. Он был спокоен, даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышалась в нем,

безмерная снисходительность, словно говорил кто-то огромный, презрительный, высокомерный, стоя спиной к надоевшей толпе, говорил через плечо, оторвавшись на минуту от важных забот ради этой раздражившей его наконец пустяковины.

— Да перестаньте вы кричать,— сказал Голос.— Перестаньте размахивать руками и угрожать. Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственному желанию, никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны. Не хотят они жить больше так, как живете вы и жили ваши предки. Вы очень любите подражать своим предкам и полагаете это человеческим достоинством, а они — нет. Не хотят они вырасти пьяницами и развратниками, мелкими людишками, рабами, конформистами, не хотят, чтобы из них сделали преступников, не хотят ваших семей и вашего государства.

Голос на минуту смолк. И целую минуту не было слышно ни звука — только какой-то шорох, словно это туман шуршал, проползая над землей. Потом Голос заговорил снова:

— Вы можете быть совершенно спокойны за своих детей. Им будет хорошо — лучше, чем с вами, и много лучше, чем вам самим. Сегодня они не могут принять вас, но с завтрашнего дня — приходите. В Лошадиной Лощине будет оборудован Дом встречи, после пятнадцати часов приходите хоть каждый день. Каждый день в четырнадцать тридцать от городской площади будут отходить три больших автобуса. Этого будет мало, во всяком случае — завтра, пусть ваш бургомистр позаботится о добавочном транспорте.

Голос снова помолчал. Толпа стояла неподвижной стеной. Люди словно боялись пошевелиться.

— Только имейте в виду,— продолжил Голос.— От вас самих зависит, захотят ли дети встречаться с вами. В первые дни мы еще сможем заставить детей приходить на свидания, даже если им этого не захочется, но потом... смотрите сами... А теперь расходитесь. Вы мешаете и нам, и детям, и себе. И очень вам советую: подумайте, попытайтесь подумать, что вы можете дать детям. Поглядите на себя. Вы родили их на

свет и калечите их по своему образу и подобию. Подумайте об этом, а теперь расходитесь.

Толпа оставалась неподвижной. Может быть, она пыталась думать. Виктор пытался. Это были отрывочные мысли. И не мысли даже, а просто обрывки воспоминаний, куски каких-то разговоров, глупое раскрашенное лицо Лолы... А может быть, лучше аборт? Зачем это нам сейчас... Отец с дрожащими от ярости губами... Я из тебя сделаю человека, щенок паршивый, я с тебя всю шкуру спущу... У меня объявилась дочка двенадцати лет, не можешь ли ты её куда-нибудь прилично пристроить?.. Ирма с любопытством смотрит на расхлюстанного Росшепера... не на Росшепера, а на меня... мне, пожалуй, стыдно, но что она понимает, соплячка? Брысь на место!.. Вот тебе кукла, хорошая кукла?.. Тебе еще рано, вырастешь — узнаешь...

— Ну, что же вы стоите? — сказал громовой Голос.— Расходитесь!

Налетел тугой холодный ветер, ударил в лицо и затих.

— Идите же,— сказал Голос.

И снова налетел ветер, уже совсем плотный, как тяжелая мокрая ладонь — уперлась в лицо, толкнула и убралась. Виктор вытер щеки и увидел, что толпа попятилась. Кто-то вскрикнул громко, раздались возгласы, звучавшие неуверенно, вокруг автомобилей и автобусов возникли словно бы небольшие водовороты. В кузов грузовика полезли со всех сторон, и все заторопились, отталкивая друг друга, лезли в дверцы машин, нетерпеливо растаскивали сцепившиеся рулями велосипеды, затрещали двигатели, а многие уходили пешком, часто оглядываясь назад, но не на автоматчиков, не на пулемет на башне, не на броневик, который подкатил с железным лязгом и встал с раскрытыми люками у всех на виду... Виктор знал, почему они оборачиваются и почему они торопятся, у него горели щеки, и если он чего-нибудь сейчас боялся, так это что Голос снова скажет: «Идите!» — и снова тяжелая мокрая ладонь брезгливо толкнет его в лицо.

Кучка дураков в золотых рубахах все еще нерешительно топталась перед воротами, но их уже стало меньше, а к оставшимся подошел офицер и рявкнул на них, внушительный, уверенный, исполняющий приятный долг, и они тоже попятились, потом повернулись и побрели прочь, подбирая

на ходу брошенные на землю серые, синие, темные плащи, и вот уже золотых пятен не осталось ни одного, а мимо катили автобусы, легковые машины, и люди в кузове, вокруг Виктора, встревоженно и нетерпеливо озираясь, спрашивали друг друга: «А где же водитель?»

Потом откуда-то вынырнула Диана, Диана Свирепая, поднялась на подножку, поглядела в кузов, крикнула сердито: «Только до перекрестка! Машина идет в санаторий!» — и никто не осмелился возразить, все были на редкость тихие и на все согласные. Тэдди так и не появился — должно быть, сел в другую машину. Диана развернула грузовик, и они поехали по знакомой бетонке, обгоняя кучки пешеходов и велосипедистов, а их обгоняли перегруженные легковые машины, грузно приседающие на амортизаторах. Дождя не было, только туман и мелкая изморось. Дождь пошел уже тогда, когда Диана подвела грузовик к перекрестку, и люди вылезли из кузова, а Виктор пересел в кабину.

Они молчали до самого санатория.

Диана сразу ушла к Росшеперу — так она по крайней мере сказала,— а Виктор, сбросив плащ, рухнул на кровать в своей комнате, закурил и уставился в потолок. Может быть, час, а может быть, два он беспрерывно курил, ворочался, вставал, ходил по комнате, бессмысленно выглядывал в окно, задергивал и снова раздвигал портьеры, пил воду из-под крана, потому что его мучила жажда, и снова валился на кровать.

...Унижение, думал он. Да, конечно. Надавали пощечин, назвали подонком, прогнали как надоевшего попрошайку, но все-таки это были отцы и матери, все-таки они любили своих детенышей, били их, но готовы были отдать за них жизни, развращали их своим примером, но ведь не специально же, а по невежеству... матери рожали их в муках, а отцы кормили их и одевали, и они ведь гордились своими детьми и хвастались друг перед другом, проклинали их зачастую, но не представляли себе жизни без них... и ведь сейчас действительно жизнь их совсем опустела, вообще уж ничего у них не осталось. Так разве же можно с ними так жестоко, так презрительно, так холодно, так разумно, и еще надавать на прощание по морде...

...Неужели же, черт возьми, гадко все, что в человеке от животного? Даже материнство, даже улыбка мадонн, их

ласковые мягкие руки, подносящие младенцу грудь... Да, конечно, инстинкт, и целая религия, построенная на инстинкте... наверное, вся беда в том, что эту религию пытаются распространять и дальше, на воспитание, где никакие инстинкты уже не работают, а если и работают, то только во вред... потому что волчица говорит своим волчатам: «Кусайте, как я», и этого достаточно, и зайчиха учит зайчат: «Удирайте, как я», и этого тоже достаточно, но человек-то учит детеныша: «Думай, как я», а это уже — преступление... Ну, а эти-то как — мокрецы, заразы, гады, кто угодно, только не люди, по меньшей мере сверхлюди,— эти-то как? Сначала: «Посмотри, как думали до тебя, посмотри, что из этого получилось, это плохо, потому что то-то и то-то, а должно быть так-то и так-то. Посмотрел? А теперь начинай думать сам, думай, как сделать, чтобы не было то-то и то-то, а получилось так-то и так-то». Только я не знаю, что это за «то-то» и что это за «так-то», и вообще все это уже было, все это уже пробовали, получались отдельные хорошие люди, но главная масса перла по старой дороге, никуда не сворачивая, по-нашему, по-простому... Да и как ему воспитывать своего детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал: «Кусай, как я, и прячься, как я»,— и так же натаскивал его отца его дед, а деда — прадед, и так до глубин пещер, до волосатых копьеносцев, пожирателей мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков, жалею их, потому что жалею самого себя, но им-то наплевать, им мы вообще не нужны, и не собираются они нас перевоспитывать, не собираются они даже взрывать старый мир, нет им дела до старого мира, у них свои дела, и от старого мира они требуют только одного — чтобы к ним не лезли. Теперь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть могущественные покупатели идей, и они будут охранять тебя, весь мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир, будут кормить тебя, будут тебя холить... будут самым предупредительным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на котором они восседают, сверкая шитьем и орденами.

...И черт возьми, это по-своему грандиозно — все уже пробовали, только этого не пробовали: холодное воспитание,

без розовых соплей, без слез... хотя что это я мелю, откуда я знаю, что у них там за воспитание... но все равно — жестокость, презрение, это же видно... Ничего у них не получится, потому что, ну ладно — разум, думайте, учитесь, анализируйте,— а как же руки матери, ласковые руки, которые снимают боль и делают мир теплым? И колючая щетина отца, который играет в войну и в тигра, и учит боксу, и самый сильный, и знает больше всех на свете? Ведь это же тоже было! Не только же визгливые (или тихие) свары родителей, не только ремень и пьяное бормотание, не только же беспорядочное обрывание ушей, сменяющееся внезапно и непонятно судорожным одарением конфетами и медью на кино... Да откуда я знаю — быть может, у них есть эквивалент всему хорошему, что существует в материнстве и отцовстве... Как Ирма смотрела на того мокреца!.. Каким же это нужно быть, чтобы на тебя так смотрели... И, уж во всяком случае, ни Бол-Кунац, ни Ирма, ни прыщавый нигилист-обличитель никогда не наденут золотых рубашек, а разве этого мало? Да черт возьми — мне от людей больше ничего и не надо!..

...Подожди, сказал он себе. Найди главное. Ты за них или против? Бывает еще третий выход: наплевать. Но мне не наплевать. Ах, как бы я хотел быть циником, как легко, просто и роскошно жить циником!.. Ведь надо же — всю жизнь из меня делают циника, стараются, тратят гигантские средства, тратят пули, цветы красноречия, бумагу, не жалеют кулаков, не жалеют людей, ничего не жалеют, только бы я стал циником,— а я никак... Ну, хорошо, хорошо. Все-таки: за или против? Конечно, против, потому что не терплю пренебрежения, ненавижу всяческую элиту, ненавижу всяческую нетерпимость и не люблю, ох как не люблю, когда меня бьют по морде и прогоняют вон... И я — за, потому что люблю людей умных, талантливых, и ненавижу дураков, ненавижу тупиц, ненавижу золотые рубашки, фашистов ненавижу, и ясно, конечно, что так я ничего не определю, я слишком мало знаю о них, а из того, что видел сам, в глаза бросается скорее плохое — жестокость, презрительность, нечеловечность, физическое уродство, наконец... И вот что получается: за них — Диана, которую я люблю, и Голем, которого я люблю, и Ирма, которую я люблю, и Бол-Кунац,

и прыщавый нигилист... а кто против? Бургомистр против, старая сволочь, фашист и демагог, и полицмейстер, продажная шкура, и Росшепер Нант, и дура Лола, и шайка золотых рубашек, и Павор... Правда, с другой стороны — за них долговязый профессионал, а также некий генерал Пферд (не терплю генералов), а против — Тэдди и, наверное, еще много таких, как Тэдди... Да, тут большинством голосов ничего не решишь. Это что-то вроде свободных демократических выборов: большинство всегда за сволочь...

Часа в два пришла Диана, Диана Веселая Обыкновенная, в туго перетянутом белом халате, подмазанная и причесанная.

— Как работа? — спросила она.

— Горю,— ответил он.— Сгораю, светя другим.

— Да, дыму много. Ты бы хоть окно открыл... Лопать хочешь?

— Черт возьми, да! — сказал Виктор. Он вспомнил, что не завтракал.

— Тогда, черт возьми, пошли!

Они спустились в столовую. За длинными столами чинно и молча хлебали диетический суп «Братья по разуму», черные от физической усталости. Обтянутый синим свитером толстый тренер ходил у них за спинами, хлопал по плечам, ерошил им волосы и внимательно заглядывал в тарелки.

— Я тебя сейчас познакомлю с одним человеком,— сказала Диана.— Он будет с нами обедать.

— Кто таков? — с неудовольствием осведомился Виктор. Ему хотелось помолчать за едой.

— Мой муж,— сказала Диана.— Мой бывший муж.

— Ага,— произнес Виктор.— Ага. Что ж... Очень приятно.

И чего это ей вздумалось, подумал он уныло. И кому это нужно? Он жалобно взглянул на Диану, но она уже быстро вела его к служебному столику в дальнем углу. Муж поднялся им навстречу — желтолицый, горбоносый, в темном костюме и в черных перчатках. Руки он Виктору не подал, а просто поклонился и негромко сказал:

— Здравствуйте, рад вас видеть.

— Банев,— представился Виктор с фальшивой сердечностью, которая всегда нападала на него при виде мужей.

— Мы, собственно, уже знакомы,— сказал муж.— Я Зурзмансор.

— Ах, да! — воскликнул Виктор.— Ну, конечно! У меня, должен вам сказать, память...— Он замолчал.— Погодите,— сказал он.— Какой Зурзмансор?

— Павел Зурзмансор. Вы меня, вероятно, читали, а недавно даже весьма энергично вступились за меня в ресторане. Кроме того, мы еще в одном месте встречались, тоже при несчастных обстоятельствах... Давайте сядем.

Виктор сел. Ну, хорошо, подумал он. Пусть. Значит, без повязки они такие. Кто бы мог подумать? Пардон, а где же его «очки»? У Зурзмансора — он же почему-то муж Дианы, он же горбоносый танцор, играющий танцора, который играет танцора, который на самом деле мокрец, или даже сразу четыре мокреца, или даже пять, считая с ресторанным,— не было у Зурзмансора «очков», будто они расплылись по всему лицу и окрасили кожу в желтоватый латиноамериканский цвет. А Диана со странной, какой-то материнской улыбкой смотрела то на него, то на своего мужа. И это было неприятно. Виктор почувствовал что-то вроде ревности, которой раньше никогда не ощущал, имея дело с мужьями. Официантка принесла суп.

— Ирма передает вам привет,— сказал Зурзмансор, разламывая кусочек хлеба.— Просит не беспокоиться.

— Спасибо,— отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и принялся есть, не чувствуя вкуса. Зурзмансор тоже ел, поглядывая на Виктора исподлобья — без улыбки, но с каким-то юмористическим выражением. Перчаток он не снял, но в том, как он орудовал ложкой, как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой, чувствовалось хорошее воспитание.

— Значит, вы все-таки тот самый Зурзмансор,— произнес Виктор.— Философ...

— Боюсь, что нет,— сказал Зурзмансор, промакивая губы салфеткой.— Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь весьма отдаленное отношение.

Виктор не нашелся что ответить и решил подождать с беседой. В конце концов, не я инициатор встречи, мое дело маленькое, он меня хотел увидеть, пусть он и начинает... Принесли второе. Внимательно следя за собой, Виктор принялся резать мясо. За длинными столами дружно и

простодушно чавкали «Братья по разуму», гремя ножами и вилками. А ведь я здесь дурак дураком, подумал Виктор. Братец по разуму. Она ведь, наверное, до сих пор его любит. Он заболел, пришлось им расстаться, а она не захотела расстаться, иначе зачем бы она поперлась в эту дыру выносить горшки за Росшепером... И они часто видятся, он пробирается в санаторий, снимает повязку и танцует с ней. Он вспомнил, как они танцевали,— шерочка с машерочкой... Все равно. Она его любит. А мне какое дело? А ведь есть какое-то дело. Что уж там — есть. Только — что есть? Они отобрали у меня дочь, но я ревную к ним дочь не как отец. Они отобрали у меня женщину, но я ревную к нему Диану не как мужчина... О, черт, какие слова! Отобрали женщину, отобрали дочь... Дочь, которая увидела меня впервые за двенадцать лет жизни... или ей уже тринадцать? Женщину, которую я знаю считанные дни... Но, заметьте, ревную — и притом не как отец и не как мужчина. Да, было бы гораздо проще, если бы он сейчас сказал: «Милостивый государь, мне все известно, вы запятнали мою честь, как насчет сатисфакции?»

— Как продвигается работа над статьей? — спросил Зурзмансор.

— Никак,— сказал Виктор.

— Было бы любопытно прочесть,— сообщил Зурзмансор.

— А вы знаете, что это должна быть за статья?

— Да, представляем. Но ведь вы такую писать не станете.

— А если меня вынудят? Меня генерал Пферд защищать не станет.

— Видите ли,— сказал Зурзмансор,— статья, которую ждет господин бургомистр, у вас все равно не получится. Даже если вы будете очень стараться. Существуют люди, которые автоматически, независимо от своих желаний трансформируют по-своему любое задание, которое им дается. Вы относитесь к таким людям.

— Это хорошо или плохо? — спросил Виктор.

— С нашей точки зрения — хорошо. О человеческой личности очень мало известно, если не считать той ее составляющей, которая представляет собой набор рефлексов. Правда, массовая личность почти ничего больше в себе и не

содержит. Поэтому особенно ценны так называемые творческие личности, перерабатывающие информацию о действительности индивидуально. Сравнивая известное и хорошо изученное явление с отражением этого явления в творчестве этой личности, мы можем многое узнать о психическом аппарате, перерабатывающем информацию.

— А вам не кажется, что это звучит оскорбительно? — сказал Виктор.

Зурзмансор, странно искривив лицо, посмотрел на него.

— А, понимаю,— сказал он.— Творец, а не подопытный кролик... Но, видите ли, я изложил вам только одно обстоятельство, сообщающее вам ценность в наших глазах. Другие обстоятельства общеизвестны, это правдивая информация об объективной действительности, машина эмоций, средство возбуждения фантазии, удовлетворение потребности в сопереживании... Собственно, я хотел вам польстить.

— В таком случае я польщен,— сказал Виктор.— Однако все эти разговоры к написанию пасквилей никакого отношения не имеют. Берется последняя речь господина президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами «так называемые мокрецы», или «пациенты кровавого доктора», или «вурдалаки из лепрозория»... так что мой психический аппарат участвовать в этом деле не будет.

— Это вам только кажется,— возразил Зурзмансор.— Вы прочтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль, приметесь искать более точные выражения, заработает фантазия, замутит от затхлых слов, захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами, и вы сами не заметите, как начнете писать правду.

— Может быть,— сказал Виктор.— Во всяком случае, писать эту статью мне сейчас не хочется.

— А что-нибудь другое — хочется?

— Да,— сказал Виктор, глядя Зурзмансору в глаза,— я бы с удовольствием написал, как дети ушли из города. Нового гаммельнского крысолова.

Зурзмансор удовлетворенно кивнул.

— Прекрасная мысль. Напишите.

Напишите, подумал Виктор с горечью. Мать твою так, а кто это напечатает? Ты, что ли, это напечатаешь?

— Диана,— сказал он.— А нельзя здесь что-нибудь выпить?

Диана молча поднялась и ушла.

— И еще я с удовольствием написал бы про обреченный город,— сказал Виктор.— И про непонятную возню вокруг лепрозория. И про злых волшебников.

— У вас нет денег? — спросил Зурзмансор.

— Пока есть.

— Имейте в виду, вы, по-видимому, станете лауреатом литературной премии лепрозория за прошлый год. Вы вышли в последний тур вместе с Тусовым, но у Тусова шансов меньше, это очевидно. Так что деньги у вас будут.

— Н-да,— сказал Виктор.— Такого со мной еще не бывало. И много денег?

— Тысячи три... Не помню точно.

Вернулась Диана и все так же молча поставила на стол бутылку и один стакан.

— Еще стакан,— попросил Виктор.

— Я не буду,— сказал Зурзмансор.

— Я, собственно... Гм...

— Я тоже не буду,— сказала Диана.

— Это за «Беду»? — спросил Виктор, наливая.

— Да. И за «Кошку». Так что месяца на три вы будете обеспечены. Или меньше?

— Месяца на два,— сказал Виктор.— Но не в этом дело... Вот что: я хотел бы побывать у вас в лепрозории.

— Обязательно,— сказал Зурзмансор.— Премию вам будут вручать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет выходной день. Десяток домиков, лечебный корпус...

— Лечебный корпус,— повторил Виктор.— И кого же у вас там лечат?

— Людей,— сказал Зурзмансор со странной интонацией. Он усмехнулся, и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустел и съехал к подбородку, рот стал треугольным, а левая щека вместе с ухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно мгновение. Диана уронила тарелку, Виктор машинально оглянулся, а когда снова

уставился на Зурзмансора, тот уже был прежний — желтый и вежливый. Тьфу, тьфу, тьфу, мысленно сказал Виктор. Изыди, нечистый дух!.. Или показалось? Он торопливо вытащил пачку сигарет, закурил и стал смотреть в стакан. «Братья по разуму» с большим шумом поднялись из-за столов и побрели к выходу, зычно перекликаясь. Зурзмансор сказал:

— Вообще мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вам не надо ничего бояться. Вы, наверное, догадываетесь, что наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое разрешается. Разрешаются опыты над климатом, разрешается подготовка нашей смены... и так далее. Не стоит об этом распространяться... Некоторые господа воображают, будто мы работаем на них, ну а мы их не разубеждаем.— Он помолчал.— Пишите о чем хотите и как хотите, Банев, не обращайте внимания на псов лающих. Если у вас будут трудности с издательствами или денежные затруднения, мы вас поддержим. В крайнем случае мы будем издавать вас сами. Для себя, конечно. Так что ваши миноги будут вам обеспечены.

Виктор выпил и покачал головой.

— Ясно,— сказал он.— Опять меня покупают.

— Если угодно,— сказал Зурзмансор.— Главное, чтобы вы осознали: есть контингент читателей, пусть пока не очень многочисленный, который весьма заинтересован в вашей работе. Вы нам нужны, Банев. Причем вы нам нужны такой, какой вы есть. Нам не нужен Банев — наш сторонник и наш певец, поэтому не ломайте себе голову, на чьей вы стороне. Будьте на своей стороне, как и полагается всякой творческой личности. Вот и все, что нам от вас нужно.

— Оч-чень, оч-чень льготные условия,— сказал Виктор.— Карт-бланш и штабеля маринованных миног в перспективе. В перспективе и в горчичном соусе. И какая вдова ему б молвила «нет»?.. Слушайте, Зурзмансор, а вам приходилось когда-нибудь продавать душу и перо?

— Да, конечно,— сказал Зурзмансор.— И вы знаете, платили безобразно мало. Но это было тысячу лет назад и на другой планете.— Он снова помолчал.— Вы не правы, Банев,— сказал он.— Мы не покупаем вас. Мы просто хотим, чтобы вы оставались самим собой, мы опасаемся, что вас

сомнут. Ведь многих уже смяли... Моральные ценности не продаются, Банев. Их можно разрушить, купить их нельзя. Каждая данная моральная ценность нужна только одной стороне, красть или покупать ее не имеет смысла. Господин президент воображает, что купил живописца Р.Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Р.Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер. А мы не хотим, чтобы писатель Банев протек между чьими-то пальцами, пусть даже нашими, и умер. Нам нужны художники, а не пропагандисты.

Он встал. Виктор тоже поднялся, ощущая неловкость, и гордость, и недоверие, и унижение, разочарование, и ответственность, и еще что-то, в чем он пока не мог разобраться.

— Было очень приятно побеседовать,— сказал Зурзмансор.— Желаю успешной работы.

— До свидания,— сказал Виктор.

Зурзмансор коротко поклонился и ушел, вскинув голову, широко и твердо шагая. Виктор смотрел ему вслед.

— Вот за это я тебя и люблю,— сказала Диана.

Виктор рухнул на стул и потянулся к бутылке.

— За что? — рассеянно спросил он.

— За то, что ты им нужен. За то, что ты, кобель, пьяница, неряха, скандалист, подонок, все-таки нужен таким людям.

Она перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. Это была еще одна Диана — Диана Влюбленная — с огромными сухими глазами, Мария из Магдалы, Диана, Смотрящая Снизу Вверх.

— Подумаешь,— пробормотал Виктор.— Интеллектуалы... Новые калифы на час.

Однако это были только слова. На самом деле все было не так просто.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. На прощание Диана сунула ему в руки берестяной туесок: Росшеперу прислали из столичных оранжерей полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Росшеперу, при всей его аномальной прожорливости, с такой массой ягоды в одиночку не управиться.

Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь, Виктор угостил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб, и сказал:

— Щенок-то мой, оказывается, заводилой у них был.

— Ну что уж вы так,— сказал Виктор.— Он славный парнишка. Умница, и воспитан хорошо.

— Так уж драл я его! — сказал швейцар, приободрившись.— Старался...— Он снова помрачнел.— Соседи заедаются,— сообщил он.— А я что? Я и не знал ничего...

— Плюньте на соседей,— посоветовал Виктор.— Это же они от зависти. Мальчишка у вас — прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит.

— Ха! — сказал швейцар, снова приободрившись.— Так, может, еще породнимся?

— А что же,— сказал Виктор.— Очень даже может быть.— Он представил себе Бол-Кунаца.— Отчего же...

Посмеялись по этому поводу, пошутили.

— Стрельбы вчера не слыхали? — спросил швейцар.

— Нет,— сказал Виктор, насторожившись.— А что?

— А так получилось,— сказал швейцар,— что, значит, когда мы все оттуда разошлись, кое-кто, значит, не разошелся, подобрались-таки отчаянные головы, разрезали проволоку и — внутрь. А по ним из пулеметов.

— Вот черт,— сказал Виктор.

— Сам я не видел,— сказал швейцар.— Люди рассказывают.— Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо: — Тэдди наш там оказался, подранили его. Но ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается.

— Обидно,— пробормотал Виктор, расстроившись.

Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тэдди. Сноха Тэдди сообщила, что все, в общем, ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в Дом встречи проведать сына. Виктор попросил передать Тэдди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было еще позвонить Лоле, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики, и звонить не стал. Снял плащ, поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павор.

— Добрый день,— сказал Павор, ослепительно улыбаясь.

Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и сел.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте,— сказал он мрачно.— Что скажете?

Смотреть на Павора ему не хотелось. Во-первых, Павор был сволочь, а во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого ты донес. Даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений.

— Слушайте, Виктор,— сказал Павор.— Я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я — в особенности. Это все от служебных неприятностей. Искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды.

Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть.

— Ей-богу, до того мне в последнее время не везет,— продолжал Павор,— весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки, бургомистр этот, скотина, завлек меня в грязную историю...

— Господин Сумман,— сказал Виктор.— Перестаньте ваньку валять. Притворяться вы умеете хорошо, но я, к счастью, вас раскусил, и наблюдать ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетита, ступайте себе.

— Виктор,— произнес Павор укоризненно.— Мы же взрослые люди. Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. Неужели вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молол? Мигрень, неприятности, насморк... Ну что вы хотите от человека?

— Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины кастетом по черепу,— объяснил Виктор.— А если уж бьет — бывают обстоятельства,— то чтобы не разыгрывал потом друга-приятеля.

— Ах, вот вы о чем,— сказал Павор задумчиво. Лицо у него словно осунулось.— Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая случайность. Я понятия не имел, что это вы. И потом... Вы же сами говорите, что бывают обстоятельства.

— Господин Сумман,— сказал Виктор, облизывая ложку.— Я всегда недолюбливал людей вашей профессии. Одного я даже застрелил — он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности, но когда его послали на передовую... В общем, убирайтесь.

Однако Павор не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну, понятно — здоровенный мужик, и каратэ, наверное, знает, и кастет у него есть... Хорошо бы разозлиться сейчас... Что он, в самом деле, мне лакомство портит...

— Я вижу, вы много знаете,— сказал Павор.— Это плохо. Я имею в виду — для вас. Ну, ладно. Во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не делайте вид, что вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь вам, что знал, кого бью, но мне ничего не оставалось делать. За углом валяется один свидетель, теперь вы приперлись... В общем, единственное, на что я мог тогда пойти, это треснуть вас по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения.

Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, неиспытанное и труднопредставимое.

— Однако извиниться за то, что я — работник известного вам департамента,— продолжал Павор,— я не могу, да и не хочу, в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душители вольной мысли и подонки-карьеристы. Да, я — контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чистой работы не бывает. Вы в своих романах изливаете подсознание, либидо свое пресловутое, ну, а я — по-другому... Подробности я вам рассказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, слежу за лепрозорием, ненавижу этих мокрых тварей, боюсь их — и не только за себя боюсь, за всех людей боюсь, которые хоть чего-то стоят. За вас, например. Вы же ни черта не понимаете. Вы — вольный художник, эмоционал, ах, ох,— и все разговоры. А речь идет о судьбе системы. Если угодно — о судьбе человечества. Вот вы ругаете господина президента — диктатор, тиран, дурак... А надвигается такая

диктатура, какая вам, вольным художникам, и не снилась. Я давеча в ресторане много чепухи наговорил, но главное зерно у меня было верное: человек — животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот ваши любезные мокрецы обещают такую жестокость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзмансора или Гегеля, то это — о! А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма, ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурзмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого определения — его не интересует. Господин президент по прирожденной своей ограниченности — ну, облает вас, ну, в крайнем случае, прикажет посадить, а потом к празднику амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурзмансор поглядит на вас в лупу, проклассифицирует: дерьмо собачье, никуда не годное,— и вдумчиво, от большого ума, от всеобщей философии смахнет грязной тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы когда-то были...

Виктор даже есть перестал. Странное было зрелище, неожиданное. Павор волновался, губы у него подергивались, от лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил, в глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. Ну-ну,— сказал себе Виктор предостерегающе. Это же враг, мерзавец. Он же актер, он же тебя покупает за ломаный грошик... Он вдруг понял, что насильно отталкивается от Павора. Это же чиновник, не забывай. У него по определению не может быть идейных соображений: начальство приказало — вот он и работает, за компот. Прикажут ему защищать мокрецов — будет защищать. Знаю я эту сволочь, видывал...

Павор взял себя в руки и улыбнулся.

— Я знаю, что вы думаете,— сказал он.— По вашей физиономии видно, как вы пытаетесь угадать: чего ко мне этот тип пристал, что ему от меня нужно. Искренне хочу предостеречь вас, искренне хочу, чтобы вы разобрались, чтоб вы выбрали правильную сторону...— Он болезненно оскалился.— Не хочу, чтобы вы стали предателем человечества. Потом спохватитесь — да поздно будет... Я уже не говорю о том, что вам вообще нужно отсюда убираться, я и пришел-то

к вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена, у начальства приступ служебного рвения, кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа, порядка нет... Но это — ладно, это чепуха, об этом мы еще поговорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались. А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой под охраной этих кретинов...— Он опять оскалился.— А вот пройдет десяток лет...

Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно екнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали: «Сядьте», а Павору сказали: «Встаньте».

— Павор Сумман, вы арестованы.

Павор белый, даже какой-то синевато-белый, как обрат, поднялся и хрипло сказал:

— Ордер.

Ему дали посмотреть какую-то бумагу и, пока он глядел в нее невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмяк-нув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя: пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга... Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего и не дождался. Тогда он закурил и, чувствуя, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться или по крайней мере выпить с кем-нибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня. Нет, совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет... На лестничной клетке маячил долговязый профессионал. Было так непривычно видеть его одного, что Виктор огляделся — и точно: в углу на диване сидел молодой человек с портфелем и разворачивал газету.

— А, вот он сам,— сказал долговязый. Молодой человек посмотрел на Виктора, поднялся и принялся складывать газету.— Я как раз к вам,— сказал долговязый.— Но раз уж так получилось, пойдемте к нам, там даже спокойнее.

Виктору было все равно куда идти, и он покорно поплелся на третий этаж. Долговязый долго отпирал дверь триста двенадцатого номера. У него была целая связка ключей, и

он, кажется, перепробовал их все. Тем временем Виктор и молодой человек в очках стояли рядом, и у молодого человека было скучающее выражение на лице, а Виктор думал, что будет, если дать ему сейчас по башке, выхватить портфель и помчаться по коридору. Потом они вошли в номер, и молодой человек сейчас же ушел в спальню налево, а долговязый сказал Виктору: «Одну минуточку» — и удалился в спальню направо. Виктор присел на стол красного дерева и стал водить пальцем по шершавым кругам, оставленным на полированной поверхности стаканами и рюмками. Кругов этих было множество, со столом не церемонились и не смотрели, что он из красного дерева, на него клали горящие сигареты и по крайней мере один раз стряхнули авторучку. Потом из своей спальни снова вышел молодой человек, на этот раз без портфеля и без пиджака, в домашних шлепанцах, с газетой в одной руке и с полным стаканом в другой. Он сел в свое кресло под торшером, и сейчас же из своей спальни появился долговязый с подносом, который он тут же поставил на стол. На подносе стояла початая бутыль скотча, стакан, и лежала большая квадратная коробка, обтянутая синим сафьяном.

— Сначала формальности,— сказал долговязый.— Хотя нет, подождите, сначала второй стакан.— Он огляделся, взял с письменного столика стаканчик для карандашей, заглянул в него, подул и поставил на поднос.— Итак, формальности,— сказал он.

Он выпрямился, опустил руки по швам и строго выкатил глаза. Молодой человек отложил газету и тоже встал, скучающе глядя в стену. Тогда Виктор тоже поднялся.

— Виктор Банев! — провозгласил долговязый казенно-возвышенным голосом.— Милостивый государь! От имени и по специальному повелению господина президента я имею вручить вам медаль «Серебряный Трилистник Второй Степени» в награду за особые услуги, оказанные вами департаменту, который я удостоен чести здесь представлять!

Он раскрыл синюю коробку, торжественно извлек из нее медаль на белой муаровой ленточке и принялся пришпиливать ее к груди Виктора. Молодой человек разразился вежливыми аплодисментами. Потом долговязый вручил Виктору удостоверение и коробку, пожал Виктору руку, отступил на

шаг, полюбовался и тоже похлопал в ладоши. Виктор, чувствуя себя идиотом, тоже похлопал.

— А теперь это надо обмыть,— сказал долговязый.

Все сели. Долговязый разлил виски и взял себе стаканчик для карандашей.

— За кавалера «Трилистника»! — провозгласил он.

Все снова встали, обменялись улыбками, выпили и снова сели. Молодой человек в очках тут же взял газету и закрылся ею.

— Третья степень у вас, кажется, была,— сказал долговязый.— Теперь вам еще первую, и будете полным кавалером. Бесплатный проезд и все такое. За что третью схватили?

— Не помню,— сказал Виктор.— Было там что-то такое, убил, наверное, кого-нибудь... А, помню. Это за Китчинганский плацдарм.

— О! — сказал долговязый и снова разлил виски.— А я вот не воевал. Не успел.

— Вам повезло,— сказал Виктор. Они выпили.— Между нами говоря, не понимаю, за что мне дали эту штуку.

— Я же сказал: за особые услуги.

— За Суммана, что ли? — произнес Виктор, горестно усмехаясь.

— Бросьте! — сказал долговязый.— Вы же важная персона, вы же там, в кругах...— он неопределенно помахал пальцем возле уха.

— В каких там кругах...— сказал Виктор.

— Знаем, знаем! — лукаво закричал долговязый.— Все знаем! Генерал Пферд, генерал Пукки, полковник Бамбарха... Вы — молодец.

— В первый раз слышу,— сказал Виктор нервно.

— Начал это дело полковник. Никто, сами понимаете, не возражал — еще бы! Ну, а потом генерал Пферд был на докладе у президента и сунул ему представление на вас.— Долговязый засмеялся.— Потеха, говорят, была. Старик заорал: «Какой Банев? Куплетист? Ни за что!» Но генерал ему эдак сурово: надо, ваше высокопревосходительство! В общем, обошлось. Старик растрогался, ладно, говорит, прощаю... Что там у вас с ним получилось?

— Да так,— неохотно сказал Виктор.— О литературе поспорили.

— Вы действительно пишете книжки? — спросил долговязый.

— Да. Как полковник Лоуренс.

— И прилично платят?

— Ком си, ком са.

— Надо будет и мне попробовать,— сказал долговязый.— Времени вот только свободного все нет. То одно, то другое...

— Да, времени нет,— согласился Виктор. При каждом движении медаль покачивалась и стучала по ребрам. От нее было ощущение, как от горчичника. Хотелось снять, и тогда сразу полегчает.— Вы знаете, я пойду,— сказал он, поднимаясь.— Время.

Долговязый тотчас вскочил.

— Конечно,— сказал он.

— До свидания.

— Честь имею,— сказал долговязый. Молодой человек в очках приспустил газету и поклонился.

Виктор вышел в коридор и сейчас же содрал с себя медаль. У него было сильное желание бросить ее в урну, но он удержался и сунул ее в карман. Он спустился вниз на кухню, взял бутылку джину, а когда шел обратно, портье окликнул его:

— Господин Банев, вам звонил бургомистр. В номере вас не было, и я...

— Что ему нужно? — угрюмо спросил Виктор.

— Он просил, чтобы вы ему немедленно позвонили. Вы сейчас к себе? Если он позвонит еще раз...

— Пошлите его в задницу,— сказал Виктор.— Я сейчас выключу у себя телефон, и если он будет звонить вам, то так и передайте: господин Банев, кавалер «Трилистника Второй Степени», посылает-де вас, господин бургомистр, в задницу.

Он заперся в номере, выключил телефон и еще зачем-то прикрыл его подушкой. Потом он сел за стол, налил джину и, не разбавляя, выпил залпом целый стакан. Джин обжег глотку и пищевод. Тогда он схватил ложку и стал жрать клубнику в сливках, не замечая вкуса, не замечая, что делает. Хватит, хватит с меня, думал он. Не нужно мне ничего, ни орденов, ни гонораров, ни подачек ваших, не нужно мне

вашего внимания, ни злобы вашей, ни любви вашей, оставьте меня одного, я по горло сыт самим собой, и не впутывайте меня в ваши истории... Он охватил голову руками, чтобы не видеть перед собой бело-синего лица Павора и этих бесцветных безжалостных морд в одинаковых плащах. Генерал Пферд с вами, генерал Баттокс, генерал Аршманн с вашими орденоносными объятьями, и Зурзмансор с отклеивающимся ликом... Он все пытался понять, на что это похоже. Высосал еще полстакана и понял, что, корчась, прячется на дне траншеи, а под ним ворочается земля, целые геологические пласты, гигантские массы гранита, базальта, лавы выгибают друг друга, стеная от напряжения, вспучиваются, выпячиваются и между делом, походя, выдавливают его наверх, все выше, выжимают его из траншеи, выпирают над бруствером, а времена тяжелые, у властей приступ служебного рвения, намекнули кому-то, что плохо-де работаете, а он — вот он, над бруствером, голенький, глаза руками зажал, а весь на виду. Лечь бы на дно, думал он. Лечь бы на дно, как подводная лодка, думал он, и кто-то подсказал ему: чтоб не могли запеленговать. Да-да, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. И никому не давать о себе знать. Нет меня, нет. Молчу. Разбирайтесь сами. Господи, почему я никак не могу сделаться циником?.. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, твердил он, и позывных не передавать. Он уже почувствовал ритм, и сразу заработало: сыт я по горло, до подбородка... и не хочу ни пить, ни писать... Он налил джину и выпил. Я не хочу ни петь, ни писать... ох, надоело петь и писать... Где банджо, подумал он. Куда я сунул банджо? Он полез под кровать и вытащил банджо. А мне на вас плевать, подумал он. Ох, до какой степени мне наплевать! Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Он ритмично бил по струнам, и в этом ритме сначала стол, потом вся комната, а потом весь мир пошел притоптывать и поводить плечами. Все генералы и полковники, все мокрые люди с отваливающимися лицами, все департаменты безопасности, все президенты и Павор Сумман, которому выкручивали руки и били по морде... Сыт я по горло, до подбородка, даже от песен стал уставать... не стал уставать, уже устал, но «стал уставать» — это хорошо,

а значит, это так и есть... лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Подводная лодка... горькая водка... а также молодка, а также наводка, а лагерь — не тетка... вот как, вот как...

В дверь уже давно стучали, все громче и громче, и Виктор, наконец, услышал, но не испугался, потому что это был не ТОТ стук. Обыкновенный радующий стук мирного человека, который злится, что ему не открывают. Виктор открыл дверь. Это был Голем.

— Веселитесь? — сказал он.— Павора арестовали.

— Знаю, знаю,— сказал Виктор весело.— Садитесь, слушайте...

Голем не сел, но Виктор все равно ударил по струнам и запел:

Сыт я по горло, до подбородка,
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать...

— Дальше я еще не сочинил,— крикнул он.— Дальше будет водка... молодка... лагерь — не тетка... А потом — слушайте:

Не помогают ни девки, ни водка,
С водки — похмелье, а с девок — что взять?
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать...

Сыт я по горло, сыт я по глотку,
О-о-ох, недоело пить и играть!
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
*Чтоб не могли запеленговать...**

— Все! — крикнул он и швырнул банджо на кровать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто что-то изменилось, как будто он стал вдруг очень нужен там, над бруствером, на виду у всех,— оторвал руки от зажмуренных

* Текст песни В. Высоцкого слегка изменен с разрешения автора.

глаз и оглядел серое грязное поле, ржавую проволоку, серые мешки, которые раньше были людьми, нудное, бесчестное действо, которое раньше было жизнью, и со всех сторон над бруствером поднялись люди и тоже огляделись, и кто-то снял палец со спускового крючка...

— Завидую,— сказал Голем.— Но не пора ли вам засесть за статью?

— И не подумаю,— сказал Виктор.— Вы меня не знаете, Голем,— я на всех плевал. Да садитесь же, черт возьми! Я пьян, и вы тоже напейтесь! Снимайте плащ... Снимайте, я вам говорю! — заорал он.— И садитесь! Вот стакан, пейте! Вы ничего не понимаете, Голем, хоть вы и пророк. И я вам не позволю. Не понимать — это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет, и большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми,— а я говорю: нет, ничего не понимаю... Вот поэтому я нужен... Хотите клубники? Хотя я все съел. Тогда закурим...

Он встал и прошелся по комнате. Голем со стаканом в руке следил за ним, не поворачивая головы.

— Это удивительный парадокс, Голем. Было время, когда я все понимал. Мне было шестнадцать лет, я был старшим рыцарем Легиона и абсолютно все понимал, и я был никому не нужен! В одной драке мне проломили голову, я месяц пролежал в больнице, и все шло своим чередом: Легион победно двигался вперед без меня, господин президент неумолимо становился господином президентом — и опять же без меня. Все прекрасно обходились без меня. Потом то же самое повторилось на войне. Я офицерил, хватал ордена и при этом, естественно, все понимал. Мне прострелили грудь, я угодил в госпиталь, и что же, кто-нибудь побеспокоился, заинтересовался, где Банев, куда делся наш Банев, наш храбрый, все понимающий Банев? Да ни хрена подобного!.. А вот когда я перестал понимать что бы то ни было — о, тогда все переменилось. Все газеты заметили меня. Куча департаментов заметила меня. Господин президент — лично удостоил... А? Вы представляете, какая это редкость — непонимающий

человек! Его знают, о нем пекутся генералы и покой... э-э... полковники, он позарез нужен мокрецам, его почитают личностью, кошмар! За что? А за то, господа, что он ничего не понимает.— Виктор сел. — Я здорово пьян? — спросил он.

— Не без,— сказал Голем.— Но это неважно, продолжайте.

Виктор развел руки.

— Все,— сказал он виновато.— Я иссяк... Может быть, вам спеть?

— Спойте,— согласился Голем.

Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы храбрые ребята», потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбодал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу», потом «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город», потом про правду и ложь, потом снова «Сыт я по горло», потом затянул государственный гимн на мотив «Ах, какие ножки у нее», но забыл слова, перепутал строфы и отложил банджо.

— Опять иссяк,— сказал он грустно.— Так, говорите, Павора арестовали? А я это знаю. Он сидел как раз у меня, где вы сидите... А вы знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десять лет мокрецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как вы полагаете?

— Вряд ли,— сказал Голем.— Зачем нас давить? Мы сами друг друга передавим.

— А мокрецы?

— Может быть, они не дадут нам передавить друг друга... Трудно сказать.

— А может быть, помогут? — сказал Виктор с пьяным смехом.— А то ведь мы даже давить не умеем как следует. Десять тысяч лет давим и все никак не передавим... Слушайте, Голем, а зачем вы мне врали, что вы их лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, только желтые почему-то...

— Гм,— произнес Голем.— Откуда у вас такие сведения? Я этого не знал.

— Ладно-ладно, больше вы меня не обманете. Я говорил с Зузр... с Зу... с Зурзмансором. Он мне все рассказал: секретный институт... обмотались повязками в целях сохранения... Вы знаете, Голем, они там у вас воображают, будто

смогут вертеть генералом Пфердом до бесконечности. А на самом деле — калифы на час. Сожрет он их вместе с повязками и с перчатками, когда проголодается... Фу, черт, как пьян — все плывет...

Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие, непривычно внимательные глазки.

— И Зурзмансор сказал вам, что он здоров?

— Да,— сказал Виктор.— Впрочем, не помню... Скорее всего, нет. Но видно же.

Голем поскреб подбородок краем стакана.

— Жалко, что вы пьяны,— сказал он.— Впрочем, может быть, это хорошо. У меня сегодня настроение. Хотите, я расскажу вам все, что догадываюсь и думаю о мокрецах?

— Валяйте,— согласился Виктор.— Только больше не врите.

— Очковая болезнь,— сказал Голем,— это очень любопытная штука. Вы знаете, кого поражает очковая болезнь? — Он замолчал.— Нет, не буду я вам ничего рассказывать.

— Бросьте,— сказал Виктор.— Вы уже начали.

— Ну и дурак, что начал,— возразил Голем. Он посмотрел на Виктора и ухмыльнулся.— Задавайте вопросы,— сказал он.— Если вопросы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу... Давайте, давайте, а то я опять раздумаю.

В дверь постучали.

— Идите к черту! — гаркнул Виктор.— Я занят!

— Простите, господин Банев,— сказал робкий голос портье.— Вам звонит ваша супруга.

— Вранье! У меня нет никакой супруги... Впрочем, пардон. Я забыл. Ладно, я ей сейчас позвоню, спасибо.— Он схватил стакан, налил до краев, сунул Голему и сказал: — Пейте и ни о чем не думайте. Я сейчас.

Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень сухо: извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме, не соблаговолишь ли ты присоединиться.

— Нет,— сказал Виктор.— Не соблаговолю. Я занят.

— Все-таки это твоя дочь! Неужели ты опустился до такой степени...

— Я занят! — рявкнул Виктор.

— Тебя не волнует, что с твоей дочерью?

— Перестань валять дурака,— сказал Виктор.— Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Чего тебе еще нужно?

Лола принялась плакать.

— Перестань,— сказал Виктор, морщась.— Ирме там хорошо. Лучше, чем в самом лучшем пансионе. Поезжай и убедись сама.

— Грубая, бездушная, эгоистическая свинья,— объявила Лола и повесила трубку. Виктор шепотом выругался, снова выключил телефон и вернулся к столу.

— Слушайте, Голем,— сказал он.— Что вы там делаете с моими детьми? Если вы там готовите себе смену, то я не согласен.

— Какую смену?

— Ну, какую... Вот я и спрашиваю: какую?

— Насколько мне известно,— сказал Голем,— дети очень довольны.

— Мало ли что... Я и без вас знаю, что они довольны. Но что они там делают?

— А разве они вам не говорили?

— Кто?

— Дети.

— Как они мне могли говорить, если я здесь, а они там?

— Они строят новый мир,— сказал Голем.

— А... Да, это они мне говорили. Но это же так, философия... Что вы мне опять врете, Голем? Какой может быть новый мир за колючей проволокой? Новый мир под командованием генерала Пферда!.. А если они там заразятся?

— Чем? — спросил Голем.

— Очковой болезнью, естественно!

— В шестой раз повторяю вам, что генетические болезни не заразны.

— В шестой, в шестой...— проворчал Виктор, потеряв нить.— А что это такое вообще — очковая болезнь? Что от нее болит? Или, может быть, это секрет?

— Нет, это везде опубликовано.

— Ну, расскажите,— сказал Виктор.— Только без терминов.

— Сначала — изменения кожи. Прыщи, волдыри, особенно на руках и ногах... иногда — гнойные язвы...

— Слушайте, Голем, а это вообще важно?

— Для чего?

— Для сути.

— Для сути — нет,— сказал Голем.— Я думал, вам это интересно.

— Я хочу понять суть! — сказал Виктор проникновенно.

— А сути вы не поймете,— сказал Голем, слегка повысив голос.

— Почему?

— Во-первых, потому что вы пьяны...

— Это еще не причина,— сказал Виктор.

— А во-вторых, потому что это вообще невозможно объяснить.

— Так не бывает,— заявил Виктор.— Вы просто не хотите говорить. Но я на вас не в обиде. Подписка, разглашение, военный трибунал... Павора вот забрали... Бог с вами. Я только не понимаю, почему ребенок должен строить новый мир в лепрозории. Другого места не нашлось?

— Не нашлось,— ответил Голем.—В лепрозории живут архитекторы. И подрядчики.

— С автоматами,— сказал Виктор.— Видел. Ничего не понимаю. Кто-то из вас врет. Либо вы, либо Зурзмансор.

— Конечно, Зурзмансор,— хладнокровно сказал Голем.

— А может быть, вы оба врете. А я вам обоим верю, потому что есть в вас что-то... Вы мне только скажите, Голем, чего они хотят? Только честно.

— Счастья,— сказал Голем.

— Для кого? Для себя?

— Не только.

— А за чей счет?

— Для них этот вопрос не имеет смысла,— медленно сказал Голем.— За счет травы, за счет облаков, за счет текучей воды... за счет звезд.

— Совсем как мы,— сказал Виктор.

— Ну нет,— возразил Голем.— Совсем не так.

— Почему? Мы тоже...

— Нет, потому что мы вытаптываем траву, рассеиваем облака, тормозим воду... Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия.

— Не понимаю,— сказал Виктор.

— Я вас предупреждал. Я сам многое не понимаю, но я догадываюсь.

— А есть кто-нибудь, кто понимает?

— Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети... Но даже если они и понимают, то по-своему. Очень по-своему.

Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджо на стол.

— Голем,— сказал он.— Вот вы — коммунист. Какого черта вы делаете в лепрозории? Почему вы не на митинге? Почему не на баррикаде? Москва вас не похвалит.

— Я — архитектор,— спокойно сказал Голем.

— Какой вы архитектор, если вы ни черта не понимаете? И вообще, чего вы меня водите за нос? Мы с вами час бьемся, а что вы мне сказали? Жрете мой джин и напускаете туману. Стыдно, Голем. И врете бесперечь.

— Ну уж и бесперечь,— сказал Голем.— Хотя не без этого. Не бывает у них гнойных язв.

— Дайте сюда стакан,— сказал Виктор.— Уже напились.— Он плеснул из бутылки и выпил.— Черт вас разберет, Голем. Ну зачем вам это? Что это за игры? Если можете рассказать — рассказывайте, а если это тайна — нечего было начинать.

— Это очень просто объясняется,— благодушно сказал Голем, вытягивая ноги.— Я же пророк, вы сами меня так обзывали. А пророки все в таком положении: знают они много, и рассказать им хочется — поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания себе веса. А когда начинают рассказывать, появляется этакое ощущение неудобства, неловкости... Вот они и зуммерят, как Господь Бог, когда его спросили насчет камня.

— Как угодно,— сказал Виктор.— Поеду в лепрозорий и узнаю все без вас. Ну, расскажите еще что-нибудь...

Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а потом проснуться и поехать к Диане. Все получится не так уж плохо. И вообще все не так плохо. Он представил себе, как споет Диане про подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу же закачалась. Никакого дождя не было, был красный закат, и

он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верхушек волн. Лечь бы на дно... И он бы лег, но было неловко, потому что над ухом лениво гудел голос Голема:

— ...Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди — только они. Конечно, человек овладеет вселенной, но это будет не краснощекий богатырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя... Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы...

Зурзмансор, который сидел на носу лодки, повернул голову, и стало видно, что у него нет лица, лицо он держал в руках, и лицо смотрело на Виктора — хорошее лицо, честное, но от него тошнило, а Голем все не отставал, все гудел...

— Ложитесь спать,— пробормотал Виктор, растягиваясь на дне лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было очень неудобно, но уж очень хотелось спать.— Ложитесь спать, Голем...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Проснувшись, он обнаружил, что лежит в постели. Было темно, в окна с дробным треском хлестал дождь. Он с трудом поднял руку и потянулся к ночнику, но пальцы наткнулись на холодную гладкую стену. Странно, подумал он. А где Диана? Или это не санаторий? Он попробовал облизать губы, толстый шершавый язык не повиновался. Очень хотелось курить, но курить было нельзя ни в коем случае... Ага, собственно, мне хочется пить. «Диана!» — позвал он. Да, здесь же не санаторий. В санатории ночник справа, а здесь справа стена... Так это же мой номер! — подумал он с восторгом. Как я сюда попал? Он лежал под одеялом и был раздет до белья. Что-то я не помню, чтобы я раздевался, подумал он. Кто-то меня раздел. Хотя, может быть, я разделся сам. Если на мне ботинки, то я раздевался сам... Он потер ногой об ногу. Ага, босой. Черт, руки чешутся, волдыри какие-то, поразвели клопов в номерах. Съеду. Куда это я ехал в лодке?.. А, это Павор здесь клопов развел... Он вдруг вспомнил о Паворе и сел, но его замутило, и он опять лег на спину. Давно я так не

надирался, однако... Павор... «Серебряный Трилистник»... Когда это было? Вчера? Он скривился и стал драть ногтями левую руку. Что сейчас — утро или вечер? Наверное, утро... А может быть, вечер. Голем! — вспомнил он. Мы с Големом высосали целую бутылку. И не разбавляли. А до этого полбутылки высосали с долговязым. А до этого я еще где-то сосал. Или это было вчера? Встать бы надо, попить, то, се... Нет, подумал он упрямо. Я сначала разберусь.

Что-то Голем рассказывал интересное, он решил, что я пьян и ничего не понимаю, и можно поэтому говорить со мной откровенно. Впрочем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что же я понимал?.. Он яростно потер тыльной стороной правой ладони по шерстяному одеялу. Тяжелые времена наступают... Нет, это из Павора... Ага, вот из Голема: у них все впереди, а у нас впереди — только они. И генетическая болезнь... А что же, вполне возможно. Когда-нибудь это должно произойти. Может быть, давно уже происходит. Внутри вида зарождается новый вид, а мы это называем генетической болезнью. Старый вид — для одних условий, новый вид — для других. Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчивость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка. Сейчас, положим, это тоже нужно, но скорее по инерции. Можно укокошить миллион с практической сметкой, и ничего существенного не произойдет. Это уж точно, много раз испробовано. Кто это сказал, что если из истории вынуть всего лишь несколько десятков... ну, пусть несколько сотен человек, то мы бы моментально оказались в каменном веке. Ну, пусть несколько тысяч... Что это за люди? Это, брат, совсем другие люди.

А вполне возможно: Ньютон, Эйнштейн, Аристотель — мутанты. Среда, конечно, была не слишком благоприятная, и вполне возможно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот мальчишка из рассказа Чапека... Они, конечно, особенные: ни практической сметки у них не было, ни нормальных человеческих потребностей... Или, может быть, это кажется? Просто духовная сторона так гипертрофирована, что все прочее незаметно. Ну, это ты зря, сказал он. Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка — это уже само по себе звучит... А вообще интересно было бы себе представить, как в наши дни рождается хомо

супер. Хороший сюжет... Черт, руки зудят нестерпимо... Написать бы такую утопию в духе Орвелла или Бернарда Вольфа. Правда, трудно представить себе этого супера: огромный лысый череп, хиленькие ручки-ножки, импотент — банальщина. Но вообще-то что-то в этом роде и должно быть. Во всяком случае, смещение потребностей. Водки не надо, жратвы какой-нибудь особенной не надо, роскоши никакой, да и женщин в общем-то — так только, для спокойствия и вящей сосредоточенности. Идеальный объект для эксплуатации: отдельный ему кабинет, стол, бумагу, кучу книг... аллейку для перипатетических размышлений, а взамен он выдает идеи... Никакой утопии не получится — загребут его военные, вот и вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового, вот и все...

Виктор, кряхтя, поднялся, ступая босыми ногами по холодному полу, прошел в ванную, открутил кран и с наслаждением напился, не зажигая света. Страшно было даже подумать — зажечь свет. Потом он снова вернулся на кровать и некоторое время чесался, проклиная клопов. Вообще-то для сюжета это даже хорошо: секретный институт, часовые, шпионы... патриотизм патриотической уборщицы Клары... экая дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, идеи, возможности — куда уж мне... Это вообще невозможно. Шимпанзе не может написать роман о людях. Как я могу написать роман о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных? Конечно, кое-что представить можно. Атмосферу. Состояние непрерывного творческого экстаза. Ощущение своего всемогущества, независимости... отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие... Да, чтобы написать такую штуку, надо нализаться ЛСД. Вообще эмоциональная сфера супера с точки зрения обычного человека представлялась бы как патология. Болезнь... Жизнь — болезнь материи, мышление — болезнь жизни. Очковая болезнь, подумал он.

И вдруг все стало на свои места. Так вот что он имел в виду! — подумал Виктор про Голема. Умные и все на подбор талантливые... Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что они уже не люди. Зурзмансор мне просто баки забивал. Значит, началось... Ничего нельзя скрыть, подумал он с удовлетворением. А такую штуку — тем более. Пойду к Голему, нечего ему строить пророка. Они, наверное, многое

ему рассказали... Черт подери, это же будущее, то самое будущее, которое запускает щупальца в сердце сегодняшнего дня! У нас впереди — только они... Его охватило лихорадочное возбуждение. Каждая секунда была исторической, и жалко, что он не знал об этом вчера, потому что вчера, и позавчера, и неделю назад каждая секунда тоже была исторической...

Он вскочил, зажег свет и, морщась от рези в глазах, стал на ощупь искать свою одежду. Одежды не было, но потом глаза привыкли к свету, он схватил брюки, висящие на спинке кровати, и вдруг увидел свою руку. Рука до локтя была покрыта красной сыпью и мертвенно-белыми бугорками, некоторые бугорки кровоточили от расчесов. На другой руке было то же самое. Что за черт, подумал он, холодея, потому что он уже знал — что это. Он уже вспомнил: изменения кожи, сыпь, волдыри, иногда — гнойные язвы... Гнойных язв пока не было, но он покрылся холодным потом и, уронив брюки, сел на кровать.

Не может быть, подумал он. Я тоже. Неужели я тоже?.. Он осторожно погладил ладонью бугорчатую кожу, потом закрыл глаза и, задержав дыхание, прислушался к себе. Гулко и редко стучало сердце, в ушах тонко звенела кровь, голова казалась огромной, пустой, не было боли, не было ватной тяжести в мозгу. Дурак, подумал он, улыбаясь. Что я надеюсь заметить? Это должно быть как смерть: секунду назад ты был человеком, мелькнул квант времени — и ты уже бог, и не знаешь этого, и никогда не узнаешь, как дурак не знает, что он — дурак, как умный, если он действительно умен, не знает, что он — умный... Это, наверное, случилось, пока я спал. Во всяком случае, до того, как я заснул, суть мокрецов была для меня чрезвычайно туманна, а сейчас я вижу ее с предельной резкостью и постиг это голой логикой, даже не заметив...

Он счастливо засмеялся, ступил на пол и, хрустнув мышцами, подошел к окну. Мой мир, подумал он, глядя сквозь залитое водой стекло, и стекло исчезло, далеко внизу утонул в дожде замерший в ужасе город, и огромная мокрая страна, а потом все сдвинулось, уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голубым хвостом, и он увидел гигантскую чечевицу Галактики, косо и мертво висящую в мерцающей бездне, клочья светящейся материи, скрученные силовыми полями, и бездонные провалы там, где не было

света, и он протянул руку и погрузил ее в пухлое белое ядро, и ощутил легкое тепло, и, когда он сжал кулак, материя прошла сквозь пальцы, как мыльная пена. Он снова засмеялся, щелкнул по носу свое отражение в стекле и нежно погладил бугорки на вспухшей коже.

— По такому поводу необходимо выпить! — сказал он вслух.

В бутылке оставалось еще немного джину, бедный старый Голем не смог допить до конца, бедный старый лжепророк... не потому лжепророк, что прорицания его неверны, а потому, что он всего-навсего говорящая марионетка. Я всегда буду любить тебя, Голем, подумал Виктор, ты хороший человек, ты умный человек, но ты всего лишь человек... Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную. Его стошнило. Черт, подумал он. Какая мерзость. В зеркале он увидел свое лицо — мятое, слегка обрюзгшее, с неестественно большими и неестественно черными глазами. Ну, вот и все, подумал он, ну вот и все, Виктор Банев, пьяница и хвастун. Не пить тебе больше и не орать песен, и не хохотать над глупостями, и не молоть веселую чепуху деревянным языком, не драться, не буйствовать и не хулиганить, не пугать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином президентом, не вваливаться в ночные бары с галдящей компанией молодых почитателей... Он вернулся на кровать. Курить не хотелось. Ничего не хотелось, от всего мутило, и стало грустно. Ощущение потери, сначала легкое, чуть заметное, как прикосновение паутины, разрасталось, мрачные ряды колючей проволоки вставали между ним и тем миром, который он так любил. За все надо платить, думал он, ничего не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно платить, за новую жизнь надо платить старой жизнью... Он яростно чесал руки, обдирая кожу, и не замечал этого.

Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним, улыбающаяся, соблазнительная, и подняла руки, оправляя волосы.

— Замерзла,— сказала она.— Пускают погреться?

— Да,— сказал он, плохо понимая, что говорит.

Она выключила свет, и теперь он не видел ее, только слышал ключ, повернувшийся в скважине, треск расстегиваемых

кнопок, шорох одежды и как туфли упали на пол, а потом она оказалась рядом, теплая, гладкая, душистая, а он все думал, что теперь всему конец — вечный дождь, угрюмые дома с крышами, как решето, чужие незнакомые люди в мокрой черной одежде, с мокрыми повязками на лицах... и вот они снимают повязки, снимают перчатки, снимают лица и кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными язвами — тоска, ужас, одиночество... Диана прижалась к нему, и он привычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то уже был не прежний, он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было нужно.

— Что с тобой, малыш? — ласково спросила Диана.— Перебрал?

Он осторожно снял ее руки со своей шеи. Ему стало окончательно страшно.

— Подожди,— сказал он.— Подожди.

Он встал, нащупал выключатель, зажег свет и несколько секунд стоял к ней спиной, не решаясь обернуться, но все-таки обернулся. Нет, она была прекрасна. Она была, наверное, даже красивее, чем обычно, она всегда была красивее, чем обычно, но теперь это было как картина. Это возбуждало гордость за человека, восхищение человеческим совершенством, но больше это ничего не возбуждало. Она смотрела на него, удивленно подняв брови, а потом, видимо, испугалась, потому что вдруг быстро села, и он увидел, что губы ее шевелятся. Она что-то говорила, но он не слышал.

— Подожди,— повторил он.— Не может быть. Подожди.

Он одевался с лихорадочной поспешностью и все твердил: подожди, подожди, но он уже думал не о ней, дело было не только в ней. Он выскочил в коридор, ткнулся в номер Голема, в запертую дверь, не сразу сообразил, куда теперь, а затем сорвался и побежал вниз, в ресторан. Не надо, твердил он, не надо мне этого, я не просил.

Слава богу, Голем был на обычном месте. Он сидел, закинув руку за спинку кресла, и рассматривал на просвет рюмку с коньяком. А доктор Р.Квадрига был красен, агрессивен и, увидевши Виктора, сказал на весь зал:

— Эти мокрецы. Стервы. Прочь.

Виктор рухнул в свое кресло, и Голем, не говоря ни слова, налил ему коньяку.

— Голем,— сказал Виктор.— Ах, Голем, я заразился!

— Спринцевание! — провозгласил Р.Квадрига.— Мне тоже.

— Выпейте коньячку, Виктор,— сказал Голем.— Не надо так волноваться.

— Идите к черту,— сказал Виктор, в ужасе глядя на него.— У меня очковая болезнь. Что делать?

— Хорошо, хорошо,— сказал Голем.— Вы все-таки выпейте.— Он поднял палец и крикнул официанту: — Содовой! И еще коньяку.

— Голем,— сказал Виктор с отчаянием.— Вы не понимаете. Я не могу. Я заболел, говорю я вам! Заразился! Это нечестно... Я не хотел... Вы же говорили — не заразно...

Он ужаснулся при мысли, что говорит слишком несвязно, что Голем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул Голему под нос свои руки. Рюмка опрокинулась, прокатилась по столу и упала на пол.

Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся, наклонился вперед, взял руки Виктора за кончики пальцев и стал рассматривать расчесанную бугристую кожу. Пальцы у него были холодные и твердые. Ну вот и все, думал Виктор, вот и первый врачебный осмотр, а потом будут еще осмотры и лживые обещания, что есть еще надежда, и успокоительные микстуры, а потом он привыкнет, и уже не будет никаких осмотров, и его отвезут в лепрозорий, замотают рот черной тряпкой, и все будет кончено.

— Землянику ели? — спросил Голем.

— Да,— покорно сказал Виктор.— Клубнику.

— Слопали, небось, килограмма два,— сказал Голем.

— При чем здесь земляника? — закричал Виктор, вырывая руки.— Сделайте что-нибудь! Не может быть, чтобы было поздно. Только что началось...

— Перестаньте орать. У вас крапивница. Аллергия. Вам противопоказано жрать клубнику в таких количествах.

Виктор еще не понимал. Разглядывая свои руки, он бормотал: «Вы же сами говорили... волдыри... сыпь...»

— Волдыри и от клопов бывают,— сказал Голем наставительно.— У вас идиосинкразия к некоторым веществам. И воображение не по разуму. Как у большинства писателей. Тоже туда же — мокрец...

Виктор почувствовал, что оживает. Обошлось, стучало у него в голове. Обошлось, кажется. Если обошлось, я не знаю, что сделаю. Курить брошу...

— А вы не врете? — сказал он жалким голосом.

Голем усмехнулся.

— Выпейте коньяку,— предложил он.— При аллергии нельзя пить коньяк, но вы выпейте. А то у вас уж очень жалкий вид.

Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. Ничего! Подташнивает немного, но это, надо понимать, с похмелья. Сейчас пройдет. И все прошло.

— Милый писатель,— сказал Голем.— Чтобы стать архитектором, одних волдырей недостаточно.

Подошел официант и поставил на стол коньяк и содовую. Виктор глубоко и вольно вздохнул, вдохнул знакомый ресторанный воздух и ощутил прекрасные запахи табачного дыма, маринованного лука, подгоревшего масла и жареного мяса. Жизнь вернулась.

— Дружище,— сказал он официанту.— Бутылку джина, лимонный сок и четыре порции миног в двести шестнадцатый. И быстро!.. Алкоголики,— сказал он Голему и Р.Квадриге.— Пропадите вы тут пропадом, а я пойду к Диане! — Он готов был расцеловать их.

Голем сказал, ни к кому не обращаясь:

— Бедный прекрасный утенок!

На секунду Виктор ощутил сожаление. Всплыло и исчезло воспоминание о каких-то огромных упущенных возможностях. Но он только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Через год после войны поручика Б. демобилизовали по ранению. Ему повесили медаль «Виктория», сунули в зубы месячный оклад денежного содержания и картонный ящик с подарком господина президента: бутылка трофейного шнапса, две жестянки страсбургского паштета, два круга копченой конской колбасы и трофейные же шелковые подштанники для устройства семейной жизни. Вернувшись в столицу,

поручик не унывает. Он — хороший механик, и его в любой момент возьмут работать в университетские мастерские, откуда он ушел добровольцем, но он не торопится — восстанавливает старые знакомства, заводит новые, а в промежутках пропивает барахло, изъятое у неприятеля в счет репараций. На одной вечеринке он встречает женщину по имени Нора, очень похожую на Диану. Описание вечеринки: заезженные довоенные пластинки, денатурат домашней очистки, американская тушенка, шелковые блузки на голое тело и морковь во всех видах. Поручик, звеня медалями, мигом разгоняет разных штатских, неустанно подкладывающих Норе вареную морковку, и начинает правильную осаду. Нора ведет себя странно. С одной стороны, она явно не прочь, но, с другой стороны, она дает ему понять, что связываться с нею опасно. Однако разгоряченный денатуратом экс-поручик не желает ничего знать. Они покидают вечеринку и отправляются к Норе. Послевоенная столица ночью: редкие фонари, мостовая в выбоинах, огороженные развалины, недостроенный цирк, в котором гниют шесть тысяч пленных под охраной двух инвалидов, в совершенно уже темном переулке кого-то грабят. Нора живет в старинном трехэтажном доме, лестница загажена, на одной двери надпись мелом: «Здесь живет немецкая овчарка». В длинном коридоре, заваленном разным хламом, отшатываются в тень затхлые личности. Нора, гремя многочисленными ключами, отпирает свою дверь, обитую чудом сохранившейся блестящей кожей. В прихожей она делает еще одно предупреждение, но Б., полагая, что речь идет всего лишь о какой-нибудь уголовщине, отвечает только, что хаживал на танки в конном строю. Квартирка не по времени чистенькая и уютная, огромный диван. Нора смотрит на поручика с каким-то сожалением, уходит ненадолго и возвращается с початой бутылкой коньяка, одетая в высшей степени соблазнительно. Оказывается, в их распоряжении всего полчаса. По истечении получаса удовлетворенный поручик уходит с надеждой встретиться вновь. В конце коридора его уже ждут — два затхлых человека из тени. Неприятно усмехаясь, они загораживают дорогу и предлагают поговорить. Поручик без лишних слов принимается их бить и одерживает неожиданно легкую победу. Сбитые с ног, затхлые люди, плача и хихикая, разъясняют поручику Б. его

положение. Экс-поручик бил своих. Они теперь все свои. Нора не просто соблазнительная женщина, Нора — королева столичных клопов. Вам теперь конец, господин офицер, встретимся в «Атакаме», мы все там встречаемся, каждую ночь. Идите домой, а когда вам станет невтерпеж, приходите, у нас открыто до утра...

На западной окраине столицы, в доходном доме рядом с химическим заводом, живет многосемейный титулярный советник Б. Нарочито подробное и нарочито скучное описание обстоятельств героя: три комнатки, кухня, прихожая, стертая жена, пятеро зеленоватых детей, крепкая старая теща, переселившаяся из деревни. Химический завод воняет, днем и ночью над ним стоят столбы разноцветного дыма, от ядовитого смрада умирают деревья, желтеет трава, дико и странно мутируют мухи. Несколько лет титулярный советник ведет кампанию по укрощению завода: гневные требования в адрес администрации, слезные петиции во все инстанции, разгромные фельетоны во все газеты, бесплодные попытки организовать пикеты у проходной. Однако завод стоит, как бастион. На набережной перед заводом замертво падают отравленные постовые; дохнут домашние животные, покидают квартиры и уходят бродяжничать целые семьи; в газетах появляется некролог на преждевременную кончину директора завода. У титулярного советника Б. умирает жена, дети по очереди заболевают бронхиальной астмой. Однажды вечером, спустившись в подвал за дровами, он обнаруживает сохранившийся со времен Сопротивления миномет и огромные запасы мин. Той же ночью он перетаскивает все это на чердак и открывает слуховое окно. Завод лежит перед ним как на ладони: в резком свете прожекторных ламп снуют рабочие, бегают вагонетки, плывут желтые и зеленые клубы ядовитых паров. Я тебя убью, шепчет титулярный советник и открывает огонь. В этот день он не идет на службу, на следующий день — тоже. Он не спит и не ест, он сидит на корточках под слуховым окном и стреляет. Время от времени он делает перерывы, чтобы охладился ствол миномета. Он оглох от выстрелов и ослеп от порохового дыма. Иногда ему кажется, что химический смрад ослабевает, и тогда он улыбается, облизывает губы и шепчет: я убью тебя. Потом он падает без сил и засыпает,

а проснувшись, видит, что мины кончились — осталось три штуки. Он выстреливает их и высовывается в окно. Обширный двор завода усеян воронками, зияют выбитые стекла, на боках гигантских газгольдеров темнеют вмятины, двор перерыт сложной системой траншей, по траншеям короткими перебежками двигаются рабочие, быстрее прежнего бегают вагонетки, водители автокаров защищены железными листами, а когда ветер относит клубы ядовитых паров, на кирпичной стене заводоуправления открывается свежая белая надпись: «Внимание! При обстреле эта сторона особенно опасна»...

Виктор дочитал последнюю страницу, закурил и поглядел на листок, заправленный в машинку. Там было всего полторы строчки: «Выйдя из редакции, журналист Б. хотел было взять такси, но передумал и спустился в подземку». Виктор совершенно точно знал, что случилось затем с журналистом Б., но писать он больше не мог. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно, и в черноте сверкал дождь. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурок в мокрую ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос. Виктор осведомился, какой сегодня день недели. Незнакомый голос, помедлив, сообщил, что сейчас ночь с пятницы на субботу. Виктор поморгал, положил трубку и решительно выдернул листок из машинки. Хватит. Двое суток подряд, не разгибаясь, никого не видя, ни с кем не разговаривая, выключив телефон, не отвечая на стук, без Дианы, без выпивки, кажется, даже без еды, только время от времени забираясь на кровать, чтобы увидеть во сне королеву клопов, как она сидит у притолоки и шевелит черными усиками... Хватит. Журналист Б. подождет на платформе, пока подойдет поезд с надписью «Посадки нет». Ничего ему не сделается. А мы пока закусим, мы это заслужили, ей-богу... Виктор убрал машинку, спрятал в стол рукопись и пошарил в пустом баре. Потом он жевал черствую булку с джемом и горько сетовал на себя за то, что вылил вчера полбутылки бренди в раковину во избежание соблазна, и радовался, что цикл «За кулисами большого города» все-таки начат, и начат неплохо, прекрасно начат, вполне удовлетворительно. Хотя, наверное, придется все переписать. Странно все-таки, подумал он, почему эти рассказы пошли именно сейчас? Почему

не год назад, не два года назад, когда я их придумал? Сейчас я должен был бы писать о ханурике, вообразившем себя суперменом, вот о чем. Я ведь и начал с этого. Впрочем, такое со мной не в первый раз. А если подумать и хорошенько вспомнить, то так бывает всегда. И именно поэтому невозможно писать по заказу. Начинаешь писать роман о юных годах господина президента, а получается про необитаемый остров, где живут странные обезьяны, которые питаются не бананами, а мыслями потерпевших кораблекрушение... Ну, здесь, положим, связь на поверхности. Э, да чего там, всегда она есть. Надо только покопаться, а кому охота копаться, если хочется выпить после двухдневного воздержания. Спущусь-ка я сейчас вниз, у портье всегда найдется выпить. Дожую вот сейчас и спущусь...

Виктор вздрогнул и перестал жевать. Из черного провала за окном сквозь плеск дождя донесся звук, как будто ударили молотком по доске. Стреляют, с удивлением подумал Виктор. Некоторое время он напряженно прислушивался.

...Ну хорошо, а что автор хотел сказать этими своими сочинениями? Зачем ему понадобилось воскрешать тяжелые послевоенные времена, когда кое-где еще встречались клопы и легкомысленные женщины? Может быть, автор хотел показать героизм и стойкость столицы, которая под водительством его превосходительства... Не выйдет, господин Банев! Не позволим! Весь мир знает, что по прямому указанию господина президента на владельцев химических предприятий, загрязняющих воздух, только в столице наложен штраф в размере... Что благодаря личной и неусыпной заботе господина президента более ста тысяч детей столицы ежегодно выезжают в загородные лагеря... что согласно табели о рангах чины ниже надворных советников не имеют права собирать подписи под петициями...

Тут свет погас. «Эге!» — сказал Виктор вслух, лампа загорелась снова, но вполнакала. «Эт-то еще что?» — произнес Виктор, однако светлее не сделалось. Виктор подождал немного, затем позвонил портье. Никто не отозвался. Можно позвонить на электростанцию, но для этого надо найти телефонную книгу, а где ее искать, да и все равно пора ложиться. Только сначала надо выпить. Виктор поднялся и вдруг услышал какой-то шорох. Кто-то возил по двери

руками. Потом в дверь начали толкаться. «Кто там?» — спросил Виктор, ему не ответили, слышно было только, как толкаются и сопят. Виктору стало жутко. Озаренные красноватым светом стены казались чужими и непривычными, в углах сгустилось слишком много тени, а за дверью возилось что-то большое, тупое и бессмысленное. Чем бы его? — подумал Виктор, озираясь, но тут за дверью сказали сиплым шепотом: «Банев, эй, Банев, ты здесь?» Отпустив вполголоса идиота, Виктор вышел в прихожую и повернул ключ. В номер ввалился Р.Квадрига. Он был в халате, волосы у него были всклокочены, глаза бегали.

— Слава богу, хоть ты на месте,— сразу же заговорил он.— А то я совсем со страху спятил... Слушай, Банев, надо удирать... Пойдем, а? Пойдем отсюда, Банев...— Он схватил Виктора за рубашку и потянул в коридор.— Пойдем, невозможно больше...

— Обалдел,— сказал Виктор, вырываясь.— Иди спать, рамолик. Три часа.

Но Квадрига снова ловко ухватил его за рубашку, и Виктор с изумлением обнаружил, что доктор гонорис кауза совершенно трезв, от него даже не пахло.

— Нельзя спать,— сказал Квадрига.— Из этого проклятого дома надо удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем... И вообще из города надо удирать. У меня на вилле машина. Пошли. Я бы один уехал, да боюсь выйти.

— Погоди, не хватайся,— сказал Виктор.— Успокойся сначала.

Он втащил Квадригу в номер, усадил в кресло, а сам пошел в ванную за стаканом воды. Квадрига сейчас же вскочил и побежал за ним.

— Мы здесь с тобой одни, никого не осталось,— сказал он.— Голема нет, швейцара нет, директора нет...

Виктор открутил кран. В трубах заворчало, вылилось несколько капель.

— Тебе что,— сказал Квадрига,— воды надо? Пойдем, у меня есть целая бутылка. Только быстро. И вместе.

Виктор потряс кран. Вылилось еще несколько капель, и ворчание прекратилось.

— В чем дело? — спросил Виктор, холодея.— Война?

Квадрига махнул рукой.

— Да какая война... Удирать надо, пока не поздно, а он — война...

— Почему — удирать?

— По дороге,— сказал Квадрига, идиотски хихикнув.

Виктор отодвинул его локтем, вышел из номера и направился вниз, к портье. Квадрига семенил следом.

— Слушай,— бормотал он.— Давай через черный ход... Только бы выйти, а там у меня машина. Уже заправлена, погружена... Я как чувствовал, ей-богу... Водочки выпьем и поедем, а то здесь водки не осталось...

В коридоре тускло, как красные карлики, светились плафоны, на лестнице света не было вообще, в вестибюле — тоже, только над конторкой портье тлела лампочка. Там кто-то сидел, но это был не портье.

— Пойдем, пойдем,— сказал шепотом Квадрига и потянул Виктора к выходу.— Туда не надо, там нехорошо...

Виктор высвободился и подошел к конторке.

— Что у вас тут за безобразие...— начал он и замолчал.

За конторкой сидел Зурзмансор.

На месте портье сидел Зурзмансор и быстро писал в толстой тетради.

— Банев,— сказал он, не поднимая головы.— Вот и все, Банев. Прощайте. И не забывайте наш разговор.

— А я не собираюсь уезжать,— возразил Виктор. Голос у него сорвался.— Я намерен узнать, что делается с электричеством и водой. Это ваша работа?

Зурзмансор поднял желтое лицо.

— Нет,— сказал он.— Мы больше не работаем. Прощайте, Банев.— Он протянул через конторку руку в перчатке. Виктор машинально взял эту руку, ощутил пожатие и пожал сам.— Такова жизнь,— сказал Зурзмансор.— Будущее создается тобой, но не для тебя. Вы, наверное, это уже поняли. Или скоро поймете. Вас это касается больше, чем нас. Прощайте.

Он кивнул и снова принялся писать.

— Пойдем! — прошипел над ухом Квадрига.

— Ничего не понимаю,— громко, на весь вестибюль произнес Виктор.— Что здесь происходит?

Он не желал, чтобы в вестибюле было тихо. Он не желал ощущать себя здесь посторонним. Не он здесь посторонний,

и нечего Зурзмансору сидеть в три часа ночи за конторкой портье. И нечего меня запугивать, я вам не Квадрига... Но Зурзмансор не услышал или не захотел услышать. Тогда Виктор демонстративно пожал плечами, повернулся и направился в ресторан. В дверях он остановился.

В зале тускло светились торшеры, тускло светилась люстра, тускло светились рожки на стенах, и зал был полон. За столиками сидели мокрецы. Они все были одинаковые, только сидели в разных позах. Одни читали, другие спали, а многие, словно окоченев, неподвижно смотрели в пространство. Светлели голые черепа, пахло сыростью и медикаментами. Окна были распахнуты, на полу темнела вода. Не было слышно ни звука, только плеск дождя доносился снаружи.

Потом перед Виктором появился Голем, напряженный, озабоченный, совсем старый.

— Почему вы еще здесь? — спросил он вполголоса.— Уходите, здесь нельзя.

— Что значит — нельзя? — сказал Виктор, снова раздражаясь.— Я хочу выпить.

— Тише,— сказал Голем.— Я думал, вы уже уехали. Я стучал к вам. Куда вы сейчас?

— К себе в номер. Возьму бутылку и пойду к себе в номер.

— Здесь нет спиртного,— сказал Голем.

Виктор молча показал пальцем на бар, где тускло блестели ряды бутылок. Голем оглянулся.

— Нет,— сказал он.— Увы.

— Я хочу выпить! — повторил Виктор упрямым голосом.

Но он не ощущал в себе упрямства. Он хорохорился. Мокрецы смотрели на него. Читавшие опустили книги, окоченевшие повернули черепа, и только спавшие продолжали спать. Десятки блестящих глаз, словно повисших в красноватом сумраке, смотрели на него.

— Не ходите в номер,— сказал Голем.— Уходите из гостиницы. К Лоле... Или к доктору на виллу... Только чтобы я знал, где вы находитесь. Я за вами заеду. Слушайте, Виктор, не ерепеньтесь, делайте, как я говорю. Рассказывать сейчас некогда и непристойно. Жалко, Дианы нет, она бы подтвердила...

— А где Диана?

Голем опять оглянулся и посмотрел на часы.

— В четыре часа... или в пять... она будет на автостанции у Солнечных ворот.

— А где она сейчас?

— Сейчас она занята.

— Так,— сказал Виктор и тоже посмотрел на часы.— В четыре или в пять у Солнечных ворот.— Ему очень хотелось уйти. Невыносимо было стоять вот так, в фокусе внимания этого тихого сборища.

— Может быть, в шесть,— сказал Голем.

— У Солнечных ворот...— повторил Виктор.— Это там, где вилла нашего доктора?

— Вот-вот,— сказал Голем.— Отправляйтесь на виллу и там ждите.

— По-моему, вы просто хотите меня выпроводить,— сказал Виктор.

— Да,— сказал Голем. Он вдруг с интересом уставился Виктору в лицо.— Виктуар, неужели вам совсем-совсем не хочется отсюда убраться?

— Мне хочется спать,— небрежно сказал Виктор.— Я две ночи не спал.— Он взял Голема за пуговицу и вывел его в вестибюль.— Ладно, я уйду,— сказал он.— Но что это за пандемониум? У вас здесь съезд?

— Да,— сказал Голем.

— Или вы подняли восстание?

— Да,— сказал Голем.

— А может быть, война началась?

— Да,— сказал Голем.— Да, да, да. Убирайтесь отсюда.

— Ладно,— сказал Виктор. Он повернулся, чтобы идти, но остановился.— А Диана? — спросил он.

— Ей ничто не грозит,— сказал Голем.— И мне тоже. Никому из нас ничто не грозит. Во всяком случае, до шести. Может быть, до семи.

— Вы мне отвечаете за Диану,— сказал Виктор тихо.

Голем вынул носовой платок и вытер шею.

— Я отвечаю за все,— сказал он.

— Да? Я бы предпочел, чтобы вы отвечали только за Диану.

— Вы мне надоели,— сказал Голем.— Ох, как вы мне надоели, прекрасный утенок. Диана с детьми. Диане абсолютно ничего не грозит. И уходите. Мне надо работать.

Виктор повернулся и пошел к лестнице. Зурзмансора за конторкой не было, только тлела лампочка над толстой клеенчатой тетрадью.

— Банев,— позвал Р.Квадрига из какого-то темного угла.— Куда ты? Пойдем!

— Не могу же я тащиться под дождем в шлепанцах! — сердито отозвался Виктор, не оборачиваясь. Выперли, думал он. Из гостиницы они нас выперли. А может быть, из ратуши они нас тоже выперли. И может быть, из города... А дальше что?

У себя в номере он быстро переоделся и натянул плащ. Квадрига неотступно путался под ногами.

— Так и пойдешь в халате? — спросил Виктор.

— Он теплый,— сказал Квадрига.— А дома еще один есть.

— Болван, иди оденься.

— Не пойду,— твердо сказал Квадрига.

— Пойдем вместе,— предложил Виктор.

— Нет. И вместе не надо. Да ты не бойся, я так... Я привык...

Квадрига был как пудель, рвущийся гулять. Он подпрыгивал, заглядывал в глаза, громко дышал, тянул за одежду, подбегал к двери и возвращался. Убеждать его было бесполезно. Виктор сунул ему свой старый плащ и задумался. Он вынул из стола документы и деньги, рассовал их по карманам, закрыл окно и погасил свет. Затем он отдался на волю Квадриги.

Доктор гонорис кауза, нагнув голову, стремительно протащил его через коридор, по служебной лестнице, мимо темной холодной кухни, выпихнул его в дверь под проливной дождь в кромешную темноту и выскочил следом.

— Слава богу, выбрались! — сказал он.— Бежим!

Но бегать он не умел. Его одолевала одышка, да и темно было так, что идти приходилось почти на ощупь, держась за стены. Разве только общее направление можно было угадать по уличным фонарям, горевшим вполнакала, да кое-где просачивался сквозь щели в занавесках красноватый свет. Дождь лупил без передышки, но улицы не были совершенно безлюдны. Где-то переговаривались вполголоса, мяукал грудной младенец, пару раз проехали тяжелые грузовики,

какая-то телега прогремела железными ободьями по асфальту. «Все бегут,— бормотал Квадрига.— Все удирают. Одни мы тащимся...» Виктор молчал. Под ногами хлюпало, туфли промокли, по лицу ползла тепловатая вода, Квадрига цеплялся, как клещ, все это было глупо, бездарно, тащиться предстояло через весь город, и конца этому не было видно. Он налетел на водосточную трубу, что-то хрустнуло, Квадрига оторвался и сейчас же плачуще заорал на весь город: «Банев! Где ты?» Пока они шарили в мокрой темноте, ища друг друга, над головами хлопнуло окошко, и придушенный голос осведомился: «Ну, что слышно?» — «Темно, так и не так...» — ответил Виктор. «Точно! — с энтузиазмом подхватил голос.— И воды нет... Хорошо, мы корыто успели набрать».— «А что будет?» — спросил Виктор, придерживая Квадригу, рвущегося вперед. После некоторого молчания голос произнес: «Эвакуацию объявят, не иначе... Эх, жизнь!» И окошко захлопнулось. Потащились дальше. Квадрига, держась за Виктора обеими руками, принялся сбивчиво рассказывать, как он проснулся от ужаса, спустился вниз и увидел этот шабаш... Налетели на грузовик, ощупью обогнули его и налетели на человека с каким-то грузом. Квадрига опять заорал. «В чем дело?» — свирепо спросил Виктор. «Дерется,— обиженно сообщил Квадрига.— Прямо по печени. Ящиком». На тротуарах оказывались наперекосяк поставленные автомобили, холодильники, буфеты, целые заросли растений в горшках. Квадригу занесло в раскрытый зеркальный шкаф, потом он запутался в велосипеде. Виктор медленно стервенел. На каком-то углу их остановили, осветив фонариком. Блеснули мокрые солдатские каски, грубый голос с южным выговором объявил: «Военный патруль. Предъявите документы». У Квадриги документов, естественно, не было, и он немедленно стал кричать, что он доктор, что он лауреат, что он лично знаком... Грубый голос презрительно сказал: «Шпаки. Пропустить». Пересекли городскую площадь. Перед полицейским управлением сгрудились автомобили с зажженными фарами. Бессмысленно метались золоторубашечники, сверкая медью своих пожарных шлемов, раздавались зычные неразборчивые команды. Видно было, что центр паники здесь. Отсветы фар еще некоторое время озаряли дорогу, затем снова стало темно.

Квадрига больше не бормотал, а только пыхтел и постанывал. Несколько раз он падал, увлекая за собой Виктора. Они извозились, как свиньи. Виктор совершенно отупел и больше не ругался, пелена покорной апатии обволокла мозг, надо было идти, идти, сегодня идти и завтра идти, отпихивать невидимых встречных, снова и снова поднимать Квадригу за ворот разбухшего халата, нельзя было только останавливаться и ни в коем случае нельзя было идти назад. Что-то вспоминалось ему, что-то давно бывшее, позорное, горькое, неправдоподобное, только тогда было зарево и людская каша на улицах, и вдали грохотало и бухало, позади был ужас, а вокруг были опустевшие дома с окнами, заклеенными крестнакрест, и в лицо летел пепел, и вонь горелой бумаги, а на крыльцо красивого особняка с огромным национальным флагом вышел высокий полковник в роскошной лейб-гусарской форме, снял фуражку и застрелился, а мы, ободранные, окровавленные, преданные и проданные, тоже в гусарской форме, но уже не гусары, а почти дезертиры, засвистели, заржали, заулюлюкали, и кто-то запустил в труп полковника обломком своей сабли...

— А ну стой! — шепотом сказали из темноты и уперлись в грудь чем-то очень знакомым. Виктор машинально поднял руки.

— Как вы смеете! — взвизгнул Р.Квадрига у него за спиной.

— А ну тихо,— сказал голос.

— Караул! — заорал Квадрига.

— Тише, дурак,— сказал ему Виктор.— Сдаюсь, сдаюсь,— сказал он в темноту, откуда упирались в грудь стволом автомата и тяжело дышали.

— Стрелять буду! — испуганно предупредил голос.

— Не надо,— сказал Виктор.— Мы же сдаемся.— В горле у него пересохло.

— А ну раздевайся! — скомандовал голос.

— То есть как?

— Ботинки снимай, плащ снимай, штаны...

— Зачем?

— Быстро, быстро! — прошипел голос.

Виктор присмотрелся, опустил руки, шагнул в сторону и, ухватившись за автомат, задрал ствол вверх. Грабитель

пискнул, рванулся, но почему-то не выстрелил. Оба натужно кряхтели, выворачивая друг у друга оружие. «Банев! Где ты?» — в отчаянии вопил Квадрига. На ощупь и по запаху человек с автоматом был солдат. Некоторое время он еще рыпался, но Виктор был гораздо сильнее.

— Все,— сказал Виктор сквозь зубы.— Все... Не дергайся, а то по морде получишь.

— А вы пустите! — прошипел солдат, слабо сопротивляясь.

— Тебе зачем мои штаны? Ты кто такой?

Солдат только пыхтел. «Виктор! — вопил Квадрига уже где-то вдалеке.— А-а-а!» Из-за угла вывернула машина, осветила на секунду фарами знакомое веснушчатое лицо, круглые от страха глаза под каской и умчалась.

— Э, да ведь я тебя знаю,— сказал Виктор.— Ты что же это людей грабишь? Отдай автомат.

Солдат, цепляясь каской, покорно вылез из ремня.

— Так зачем тебе мои штаны? — спросил Виктор.— Дезертируешь?

Солдат сопел. Симпатичный такой солдатик, веснушчатый.

— Ну, чего молчишь?

Солдатик заплакал — тоненько, с подвыванием.

— Все равно мне теперь...— забормотал он.— Все равно расстрел. С поста я ушел. Убежал я с поста, пост бросил, куда мне теперь деваться... Отпустили бы меня, сударь, а? Я же не со зла, не злодей ведь я какой-нибудь, не выдавайте, а?

Он хлюпал, и сморкался, и в темноте, вероятно, утирал сопли рукавом шинели — жалкий, как все дезертиры, напуганный, как все дезертиры, готовый на все.

— Ладно,— сказал Виктор.— Пойдешь с нами. Не выдадим. Одежда найдется. Пошли, только не отставай.

Он пошел вперед, а солдатик потащился за ним, все еще всхлипывая.

По собачьему вою нашли Квадригу. Теперь у Виктора на шее висел автомат, за левую его руку судорожно цеплялся всхлипывающий солдатик, за правую,— тихо завывающий Квадрига. Бред какой-то. Можно, конечно, вернуть разряженный автомат этому мальчишке и дать сопляку пинка.

Нет, жалко. Сопляка жалко, и автомат, возможно, еще пригодится... Мы тут посоветовались с народом, и есть мнение, что разоружаться преждевременно. Автомат еще может понадобиться в грядущих боях...

— Перестаньте ныть, вы оба,— сказал Виктор.— Патрули сбегутся.

Они притихли, а через пять минут, когда впереди забрезжили тусклые огни автостанции, Квадрига потянул Виктора вправо, радостно бормоча: «Пришли, слава тебе, господи...»

Ключ от калитки Квадрига, конечно, забыл в гостинице, в брюках. Чертыхаясь, перелезли через ограду; чертыхаясь, путались некоторое время в мокрой сирени; чуть не упали в фонтан; добрались, наконец, до подъезда, вышибли дверь и ввалились в холл. Щелкнул выключатель, и холл озарился багровым полусветом. Виктор повалился в ближайшее кресло. Пока Квадрига бегал по дому в поисках полотенец и сухой одежды, солдатик живо разделся до белья, смотал обмундирование в узел и засунул его под диван. После этого он несколько успокоился и перестал всхлипывать. Потом вернулся Квадрига, и они долго и ожесточенно растирались полотенцами и переодевались.

В холле царил хаос. Все было перевернуто, разбросано, заслякощено. Книги валялись вперемежку с пыльным тряпьем и свернутыми холстами. Под ногами хрустело стекло, валялись сморщенные тюбики из-под красок, телевизор смотрел пустым прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми объедками. В общем, только что не было навалено в углах, а может быть, и было навалено — в темноте не разберешь. Запах в доме стоял такой, что Виктор не вытерпел и распахнул окно.

Квадрига принялся хозяйничать. Сначала он взялся за край стола, наклонил его и с дребезгом ссыпал все на пол. Затем он вытер стол мокрым халатом, сбегал куда-то, принес три хрустальных бокала антикварной красоты и две квадратные бутылки. Подсигивая от нетерпения, он вытащил пробки и наполнил бокалы.

— Будем здоровы...— неразборчиво пробормотал он, схватил свой бокал и жадно приник к нему, заранее закатывая глаза от наслаждения.

Виктор, снисходительно усмехаясь, смотрел на него, разминая волглую сигарету. На лице Квадриги изобразилось вдруг неописуемое изумление пополам с обидой.

— И здесь тоже...— проговорил он с отвращением.

— Что такое? — спросил Виктор.

— Вода,— робко подал голос солдатик.— Как есть вода. Холодная.

Виктор отхлебнул из своего бокала. Да, это была вода, чистая, холодная, возможно даже дистиллированная.

— Ты чем нас поишь, Квадрига? — спросил он.

Квадрига, не говоря ни слова, схватил вторую бутылку и сделал глоток прямо из горлышка. Лицо его исказилось. Он сплюнул и сказал: «Боже мой!», а потом пригнулся и на цыпочках вышел из комнаты. Солдатик опять всхлипнул. Виктор посмотрел на бутылочные этикетки: ром, виски. Он снова отхлебнул из бокала: вода. Запахло обыкновенной чертовщиной, сами собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине съежилась под пристальным взглядом чьих-то глаз. Солдатик ушел головой в воротник огромного квадригиного свитера и засунул руки глубоко в рукава. Глаза у него были круглые, он, не отрываясь, смотрел на Виктора. Виктор спросил хрипло:

— Ну, чего уставился?

— А вы чего? — шепотом спросил солдатик.

— Я-то ничего, а ты вот что таращишься?

— Так, а чего вы... Страшно как-то... Не надо так...

Спокойствие, сказал себе Виктор. Ничего страшного. Это же суперы. Суперы еще и не то могут. Они, брат, все могут. Воду в вино, а вино в воду. Сидят себе в ресторане и превращают. Основу подрывают, краеугольный камень. Трезвенники, мать их...

— Струсил? — сказал он солдатику.— Засранец ты.

— Так страшно! — сказал солдатик, оживившись.— Вам-то что, а я там натерпелся... Стоишь ты на посту ночью, а он вылетит из зоны, глянет на тебя сверху и дальше... Капрал у нас один даже запачкался... Капитан все говорил: привыкнете, мол, служба, мол, присяга, мол... Ни фига невозможно привыкнуть. Давеча вон один прилетел, сел на крышу караулки и смотрит, и смотрит... а глаза-то ведь не человечьи, красные, светятся, и серой от него ну прямо

так и несет...— Солдатик вынул руки из рукавов и перекрестился.

Из недр виллы вновь появился Квадрига, все так же пригнувшись и на цыпочках.

— Одна вода,— сказал он.— Виктор, давай удирать. Машина стоит в гараже заправленная, сядем и — эх! А?

— Не паникуй,— сказал Виктор.— Удрать всегда успеем... А впрочем, как хочешь. Я сейчас не поеду, а ты валяй. И парнишку прихвати.

— Нет,— сказал Квадрига.— Без тебя я не поеду.

— А тогда перестань трястись и принеси чего-нибудь пожрать,— приказал Виктор.— Хлеб у тебя в камень еще не превратился?

Хлеб в камень не превратился. Консервы тоже остались консервами, и неплохими консервами. Они ели, а солдатик рассказывал, какого страха он натерпелся за последние два дня, про летающих мокрецов, про нашествие дождевых червей, про ребятишек, которые за два дня стали взрослыми, про друга своего, рядового Крупмана, парнишечку девятнадцати лет, который со страху сделал себе самострел... и еще как обед в караулку принесли, поставили разогревать, два часа обед на плите стоял, так и не разогрелся, холодным скушали... А нынче заступил я на пост в восемь часов вечера, дождь кромешный с градом, над зоной — неположенные огни, музыка раздается нечеловеческая, какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит — не понять ни слова. А потом из степи крутящиеся вышли столбы — и в зону. И только они в зону зашли, как отворяются ворота, и вылетает из зоны господин капитан на своей машине. Я и на караул взять не успел, вижу только, что господин капитан — на заднем сиденье, без фуражки, без плаща,— лупит шофера в шею и орет. «Давай, сукин сын! — орет.— Давай!» Оторвалось у меня что-то внутри, и словно мне кто-то сказал: беги, говорит, рви когти, а то костей не соберешь. Ну, я и рванул. Да не по дороге, а напрямик, через степь, через овраги, чуть в болоте не завяз, накидку где-то там оставил, новую, вчера выдали, но к городу вышел, а в городе — патрули. Раз я от них еле ушел, второй раз от них еле ушел, добрался сюда вот, до автостанции, смотрю — народ бежит, гражданских так

пускают, а нашего брата — шиш, пропуск требуют. Ну, я и решился...

Рассказав свою историю, солдатик свернулся в кресле и тут же заснул. Мучительно трезвый Квадрига снова принялся твердить, что надо удирать — и немедленно. «Вот же человек,— твердил он, тыча вилкой в сторону заснувшего воина.— Понимает же человек... А ты — дубина, Банев, непроницаемая дубина. Как ты не чувствуешь, я просто физически ощущаю, как на меня с севера давит... Ты поверь мне... я знаю, ты мне не веришь, но сейчас поверь, я ведь давно вам говорю: нельзя здесь оставаться... Голем тебе голову заморочил, пьяница носатая... Ты пойми, сейчас дорога свободна, все ждут рассвета, а потом все мосты забьют, как в сороковом... Дубина ты упрямая, Банев, и всегда был такой, и в гимназии ты такой был...» Виктор велел ему спать или убираться к черту. Квадрига надулся, доел консервы и забрался на диван, закутавшись в мохеровое одеяло. Некоторое время он ворочался, кряхтел, бормотал апокалиптические предупреждения, потом затих. Было четыре часа.

В четыре десять свет мигнул и погас совсем. Виктор вытянулся в кресле, укрылся каким-то сухим тряпьем и лежал тихо, глядя в темное окно и прислушиваясь. Постанывал солдатик во сне, всхрапывал намаявшийся доктор гонорис кауза. Где-то — наверное, на автостанции — взревывали двигатели, неразборчиво кричали истерические голоса. Виктор попытался разобраться в происходящем и пришел к выводу, что мокрецы рассорились-таки с генералом Пфердом, выперли его из лепрозория, перенесли свою резиденцию в город и воображают, что раз умеют превращать вино в воду и наводить на людей ужас, то смогут продержаться и против современной армии... да что там — против современной полиции. Идиоты. Разрушат город, сами погибнут, людей оставят без крова. И дети... Детей же загубят, сволочи! А зачем? Что им надо? Неужели опять драка за власть? Эх вы, а еще суперы. Тоже мне — умные, сплошь талантливые... та же дрянь, что и мы. Еще один Новый Порядок, а чем порядок новее, тем хуже — это уже известно. Ирма... Диана... Он встрепенулся, нащупал в темноте телефон, снял трубку. Телефон молчал... Опять они что-то не поделили, а мы, которым не надо ни тех, ни других, а надо, чтобы нас оставили в

покое, мы опять должны срываться с места, топтать друг друга, бежать, спасаться, или того хуже — выбирать свою сторону, ничего не понимая, ничего не зная, веря на слово, и даже не на слово, а черт знает на что... стрелять друг в друга, грызть друг друга.

Привычные мысли в привычном русле. Тысячу раз я уже так думал. Приучены-с. Сызмальства приучены-с. Либо ура-ура, либо пошли все к черту, никому не верю. Думать не умеете, господин Банев, вот что. А потому упрощаете. Какое бы сложное социальное движение ни встретилось вам на пути, вы прежде всего стремитесь его упростить. Либо верой, либо неверием. И если уж верите, то аж до обомления, до преданнейшего щенячьего визга. А если не верите, то со сладострастием харкаете растравленной желчью на все идеалы — и на ложные, и на истинные. Перри Мейсон говаривал: улики сами по себе не страшны, страшна неправильная интерпретация. То же и с политикой. Жулье интерпретирует так, как ему выгодно, а мы, простаки, подхватываем готовую интерпретацию. Потому что не умеем, не можем и не хотим подумать сами. А когда простак Банев, никогда в жизни ничего, кроме политического жулья, не видевший, начинает интерпретировать сам, то опять же садится в лужу, потому что неграмотен, думать по-настоящему не обучен, и потому, естественно, ни в какой иной терминологии, кроме как в жульнической, интерпретировать не способен. Новый мир, старый мир... и сразу же ассоциации: нойе орднунг, альте орднунг... Ну, ладно, но ведь простак Банев существует не первый день, кое-что повидал, кое-чему научился. Не полный же он маразматик. Есть ведь Диана, Зурзмансор, Голем. Почему я должен верить фашисту Павору, или этому сопливому деревенскому недорослю, или аномально трезвому Квадриге? Почему обязательно кровь, гной, грязь? Мокрецы выступили против Пферда? Прекрасно! Гнать его в шею. Давно пора... И детей они не дадут в обиду, не похоже это на них... и не рвут они на себе жилеток, не взывают к национальному самосознанию, не развязывают дремучих инстинктов... То, что наиболее естественно, то наименее приличествует человеку — правильно, Бол-Кунац, молодец... И вполне может быть, что это новый мир без нового порядка. Страшно?

Неуютно? Но так и должно быть. Будущее создается тобой, но не для тебя. Ишь как я взвился, когда меня покрыло пятнами будущего! Как запросился назад, к миногам, к водке... Вспоминать противно, а ведь так и должно было быть. Да, ненавижу старый мир. Глупость его ненавижу, невежество, фашизм. А что я без всего этого? Это хлеб мой и вода моя. Очистите вокруг меня мир, сделайте его таким, каким я хочу его видеть, и мне конец. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваления, а ругать будет нечего, ненавидеть будет нечего — тоска, смерть... Новый мир — строгий, справедливый, умный, стерильно чистый — я ему не нужен, я в нем — нуль. Я был ему нужен, когда я боролся за него... а раз я ему не нужен, то и он мне не нужен, но если он мне не нужен, то зачем я за него дерусь?.. Эх, добрые старые времена, когда можно было отдать свою жизнь за построение нового мира, а умереть в старом. Акселерация, везде акселерация... Но нельзя же бороться против, не борясь за! Ну что же, значит, когда ты рубишь лес, больше всего достается тому самому суку, на котором ты сидишь...

...Где-то в огромном пустом мире плакала девочка, жалобно повторяла: не хочу, не хочу, несправедливо, жестоко, мало ли что будет лучше, тогда пускай не будет лучше, пускай они останутся, пускай они будут, неужели нельзя сделать так, чтобы они остались с нами, как глупо, как бессмысленно. Это же Ирма, подумал Виктор. «Ирма!» — крикнул он и проснулся.

Храпел Квадрига. Дождь за окном прекратился, и стало как будто светлее. Виктор поднес к глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без четверти пять. Тянуло промозглым холодом, надо было встать и закрыть окно, но он угрелся, шевелиться не хотелось, и веки сами собой наползали на глаза. Не то во сне, не то наяву, где-то рядом проходили машины, одна за другой проходили машины, тащились по грязной разбитой дороге машины, через бесконечное грязное поле, под серым грязным небом, мимо покосившихся телеграфных столбов с оборванными проводами, мимо раздавленной пушки с задранным стволом, мимо обгорелой печной трубы, на которой сидели сытые вороны, и промозглая сырость проникала под брезент, под шинель, и страшно хотелось

спать, но спать было нельзя, потому что должна была проехать Диана, а калитка заперта, в окнах темно, она подумала, что меня здесь нет, и поехала дальше, а он выскочил из окна и изо всех сил погнался за машиной, и кричал так, что лопались жилы, но тут как раз рядом шли танки, грохотали и гремели, он не слышал самого себя, и Диана укатила туда, к переправе, где все горело, где ее убьют, и он останется один, и тут возник свирепый пронзительный визг бомбы, прямо в темя, прямо в мозг... Виктор бросился в кювет и вывалился из кресла.

Визжал Р.Квадрига. Он раскорячился перед раскрытым окном, глядел в небо и визжал, как баба, было светло, но это не был дневной свет: на захламленном полу лежали ровные ясные прямоугольники. Виктор подбежал к окну и выглянул. Это была луна — ледяная, маленькая, ослепительно яркая. В ней было что-то невыносимо страшное, Виктор не сразу понял — что. Небо было по-прежнему затянуто тучами, но в этих тучах кто-то вырезал ровный аккуратный квадрат, и в центре квадрата была луна.

Квадрига уже не визжал. Он зашелся от визга и издавал только слабые скрипучие звуки. Виктор с трудом перевел дыхание и вдруг почувствовал злость. Да что это им здесь — цирк, что ли? За кого они меня принимают?.. Квадрига все скрипел.

— Перестань! — рявкнул Виктор с ненавистью.— Квадратов не видел? Живописец дерьмовый! Холуй!

Он схватил Квадригу за мохеровое одеяло и тряхнул изо всех сил. Квадрига повалился на пол и замер.

— Хорошо,— сказал он вдруг неожиданно ясным и отчетливым голосом.— С меня хватит.

Он поднялся на четвереньки и прямо с четверенек, как спринтер, кинулся вон. Виктор снова посмотрел в окно. В глубине души он надеялся, что ему привиделось, но все оставалось по-прежнему, и он даже разглядел в правом нижнем углу квадрата крошечную звездочку, почти утонувшую в лунном блеске. Прекрасно были видны мокрые кусты сирени, и бездействующий фонтан с аллегорической рыбой из мрамора, и узорчатые ворота, а за воротами — черная лента шоссе. Виктор сел на подоконник и, следя за тем, чтобы не дрожали пальцы, закурил. Мельком он заметил,

что солдатика в холле нет — то ли удрал солдатик, то ли спрятался под диван и помер от страха. Автомат, во всяком случае, лежал на прежнем месте, и Виктор истерически хихикнул, сопоставив эту несчастную железяку с силами, которые проделали квадратный колодец в тучах. Ну и фокусники. Не-ет, если новый мир и погибнет, то старому тоже достанется на орехи... А все-таки хорошо, что под рукой автомат. Глупо, но с ним как-то спокойнее. А подумавши — и не глупо вовсе. Ведь ясно же — ожидается великий драп, это же в воздухе висит, а когда идет великий драп, всегда лучше держаться в сторонке и иметь при себе оружие.

Во дворе взревел мотор, из-за угла вынесся огромный, бесконечно длинный лимузин Квадриги (личный подарок господина президента за бескорыстную службу преданной кистью), не разбирая дороги устремился к воротам, вышиб их с треском, вылетел на шоссе, повернул и скрылся из виду.

— Удрал-таки, скотина,— пробормотал Виктор не без зависти. Он слез с подоконника, повесил на плечо автомат, сверху накинул плащ и окликнул солдатика. Солдатик не отозвался. Виктор заглянул под диван, но там был только серый узел с обмундированием. Виктор закурил еще одну сигарету и вышел во двор. В кустах сирени рядом с выбитыми воротами он нашел скамейку странной формы, но очень удобную, а главное — с хорошим видом на шоссе, уселся, положив ногу на ногу, и поплотнее закутался в плащ. Сначала на шоссе было пусто, но потом прошла машина, другая, третья, и он понял, что драп начался.

Город прорвало, как нарыв. Впереди драпали избранные, драпали магистратура и полиция, драпали промышленность и торговля, драпали суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф, драпали золотые рубашки — все, все, в облаках бензиновой вони, в трескотне выхлопов, встрепанные, агрессивные, злобные и тупые, лихоимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов,— рев стоял на шоссе, а гигантский фурункул все выдавливался и выдавливался, и, когда схлынул гной, потекла кровь: собственно народ — на битком набитых грузовиках, в перекошенных автобусах,

в навьюченных малолитражках, на мотоциклах, на велосипедах, на повозках, пешком, сгибаясь под тяжестью узлов, толкая ручные тележки, пешком с пустыми руками, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставляя позади свои дома, своих клопов, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступала армия. Медленно проползли вездеход с офицерами, бронетранспортер, проехали два грузовика с солдатами и наши лучшие в мире походные кухни, а последним двигался полугусеничный броневик с пулеметами, развернутыми назад.

Светало, побледнела луна, страшный квадрат расплылся, тучи таяли, наступало утро. Виктор подождал минут пятнадцать, никого больше не дождался и вышел за ворота. На асфальте валялись грязные тряпки, чей-то раздавленный чемодан — хороший чемодан, по всему видно — начальство обронило, колесо от телеги, а немного поодаль, на обочине,— сама телега со старым продранным диваном и фикусом. На середине шоссе, прямо напротив ворот — одинокая галоша. Вокруг было пусто. Виктор посмотрел в сторону автостанции. Там тоже больше не было ни одной машины, ни одного человека. В садах засвистели птицы, поднималось солнце, которого Виктор не видел уже полмесяца, а город — несколько лет. Но теперь на него здесь некому было смотреть. Снова раздалось жужжание мотора, и из-за поворота вынырнул автобус. Виктор сошел на обочину. Это были «Братья по разуму» — они проплыли мимо, одинаково повернув к нему равнодушные бессмысленные лица. Вот и все, подумал Виктор. Выпить бы. Где же Диана?

Он медленно пошел обратно в город.

Солнце было справа, оно то пряталось за крышами особняков, то выглядывало в промежутки, то брызгало теплым светом сквозь ветви полусгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удивительно чистое. От земли поднимался легкий туман. Было совершенно тихо, и Виктор обратил внимание на странные, едва слышные звуки, доносившиеся словно бы из-под земли — слабое какое-то потрескивание, шорохи, шелест. Но потом он привык и забыл о них. Удивительное чувство покоя и безопасности

охватило его. Он шел, как пьяный, и почти все время смотрел в небо. На проспекте Президента возле него остановился джип.

— Садитесь,— сказал Голем.

Голем был серый от усталости и какой-то подавленный, а рядом с ним сидела Диана, тоже усталая, но все равно красивая, самая красивая из всех усталых женщин.

— Солнце,— сказал Виктор, улыбаясь ей.— Поглядите, какое солнце.

— Он не поедет,— сказала Диана.— Я вас предупреждала, Голем.

— Почему не поеду? — удивился Виктор.— Поеду. Только зачем торопиться?

Он не удержался и снова посмотрел на небо. Потом посмотрел назад, на пустую улицу. Все было залито солнцем. Где-то в поле тащились беженцы, громыхала отступающая армия, драпало начальство, там были пробки, там висела ругань, орались бессмысленные команды и угрозы, а с севера на город надвигались победители, и здесь была пустая полоса покоя и безопасности, несколько километров пустоты, и в пустоте машина и три человека.

— Ну что, Голем, грядет новый мир?

— Да,— сказал Голем. Он вглядывался в Виктора из-под опухших век.

— А где же ваши мокрецы? Идут пешком?

— Мокрецов нет,— сказал Голем.

— Как так — нет? — спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана молча отвернулась.

— Мокрецов нет,— повторил Голем. Голос у него был сдавленный, и Виктору вдруг почудилось, что он вот-вот заплачет.— Можете считать, что их не было. И не будет.

— Прекрасно,— сказал Виктор.— Пойдемте прогуляемся.

— Вы поедете или нет? — вяло спросил Голем.

— Я бы поехал,— сказал Виктор улыбаясь,— но мне надо зайти в гостиницу, забрать рукописи... и вообще посмотреть... Вы знаете, Голем, мне здесь нравится.

— Я тоже остаюсь,— сказала вдруг Диана и вылезла из машины.— Что мне там делать?

— А что вам здесь делать? — спросил Голем.

— Не знаю,— сказала Диана.— У меня же теперь никого нет, кроме этого человека.

— Ну, хорошо,— сказал Голем.— Он не понимает. Но вы же понимаете...

— Но должен же он посмотреть,— возразила Диана.— Не может же он уехать, не посмотрев...

— Вот именно,— подхватил Виктор.— На кой черт я нужен, если я не посмотрю? Это же моя специальность — смотреть.

— Слушайте, дети,— сказал Голем.— Вы соображаете, на что идете? Виктор, вам же говорили: оставайтесь на своей стороне, если хотите, чтобы от вас была польза. На своей!

— Я всю жизнь на своей стороне,— сказал Виктор.

— Здесь это будет невозможно.

— Посмотрим,— сказал Виктор.

— Господи,— сказал Голем,— как будто мне не хочется остаться! Но нужно же немножко думать головой! Нужно же разбираться, черт побери, что хочется и что должно...— Он словно убеждал самого себя.— Эх, вы... Ну и оставайтесь. Желаю вам приятно провести время.— Он включил скорость.— Где тетрадь, Диана?.. А, вот она. Так я беру ее себе. Вам она не понадобится.

— Да,— сказала Диана.— Он так и хотел.

— Голем,— сказал Виктор.— А вы-то почему бежите? Вы же хотели этот мир.

— Я не бегу,— строго сказал Голем.— Я еду. Оттуда, где я больше не нужен, туда, где я еще нужен. Не в пример вам. Прощайте.

И он уехал. Диана и Виктор взялись за руки и пошли вверх по проспекту Президента в пустой город, навстречу наступающим победителям. Они не разговаривали, они полной грудью вдыхали непривычно чистый свежий воздух, жмурились на солнце и ничего не боялись. Город смотрел на них пустыми окнами, он был удивителен, этот город,— покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в каких-то злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, и вот, наконец, его вытащили на поверхность, на посмешище солнцу, и солнце, насмеявшись вдоволь, принялось его разрушать.

Таяли и испарялись крыши, жесть и черепица дымились ржавым паром и исчезали на глазах. В стенах росли проталины, расползались, открывая обшарпанные обои, облупленные кровати, колченогую мебель и выцветшие фотографии. Мягко подламываясь, стаивали уличные фонари, растворялись в воздухе киоски и рекламные тумбы — все вокруг потрескивало, тихонько шипело, шелестело, делалось пористым, прозрачным, превращалось в сугробы грязи и пропадало. Вдали башня ратуши изменила очертания, сделалась зыбкой и слилась с синевой неба. Некоторое время в небе, отдельно от всего, висели старинные башенные часы, потом исчезли и они...

Пропали мои рукописи, весело подумал Виктор. Вокруг уже не было города — торчал кое-где чахлый кустарник, и остались больные деревья и пятна зеленой травы, только вдалеке за туманом еще угадывались какие-то здания, остатки зданий, призраки зданий, а невдалеке от бывшей мостовой, на каменном крылечке, которое никуда теперь не вело, сидел Тэдди, вытянув больную ногу и положив рядом с собой костыли.

— Привет, Тэдди,— сказал Виктор.— Остался?

— Ага,— сказал Тэдди.

— Что так?

— Да ну их,— сказал Тэдди.— Набились как сельди в бочку, некуда ногу вытянуть, я говорю снохе: ну зачем тебе, дура, сервант? А она меня кроет... Плюнул я на них и остался.

— Пойдешь с нами?

— Да нет, идите,— сказал Тэдди.— Я уж посижу. Ходок я теперь некудышный, а мое меня не минует...

Они пошли дальше. Становилось жарко, и Виктор сбросил на землю ненужный плащ, стряхнул с себя ржавые остатки автомата и засмеялся от облегчения. Диана поцеловала его и сказала: «Хорошо!» Он не возражал. Они шли и шли под синим небом, под горячим солнцем, по земле, которая уже зазеленела молодой травой, и пришли к тому месту, где была гостиница. Гостиница не исчезла вовсе — она стала огромным кубом из грубого шершавого бетона, и Виктор подумал, что это памятник, а может быть — пограничный знак между старым и новым миром. И едва он это подумал, как из-за

глыбы бетона беззвучно выскользнул реактивный истребитель со щитком Легиона на фюзеляже, беззвучно промелькнул над головой, все еще беззвучно вошел в разворот где-то возле солнца и исчез, и только тогда налетел адский свистящий рев, ударил в уши, в лицо, в душу, но навстречу уже шел Бол-Кунац, с выгоревшими усиками на загорелом лице, а поодаль шла Ирма, тоже почти взрослая, босая, в простом легком платье, с прутиком в руке. Она посмотрела вслед истребителю, подняла прутик, словно прицеливаясь, и сказала: «Кх-х!»

Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он и не предполагал даже, что такая Диана возможна,— Диана Счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но только вот что — не забыть бы мне вернуться.

Ленинград — Москва
сентябрь 1966 — сентябрь 1967

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

— Как живете, караси?
— Ничего себе, мерси.

В.Катаев «Радиожираф»

...Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы...

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)

МУСОРЩИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает бак, устанавливая его в глубине кузова.

Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом, под сводом подворотни покачивалась на обросшем грязью шнуре голая желтая лампочка. В ее свете лицо Вана было как у человека, замученного желтухой, а лица Дональда не было видно в тени его широкополой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороздами; темные клочья пыльной паутины под сводами; непристойные женские изображения в натуральную величину; а около дверей в дворницкую — беспорядочная толпа пустых бутылок и банок, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в утиль...

Когда остался последний бак, Ван взял совок и метлу и принялся собирать мусор, оставшийся на асфальте.

— Да бросьте вы копаться, Ван,— раздраженно произнес Дональд.— Каждый раз вы копаетесь. Все равно ведь чище не будет.

— Дворник должен быть метущий,— наставительно заметил Андрей, крутя кистью правой руки и прислушиваясь к своим ощущениям: ему показалось, что он немного растянул сухожилие.

— Ведь все равно же опять навалят,— сказал Дональд с ненавистью.— Мы и обернуться не успеем, а уже навалят больше прежнего.

Ван ссыпал мусор в последний бак, утрамбовал совком и захлопнул крышку.

— Можно,— сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил: — Я только хотел бы напомнить вам...

— Давайте, давайте! — нетерпеливо прикрикнул Дональд.

Раз-два. Андрей и Ван рывком подняли бак. Три-четыре. Дональд подхватил бак, крякнул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое вылетело из него метров на десять, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами.

— Мать вашу в бога, в душу и святого духа,— сказал Андрей, едва успевший отскочить.— Руки ваши дырявые!..

— Я только хотел напомнить,— кротко проговорил Ван,— что у этого бака отломана ручка.

Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова и опустил руки между колен.

— Проклятье...— пробормотал он глухо.— Проклятая подлость.

С ним было явно что-то не в порядке в последние дни, а в эту ночь — в особенности. Поэтому Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо закурил и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд молча покачал головой. Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал:

— Жили-были в одном городишке два ассенизатора — отец и сын. Канализации у них там не было, а просто ямы с этим самым. И они это самое вычерпывали ведром и заливали в свою бочку, причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну, батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью: «Чучело ты,— говорит,— огородное, тундра! Никакого толка в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь».

Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый, общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас Дональд только покашлял и глухо сказал: «Всех ям не выгребешь». А Ван, возившийся возле бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил:

— А почем оно у вас?

— Что — почем? — не понял Андрей.

— Дерьмо. Дорого?

Андрей неуверенно хохотнул.

— Да как тебе сказать... Смотря чье...

— Разве оно у вас разное? — удивился Ван.— У нас — одинаковое. А чье у вас самое дорогое?

— Профессорское,— немедленно сказал Андрей. Просто невозможно было удержаться.

— А! — Ван высыпал в бак очередной совок и покивал.— Понятно. Но у нас в сельской местности не было профессоров, поэтому цена была одна — пять юаней за ведро. Это — в Сычуани. А в Цзянси, например, цены доходили до семи и даже до восьми юаней.

Андрей наконец понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, пришедший в гости на обед, обязан потом опорожниться на огороде хозяина, однако спрашивать это было, конечно, неловко.

— А как у нас сейчас, я не знаю,— продолжал Ван.— Последнее время я не жил в деревне... А почему профессорское ценится у вас дороже?

— Это я пошутил,— сказал Андрей виновато.— У нас этим делом вообще не торгуют.

— Торгуют,— сказал Дональд.— Вы даже этого не знаете, Андрей.

— А вы даже это знаете,— огрызнулся Андрей.

Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом в яростный спор. Его ужасно раздражало, что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, и понятия не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. «Да шли бы вы с вашей херстовиной!» — отмахивался он. Но потом появился этот недоносок Изя Кацман, и Андрей спорить перестал, огрызался только. Черт их знает, откуда они всего этого набрались. И бессилие свое он объяснял тем обстоятельством, что он-то пришел сюда из пятьдесят первого года, а эти двое — из шестьдесят седьмого.

— Счастливый вы человек,— сказал вдруг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины.

Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая Вану. Ну, и не знаю, думал он. Подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах? Или, скажем, о постоянной Хаббла? Мало ли кто чего не знает...

Ван запихивал в бак последние остатки мусора, когда в воротах с улицы появилась ладная фигура полицейского Кэнси Убукаты.

— Сюда, пожалуйста,— сказал он кому-то через плечо и двумя пальцами откозырял Андрею.— Привет, мусорщики!

Из уличной тьмы в круг желтоватого света вступила девушка и остановилась рядом с Кэнси. Была она совсем молоденькая, лет двадцати, не больше, и совсем маленькая, едва по плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая короткая юбка, на бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы, длинные светлые волосы падали на плечи.

— Не пугайтесь,— вежливо улыбаясь, сказал ей Кэнси.— Это всего лишь наши мусорщики. В трезвом состоянии совершенно безопасны... Ван,— позвал он.— Это Сельма Нагель, новенькая. Приказано поселить у тебя в восемнадцатом номере. Восемнадцатый свободен?

Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним.

— Свободен,— сказал он.— Давно уже свободен. Здравствуйте, Сельма Нагель. Я — дворник, меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот — дверь в дворницкую, приходите сюда.

— Давай ключ,— сказал Кэнси.— Пойдемте, я вас провожу,— сказал он девушке.

— Не надо,— проговорила она устало.— Сама найду.

— Как угодно,— сказал Кэнси и снова откозырял.— Вот ваш чемодан.

Девушка взяла у Кэнси чемодан, а у Вана — ключ, мотнула головой, отбрасывая упавшие на глаза волосы, и спросила:

— Который подъезд?

— Прямо,— сказал Ван.— Вон тот, под освещенным окном. Пятый этаж. Может быть, вы хотите есть? Чаю?

— Нет, не хочу,— сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по асфальту, пошла прямо на Андрея.

Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще какой-то парфюмерии. И он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному кругу, юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые, и Андрею показалось, что они светятся, когда она вышла из-под арки в темноту двора, и в этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги.

Потом заныла, завизжала и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал сигареты и закурил, представляя, как эти нежные белые ноги ступают по лестнице, ступенька за ступенькой... гладкие икры, ямочки под коленями, обалдеть можно... Как она поднимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью восемнадцатой квартиры — как раз напротив шестнадцатой квартиры... ч-черт, надо хоть белье постельное переменить, три недели уже не менял, наволочка серая сделалась, как портянка... А какое у нее лицо? Надо же — совсем не помню, какое у нее лицо. Только ноги и запомнил.

Он вдруг осознал, что молчат все, даже женатый Ван, и в ту же секунду заговорил Кэнси:

— У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки. Он был адъютантом господина Осимы и два года просидел в Берлине. Потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного атташе в Чехословакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу...

Ван кивнул Андрею, они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов.

— ...Потом,— продолжал Кэнси неторопливо, закуривая сигаретку,— он немного повоевал в Китае, по-моему, где-то на юге, на Кантонском направлении. Потом он командовал дивизией, высадившейся на Филиппинах, и организовал этот знаменитый «марш смерти» пяти тысяч американских военнопленных — извините меня, Дональд... Потом его направили в Маньчжурию и назначили начальником Сахалянского укрепрайона, где он, между прочим, в целях сохранения секретности загнал в шахту и взорвал восемь тысяч китайских рабочих... извини меня, Ван... Потом он попал к русским в плен, и они, вместо того чтобы повесить его или, что тоже самое, передать его Китаю, всего-навсего упрятали его на десяток лет в концлагерь...

Пока Кэнси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. Дональд Купер, длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, острый подбородок, поросший редкой седой щетиной; и Ван, широкий, приземистый, почти без шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик, благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век; и Андрея вдруг пронизала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен собрались здесь вместе и делают одно, очень нужное дело, каждый на своем посту.

— ...Теперь он уже старый человек,— закончил Кэнси.— И он утверждает, что самые лучшие женщины, каких он когда-либо знал,— это русские женщины. Эмигрантки в Харбине.

Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета.

Андрей сказал:

— Какая же она русская? Сельма, да еще Нагель.

— Да, она шведка,— сказал Кэнси.— Но все равно. Это был рассказ по ассоциации.

— Ладно, поехали,— сказал Дональд и полез в кабину.

— Слушай, Кэнси,— сказал Андрей, берясь за дверцу.— А кем ты был раньше?

— Контролером на литейном заводе, а до того — министром коммунального...

— Да нет, не здесь, а там...

— А-а, там? Там я был литсотрудником в издательстве «Хаякава».

Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые клубы синего дыма.

— У вас правый подфарник не горит! — крикнул Кэнси.

— Он у нас сроду не горел,— отозвался Андрей.

— Так почините! Еще раз увижу — оштрафую!

— Понасажали вас на нашу голову...

— Что? Не слышу!

— Бандитов, говорю, лови, а не шоферов! — проорал Андрей, стараясь перекричать лязг и дребезг.— Дался тебе наш подфарник! И когда только вас всех разгонят, дармоедов!

— Скоро! — крикнул Кэнси.— Теперь уже скоро — не пройдет и ста лет!

Андрей погрозил ему кулаком, махнул Вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом. Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на Главную улицу и круто повернул направо.

Устраиваясь поудобнее, так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола в зад, Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку, а правую — на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив острый подбородок, и гнал во всю мощь. Он всегда ездил так, «с максимальной разрешенной скоростью», не думая даже тормозить перед выбоинами на асфальте, и на каждой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший

капот, а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас Дональд молчал, тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе, и потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел.

— Что это с вами, Дон? — спросил Андрей наконец.— Зубы болят?

Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил.

— Правда, вы какой-то сам не свой последние дни. Я же вижу. Может быть, я вас обидел как-нибудь нечаянно?

— Бросьте, Андрей,— проговорил Дональд сквозь зубы.— При чем здесь вы?

И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорбительное: где уже тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?.. Но тут Дональд заговорил снова:

— Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только позавидовать. Все это идет как-то мимо вас. Или сквозь вас. А по мне это идет, как паровой каток. Ни одной целой кости не сталось.

— О чем вы? Ничего не понимаю.

Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него, невидящими глазами поглядел вперед на дорогу, снова покосился на Дональда, почесал себе макушку и расстроенно сказал:

— Честное слово, ничего не понимаю. Так вроде все хорошо идет...

— Потому я вам и завидую,— жестко сказал Дональд.— И хватит об этом. Не обращайте внимания.

— То есть как не обращать внимания? — сказал Андрей, совсем расстроившись.— Как это я могу не обращать внимания? Мы здесь вместе... вы, я, ребята... Конечно, дружба — это большое слово, слишком большое... ну, просто товарищи... Я бы, например, рассказал, если что... Ведь никто же не откажется помочь! Ну, сами скажите: если бы со мной что-нибудь случилось и я бы попросил у вас помощи, вы бы мне отказали? Ведь не отказали бы, верно?

Правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу. Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке. Дональд был в порядке. Просто обычная хандра. Может же быть у человека хандра? Просто у него самолюбие взыграло. Все-таки как-никак профессор социологии, а тут баки с мусором, а до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему это неприятно и обидно, тем более, что никому об этих обидах не расскажешь — никто его сюда не гнал, и жаловаться неудобно... Это только сказать просто: выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили... Ну и ладно. И хватит об этом. Сам справится.

А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому от осевшего тумана, и здания по сторонам стали ниже, дряхлее, и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно, на мостовой и на тротуарах не было ни души, даже дворники почему-то не попадались, только на углу Семнадцатого переулка, перед приземистой старой гостиницей, известной более под названием «Клопиный вольер», стояла телега с понурой лошадью, и в телеге кто-то спал, закутавшись с головой в брезент. Было четыре часа ночи — время самого крепкого сна, и ни одно окно не светилось в черных этажах.

Впереди слева из подворотни высунулся грузовик. Дональд помигал ему фарами, промчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывернув на дорогу, попытался их перегнать, но не на таковских напал, где ему было тягаться с Дональдом,— так, посветил фарами через заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в горелых кварталах, и вовремя, потому что сразу за горелыми начался булыжник, и Дональду пришлось-таки снизить скорость, чтобы грузовичок невзначай не развалился.

Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые,— они шли со свалки и больше никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но оказалось, что это полицейский,

который попросил подбросить его до Капустного переулка. Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это, и тогда полицейский, здоровенный мордастый дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал, что покажет.

Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму, всю дорогу недовольно крутил носом, словно бог весть что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим потом, и Андрей вспомнил, что эта часть города уже отключена от водопровода.

Некоторое время ехали молча, полицейский насвистывал из оперетки, а потом ни с того ни с сего сообщил, что на углу Капустного и Второй Левой нынче в полночь кокнули какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали.

— Плохо работаете,— зло сказал ему Андрей.

Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал бы ему по шее: сразу было видно, что ему совершенно безразличны и убийство, и убитый, и убийцы.

Полицейский озадаченно повернул широкую ряшку и спросил:

— Ты, что ли, меня учить будешь, как работать?

— Может быть, и я,— сказал Андрей.

Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал:

— Учителей-то, учителей!.. Куда ни харкни — везде учитель. Стоит и учит. Мусор уже возит, а все учит.

— Я тебя не учу...— начал было Андрей, повысив голос, но полицейский говорить ему не дал.

— Вот вернусь сейчас в участок,— спокойно сообщил он,— и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник правый не горит. Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же — учит полицию, как работать. Молокосос.

Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и сказал совсем уже миролюбиво:

— Я один на сорок домов, понял? И оружие запретили носить. Чего же ты от нас хочешь? Тебя скоро дома резать начнут, не то что в переулках.

— Так а чего же вы? — ошеломленно сказал Андрей.— Протестовали бы, требовали бы...

— «Протестовали»,— повторил полицейский.— «Требовали»... Новичок, что ли? Эй, шеф,— позвал он Дональда.— Притормози-ка. Мне здесь.

Он спрыгнул с подножки и вразвалку, не оглядываясь, направился в темную щель между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под фонарем стояла кучка людей.

— Да что они, ей-богу, сдурели, что ли? — возмущенно сказал Андрей, когда машина снова тронулась.— Как это так — в городе полно шпаны, а полиция без оружия! Не может этого быть. У Кэнси же кобура на боку, что он в ней — сигареты носит?

— Бутерброды,— сказал Дональд.

— Ничего не понимаю,— сказал Андрей.

— Было разъяснение,— сказал Дональд.— «В связи с участившимися случаями нападения гангстеров на полицейских с целью захвата оружия»... и так далее.

Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбрасывало над сиденьем. Булыжник практически уже кончился.

— По-моему, это ужасно глупо,— сказал он наконец.— А по-вашему?

— И по-моему тоже,— отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой.

— И вы об этом так спокойно говорите?

— Я уже свое отбеспокоился,— сказал Дональд.— Это очень старое разъяснение, вас еще здесь не было.

Андрей почесал макушку, наморщился. Черт его знает, может, и был какой-то смысл в этом разъяснении? В конце концов, полицейский-одиночка действительно соблазнительная приманка для этих гадов. Если уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало и облав мало, а надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть одним махом. Население привлечь. Я бы, например, пожалуйста, пошел... Дональд бы, конечно, пошел... Надо будет написать мэру. Потом мысли его приняли вдруг новое направление.

— Слушайте, Дон,— сказал он.— Вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социология — это никакая не наука... я вам уже говорил... и вообще не метод. Но вы, конечно, много знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните: откуда в нашем городе вся эта дрянь? Как они сюда попали — убийцы, насильники, ворье... Неужели Наставники не понимали, кого сюда приглашают?

— Понимали, наверное,— равнодушно ответил Дональд, с ходу проскакивая страховидную яму, наполненную черной водой.

— Так зачем же тогда?..

— Вором не рождаются. Вором становятся. А потом, как известно: «Откуда нам знать, что нужно Эксперименту? Эксперимент есть Эксперимент...» — Дональд помолчал.— Футбол есть футбол, мяч круглый, поле квадратное, пусть победит достойнейший...

Фонари кончились, жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины — остатки нелепых колоннад, просевшие в скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян, штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца среди нагромождений почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло туманное сиянье, Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и наконец затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого.

— Часок простоим,— бодро сказал Андрей.— Пошли посмотрим, кто там впереди.

Сзади подошла и остановилась еще одна машина.

— Идите один,— сказал Дональд, откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы на лицо.

Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил. Впереди полным ходом шла разгрузка — лязгали крышки баков, высокий голос учетчика кричал: «...восемь... десять...», на столбе покачивалась

тысячесвечовая лампа под плоской жестяной тарелкой. Потом вдруг заорали сразу в несколько глоток: «Куда, куда, мать твою? Сдай назад! Сам ты — слепая!.. По зубам захотел?..» Справа и слева громоздились горы мусора, слежавшегося в плотную массу, ночной ветерок наносил ужасную тухлятину.

Знакомый голос вдруг сказал над ухом:

— Здорово, говновозы! Как идет великий Эксперимент?

Это был Изя Кацман, в натуральную величину,— встрепанный, толстый, неопрятный и, как всегда, неприятно жизнерадостный.

— Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция упраздняется! Вместо нее будут по ночам выпускать на улицы сумасшедших. Бандитам и хулиганам конец — теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома!

— Неостроумно,— сказал Андрей сухо.

— Неостроумно? — Изя встал на подножку и просунул голову в кабину.— Наоборот! Чрезвычайно остроумно! Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников...

— За что дворникам выдается дополнительный паек в размере литра водки,— подхватил Андрей, чем и привел Изю в необъяснимый восторг: Изя принялся хихикать, издавая странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом.

Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте. Изя тут же перестал хихикать и спросил обеспокоенно:

— Что это с ним?

— Не знаю,— мрачно сказал Андрей.— Наверное, его от тебя затошнило... А вообще-то он уже несколько дней такой.

— Правда? — Изя поверх кабины глядел в ту сторону, куда ушел Дональд.— Жалко. Он хороший человек. Только очень уж неприспособленный.

— А кто приспособленный?

— Я приспособленный. Ты приспособленный. Ван приспособленный... Дональд давеча все возмущался: почему,

чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди? На кой хрен здесь учетчик? Что он учитывает?

— Ну и правильно возмущался,— сказал Андрей.— Действительно же, кретинизм какой-то.

— Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу,— возразил Изя.— Ты прекрасно понимаешь, что учетчик — человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает. А поскольку он учитывать не успевает, образуется, сами понимаете, очередь. А очередь — она и есть очередь...— Изя снова забулькал и забрызгал.— Конечно, на месте начальства Дональд проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика, здоровенного бугая, отправил бы в полицию ловить бандитов. Или на передовую, к фермерам...

— Ну,— сказал Андрей нетерпеливо.

— Что — ну? Дональд ведь не начальство!

— Ну, а начальство почему так не сделает?

— А зачем ему? — радостно вскричал Изя.— Сам подумай! Мусор вывозится? Вывозится! Вывоз учитывается? Учитывается! Систематически? Систематически. Месяц окончился, будет представлен отчет: вывезено на столько-то баков говна больше, чем в прошлом месяце. Министр доволен, мэр доволен, все довольны, а что Дональд недоволен, так его сюда никто не гнал — доброволец!..

Грузовик впереди выбросил клуб синего дыма и проехал вперед метров на пятнадцать. Андрей торопливо пересел за руль, выглянул. Дональда нигде не было видно. Тогда он с опаской включил двигатель и кое-как продвинулся на те же пятнадцать метров, трижды заглохнув по дороге. Изя при этом шел рядом, испуганно шарахаясь каждый раз, когда машина принималась дергаться. Потом он принялся рассказывать что-то про Библию, но Андрей слушал плохо — он был весь мокрый от пережитого напряжения.

Под яркой лампой по-прежнему лязгали баки и стоял мат. В крышу кабины что-то ударилось и отскочило, но Андрей не обратил на это внимания. Сзади подошел со своим напарником, гаитянским негром, здоровенный Оскар Хайдеман, попросил закурить. Негр, по имени Сильва, почти невидимый в темноте, скалил белые зубы.

Изя пустился с ними в разговоры, причем Сильву он называл почему-то тонтон-макутом, а Оскара расспрашивал о каком-то Туре Хейердале. Сильва строил страшные рожи, делал вид, что строчит из автомата, Изя хватался за живот и делал вид, что сражен на месте,— Андрей ничего не понимал, и Оскар, по-видимому, тоже: очень скоро выяснилось, что он путает Гаити с Таити.

По крыше снова что-то прокатилось, и вдруг здоровенный ком слипшегося мусора ударился в капот и разлетелся в клочья.

— Эй! — крикнул Оскар в темноту.— Прекратите!

Впереди вновь заорали в двадцать глоток, плотность брани достигла вдруг немыслимого предела. Что-то происходило. Изя жалобно ойкнул и, схватившись за живот, согнулся пополам — теперь уже не в шутку. Андрей открыл дверцу, высунулся было наружу, и сейчас же в голову ему ударила пустая консервная банка — не больно, но очень оскорбительно. Сильва пригнулся и скользнул в темноту. Андрей, прикрывая голову и лицо, озирался.

Ничего не было видно. Из-за куч мусора слева градом сыпались ржавые банки, куски гнилого дерева, старые кости, даже обломки кирпичей. Послышался звон разбиваемого стекла. Дикий возмущенный рев взлетел над колонной. «Какая сволочь там развлекается?!» — ревели чуть ли не хором. Зарычали включенные двигатели, вспыхнули фары. Некоторые грузовики принялись судорожно елозить взад-вперед: видимо, водители пытались развернуть их так, чтобы осветить мусорные хребты, откуда летели уже целые кирпичи и пустые бутылки. Еще несколько человек, пригнувшись как Сильва, ринулись в темноту.

Мельком Андрей заметил, что Изя с искривленным плачущим лицом скорчился возле заднего ската и ощупывает живот. Тогда Андрей нырнул в кабину и выхватил из-под сиденья монтировку. По башкам сволочей, по башкам! Видно было, как с десяток мусорщиков на четвереньках, цепляясь руками, остервенело карабкаются по склону. Кому-то удалось-таки поставить машину поперек, и свет фар озарил неровный гребень, ощетиненный обломками старой мебели, взлохмаченный тряпьем и обрывками бумаги, сверкающий

битым стеклом, и над гребнем — высоко задранный ковш экскаватора на фоне черного неба. И что-то там шевелилось на ковше, что-то большое, серое с серебристым отливом. Андрей замер, вглядываясь, и в ту же минуту отчаянный вопль перекрыл всю разноголосицу:

— Это дьяволы! Дьяволы! Спасайтесь!..

И сейчас же со склона кубарем, на карачках, через голову, поднимая столбы пыли, в вихре рваного тряпья и бумажных лохмотьев, посыпались люди,— обезумевшие глаза, разинутые рты, размахивающие руки. Кто-то, обхватив руками голову, спрятав голову между сжатыми локтями, продолжая панически визжать, пронесся мимо Андрея, поскользнулся в колее, упал, снова вскочил и изо всех сил побежал дальше, по направлению к городу. Кто-то, хрипло дыша, втиснулся между радиатором Андреева грузовика и кузовом передней машины, застрял там, принялся рваться и тоже заорал не своим голосом. Стало вдруг тише, только ворчали двигатели, и тут хлестко, словно удары бича, звонко защелкали выстрелы. И Андрей увидел — на гребне, в голубоватом свете фар — высокого тощего человека, который стоял спиной к машинам, держа пистолет в обеих руках, и раз за разом палил куда-то в темноту за гребень.

Он выстрелил пять или шесть раз в полной тишине, а потом из темноты возник тысячеголосый нечеловеческий вой, злобный, мяукающий и тоскливый, как будто двадцать тысяч мартовских котов заорали одновременно в мегафоны, и тощий человек попятился, оступился, нелепо взмахнул руками и съехал на спине по склону. Андрей тоже попятился в предчувствии чего-то невыносимо страшного, и он увидел, как гребень вдруг зашевелился.

Серебристо-серые, невероятные, чудовищно уродливые призраки закишели вдруг там, засверкали тысячами кроваво светящихся глаз, заблестели миллионами яростно оскаленных влажных клыков, замахали лесом невообразимо длинных мохнатых лап. Пыль густой стеной взлетела над ними в свете фар, и сплошной ливень обломков, камней, бутылок, комков дряни обрушился на колонну.

Андрей не выдержал. Он нырнул в кабину, вжался в самый дальний угол и выставил перед собой монтировку,

обмирая, как в кошмаре. Он абсолютно ничего не соображал, и когда какое-то темное тело заслонило открытую дверь, он заорал, не слыша собственного голоса, и принялся тыкать железом в мягкое, страшное, сопротивляющееся, лезущее на него, и тыкал до тех пор, пока жалобный вопль Изи: «Идиот, это же я!» не привел его в чувство. И тогда Изя влез в кабину, захлопнул за собой дверь и неожиданно спокойным голосом объявил:

— Ты знаешь, что это такое? Это обезьяны. Вот суки!

Сначала Андрей не понял его, потом понял, но не поверил.

— Ну да? — сказал он, вылез на подножку и выглянул из-за кабины.

Точно: это были обезьяны. Очень крупные, очень волосатые, очень свирепые на вид, но не дьяволы и не привидения, а всего лишь обезьяны. Андрея обдало жаром от стыда и облегчения, и в ту же секунду что-то тяжелое и твердое ахнуло его прямо по уху, да так, что другим ухом он ахнулся о крышу кабины.

— Все по машинам! — взревел где-то впереди властный голос.— Прекратить панику! Это павианы! Ничего страшного! По машинам и задний ход!..

В колонне стоял ад кромешный. Стреляли глушители, вспыхивали и гасли фары, двигатели ревели вразнос, сизый дым клубами поднимался к беззвездному небу. Из тьмы вдруг вынырнуло какое-то залитое черным и блестящим лицо, чьи-то руки схватили Андрея за плечи, встряхнули, как щенка, сунули боком в кабину, и тут же передний грузовик сдал назад и с хрустом врезался в радиатор, а грузовик сзади дернулся вперед и ударил в кузов, как в бубен, так, что там загремели потревоженные баки, а Изя дергал за плечо и приставал: «Ты машину водить умеешь или нет? Андрей! Умеешь?», а из сизого дыма кто-то вопил истошно: «Убили! Спасите!», а властный голос все ревел: «Прекратить панику! Задняя машина, задний ход! Живо!», а сверху, справа, слева градом сыпалось твердое, лязгало по капоту, гремело по бакам, со звоном било в стекла, и непрерывно ныли и гудели сигналы, и все нарастал и нарастал гнусный мяукающий вой.

Изя вдруг сказал: «Ну, я пошел...» и, заранее прикрывая руками голову, вылез наружу. Он чуть не попал под машину, промчавшуюся по направлению к городу,— среди подпрыгивающих баков промелькнуло перекошенное лицо учетчика. Потом Изя исчез, и появился Дональд — без шляпы, ободранный, весь в грязи,— швырнул на сиденье пистолет, сел за руль, включил двигатель и, высунувшись из кабины, дал задний ход.

Видимо, какой-то порядок все-таки установился: панические вопли утихли, моторы ревели слаженно, и вся колонна понемногу пятилась назад. Даже каменно-бутылочный град, казалось, несколько поутих. Павианы прыгали и расхаживали по мусорному гребню, но вниз не спускались,— только орали там, разевая собачьи пасти, и издевательски поворачивали к колонне лоснящиеся в свете фар ягодицы.

Грузовик катился все быстрее, снова пробуксовал в грязевой яме, выскочил на шоссе, развернулся. Дональд со скрежетанием переключил скорость, дал газ и, захлопнув дверцу, откинулся на сиденье. Впереди прыгали во мраке красные огоньки удирающих во весь дух машин.

Оторвались, с облегчением подумал Андрей и осторожно ощупал ухо. Ухо распухло и пульсировало. Надо же — павианы! Павианы-то откуда? Да такие здоровенные... да в таких количествах!.. Сроду у нас тут не было никаких павианов... если не считать, конечно, Изю Кацмана. И почему именно павианы? Почему не тигры?.. Он поерзал на сиденье, грузовик тряхнуло. Андрей подлетел и с размаху опустился на что-то твердое, незнакомое. Он сунул под себя руку и вытащил пистолет. Секунду он смотрел на него, не понимая. Пистолет был черный, небольшой, с коротким стволом и рифленой рукоятью. Потом Дональд вдруг сказал:

— Осторожнее. Дайте сюда.

Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, изогнувшись, засовывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг прошиб пот.

— Так это вы там... палили? — спросил он сипло.

Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя очередной грузовик. Через перекресток, перед самым радиатором, пронеслось, изогнув хвосты, несколько павианов, но Андрею было уже не до них.

— Откуда у вас оружие, Дон?

Дональд опять не ответил, только сделал странный жест рукой — попытался надвинуть на глаза несуществующую шляпу.

— Вот что, Дон,— сказал тогда Андрей решительно.— Мы сейчас же едем в мэрию, вы сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал.

— Бросьте чепуху молоть,— отозвался Дональд.— Дайте лучше сигарету.

Андрей машинально достал пачку.

— Это не чепуха,— сказал он.— Я не хочу ничего знать. Вы молчали — ладно, это ваше личное дело. И вообще я вам доверяю... Но в городе только у бандитов может быть оружие. Я ничего такого не хочу сказать, но в общем я вас не понимаю... в общем, оружие надо сдать и все объяснить. И нечего делать вид, будто все это чепуха. Я же вижу, какой вы последнее время. Лучше пойти и сразу все рассказать.

Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо. Непонятно, что у него было в глазах — то ли насмешка, то ли страдание,— но он показался Андрею очень старым в этот момент, совсем дряхлым и каким-то загнанным. Андрей ощутил смущение и растерянность, но тут же взял себя в руки и твердо повторил:

— Сдать и все рассказать. Все!

— Вы понимаете, что обезьяны идут на город? — спросил Дональд.

— Ну и что? — растерялся Андрей.

— Действительно — ну и что? — сказал Дональд и неприятно рассмеялся.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Обезьяны уже были в городе. Они носились по карнизам, гроздьями висели на фонарных столбах, жуткими косматыми толпами плясали на перекрестках, липли к окнам, швырялись булыжниками, вывороченными из мостовой, гонялись за обезумевшими людьми, которые в одном белье выскочили на улицу.

Несколько раз Дональд останавливал машину, чтобы взять в кузов беженцев. Баки давно выкинули вон. Одно время перед грузовиком мчалась галопом осатаневшая лошадь, запряженная в телегу, а в телеге приседал и раскачивался, размахивал волосатыми ручищами и пронзительно вопил здоровенный серебристый павиан. Андрей видел, как телега с треском врезалась в фонарный столб, лошадь с оборванными постромками понеслась дальше, а павиан лихо перелетел на ближайшую водосточную трубу и исчез на крыше.

На площади перед мэрией кипела паника. Подъезжали и отъезжали автомобили, бегали полицейские, бродили потерянные люди в исподнем, у подъезда какого-то чиновника прижали к стене, требовательно кричали на него, а он отпихивался тростью и отмахивался портфелем.

— Бардак,— сказал Дональд и выпрыгнул из машины.

Они вбежали в здание и сразу же потеряли друг друга в непроворотной толпе людей в штатском, людей в полицейской форме и людей в нижнем белье. Стоял многоголосый гомон, от табачного дыма ело глаза.

— Поймите! Не могу же я вот так — в одних подштанниках!

— ...Немедленно открыть арсенал и раздать оружие... Черт вас побери, ну хотя бы полицейским раздать оружие!..

— Где шеф полиции? Только что здесь крутился...

— У меня жена там осталась, вы можете это понять? И теща-старуха!

— Слушайте, да ничего страшного. Обезьяны — они и есть обезьяны...

— Представляешь, просыпаюсь я, а на подоконнике кто-то сидит...

— А шеф полиции где? Дрыхнет, толстая задница?

— Был у нас в переулке один фонарь. Повалили.

— Ковалевский! В двенадцатую комнату, быстро!

— Однако согласитесь, что в одних подштанниках...

— Кто умеет водить машину? Шофера! Все на площадь, к рекламной тумбе!

— Да где, черт побери, шеф полиции? Сбежал, что ли, сучара?

— Значит, так. Бери ребят — и в литейные мастерские. Там возьмешь эти... ну, штыри такие, для парковой ограды... Все бери, все! И сразу сюда...

— Как я гвоздану по этой волосатой морде,— даже руку отшиб, ей-богу... А он орет: «Господи! Что ты делаешь? Это же я — Фредди!..» Тьфу ты, пропасть...

— А духовые ружья годятся?

— В семьдесят второй квартал — три машины! В семьдесят третий квартал — пять машин...

— Извольте распорядиться, чтобы им выдали обмундирование второго срока. Только под расписку, чтобы потом вернули!

— Слушайте, у них хвосты есть? Или мне показалось?..

Андрея толкали, тискали, прижимали к стенам коридора, оттоптали все ноги, и он сам толкался, протискивался, отпихивал. Сначала он искал Дональда, чтобы в качестве свидетеля защиты присутствовать при покаянии и сдаче оружия, потом до него дошло, что нашествие павианов — дело, видимо, очень серьезное, раз поднялась такая кутерьма, и он немедленно пожалел, что грузовики водить не умеет, где находятся литейные мастерские с таинственными штырями — не знает, обеспечить кого-нибудь обмундированием второго срока — не может, и получается, что он тут как бы никому и не нужен. Он попытался, по крайней мере, сообщить о том, что видел своими глазами — может быть, эти сведения окажутся полезными, но одни его не слушали вовсе, а другие, стоило ему начать, перебивали и принимались рассказывать сами.

С горечью он убедился, что знакомых лиц в этом круговороте мундиров и подштанников не было, мелькнул только черный Сильва с головой, обмотанной кровавой тряпкой, да тут же и исчез,— а между тем что-то явно предпринималось, кто-то кого-то организовывал и куда-то посылал, голоса становились все громче, все увереннее, подштанники стали понемногу исчезать, а мундиров стало, наоборот, заметно больше, на какое-то мгновение Андрею даже почудился мерный грохот сапог и строевая песня, но оказалось, что это просто уронили переносимый сейф, и он скатился, грохоча, по ступенькам и застрял в дверях продовольственного отдела...

Тут Андрей увидел знакомое лицо — чиновника, бывшего сослуживца по бухгалтерии Палаты Мер и Весов. Андрей, распихивая встречных, догнал его, прижал к стене и единым духом выложил, что вот он, Андрей Воронин,— помните, мы вместе работали? — ныне грузчик-ассенизатор, никого найти не могу, направьте меня куда-нибудь в дело, ведь наверняка же нужны люди... Чиновник некоторое время слушал, очумело моргая и делая слабые конвульсивные попытки вырваться, а потом вдруг оттолкнул Андрея, заорал: «Куда я вас направлю? Вы что, не видите — я бумаги несу на подпись!» и почти убежал по коридору.

Андрей сделал еще несколько попыток принять участие в организованных действиях, но все от него отказывались и отмахивались, все страшно спешили, не было буквально ни одного человека, который просто спокойно стоял бы на месте и, скажем, составлял бы списки добровольцев. Тогда Андрей ожесточился и принялся распахивать все двери подряд, надеясь найти хоть какое-нибудь ответственное лицо, которое не бегает, не кричит и не размахивает руками,— из самых общих соображений было ясно, что должен же где-то здесь быть некий штаб, откуда и направляется вся эта кипучая деятельность.

Первая комната оказалась пуста. Во второй — один человек в подштанниках громко кричал в телефонную трубку, а второй, чертыхаясь, натягивал на себя узкий канцелярский халат. Из-под халата выглядывали полицейские бриджи и чиненные-перечиненные полицейские же штиблеты без шнурков. Заглянув в третий кабинет, Андрей получил по глазам чем-то розовым с пуговицами и тотчас же отпрянул, успев заметить только весьма дородные и явно женские телеса. Зато в четвертой комнате оказался Наставник.

Он сидел на подоконнике с ногами, обхватив руками колени, и смотрел в черноту за стеклом, озаряемую летящим светом фар. Когда Андрей вошел, он повернул к нему доброе румяное лицо, как всегда немного вздернул брови и улыбнулся. И увидев эту улыбку, Андрей сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что в конце концов все обязательно образуется, станет на свои места и вообще окончится благополучно.

— Вот,— сказал он, разводя руки и улыбаясь в ответ.— Оказался никому не нужен. Машину водить не умею, где находится гимназиум — не знаю... Суматоха, ничего не понять...

— Да,— сочувственно согласился Наставник.— Ужасная суматоха.— Он спустил ноги с подоконника, засунул под себя ладони и поболтал ногами, как ребенок.— Даже неприлично. Стыдно даже. Серьезные взрослые люди, в большинстве своем опытные... Значит, не хватает организованности! Правильно, Андрей? Значит, какие-то важные вопросы пущены на самотек. Неподготовленность... недостаток дисциплины... Ну и бюрократизм, конечно.

— Да! — сказал Андрей.— Конечно! Я, знаете, что решил? Не буду я больше никого искать, и не буду я ничего выяснять, а возьму какую-нибудь палку и пойду. Присоединюсь к какому-нибудь отряду. А если не примут — сам. Там ведь женщины остались... и дети...

На каждое его слово Наставник коротко кивал, он больше не улыбался, лицо у него теперь было серьезное и сочувственное.

— Вот только одно...— сказал Андрей, сморщившись.— Как с Дональдом?

— С Дональдом? — переспросил Наставник, приподнимая брови.— Ах, с Дональдом Купером? — Он засмеялся.— Вы, конечно, решили, что Дональд Купер уже арестован и покаялся в своих преступлениях... Ничего подобного. Дональд Купер как раз сейчас организует отряд добровольцев для отражения этого бесстыдного нашествия и, конечно, никакой он не гангстер и никаких преступлений не совершал, а пистолет выменял на черном рынке на старинные часы с репетиром. Что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане — привык!

— Ну, конечно! — сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение.— Ясно же! Я ведь и сам не верил, просто я считал, что... Ладно! — Он повернулся, чтобы идти, но остановился.— Скажите... если не секрет, конечно... Скажите, зачем все это? Обезьяны! Откуда они? Что они должны доказать?

Наставник вздохнул и слез с подоконника.

— Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые...

— Нет! Я все понимаю! — проникновенно сказал Андрей, прижимая руку к груди.— Я только...

— Подождите. Вы опять задаете мне вопросы, на которые я просто не умею ответить. Поймите вы это, наконец: НЕ УМЕЮ!.. Эрозия построек, помните? Превращение воды в желчь... Впрочем, это было еще до вас... Теперь вот — павианы... Помните, вы все у меня допытывались, как это так: люди разных национальностей, а говорят все на одном языке и даже не подозревают этого. Помните, как это вас поражало, как вы недоумевали, пугались даже, как доказывали Кэнси, что он говорит по-русски, а Кэнси доказывал вам, что это вы сами говорите по-японски, помните? А теперь вот вы привыкли, теперь эти вопросы вам и в голову не приходят. Одно из условий Эксперимента. Эксперимент есть Эксперимент, что здесь еще можно сказать? — Он улыбнулся.— Ну, идите, идите, Андрей. Ваше место — там. Действие прежде всего. Каждый на своем месте, и каждый — все, что может!

И Андрей вышел, и даже не вышел, а выскочил в коридор, теперь уже совсем опустевший, и скатился по парадной лестнице на площадь, и сразу же увидел деловитую, несуетливую толпу вокруг грузовика под фонарем и не колеблясь вмешался в эту толпу, протолкался вперед, ему сунули в руки тяжелое металлическое копье, и он почувствовал себя вооруженным, сильным и готовым к решительному бою.

Неподалеку кто-то — очень знакомый голос! — зычно командовал строиться в колонну по три, и Андрей, держа копье на плече, побежал туда и нашел себе место между грузным латиноамериканцем в подтяжках поверх ночной сорочки и тощим белобрысым интеллигентом, который страшно нервничал — то и дело снимал свои очки, дышал на стекла, протирал носовым платочком и снова водружал на нос, поправляя двумя пальцами.

Отряд был невелик, всего человек тридцать. А командовал, оказывается, Фриц Гейгер, что было, с одной стороны, достаточно обидно, но, с другой стороны, нельзя было не признать, что в данной ситуации Фриц Гейгер, хотя и является бывшим фашистским недобитком, но оказался как-никак на своем, так сказать, месте.

Как и полагается бывшему унтер-офицеру вермахта, в выражениях он не стеснялся, и слушать его было довольно противно. «Па-а-др-равняйсь! — орал он на всю площадь, словно командовал полком на строевых учениях.— Эй, вы, там, в шлепанцах! Да, вы! Подберите брюхо!.. А вы что там раскорячились, как корова после случки? Вас не касается? Пики — к ноге!.. Не на плечо, а к ноге, я сказал,— вы, баба в подтяжках! Смир-р-рна! За мной, шагом... Ат-ставить! Шагом... арш!» Кое-как двинулись. Андрею сразу же наступили сзади на ногу, он споткнулся, толкнул плечом интеллигента, и тот, конечно, выронил в очередной раз протираемые очки. «Кар-р-рова!» — сказал ему Андрей, не сдержавшись. «Осторожнее! — завопил интеллигент высоким голосом.— Ради бога!..» Андрей помог ему найти очки, а когда Фриц налетел на них, захлебываясь от ярости, Андрей послал его к чертовой матери.

Вдвоем с интеллигентом, не переставшим благодарить и спотыкаться, они догнали колонну, прошли еще метров двадцать и получили приказ «по машинам». Машина, впрочем, была всего одна — мощный спецгрузовик для перевозки цементного раствора. Когда погрузились, выяснилось, что под ногами чавкает и хлюпает. Человек в шлепанцах грузно перелез обратно через борт и объявил высоким голосом, что на ЭТОЙ машине лично он никуда не поедет. Фриц приказал ему вернуться в кузов. Человек еще более высоким голосом возразил, что он в шлепанцах и у него промокли ноги. Фриц помянул супоросую свинью. Человек в промокших шлепанцах, нисколько не испугавшись, возразил, что ОН-то как раз не свинья, что свинья, возможно, и согласилась бы ехать в этой грязи,— он приносит глубокие извинения всем, согласившимся ехать в этом свинарнике, но... Тут из кузова вылез вдруг латиноамериканец, презрительно сплюнул Фрицу под ноги и, сунув большие пальцы под подтяжки, неторопливо зашагал прочь.

Наблюдая все это, Андрей испытывал определенное злорадство. Не то чтобы он одобрял поведение человека в шлепанцах и тем более поступок мексиканца,— несомненно, оба они поступили не по-товарищески и вообще вели себя как обыватели,— но было крайне любопытно посмотреть, что

теперь будет делать наш битый унтер и как он выберется из создавшейся ситуации.

Андрей был вынужден признать, что битый унтер выбрался из ситуации с честью. Не говоря ни слова, Фриц повернулся на каблуке, вскочил на подножку рядом с шофером и скомандовал: «Поехали!» Грузовик тронулся, и в ту же минуту включили солнце.

С трудом удерживаясь на ногах, поминутно хватаясь за соседей, Андрей, вывернув шею, наблюдал, как на своем обычном месте медленно разгорается малиновый диск. Сначала диск дрожал, словно пульсируя, становясь все ярче и ярче, наливался оранжевым, желтым, белым, потом он на мгновение погас и сейчас же вспыхнул во всю силу так, что смотреть на него стало невозможно.

Начался новый день. Непроглядно черное беззвездное небо сделалось мутно-голубым, знойным, пахну́ло жарким, как из пустыни, ветром, и город возник вокруг как бы из ничего,— яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий... Этажи громоздились над этажами, здания громоздились над зданиями, и ни одно здание не было похоже на другое, и стала видна раскаленная желтая Стена, уходящая в небо справа, а слева, в просветах над крышами, возникла голубая пустота, как будто там было море, и сразу же захотелось пить. Многие по привычке сейчас же посмотрели на часы. Было ровно восемь.

Ехали недолго. Видимо, обезьяньи полчища еще не добрались сюда — улицы были тихи и пустынны, как всегда в этот ранний час. Кое-где в домах распахивались окна, заспанные люди сонно потягивались, равнодушно поглядывая на грузовик. Женщины в чепчиках вывешивали на подоконники матрасы, на одном из балконов усердно занимался зарядкой жилистый старик с развевающейся бородой и в полосатых трусах. Сюда паника еще не докатилась, но ближе к Шестнадцатому кварталу стали попадаться первые беженцы, встрепанные, не столько испуганные, сколько злые, некоторые с узлами за спиной. Эти люди, увидев грузовик, останавливались, махали руками, кричали что-то. Грузовик с ревом повернул на Четвертую левую, чуть не сбив престарелую пару, катившую перед собой двухколесную

тележку с чемоданами, и остановился. Все сразу увидели павианов.

Павианы держались на Четвертой левой как у себя дома,— в джунглях или где они там живут. Загнув крючками хвосты, они ленивыми толпами бродили с тротуара на тротуар, весело прыгали по карнизам, раскачивались на фонарях, сосредоточенно искались, забравшись на рекламные тумбы, зычно перекликались, гримасничали, дрались и непринужденно занимались любовью. Шайка серебристых громил разносила продуктовый ларек, двое хвостатых хулиганов приставали к побелевшей от ужаса женщине, обмершей в подъезде, а какая-то мохнатая красотка, расположившись в будке регулировщика, кокетливо показывала Андрею язык. Теплый ветер нес вдоль улицы клубы пыли, перья из перин, листки бумаги, клочья шерсти и уже устоявшиеся запахи зверинца.

Андрей растерянно посмотрел на Фрица. Гейгер, сощурившись, с видом завзятого полководца озирал поле предстоящих действий. Шофер выключил двигатель, и наступившая тишина наполнилась дикими, совершенно не городскими звуками — ревом и мявом, низким бархатным курлыканьем, рыганьем, чавканьем, хрюканьем... Тут осажденная женщина вдруг завизжала изо всех сил, и Фриц приступил к делу.

— Выходи! — скомандовал он.— Живо, живо! Развернуться в цепь... В цепь, я сказал, а не в кучу! Вперед! Бейте их, гоните! Чтоб ни одной твари здесь не осталось! Бить по головам и по хребту! Не колоть, а бить! Вперед, живо! Не останавливаться, эй, вы, там!..

Андрей выскочил одним из первых. В цепь он разворачиваться не стал, а перехватив свою железную дрыну поудобнее, устремился прямо на помощь женщине. Хвостатые хулиганы, завидев его, залились дьявольским хохотом и вприпрыжку умчались вверх по улице, издевательски виляя омерзительными ягодицами. Женщина продолжала визжать, изо всех сил зажмурившись и сжав кулаки, но теперь ей ничего больше не грозило, и Андрей, оставив ее, направился к бандитам, которые грабили ларек.

Это были могучие, видавшие виды экземпляры, особенно один, с угольно-черным хвостом,— он сидел на бочке, запускал в нее по плечо длиннющую мохнатую лапу, извлекал

соленые огурцы и смачно хрупал ими, время от времени поплевывая на своих дружков, азартно отдиравших фанерную стену ларька. Заметив приближающегося Андрея, чернохвостый перестал жевать и плотоядно ухмыльнулся. Андрею эта ухмылка крайне не понравилась, но отступать было невозможно. Он взмахнул железным шестом, заорал: «Пшел!» и бросился вперед.

Чернохвостый оскалился еще пуще — клыки у него были, как у кашалота,— лениво соскочил с бочки, отошел на несколько шагов в сторону и принялся выкусывать под мышкой. «Пшел, зараза!» — заорал Андрей еще громче и с размаху ударил железом по бочке. Тогда чернохвостый метнулся в сторону и одним прыжком оказался на карнизе второго этажа. Ободренный трусостью противника, Андрей подскочил к ларьку и грохнул своим ломом по стенке. Стенка дала трещину, приятели чернохвостого прыснули в разные стороны. Поле боя очистилось, Андрей огляделся.

Боевые порядки Фрица распались. Бойцы растерянно бродили по опустевшей улице, заглядывали в подворотни, останавливались и, задрав головы, смотрели на павианов, усеявших карнизы домов. Вдалеке, вращая над головой палкой, пылил по мостовой давешний интеллигент, преследуя какую-то хромую обезьяну, неторопливо трусившую в двух шагах перед ним. Воевать было не с кем, даже Фриц растерялся. Он стоял возле грузовика, хмурился и кусал палец.

Притихшие было павианы, ощутив себя в безопасности, снова принялись обмениваться репликами, чесаться и заниматься любовью. Наиболее наглые спускались пониже, с явной руганью гримасничали и показывали зады. Андрей снова увидел чернохвостого: тот был уже на другой стороне улицы, сидел на фонаре и заливался смехом. К фонарю с угрожающим видом направился маленький чернявый человек, похожий на грека. Он размахнулся и изо всей силы запустил железным штырем в чернохвостого. Раздался звон и дребезг, посыпалось стекло, чернохвостый от неожиданности подскочил на метр, чуть не сорвался, но ловко ухватился хвостом, принял прежнюю позу и вдруг, выгнув спину, обдал грека струей жидкого кала. У Андрея подступило к горлу, и он отвернулся. Поражение

было полным, придумать что бы то ни было не представлялось возможным. Тогда Андрей подошел к Фрицу и спросил негромко:

— Ну, что будем делать?

— Хрен его знает,— злобно сказал Фриц.— Огнемет бы сюда...

— Может, кирпичей привезти? — спросил, подойдя, прыщавый парень в комбинезоне.— Я с кирпичного. Машина есть, в полчаса обернемся...

— Нет,— авторитетно произнес Фриц.— Кирпичи не годятся. Все стекла перебьем, а потом они же нас этими же кирпичами... Нет. Тут надо бы какую-нибудь пиротехнику... Ракеты, петарды... Эх, фосгену бы десяток баллонов!

— Откуда в городе петарды? — произнес презрительный бас.— А что касается фосгена, то, по-моему, уж лучше павианы...

Вокруг начальства начала собираться толпа. Один чернявый грек остался в стороне — изрыгая нечеловеческие проклятья, он отмывался у водоразборной колонки.

Краем глаза Андрей наблюдал, как чернохвостый и его приятели бочком-бочком снова подбираются к ларьку. Тут и там в окнах домов стали появляться бледные от пережитых страхов и красные от раздражения лица аборигенов, в основном женские. «Ну, чего вы там стали? — сердито кричали из окон.— Прогоните же их, вы, мужчины!.. Смотрите, ларек грабят!.. Мужчины, чего же вы стоите? Эй, ты, белобрысый! Командуй, что ли?.. Что вы стоите, как столбы?.. Господи, у меня дети плачут! Сделайте же так, чтобы мы могли выйти!.. Мужчины называется! Обезьян испугались!..» Мужчины угрюмо и пристыженно огрызались. Настроение было подавленное.

— Пожарников! Пожарников надо вызывать! — твердил презрительный бас.— С лестницами, с брандспойтами...

— Да бросьте вы, откуда у нас столько пожарников...

— Пожарники — на Главной.

— Может, факелы какие-нибудь запалить? Может, они огня испугаются!

— Черт! Какого дьявола у полицейских отобрали оружие? Пусть раздадут!

— А не двинуть ли нам, ребята, по домам? Я как подумаю, что у меня жена там сейчас одна...

— Это вы бросьте. У всех жены. Эти женщины — тоже чьи-то жены.

— Так-то оно так...

— Может, на крыши взобраться? С крыш их чем-нибудь... того...

— Чем ты их достанешь, балда? Палкой своей, что ли?

— У, гады! — заревел вдруг с ненавистью презрительный бас, разбежался и с натугой метнул свой лом в многострадальный ларек. Фанерную стенку пробило насквозь, шайка чернохвостого глянула с удивлением, помедлила и снова принялась за огурцы и картошку. Женщины в окнах издевательски захохотали.

— Ну что ж,— сказал кто-то рассудительно.— Во всяком случае, мы своим присутствием задерживаем их здесь, стесняем их, так сказать, действия. И то хорошо. Пока мы здесь, они побоятся продвинуться дальше в глубину...

Все принялись озираться и загомонили. Рассудительного быстро заставили замолчать. Во-первых, выяснилось, что павианы продвигаются-таки в глубину, невзирая на присутствие здесь рассудительного. А во-вторых, если бы даже они и не продвигались, то что же он, рассудительный,— собрался ночевать здесь? Жить здесь? Спать здесь? Какать и писать здесь?..

Тут послышалось неторопливое цоканье копыт, тележный скрип, все посмотрели вверх по улице и замолчали. По мостовой неторопливо приближалась пароконная телега. На телеге боком, свесив ноги в грубых кирзовых сапогах, дремал крупный мужчина в выгоревшей гимнастерке русского военного образца и в выгоревших же бриджах хэ-бэ. Склоненная голова мужчины была сплошь покрыта спутанным русым волосом. В огромных коричневых руках он вяло держал вожжи. Лошади — одна гнедая, другая серая в яблоках — переступали лениво и тоже, кажется, дремали на ходу.

— На рынок едет,— сказал кто-то почтительно.— Фермер.

— Да, ребята, фермерам горюшка мало — когда еще до них эта сволочь доберется...

— Между прочим, как представлю я себе павианов на посевах!..

Андрей с любопытством приглядывался. Фермера он видел впервые за все время своего пребывания в городе, хотя слыхал об этих людях немало — были они якобы угрюмы и диковаты, жили далеко в диких местах, вели там суровую борьбу с болотами и джунглями, в город наезжали только для сбыта продуктов своего хозяйства и, в отличие от горожан, никогда не меняли профессии.

Телега медленно приближалась, возница, вздрагивая опущенной головой, время от времени, не просыпаясь, чмокал губами, несильно дергая вожжи, и вдруг обезьяны, настроенные до того довольно миролюбиво, пришли в необычайное злобное возбуждение. То ли их раздражили лошади, то ли им надоело, наконец, присутствие посторонних толп на их улице, но они вдруг загомонили, заметались, засверкали клыками, а несколько самых решительных вскарабкались по водостокам на крышу и принялись ломать там черепицу.

Один из первых обломков угодил вознице прямо между лопаток. Фермер вздрогнул, выпрямился и широко раскрытыми налитыми глазами обвел окрестности. Первым, кого он заметил, был все тот же очкастый интеллигент, который устало возвращался из своей безрезультатной погони и одиноко маячил позади телеги. Не говоря ни слова, фермер бросил вожжи (лошади сразу остановились), соскочил с телеги и, разворачиваясь на ходу, ринулся было к обидчику, но тут другой кусок черепицы угодил интеллигенту по темечку. Интеллигент охнул, выронил шест и присел на корточки, обхватив руками голову. Фермер озадаченно остановился. Вокруг него на мостовую с треском падали куски черепицы, разлетаясь в оранжевую крошку.

— Отряд, в укрытие! — браво скомандовал Фриц и устремился в ближайшую подворотню. Все кинулись кто куда, врассыпную, Андрей прижался к стене в мертвой зоне и с интересом следил за фермером, который в полном обалдении озирался по сторонам и, по-видимому, ничегошеньки не соображал. Затуманенный взор его скользил по карнизам и водосточным трубам, облепленным беснующимися павианами, он

зажмурился и затряс головой, а потом снова широко раскрыл глаза и громко произнес:

— Ядрит'твою налево!

— В укрытие! — кричали ему со всех сторон.— Эй, борода! Сюда давай! По кумполу же получишь, обалдуй болотный!..

— Что же это такое? — громко вопросил фермер, обращаясь к интеллигенту, ползающему на карачках в поисках очков.— Это кто же такие здесь, вы не скажете?

— Обезьяны, разумеется,— сердито ответствовал интеллигент.— Неужели вы сами не видите, сударь?

— Ну и порядочки тут у вас,— ошеломленно произнес фермер, только теперь окончательно проснувшись.— И вечно вы тут что-нибудь выдумаете...

Этот сын болот был настроен теперь философски и добродушно. Он убедился, что нанесенная ему обида не может, собственно, считаться таковой, и теперь был просто несколько ошарашен зрелищем мохнатых орд, прыгающих по карнизам и фонарям. Он только укоризненно покачивал головой и скреб в бороде. Но тут интеллигент нашел, наконец, свои очки, подобрал шест и опрометью кинулся в укрытие, так что фермер остался посреди мостовой один-одинешенек — единственная и достаточно соблазнительная мишень для волосатых снайперов. Крайняя невыгодность такой позиции не замедлила себя обнаружить. Дюжина крупных осколков с треском лопнула у его ног, а обломки помельче забарабанили по патлатой голове и по плечам.

— Да что ж это такое! — взревел фермер. Новый осколок стукнул его в лоб. Фермер замолчал и стремглав бросился к своей телеге.

Это было как раз напротив Андрея, и Андрей подумал сначала, что фермер упадет сейчас боком на телегу, махнет по всем по двум и умчится к себе на болота, подальше от этого опасного места. Но бородач и не думал махать по всем по двум. Бормоча: «З-за-ра-зы, пр-роститутки...», он с лихорадочной поспешностью и очень ловко расшпиливал свой воз. Андрею за его широкой спиной не было видно, что он там делает, но женщины в доме напротив все видели — они вдруг разом завизжали, захлопнули окна и

скрылись. Андрей глазом моргнуть не успел. Бородач легко присел на корточки, и над его головой поднялся к крышам толстый, масляно отсвечивающий ствол в дырчатом металлическом кожухе.

— А-атставить! — заорал Фриц, и Андрей увидел, как он громадными прыжками несется откуда-то справа прямиком к телеге.

— Ну, гады, ну, заразы...— бормотал бородач, совершая какие-то замысловатые и очень сноровистые движения руками, сопровождавшиеся скользящими металлическими щелчками и позвякиваниями. Андрей весь напрягся в предчувствии грохота и огня, и обезьяны на крыше, видимо, тоже что-то почуяли. Они перестали швыряться, присели на хвосты и, беспокойно вертя собачьими головами, принялись трескуче обмениваться какими-то своими соображениями.

Но Фриц был уже рядом с телегой. Он схватил бородача за плечо и повелительно повторил:

— Отставить!

— Подожди! — досадливо бормотал бородач, дергая плечом.— Да подожди, дай я их срежу, сволочь хвостатую...

— Я приказал отставить! — гаркнул Фриц.

Тогда бородач поднял на него лицо и медленно поднялся сам.

— Чего такое? — спросил он, с неимоверным презрением растягивая слова. Ростом он был с Фрица, но заметно шире его и в плечах, и пониже спины.

— Откуда у вас оружие? — резко спросил Фриц.— Предъявите документы!

— Ах ты, сопляк! — с грозным удивлением сказал бородатый.— Документы ему! А вот этого не хочешь, вошь белобрысая?

Фриц не обратил внимания на неприличный жест. Продолжая глядеть бородачу прямо в глаза, он гаркнул на всю улицу:

— Румер! Воронин! Фрижа! Ко мне!

Услыхав свою фамилию, Андрей удивился, но тут же оттолкнулся от стены и неторопливо подошел к телеге. С другой стороны мелкой трусцой приближался приземистый вислоплечий Румер, в прошлом — профессиональный боксер,

и бежал со всех ног дружок Фрица, маленький, тощий Отто Фрижа, золотушный юноша с сильно оттопыренными ушами.

— Давайте, давайте...— недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти военные приготовления.

— Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы,— с ледяной вежливостью повторил Фриц.

— А шел бы ты в жопу,— лениво ответствовал бородач. Смотрел он теперь главным образом на Румера, а руку как бы невзначай положил на кнутовище весьма внушительного кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи.

— Ребята, ребята! — предостерегающе сказал Андрей.— Слушай, солдат, брось, не спорь, мы из мэрии...

— Барал я вашу мэрию,— ответствовал солдат, недобрым взглядом измеряя Румера с головы до пят.

— Ну, в чем тут дело? — осведомился тот негромко и очень хрипло.

— Вы отлично знаете,— сказал Фриц бородачу,— что оружие в черте города запрещено. Тем более — пулемет. Если у вас есть разрешение, прошу предъявить.

— А кто вы такие — разрешение у меня спрашивать? Что вы мне — полиция? Гестапо какое-нибудь?

— Мы — добровольный отряд самообороны.

Бородач ухмыльнулся.

— Ну и обороняйтесь, если вы из обороны, кто вам мешает?

Назревало нормальное, основательное, вдумчивое толковище. Отряд постепенно собирался вокруг телеги. Даже аборигены мужского пола вылезли из подъездов — кто с каминными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали бородача, зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклянное, поблескивающее из-под брезента. Принюхивались — фермер был окружен своеобразной атмосферой запахов: пот, чесночная колбаска, спиртное...

Андрей же с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую, пропотевшую под мышками гимнастерку с одинокой (и то незастегнутой) бронзовой пуговичкой на вороте, знакомо сдвинутую на правую бровь пилотку со следом пятиконечной звезды, могучие кирзовые

сапоги-говнодавы — только бородища, пожалуй, казалась здесь неуместной, не вписывалась в образ... И тут ему пришло в голову, что у Фрица все это должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на Фрица. Тот стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравши нос в презрительные морщины, и старался заледенить бородача взглядом серо-стальных, истинно арийских глаз.

— Нам разрешения не полагаются,— лениво говорил между тем бородач, поигрывая кнутом.— Нам вообще ни хрена не полагается, только кормить вас, дармоедов, нам полагается...

— Ну хорошо,— гундел в задних рядах бас.— А пулемет-то откуда?

— А что — пулемет? Смычка, значит, города и деревни. Я тебе — четверть первача, ты мне — пулемет, все честно-благородно...

— Ну нет,— гундел бас.— Пулемет все-таки — это вам не игрушка, не молотилка какая-нибудь там...

— А мне вот кажется,— вмешался рассудительный,— что фермерам как раз оружие разрешено!

— Оружие никому не разрешено! — пискнул Фрижа и сильно покраснел.

— Ну и глупо! — откликнулся рассудительный.

— Ясное дело, что глупо,— сказал бородач.— Посидел бы ты у нас на болотах, да ночью, да еще когда гон идет...

— У кого гон? — с живейшим интересом осведомился интеллигент, протискавшийся со своими очками в первый ряд.

— У кого надо, у того и гон,— ответил ему фермер пренебрежительно.

— Нет, нет, позвольте...— заторопился интеллигент.— Ведь я биолог, и мне до сих пор не удается...

— Помолчите,— сказал ему Фриц.— А вам,— продолжал он, обращаясь к бородачу,— я предлагаю следовать за мной. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю!

Взгляды их скрестились. И ведь надо же, почуял как-то прекрасный бородач, по каким-то одному ему заметным черточкам понял, с кем приходится иметь дело. Борода его

раскололась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно-тоненьким голосом:

— Млеко-яйки? Гитлер капут!

Ни черта не боялся он кровопролития — ни напрасного, никакого.

Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пунцовым, на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бросится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними, но Фриц сдержался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил:

— Это к делу не относится. Извольте следовать за мной.

— Да отстаньте вы от него, Гейгер! — сказал бас.— Ясно же, что это фермер. Виданное ли это дело — к фермерам приставать!

И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер, уедет и пулемет с собою заберет, не гангстер же он какой-нибудь, на самом-то деле.

— Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем,— добавил рассудительный.

Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, павианы вновь разгуливали, где хотели, и держались, как у себя в джунглях. Выяснилось также, что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда самообороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет и надо как-то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя павианов, не знакомых с правилами уличного движения.

— Да, господа мои,— сказал кто-то.— Видимо, придется нам и к этому приспособиться. По домам, что ли, командир?

Фриц угрюмо исподлобья оглядывал улицу.

— Ну что ж...— произнес он обыкновенным человеческим голосом.— По домам так по домам.

Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потянулся за ним. Чиркали спички и зажигалки, кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить... Рассудительный и тут нашелся: сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки. Толковище вокруг телеги рассосалось. Остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил себе выяснить, у кого же все-таки на болотах бывает гон.

Бородач, разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснял, что гон на болотах бывает, брат, у краснух, а краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов? Ну вот, только шерстью обросшие. Красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет, тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки, а во-вторых, ничего во время этого дела не замечают — дом не дом, сарай не сарай, все разносят в щепки...

Глаза у интеллигента горели, он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопыренными пальцами. Фриц позвал из грузовика: «Эй, вы едете или нет? Андрей!» Интеллигент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы, жалобно застонал и принялся бормотать извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убежал. А Андрей остался.

Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде приступа ностальгии. И не то чтобы он соскучился по русской речи — ведь все кругом говорили по-русски; и не то чтобы этот бородач казался ему воплощением родины, вовсе нет. Но было в нем что-то такое, по чему Андрей основательно истосковался, что-то такое, чего он не мог получить ни от строгого язвительного Дональда, ни от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого Кэнси, ни от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого. Ни, тем более, от Фрица, мужика по-своему замечательного, но какникак вчерашнего смертельного врага... Андрей и не

подозревал, что так истосковался по этому загадочному «чему-то».

Бородач искоса взглянул на него и спросил:

— Земляк, что ли?

— Ленинградец,— сказал Андрей, ощущая неловкость, и, чтобы затушевать эту неловкость, достал сигареты и предложил бородачу.

— Вон как...— сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки.— Земляки, выходит. А я, браток, вологодский. Череповец — слыхал? Охцы-мохцы Череповцы...

— А как же! — страшно обрадовался Андрей.— Там же сейчас металлургический комбинат отгрохали, огромнейший заводище!

— Ой ты? — сказал бородач довольно равнодушно.— И его, значит, тоже в оборот взяли... Ну ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то?

Андрей назвался.

— А я, видишь ты, крестьянствую,— продолжал бородач.— Фермер, по-здешнему. Юрий Константинович, фамилия — Давыдов. Выпить хочешь?

Андрей замялся.

— Рановато как будто...— сказал он.

— Ну, может, и рановато,— согласился Юрий Константинович.— Мне ведь еще на рынок надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и — прямо в мастерские, мне там давно пулемет обещали. Ну, то, се, опробовали машинку, сгрузил я им, значит, окорока, четверть самогону, гляжу — солнце выключили...— Рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз, разобрал вожжи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом.

— Да-а,— продолжал Юрий Константинович.— Выключили тут, значит, солнце. А он мне и говорит: «пойдем, говорит, я тут одно место знаю». Поехали мы туда, выпили, закусили. С водкой сам знаешь в городе как, а у меня самогон. Они, видишь ты, музычку ставят, а я выпивку. Ну, бабы, конечно...— Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний, затем продолжал, понизив голос: — У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Есть, понимаешь, одна вдова, ну, ходим к ней... у ней муж в запрошлом году утонул... Ну и знаешь

же, как получается,— сходить-то сходишь, деваться некуда, а потом — то ты ей молотилку почини, то с урожаем подсоби, то культиватор... А, з-зараза! — Он вытянул кнутом павиана, увязавшегося за телегой.— В общем, житуха у нас там, браток, приближенная к боевым условиям. Без оружия никак нельзя. А кто этот тут у вас, белобрысый? Немец?

— Немец,— сказал Андрей.— Бывший унтер-офицер, под Кенигсбергом попал в плен, а из плена — сюда...

— То-то я смотрю — морда противная,— сказал Давыдов.— Они, глистоперы, меня до самой Москвы гнали, в госпиталь загнали, ползадницы начисто снесли. Ну, а потом я им тоже дал. Танкист я, понял? В последний раз уже под Прагой горел...— Он опять покрутил бородой.— Ну ты скажи, какая судьба! Надо же, где встретились!

— Да нет, он мужик ничего, деловой,— сказал Андрей.— И смелый. Выпендриваться, правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для Эксперимента он, по-моему, очень полезный человек. Организатор.

Давыдов некоторое время молчал, почмокивая на лошадей.

— Приезжает это к нам на болото один на прошлой неделе,— заговорил он наконец.— Ну, собрались мы у Ковальского — это тоже фермер, поляк, километрах в десяти от меня, дом у него хороший, большой. Да-а... Собрались, значит. Ну, и этот начинает нам баки вертеть: есть ли у нас правильное понимание задач Эксперимента. А сам он из мэрии, из сельхозотдела. Ну, и мы видим, конечно, что ведет он к тому, что ежели, скажем, есть у нас правильное понимание, то хорошо бы, значит, налог повысить... А ты женатый? — спросил он вдруг.

— Нет,— сказал Андрей.

— Я это к тому, что переночевать бы мне сегодня где-нибудь. У меня еще завтра утром здесь одно дело назначено.

— Ну конечно! — сказал Андрей.— Какой может быть разговор? Приезжайте, ночуйте, места у меня сколько угодно, буду только рад...

— Ну и я буду рад,— сказал Давыдов, улыбаясь.— Какникак, а земляки все-таки.

— Адрес запишите,— сказал Андрей.— Есть у вас на чем записать?

— Говори так,— сказал Давыдов.— Я запомню.

— Адрес простой: улица Главная, дом сто пять, квартира шестнадцать. Со двора. Если меня вдруг не будет, загляните к дворнику, там китаец есть такой, Ван, я у него ключ оставлю.

Очень Давыдов нравился Андрею, хотя, по-видимому, взгляды их не во всем совпадали.

— Ты какого года? — спросил Давыдов.

— Двадцать восьмого.

— А из России когда?

— В пятьдесят первом. Всего четыре месяца назад.

— Ага. А я из России в сорок седьмом сюда подался... Скажи-ка ты мне, Андрюха, как там на деревне — лучше стало?

— Ну конечно! — сказал Андрей.— Все восстановили, цены каждый год снижают... Сам я в деревне, правда, после войны не был, но если судить по кино, по книгам, живут теперь в деревне богато.

— Гм... Кино,— с сомнением произнес Давыдов.— Кино, понимаешь, это такое дело...

— Нет, ну почему же... В городе, в магазинах-то все есть. Карточки отменили давно. Откуда берется? Из деревни ведь...

— Это точно,— сказал Давыдов.— Из деревни... А я, понимаешь, пришел с фронта — жены нет, померла. Сын без вести пропал. На деревне — пустота. Ладно, думаю, это мы поправим. Войну кто выиграл? Мы! Значит, теперь наша сила. Предлагают мне председателем. Согласился. На деревне одни бабы, так что и жениться не надо было. Сорок шестой кое-как протянули, ну, думаю, теперь полегче станет...— Он вдруг замолчал и молчал долго, словно бы позабыв про Андрея.— Счастье для всего человечества! — проговорил он неожиданно.— Ты как — в это веришь?

— Конечно.

— Вот и я поверил. Нет, думаю, деревня — это дело мертвое. Это ошибка какая-то, думаю. До войны — за грудь, после войны — за горло. Нет, думаю, так они нас задавят.

И жизнь ведь, понимаешь, беспросветная, как генеральские погоны. Я уж было пить начал, а тут — Эксперимент.— Он тяжело вздохнул.— Значит, ты полагаешь, получится у них Эксперимент?

— Почему это — у них? У нас!

— Ну, пускай у нас. Получится или нет?

— Должен получиться,— сказал Андрей твердо.— Все зависит только от нас.

— Что от нас зависит — мы делаем. Там делали, здесь делаем... Вообще-то, конечно, грех жаловаться. Жизнь хотя и тяжелая, но не в пример. Главное — сам ты, сам, понял? А если приедет какой-нибудь — уронишь его, бывает, в нужник, и вася-кот!.. Партийный? — спросил он вдруг.

— Комсомолец. Вы, Юрий Константинович, что-то уж больно мрачно настроены. Эксперимент есть Эксперимент. Трудно, ошибок много, но иначе, наверное, и невозможно. Каждый — на своем посту, каждый — все, что может.

— А ты на каком же посту?

— Мусорщик,— гордо сказал Андрей.

— Большой пост,— сказал Давыдов.— А специальность у тебя есть?

— Специальность у меня очень специальная,— сказал Андрей.— Звездный астроном.

Он произнес это стеснительно и искоса поглядел на Давыдова, ожидая насмешки, но Давыдов, наоборот, страшно заинтересовался.

— В сам-деле, астроном? Слушай, браток, так ты ж должен знать, куда это нас занесло. Планета это какая-нибудь или, скажем, звезда? У нас, на болотах то есть, каждый вечер по этому вопросу сцепляются — до драк доходит, ей-богу! Насосутся самогонки и давай, кто во что горазд... Есть такие, знаешь, что считают: мы здесь вроде как в аквариуме сидим — тут же, на Земле. Здоровенный такой аквариум, только в нем вместо рыб — люди. Ей-богу! А ты как считаешь — с научной точки зрения?

Андрей почесал в затылке и засмеялся. У него в квартире по этому же поводу дело тоже доходило чуть ли не до драк — и без всякой самогонки. А насчет аквариума буквально теми

же словами, хихикая и брызгая, не раз распространялся Изя Кацман.

— Как тебе, понимаешь...— начал он.— Сложно все это. Непонятно. А с научной точки зрения я тебе только одно скажу: вряд ли это другая планета, и тем более — звезда. По-моему, все здесь искусственное, и к астрономии никакого отношения не имеет.

Давыдов покивал.

— Аквариум,— сказал он убежденно.— И солнце здесь вроде лампочки, и стена эта желтая до небес... Слушай-ка, вот этим проулком я на рынок попаду или нет?

— Попадешь,— сказал Андрей.— Адрес мой не забыл?

— Не забыл, вечером жди...

Давыдов хлестнул по лошадям, присвистнул, и телега, грохоча, скрылась в проулке. Андрей направился домой. Вот славный мужик, думал он растроганно. Солдат! В Эксперимент он, конечно, не пошел, а от трудностей убежал, но тут я ему не судья. Он — раненый, хозяйство было разрушено, мог он дрогнуть?.. Да и здесь, видно, житье у него тоже не сахар. Да и не один он здесь такой, дрогнувший, много здесь таких...

По Главной уже вовсю разгуливали павианы. То ли Андрей к ним пригляделся, то ли они сами как-то переменились, но они уже вовсе не казались такими наглыми или, тем более, страшными, как несколько часов назад. Они мирно устраивались кучками на солнцепеке, тараторили, искались, а когда мимо них проходили люди, протягивали мохнатые лапы с черными ладошками и просительно помаргивали слезящимися глазами. Было похоже, как будто в городе объявилось вдруг огромное количество нищих.

У ворот своего дома Андрей увидел Вана. Ван сидел на тумбе, печально сгорбившись, опустив между колен натруженные руки.

— Баки потеряли? — спросил он, не поднимая головы.— Посмотри, что делается...

Андрей заглянул в подворотню и ужаснулся. Навалено было, казалось, до самой лампочки. Только к двери дворницкой вела узенькая тропиночка.

— Господи! — сказал Андрей и засуетился.— Я сейчас... подожди... сейчас сбегаю...— Он судорожно пытался

припомнить, по каким улицам они с Дональдом гнали вчера ночью и в каком месте беженцы вышвырнули баки из кузова.

— Не надо,— безнадежным голосом сказал Ван.— Уже приезжала комиссия. Переписала номера баков, обещали к вечеру привезти. К вечеру они, конечно, не привезут, но может быть, хотя бы к утру, а?

— Ты понимаешь, Ван,— сказал Андрей,— это был такой ад кромешный, стыдно вспоминать...

— Я знаю. Мне Дональд рассказал, как это было.

— Дональд уже дома? — оживился Андрей.

— Да. Он сказал, чтобы я к нему никого не пускал. Он сказал, что у него болят зубы. Я дал ему бутылку водки, и он ушел.

— Вот как...— проговорил Андрей, снова оглядывая кучи мусора.

И вдруг ему до такой степени, невыносимо, почти до истерики, до крика, захотелось помыться, сбросить вонючий комбинезон, забыть о том, что завтра придется лопатой разворачивать все это добро... Все вокруг стало липким и зловонным, и Андрей, не говоря больше ни слова, бросился через двор, на свою лестницу, наверх, через три ступеньки, дрожа от нетерпения, добрался до квартиры, вытащил из-под резинового коврика ключ, распахнул дверь, и душистая одеколонная прохлада приняла его в свои ласковые объятия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прежде всего он разделся. Догола. Скомкал комбинезон и белье, швырнул все в ящик с грязным барахлом. Грязь в грязь. Затем, стоя голышом посередине кухни, он огляделся и содрогнулся от нового отвращения. Кухня была завалена грязной посудой. В углах громоздились тарелки, затянутые голубоватой паутиной плесени, милосердно скрывавшей какие-то черные комья. Стол был заставлен мутными захватанными бокалами, стаканами и банками из-под консервированных фруктов. Мойка была забита чашками и блюдцами.

А на табуретках тихо смердели потемневшие кастрюли, засаленные сковородки, дуршлаги и котелки. Он приблизился к мойке и пустил воду. О счастье! Вода была горячая! И он принялся за дело.

Перемывши всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиазмом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все пять комнат его не хватило. Он ограничился кухней, столовой и спальней. В остальные комнаты он только заглянул с некоторым недоумением — никак он не мог привыкнуть и понять, зачем одному человеку столько комнат, да еще таких безобразно огромных и затхлых. Он поплотнее прикрыл двери туда и заставил их стульями.

Теперь надо было бы смотаться в лавку, купить что-нибудь на вечер. Давыдов придет, да и из обычной кодлы кто-нибудь завалится наверняка... Но сначала он решил помыться. Вода шла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели свежие простыни. А когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие накрахмаленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что взвыли дурные пружины и затрещало старое полированное дерево.

Да, это было прекрасно! Это было прохладно, душисто, скрипуче, и справа, в пределах досягаемости, обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева, в тех же пределах,— полочка с избранными детективами. Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли, но это уже были совершенные пустяки. Он выбрал «Десять негритят» Агаты Кристи, закурил и принялся читать.

Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла тишина, только вода, обильно капавшая из неисправных кранов, создавала странный звуковой узор. Кроме того, вокруг было чисто, и это тоже было странно и в то же время неизъяснимо приятно. Потом в дверь постучали. Ему представился Давыдов, могучий, загорелый, пахнущий сеном и свежим перегаром, как он стоит

на лестничной площадке, держа лошадей под уздцы, с бутылкой самогона наготове. Снова постучали, и он проснулся окончательно.

— Иду! — заорал он, вскочил и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их. Резинка была слабая, и штаны пришлось придерживать сбоку.

Противу ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата, не ржали кони и не булькала жидкость. Заранее улыбаясь, Андрей отодвинул засов, распахнул дверь, крякнул и отступил на шаг, вцепившись в проклятую резинку и второй рукой тоже. Перед ним стояла давешняя Сельма Нагель, новенькая из восемнадцатого номера.

— Сигареты у вас не найдется? — спросила она без всякой приветливости.

— Да... пожалуйста... заходите...— пробормотал Андрей, пятясь.

Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюмерии. Она прошла в столовую, а он захлопнул дверь и с отчаянным криком «Одну минуточку, подождите, я сейчас!» бросился в спальню. Ай-яй-яй, говорил он себе. Ай-яй-яй, как же это я так... Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицепсами и трицепсами — даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо, он полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю застиранную спортивную куртку с переплетенными буквами «ЛУ» на спине и на груди. В таком виде он и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель: грудь колесом, плечи разведены, походка с оттяжечкой, в протянутой руке — пачка сигарет.

Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, чиркнула зажигалкой и закурила. На Андрея она даже и не смотрела, и вид у нее был такой, словно на все на свете ей наплевать. Вообще-то при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у нее было скорее неправильное и грубоватое даже, нос коротковат и вздернут, скулы слишком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Однако

ножки ее, основательно обнаженные, были превыше всех и всяческих похвал. Остальное, к сожалению, разглядеть было невозможно — черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер. Да еще с таким ошейником. Как у водолаза.

Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую прекрасную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил.

— Меня зовут Андрей,— сказал он.

Она обратила свой равнодушный взгляд на него. И глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные.

— Андрей,— повторила она.— Поляк?

— Нет, русский. А вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции.

Она покивала.

— Из Швеции... Так это вас вчера в участке лупили?

Андрей опешил.

— В каком участке? Никто меня не лупил.

— Слушай, Андрей,— сказала она.— Почему у меня здесь машинка не работает? — Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка.— На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа.

Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник.

— Вот это да! — пробормотал он.— Неужели детекторный?

— Откуда я знаю? — Она отобрала у него приемник, раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание.— Не работает и все. А ты что, никогда таких не видел?

Андрей помотал головой. Потом сказал:

— Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть.

— Господи,— сказала Сельма.— А что ж тогда здесь делать? И ящика нет...

— Какого ящика?

— Ну, телика... Ти-ви!..

— А... Да, это у нас планируется не скоро.

— Ну и тоска!..

— Можно патефон завести,— предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. Действительно, что это такое — ни радио, ни телевидения, ни кино...

— Патефон? Это что еще такое?

— Не знаешь, что такое патефон? — удивился Андрей.— Ну, граммофон. Ставишь пластинку...

— А, проигрыватель...— сказала Сельма без всякого воодушевления.— А магнитофона нет?

— Вот еще,— сказал Андрей.— Что я тебе — радиоузел, что ли?

— Дикий ты какой-то,— объявила Сельма Нагель.— Одно слово — русский. Ну ладно, граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?

Андрей рассердился.

— Я сюда не мотоциклы гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты, интересно, что здесь собираешься делать?

— Работать он приехал...— сказала Сельма.— Ты скажи, за что тебя в участке лупили? За наркоту?

— Да не лупили меня в участке! Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого не бьют, это тебе не Швеция.

Сельма присвистнула.

— Ну-ну,— сказала она насмешливо.— Значит, мне померещилось.

Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно пританцовывая, прошлась по комнате.

— А кто тут до тебя жил? — спросила она, останавливаясь перед огромным овальным портретом какой-то сиреневой дамы с болонкой на коленях.— У меня, например,— явный сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах — использованные презервативы, а в шкафу — целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли он лизунчик...

— Врешь,— сказал Андрей, обмирая.— Врешь ты все, Сельма Нагель.

— Зачем это мне врать? — удивилась Сельма.— А кто жил? Не знаешь?

— Мэр! Мэр нынешний там жил, понятно?

— А,— сказала Сельма равнодушно.— Понятно.

— Что — понятно? — сказал Андрей.— Что это тебе понятно?! — вскричал он, накаляясь.— Что ты вообще можешь здесь понимать?! — Он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это надо было пережить внутри себя.

— Лет ему, наверное, под пятьдесят,— с видом знатока объявила Сельма.— Старость на носу, бесится человек. Климакс! — Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с болонкой.

Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр был обширный, представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он прекрасно говорил на собраниях городского актива — о воздержании, о гордом аскетизме, о силе духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной площадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук его, мэра, пишущей машинки...

— Не верит! — сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет, она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея.— Не веришь — не надо. Мне вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?

— Нанять...— тупо повторил Андрей.— Фиг тебе! — сказал он злорадно.— Сама отмоешь. Тут белоручкам делать нечего.

Некоторое время они молча разглядывали друг друга со взаимной неприязнью. Потом Сельма пробормотала, отведя глаза:

— Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?

— Ничего особенного,— сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо было помочь. Он уже навидался тут новичков. Всяких.— Что все, то и ты. Пойдешь на

биржу, заполнишь книжку, бросишь в приемник... Там у нас установлена распределяющая машина. Ты кем была на том свете?

— Фокстейлером,— сказала Сельма.

— Кем?

— Ну, как тебе объяснить... Раз-два, ножки врозь...

Андрей опять обмер. Врет, пронеслось у него в голове. Все ведь брешет, девка. Идиота из меня делает.

— И хорошо зарабатывала? — саркастически спросил он.

— Дурак,— сказала она почти ласково.— Это же не для денег. Просто интересно. Скука же...

— Как же так? — сказал Андрей горестно.— Куда же твои родители смотрели? Ты же молодая, тебе бы учиться и учиться...

— Зачем? — спросила Сельма.

— Как — зачем? В люди вышла бы... Инженером бы стала, учителем... Могла бы вступить в компартию, боролась бы за социализм...

— Боже мой, боже мой...— хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в кресло и уронила лицо в ладони. Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и чудовищную свою ответственность.

— Ну что ты, что ты...— сказал он, неловко придвигаясь к ней.— Что было, то было. Все. Не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что так у тебя получилось: здесь ты все наверстаешь. У меня полно друзей, все — настоящие люди...— Он вспомнил Изю и сморщился.— Поможем. Вместе будем драться. Здесь ведь дела до черта! Беспорядка много, неразберихи, просто дряни — каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько сюда всякого барахла набежало! Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спросить: ну чего тебя сюда принесло, на кой ляд ты здесь кому нужен?..

Он совсем было уже решился по-дружески, даже по-братски, потрепать Сельму по плечу, но тут она спросила, не отрывая ладоней от лица:

— Значит, не все здесь такие?

— Какие?

— Как ты. Идиоты.

— Ну знаешь!

Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. Вот ведь буржуйка. Шлюха, а туда же. Интересно ей, видите ли... Впрочем, прямота Сельмы ему даже импонировала. Прямота всегда хороша. Лицом к лицу, через баррикаду. Это не то что Изя, скажем: ни нашим ни вашим — скользкий, как червяк, и везде просочится...

Сельма хихикнула у него за спиной.

— Ну чего забегал? — сказала она.— Я же не виновата, что ты такой идиотик. Ну, извини.

Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью воздух.

— Вот что,— сказал он.— Ты, Сельма, очень запущенный человек, и отмывать тебя придется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто тебя до такого довел, у меня да — личные счеты. А с тобой — никаких. Ты здесь — значит, ты наш товарищ. Будешь работать хорошо — будем хорошими друзьями. А работать хорошо — придется. Здесь у нас, знаешь, как в армии: не умеешь — научим, не хочешь — заставим! — Ему очень нравилось, как он говорит — так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсомольского вожака факультета. Тут он обнаружил, что Сельма, наконец, отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством. Он одобряюще подмигнул ей.— Да-да, заставим, а ты как думала? У нас, бывало, на стройку уж такие сачки приезжали — поначалу только и норовят в ларек да в лесок. И ничего! Как миленькие! Труд, знаешь, даже обезьяну очеловечивает...

— А здесь у вас всегда обезьяны по улицам бродят? — спросила Сельма.

— Нет,— сказал Андрей, помрачнев.— Только с сегодняшнего дня. В честь твоего прибытия.

— Очеловечивать их будете? — вкрадчиво осведомилась Сельма.

Андрей через силу ухмыльнулся.

— Это уж как придется,— сказал он.— Может быть, действительно придется очеловечивать. Эксперимент есть Эксперимент.

При всей издевательской сумасбродности мысль эта показалась ему не лишенной какого-то рационального зерна. Надо будет вечером этот вопрос поднять, мелькнуло у него в голове. Но тут же у него возникла и другая мысль.

— Ты что вечером собираешься делать? — спросил он.

— Не знаю. Как придется. А что здесь у вас делают?

Раздался стук в дверь. Андрей посмотрел на часы. Было уже семь, сборище начиналось.

— Сегодня ты — у меня,— сказал он Сельме решительно. С этим разболтанным существом действовать можно было только решительно.— Веселья особенного не обещаю, но с интересными людьми познакомишься. Идет?

Сельма пожала плечиком и стала оправлять волосы. Андрей пошел открывать. В дверь стучали уже каблуком. Это был Изя Кацман.

— У тебя что — женщина? — спросил он прямо с порога.— Когда ты, наконец, звонок поставишь, хотел бы я знать?

Как всегда, в первые минуты появления на сборище Изя был аккуратно причесан, при крахмальном воротничке и при сверкающих манжетах. Узкий отглаженный галстук с высокой точностью располагался на линии нос — пупок. Но все равно. Андрей предпочел бы сейчас увидеть Дональда или Кэнси.

— Заходи, заходи, трепло,— сказал он.— Что это с тобой сегодня — раньше всех заявился?

— А я знал, что у тебя женщина,— ответствовал Изя, потирая руки и хихикая,— и поспешил взглянуть.

Они вошли в столовую, и Изя широкими шагами устремился к Сельме.

— Изя Кацман,— представился он бархатным голосом.— Мусорщик.

— Сельма Нагель,— лениво отозвалась Сельма, протягивая руку.— Шлюха.

Изя даже закряхтел от наслаждения и бережно поцеловал протянутую руку.

— Между прочим! — сказал он, поворачиваясь к Андрею и снова к Сельме.— Вы слыхали? Совет районных уполномоченных рассматривает проект решения,— он поднял палец и повысил голос,— «Об упорядочении положения, создавшегося в связи с наличием в городской черте больших скоплений

собакоголовых обезьян»... Уф! Предлагается всех обезьян зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками и бляхами с собственными именами, а затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь и будут за них ответственны! — Он захихикал, захрюкал и с протяжными тоненькими стонами принялся бить кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой.— Грандиозно! Все дела заброшены, на всех заводах срочно изготовляют ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою опеку трех половозрелых павианов и призывает население последовать его примеру. Ты возьмешь себе павианиху, Андрей? Сельма будет против, но таково требование Эксперимента! Как известно, Эксперимент есть Эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма, что Эксперимент есть именно эксперимент — не экскремент, не экспонент, не перманент, а именно Эксперимент?..

Андрей сказал, с трудом прорвавшись сквозь бульканье и стоны:

— Ну пошел, пошел трепаться!..

Этого он больше всего опасался. На свежего человека такой вот нигилизм и наплевизм должен был производить самое разрушительное действие. Конечно, куда как заманчиво бродить вот так из дома в дом, хихикать и оплевывать все направо и налево, вместо того чтобы, стиснув зубы...

Изя перестал хихикать и возбужденно прошелся по комнате.

— Может быть, это и трепотня,— сказал он.— Возможно. Но ты, Андрей, как всегда ни черта не понимаешь в психологии руководства. В чем, по-твоему, назначение руководства?

— Руководить! — сказал Андрей, принимая вызов.— Руководить, а не трепаться, между прочим, и не болтать. Координировать действия граждан и организаций...

— Стоп! Координировать действия — с какой целью? Что является конечной целью этого координирования?

Андрей пожал плечами.

— Это же элементарно. Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для движения вперед...

— О! — Изя опять вскинул палец. Рот его приоткрылся, глаза выкатились.— О! — повторил он и снова замолчал.

Сельма смотрела на него с восхищением.— Порядок! — провозгласил Изя.— Порядок! — глаза его выкатились еще больше.— А теперь представь, что во вверенном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать их ты не можешь — кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь — не хватает жратвы, резервов. Павианы попрошайничают на улицах — вопиющий беспорядок: у нас нет и не может быть попрошаек! Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен. Какой отсюда напрашивается вывод?

— Ну, уж во всяком случае, не ошейники надевать,— сказал Андрей.

— Правильно! — сказал Изя с одобрением.— Конечно, не ошейники надевать. Первый же напрашивающийся деловой вывод: скрыть существование павианов. Сделать вид, что их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей простоте идея: упорядочить присутствие павианов! Хаос, безобразие узаконить и сделать таким образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра! Вместо нищенствующих и хулиганящих стад и шаек — милые домашние животные. Мы же все любим животных! Королева Виктория любила животных. Дарвин любил животных. Даже Берия, говорят, любил некоторых животных, не говоря уже о Гитлере...

— Наш король Густав тоже любит животных,— вставила Сельма.— У него — кошки.

— Прекрасно! — воскликнул Изя, ударяя кулаком в ладонь.— У короля Густава — кошки, а у Андрея Воронина — персональный павиан. А если он очень любит животных, то даже два павиана...

Андрей плюнул и отправился на кухню проверить запасы. Пока он копался в шкафчиках, разворачивая и осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемневшими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел и слышался звонкий смех Сельмы, а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи.

Жрать было нечего: куль картошки, начавшей уже прорастать, сомнительная банка с кильками и совершенно каменной консистенции буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было — как раз до получки и при условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а, наоборот, похаживать в гости. В гроб они меня загонят, подумал Андрей мрачно. К черту, хватит. Всех выпотрошу. Что я им — кухмистерская, что ли? Павианы!

Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать. Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный рот — до ушей, сучка и сучка, а Изя разглагольствует перед нею, размахивая павианьими лапами, и уже никакого лоска в нем нет: узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а манжеты — серые.

Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком — рядовым того же вермахта Отто Фрижей.

— Явились? — приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой.

Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немецкого унтер-офицера и окаменел лицом, а Отто, человек мягкий и неопределенных душевных очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся.

— Что за тон? — холодно осведомился Фриц.— Может быть, нам уйти?

— Ты жрать принес что-нибудь? — спросил Андрей.

Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью.

— Жрать? — переспросил он.— М-м, как тебе сказать...— И он вопросительно посмотрел на Отто. Отто сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую бутылку и протянул ее Андрею. Как пропуск — этикеткой наружу.

— Ну, это ладно...— смягчаясь сказал Андрей и взял бутылку.— Но учтите, ребята, жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы?

— Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом? — осведомился Фриц. Голова его была слегка повернута ухом вперед: он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой.

Андрей впустил их в прихожую и сказал:

— Деньги. Деньги на бочку!

— Даже здесь нам не удается избежать репараций, Отто,— сказал Фриц, раскрывая портмоне.— На! — Он сунул Андрею несколько бумажек.— Дай Отто какую-нибудь кошелку и скажи, что купить,— он сбегает.

— Погоди, не так быстро,— сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каблуки, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей оттащил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем, кажется, и не заметил,— он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот. Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получалось не так, чтобы уж очень много, но и не мало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла, она была весела. Фриц закуривал ей сигаретку, Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот, а Отто, красный от напряженности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди комнаты по стойке смирно.

Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: «Без тебя, без тебя обойдутся...» Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне, он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее мусор в ведро (чего Андрей никогда не догадался бы сделать), быстро и аккуратно выстелил днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в прошлом месяце, со словами: «Может, томатный соус попадется...» уложил в кошелку банку из-под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про запас («Вдруг у них тары не будет...»), так что вся деятельность Андрея свелась к перекладыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и заунывному: «Да ладно тебе... Да будет... Ну пошли, что ли...»

— А ты тоже пойдешь? — благоговейно удивился Отто, закончив сборы.

— Да, а что?

— Да я и сам могу,— сказал Отто.

— Ну, сам, сам... Вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, я — в кассу...

— Это верно,— сказал Отто.— Да. Конечно.

Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана — бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь, но оказалось — ничего, висит на пожарной лестнице и скалит клыки.

— Объедков бы ему дать,— сказал Андрей задумчиво.— У меня там объедков для целого стада...

— Сходить? — с готовностью предложил Отто.

Андрей только посмотрел на него и, сказавши: «Вольно!», пошел дальше. На лестнице уже повонивало. Вообще-то здесь и раньше всегда повонивало, но теперь появился некий новый душок, и, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник, и не один.

— Да, прибавится Вану работенки,— сказал Андрей.— Не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь?

— Товарищем министра,— уныло ответствовал Отто.— Третий день уже.

— Какого министра? — поинтересовался Андрей.

— Этого... профессионального обучения.

— Тяжело?

— Ничего не понимаю,— тоскливо сказал Отто.— Бумаг очень много, приказы, докладные записки... сметы, бюджет... И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у друга спрашивают... Подожди, ты куда?

— В магазин.

— Нет. Пойдем к Гофштаттеру. У него и дешевле, и немец все-таки...

Пошли к Гофштаттеру. Гофштаттер держал на углу Главной и Староперсидского некую помесь зеленной с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил несолоно хлебавши: продуктов у Гофштаттера было мало, и он сам выбирал себе покупателей.

Магазин был пуст, на полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и Гофштаттер, поднявши от кассы одутловатое бледное лицо, сейчас же сказал: «Закрываю». Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было, конечно, отложено. Отто и Гофштаттер удалились в недра заведения, где сейчас же зашуршали и заскрипели передвигаемые ящики, затарахтела ссыпаемая картошка, звякнуло наполненное стекло, зазвучали приглушенные голоса...

Андрей от нечего делать озирался. Да, частная торговлишка господина Гофштаттера представляла собой жалкое зрелище. И весы, конечно, не прошли соответствующего контроля, и с санитарией было неважно. Впрочем, это меня не касается, подумал Андрей. Когда все будет устроено как надо, эти гофштаттеры попросту вылетят в трубу. Да они, можно сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого-каждого он уже не в силах обслуживать. Ишь замаскировался, хрену везде понаставил. Надо бы на него Кэнси напустить — развел тут черный рынок, националист паршивый. «Только для немцев»...

Отто выглянул из недр и шепотом сказал: «Деньги, быстренько!» Андрей торопливо передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук, остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилавком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила лунообразная физиономия Гофштаттера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться, а Гофштаттер добродушно приговаривал: «Заходите, заходите, молодые люди, всегда вам рад, всегда рад истинным немцам... А господину Гейгеру особенный привет... На следующей неделе мне обещали подвезти немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему оставлю килограмма три...» — «Так точно, господин Гофштаттер,— откликался Отто,— все будет передано в точности, не беспокойтесь, господин Гофштаттер... И не забудьте, пожалуйста, передать большой привет Эльзе — от нас и в особенности от господина Гейгера...» Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто

тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых бурно выпирал наружу всякий там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка.

Когда они свернули за угол, Отто поставил корзину на тротуар, вытащил большой клетчатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать лицо, приговаривая:

— Подожди... Передохнуть надо... Ф-фу...

Андрей закурил сигарету и протянул пачку Отто.

— Где такую морковочку брали? — осведомилась, проходя мимо, женщина в кожаном мужском пальто.

— Все, все,— поспешно сказал ей Отто.— Последнюю взяли. Там уже закрыто... Черт, умаял меня лысый дьявол...— сообщил он Андрею.— Чего я ему там плел! Оторвет мне Фриц башку, когда узнает... Да я и не помню уже, что я там плел...

Андрей ничего не понимал, и Отто вкратце объяснил ему ситуацию.

Господин Гофштаттер, зеленщик из Эрфурта, всю жизнь был преисполнен надежд, и всю жизнь ему не везло. Когда в тридцать втором году какой-то еврей пустил его по миру, открыв напротив большой современный зеленной магазин, Гофштаттер осознал себя истинным немцем и вступил в штурмовой отряд. В штурмовом отряде он было сделал карьеру и в тридцать четвертом году уже собственноручно бил упомянутого еврея по морде и совсем было подобрался к его предприятию, но тут грянуло разоблачение Рема, и Гофштаттера вычистили. А он к тому времени был уже женат, и уже подрастала у него очаровательная белокурая Эльза. Несколько лет он кое-как перебивался, потом его взяли в армию, и он начал было завоевание Европы, но под Дюнкерком попал под бомбы собственной авиации и получил в легкие здоровенный осколок, так что вместо Парижа оказался в военном госпитале в Дрездене, где провалялся до сорок четвертого, и совсем было уже выписался, когда совершился знаменитый налет союзных армад, уничтоживший Дрезден в одну ночь. От пережитого ужаса у него выпали все волосы, и он немножко тронулся, по его же собственным рассказам.

Так что попав снова в родной Эрфурт, он просидел в подвале своего домика самое что ни на есть горячее время, когда еще можно было удрать на Запад. Когда же он решился, наконец, выйти на свет божий, все было уже кончено. Зеленную лавку ему, правда, разрешили, но ни о каком расширении дела не могло быть и речи. В сорок шестом у него умерла жена, он в помрачении рассудка поддался на уговоры Наставника и, плохо понимая, что он, собственно, выбирает, переселился с дочерью сюда. Здесь он немного отошел, хотя до сих пор, кажется, подозревает, что попал в большой специализированный концлагерь где-то в Средней Азии, куда сослали всех немцев из Восточной Германии. С черепушкой у него так и не восстановилось окончательно. Он обожает истинных немцев, уверен, что у него на них особенный нюх, смертельно боится китайцев, арабов и негров, присутствия которых здесь не понимает и объяснить не может, но более всего он почитает и уважает господина Гейгера. Дело в том, что во время одного из первых своих визитов к Гофштаттеру блестящий Фриц, пока Отто наполнял кошелки, кратко, по-военному, приволокнулся за белокурой Эльзой, осатаневшей без перспектив на приличное замужество. И с тех пор в душе сумасшедшего лысого Гофштаттера зародилась слепящая надежда, что этот великолепный ариец, опора фюрера и гроза евреев, выведет в конце концов несчастное семейство Гофштаттеров из бурно кипящих вод в тихую заводь.

— ...Фрицу что! — жаловался Отто, ежеминутно меняя руки, отмотанные корзиной.— Он у Гофштаттеров бывает раз, ну два в месяц, когда у нас жрать нечего — пощупает эту дуру, и делов-то... А я сюда каждую неделю хожу, и по два раза, и по три раза в неделю... Ведь Гофштаттер-то дурак дурак, а человек деловой, знаешь, какие он связи завязал с фермерами — продукты у него первый сорт и недорого... Изоврался я вконец! Вечную привязанность Фрица к Эльзе я ему обеспечь. Неумолимый конец международного еврейства я ему обеспечь. Неуклонное движение войск великого райха к этой зеленной лавке я ему обеспечь... Я уже сам запутался, и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел. Совестно же все-таки: сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу. Вот сейчас он спрашивает меня:

что, мол, эти павианы должны означать? А я, не подумавши, ляпнул: десант, говорю, арийская, говорю, хитрость. Так ты не поверишь — он меня обнял и присосался что к твоей бутылке...

— А Эльза что? — с любопытством спросил Андрей.— Она-то ведь не сумасшедшая?

Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами.

— Эльза...— Он откашлялся.— Тоже работаю, как лошадь. Ей-то ведь все равно: Фриц, Отто, Иван, Абрам... Тридцать лет девке, а Гофштаттер к ней подпускает только Фрица да меня.

— Ну и сволочи же вы с Фрицем,— сказал Андрей искренне.

— Дальше некуда! — согласился Отто печально.— И ведь что самое ужасное: совершенно я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный.

Они замолчали, и до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Подниматься наверх он не стал.

— Ты это отнеси и поставь воду в большой кастрюле,— сказал он.— А мне давай деньги, я смотаюсь в магазин, может, консервов каких-нибудь достану.— Он помялся, отводя глаза.— И ты, это... Фрицу... не надо. А то он из меня душу вытрясет. Фриц, он знаешь какой,— любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит?

Они расстались, и Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина была такая тяжеленная, словно нагрузил ее Гофштаттер чугунными ядрами. Да, брат, думал Андрей с ожесточением. Какой уж тут Эксперимент, если такие дела делаются. Много ты с этим Отто да с этим Фрицем наэкспериментируешь. Надо же, суки какие — ни чести, ни совести. А откуда? — подумал он с горечью.— Вермахт. Гитлерюгенд. Шваль. Нет, я с Фрицем поговорю! Этого так оставлять нельзя — морально же гниет человек на глазах. А человек из него получиться может! Должен! В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку — и баста. Все обгадились, все лапки кверху, один Фриц... Нет, это человек! За него драться надо...

Он поскользнулся на следах павианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под ноги.

Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел и сипел патефон. Слышался звон посуды. Шаркали ноги танцующих. И покрывая все эти звуки, раскатывался знакомый басовитый голосок Юрия свет-Константиновича: «Ты, браток, насчет экономии всякой и социологии — не нужно. Обойдемся. А вот свобода, браток, это другой разговор. За свободу и хребет поломать можно...»

На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле, на кухонном столе лежал готовый, заново отточенный нож, и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них — промасленный, прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же — собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненой обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной шелухой и соломинками.

Андрей бросил корзину и кошелку.

— Эй, бездельники! — заорал он.— Вода кипит!

Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась раскрасневшаяся, с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал Фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи с талии Сельмы.

— Привет тебе от Гофштаттера! — сказал Андрей.— Эльза беспокоится, что ты не заходишь... Ведь ребеночку уже скоро месяц!

— Дурацкие шутки! — объявил Фриц с отвращением, однако лапы убрал.— Где Отто?

— И правда, вода кипит! — сообщила Сельма с удивлением.— Что теперь с ней делать?

— Бери нож,— сказал Андрей,— и начинай чистить картошку. А ты, Фриц, по-моему, очень любишь картофельный салат. Так вот займись, а я пойду выполнять роль хозяина.

Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия его сияла от восторга.

— Слушай! — прошептал он, хихикая и брызгаясь.— Откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на

фермах, оказывается, настоящий Дикий Запад! Американская вольница!

— Русская вольница ничем не хуже американской,— сказал Андрей с неприязнью.

— Ну да! Ну да! — закричал Изя.— «Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот-переворот, а кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот!..»

— Это ты брось,— сказал Андрей сурово.— Это я не люблю... Фриц, отдаю тебе Сельму и Кацмана под командование, работайте, да побыстрее, жрать охота — сил нет... Да не орите здесь — Отто будет стучаться, он за консервами побежал.

Поставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там прежде всего обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович, все такой же краснолицый и крепко пахнущий, стоял посередине комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые и слегка бешеные — такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать, крепко выпить и ничего на свете не страшащихся.

— Вот! — сказал Давыдов.— Пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе. Картошка еще тебе — два мешка. Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, на хрен мне все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как гниют, белого света не видят... Слушай, Андрей, вот я тут Кэнси говорю, японцу, плюньте, говорю, ребята! Ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда все к нам...

Кэнси, все еще в форме после дежурства, но в мундире нараспашку, неловко орудуя одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана бинтом. Он улыбнулся и покивал Давыдову.

— Этим и кончится, Юра,— сказал он.— Вот будет еще нашествие кальмаров, и тогда мы все как один подадимся к вам на болота.

— Да чего вам ждать этих... как их... Плюньте вы на этих камаров. Вот завтра поеду поутру порожняком, телега

пустая, три семьи свободно можно погрузить. Ты ведь не семейный? — обратился он к Андрею.

— Бог спас,— сказал Андрей.

— А девушка эта кто тебе? Или она не твоя?

— Она новенькая. Сегодня ночью прибыла.

— Так чего лучше? Барышня приятная, обходительная. Забирай и поехали, а? У нас там воздух. У нас там молоко. Ты ведь молока, наверное, уже год не пил свежего. Я вот все спрашиваю, почему в магазинах у вас молока нет? У меня у одного три коровы, я это молоко и государству сдаю, и сам ем, и свиней кормлю, и на землю лью... Вот у нас поселишься, понимаешь, проснешься поутру в поле идти, а она тебе, твоя-то, крынку парного, прямо из-под коровы, а? — Он крепко замигал обоими глазами по очереди, захохотал, ахнул Андрея по плечу и, твердо скрипя половицами, прошелся по комнате — остановил патефон и вернулся.— А воздух какой? У вас здесь и воздуха не осталось, зверинец у вас здесь, вот и весь ваш воздух... Кэнси, да что ты все стараешься? Девку позови, пусть поставит посуду.

— Она там картошку чистит,— сказал Андрей, улыбаясь. Потом спохватился и стал помогать Кэнси. Очень свой человек был Давыдов. Очень близкий. Будто знакомы уже целый год. А что, если и верно — махнуть на болота? Молоко не молоко, а жизнь там, наверное, действительно здоровее. Ишь он какой стоит, как памятник!

— Стучит там кто-то,— сообщил Давыдов.— Открыть или сам откроешь?

— Сейчас,— сказал Андрей и пошел к парадному. За дверью оказался Ван — уже без ватника, в синей саржевой рубахе до колен с вафельным полотенцем вокруг головы.

— Баки привезли! — сказал он, радостно улыбаясь.

— Ну и хрен с ними,— ответствовал Андрей не менее радостно.— Баки подождут. Ты почему один? А Мэйлинь где?

— Она дома,— сказал Ван.— Устала очень. Спит. Сын немного захворал.

— Ну заходи, чего стоишь... Пойдем, я тебя с хорошим человеком познакомлю.

— А мы уже знакомы,— сказал Ван, входя в столовую.

— А, Ваня! — обрадованно закричал Давыдов.— И ты тоже тут! Нет,— сказал он, обращаясь к Кэнси.— Знал я, что Андрей — хороший парень. Видишь, все у него хорошие люди собираются. Тебя вот взять, или еврейчика этого... как его... Ну, теперь у нас пойдет пир горой! Пойду посмотрю, чего они там копаются. Там и делать-то нечего, а они, понимаешь, развели работу...

Ван быстро оттеснил Кэнси от стола и принялся аккуратно и ловко переставлять приборы. Кэнси свободной рукой и зубами поправлял повязку. Андрей сунулся ему помогать.

— Что-то Дональд не идет,— сказал он озабоченно.

— Заперся у себя,— отозвался Ван.— Не велел беспокоить.

— Чего-то он хандрит, ребята, последнее время. Ну и бог с ним. Слушай, Кэнси, что это у тебя с рукой?

Кэнси ответил, слегка скривив лицо:

— Павиан цапнул. Такая сволочь — до кости прокусил.

— Ну да? — поразился Андрей.— А мне показалось, они, вроде, мирные...

— Ну, знаешь, мирные... Когда тебя поймают и начнут тебе ошейник клепать...

— Какой ошейник?

— Приказ пятьсот семь. Всех павианов перерегистрировать и снабдить ошейником с номером. Завтра будем раздавать их населению. Ну, мы штук двадцать окольцевали, а остальных перегнали на соседний участок, пусть там разбираются. Ну, чего ты стоишь с открытым ртом?.. Рюмки давай, рюмок не хватает...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда выключили солнце, вся компания была порядочно уже на взводе. В мгновенно наступившей темноте Андрей вылез из-за стола и, сшибая ногами какие-то кастрюли, стоящие на полу, добрался до выключателя.

— Н-не пугайтесь, милая фройлейн,— бубнил у него за спиной Фриц.— Это здесь всегда...

— Да будет свет! — провозгласил Андрей, старательно выговаривая слова.

Под потолком вспыхнула пыльная лампочка. Свет был жалкий, как в подворотне. Андрей обернулся и оглядел собрание.

Все было очень хорошо. Во главе стола на высокой кухонной табуретке восседал, слегка покачиваясь, Юрий Константинович Давыдов, полчаса назад ставший для Андрея раз и навсегда дядей Юрой. В крепко сжатых зубах дяди Юры дымилась атлетическая козья нога, в правой руке он сжимал граненый стакан, полный благородного первача, а заскорузлым указательным пальцем левой водил перед носом сидящего рядом Изи Кацмана, который был уже вовсе без галстука и без пиджака, а на подбородке и на груди его сорочки явственно обнаруживались следы мясного соуса.

По правую руку от дяди Юры скромно сидел Ван — перед ним стояла самая маленькая тарелочка с маленьким кусочком и лежала самая щербатая вилка, а бокал для первача он взял себе с отбитым краем. Голова его совсем ушла в плечи, лицо с закрытыми глазами было поднято и блаженно улыбалось: Ван наслаждался покоем.

Быстроглазый разрумянившийся Кэнси с аппетитом закусывал кислой капустой и что-то живо рассказывал Отто, героически сражавшемуся с осоловением и в минуты одержанных побед громко восклицавшему: «Да! Конечно! Да! О да!»

Сельма Нагель, шведская шлюха, была прямо-таки красавица. Она сидела в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, и сверкающие эти ноги находились как раз на уровне груди бравого унтера Фрица, так что глаза у Фрица горели, и весь он шел красными пятнами от возбуждения. Он лез к Сельме с полным стаканом и все норовил выпить с нею на брудершафт, а Сельма отпихивала его своим бокалом, хохотала, болтала ногами и время от времени стряхивала волосатую ласковую лапу Фрица со своих коленок.

Только стул Андрея по другую сторону от Сельмы был пуст, и был печально пуст стул, поставленный для Дональда. Жалко как — Дональда нет, подумал Андрей. Но! Выдержим, перенесем и это! И не с таким нам приходилось справляться...

Мысли его несколько путались, но общий настрой был мужественный, с легким налетом трагизма. Он вернулся на свое место, взял стакан и заорал:

— Тост!

Никто не обратил на него внимания, только Отто дернул головой, словно кусаемая слепнями лошадь, и отозвался: «Да! О да!»

— Я сюда приехал, потому что поверил! — громко басил дядя Юра, не давая хихикающему Изе убрать его сучковатый палец у себя из-под носа.— А поверил потому, что больше верить было не во что. А русский человек должен во что-то верить, понял, браток? Если ни во что не верить, ничего, кроме водки, не останется. Даже чтобы бабу любить, нужно верить. В себя нужно верить, без веры, браток, и палку хорошую не бросишь...

— Ну да, ну да! — откликался Изя.— Если у еврея отнять веру в бога, а у русского — веру в доброго царя, они становятся способны черт знает на что...

— Нет... Подожди! Евреи — это дело особое...

— Главное, Отто, не напрягайтесь,— говорил в то же время Кэнси, с удовольствием хрустя капустой.— Все равно никакого обучения нет и просто быть не может. Сами подумайте, зачем нужно профессиональное обучение в городе, где каждый то и дело меняет профессию?

— О да! — ответствовал Отто, на секунду проясняясь.— То же самое я говорил господину министру.

— И что же министр? — Кэнси взял стакан первача и сделал несколько маленьких глотков — словно чай пил.

— Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересная мысль, и предложил мне составить разработку.— Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами.— А я вместо этого пошел к Эльзе...

— ...И когда танк оказался на расстоянии двух метров от меня,— гундел Фриц, проливая первач на белые ноги Сельмы,— я вспомнил все!.. Вы не поверите, фройлейн, все прожитые годы прошли передо мною... Но я — солдат! С именем фюрера...

— Да нет давно вашего фюрера! — втолковывала ему Сельма, плача от смеха.— Сожгли его, вашего фюрера!..

— Фройлейн! — произнес Фриц, угрожающе выпячивая челюсть.— В сердце каждого истинного немца фюрер жив! Фюрер будет жить века! Вы — арийка, фройлейн, вы меня поймете: когда р-русский танк... в трех метрах... я, с именем фюрера!..

— Да надоел ты со своим фюрером! — заорал на него Андрей.— Ребята! Ну, сволочи же, слушайте же тост!

— Тост? — спохватился дядя Юра.— Давай! Вали, Андрюха!

— За псютздесдам! — вдруг выпалил Отто, отстраняя от себя Кэнси.

— Да заткнись ты! — гаркнул Андрей.— Изя, перестань ты скалиться! Я серьезно говорю! Кэнси, черт тебя подери!.. Я считаю, ребята, что мы должны выпить... мы уже пили, но как-то мимоходом, а надо основательно, по-серьезному выпить за наш Эксперимент, за наше благородное дело и в особенности...

— За вдохновителя всех наших побед, товарища Сталина! — заорал Изя.

Андрей сбился.

— Нет... слушай...— пробормотал он.— Чего ты меня перебиваешь? Ну, и за Сталина, конечно... Черт, сбил меня совсем... Я хотел, чтобы мы за дружбу выпили, дурак!

— Ничего, ничего, Андрюха! — сказал дядя Юра.— Тост хороший, за Эксперимент надо выпить, за дружбу тоже надо выпить. Хлопцы, берите стаканы, за дружбу выпьем и чтобы все было хорошо.

— А я за Сталина выпью! — упрямилась Сельма.— И за Мао Цзе-дуна. Эй, Мао Цзе-дун, слышишь? За тебя пью! — крикнула она Вану.

Ван вздрогнул, жалобно улыбаясь, взял стакан и пригубил.

— Цзе-дун? — спросил Фриц угрожающе.— К-то такой?

Андрей залпом осушил свой стакан и, слегка оглушенный, торопливо тыкал вилкой в закуску. Все разговоры доносились сейчас до него, словно из другой комнаты. Сталин... Да, конечно. Какая-то связь должна быть... Как это мне раньше в голову не приходило! Явление одного масштаба — космического. Должна быть какая-то связь и взаимосвязь... Скажем,

такой вопрос: выбрать между успехом Эксперимента и здоровьем товарища Сталина... Что лично мне как гражданину, как бойцу... Правда, Кацман говорит, что Сталина не стало, но это не существенно. Предположим, что он жив. И предположим, что передо мной такой выбор: Эксперимент или дело Сталина... Нет, чепуха, не так. Продолжать дело Сталина под сталинским руководством или продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в необычных, в не предусмотренных никакой теорией — вот как ставится вопрос...

— А откуда ты взял, что Наставники продолжают дело Сталина? — донесся вдруг до него голос Изи, и Андрей понял, что уже некоторое время говорит вслух.

— А какое еще дело они могут делать? — удивился он.— Есть только одно дело на Земле, которым стоит заниматься,— построение коммунизма! Это и есть дело Сталина.

— Двойка тебе по «Основам»,— отозвался Изя.— Дело Сталина — это построение коммунизма в одной отдельно взятой стране, последовательная борьба с империализмом и расширение социалистического лагеря до пределов всего мира. Что-то я не вижу, как ты можешь эти задачи осуществить здесь.

— Ску-учно! — заныла Сельма.— Музыку давайте! Танцевать хочу!

Но Андрей уже ничего не видел и не слышал.

— Ты догматик! — гаркнул он.— Талмудист и начетчик! И вообще метафизик. Ничего, кроме формы, ты не видишь. Мало ли какую форму принимает Эксперимент! А содержание у него может быть только одно, и конечный результат только один: установление диктатуры пролетариата в союзе с трудящимися фермерами...

— И с трудовой интеллигенцией! — вставил Изя.

— С какой там еще интеллигенцией... Тоже мне говнапирога — интеллигенция!..

— Да, правда,— сказал Изя.— Это из другой эпохи.

— Интеллигенция вообще импотентна! — заявил Андрей с ожесточением.— Лакейская прослойка. Служит тем, у кого власть.

— Банда хлюпиков! — рявкнул Фриц.— Хлюпики и болтуны, вечный источник расхлябанности и дезорганизации!

— Именно! — Андрей предпочел бы, чтобы его поддержал, скажем, дядя Юра, но и в поддержке Фрица была полезная сторона.— Вот, пожалуйста: Гейгер. Вообще-то — классовый враг, а позиция полностью совпадает с нашей. Вот и получается, что с точки зрения любого класса интеллигенция — это дерьмо.— Он скрипнул зубами.— Ненавижу... Терпеть не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет, ни веры, ни морали...

— Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет! — металлическим голосом провозгласил Фриц.

— Э, нет! — сказал Андрей.— Тут мы с тобой расходимся. Это ты брось! Культура есть великое достояние освободившегося народа. Тут надо диалектически...

Где-то рядом гремел патефон, пьяный Отто, спотыкаясь, танцевал с пьяной Сельмой, но Андрея это не интересовало. Начиналось самое лучшее, то самое, за что он больше всего на свете любил эти сборища. Спор.

— Долой культуру! — вопил Изя, прыгая с одного свободного стула на другой, чтобы подобраться поближе к Андрею.— К нашему Эксперименту она отношения не имеет. В чем задача Эксперимента? Вот вопрос! Вот ты мне что скажи.

— Я уже сказал: создать модель коммунистического общества!

— Да на кой ляд Наставникам модель коммунистического общества, посуди ты сам, голова садовая!

— А почему нет? Почему?

— Я все-таки полагаю так,— сказал дядя Юра,— что Наставники — это не настоящие люди. Что они, как это сказать, другой породы, что ли... Посадили они нас в аквариум... или как бы в зоосад... и смотрят, что из этого получается.

— Это вы сами придумали, Юрий Константинович? — с огромным интересом повернулся к нему Изя.

Дядя Юра пощупал правую скулу и неопределенно ответил:

— В спорах родилось.

Изя даже стукнул кулаком по столу.

— Поразительная штука! — сказал он с азартом.— Почему? Откуда? У самых различных людей, причем мыслящих в общем-то вполне конформистски, почему рождается такое представление — о нечеловеческом происхождении Наставников? Представление, что Эксперимент проводится какими-то высшими силами.

— Я, например, спросил прямо,— вмешался Кэнси.— «Вы пришельцы?» Он от прямого ответа уклонился, но фактически и не отрицал.

— А мне было сказано, что они люди другого измерения,— сказал Андрей. О Наставнике говорить было неловко, как о семейном деле с посторонними людьми.— Но я не уверен, что я правильно понял... Может быть, это было иносказание...

— А я не желаю! — заявил вдруг Фриц.— Я — не насекомое. Я — сам по себе. А-а! — он махнул рукой.— Да разве я попал бы сюда, если бы не плен?

— Но почему? — говорил Изя.— Почему? Я тоже ощущаю все время какой-то внутренний протест и сам не понимаю, в чем здесь дело. Может быть, их задачи в конечном счете близки к нашим...

— А я тебе о чем толкую! — обрадовался Андрей.

— Не в этом смысле,— нетерпеливо отмахнулся Изя.— Не так это все прямолинейно, как у тебя. Они пытаются разобраться в человечестве, понимаешь? Разобраться! А для нас проблема номер один — то же самое: разобраться в человечестве, в нас самих. Так, может быть, разбираясь сами, они помогут разобраться и нам?

— Ах нет, друзья! — сказал Кэнси, мотая головой.— Ах, не обольщайтесь. Готовят они колонизацию Земли и изучают на нас с вами психологию будущих рабов...

— Ну почему, Кэнси? — разочарованно произнес Андрей.— Почему такие страшные предположения? По-моему, просто нечестно так о них думать...

— Да я, наверное, так и не думаю,— отозвался Кэнси.— Просто у меня какое-то странное чувство... Все эти павианы, превращения воды, всеобщий кабак изо дня в день... В одно прекрасное утро еще смешение языков нам устроят... Они словно систематически готовят нас к какому-то жуткому

миру, в котором мы должны будем жить отныне, и присно, и во веки веков. Это как на Окинаве... Я был тогда мальчишкой, шла война, и у нас в школе окинавским ребятам запрещалось разговаривать на своем диалекте. Только по-японски. А когда какого-нибудь мальчика уличали, ему вешали на шею плакат: «Не умею правильно говорить». Так и ходил с этим плакатом.

— Да, да, понимаю...— проговорил Изя, с остановившейся улыбкой дергая и пощипывая бородавку на шее.

— А я — не понимаю! — объявил Андрей.— Все это — извращенное толкование, неверное... Эксперимент есть Эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем. Но ведь мы и не должны понимать! Это же основное условие! Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем сменность профессий... такое понимание сразу обусловит наше поведение, Эксперимент потеряет чистоту и провалится. Это же ясно! Ты как считаешь, Фриц?

Фриц покачал белобрысой головой.

— Не знаю. Меня это не интересует. Меня не интересует, чего там ОНИ хотят. Меня интересует, чего Я хочу. А я хочу навести порядок в этом бардаке. Вообще, кто-то из вас говорил, я уже не помню, что, может быть, и вся задача Эксперимента состоит в том, чтобы отобрать самых энергичных, самых деловых, самых твердых... Чтобы не языками трепали, и не расползались, как тесто, и не философии бы разводили, а гнули бы свою линию. Вот таких они отберут — таких, как я, или, скажем, ты, Андрей,— и бросят обратно на Землю. Потому что раз мы здесь не дрогнули, то и там не дрогнем...

— Очень может быть! — глубокомысленно сказал Андрей.— Я это тоже вполне допускаю.

— А вот Дональд считает,— тихонько сказал Ван,— что Эксперимент уже давным-давно провалился.

Все посмотрели на него. Ван сидел в прежней позе покоя — втянув голову в плечи и подняв лицо к потолку; глаза его были закрыты.

— Он сказал, что Наставники давно запутались в собственной затее, перепробовали все, что можно, и теперь уже сами не знают, что делать. Он сказал: полностью обанкротились. И все теперь просто катится по инерции.

Андрей в полной растерянности полез в затылок — чесаться. Вот так Дональд! То-то он сам не свой ходит... Другие тоже молчали. Дядя Юра медленно сворачивал очередную козью ножку, Изя с окаменевшей улыбкой щипал и терзал бородавку, Кэнси опять принялся за капусту, а Фриц, не отрываясь, глядел на Вана, выдвигая и снова ставя на место челюсть. Вот так и начинается разложение, мелькнуло у Андрея в голове. Вот с таких вот разговоров. Непонимание рождает неверие. Неверие — смерть. Очень, очень опасно. Наставник говорил прямо: главное — поверить в идею до конца, без оглядки. Осознать, что непонимание — это непременнейшее условие Эксперимента. Естественно, это самое трудное. У большинства здесь нет настоящей идейной закалки, настоящей убежденности в неизбежности светлого будущего. Что сегодня может быть как угодно тяжело и плохо, и завтра — тоже, но послезавтра мы обязательно увидим небо в звездах, и на нашей улице наступит праздник...

— Я — человек неученый,— сказал вдруг дядя Юра, любовно заклеивая языком новую козью ногу.— У меня четыре класса образования, если хотите знать, и я тут уже Изе говорил, что сюда я, прямо скажем, попросту удрал... Как вот ты...— Он указал козьей ногой на Фрица.— Только тебе из плена дорога открылась, а мне, значит, из колхоза. Я, если войны не считать, всю жизнь в деревне прожил и всю жизнь света не видел. А здесь вот — увидел! Что они там со своим Экспериментом мудрят — прямо скажу, братки, не моего это ума дело, да и не так уж интересно. Но я здесь — свободный человек, и пока мою эту свободу не тронули, я тоже никого не трону. А вот если тут которые найдутся, чтобы наше нынешнее положение фермерское переменить, то тут я вам в точности обещаю: мы от вашего города камня на камне не оставим. Мы вам, мать вашу так, не павианы. Мы вам, мать вашу так, ошейники себе на горло положить не дадим!.. Вот такие вот пироги, браток,— сказал он, обращаясь непосредственно к Фрицу.

Изя рассеяно хихикнул, и снова воцарилась неловкое молчание. Андрея речь дяди Юры несколько удивила, и он решил, что у Юрия Константиновича жизнь, видимо, сложилась особенно тяжело, и если он говорит, что света он не

видел, значит, есть у него на то особые основания, о которых расспрашивать его и тем более сейчас было бы бестактно. Поэтому он только сказал:

— Рано мы, наверное, поднимаем все эти вопросы. Эксперимент длится не так уж долго, работы — невпроворот, надо работать и верить в правоту...

— Это откуда ты взял, что Эксперимент длится недолго? — перебил его Изя с насмешкой.— Эксперимент длится лет сто, не меньше. То есть, он длится наверняка гораздо больше, но просто за сто лет я ручаюсь.

— А ты откуда знаешь?

— Ты на север далеко заходил? — спросил Изя.

Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север.

— Ну, север! — нетерпеливо сказал Изя.— Условно считаем, что направление на солнце, та сторона, где болота, поля, фермеры — это юг, а противоположная сторона, в глубину города — север. Ты ведь дальше мусорных свалок нигде и не был... А там еще город и город, там огромные кварталы, целехонькие, дворцы...— Он хихикнул.— Дворцы и хижины. Сейчас там, конечно, никого нет, потому что воды нет, но когда-то жили, и было это «когда-то», я тебе скажу, довольно давно. Я там такие документы в пустых домах обнаружил, что ой-ей-ей! Слыхал про такого монарха, Велиария Второго? То-то! А он, между прочим, там царствовал. Только в те времена, когда он там царствовал, здесь,— он постучал ногтем по столу,— здесь были болота и вкалывали на этих болотах крепостные... или рабы. И было это не меньше, чем сто лет назад...

Дядя Юра качал головой и цокал языком. Фриц спросил:

— А еще дальше на север?

— Дальше я не ходил,— сказал Изя.— Но я знаю людей, которые заходили очень далеко — километров на сто — сто пятьдесят, а многие уходили и не возвращались.

— Ну и что там?

— Город.— Изя помолчал.— Правда, и врут про те места тоже безбожно. Поэтому я и говорю только о том, что сам разузнал. Верные сто лет. Понял, друг мой Андрюша? Сто лет. За сто лет на любой эксперимент плюнуть можно.

— Ну ладно, ну подожди...— пробормотал Андрей, потерявшись.— Но ведь не плюнули же! — оживился он.— Раз набирают новых и новых людей, значит, не бросили, не отчаялись! Просто очень трудная задача поставлена.— Новая мысль пришла ему в голову, и он оживился еще больше.— И вообще: откуда ты знаешь, какой у них масштаб времени? Может быть, наш год для них — секунда?..

— Да ничего я этого не знаю,— сказал Изя, пожимая плечами.— Я пытаюсь тебе объяснить, в каком мире ты живешь — вот и все.

— Ладно! — прервал его дядя Юра решительно.— Хватит нам из пустого в порожнее переливать!.. Эй, малый! Как тебя... Отто! Брось девку, и тащи ты нам... Нет, окосел он. Разобьет он мне бутыль, схожу сам...

Он слез с табурета, взял со стола опустевший кувшин и отправился на кухню. Сельма бухнулась на свое место, снова задрала ноги выше головы и капризно толкнула Андрея в плечо.

— Вы долго еще будете эту бодягу тянуть? Развели скучищу... Эксперимент, эксперимент... Дай закурить!

Андрей дал ей закурить. Неожиданно оборвавшийся разговор взбаламутил в нем какой-то неприятный осадок — что-то было недоговорено, что-то было не так понято, не дали ему объяснить, не получилось единства... И Кэнси вот сидит какой-то грустный, а с ним это бывает редко... Слишком много мы о себе думаем, вот что! Эксперимент Экспериментом, а каждый норовит гнуть какую-то свою линию, цепляется за свою позицию, а надо-то вместе, вместе надо!..

Тут дядя Юра бухнул на стол новую порцию, и Андрей махнул на все рукой. Выпили по стакану, закусили, Изя выдал анекдот — грохнули. Дядя Юра тоже выдал анекдот, чудовищно неприличный, но очень смешной. Даже Ван смеялся, а Сельма просто скисла от хохота. «В крынку...— захлебывалась она, утирая глаза ладонями.— В крынку не лезет!..» Андрей ахнул кулаком по столу и затянул любимую мамину:

А хто пье, тому наливайтэ, А хто не пье, тому нэ давайтэ, А мы будэм питы, тай Бога хвалиты, И за нас, и за вас, и

за нэньку старэньку, Шо вывчила нас горилочку пить помалэньку...

Ему подтягивали, кто как может, а потом Фриц, бешено вылупив глаза, проорал на пару с Отто какую-то незнакомую, но отличную песню про дрожащие кости старого дряхлого мира — великолепную боевую песню. Глядя, как Андрей с воодушевлением пытается подтягивать, Изя Кацман хихикал и булькал, потирая руки, и тут дядя Юра вдруг, уставясь своими ерническими светлыми глазами на голые ляжки Сельмы, заревел медвежьим голосом:

А по деревне пойдетё, Играетё и поетё, А мое сердце беспокоетё И спать не даетё!..

Успех был полный, и дядя Юра продолжил:

А девки, сами знаетё, Да чем заманиваетё: Сулитё, не даетё, Всё обманываетё...

Тут Сельма сняла ноги с подлокотника, отпихнула Фрица и сказала с обидой:

— Ничего я вам не сулю, нужны вы мне все...

— Да я ж вообще...— сказал дядя Юра, сильно смутившись.— Это песня такая. Сама ты мне больно нужна...

Чтобы замять инцидент, выпили еще по стакану. Голова у Андрея пошла кругом. Он смутно сознавал, что возится с патефоном и что сейчас уронит его, и патефон действительно упал на пол, но нисколько не пострадал, а, напротив, начал играть даже как будто бы громче. Потом он танцевал с Сельмой, и бока у Сельмы оказались теплые и мягкие, а груди — неожиданно крепкие и большие, что было чертовски приятным сюрпризом: обнаружить нечто прекрасно оформленное под этими бесформенными складками колючей шерсти. Они танцевали, и он держал ее за бока, а она взяла его ладонями за щеки и сказала, что он — очень славный мальчик и очень ей нравится, и в благодарность он сказал ей, что любит ее, и всегда любил, и теперь ее от себя никуда не отпустит... Дядя Юра грохал кулаком по столу, провозглашал: «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать...», обнимал совершенно уже сникшего Вана и крепко лобызал его троекратно по русскому обычаю. Потом Андрей оказался посередине комнаты, а Сельма снова сидела за столом, кидала в раскисшего Вана хлебными шариками и называла

его Мао Цзе-дуном. Это навело Андрея на идею спеть «Москва — Пекин», и он тут же исполнил эту прекрасную песню с необычайным азартом и задором, и потом вдруг оказалось, что они с Изей Кацманом стоят друг против друга и, страшно округлив глаза, все более и более понижая голоса в зловещем шепоте, повторяют, выставив указательные пальцы: «С-слушают нас!.. С-слуш-шают нас-с!..» Далее они с Изей оказались каким-то образом втиснутыми в одно кресло, а перед ними на столе, болтая ногами, сидел Кэнси, и Андрей горячо втолковывал ему, что здесь он готов на любую работу, здесь — любая работа дает особое удовлетворение, что он замечательно чувствует себя, работая мусорщиком...

— Вот я — мусор...щик! — выговаривал он с трудом.— Мусорг... мусоргщик!

А Изя, плюясь ему в ухо, долдонил что-то неприятное, обидное что-то: якобы он, Андрей, на самом деле просто испытывает сладострастное унижение от того, что он мусорщик («...да, я мусорг... щик!»), что вот он такой умный, начитанный, способный, годный на гораздо большее, тем не менее терпеливо и с достоинством, не в пример другим-прочим, несет свой тяжкий крест... Потом появилась Сельма и сразу его утешила. Она была мягкая и ласковая, и делала все, что он хотел, и не перечила ему, и тут в его ощущениях образовался сладостный опустошающий провал, а когда он вынырнул из этого провала, губы у него были распухшие и сухие, Сельма уже спала на его кровати, и он отеческим движением поправил на ней юбку, накинул на нее одеяло, привел в порядок свой собственный туалет и, стараясь ступать бодро, снова вышел в столовую, споткнувшись по дороге о вытянутые ноги несчастного Отто, который спал на стуле в чудовищно неудобной позе человека, убитого выстрелом в затылок.

На столе возвышалась уже сама четвертная бутыль, а все участники веселья сидели, подперев взлохмаченные головы, и дружно тянули вполголоса: «Там в степи-и глухой за-амерзал ямщик...», и из бледных арийских глаз Фрица катились крупные слезы. Андрей присоединился было к хору, но тут раздался стук в дверь. Он открыл — какая-то закутанная в

платок женщина в нижней юбке и ботинках на босу ногу спросила, здесь ли дворник. Андрей растолкал Вана и объяснил ему, где он, Ван, находится и что от него требуется. «Спасибо, Андрей»,— сказал Ван, внимательно его выслушав, и, вяло шаркая подошвами, удалился. Оставшиеся допели «ямщика», и дядя Юра предложил выпить, «щоб дома нэ журылись», но тут выяснилось, что Фриц спит и чокаться поэтому не может. «Ну всё,— сказал дядя Юра.— Это, значит, будет последняя...» Но прежде чем они выпили по последней, Изя Кацман, ставший вдруг странно серьезным, исполнил соло еще одну песню, которую Андрей не совсем понял, а дядя Юра, кажется, понял вполне. В этой песне был рефрен «Аве, Мария!» и совершенно жуткая, словно с другой планеты, строфа:

Упекли пророка в республику Коми, А он и перекинься башкою в лебеду. А следователь-хмурик получил в месткоме Льготную путевку на месяц в Теберду...

Когда Изя кончил петь, некоторое время было молчание, а затем дядя Юра вдруг со страшным треском обрушил пудовый кулак на столешницу, длинно и необычайно витиевато выматерился, после чего схватил стакан и припал к нему без всяких тостов. А Кэнси, по какой-то, одному ему понятной ассоциации, чрезвычайно неприятным визгливым и яростным голосом спел другую, явно маршевую, песню, в которой говорилось о том, что если все японские солдаты примутся разом мочиться у Великой Китайской стены, то над пустыней Гоби встанет радуга; что сегодня императорская армия в Лондоне, завтра — в Москве, а утром в Чикаго будет пить чай; что сыны Ямато расселись по берегам Ганга и удочками ловят крокодилов... Потом он замолчал, попытался закурить, сломал несколько спичек и вдруг рассказал об одной девочке, с которой он дружил на Окинаве — ей было четырнадцать лет, и она жила в доме напротив. Однажды пьяные солдаты изнасиловали ее, а когда отец пришел жаловаться в полицию, явились жандармы, взяли его и девочку, и больше Кэнси их никогда не видел...

Все молчали, когда в столовую заглянул Ван, окликнул Кэнси и поманил его к себе.

— Вот такие-то дела...— сказал дядя Юра уныло.— И ведь смотри: что на Западе, что у нас в России, что у желтых — везде ведь одно. Власть неправедная. Нет уж, братки, я там ничего не потерял. Я уж лучше тут...

Вернулся бледный озабоченный Кэнси и принялся искать свой ремень. Мундир у него уже был застегнут на все пуговицы.

— Что-нибудь случилось? — спросил Андрей.

— Да. Случилось,— отрывисто сказал Кэнси, оправляя кобуру.— Дональд Купер застрелился. Около часа назад.

СЛЕДОВАТЕЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг лежал огромный армейский пистолет, по углам пряталась всякая канцелярская мелочь в обтрепанных картонных коробочках, валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони закрывали глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока.

Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И, вероятно, курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые глаза его были по-прежнему невыразительны и пусты. Только на тощей грязноватой шее, торчащей из расстегнутого воротничка сорочки, длинно съехал книзу и снова подскочил к подбородку могучий хрящеватый кадык.

— Ну? — сказал Андрей.

— Не знаю,— хрипло ответил Копчик.— Не помню ничего такого.

Сволочь, подумал Андрей. Животное.

— Как же это у вас получается? — сказал он.— Бакалею в Шерстяном переулке обслуживали; когда обслуживали — помните, с кем обслуживали — помните. Хорошо. Кафе Дрейдуса обслуживали, когда и с кем — тоже помните. А вот лавку Гофштаттера почему-то забыли. А ведь это ваше последнее дело, Блок.

— Не могу знать, господин следователь,— возразил Копчик с отвратительнейшей почтительностью.— Это кто-то на меня, извиняюсь, клепает. У меня, как мы после Дрейдуса завязали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустройства, так, значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было.

— Гофштаттер-то вас опознал.

— Я очень извиняюсь, господин следователь,— теперь в голосе Копчика явственно слышалась ирония.— Но ведь господин Гофштаттер того-с, это кому угодно известно. Все у него, значит, перепуталось. В лавке у него я бывал, это точно — картошечки там купить, лучку... Я и раньше замечал, что у него, извиняюсь, в черепушке не все хорошо, знал бы, как дело обернется, перестал бы к нему ходить, а то вот, надо же...

— Дочь Гофштаттера вас тоже опознала. Это вы ей угрожали ножом, вы персонально.

— Не было этого. Было кое-что, но совсем не то. Вот она ко мне с ножом к горлу приставала — это было! Зажала меня однажды в кладовке у них — еле ноги унес. У нее же сдвиг на половой почве, от нее все мужики в околотке по углам прячутся...— Копчик снова облизнулся.— Главное, говорит мне: заходи, говорит, в кладовую, сам, говорит, капусту выбирай...

— Это я уже слышал. Повторите лучше еще раз, что вы делали и где вы были в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое. Подробно, начиная с момента выключения солнца.

Копчик возвел глаза к потолку.

— Значит, так,— начал он.— Когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу Трикотажного и Второго, играл в карты. Потом Джек Ливер позвал меня в другую пивную, мы пошли, завернули по дороге к Джеку, хотели прихватить его шмару, да задержались, стали там пить. Джек

насосался, и шмара его уложила в постель, а меня выгнала. Я пошел домой спать, но был сильно нагрузившись и по дороге сцепился с какими-то, трое их было, тоже пьяные, никого из них не знаю, впервые в жизни увидел. Они мне так навешали, что я уж больше ничего и не помню, утром только очухался у самого обрыва, еле домой добрался. Лег я спать, а тут за мной пришли...

Андрей полистал дело и нашел листок медицинской экспертизы. Листок был уже слегка засален.

— Подтверждается только то, что вы были пьяны,— сказал он.— Медэкспертиза не подтверждает, что вы были избиты. Следов избиения у вас на теле не обнаружено.

— Аккуратно, значит, работали ребята,— сказал Копчик с одобрением.— Были у них, значит, чулки с песком... У меня до сих пор все ребра болят... а меня в госпиталь отказываются... Вот сдохну у вас тут — будете все за меня отвечать...

— Трое суток у вас ничего не болело, а как только предъявили вам акт экспертизы — сразу заболело...

— Как же — не болело? Сил никаких не было, как болело, терпежу не стало, вот и жаловаться начал.

— Перестаньте врать, Блок,— устало сказал Андрей.— Срамно слушать...

Его уже тошнило от этого гнусного типа. Бандит, гангстер, попался буквально с поличным — и никак его не возьмешь... Опыта у меня не хватает, вот что. Другие таких вот раскалывают в два счета... А Копчик между тем горестно завздыхал, жалобно искривил лицо, закатил зрачки под лоб и, слабо постанывая, заерзал на сиденье, вознамерившись, по-видимому, половчее грянуться в обморок, чтобы ему дали стакан воды и отправили спать в камеру. Андрей сквозь щели между пальцами с ненавистью следил за этими омерзительными манипуляциями. Ну, давай, давай, думал он. Попробуй мне только пол заблевать — я тебя, сукиного сына, одной промокашкой заставлю все подобрать...

Дверь распахнулась, и в кабинет уверенной походкой вошел старший следователь Фриц Гейгер. Скользнув равнодушным взглядом по скорченному Копчику, он приблизился к столу и присел боком на бумаги. Не спрашивая, вытряхнул

из Андреевой пачки несколько сигарет, одну сунул в зубы, остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар. Андрей чиркнул спичкой, Фриц затянулся, кивнул в знак благодарности и выпустил в потолок струю дыма.

— Шеф велел взять у тебя дело Черных Сороконожек,— сказал он негромко.— Если не возражаешь, конечно.— Он еще более понизил голос и значительно сморщил губы.— По-видимому, шефу здорово всыпал Главный прокурор. Он сейчас всех к себе вызывает и дает накачку. Жди — скоро и до тебя доберется...

Он еще раз затянулся и посмотрел на Копчика. Копчик, вытянувший было шею подслушать, о чем шепчется начальство, тотчас опять съежился и издал жалобный стон. Фриц спросил:

— С этим ты, кажется, покончил?

Андрей помотал головой. Ему было стыдно. За последнюю декаду Фриц уже второй раз приходил забрать у него дело.

— Да ну? — удивился Фриц. Несколько секунд он оценивающе разглядывал Копчика, потом сказал вполголоса: — Ты позволишь? — и, не дожидаясь ответа, соскочил со стола.

Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа сигарету на отлете.

— Все болит? — сочувственно осведомился он.

Копчик застонал утвердительно.

— Пить хочется?

Копчик снова застонал и протянул дрожащую лапку.

— И курить, наверное, тоже хочется?

Копчик недоверчиво приоткрыл один глаз.

— У него все болит, у бедняги! — громко сказал Фриц, не оборачиваясь, впрочем, к Андрею.— Жалко же смотреть, как мучается человек. Здесь у него болит... и здесь у него болит... и вот здесь у него болит...

Повторяя эти слова на разные лады, Фриц делал короткие непонятные движения рукой, свободной от сигареты, и жалобное мычание Копчика вдруг прервалось, сменилось какими-то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело.

— Встать, сволочь! — неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг.

Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц нанес ему страшный режущий удар в живот. Копчика согнуло пополам, а Фриц раскрытой ладонью с глухим стуком ударил его снизу в подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину.

— Встать! — снова заревел Фриц.

Копчик, всхлипывая и задыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему, схватил за ворот и рывком вздернул на ноги. Лицо Копчика было теперь совсем белое, с прозеленью, глаза выкатились, обезумели, он обильно потел.

Андрей, гадливо морщась, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в пачке, силясь ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно — что. С одной стороны, действия Фрица были омерзительны и бесчеловечны, но с другой стороны, не менее омерзителен и бесчеловечен был этот явный бандит, грабитель, нагло издевающийся над правосудием, фурункул на теле общества...

— По-моему, ты недоволен обращением? — звучал между тем вкрадчивый голос Фрица.— Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться. Так вот, зовут меня Фридрих Гейгер. Старший следователь Фридрих Гейгер...

Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом откинувшись назад, а Фриц, вплотную к нему, слегка нагнувшись, грозно нависал, уперев руки в бока.

— Можешь жаловаться — мое нынешнее начальство ты знаешь... А вот кто был моим начальником раньше, тебе известно? Некто рейхсфюрер эс-эс Генрих Гиммлер! Слыхал такую фамилию? А знаешь ли ты, где я работал раньше? В учреждении, именуемом гестапо! А знаешь, чем я прославился в этом учреждении?..

Зазвонил телефон. Андрей снял трубку.

— Следователь Воронин слушает,— сказал он сквозь зубы.

— Мартинелли,— отозвался глуховатый, с одышкой, голос.— Зайдите ко мне, Воронин. Немедленно.

Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык, но он был рад сейчас уйти из этого кабинета — подальше от обезумевших глаз Копчика, от свирепо выдвинутой челюсти Фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. Зачем это он... гестапо, Гиммлер...

— Меня шеф к себе вызывает,— сказал он не своим, скрипучим каким-то голосом, машинально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме.

— Желаю удачи,— отозвался Фриц, не оборачиваясь.— Я здесь побуду, не беспокойся.

Андрей, все убыстряя шаг, пошел к двери и бомбой выскочил в коридор. Под сумрачными сводами стояла прохладная пахучая тишина, на длинной садовой скамейке под строгим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов мужского пола. Андрей прошел мимо ряда прикрытых дверей в следственные камеры, миновал лестничную площадку, где несколько молоденьких, последнего набора, следователей, непрерывно дымя папиросами, азартно объясняли друг другу свои дела, поднялся на третий этаж и постучал в кабинет шефа.

Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены, он тяжело, с присвистом, дышал через рот и смотрел на Андрея исподлобья.

— Сядьте,— проворчал он.

Андрей сел, положил руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решеткой, за стеклом была непроглядная тьма. Часов одиннадцать уже, подумал он. Сколько же времени я потратил на этого мерзавца...

— Сколько у вас дел? — спросил шеф.

— Восемь.

— Сколько намерены закончить к концу квартала?

— Одно.

— Плохо.

Андрей промолчал.

— Плохо работаете, Воронин. Плохо! — сипло сказал шеф. Его мучила одышка.

— Я знаю,— сказал Андрей покорно.— Никак не могу войти в колею.

— А пора бы! — шеф повысил голос до свистящего шипения.— Столько времени у нас работаете, а всего три жалких дела закрыли. Не выполняете свой долг перед Экспериментом, Воронин. А ведь вам есть у кого поучиться, есть с кем посоветоваться... Посмотрите, например, как работает ваш приятель, я имею в виду... э... я имею в виду Фридриха... э-э... У него, конечно, свои недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки. Можно перенимать и достоинства, Воронин. Вы пришли к нам вместе, а он уже закрыл одиннадцать дел.

— Я так не умею,— угрюмо сказал Андрей.

— Учиться. Надо учиться. Все мы учимся. Ваш... э-э... Фридрих тоже не с юридических курсов сюда пришел, а работает, и неплохо работает... Вот он уже старший следователь. Есть мнение, что пора его сделать заместителем начальника уголовного сектора... Да. А вот вами, Воронин, недовольны. Например, как у вас продвигается дело о Здании?

— Никак не продвигается,— сказал Андрей.— Это же не дело. Это — так, чушь, мистика какая-то...

— Почему же мистика, раз есть свидетельские показания? Раз есть потерпевшие? Люди-то пропадают, Воронин!

— Я не понимаю, как можно вести дело, построенное на легендах и слухах,— угрюмо сказал Андрей.

Шеф с натугой, с посвистом покашлял.

— Шевелить мозгами надо, Воронин,— просипел он.— Слухи, легенды — да. Мистическая оболочка — да. А зачем? Кому понадобилось? Откуда взялись слухи? Кто породил? Кто распространяет? Зачем? И главное — куда пропадают люди? Вы меня понимаете, Воронин?

Андрей собрался с духом и сказал:

— Понимаю вас, шеф. Но это дело не по мне. Я предпочитаю заниматься просто уголовщиной. Город кишит мерзавцами...

— А я предпочитаю разводить помидоры! — сказал шеф.— Обожаю помидоры, а здесь их почему-то не достать ни за какие деньги... Вы на службе, Воронин, и никого не интересует, что вы там предпочитаете, вам поручено дело о Здании — извольте его вести. То, что вы неумеха, я и сам

вижу. При других обстоятельствах я бы дела о Здании вам бы не поручил. А при нынешних обстоятельствах поручаю. Почему? Потому что вы — наш человек, Воронин. Потому что вы здесь не номер отбываете, а сражаетесь! Потому что прибыли сюда не для себя, а для Эксперимента. Таких людей мало, Воронин. И поэтому я расскажу вам сейчас то, что служащим вашего ранга знать не полагается.

Шеф откинулся в кресло и некоторое время молчал, еще сильнее свистя грудью и совсем уже оскалившись.

— Мы боремся с гангстерами, с рэкетирами, с хулиганами, это все знают, это хорошо, это нужно. Но опасность номер один — это не они, Воронин. Во-первых, существует здесь такое явление природы, именуется Антигород. Слыхали? Нет, не слыхали. И правильно. Не должны были слышать. И чтобы никто от вас этого не слышал! Служебная тайна с двумя нулями. Антигород. Есть сведения, что к северу существуют какие-то поселения, одно, два, несколько — неизвестно. А им о нас все известно! Возможно нашествие, Воронин. Очень опасно. Конец нашему городу. Конец Эксперименту. Имеет место шпионаж, имеют место попытки саботажа, диверсии, распространение панических и порочащих слухов. Ситуация понятна, Воронин? Вижу — понятна. Далее. Здесь, в самом городе, рядом с нами, среди нас живут люди, прибывшие сюда не ради Эксперимента — по другим, более или менее корыстным мотивам. Нигилисты, внутренние затворники, изверившиеся элементы, анархисты. Активных среди них мало, но даже пассивные представляют опасность. Подрыв морали, разрушение идеалов, попытки настраивать одни слои населения против других, разрушающий скептицизм. Пример: ваш хороший знакомый, некий Кацман...

Андрей вздрогнул. Шеф тяжело взглянул на него сквозь припухшие веки, помолчал и повторил:

— Иосиф Кацман. Любопытный человек. Есть сведения, что часто удаляется в сторону севера, пребывает там некоторое время и возвращается обратно. При этом манкирует своими прямыми обязанностями, но это уже нас не касается. Далее. Разговоры. Это вам должно быть известно.

Андрей невольно кивнул и тут же, спохватившись, сделал каменное лицо.

— Дальше. Самое важное для вас. Замечен вблизи Здания. Дважды. Один раз видели, как он оттуда выходил. Полагаю, я привел хороший пример и удачно связал его с делом о Здании. Этим делом необходимо заняться, Воронин. Это дело, Воронин, я сейчас никому не могу поручить. Есть люди, в такой же степени верные, как и вы, и гораздо более толковые, но они заняты. Все. Все до одного. И — выше головы. Так что форсируйте дело о Здании, Воронин. От остальных дел я вас постараюсь избавить. Завтра в шестнадцать ноль-ноль явитесь ко мне и доложите ваш план. Идите.

Андрей поднялся.

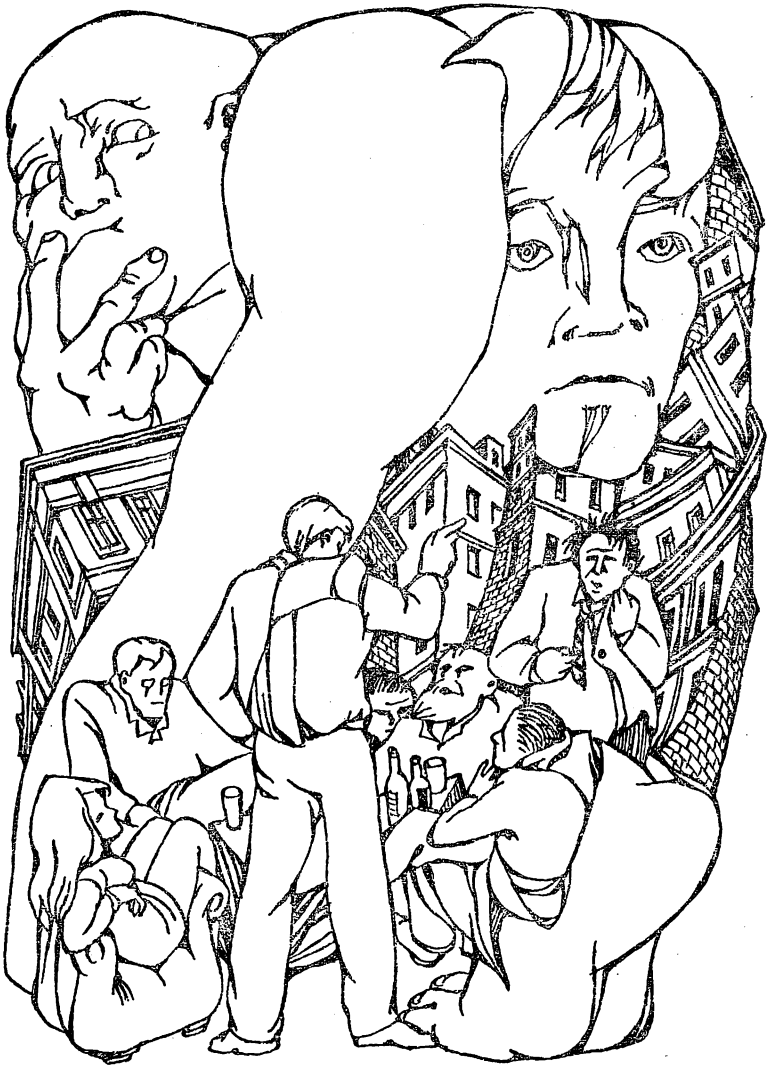
— Да! Совет. Советую вам обратить внимание на дело о Падающих Звездах. Настоятельно. Может быть связь. Это дело ведет сейчас Чачуа, зайдите к нему, ознакомьтесь. Посоветуйтесь.

Андрей неловко поклонился и направился к выходу.

— Еще одно! — сказал шеф, и Андрей остановился у самой двери.— Имейте в виду: делом о Здании специально интересуется Главный прокурор. Специально! Так что, кроме вас, этим занимается и будет заниматься еще кто-то из прокуратуры. Постарайтесь обойтись без упущений, связанных с вашими личными склонностями или наоборот. Идите, Воронин.

Андрей прикрыл за собою дверь и прислонился к стене. Внутри себя он ощущал какую-то неясную пустоту, неопределенность какую-то. Он ожидал втыка, шершавого начальственного фитиля, может быть, даже увольнения или перевода в полицию. Вместо этого его вроде бы даже похвалили, выделили из прочих, доверили дело, которое считается первостепенно важным. Всего год назад, когда он был еще мусорщиком, служебный втык бросил бы его в пучину горестей, а ответственное поручение вознесло бы на вершину ликования и горячечного энтузиазма. А сейчас внутри стояли какие-то неопределенные сумерки, и он осторожно пытался разобраться в себе, а заодно — нащупать те неизбежные осложнения и неудобства, которые, конечно же, должны были возникнуть в этой новой ситуации.

Изя Кацман... Болтун. Трепло. Язык нехороший, ядовитый. Циник. И в то же время — никуда не денешься — бессребреник, добряк, совершенно, до глупости, бескорыстный



и даже житейски беспомощный... И дело о Здании. И Антигород. Ч-черт... Ладно, разберемся...

Он вернулся в свой кабинет и с некоторым недоумением обнаружил там Фрица. Фриц сидел за его столом, курил его сигареты и внимательно перелистывал его дела, извлеченные из его сейфа.

— Ну что, получил на полную катушку? — осведомился он, поднимая глаза на Андрея.

Андрей, не отвечая, взял сигарету, закурил и несколько раз сильно затянулся. Потом он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет.

— Слушай, а этот где?

— В яме,— ответил Фриц пренебрежительно.— Отправил его на ночь в яму, велел не давать жрать, пить и курить. Раскололся он, как миленький, полное признание, и еще двоих назвал, о ком мы не знали. Но напоследок надобно проучить слизняка. Протокол я тебе...— Он перебросил с места на место несколько папок.— Протокол я подшил, сам найдешь. Завтра можешь передавать в прокуратуру. Там он сообщил кое-что любопытное, когда-нибудь пригодится...

Андрей курил и смотрел на это длинное холеное лицо, на быстрые водянистые глаза, невольно любовался уверенными движениями больших, истинно мужских рук. Фриц вырос за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось от надутого молодого унтера. Туповатая наглость сменилась направленной уверенностью, он уже больше не обижался на шутки, не каменел лицом и вообще не вел себя как осел. Одно время он зачастил было к Сельме, потом у них получился какой-то там скандальчик, да и Андрей сказал ему несколько слов. И Фриц спокойно отошел.

— Ты чего на меня уставился? — с доброжелательным интересом осведомился Фриц.— Все не можешь опомниться от клистира? Ничего, дружище, клистир начальника — именины сердца для подчиненного!

— Слушай-ка,— сказал Андрей.— Зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо... Что это за новости в следственной практике?

— Оперетту? — Фриц вздернул правую бровь.— Это, дружище, действует, как выстрел! — Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола.— Я удивляюсь, почему ты до этого не допер. Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в че-ка или в гэ-пэ-у, да еще пощелкал бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал... Знаешь, я отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь... Так я их у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь.

Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ. Дельный парень — Фриц. И хороший товарищ. Что ж, может быть, так и нужно работать? Какого черта церемониться с этой швалью! И в самом же деле, их там на Западе запугали полуподвалами че-ка до полусмерти, а с такой грязной падалью, как этот Копчик, все средства хороши...

— Ну, вопросы есть? — спросил Фриц.— Нет? Тогда я пошел.

Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола.

— Да! — спохватился Андрей.— Слушай, а ты дело о Здании случайно не забрал? Ты его оставь!..

— Дело о Здании? Голубчик, мой альтруизм так далеко не распространяется. Дело о Здании ты уж сам как-нибудь...

— Угу,— сказал Андрей с угрюмой решительностью.— Сам... Между прочим,— вспомнил он.— Что это за дело — о Падающих Звездах? Название знакомое, а в чем там суть, что это за звезды такие — не помню...

Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея.

— Есть такое дело,— произнес он.— Неужели тебе его поручили? Тогда ты пропал. Оно же у Чачуа. Совершенная безнадюга.

— Нет,— со вздохом сказал Андрей.— Никто мне его не поручал. Просто шеф рекомендовал ознакомиться. Это серия каких-то ритуальных убийств? Или нет?

— Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так. Это дело, дружище, тянется уже несколько лет. Под Стеной находят время от времени людей, разбившихся вдребезги, явно упавших со Стены, с большой высоты...

— То есть как это — со Стены? — удивился Андрей.— Разве на нее можно взобраться? Она же гладкая... И зачем? У нее и верха-то не видно...

— В том-то и дело! Сначала была идея, что там, наверху, тоже есть город, вроде нашего, и сбрасывают этих людей к нам с ихнего обрыва, ну, как у нас можно сбросить в пропасть. Но потом раза два удалось опознать трупы: оказалось — наши, местные жители... Как они туда забрались, совершенно непонятно. Пока остается только предполагать, что это какие-то отчаянные скалолазы — пытались выбраться из города наверх... Но с другой стороны... В общем, дело это какое-то темное. Мертвое дело, если хочешь знать мое мнение. Ну ладно, мне пора.

— Спасибо. Счастливо,— сказал Андрей, и Фриц ушел.

Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о Здании, в сейф и посидел немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил, потом трубку сняли, и басистый, явно нетрезвый мужской голос осведомился: «Х-алло?» Андрей молчал, прижимая трубку к уху. «Халло! Халлоу?» — рычал пьяный голос, потом замолчал, и было слышно только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы, выводившей жалобную песенку, завезенную сюда дядей Юрой:

Ставай, ставай, Катя,
Корабли стоя-ать!
Два корабля синих,
Один голубой...

Андрей повесил трубку, покряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью: «Шлюха паршивая, неисправимая...» и раскрыл папку.

Дело о Здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать ничего не знал о мрачных кулисах города. В 16-м, 18-м и 32-м участках начали вдруг систематически пропадать люди. Пропадали они совершенно бесследно, и не было в этих исчезновениях никакой системы, никакого смысла, никакой закономерности. Оле Свенссон,

43-х лет, рабочий бумажной фабрики, вышел вечером за хлебом и не вернулся, в хлебной лавке не появлялся. Стефан Цибульский, 25-ти лет, полицейский, ночью исчез с поста, на углу Главной и Алмазного найдена его портупея — и все, больше никаких следов. Моника Лерье, 55-ти лет, швея, вывела на прогулку перед сном своего шпица, шпиц вернулся здоровый и веселый, а швея исчезла. И так далее, и так далее — всего более сорока исчезновений.

Довольно быстро обнаружились свидетели, которые утверждали, что накануне исчезновения пропавшие люди заходили в некий дом, по описаниям — вроде один и тот же, но странность заключалась в том, что относительно местоположения этого дома разные свидетели давали разные показания. Иосиф Гумбольдт, 63-х лет, парикмахер, на глазах у лично знавшего его Лео Палтуса, вошел в трехэтажное, красного кирпича здание на углу Второй Правой и Серокаменного переулка, и с тех пор Иосифа Гумбольдта не видел никто. Некий Теодор Бух показал, что исчезнувший впоследствии Семен Заходько, 32-х лет, фермер, вошел в точно такое же по описанию здание, но уже на Третьей Левой улице, неподалеку от костела. Давид Мкртчян рассказал, как встретил в Глинобитном переулке своего давнего приятеля по работе Рэя Додда, 41-го года, ассенизатора,— они постояли, болтая об урожае, семейных делах и прочих нейтральных вещах, а затем Рэй Додд сказал: «Погоди минутку, мне нужно зайти в одно место, я постараюсь быстро, а если через пять минут не выйду, ты иди, значит, я задержался...» Он вошел в какое-то здание красного кирпича с окнами, замазанными мелом. Мкртчян ждал его четверть часа, не дождался и пошел своей дорогой, что же касается Рэя Додда, то он исчез бесследно и навсегда...

Красный кирпичный дом фигурировал в показаниях всех свидетелей. Одни утверждали, что он трехэтажный, другие — что четырех. Одни обратили внимание на окна, замазанные мелом, другие — на окна, забранные решетками. И не было двух свидетелей, которые указали бы одно и то же место его расположения.

По городу поползли слухи. В очередях за молоком, в парикмахерских, в локалях зловещим шепотом передавалась

из уст в уста новенькая, с иголочки, легенда о страшном Красном Здании, которое само собой бродит по городу, пристраивается где-нибудь между обычными домами и, жутко приоткрыв пасти дверей, притаившись, ждет неосторожных. Появились друзья родственников знакомых, которым удалось спастись, вырваться из ненасытной кирпичной утробы. Они рассказывали ужасные вещи и в доказательство предъявляли шрамы и переломы, полученные в прыжках со второго, третьего и даже четвертого этажей. Согласно всем этим слухам и легендам, дом внутри был пуст — там не подстерегали вас ни грабители, ни маньяки-садисты, ни кровососущие мохнатые твари. Но каменные кишки коридоров вдруг сжимались и норовили расплющить жертву; под ногами распахивались черные провалы люков, дышащие ледяным кладбищенским зловонием; неведомые силы гнали человека по мрачным сужающимся ходам и тоннелям до тех пор, пока он не застревал, забивал себя в последнюю каменную щель,— а в пустых комнатах с ободранными обоями, среди осыпавшихся с потолка пластов штукатурки жутко догнивали раскрошенные кости, торчащие из-под заскорузлого от крови тряпья...

Поначалу это дело даже заинтересовало Андрея. Он отметил на карте города крестиками те места, где видели Здание, пытался найти какую-нибудь закономерность в расположении этих крестиков, добрый десяток раз выезжал обследовать эти места и каждый раз обнаруживал на месте Здания либо заброшенный палисадник, либо пустоту между домами, либо даже обыкновенный жилой дом, ничего общего не имеющий ни с тайнами, ни с загадками.

Смущало то обстоятельство, что Красное Здание ни разу не видели при солнечном свете; смущало, что не менее половины свидетелей видели Здание, находясь в состоянии более или менее сильного алкогольного опьянения; смущали мелкие, но почти обязательные несообразности чуть ли не в каждом показании; особенно же смущала полная бессмысленность и дикость происходящего.

Изя Кацман как-то изрек по этому поводу, что миллионный город, лишенный систематической идеологии, должен неизбежно обзавестись собственными мифами. Это звучало убедительно, но люди-то ведь пропадали на самом деле!

Конечно, пропасть в городе было немудрено. Достаточно было сбросить человека с обрыва, и концы, таким образом, оказывались в воде совершенно. Однако кому и зачем нужно было сбрасывать в пропасть каких-то парикмахеров, пожилых швей, мелких лавочников? Людей без денег, без репутации, практически без врагов? Кэнси однажды высказал совершенно здравое предположение, что Красное Здание, если оно действительно существует, является, по всей видимости, составным элементом Эксперимента, а поэтому искать ему объяснения не имеет смысла — Эксперимент есть Эксперимент. В конце концов Андрей тоже остановился на этой точке зрения. Работы было невпроворот, дело о Здании насчитывало уже более тысячи листов, и Андрей засунул его на самое дно сейфа, изредка только извлекая, чтобы подшить очередное свидетельское показание.

Сегодняшний разговор с шефом открывал, однако, совершенно новые перспективы. Если в городе действительно есть люди, которые поставили перед собою (или получили от кого-то) задачу создать среди населения атмосферу паники и террора, то очень многое в деле о Здании становилось понятным. Несообразности в показаниях так называемых свидетелей легко объясняются в этом случае искажением слухов при передаче. Исчезновения людей превращаются в обыкновенные убийства с целью уплотнения атмосферы террора. В хаосе болтовни, опасливых шепотов и вранья надлежало теперь искать постоянно действующие источники, центры распространения зловещего тумана...

Андрей взял лист чистой бумаги и принялся медленно, слово за словом, пункт за пунктом набрасывать черновик плана. Через некоторое время у него получилось следующее.

Главная задача: выявление источников слухов, арест этих источников и выявление руководящего центра. Основные средства: повторный допрос всех свидетелей, дававших ранее показания в трезвом виде; выявление по цепочке и допрос лиц, утверждавших, будто они были в Здании; выявление возможных связей между этими лицами и свидетелями... Учитывать: а) агентурные данные; б) несообразности в показаниях...

Андрей покусал карандаш, пощурился на лампу и вспомнил еще одно: связаться с Петровым. Этот Петров в свое время плешь переел Андрею. У него пропала жена, и он почему-то решил, что ее поглотило Красное Здание. С тех пор он забросил все свои дела и занялся поисками этого Здания — писал бесчисленные записки в прокуратуру, которые аккуратно переправлялись в следственный отдел и попадали к Андрею, рыскал ночами по городу, несколько раз забираем был в полицию по подозрению в нечестных намерениях, буянил там, за что его сажали на десять суток, выходил и снова принимался за поиски.

Андрей выписал повестки ему, а также еще двум свидетелям, отдал эти повестки дежурному с наказом доставить немедленно, а сам отправился к Чачуа.

Чачуа, громадный разжиревший кавказец, почти без лба, но зато с гигантским носом, возлежал у себя в кабинете на диване в окружении разбухших папок с делами и спал. Андрей растолкал его.

— Э! — хрипло сказал Чачуа, пробуждаясь.— Что случилось?

— Ничего не случилось,— сердито сказал Андрей. Терпеть он не мог такой вот расхлябанности в людях.— Дай дело о Падающих Звездах.

Чачуа сел, лицо его засветилось радостью.

— Забираешь? — спросил он, хищно двигая феноменальным своим носом.

— Не радуйся, не радуйся,— сказал Андрей.— Только посмотреть.

— Слушай, зачем тебе смотреть? — горячо заговорил Чачуа.— Забирай у меня это дело совсем! Ты — красивый, молодой, энергичный, тебя шеф всем в пример ставит. Ты это дело быстро распутаешь — слазаешь на Желтую Стену и моментально распутаешь! Что тебе стоит?..

Андрей засмотрелся на его нос. Огромный, горбатый, на переносице покрытый сетью багровых жилок, с торчащими из ноздрей пучками черных жестких волос, нос этот жил своей, отдельной от Чачуа, жизнью. Видно было, что он знать ничего не хотел о заботах следователя Чачуа. Он хотел, чтобы все вокруг пили большими бокалами ледяное кахетинское,

заедали сочащимися шашлыками и влажной хрустящей зеленью, чтобы плясали, захватив края рукавов в пальцы, выкрикивая азартно «асса!» Он хотел зарываться в душистые белокурые волосы и нависать над обнаженными пышными грудями... О, он многого хотел, этот великолепный жизнелюбивый нос-гедонист, и все его многочисленные желания откровенно отражались в его независимых движениях, в перемене окраски и в разнообразных звуках, издаваемых им!..

— ...А закончишь это дело,— говорил Чачуа, закатывая маслины глаз под низкий лоб,— бож-же мой! Какая тебе будет слава! Какой почет! Ты думаешь, Чачуа стал бы предлагать тебе это дело, если бы сам мог лазать по Желтой Стене? Ни за что Чачуа не стал бы предлагать тебе этого дела! Это же золотая жила! И я предлагаю его только тебе. Многие приходили и просили его у меня. Нет, думал я. Никому из вас с ним не справиться. Один только Воронин справится, думал я...

— Ну ладно, ладно,— сказал Андрей с досадой.— Завел свою говорильню. Давай папку. Нет у меня времени тут с тобой песни петь.

Чачуа, не переставая болтать, жаловаться и хвастаться, лениво поднялся, шаркая по замусоренному полу, подошел к сейфу и принялся в нем рыться, а Андрей смотрел на его широченные жирные плечи и думал, что Чачуа, наверное, один из лучших следователей в отделе, он просто блестящий следователь, у него самый высокий процент раскрытых дел, а вот дело о Падающих Звездах ему продвинуть так и не удалось, это дело никому продвинуть не удалось — ни Чачуа, ни его предшественнику, ни предшественнику предшественника...

Чачуа достал кучу пухлых засаленных папок, и они вместе пролистали последние страницы, и Андрей тщательно переписал себе на отдельный листок имена и адреса тех двоих, которых удалось опознать, а также те немногие особые приметы, которые удалось установить у некоторых из неопознанных жертв.

— Какое дело! — восклицал Чачуа, прищелкивая языком.— Одиннадцать трупов! А ты отказываешься. Нет, Воронин, не знаешь ты, где твое счастье. Вы, русские, всегда

были идиётами — и на том свете идиётами были, и на этом остались!.. А зачем тебе это? — спросил он вдруг с интересом.

Андрей, как мог связно, объяснил ему свои намерения. Чачуа быстро схватил самую суть, но никакого особого восторга не выказал.

— Попробуй, попробуй...— сказал он вяло.— Сомневаюсь. Что такое твое Здание, и что такое моя Стена? Здание — это выдумка, а Стена — вот она, километр отсюда... Нет, Воронин, не разобраться нам с этим делом...

Впрочем, когда Андрей был уже около двери, Чачуа сказал ему вслед:

— Ну а если там что-нибудь — ты сразу мне...

— Ладно,— сказал Андрей.— Конечно.

— Послушай,— сказал Чачуа, сосредоточено морща жирный лоб и двигая носом. Андрей, приостановившись, выжидательно смотрел на него.— Давно хотел тебя спросить...— Лицо его стало серьезным.— Слушай, там у вас в семнадцатом году в Петрограде заварушка была. Чем кончилась, а?

Андрей плюнул и вышел, хлопнув дверью, под раскатистый хохот страшно довольного кавказца. Опять Чачуа поймал его на этот дурацкий анекдот. Хоть совсем с ним не разговаривай.

В коридоре перед кабинетом его ждал сюрприз. На скамье сидел какой-то насмерть перепуганный, взъерошенный, с заспанными глазами человечек, зябко кутающийся в пальто. Дежурный за столиком с телефоном вскочил и браво гаркнул:

— Свидетель Эйно Саари по вашему вызову доставлен, господин следователь!

Андрей обалдело воззрился на него.

— По-какому моему вызову?

Дежурный тоже несколько обалдел.

— Вы же сами...— сказал он обиженно.— Полчаса назад... Вручили мне повестки, велели доставить немедленно...

— Господи,— сказал Андрей.— Повестки! Повестки я велел вам доставить немедленно, черт вас подери! На завтра, на десять утра! — Он взглянул на бледно улыбающегося Эйно Саари и на белые тесемки кальсон, свисающие у него из-под брючин, затем снова посмотрел на дежурного.— И остальных сейчас привезут? — спросил он.

— Так точно,— угрюмо сказал дежурный.— Как мне было сказано, так я и сделал.

— Я на вас рапорт подам,— сказал Андрей, еле сдерживаясь.— Переведут вас на улицу — сумасшедших по утрам загонять,— наплачетесь вы у меня тогда... Ну что ж,— произнес он, обращаясь к Саари.— Раз уж так получилось, заходите...

Он указал Эйно Саари на табурет, сел за стол и взглянул на часы. Было начало первого ночи. Надежда хорошенько выспаться перед завтрашним тяжелым днем печально испарилась.

— Ну ладно,— проговорил он со вздохом, раскрыл дело о Здании, перелистал огромную кипу протоколов, донесений, отношений и экспертиз, отыскал лист с прежними показаниями Саари (43-х лет, саксофонист 2-го городского театра, разведен) и еще раз пробежал глазами.— Ладно,— повторил он.— Мне, собственно, требуется кое-что уточнить относительно ваших показаний, которые вы давали в полиции месяц назад.

— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал Саари, с готовностью наклоняясь вперед и каким-то женским движением придерживая на груди распахивающееся пальто.

— Вы показали, что ваша знакомая, Элла Стремберг, на ваших глазах вошла в двадцать три часа сорок минут восьмого сентября нынешнего года в так называемое Красное Здание, имевшее тогда находиться на улице Попугаев в промежутке между гастрономическим магазином номер сто пятнадцать и аптекой Штрема. Вы подтверждаете это показание?

— Да, да, подтверждаю. Все было совершенно так. Только вот насчет даты... Точной даты я уже не помню, все-таки месяц с лишним прошел...

— Это неважно,— сказал Андрей.— Тогда вы помнили, да и с другими показаниями это совпадает... Теперь у меня к вам просьба: опишите снова и поподробнее это самое так называемое Красное Здание...

Саари склонил голову набок и задумался.

— Значит, таким образом,— сказал он.— Три этажа. Старый кирпич, темно-красный, как казарма, вы понимаете

меня? Окна, знаете ли, такие узкие, высокие. На нижнем этаже все они закрашены мелом и, как сейчас помню, не освещены...— Он опять немного подумал.— Вы знаете, насколько я помню, там вообще не было ни одного освещенного окна. Ну, и... вход. Каменные ступени, две или три... Тяжелая такая дверь... медная такая старинная ручка, резная. Элла ухватилась за эту ручку и с таким, знаете ли, усилием потянула дверь на себя... Номера дома я не заметил, не помню, был ли номер... Словом, общий облик старинного казенного здания, что-нибудь конца прошлого века.

— Так,— сказал Андрей.— А скажите, вам часто приходилось бывать на этой улице Попугаев?

— В первый раз. И, собственно, в последний. Живу я довольно далеко оттуда, в тех краях не бываю, а в этот раз как-то так получилось, что я решил Эллу проводить. У нас была вечеринка, я за ней... м-м-м... ну, немножко ухаживал и пошел ее провожать. Мы очень мило беседовали по дороге, потом она вдруг сказала: «Ну, пора расставаться», поцеловала меня в щеку, и не успел я опомниться, как она уже нырнула в этот дом. Я, признаться, подумал тогда, что она там живет...

— Понятно,— сказал Андрей.— На вечеринке вы, вероятно, пили?

Саари сокрушенно хлопнул себя ладонями по коленям.

— Нет, господин следователь,— сказал он.— Ни капли. Пить мне нельзя — врачи не рекомендуют.

Андрей сочувственно покивал.

— А вы не помните, случайно, были у этого здания печные трубы?

— Да, конечно, помню. Должен вам сказать, вид этого здания как-то поражает воображение, так что оно и сейчас как бы стоит у меня перед глазами. Там была такая черепичная крыша и три довольно высокие трубы. Из одной, помнится, шел дым, и я подумал еще тогда, как у нас все-таки много еще сохранилось домов с печным отоплением...

Момент настал. Андрей осторожно положил карандаш поперек протоколов, чуть подался вперед и пристально, значительно сощуренными глазами уставился на Эйно Саари, саксофониста:

— В ваших показаниях имеют место несообразности. Во-первых, как обнаружила экспертиза, вы, находясь на улице Попугаев, никак не могли видеть ни крыши, ни печных труб трехэтажного здания.

У Эйно Саари, завравшегося саксофониста, отвисла челюсть, глаза растерянно забегали.

— Далее. Как установлено следствием, улица Попугаев в ночное время не освещается вообще, и поэтому совершенно непонятно, каким образом в кромешной ночной темноте, за триста метров до ближайшего фонаря, вы различили такую массу деталей: цвет здания, старинный кирпич, медную ручку на двери, форму окон и, наконец, дым из трубы. Я хотел бы узнать, как вы объясняете эти несообразности.

Некоторое время Эйно Саари беззвучно открывал и закрывал рот. Потом он судорожно глотнул всухую и проговорил:

— Ничего не понимаю... Вы меня совсем растеряли... Мне это просто и в голову не приходило...

Андрей выжидательно молчал.

— Действительно, как я об этом раньше не подумал... Ведь на этой улице Попугаев было совершенно темно! Не то что домов — тротуара под ногами не видно было... И крыша... Я же стоял у самого дома, у крыльца... но я совершенно отчетливо помню и крышу, и кирпичи, и дым из трубы — такой белый ночной дымок, как будто освещенный луной...

— Да, странно,— произнес Андрей деревянным голосом.

— И ручка на дверях... Такая медная, отполированная многими прикосновениями... этакое хитрое сплетение цветов, листиков... Я бы мог ее сейчас нарисовать, если бы умел рисовать... И в то же время темнота была абсолютная — я лица Эллы не различал, только по голосу чувствовал, что она улыбается, когда...

В расширенных глазах Эйно Саари появилась какая-то новая мысль. Он прижал руки к груди.

— Господин следователь! — сказал он отчаянным голосом.— У меня в голове сейчас сумятица, но я отчетливо понимаю, что свидетельствую против себя, навожу вас на подозрения. Но я — человек честный, родители мои были честнейшие, глубоко религиозные люди... Все, что я вам

сейчас говорю, есть полная и чистейшая правда! Все именно так и было. Просто раньше мне это не приходило в голову. Была кромешная тьма, я стоял у самого дома, и в то же время я помню каждый кирпичик, а черепичную крышу вижу так, будто она вот тут, рядом со мной... и три трубы... И дымок.

— Гм...— сказал Андрей и постучал пальцами по столу.— А может быть, вы не сами все это видели? Может быть, кто-нибудь вам об этом рассказывал?.. До случая с госпожой Стремберг вам приходилось слышать о Красном Здании?

Глаза Эйно Саари вновь смятенно забегали.

— Н-н-н... не припоминаю...— проговорил он.— Потом — да. Уже когда Элла пропала, когда я ходил в полицию... когда был уже объявлен розыск... потом было много разговоров. Но до этого... Господин следователь! — сказал он торжественно.— Я не могу поклясться, что я ничего не слышал о Красном Здании раньше, до исчезновения Эллы, но я могу поклясться, что ничего не помню об этом.

Андрей взял ручку и принялся писать протокол. Одновременно он говорил нарочито монотонным, казенным голосом, который по идее должен был навеять на подследственного суконную тоску и ощущение неизбежного рока, движимого безупречной машиной правосудия.

— Вы сами должны понимать, господин Саари, что следствие не может удовлетвориться вашими показаниями. Элла Стремберг исчезла бесследно, и последний человек, который ее видел,— вы, господин Саари. Красное Здание, которое вы здесь так подробно описали, на улице Попугаев не существует. Описание Красного Здания, которое вы даете, неправдоподобно, ибо противоречит элементарным физическим законам. Наконец, как известно следствию, Элла Стремберг жила в совершенно другом районе, далеко от улицы Попугаев. Это само по себе, конечно, не есть улика против вас, но вызывает дополнительные подозрения. Я вынужден задержать вас впредь до выяснения ряда обстоятельств... Прошу прочесть и подписать протокол.

Эйно Саари, не говоря ни слова, приблизился к столу и, не читая, поставил свою подпись на каждом листке протокола. Карандаш дрожал у него в пальцах, узкий подбородок

отвис и тоже трясся. Потом он, шаркая ногами, вернулся к табурету, сел обессиленно и, стиснув руки, сказал:

— Хочу еще раз подчеркнуть, господин следователь, что давая показания...— Голос у него сорвался, он снова глотнул.— Давая показания, я сознавал, что поступаю себе во вред. Я мог бы что-нибудь выдумать, наврать... Я мог бы вообще не участвовать в розыске — никто ведь не знал, что я ушел провожать Эллу...

— Это ваше заявление,— сказал Андрей равнодушным голосом,— уже фактически содержится в протоколе. Если вы не виноваты, вам ничего не грозит. Сейчас вас препроводят в камеру предварительного заключения. Вот вам бумага и карандаш. Вы можете оказать помощь следствию, да и себе самому, если самым подробным образом напишете, кто, когда и при каких обстоятельствах говорил с вами о Красном Здании. Безразлично — до исчезновения Эллы Стремберг или после. Самым подробным образом: кто — имя, адрес; когда — точная дата, время суток; при каких обстоятельствах — где, по какому поводу, с какой целью, в каком тоне. Вы меня поняли?

Эйно Саари кивнул и беззвучно сказал «да». Андрей, пристально глядя ему в глаза, продолжал:

— Я уверен, что все подробности о Красном Здании вы узнали где-то на стороне. Сами вы его, может быть, даже и не видели. И я настоятельно рекомендую вам вспомнить: кто снабдил вас этими подробностями — кто, когда, при каких обстоятельствах. И с какой целью.

Он звонком вызвал дежурного, и саксофониста увели. Андрей потер руки, наколол протокол и подшил его в дело, спросил горячего чая и вызвал следующего свидетеля. Он был доволен собой. Все-таки воображение и знание элементарной геометрии — полезные вещи. Завравшийся Эйно Саари был ущучен по всем правилам науки.

Следующий свидетель, вернее, свидетельница, Матильда Гусакова (62-х лет, вязание на дому, вдова) представляла собой, по крайней мере по идее, гораздо более простой случай. Это была могучая старуха с маленькой, сплошь седой головкой, румяными щечками и хитрыми глазами. Она нисколько не выглядела заспанной или испуганной, а наоборот, кажется,

была очень довольна приключением. В прокуратуру она явилась со своей корзинкой, мотками разноцветной шерсти, набором спиц, а в кабинете немедленно взгромоздилась на табурет, надела очки и заработала спицами.

— Следствию стало известно, госпожа Гусакова,— начал Андрей,— что некоторое время назад вы в кругу своих друзей рассказывали о происшествии с неким Франтишеком, который якобы попал в так называемое Красное Здание, претерпел там разнообразные приключения и с трудом вырвался на свободу. Было такое?

Престарелая Матильда усмехнулась, ловко выхватила одну спицу, пристроила другую и сказала, не поднимая глаз от вязанья:

— Было, было такое. Рассказывала я, и не раз, только вот откуда это стало известно следствию, хотела бы я знать... У меня вроде бы знакомых среди судейских нет...

— Должен вам сообщить,— доверительно сказал Андрей,— что в настоящее время ведется следствие по поводу так называемого Красного Здания, и мы чрезвычайно заинтересованы войти в контакт хотя бы с одним человеком, который в этом здании побывал...

Матильда Гусакова его не слушала. Она положила вязанье на колени и задумчиво смотрела в стену.

— Кто же это мог сообщить? — проговорила она.— Вот уж не ожидала!..— Она покачала головой.— И здесь, оказывается, надо соображать, кто да с кем... При немцах сидели — рот на замке. Советы пришли — ничего не переменилось. Сюда подалась — и тут, значит, та же картина...

— Позвольте, пани Гусакова,— прервал ее Андрей.— Вы, по-моему, превратно рассматриваете ситуацию. Вы ведь, насколько я понимаю, не совершили никакого преступления. Мы рассматриваем вас только как свидетеля, как помощника, который...

— Э, голубчик! Какие уж тут помощники? Полиция есть полиция.

— Да нет же! — Андрей для убедительности прижал руку к сердцу.— Мы ищем банду преступников! Они похищают людей и, судя по всему, убивают их. Человек, который

побывал в их лапах, может оказать следствию неоценимую услугу!

— Да вы что, голубчик,— сказала старуха,— вы что, верите в это самое Красное Здание?

— А вы разве не верите? — спросил Андрей, несколько опешив.

Старуха не успела ответить. Дверь кабинета приоткрылась, из коридора прорвался гомон возбужденных голосов, и в щель просунулась коренастая черноголовая фигура, которая кричала в коридор: «Да, срочно! Срочно надо!» Андрей нахмурился, но тут фигуру вновь втянули в коридор, и дверь захлопнулась.

— Простите, нас отвлекли,— сказал Андрей.— Вы, кажется, хотели сказать, что сами не верите в это Красное Здание?

Не переставая работать спицами, престарелая Матильда пожала одним плечом.

— Ну какой же взрослый человек может в это поверить? Дом, видите ли, у них бегает с места на место, внутри у него все двери с зубами, поднимаешься по лестнице вверх — оказываешься в подвале... Конечно, в здешних местах все может случиться, Эксперимент есть Эксперимент, но это уж все-таки слишком... Нет, не верю. Конечно, в каждом городе есть дома, которые глотают людей, наверное, и в нашем без таких домов не обходится, но вряд ли дома эти бегают с места на место... да и лестницы там, как я понимаю, самые обыкновенные.

— Позвольте, пани Гусакова,— сказал Андрей.— А зачем же тогда вы эти басни всем рассказываете?

— А почему же не рассказывать, если люди слушают? Скучно же людям, особенно старикам, вроде нас...

— Так вы это что — сами выдумали?

Престарелая Матильда открыла рот, чтобы ответить, но тут у Андрея над самым ухом отчаянно заверещал телефон. Андрей чертыхнулся и схватил трубку.

— Андрю-шоно-чек...— произнес в трубке совершенно пьяный голос Сельмы.— Я их всех выпел-ра... выпер-ла. Ты чего не идешь?

— Извини,— сказал Андрей, покусывая губу и косясь на старуху.— Я сейчас очень занят, я тебе...

— А я не же-ла-ю! — заявила Сельма.— Я тебя люблю, я тебя жду. Я у тебя пьянень-ка-я, го-лень-ка-я, мне холодно...

— Сельма,— понизив голос, сказал Андрей в самую трубку.— Не валяй дурака. Я очень занят.

— Все равно ты такой девочки не... не найдешь в этом нуж... нужнике. Я вот тут свернулась калачиком... совсем-совсем голень... голенькая...

— Я приеду через полчаса,— проговорил Андрей торопливо.

— Ду-ра-чок! Через пол... полчаса я спать уже буду... Кто ж через полчаса приезжает?

— Ну ладно, Сельма, ну пока,— сказал Андрей, проклиная тот день и час, когда он дал этой распутной девке телефон своего кабинета.

— Ну и пошел к черту! — заорала вдруг Сельма и дала отбой. Так небось грохнула трубку, что весь телефон разнесла. Андрей, сжав зубы от бешенства, осторожно положил свою трубку и несколько секунд сидел, не смея поднять глаза. Мысли у него разбегались. Потом он откашлялся.

— Ну так,— сказал он.— Угу... Значит, рассказывали вы просто так, от скуки...— Он вспомнил наконец свой последний вопрос.— Значит, прикажете вас так понимать, что вы сами выдумали всю эту историю с Франтишеком?

Старуха снова открыла было рот, чтобы ответить, и снова ничего не получилось. Дверь распахнулась, на пороге возник дежурный и браво отрапортовал:

— Прошу прощения, господин следователь! Доставленный свидетель Петров требует, чтобы вы допросили его немедленно, поскольку он имеет сообщить...

Глаза у Андрея застлала мутная пелена. Он изо всех сил хватил обоими кулаками по столу и заорал так, что у самого в ушах зазвенело:

— Черт вас подери, дежурный! Вы что, устава не знаете? Куда вы претесь со своим Петровым? Вы что, у себя в сортире? Кр-ругом — марш!

Дежурный исчез, как не был. Андрей, чувствуя, что губы у него трясутся от ярости, налил себе онемевшими руками воды из графина и выпил. В горле у него саднило

от дикого рева. Он исподлобья поглядел на старуху. Престарелая Матильда знай себе вязала, как ни в чем не бывало.

— Прошу прощения,— пробурчал он.

— Ничего, молодой человек,— успокоила его Матильда.— Я на вас не в обиде. Так вот вы спросили, может, я сама все это выдумала. Нет, голубчик, не сама. Где мне такое выдумать! Надо же: лестницы — идешь вверх, а попадаешь вниз... Мне бы такое и во сне не приснилось. Как мне рассказали, так и я рассказала...

— А кто именно вам рассказал?

Старуха, не переставая вязать, покачала головой.

— Вот этого уж я не упомню. В очереди рассказывала одна женщина. Франтишек этот якобы зять одной ее знакомой. Тоже врала, конечно. В очереди такого иной раз наслышишься, что ни в каких газетах не прочтешь...

— А когда это примерно было? — спросил Андрей, понемногу приходя в себя и уже досадуя, что погорячился и взял слишком круто в лоб.

— Месяца два назад, наверное... а может, и три.

Да, испортил я допрос, думал Андрей с горечью. Испортил я, к чертям собачьим, допрос из-за этой стервы и из-за этого болвана — дежурного. Нет, я этого так не оставлю, я его, дубину стоеросовую, припеку. Он у меня попляшет. Он у меня побегает за психами по утреннему холодку... Ну ладно, а со старухой-то что теперь делать? Заперлась ведь старуха, не хочет имен называть...

— А вы уверены, пани Гусакова,— приступил он снова,— что так уж совсем не помните имени той женщины?

— Не помню, голубчик, совсем не помню,— весело откликнулась престарелая Матильда, не переставая бойко сверкать спицами.

— А может быть, подруги ваши помнят?..

Движение спиц несколько замедлилось.

— Вы ведь называли им это имя, верно? — продолжал Андрей.— Вполне ведь возможно, что у них память окажется получше?

Матильда опять пожала одним плечом и ничего не ответила. Андрей откинулся на спинку стула.

— Вот ведь какое у нас с вами получается положение, пани Гусакова. Имя той женщины вы то ли забыли, то ли просто не хотите нам сказать. А подружки ваши его помнят. Значит, придется нам вас немного здесь задержать, чтобы не могли вы предупредить ваших подружек, и держать мы вас будем вынуждены до тех пор, пока либо вы сами, либо кто-нибудь из ваших подружек не вспомнит, от кого вы слыхали эту историю.

— Воля ваша,— сказала пани Гусакова смиренно.

— Так-то оно так,— произнес Андрей.— Но вот пока вы будете вспоминать, а мы будем возиться с вашими подружками, люди-то будут продолжать исчезать, бандиты будут радоваться и потирать руки, и все это будет происходить от вашего странного предубеждения против органов следствия.

Престарелая Матильда ничего не ответила. Она только упрямо поджала сморщенные губы.

— Вы поймите, до чего все это нелепо получается,— продолжал втолковывать Андрей.— Мало того, что нам приходится и днем, и ночью возиться с отребьем, с гадами, с мерзавцами,— приходит честный человек и ни в какую не желает нам помочь. Ну что это такое? Дико ведь! Да и бессмысленна эта ваша, простите, детская затея. Вы не вспомните — ваши подружки вспомнят, а все равно мы имя этой женщины узнаем, до Франтишека доберемся, и он нам поможет взять все это гнездо. Если только его раньше не укокошат бандиты как опасного свидетеля... А ведь если его убьют, виноваты будете и вы, пани Гусакова! Не по суду, конечно, не по закону, а по совести, по человечеству виноваты!

Вложивши в эту маленькую речь весь заряд своей убежденности, Андрей утомленно закурил сигарету и стал ждать, незаметно поглядывая на циферблат часов. Он положил себе ждать ровно три минуты, а потом, если вздорная старуха так и не расколется, отправить ее, старую корягу, в камеру, хоть и будет это совсем противозаконно. Но, в конце концов, надо же все-таки форсировать это проклятое дело... Сколько можно с каждой старухой возиться? Ночь в камере иногда производит на людей прямо-таки волшебное воздействие... Ну, а если возникнут какие-нибудь неприятности по поводу

превышения полномочий... не возникнут, не станет она жаловаться, не похоже... ну, а если все-таки возникнут, так в конце концов Главный прокурор лично в этом деле заинтересован и, надо полагать, не выдаст. Ну, влепят выговор. Что я им — ради благодарностей работаю? Пусть лепят. Только бы дело это проклятое хоть немножко продвинуть... хоть чуть-чуть...

Он курил, вежливо разгоняя клубы дыма, секундная стрелка бодро бежала по циферблату, а пани Гусакова все молчала и только тихонько позвякивала своими спицами.

— Так,— сказал Андрей, когда истекла четвертая минута. Он решительным жестом вдавил окурок в переполненную пепельницу.— Вынужден вас задержать. За сопротивление следствию. Воля ваша, пани Гусакова, но, по-моему, это ребячество какое-то... Подпишите вот протокол, и вас препроводят в камеру.

Когда престарелую Матильду увели (на прощание она пожелала ему спокойной ночи), Андрей вспомнил, что ему так и не принесли горячего чая. Он высунулся в коридор, длинно и резко напомнил дежурному о его обязанностях и приказал ввести свидетеля Петрова.

Свидетель Петров, коренастый, почти квадратный, черный, как ворона, а на вид — совершеннейший бандит, мафиози девяносто шестой пробы,— прочно уселся на табуретку и, не говоря ни слова, стал злобно исподлобья глядеть, как Андрей прихлебывает чай.

— Ну что же вы, Петров? — сказал ему Андрей благодушно.— Рвались сюда, скандалили, работать мне мешали, а теперь вот молчите...

— А чего с вами, дармоедами, разговаривать? — сказал Петров злобно.— Раньше надо было жопой пошевелить, теперь уже поздно.

— А что же это такое экстренное произошло? — осведомился Андрей, пропуская «дармоедов» и все прочее мимо ушей.

— А то произошло, что пока вы здесь болтовней занимались, устав свой говённый соблюдали, я Здание видел!

Андрей осторожно положил ложечку в стакан.

— Какое здание? — спросил он.

— Да вы что, в самом деле? — моментально взбесился Петров.— Вы что, шутки со мной шутите? Какое здание... Красное! То самое! Стоит, сволочь, прямо на Главной, и люди туда заходят, а вы тут чаек попиваете... Каких-то старух дурацких терзаете...

— Минуточку, минуточку!..— сказал Андрей, вынимая из папки план города.— Где вы видели? Когда?

— Да вот сейчас, когда везли меня сюда... Я этому идиоту говорю: «Останови!», а он гонит... Здесь дежурному говорю: давай скорее туда наряд полиции — он тоже не мычит не телится...

— Где вы его видели? В каком месте?

— Синагогу знаете?

— Да,— сказал Андрей, находя на карте синагогу.

— Так вот между синагогой и кинотеатриком — есть там такой занюханный.

На карте между синагогой и кинотеатром «Новый Иллюзион» значился сквер с фонтаном и детской площадкой. Андрей покусал кончик карандаша.

— Когда же это вы его видели? — спросил он.

— Двенадцать двадцать было,— сказал Петров угрюмо.— А сейчас уже — пожалуйста, почти час. Станет оно вас дожидаться... Я, бывало, через пятнадцать, через двадцать минут прибегал, его уже не было, а тут...— Он безнадежно махнул рукой.

Андрей снял трубку и приказал:

— Мотоцикл с коляской и одного полицейского. Немедленно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мотоцикл с треском мчался по Главной улице, подпрыгивая на разбитом асфальте. Андрей, скорчившись, прятал лицо за ветровым щитком коляски, но его все равно пробирало насквозь. Надо было захватить шинель.

Время от времени с тротуаров навстречу мотоциклу выскакивали, кривляясь и приплясывая, синие от холода психи, орали что-то неслышное за шумом двигателя — полицейский

мотоциклист притормаживал тогда, ругаясь сквозь зубы, увертывался от цепких протянутых рук, прорывался сквозь цепи полосатых балахонов и тут же снова разгонял машину так, что Андрея отбрасывало назад.

Кроме сумасшедших, никого на улице больше не было. Только однажды им повстречалась медленно катящаяся патрульная машина с оранжевой мигалкой на крыше, да на площади перед мэрией они увидели неуклюже бегущего огромного лохматого павиана. Павиан бежал опрометью, а за ним с гиканьем и пронзительными воплями гнались небритые люди в полосатых пижамах. Андрей, повернув голову, увидел, как они настигли-таки павиана, повалили, растянули в разные стороны за задние и передние лапы и принялись мерно раскачивать под жуткую загробную песню.

Мчались навстречу редкие фонари, черные кварталы, словно вымершие, без единого огонька, потом впереди показалась смутная желтоватая громада синагоги, и Андрей увидел Здание.

Оно стояло прочно и уверенно, будто всегда, многие десятилетия, занимало это пространство между стеной синагоги, изрисованной свастиками, и задрипанным кинотеатриком, оштрафованным на прошлой неделе за показ порнографических фильмов в ночное время,— стояло на том самом месте, где еще вчерашним днем росли чахлые деревца, бил худосочный фонтанчик в неподобающе громадной неряшливой цементной чаше, а на веревочных качелях висли и визжали разномастные ребятишки.

Оно было действительно красное, кирпичное, четырехэтажное, и окна нижнего этажа были забраны ставнями, и несколько окон на втором и третьем этажах светились желтым и розовым, а крыша была крыта оцинкованной жестью, и рядом с единственной трубой укреплена была странная, с несколькими поперечинами антенна. К двери действительно вело крыльцо из четырех каменных ступенек, блестела медная ручка, и чем дольше Андрей смотрел на это здание, тем явственнее раздавалась у него в ушах какая-то торжественная и мрачная мелодия, и мельком он вспомнил, что многие из свидетелей показывали, будто в Здании играет музыка...

Андрей поправил козырек фуражки, чтобы не заслонял глаза, и взглянул на полицейского мотоциклиста. Угрюмый толстяк сидел нахохлившись, втянув голову в поднятый воротник, и сонно курил, держа сигарету в зубах.

— Видишь его? — спросил Андрей вполголоса.

Толстяк неловко повернул голову и отогнул воротник.

— А?

— Дом, говорю, видишь? — спросил Андрей, раздражаясь.

— Не слепой,— отозвался полицейский угрюмо.

— А раньше его видел здесь?

— Нет,— сказал полицейский.— Здесь не видел. В других местах — видел. А что? Здесь ночью и не такое увидишь...

Музыка у Андрея в ушах ревела с трагической силой, так что он даже плохо слышал полицейского. Происходили какие-то огромные похороны, тысячи и тысячи людей плакали, провожая своих близких и любимых, и ревущая музыка не давала им успокоиться, забыться, отключить себя...

— Жди меня здесь,— сказал Андрей полицейскому, но полицейский не ответил, что, впрочем, было и не удивительно, ибо он со своим мотоциклом остался на той стороне улицы, а Андрей стоял на каменном крыльце перед высокой дубовой дверью с медной ручкой.

Тогда Андрей посмотрел направо вдоль Главной улицы в туманную мглу, налево вдоль Главной улицы в туманную мглу, простился со всем этим на всякий случай и положил руку в перчатке на вычурно-резную блестящую медь.

За дверью оказалась небольшая спокойная прихожая, неярко освещенная желтоватым светом, гроздья шинелей, пальто и плащей свисали с разлапистой, как пальма, вешалки. Под ногами был потертый ковер с бледными неопределенными узорами, а прямо впереди — широкая мраморная лестница с красной мягкой дорожкой, прижатой к ступеням металлическими, хорошо начищенными прутьями. Были еще какие-то картины на стенах, и было еще что-то за дубовым барьером справа, и был кто-то рядом, кто почтительно отобрал у Андрея папку и шепнул: «Наверх, пожалуйста...» Ничего этого Андрей разобрать не мог, ему ужасно мешал

козырек фуражки, который все время съезжал на самые глаза, так что Андрей мог видеть только то, что было у него под ногами. На середине лестницы он подумал, что надо было бы сдать проклятую фуражку в гардероб этому раззолоченному типу в галунах и с бакенбардами до пояса, но теперь было уже поздно, а здесь все было устроено так, что все надо было делать вовремя или не делать совсем, и каждый ход свой, каждое свое действие возвращать назад было уже нельзя. И он со вздохом облегчения шагнул через последнюю ступеньку и снял фуражку.

Как только он появился в дверях, все встали, но он ни на кого не глядел. Он видел только своего партнера, невысокого пожилого мужчину в костюме полувоенного образца, в блестящих хромовых сапожках, мучительно на кого-то похожего и в то же время совершенно незнакомого.

Все неподвижно стояли вдоль стен, белых мраморных стен, украшенных золотом и пурпуром, задрапированных яркими разноцветными знаменами... нет, не разноцветными, все было красное с золотом, только красное и только с золотом, и с бесконечно далекого потолка свисали огромные пурпурно-золотые полотнища, словно материализовавшиеся ленты какого-то невероятного северного сияния, все стояли вдоль стен с высокими полукруглыми нишами, а в нишах прятались в сумраке горделиво-скромные бюсты, мраморные, гипсовые, бронзовые, золотые, малахитовые, нержавеющей стали... холодом могил веяло из этих ниш, все мерзли, все украдкой потирали руки и ежились, но все стояли навытяжку, глядя прямо перед собой, и только пожилой человек в полувоенной форме, партнер, противник, медленно, неслышными шагами расхаживал в пустом пространстве посередине зала, слегка наклонив массивную седеющую голову, заложив руки за спину, сжимая левой рукой кисть правой. И когда Андрей вошел, и когда все встали и уже стояли некоторое время, и когда под сводами зала уже затих, запутавшись в пурпуре и золоте, едва слышный вздох как бы облегчения, человек этот еще продолжал прохаживаться, а потом вдруг, на полушаге, остановился и очень внимательно, без улыбки поглядел на Андрея, и Андрей увидел, что волосы у него на большом черепе редкие

и седые, лоб низкий, пышные усы — тоже редкие и аккуратно подстриженные, а равнодушное лицо — желтоватое, с неровной, как бы изрытой кожей.

В представлениях не было нужды, и не было нужды в приветственных речах. Они сели за инкрустированный столик, у Андрея оказались черные, а у пожилого партнера — белые, не белые, собственно, а желтоватые, и человек с изрытым лицом протянул маленькую безволосую руку, взял двумя пальцами пешку и сделал первый ход. Андрей сейчас же двинул навстречу свою пешку, тихого надежного Вана, который всегда хотел только одного — чтобы его оставили в покое,— и здесь ему будет обеспечен некоторый, впрочем, весьма сомнительный и относительный, покой, здесь, в самом центре событий, которые развернутся, конечно, которые неизбежны, и Вану придется туго, но именно здесь его можно будет подпирать, прикрывать, защищать — долго, а при желании — бесконечно долго.

Две пешки стояли друг напротив друга, лоб в лоб, они могли коснуться друг друга, могли обменяться ничего не значащими словами, могли просто тихо гордиться собой, гордиться тем, что вот они, простые пешки, обозначили собою ту главную ось, вокруг которой будет теперь разворачиваться игра. Но они ничего не могли сделать друг другу, они были нейтральны друг к другу, они были в разных боевых измерениях — маленький желтый бесформенный Ван с головой, привычно втянутой в плечи, и плотный, по-кавалерийски кривоногий мужичок в бурке и в папахе, с чудовищными пушистыми усами, со скуластым лицом и жесткими, слегка раскосыми глазами.

Снова на доске было равновесие, и это равновесие должно было продлиться довольно долго, потому что Андрей знал, что партнер его — человек гениальной осторожности, всегда полагавший, что самое ценное — это люди, а значит, Вану в ближайшее время ничто не может угрожать, и Андрей отыскал в рядах Вана и чуть-чуть улыбнулся ему, но сейчас же отвел глаза, потому что встретился с внимательным и печальным взглядом Дональда.

Партнер думал, неторопливо постукивая мундштуком длинной папиросы по инкрустированной перламутром

поверхности столика, и Андрей снова покосился на замершие ряды вдоль стен, но теперь он уже смотрел не на своих, а на тех, кем распоряжался его соперник. Там почти не было знакомых лиц: какие-то неожиданно интеллигентного вида люди в штатском, с бородами, в пенсне, в старомодных галстуках и жилетках, какие-то военные в непривычной форме, с многочисленными ромбами в петлицах, при орденах, привинченных на муаровые подкладки... Откуда он набрал таких, с некоторым удивлением подумал Андрей и снова посмотрел на выдвинутую вперед белую пешку. Эта пешка была ему, по крайней мере, хорошо знакома — человек легендарной некогда славы, который, как шептались взрослые, не оправдал возлагавшихся на него надежд и теперь, можно сказать, сошел со сцены. Он, видно, и сам знал это, но не особенно горевал — стоял, крепко вцепившись в паркет кривыми ногами, крутил гигантские свои усы, исподлобья поглядывал по сторонам, и от него остро несло водкой и конским потом.

Партнер поднял над доскою руку и переставил вторую пешку. Андрей закрыл глаза. Этого он никак не ожидал. Как же это так — прямо сразу? Кто это? Красивое бледное лицо, вдохновенное и в то же время отталкивающее каким-то высокомерием, голубоватое пенсне, изящная вьющаяся бородка, черная копна волос над светлым лбом — Андрей никогда раньше не видел этого человека и не мог сказать, кто он, но был он, по-видимому, важной персоной, потому что властно и кратко разговаривал с кривоногим мужичком в бурке, а тот только шевелил усами, шевелил желваками на скулах и все отводил в сторону слегка раскосые глаза, словно огромная дикая кошка перед уверенным укротителем.

Но Андрею не было дела до их отношений — решалась судьба Вана, судьба маленького, всю свою жизнь мучившегося Вана, совсем уже втянувшего голову в плечи, уже готового к самому худшему и безнадежно покорного в своей готовности, и тут могло быть только одно из трех: либо Вана, либо Ван, либо все оставить так, как есть, подвесить жизни этих двоих в неопределенности — на высоком языке стратегии это называлось бы «непринятый ферзевый гамбит» — и

такое продолжение было известно Андрею, и он знал, что оно рекомендуется в учебниках, знал, что это азбука, но он не мог вынести и мысли о том, что Ван еще в течение долгих часов игры будет висеть на волоске, покрываясь холодным потом предсмертного ужаса, а давление на него будет все наращиваться и наращиваться, пока, наконец, чудовищное напряжение в этом пункте не сделается совершенно невыносимым, гигантский кровавый нарыв прорвется, и от Вана не останется и следа.

Я этого не выдержу, подумал Андрей. И в конце концов, я совсем не знаю этого человека в пенсне, какое мне до него дело, почему это я должен жалеть его, если даже мой гениальный партнер думал всего несколько минут, прежде чем решился предложить эту жертву... И Андрей снял с доски белую пешку и поставил на ее место свою, черную, и в то же мгновение увидел, как дикая кошка в бурке вдруг впервые в жизни взглянула укротителю прямо в глаза и оскалила в плотоядной ухмылке желтые прокуренные клыки. И сейчас же какой-то смуглый, оливково-смуглый, не по-русски, не по-европейски даже выглядящий человек скользнул между рядами к голубому пенсне, взмахнул огромной ржавой лопатой, и пенсне голубой молнией брызнуло в сторону, а человек с бледным лицом великого трибуна и несостоявшегося тирана слабо ахнул, ноги его подломились, и небольшое ладное тело покатилось по выщербленным древним ступеням, раскаленным от тропического солнца, пачкаясь в белой пыли и ярко-красной липкой крови... Андрей перевел дыхание, проглотил мешающий комок в горле и снова посмотрел на доску.

А там уже две белые пешки стояли рядом, и центр был прочно захвачен стратегическим гением, и, кроме того, из глубины прямо в грудь Вану нацелился зияющий зрачок неминуемой гибели — тут нельзя было долго размышлять, тут дело было уже не только в Ване: одно-единственное промедление, и белый слон вырвется на оперативный простор — он давно уже мечтает вырваться на оперативный простор, этот высокий статный красавец, украшенный созвездиями орденов, значков, ромбов, нашивок, гордый красавец с ледяными глазами и пухлыми, как у юноши, губами,

гордость молодой армии, гордость молодой страны, преуспевающий соперник таких же высокомерных, усыпанных орденами, значками, нашивками гордецов западной военной науки. Что ему Ван? Десятки таких Ванов он зарубил собственной рукой, тысячи таких Ванов, грязных, вшивых, голодных, слепо уверовавших в него, по одному его слову, яростно матерясь, в рост шли на танки и пулеметы, и те из них, которые чудом остались в живых, теперь уже холеные и отъевшиеся, готовы были идти и сейчас, готовы были повторить все сначала...

Нет, этому человеку нельзя было отдавать ни Вана, ни центра. И Андрей быстро двинул вперед пешку, стоявшую на подхвате, не глядя, кто это, и думая только об одном: прикрыть, подпереть Вана, защитить его хотя бы со спины, показать великому танкисту, что Ван, конечно, в его власти, но дальше Вана ему не пройти. И великий танкист понял это, и заблестевшие было глаза его снова сонно прикрылись красивыми тяжелыми веками, но он забыл, видимо, как точно так же забыл и вдруг каким-то страшным внутренним озарением понял Андрей, что здесь все решают не они — не пешки и слоны, и даже не ладьи и не ферзи. И чуть только маленькая безволосая рука медленно поднялась над доской, как Андрей, уже понявший, что сейчас произойдет, сипло каркнул: «Поправляю...» в соответствии с благородным кодексом игры и так поспешно, что даже пальцы свело судорогой, поменял местами Вана и того, кто его подпирал. Удача бледно улыбнулась ему: подпирал Вана, а теперь заменил Вана Валька Сойфертис, с которым Андрей шесть лет просидел на одной парте, и который все равно уже умер в сорок девятом году во время операции по поводу язвы желудка.

Брови гениального партнера медленно приподнялись, коричневатые с крапинками глаза удивленно-насмешливо прищурились. Конечно, ему был смешон и непонятен такой бессмысленный как с тактической, так, тем более, и со стратегической точки зрения поступок. Продолжая движение маленькой слабой руки, он остановил ее над слоном, помедлил еще несколько секунд, размышляя, затем пальцы его уверенно сомкнулись на лакированной головке фигуры, слон

устремился вперед, тихонько стукнул о черную пешку, сдвинул ее и утвердился на ее месте. Гениальный стратег еще медленно выносил битую пешку за пределы поля, а кучка людей в белых халатах, деловых и сосредоточенных, уже окружила хирургическую каталку, на которой лежал Валька Сойфертис,— в последний раз мелькнул перед глазами Андрея темный, изглоданный болезнью профиль, и каталка исчезла в дверях операционной...

Андрей взглянул на великого танкиста и увидел в его серых прозрачных глазах тот же ужас и тягостное недоумение, которое ощущал и сам. Танкист, часто мигая, смотрел на гениального стратега и ничего не понимал. Он привык мыслить в категориях передвижений в пространстве огромных машинных и человеческих масс, он, в своей наивности и простодушии, привык считать, что все и навсегда решат его бронированные армады, уверенно прущие через чужие земли, и многомоторные, набитые бомбами и парашютистами, летающие крепости, плывущие в облаках над чужими землями, он сделал все возможное для того, чтобы эта ясная мечта могла быть реализована в любой необходимый момент... Конечно, он позволял себе иногда известные сомнения в том, что гениальный стратег так уж гениален и сумеет однозначно определить этот необходимый момент и необходимые направления бронированных ударов, и все же он ни в какую не понимал (и так и не успел понять), как можно было приносить в жертву именно его, такого талантливого, такого неутомимого и неповторимого, как можно было принести в жертву все то, что было создано такими трудами и усилиями...

Андрей быстро снял его с доски, с глаз долой, и поставил на его место Вана. Люди в голубых фуражках протиснулись между рядами, грубо схватили великого танкиста за плечи и за руки, отобрали оружие, с хрустом ударили по красивому породистому лицу и поволокли в каменный мешок, а гениальный стратег откинулся на спинку стула, сыто зажмурился и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. Он был доволен. Он отдал слона за пешку и был очень доволен. И тогда Андрей вдруг понял, что в его, стратега, глазах все это выглядит совсем иначе: он ловко и неожиданно

убрал мешающего ему слона да еще получил пешку в придачу — вот как это выглядело на самом деле...

Великий стратег был более чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры, она была для него так же случайна, как для Андрея — какой-нибудь случайный, по прихоти сделанный ход. Великий стратег стал великим именно потому, что понял (а может быть, знал от рождения): выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор, свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор, нет таких королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь конем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда, иногда бывает гораздо полезнее оставить ее пешкой — пусть постоит на краю пропасти в назидание другим пешкам...

Проклятая фуражка все съезжала и съезжала Андрею на глаза, и ему все труднее становилось следить за тем, что происходит вокруг. Он слышал, однако, что чинная тишина в зале перестала существовать, слышался звон посуды, гомон многих голосов, звуки настраиваемого оркестра. Потянуло кухонным чадом. Кто-то пискляво объявлял на весь дом: «Жогж! Я чертовски пголодался! Вели скогее подать мне гюмку кюгасо и а-ня-няс!..»

— Прошу прощения,— произнес кто-то над самым ухом с казенной вежливостью, протискиваясь между Андреем и доской — мелькнули черные фалды, начищенные лаковые штиблеты, высоко вздетая белая рука с нагруженным подносом проплыла над головой. И еще какая-то белая незнакомая рука поставила у локтя Андрея бокал шампанского.

Гениальный стратег обстучал, наконец, и обмял свою папиросу до такой степени, что ее стало можно курить. И он

закурил — синеватый дымок поплыл у него из волосатых ноздрей, путаясь в пышных редковатых усах.

А игра тем временем шла. Андрей судорожно защищался, отступал, маневрировал, и ему пока удавалось сделать так, что гибли только и без того уже мертвые. Вот унесли Дональда с простреленным сердцем и положили на столик рядом с бокалом его пистолет и посмертную записку: «Приходя — не радуйся, уходя — не грусти. Пистолет отдайте Воронину. Когда-нибудь пригодится»... Вот уже брат с отцом снесли по обледенелой лестнице и сложили в штабель трупов во дворе тело бабушки, Евгении Романовны, зашитое в старые простыни... Вот и отца похоронили в братской могиле где-то на Пискаревке, и угрюмый водитель, пряча небритое лицо от режущего ветра, прошелся асфальтовым катком взад и вперед по окоченевшим трупам, утрамбовывая их, чтобы в одну могилу поместилось побольше... А великий стратег щедро, весело и злорадно расправлялся со своими и чужими, и все его холеные люди в бородках и орденах стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток, проходили, перешагивая друг через друга, в ферзи и оставались пешками...

И Андрей все мучительно пытался понять, что же это за игра, в которую он играет, какая цель ее, каковы правила, и зачем все это происходит, и до самых глубин души продирал его вопрос: как же это он попал в противники великого стратега, он, верный солдат его армии, готовый в любую минуту умереть за него, готовый убивать за него, не знающий никаких иных целей, кроме его целей, не верящий ни в какие средства, кроме указанных им средств, не отличающий замыслов великого стратега от замыслов Вселенной. Он жадно, не ощутивши никакого вкуса, вылакал шампанское, и тогда вдруг ослепительное озарение обрушилось на него. Ну конечно же, он никакой не противник великого стратега! Ну конечно же, вот в чем дело! Он его союзник, верный его помощник, вот оно — главное правило этой игры! Играют не соперники, играют именно партнеры, союзники, игра идет в одни-единственные ворота, никто не проигрывает, все только выигрывают... кроме тех, конечно, кто не доживет до победы...

Кто-то коснулся его ноги и проговорил под столом: «Будьте любезны, передвиньте ножку...» Андрей посмотрел под ноги. Там темнела блестящая лужа, и около нее возился на карачках лысенький карлик с большой высохшей тряпкой, покрытой темными пятнами. Андрея замутило, и он снова стал смотреть на доску. Он уже пожертвовал всеми мертвыми, теперь у него оставались только живые. Великий стратег по ту сторону столика с любопытством следил за ним и даже, кажется, кивал одобрительно, обнажая в вежливой улыбке маленькие редкие зубы, и тут Андрей почувствовал, что он больше не может. Великая игра, благороднейшая из игр, игра во имя величайших целей, которые когда-либо ставило перед собой человечество, но играть в нее дальше Андрей не мог.

— Выйти...— сказал он хрипло.— На минутку.

Это получилось у него так тихо, что он сам едва расслышал себя, но все сразу посмотрели на него. Снова в зале наступила тишина, и козырек фуражки почему-то больше не мешал ему, и он мог теперь ясно, глаза в глаза, увидеть всех своих, всех, кто пока еще оставался в живых.

Мрачно глядел на него, потрескивая цигаркой, огромный дядя Юра в своей распахнутой настежь, выцветшей гимнастерочке; пьяно улыбалась Сельма, развалившаяся в кресле с ногами, задранными так, что видна была попка в кружевных розовых трусиках; серьезно и понимающе смотрел Кэнси, а рядом с ним — взлохмаченный, как всегда зверски небритый, с отсутствующим взглядом Володька Дмитриев; а на высоком старинном стуле, с которого только что поднялся и ушел в очередную свою и последнюю таинственную командировку Сева Барабанов, восседал теперь брезгливо сморщенный, со своим аристократическим горбатым носом Борька Чистяков, словно готовый спросить: «Ну что ты орешь, как больной слон?» — все были здесь, все самые близкие, самые дорогие, и все смотрели на него, и все по-разному, и в то же время было в их взглядах и что-то общее, какое-то общее их к нему отношение: сочувствие? доверие? жалость? Нет, не это, и он так и не понял, что именно, потому что вдруг увидел среди хорошо знакомых и привычных лиц какого-то совсем незнакомого человека, какого-то азиата с желтоватым лицом и раскосыми глазами, нет, не Вана, какого-то изысканного,

даже элегантного азиата, и еще ему показалось, что за спиной этого незнакомца прячется кто-то совсем маленький, грязный, оборванный, наверное, беспризорный ребенок...

И он встал, резко, со скрипом отодвинув от себя стул, и отвернулся от них всех, и, сделав какой-то неопределенный жест в сторону и адрес великого стратега, поспешно пошел вон из зала, протискиваясь между чьими-то плечами и животами, отстраняя кого-то с дороги, и, словно чтобы успокоить его, кто-то пробубнил неподалеку: «Ну что ж, это правилами допускается, пусть подумает, поразмыслит... Нужно только остановить часы...»

Совершенно обессиленный, мокрый от пота, он выбрался на лестничную площадку и сел прямо на ковер, недалеко от жарко полыхающего камина. Фуражка снова сползла ему на глаза, так что он даже и не пытался разглядеть, что это там за камин и что за люди сидят около камина, он только чувствовал своим мокрым и словно бы избитым телом мягкий сухой жар, и видел подсохшие, но все еще липкие пятна на своих ботинках, и слышал сквозь уютное потрескивание пылающих поленьев, как кто-то неторопливо, со вкусом, прислушиваясь к собственному бархатному голосу, рассказывает:

— ...Представляете себе — красавец, в плечах косая сажень, кавалер трех орденов Славы, а полный бант этих орденов, надо вам сказать, давали не всякому, таких было меньше даже, чем Героев Советского Союза. Ну, прекрасный товарищ, учился отлично и все такое. И была у него, надо вам сказать, одна странность. Бывало, придет он на вечеринку на хате у сынка какого-нибудь генерала или маршала, но чуть все разбредутся шерочка с машерочкой, он потихоньку в прихожую, фуражечку набекрень и — привет. Думали сначала, что есть у него какая-то постоянная любовь. Так нет — то и дело встречали его ребята в публичных местах — ну, в парке Горького, в клубах там разных — с какими-то отъявленными лахудрами, да все с разными! Я вот тоже однажды повстречал. Смотрю — ну и выбрал! — ни кожи ни рожи, чулки вокруг тощих конечностей винтом, размалевана — сказать страшно... а тогда, между прочим, нынешней косметики ведь не было — чуть ли не ваксой сапожной девки

брови подводили... В общем, как говорится, явный мезальянс. А он — ничего. Ведет ее нежно под ручку и что-то ей там вкручивает, как полагается. А уж она-то — прямо тает, и гордится, и стыдится — полные штаны удовольствия... И вот однажды в холостой компании мы и пристали к нему: давай выкладывай, что у тебя за извращенные вкусы, как тебе с этими б...ми ходить не тошно, когда по тебе сохнут лучшие красавицы... А надо вам сказать, что был у нас в академии педагогический факультет, привилегированная такая штучка, туда только из самых высоких семей девиц набирали... Ну, он сначала отшучивался, а потом сдался и рассказал нам такую удивительную вещь. Я, говорит, товарищи, знаю, что во мне, так сказать, все угодья: и красив, и ордена, и хвост колом. И сам, говорит, о себе это знаю, и записочек много на этот счет получал. Но был тут у меня, говорит, один случай. Увидел я вдруг несчастье женщин. Всю войну они никакого просвета не видели, жили впроголодь, вкалывали на самой мужской работе — бедные, некрасивые, понятия даже не имеющие, что это такое — быть красивой и желанной. И я, говорит, положил себе дать хоть немногим из них такое яркое впечатление, чтобы на всю жизнь им было о чем вспоминать. Я, говорит, знакомлюсь с такой вот вагоновожатой, или с работницей с «Серпа и молота», или с несчастненькой учительницей, которой и без войны-то на особое счастье рассчитывать не приходилось, а теперь, когда столько мужиков перебили, и вообще ничего в волнах не видно. Провожу я с ними два-три вечера, говорит, а потом исчезаю, прощаюсь, конечно, вру, что еду в длительную командировку или еще что-нибудь такое правдоподобное, и остаются они с этим светлым воспоминанием... Хоть какая-то, говорит, светлая искорка в их жизни. Не знаю, говорит, как это получается с точки зрения высокой морали, но есть у меня ощущение, что я таким образом хоть как-то частичку нашего общего мужского долга выполняю... Рассказал он нам все это, мы обалдели. Потом, конечно, спорить принялись, но впечатление это все на нас произвело необыкновенное. Вскоре он, впрочем, куда-то исчез. Тогда многие у нас так вот исчезали: приказ командования, а в армии не спрашивают куда и зачем... Больше я его не видел...

И я, подумал Андрей. И я его больше не видел. Было два письма — одно маме, одно мне. И было извещение маме: «Ваш сын, Сергей Михайлович Воронин, погиб с честью при выполнении боевого задания командования». В Корее это было. Под розовым акварельным небом Кореи, где впервые великий стратег попробовал свои силы в схватке с американским империализмом. Он вел там свою великую игру, а Сережа там остался со своим полным набором орденов Славы...

Не хочу, подумал Андрей. Не хочу я этой игры. Может быть, так все и должно быть, может, без этой игры и нельзя. Может быть. Даже наверняка. Но я не могу... Не умею. И учиться даже не хочу... Ну что же, подумал он с горечью. Значит, я просто плохой солдат. Вернее сказать, я просто солдат. Всего-навсего солдат. Тот самый, который размышлять не умеет и потому должен повиноваться слепо. И я никакой не партнер, не союзник великого стратега, а крошечный винтик в его колоссальной машине, и место мое не за столом в его непостижимой игре, а рядом с Ваном, с дядей Юрой, с Сельмой... Я маленький звездный астроном средних способностей, и если бы мне удалось доказать, что существует какая-то связь между широкими парами и потоками Схилта, это было бы для меня уже очень и очень много. А что касается великих решений и великих свершений...

И тут он вспомнил, что он уже не звездный астроном, что он — следователь прокуратуры, что ему удалось добиться немалого успеха: с помощью специально подготовленной агентуры особой сыскной методикой засечь это таинственное Красное Здание и проникнуть в него, раскрыть его зловещие тайны, создать все предпосылки для успешного уничтожения этого злокачественного явления нашей жизни...

Приподнявшись на руках, он сполз ступенькой ниже. Если я сейчас вернусь к столу, из Здания мне уже не вырваться. Оно меня поглотит. Это же ясно: оно уже многих поглотило, на то есть свидетельские показания. Но дело не только в этом. Дело в том, что я должен вернуться в свой кабинет и распутать этот клубок. Вот мой долг. Вот что я сейчас обязан сделать. Все остальное — мираж...

Он сполз еще на две ступеньки. Надо освободиться от миража и вернуться к делу. Здесь все не случайно. Здесь все

отлично продумано. Это чудовищный иллюзион, сооруженный провокаторами, которые стремятся разрушить веру в конечную победу, растлить понятия морали и долга. И не случайно, что по одну сторону Здания этот грязный кинотеатрик под названием «Новый иллюзион». Новый! В порнографии ничего нового нет, а он — новый! Все понятно! А по другую сторону что? Синагога...

Он быстро-быстро пополз по ступенькам вниз и добрался до двери, на которой было написано «Выход». Уже взявшись за дверную ручку, уже навалившись, уже преодолевая сопротивление скрипящей пружины, он вдруг понял, что общего было в выражении глаз, устремленных на него там, наверху. Упрек. Они знали, что он не вернется. Он сам еще об этом и не догадывался, а они уже знали точно...

Он вывалился на улицу, жадно хватил огромный глоток сырого туманного воздуха и с замирающим от счастья сердцем увидел, что здесь все по-прежнему: туманная мгла направо вдоль Главной улицы, туманная мгла налево вдоль Главной улицы, а напротив, на той стороне, рукой подать — мотоцикл с коляской и совсем заснувший полицейский водитель, погрузившийся в воротник с головой. «Дрыхнет жиряга,— с умилением подумал Андрей.— Умаялся». И тут голос внутри него вдруг громко произнес: «Время!», и Андрей застонал, заплакал от отчаяния, только сейчас вспомнив главное, самое страшное правило игры. Правило, придуманное специально против таких вот интеллигентных хлюпиков и чистоплюев: тот, кто прервал партию, тот сдался; тот, кто сдался, теряет все свои фигуры.

С воплем «Не надо!» Андрей повернулся к медной ручке. Но было уже поздно. Дом уходил. Он медленно пятился задом в непроглядную тьму мрачных задворков синагоги и «Нового иллюзиона». Он уползал с явственным шорохом, скрежетом, скрипом, дребезжа стеклами, покряхтывая балками перекрытий. С крыши сорвалась черепица и разбилась о каменную ступеньку.

Андрей изо всех сил давил на медную ручку, но она словно срослась с деревом двери, а дом двигался все быстрее и быстрее, и Андрей уже бежал, почти волочился за ним, как за отходящим поездом, он рвал и дергал ручку и вдруг

споткнулся обо что-то, упал, скрюченные пальцы его сорвались с гладких медных завитков, он ударился обо что-то головой, очень больно, искры посыпались из глаз, и хрустнуло что-то в черепе, но он еще видел, как дом, пятясь, на ходу гася свои окна, свернул за желтую стену синагоги, исчез, снова появился, словно выглянул двумя своими последними горящими окнами, а потом и эти окна погасли, и наступила тьма.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он сидел на скамейке перед дурацкой цементной чашей фонтана и прижимал влажный, уже степлившийся платок к здоровенной, страшной на ощупь, гуле над правым глазом. Света белого он не видел, голову ломило так, что он опасался, не лопнул ли череп, саднили разбитые колени, ушибленный локоть онемел, но, по некоторым признакам, обещал в ближайшем будущем еще заявить о себе. Впрочем, все это, может быть, было даже и к лучшему. Все это придавало происходящему отчетливо выраженную грубую реальность. Не было никакого Здания, не было Стратега и темной липкой лужи под столом, не было шахмат, не было никакого предательства, а просто брел человек в темноте, зазевался да и загремел через низенький цементный барьер прямо в идиотскую чашу, треснувшись дурацкой своей башкой и всем прочим о сырое цементное дно...

То есть Андрей, конечно, прекрасно понимал, что на самом деле все было совсем не так просто, но приятно было думать, что, может быть, все-таки именно брел, именно зацепился и треснулся — тогда все получалось даже забавно и во всяком случае удобно. Что же мне теперь делать, думал он туманно. Ну, нашел я это Здание, ну, побывал, увидел своими глазами... А дальше? Не забивайте мне голову, больную мою голову теперь не забивайте всеми этими разглагольствованиями о слухах, мифах и прочей пропаганде. Это раз. Не забивайте... Впрочем, виноват — кажется, это я сам всем забивал голову. Надо немедленно выпустить этого... как

его... с флейтой. Интересно, эта его Элла — тоже там играла в шахматы?.. Сволочь, как голова болит...

Платок совсем степлился, Андрей, кряхтя, поднялся, подковылял к фонтану и, перегнувшись через край, подержал влажную тряпку в ледяной струйке. В гулю кто-то горячо и яростно толкался изнутри. Вот тебе и миф. Он же мираж... Он отжал платок, снова приложил его к больному месту и посмотрел через улицу. Толстяк по-прежнему спал. Зараза жирная, подумал Андрей с озлоблением. Службу он несет. Я тебя зачем с собой брал? Дрыхнуть я тебя сюда брал? Меня тут сто раз могли кокнуть... Конечно, а эта скотина, выспавшись, заявилась бы завтра утром в прокуратуру и доложила бы как ни в чем не бывало: господин, мол, следователь как зашли ночью в Красное Здание, так больше наружу и не вышли... Некоторое время Андрей представлял себе, как славно было бы набрать сейчас ведро ледяной воды, подобраться бы к толстому гаду и вылить ему все ведро за шиворот. То-то бы взвился. Это как на сборах ребята развлекались: дрыхнет кто-нибудь, а ему за шнурок привяжут к причинному месту ботинок, а потом этот огромный грязный говнодав поставят на морду. Тот спросонья озвереет и этот ботинок запускает в пространство с бешеной силой. Очень было смешно.

Андрей вернулся к скамейке и обнаружил, что у него появился сосед. Какой-то маленький тощенький человечек, весь в черном, даже рубашка черная, сидел, положивши ногу на ногу, держа на колене старомодную шляпу-котелок. Наверное, сторож при синагоге. Андрей тяжело опустился рядом с ним, осторожно прощупывая сквозь влажный платок границы гули.

— Ну хорошо,— сказал человечек ясным старческим голосом.— А что будет дальше?

— Ничего особенного,— сказал Андрей.— Всех выловим. Я этого дела так не оставлю.

— А дальше? — настаивал старик.

— Не знаю,— сказал Андрей, подумав.— Может быть, еще какая-нибудь гадость появится. Эксперимент есть Эксперимент. Это — надолго.

— Это — навечно,— заметил старик.— В согласии с любой религией это — навечно.

— Религия здесь ни при чем,— возразил Андрей.

— Вы и сейчас так думаете? — удивился старик.

— Конечно. И всегда так думал.

— Хорошо, не будем пока об этом. Эксперимент есть Эксперимент, веревка — вервие простое... здесь многие так себя утешают. Почти все. Этого, между прочим, ни одна религия не предусмотрела. Но я-то о другом. Зачем даже здесь нам оставлена свобода воли? Казалось бы, в царстве абсолютного зла, в царстве, на вратах которого начертано: «Оставь надежду...»

Андрей подождал продолжения, не дождался и сказал:

— Вы все это себе как-то странно представляете. Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос, который мы призваны упорядочить. А как мы сможем его упорядочить, если не будем обладать свободой воли?

— Интересная мысль,— произнес старик задумчиво.— Мне это никогда не приходило в голову. Значит, вы полагаете, что нам дан еще один шанс? Что-то вроде штрафного батальона — смыть кровью свои прегрешения на переднем крае извечной борьбы добра со злом...

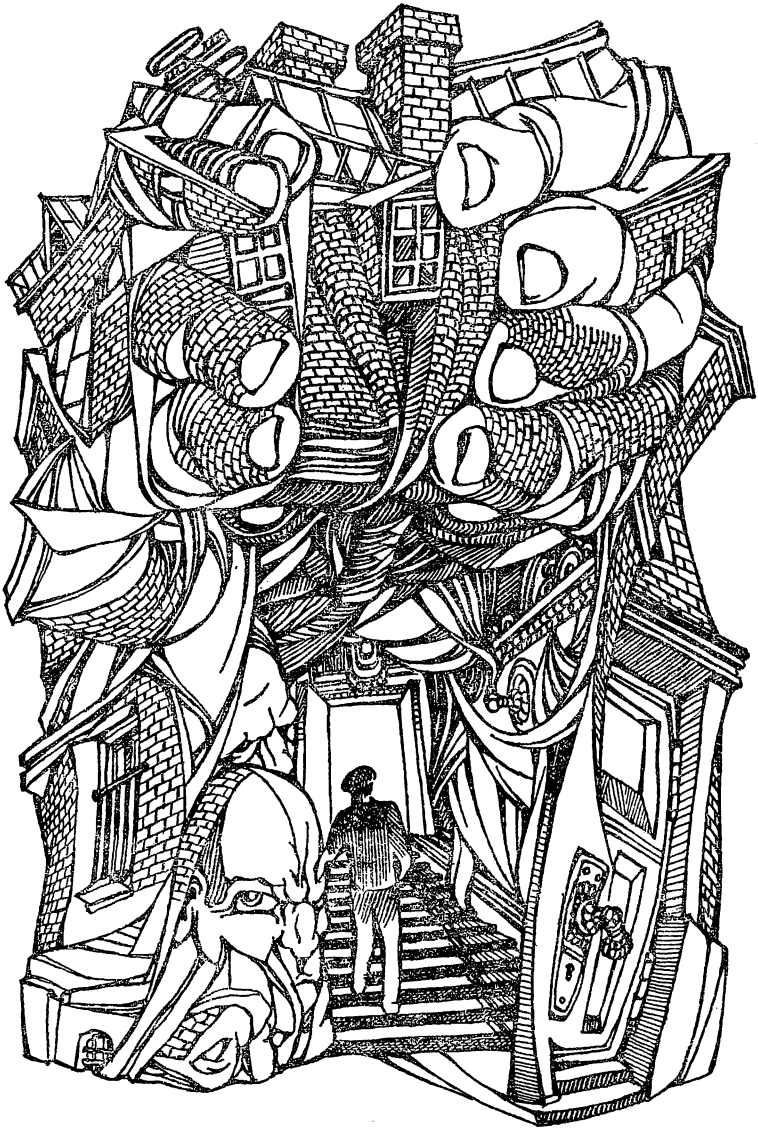
— Да при чем здесь — «со злом»? — сказал Андрей, понемногу раздражаясь.— Зло — это нечто целенаправленное...

— Вы — манихеец! — прервал его старик.

— Я — комсомолец! — возразил Андрей, раздражаясь еще больше и чувствуя необыкновенный прилив веры и убежденности.— Зло — это всегда явление классовое. Не бывает зла вообще. А здесь все перепутано, потому что — Эксперимент. Нам дан хаос. И либо мы не справимся, вернемся к тому, что было там — к классовому расслоению и прочей дряни,— либо мы оседлаем хаос и претворим его в новые, прекрасные формы человеческих отношений, именуемые коммунизмом...

Некоторое время старик ошарашенно молчал.

— Надо же,— произнес он наконец с огромным удивлением.— Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить... Коммунистическая пропаганда — здесь! Это даже не схизма, это...— Он помолчал.— Впрочем, ведь идеи коммунизма сродни идеям раннего христианства...



— Это ложь! — возразил Андрей сердито.— Поповская выдумка. Раннее христианство — это идеология смирения, идеология рабов. А мы — бунтари! Мы камня на камне здесь не оставим, а потом вернемся туда, обратно, к себе, и все перестроим так, как перестроили здесь!

— Вы — Люцифер,— проговорил старик с благоговейным ужасом.— Гордый дух! Неужели вы не смирились?

Андрей аккуратно перевернул платок холодной стороной и подозрительно посмотрел на старичка.

— Люцифер?.. Так. А кто вы, собственно, такой?

— Я — тля,— кратко ответствовал старик.

— Гм...— спорить было трудно.

— Я — никто,— уточнил старик.— Я был никто там, и здесь я тоже никто.— Он помолчал.— Вы вселили в меня надежду,— объявил он вдруг.— Да, да, да! Вы не представляете себе, как странно, как странно... как радостно было слушать вас! Действительно, раз свобода воли нам оставлена, то почему должно быть обязательно смирение, терпеливые муки?.. Нет, эту встречу я считаю самым значительным эпизодом во все время моего пребывания здесь...

Андрей с неприязненной внимательностью оглядывал его. Издевается, старый хрен... Нет, непохоже... Сторож синагоги?.. Синагога!

— Прошу прощенья,— вкрадчиво осведомился он.— Вы давно здесь сидите? Я имею в виду — на этой скамеечке?

— Нет, не очень. Сначала я сидел на табуретке вон в той подворотне, там есть табуретка... А когда Дом удалился, я перешел на скамеечку.

— Ага,— сказал Андрей.— Значит, вы видели Дом?

— Конечно! — с достоинством ответил старик.— Его трудно не видеть. Я сидел, слушал музыку и плакал.

— Плакал...— повторил Андрей, мучительно пытаясь сообразить, что к чему.— Скажите, вы еврей?

Старик вздрогнул.

— Господи, нет! Что за вопрос? Я католик, верный и — увы! — недостойный сын римско-католической церкви... Разумеется, я ничего не имею против иудаизма, но... А почему вы об этом спросили?

— Так,— сказал Андрей уклончиво.— К синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения?

— Пожалуй, нет,— сказал старик.— Если не считать того, что я часто сижу в этом скверике и иногда сюда приходит сторож...— Он стесненно захихикал.— Мы с ним ведем религиозные диспуты...

— А как же Красное Здание? — спросил Андрей, закрывая глаза от боли в черепе.

— Дом? Ну, когда приходит Дом, мы, естественно, здесь сидеть не можем. Тогда нам приходится подождать, пока он уйдет.

— Значит, вы видите его не в первый раз?

— Разумеется, нет. Редкую ночь он не приходит... Правда, сегодня он был здесь дольше, чем обычно...

— Погодите,— сказал Андрей.— А вы знаете, что это за дом?

— Его трудно не узнать,— тихо сказал старик.— Раньше, в той жизни, я не раз видел его изображения и описания. Он подробно описан в откровениях святого Антония. Правда, этот текст не канонизирован, но сейчас... Нам, католикам... Словом, я читал это. «И еще являлся мне дом, живой и движущийся, и совершал непристойные движения, а внутри через окна я видел в нем людей, которые ходили по комнатам его, спали и принимали пищу...» Я не ручаюсь за точность цитирования, но это очень близко к тексту... И, разумеется, Иероним Босх... Я бы назвал его святым Иеронимом Босхом, я многим обязан ему, он подготовил меня к этому...— Он широко повел рукой вокруг себя.— Его замечательные картины... Господь, несомненно, допустил его сюда. Как и Данте... Между прочим, существует рукопись, которую приписывают Данте, в ней тоже упоминается этот дом. Как это там...— Старик закрыл глаза и поднял растопыренную пятерню ко лбу.— Э-э-э... «И спутник мой, простерши руку, сухую и костлявую...» М-м-м... Нет... «Кровавых тел нагих сплетенье в покоях сумрачных...» М-м-м...

— Погодите,— сказал Андрей, облизывая сухие губы.— Что вы мне несете? При чем здесь святой Антоний и Данте? Вы к чему, собственно, клоните?

Старик удивился.

— Я ни к чему не клоню,— сказал он.— Вы ведь спросили меня про Дом, и я... Я, конечно, должен благодарить Бога за то, что Он в предвечной мудрости и бесконечной доброте своей еще в прежнем существовании моем просветил меня и дал мне подготовиться. Я очень и очень многое узнаю здесь, и у меня сжимается сердце, когда я думаю о других, кто прибыл сюда и не понимает, не в силах понять, где они оказались. Мучительное непонимание сущего и вдобавок мучительные воспоминания о грехах своих. Возможно, это тоже великая мудрость Творца: вечное сознание грехов своих без осознания возмездия за них... Вот, например, вы, молодой человек,— за что Он низвергнул вас в эту пучину?

— Не понимаю, о чем вы говорите,— пробормотал Андрей. «Религиозных фанатиков нам здесь еще только и не хватало»,— подумал он.

— Да вы не стесняйтесь,— сказал старик ободряюще.— Здесь скрывать это не имеет смысла, ибо Суд уже состоялся... Я, например, грешен перед народом своим — я был предателем, доносчиком, я видел, как мучили и убивали людей, которых я выдавал слугам сатаны. Меня повесили в тысяча девятьсот сорок четвертом.— Старик помолчал.— А вы когда умерли?

— Я не умирал...— произнес Андрей, холодея.

Старик покивал с улыбкой.

— Да, многие так думают,— сказал он.— Но это заблуждение. История знает случаи, когда людей брали живыми на небо, но никто никогда не слыхал, чтобы их — в наказание! — живыми ссылали в преисподнюю.

Андрей слушал, обалдело воззрившись на него.

— Вы просто забыли,— продолжал старик.— Была война, бомбы падали на улицах, вы бежали в бомбоубежище, и вдруг — удар, боль, и все исчезло. А потом — видение ангела, говорящего ласково и иносказательно, и вы — здесь...— Он снова понимающе покивал, выпятив губу.— Да-да, несомненно, именно так вот и возникает ощущение свободы воли. Теперь я понимаю: это инерция. Просто инерция, молодой человек. Вы говорили так убежденно, что несколько даже поколебали меня... Организация хаоса, новый мир... Нет-нет, это просто инерция. Это должно со временем пройти. Не

забудьте, преисподняя вечна, возврата нет, а вы ведь еще только в первом круге...

— Вы... серьезно? — голос Андрея дал маленького петуха.

— Вы же все это знаете сами,— ласково сказал старик.— Вы отлично все это знаете! Просто вы — атеист, молодой человек, и не хотите себе признаться, что ошибались всю свою — пусть даже недолгую — жизнь. Вас учили ваши бестолковые и невежественные учителя, что впереди — ничто, пустота, гниение; что ни благодарности, ни возмездия за содеянное ждать не приходится. И вы принимали эти жалкие идеи, потому что они казались вам такими простыми, такими очевидными, а главным образом потому, что вы были совсем молоды, обладали прекрасным здоровьем тела и смерть была для вас далекой абстракцией. Сотворивши зло, вы всегда надеялись уйти от наказания, потому что наказать вас могли только такие же люди, как вы. А если вам случалось сотворить добро, вы требовали от таких же, как вы, немедленной награды. Вы были смешны. Сейчас вы, конечно, понимаете это — я вижу это по вашему лицу...— Он вдруг засмеялся.— У нас в подполье был один инженер, материалист, мы часто спорили с ним о загробной жизни. Господи, как он издевался надо мною! «Папаша,— говорил он.— В раю мы с вами закончим этот бессмысленный спор...» И вы знаете, я все ищу его здесь, ищу и никак не могу найти. Может быть, в его шутке была правда, может быть, он и в самом деле пошел в рай — как мученик. Смерть его воистину была мучительна... А я — здесь.

— Ночные диспуты о жизни и смерти? — проквакал вдруг над ухом знакомый голос, и скамейка затряслась. Изя Кацман, по обыкновению растерзанный и взлохмаченный, с размаху плюхнулся по другую сторону от Андрея и, придерживая левой рукой огромную светлую папку, сейчас же принялся правой терзать свою бородавку. Как и всегда, он был в состоянии какого-то восторженного возбуждения.

Андрей сказал, стараясь, чтобы получилось по возможности небрежно:

— Вот этот пожилой господин полагает, что все мы находимся в аду.

— Пожилой господин абсолютно прав,— немедленно возразил Изя и захихикал.— Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершенно неотличимое по своим проявлениям. Однако согласитесь, пан Ступальский, вы ведь так и не нашли в моей прижизненной карьере ни одного поступка, за который стоило меня сюда отправить! Я даже не прелюбодействовал — до такой степени я был глуп.

— Пан Кацман,— заявил старик,— я вполне допускаю, что вы и сами не знаете ничего об этом своем роковом проступке!

— Возможно, возможно,— легко согласился Изя.— Судя по твоему виду,— обратился он к Андрею,— ты побывал в Красном Здании. Ну, и как тебе там?

И вот тут Андрей окончательно пришел в себя. Словно лопнула и растаяла эта липкая полупрозрачная пленка кошмара, утихла боль в голове, теперь он резко и ясно различал все вокруг себя, и Главная улица перестала быть мглистой и туманной, и полицейский с мотоциклом вовсе, оказывается, не спал, а прохаживался по тротуару, светя красным огоньком сигареты и поглядывая в сторону скамейки. «Господи,— подумал Андрей почти с ужасом.— Что я здесь делаю? Я ведь следователь, время ведь уходит, а я занимаюсь здесь болтовней с этим психом, а ведь здесь Кацман... Кацман? Он-то как здесь оказался?»

— Откуда ты знаешь, где я был? — спросил он отрывисто.

— Нетрудно догадаться,— сказал Изя, хихикая.— Ты бы посмотрел на себя в зеркало...

— Я тебя серьезно спрашиваю! — сказал Андрей, повышая голос.

Старик вдруг поднялся.

— Спокойной ночи, панове,— произнес он, плавно подвигав котелком над головой.— Добрых сновидений.

Андрей не обратил на него внимания. Он смотрел на Изю. А Изя, щипля бородавку и слегка подпрыгивая на месте, смотрел вслед удаляющемуся старичку, осклабясь до ушей и уже заранее давясь и кряхтя.

— Ну? — сказал Андрей.

— Какая фигура! — с восхищением прошипел Изя.— Ах, какая фигура! Ты дурак, Воронин, ты как всегда ничего

не знаешь! Ты знаешь, кто это такой? Это же знаменитый пан Ступальский, Иуда-Ступальский! Он выдал гестапо в Лодзи двести сорок восемь человек, дважды его уличали, дважды он как-то выкручивался и подставлял вместо себя кого-нибудь другого. Уже после освобождения его окончательно прищучили, судили судом скорым и правым, но он и тут вывернулся! Господа Наставники сочли полезным вынуть его из петли и переправить сюда. Для букета. Здесь он живет в сумасшедшем доме, изображает психа, а сам продолжает активно работать по своей любимой специальности... Ты думаешь, он случайно оказался здесь, на скамеечке, как раз рядом с тобой? Знаешь, на кого он теперь работает?

— Заткнись! — сказал Андрей, усилием воли раздавив в себе привычное любопытство и интерес, которые одолевали его во время Изиных рассказов.— Меня все это не интересует. Как ты здесь оказался? Откуда, черт возьми, ты знаешь, что я был в Здании?

— А я и сам там был,— спокойно сказал Изя.

— Так,— сказал Андрей.— И что же там происходило?

— Ну, это тебе видней, что там происходило. Откуда мне знать, что там происходило с твоей точки зрения?

— А что там происходило с твоей точки?

— А вот это уж тебя совершенно не касается,— сказал Изя, поправляя на коленях свою объемистую папку.

— Папку ты взял там? — спросил Андрей, протягивая руку.

— Нет,— сказал Изя.— Не там.

— Что в ней?

— Послушай,— сказал Изя.— Какое тебе дело? Что ты ко мне привязался?

Он еще не понимал, что происходит. Впрочем, Андрей и сам еще не вполне понимал, что происходит, и лихорадочно раздумывал, как действовать дальше.

— А знаешь, что в этой папке? — сказал Изя.— Я раскопал старую мэрию, это километрах в пятнадцати отсюда. Копался там весь день, солнце погасло, темнотища, как у негра в заднице, никакого освещения там, сам понимаешь, уже лет двадцать нету... Плутал я там, плутал, еле выбрался

на Главную — кругом развалины, дикие голоса какие-то орут...

— Так,— сказал Андрей.— Ты что, не знаешь, что в старых развалинах рыться запрещено?

Азартное выражение исчезло из глаз Изи. Он внимательно посмотрел на Андрея. Кажется, он начал понимать.

— Ты что,— продолжал Андрей,— инфекцию в Город затащить хочешь?

— Что-то мне твой тон не нравится,— сказал Изя, криво улыбаясь.— Как-то ты не так со мной разговариваешь.

— А ты мне весь не нравишься! — сказал Андрей.— Ты зачем мне голову забивал, будто Красное Здание — это миф? Ты же знал, что это не миф. Ты же мне врал. Зачем?

— Это что — допрос? — спросил Изя.

— А ты как думаешь? — сказал Андрей.

— Я думаю, что ты себе голову сильно зашиб. Я думаю, тебе надо умыться холодненькой водичкой и вообще прийти в себя.

— Дай сюда папку,— сказал Андрей.

— А пошел ты на хер! — сказал Изя, вставая. Он сильно побледнел.

Андрей тоже встал.

— Поедешь со мной,— сказал он.

— И не подумаю,— сказал Изя отрывисто.— Предъяви ордер на арест.

Тогда Андрей, леденея от ненависти, не спуская с Изи глаз, медленно расстегнул кобуру и вытащил пистолет.

— Идите вперед,— приказал он.

— Идиот...— пробормотал Изя.— Совершенно свихнулся...

— Молчать! — гаркнул Андрей.— Вперед!

Он ткнул Изю стволом в бок, и Изя послушно заковылял через улицу. Видимо, у него были стерты ноги, он сильно хромал.

— От стыда же подохнешь,— сказал он через плечо.— Проспишься — от стыда сгоришь...

— Не разговаривать!

Они подошли к мотоциклу, полицейский ловко откинул полог в коляске, и Андрей показал туда стволом пистолета.

— Садитесь.

Изя молча и очень неуклюже уселся. Полицейский быстро вскочил в седло, Андрей сел позади него, сунув пистолет в кобуру. Двигатель взревел, застрелял, мотоцикл развернулся и, подскакивая на выбоинах, помчался обратно к прокуратуре, распугивая психов, утомленно и бессмысленно бродивших по сырой от выпавшей росы улице.

Андрей старался не смотреть на Изю, скорчившегося в коляске. Первый запал прошел, и он испытывал теперь что-то вроде неловкости — как-то все произошло слишком уж быстро, слишком торопливо, впопыхах, как в том анекдоте про медведя, который катал зайца в люльке без дна. Ладно, разберемся...

В предбаннике прокуратуры Андрей, не глядя на Изю, приказал полицейскому зарегистрировать задержанного и доставить его наверх к дежурному, а сам, шагая через три ступеньки, поднялся к себе в кабинет.

Было около четырех часов — самое горячее время. В коридорах стояли у стен или сидели на длинных, отполированных задами скамьях подследственные и свидетели, вид у всех был одинаково безнадежный и сонный, все почти судорожно зевали и таращились осоловело. Дежурные время от времени вопили от своих столиков на весь дом: «Не разговаривать! Не переговариваться!» Из-за обитых дерматином дверей следственных камер доносился стук пишущих машинок, бубнящие голоса, слезливые вопли. Было душно, нечисто, сумрачно. Андрея замутило — захотелось вдруг заскочить в буфет и выпить чего-нибудь бодрящего: чашку крепкого кофе или хотя бы просто рюмку водки. И тут он увидел Вана.

Ван сидел на корточках, прислонившись к стене спиной, в позе бесконечно терпеливого ожидания. На нем была своеобычная ватная стеганка, голова втянута в плечи, так что ворот стеганки оттопыривал уши, круглое безволосое лицо спокойно. Он дремал.

— Ты что тут делаешь? — спросил Андрей удивленно.

Ван открыл глаза, легко поднялся и сказал, улыбнувшись:

— Арестован. Жду вызова.

— Как арестован? За что?

— Саботаж,— сказал Ван тихонько.

Здоровенный детина в испачканном плаще, дремавший рядом, тоже открыл глаза, вернее — один глаз, потому что другой заплыл у него фиолетовым фингалом.

— Какой саботаж?! — поразился Андрей.

— Уклонение от права на труд...

— Статья сто двенадцать, параграф шесть,— деловито пояснил детина с фингалом.— Шесть месяцев болотной терапии — и все дела.

— Помолчите,— сказал ему Андрей.

Детина посветил на него своим фингалом, ухмыльнулся (Андрей тотчас вспомнил и ясно ощутил собственную гулю на лбу) и прохрипел миролюбиво:

— Можно и помолчать. Почему не помолчать, когда все ясно без слов?

— Не разговаривать! — грозно заорал издали дежурный.— Кто там к стене прислоняется? А ну отслонись!

— Подожди,— сказал Андрей Вану.— Тебя куда вызвали? Сюда? — Он указал на дверь двадцать второй камеры, пытаясь припомнить, чей это кабинет.

— Точно,— прохрипел детина с готовностью.— В двадцать вторую нас. Полтора часа уже стенку подпираем.

— Подожди,— снова сказал Андрей Вану и толкнул дверь.

За столом восседал Генрих Румер, младший следователь и личный телохранитель Фридриха Гейгера, бывший боксер среднего веса и мюнхенский букмекер. Андрей спросил: «Можно к тебе?», но Румер не отозвался. Он был очень занят. Он что-то рисовал на большом листе ватмана, склоняя то к одному плечу, то к другому свою звероподобную физиономию с расплющенным носом, он пыхтел и даже постанывал от напряжения. Андрей прикрыл за собою дверь и подошел к столу вплотную. Румер перерисовывал порнографическую открытку. Ватман и открытка были расчерчены на клеточки. Работа была в самом начале, на ватман пока наносились лишь общие контуры. Труд предстоял титанический.

— Чем это ты занимаешься на службе, скотина? — укоризненно спросил Андрей.

Румер заметно вздрогнул и поднял глаза.

— А, это ты...— проговорил он с видимым облегчением.— Чего тебе?

— Это ты так работаешь? — горестно сказал Андрей.— Тебя там люди ждут, а ты...

— Кто ждет? — встрепенулся Румер.— Где?

— Подследственные твои ждут! — сказал Андрей.

— А-а... Ну и что?

— Ничего,— сказал Андрей со злостью. Наверное, надо было как-то пристыдить этого типа, напомнить зверюге, что ведь Фриц за него ручался, честным своим именем ручался за кретина ленивого, за обормота, но Андрей почувствовал, что сейчас это выше его сил.

— Кто это тебе в лоб засветил? — с профессиональным интересом спросил Румер, разглядывая Андрееву гулю.— Красиво кто-то засветил...

— Неважно,— сказал Андрей нетерпеливо.— Я к тебе вот за чем: дело Ван Лихуна у тебя?

— Ван Лихуна? — Румер перестал разглядывать гулю и задумчиво запустил палец в правую ноздрю.— А что такое? — осторожно спросил он.

— У тебя или нет?

— А ты почему спрашиваешь?

— Потому что он сидит там перед твоей дверью и ждет, пока ты здесь свинством занимаешься!

— Почему это — свинство? — обиделся Румер.— Ты посмотри, титьки какие! М-ммух! А?

Андрей брезгливо отстранил фотографию.

— Давай сюда дело,— потребовал он.

— Какое дело?

— Дело Ван Лихуна давай сюда!

— Да нет у меня такого дела! — сердито сказал Румер. Он выдвинул средний ящик стола и заглянул в него. Андрей тоже заглянул в ящик. В ящике действительно было пусто.

— Где вообще все твои дела? — спросил Андрей, сдерживаясь.

— Тебе-то что? — сказал Румер агрессивно.— Ты мне не начальник.

Андрей решительно сорвал телефонную трубку. В поросячьих глазках Румера мелькнула тревога.

— Постой,— сказал он, торопливо прикрывая телефонный аппарат огромной лапищей.— Ты это куда? Зачем?..

— Вот я сейчас позвоню Гейгеру,— сказал Андрей зло.— Даст он тебе по мозгам, идиоту...

— Подожди,— бормотал Румер, пытаясь отобрать у него телефонную трубку.— Что ты, в самом деле... Зачем звонить Гейгеру? Что мы — вдвоем с тобой это дело не уладим? Ты, главное, объясни толком, чего тебе надо?

— Я хочу взять себе дело Ван Лихуна.

— Это китайца, что ли? Дворника?

— Да!

— Ну, так бы и сказал с самого начала! Нет на него никакого дела. Только что доставили. Я с него первичный допрос снимать буду.

— За что его задержали?

— Профессию не хочет менять,— сказал Румер, деликатно таща к себе телефонную трубку вместе с Андреем.— Саботаж. Третий срок дворником сидит. Статью сто двенадцать знаешь?..

— Знаю,— сказал Андрей.— Но это случай особый. Вечно они что-нибудь напутают. Где сопроводиловка?

Шумно сопя, Румер отобрал наконец у него трубку, положил ее на место, снова полез в стол — в правый ящик,— покопался там, заслонив содержимое гигантскими плечами, вытянул бумажку и, обильно потея, протянул ее Андрею. Андрей пробежал бумагу глазами.

— Тут не сказано, что он направляется именно к тебе,— объявил он.

— Ну и что?

— А то, что я его забираю к себе,— сказал Андрей и сунул бумажку в карман.

Румер забеспокоился.

— Так он же на меня записан! У дежурного.

— Так вот позвони дежурному и скажи, что Ван Лихуна взял себе Воронин. Пусть перепишет.

— Это уж ты сам ему позвони,— сказал Румер важно.— Чего это я ему буду звонить? Ты забираешь, ты и звони. А мне расписку давай, что забрал.

Через пять минут все формальности были закончены. Румер спрятал расписку в ящик, посмотрел на Андрея, посмотрел на фотографию.

— Титьки какие! — сказал он.— Вымя!

— Плохо ты кончишь, Румер,— пообещал ему Андрей, выходя.

В коридоре он молча взял Вана под локоть и повлек за собой. Ван покорился, ни о чем не спрашивая, и Андрею пришло в голову, что вот так же безмолвно и безропотно он шел бы и на расстрел, и на пытку, и на любое унижение. Андрей не понимал этого. Было в этом смирении что-то животное, недочеловеческое, но в то же время возвышенное, вызывающее необъяснимое почтение, потому что за смирением этим угадывалось сверхъестественное понимание какой-то очень глубокой, скрытой и вечной сущности происходящего, понимание извечной бесполезности, а значит, и недостойности противодействия. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Строчка лживая, несправедливая, унизительная, но в данном случае она почему-то казалась уместной.

У себя в кабинете Андрей усадил Вана на стул — не на табурет для подследственных, а на стул секретаря сбоку от стола,— уселся сам и сказал:

— Ну что там у тебя с ними произошло? Рассказывай.

И Ван сейчас же принялся рассказывать своим размеренным и повествовательным голосом:

— Неделю назад ко мне в дворницкую явился районный уполномоченный по трудоустройству и напомнил мне, что я грубо нарушаю закон о праве на разнообразный труд. Он был прав, я действительно грубо нарушал этот закон. Три раза мне приходили повестки с биржи, и три раза я выбрасывал их в мусор. Уполномоченный объявил мне, что дальнейшее манкирование грозит большими для меня неприятностями. Тогда я подумал: ведь бывают же случаи, когда машина оставляет человека на прежней работе. В тот же день я отправился на биржу и вложил свою трудовую книжку в распределительную машину. Мне не повезло. Я получил назначение директором обувного комбината. Но я заранее решил, что на новую службу не пойду, и остался дворником.

Сегодня вечером за мной пришли двое полицейских и привели сюда. Вот как все было.

— Поня-атно,— протянул Андрей. Ничего ему было не понятно.— Слушай, хочешь чаю? Здесь можно попросить чаю с бутербродами. Бесплатно.

— Это будет большое беспокойство,— возразил Ван.— Не стоит.

— Какое там беспокойство!..— сердито сказал Андрей и заказал по телефону два стакана чая и бутерброды. Потом он положил трубку, посмотрел на Вана и осторожно спросил: — Я все-таки не совсем понимаю, Ван, почему ты не захотел стать директором комбината? Это уважаемая должность, ты бы получил новую профессию, принес бы много пользы, ты ведь очень исполнительный и трудолюбивый человек... А я знаю этот комбинат — вечно там воровство, целыми ящиками обувь выносят... При тебе этого бы не было. И потом, там гораздо выше зарплата, а у тебя все-таки жена, ребенок... В чем дело?

— Да, я думаю, тебе это трудно понять,— сказал Ван задумчиво.

— А чего тут понимать? — сказал Андрей нетерпеливо.— Ясно же, что лучше быть директором комбината, чем всю жизнь разгребать мусор... Или, тем более, вкалывать шесть месяцев на болотах...

Ван покачал круглой головой.

— Нет, не лучше,— сказал он.— Лучше всего быть там, откуда некуда падать. Ты этого не поймешь, Андрей.

— Почему же обязательно падать? — спросил Андрей, растерявшись.

— Не знаю — почему. Но это обязательно. Или приходится прилагать такие усилия удержаться, что лучше уж сразу упасть. Я знаю, я это все прошел.

Полицейский с заспанным лицом принес чаю, откозырял, качнувшись, и боком выдвинулся в коридор. Андрей поставил перед Ваном стакан в подстаканнике, придвинул тарелку с бутербродами. Ван поблагодарил, отхлебнул из стакана и взял самый маленький бутерброд.

— Ты просто боишься ответственности,— сказал Андрей расстроенно.— Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению к другим.

— Я всегда стараюсь делать людям только добро,— спокойно возразил Ван.— А что касается ответственности, то на мне лежит величайшая ответственность. Моя жена и ребенок.

— Это верно,— сказал Андрей, снова несколько растерявшись.— Это, конечно, так. Но, согласись, Эксперимент требует от каждого из нас...

Ван внимательно слушал и кивал. Когда Андрей кончил, он сказал:

— Я тебя понимаю. Ты по-своему прав. Но ведь ты пришел сюда строить, а я сюда бежал. Ты ищешь борьбы и победы, а я ищу покоя. Мы очень разные, Андрей.

— Что значит — покоя? Ты же на себя клевещешь! Если бы ты искал покоя, ты нашел бы тепленькое местечко и жил бы себе припеваючи. Здесь ведь полным-полно тепленьких местечек. А ты выбрал себе самую грязную, самую непопулярную работу и работаешь ты честно, не жалеешь ни сил, ни времени... Какой уж тут покой!

— Душевный, Андрей, душевный! — сказал Ван.— В мире с собой и со Вселенной.

Андрей побарабанил пальцами по столу.

— И что же, ты так всю жизнь и намерен пробыть дворником?

— Не обязательно дворником,— сказал Ван.— Когда я сюда попал, я был сначала грузчиком на складе. Потом машина назначила меня секретарем мэра. Я отказался, и меня отправили на болота. Я отработал шесть месяцев, вернулся и по закону, как наказанный, получил самую низкую должность. Но потом машина опять стала выталкивать меня наверх. Я пошел к директору биржи и объяснил ему все, как тебе. Директор биржи был еврей, он попал сюда из лагеря уничтожения, и он меня очень хорошо понял. Пока он оставался директором, меня не беспокоили,— Ван помолчал.— Месяца два назад он исчез. Говорят, его нашли убитым, ты, вероятно, это знаешь. И все началось сначала... Ничего, я отработаю на болотах и снова вернусь в дворники. Сейчас мне будет гораздо легче — мальчик уже большой, а на болотах мне поможет дядя Юра...

Тут Андрей поймал себя на том, что смотрит на Вана во все глаза, совершенно неприлично, как будто это не Ван

сидел перед ним, а какое-то диковинное существо. Впрочем, Ван ведь и в самом деле был диковинкой. Господи, подумал Андрей. Какую же надо прожить жизнь, чтобы докатиться до такой философии? Нет, я ему должен помочь. Просто обязан. Как?..

— Ну хорошо,— сказал он наконец.— Как хочешь. Только на болота тебе ехать совершенно незачем. Ты не знаешь случайно, кто теперь директором биржи?

— Отто Фрижа,— сказал Ван.

— Что? Отто? Так в чем же дело?..

— Да. Я бы к нему пошел, конечно, но он ведь совсем маленький, он ничего не понимает и всего боится.

Андрей схватил телефонную книгу, нашел номер, снял трубку. Ждать пришлось долго: видимо, Отто спал, как сурок. Наконец, он отозвался прерывающимся, испуганно-сердитым голосом:

— Директор Отто Фрижа слушает.

— Здравствуй, Отто,— сказал Андрей.— Это Воронин говорит, из прокуратуры.

Наступило молчание. Слышно было, как Отто несколько раз откашлялся. Потом он проговорил осторожно:

— Из прокуратуры? Слушаю вас.

— Ты что — не проснулся? — сердито сказал Андрей.— Это Эльза тебя так укатала? Андрей говорит! Воронин!

— Ах, Андрей?! — совсем другим голосом сказал Отто.— Что ты, в самом деле, среди ночи? Фу ты, сердце как колотится... Что тебе?

Андрей объяснил ситуацию. Как он и ожидал, все свершилось без сучка без задоринки. Отто был со всем и полностью согласен. Да, он всегда считал, что Ван находится на своем месте. Да, он безусловно полагал, что директор комбината из Вана все равно не получится. Он очевидно и недвусмысленно восхищен стремлением Вана остаться на столь незавидной должности («Побольше бы нам таких людей, а то все лезут вверх, что твои горные егеря!..»), он с негодованием отвергает самое идею отправки Вана на болота, а что касается закона, то он полон священного негодования относительно идиотов и бюрократических кретинов, подменяющих здоровый дух закона его мертвенной буквой. В конце

концов, закон существует, чтобы ограничить поползновения разных ловкачей пролезть вверх, а людей, желающих остаться внизу, он никак касаться не должен и не касается. Директор биржи совершенно ясно понимал все это. «Да! — повторял он.— О да, конечно!»

Правда, у Андрея осталось смутное, смешное и досадное впечатление, что Отто согласился бы на любое его, Андрея Воронина, предложение — например, назначить Вана мэром или, наоборот, посадить его в карцер. Отто всегда питал к Андрею болезненно-благодарные чувства, потому, наверное, что Андрей был единственным человеком в их компании (а может быть, и во всем городе), который относился к Отто по-человечески... Впрочем, в конце концов, важнее всего было дело.

— Я распоряжусь,— в десятый раз повторял Отто.— Ты можешь быть совершенно спокоен, Андрей. Я дам указание, и Вана больше никто никогда не тронет.

На том и порешили. Андрей положил трубку и принялся писать Вану пропуск на выход.

— Ты прямо сейчас пойдешь? — спросил он, не переставая писать.— Или подождешь до солнца? Смотри, сейчас опасно на улицах...

— Благодарю вас,— пробормотал Ван.— Благодарю вас...

Андрей удивленно поднял голову. Ван стоял перед ним и мелко-мелко кланялся, сложив ладони перед грудью.

— Да брось ты эти китайские церемонии,— проворчал Андрей с досадой и неловкостью.— Что я тебе — благодеяние, что ли, оказал? — Он протянул Вану пропуск.— Я спрашиваю, ты прямо сейчас пойдешь?

Ван принял пропуск с очередным поклоном.

— Я думаю, мне лучше пойти сразу,— сказал он, как бы извиняясь.— Прямо сейчас. Мусорщики, наверное, уже приехали...

— Мусорщики...— повторил Андрей. Он посмотрел на тарелку с бутербродами. Бутерброды были большие, свежие, с отличной ветчиной.— Погоди-ка,— сказал он, вытащил из ящика старую газету и принялся заворачивать бутерброды.— Возьмешь домой, для Мэйлинь...

Ва слабо сопротивлялся, бормотал что-то о чрезмерном беспокойстве, но Андрей сунул пакет ему за пазуху, обнял за плечи и повел к двери. Он чувствовал себя страшно неловко. Все было не так. И Отто, и Ван как-то странно реагировали на его действия. Он ведь только хотел сделать все по справедливости, чтобы все было правильно и разумно, а получилось черт знает что — благотворительность какая-то, кумовство, блат... Он торопливо искал какие-то слова, сухие, деловые, подчеркивающие официальность и законность ситуации... И вдруг ему показалось, что нашел. Он остановился, поднял подбородок и, глядя на Вана сверху вниз, холодно сказал:

— Господин Ван, от имени прокуратуры приношу вам глубочайшие извинения за незаконный привод. Ручаюсь, что это больше никогда не повторится.

И тут ему стало совсем неудобно. Чушь какая-то. Во-первых, привод не был, строго говоря, незаконным. Был он, прямо скажем, вполне законным. А во-вторых, следователь Воронин ни за что ручаться не мог, не имел такого права... И тут он вдруг увидел глаза Вана — странный и очень знакомый своей странностью взгляд, и он вдруг все вспомнил, и его обдало жаром при этом воспоминании.

— Ван,— проговорил он, внезапно охрипнув.— Я хочу тебя спросить, Ван.

Он замолчал. Глупо было спрашивать, бессмысленно. И уже нельзя было не спросить. Ван выжидательно смотрел на него снизу вверх.

— Ван,— сказал он, откашлявшись.— Где ты был сегодня в два часа ночи?

Ван не удивился.

— Как раз в два часа за мной пришли,— сказал он.— Я мыл лестницы.

— А до этого?

— А до этого я собирал мусор, мне помогала Мэйлинь, потом она пошла спать, а я пошел мыть лестницы.

— Да,— сказал Андрей.— Так я и думал. Ладно, до свиданья, Ван. Прости, что так получилось... Или нет, подожди, я тебя провожу...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Прежде чем вызвать Изю, Андрей все продумал заново.

Во-первых, он запретил себе относиться к Изе с предубеждением. То, что Изя циник, всезнайка и болтун, то, что он готов высмеять — и высмеивает — все на свете, что он неопрятен, брызгает, когда разговаривает, мерзко хихикает, живет с вдовой, как альфонс, и неизвестно, каким образом зарабатывает себе на жизнь,— все это в данном случае не должно было играть никакой роли.

Надлежало также выкорчевать без остатка примитивную мысль, что Кацман есть простой распространитель панических слухов о Красном Здании и о прочих мистических явлениях. Красное Здание — реальность, непонятно зачем и кому понадобившаяся, но — реальность. (Тут Андрей полез в аптечку и, глядясь в маленькое зеркальце, помазал сочащуюся гулю зеленкой.) В этом плане Кацман — прежде всего свидетель. Что он делал в Красном Здании? Как часто там бывает? Что может о нем рассказать? Какую папку он оттуда вынес? Или папка действительно не оттуда? Действительно из старой мэрии?..

Стоп, стоп! Кацман неоднократно проговаривался... нет, не проговаривался, конечно, а просто рассказывал о своих экскурсиях на север. Что он там делал? Антигород тоже где-то на севере! Нет, Кацмана я задержал правильно, хоть и впопыхах. Так ведь оно всегда и бывает: все начинается с простого любопытства, сунет человек свой любопытный нос куда не следует, а потом и пикнуть не успел, как его уже завербовали... Почему он никак не хотел отдать мне эту папку?.. Папка явно оттуда. И Красное Здание оттуда! Тут шеф явно что-то недодумал. Ну, это-то понятно — у него не было фактов. И ему не пришлось там побывать. Да, распространение слухов — это страшная штука, но Красное Здание пострашнее любого слуха. И страшно даже не то, что люди исчезают в нем навсегда — страшно, что иногда они оттуда выходят! Выходят, возвращаются, живут среди нас. Как Кацман...

Андрей чувствовал, что ухватился сейчас за главное, но ему недоставало смелости проанализировать все до конца.

Он знал только, что Андрей Воронин, который вошел в дверь с медной ручкой, был совсем не тот Андрей Воронин, который вышел из этой двери. Что-то сломалось в нем там, что-то утратилось безвозвратно... Он стиснул зубы: «Ну нет, здесь вы просчитались, господа хорошие. Не надо было вам меня выпускать. Нас так просто не сломаешь... не купишь... не разжалобишь...»

Он криво ухмыльнулся, взял чистый лист бумаги и написал на нем крупными буквами: «КРАСНОЕ ЗДАНИЕ — КАЦМАН. КРАСНОЕ ЗДАНИЕ — АНТИГОРОД. АНТИГОРОД — КАЦМАН». Вот как все это получается. Нет, шеф. Нам не распространителей слухов искать надо. Нам надо искать тех, кто вернулся из Красного Здания живым и невредимым — искать их, вылавливать, изолировать... или устанавливать тщательнейшее наблюдение... Он написал: «Побывавшие в Здании — Антигород». Так что пани Гусаковой придется-таки рассказать все, что она знает про своего Франтишека. А флейтиста, наверное, можно выпустить. Впрочем, ладно, не о них речь... Может быть, шефу позвонить? Спросить благословения на переориентировку? Рановато, пожалуй. Вот если мне удастся расколоть Кацмана... Он снял трубку.

— Дежурный? Задержанного Кацмана ко мне в тридцать шестую.

...А расколоть его не только должно, но и можно. Папка. Тут уж он не открутится... У Андрея мелькнула на мгновение мысль, что не совсем этично ему заниматься делом Кацмана, с которым неоднократно выпивалось и вообще... Но он одернул себя.

Дверь отворилась, и задержанный Кацман, осклабясь и засунув руки в лоснящиеся карманы, разболтанной походочкой вступил в камеру.

— Садитесь,— сухо сказал Андрей, показав подбородком на табурет.

— Благодарю вас,— отозвался задержанный, осклабляясь еще шире.— Я вижу, вы еще не очухались...

Все ему, мерзавцу, было как с гуся вода. Он уселся, дернул бородавку на шее и с любопытством оглядел кабинет.

И тут Андрей похолодел. Папки при задержанном не было.

— Где папка? — сказал он, стараясь говорить спокойно.

— Какая папка? — нагло осведомился Кацман.

Андрей сорвал трубку.

— Дежурный! Где папка задержанного Кацмана?

— Какая папка? — тупо спросил дежурный.— Сейчас посмотрю... Кацман... Ага... У задержанного Кацмана изъяты: носовых платков — два, кошелек пустой, подержанный...

— Папка там есть в описи? — гаркнул Андрей.

— Папки нет,— отозвался дежурный замирающим голосом.

— Принесите мне опись,— хрипло сказал Андрей и повесил трубку. Потом он исподлобья поглядел на Кацмана. От ненависти у него шумело в ушах.— Еврейские штучки...— сказал он, сдерживаясь.— Где ты девал папку, сволочь?

Кацман откликнулся немедленно:

— «Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал папку?»

— Ничего...— сказал Андрей, тяжело дыша носом.— Это тебе не поможет, шпионская морда...

На лице Изи мелькнуло изумление. Впрочем, через секунду он уже вновь ухмылялся своей отвратительно-издевательской ухмылкой.

— Ну, как же, как же! — сказал он.— Председатель организации «Джойнт» Иосиф Кацман, к вашим услугам. Не бейте меня, я и так все скажу. Пулеметы спрятаны в Бердичеве, место посадки обозначим кострами...

Вошел испуганный дежурный, неся перед собой в далеко вытянутой руке листок описи.

— Нету тут папки,— пробормотал он, кладя листок перед Андреем на край стола и отступая.— Я в регистратуру звонил, там тоже...

— Хорошо, идите,— сказал Андрей сквозь зубы.

Он взял чистый бланк допроса и, не поднимая глаз, спросил:

— Имя? Фамилия? Отчество?

— Кацман Иосиф Михайлович.

— Год рождения?

— Тридцать шестой.

— Национальность?

— Да,— сказал Кацман и хихикнул.

Андрей поднял голову.

— Что — да?

— Слушай, Андрей,— сказал Изя.— Я не понимаю, что это с тобой сегодня происходит, но имей в виду, ты на мне всю свою карьеру испортишь. Предупреждаю по старой дружбе...

— Отвечайте на вопросы! — произнес Андрей сдавленным голосом.— Национальность?

— Ты лучше вспомни, как у врача Тимашук орден отобрали,— сказал Изя.

Но Андрей не знал, кто такая врач Тимашук.

— Национальность!

— Еврей,— сказал Изя с отвращением.

— Гражданство?

— Эс-эс-эс-эр.

— Вероисповедание?

— Без.

— Партийная принадлежность?

— Без.

— Образование?

— Высшее. Пединститут имени Герцена. Ленинград.

— Судимости имели?

— Нет.

— Земной год отбытия?

— Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой.

— Место отбытия?

— Ленинград.

— Причина отбытия?

— Любопытство.

— Стаж пребывания в городе?

— Четыре года.

— Нынешняя профессия?

— Статистик управления коммунального хозяйства.

— Перечислите прежние профессии.

— Разнорабочий, старший архивариус города, конторщик городской бойни, мусорщик, кузнец. Кажется, все.

— Семейное положение?

— Прелюбодей,— ответствовал Изя, ухмыляясь.

Андрей положил ручку, закурил и некоторое время рассматривал задержанного сквозь голубой дымок. Изя был осклаблен, Изя был взлохмачен, Изя был нагл, но Андрей хорошо знал этого человека, и он видел, что Изя нервничает. По-видимому, ему было из-за чего нервничать, хотя от папки он сумел избавиться, прямо скажем, ловко. По-видимому, он понимал теперь уже, что берутся за него по-настоящему, и поэтому глаза его нервно щурились, а уголки осклабленного рта подрагивали.

— Вот что, подследственный,— сказал Андрей с хорошо отработанной сухостью.— Я настоятельно рекомендую вам вести себя прилично перед лицом следствия, если вы не хотите ухудшить своего положения.

Изя перестал улыбаться.

— Хорошо,— сказал он.— Тогда я требую, чтобы мне было предъявлено обвинение и объявлена статья, по которой произведено задержание. Кроме того, я требую адвоката. С этой минуты без адвоката я не скажу ни слова.

Андрей внутренне ухмыльнулся.

— Вы задержаны по статье двенадцатой у-пэ-ка о профилактическом задержании лиц, дальнейшее пребывание которых на свободе может представлять социальную опасность. Вы обвиняетесь в незаконной связи с враждебными элементами, в сокрытии или уничтожении вещественных доказательств в момент задержания... а также в нарушении постановления муниципалитета, запрещающего выход за городскую черту из санитарных соображений. Это постановление вы нарушали систематически... А что касается адвоката, то прокуратура может предоставить вам адвоката лишь по истечении трех суток с момента задержания. В соответствии с той же статьей у-пэ-ка, двенадцатой... Кроме того, поясняю: вы можете заявлять протесты, вносить жалобы и подавать апелляции только после того, как удовлетворительно ответите на вопросы предварительного следствия. Все та же статья двенадцатая. Вам все понятно?

Он внимательно следил за Изиным лицом и видел, что Изе все понятно. Было совершенно ясно, что Изя будет

отвечать на вопросы и ждать истечения трех суток. При упоминании об этих трех сутках Изя довольно откровенно перевел дух. Прелестно...

— Теперь, когда вы получили разъяснение,— сказал Андрей и снова взял ручку,— продолжим. Ваше семейное положение?

— Холост,— сказал Изя.

— Домашний адрес?

— Что? — спросил Изя. Он явно думал о другом.

— Ваш домашний адрес? Где проживаете?

— Вторая Левая, девятнадцать, квартира семь.

— Что вы можете сказать по существу предъявленного обвинения?

— Пожалуйста,— сказал Изя.— Насчет враждебных элементов: сумасшедший бред. Первый раз слышу, что бывают какие-то враждебные элементы, считаю это провокационной выдумкой следствия. Вещественные доказательства... Никаких вещественных доказательств при мне не было и быть не могло, потому что никаких преступлений я не совершал. Поэтому я ничего не мог ни скрыть, ни уничтожить. А что касается постановления муниципалитета, то я — старый работник городского архива, продолжаю там работать на общественных началах, имею допуск ко всем архивным материалам, а значит, и к тем, которые находятся за чертой города. Все.

— Что вы делали в Красном Здании?

— Это мое личное дело. Вы не имеете права вторгаться в мои личные дела. Докажите сначала, что они имеют отношение к составу преступления. Статья четырнадцатая у-пэ-ка.

— Вы бывали в Красном Здании неоднократно?

— Да.

— Можете назвать людей, которых там встречали?

Изя ужасно осклабился.

— Могу. Только следствию это не поможет.

— Назовите этих людей.

— Пожалуйста. Из нового времени: Петэн, Квислинг, Ван Цзинвэй, Биляк...

Андрей поднял руку.

— Попрошу в первую очередь называть людей, которые являются гражданами нашего города.

— А зачем это понадобилось следствию? — агрессивно осведомился Изя.

— Я не обязан давать вам отчет. Отвечайте на вопросы.

— Я не желаю отвечать на дурацкие вопросы. Вы ни черта не понимаете. Вы воображаете, что раз я встретил там кого-то, значит, он там и на самом деле был. А это не так.

— Не понимаю. Объясните, пожалуйста.

— А я и сам не понимаю,— сказал Изя.— Это что-то вроде сна. Бред взбудораженной совести.

— Так. Вроде сна. Вы были сегодня в Красном Здании?

— Ну, был.

— Где находилось Красное Здание, когда вы в него вошли?

— Сегодня? Сегодня там, у синагоги.

— Меня вы там видели?

Изя опять осклабился.

— Вас я вижу каждый раз, когда захожу туда.

— В том числе сегодня?

— В том числе.

— Чем я занимался?

— Непотребством,— сказал Изя с удовольствием.

— Конкретно?

— Вы совокуплялись, господин Воронин. Совокуплялись сразу со многими девочками и одновременно проповедовали кастратам высокие принципы. Втолковывали им, что занимаетесь этим делом не для собственного удовольствия, а для блага всего человечества.

Андрей стиснул зубы.

— А вы чем занимались? — спросил он, помолчав.

— А вот этого я вам не скажу. Имею право.

— Вы лжете,— сказал Андрей.— Вы там не видели меня. Вот ваши собственные слова: «Судя по твоему виду, ты побывал в Красном Здании...» Следовательно, там вы меня не видели. Зачем вы лжете?

— И не думаю,— легко сказал Изя.— Просто мне было стыдно за вас, и я решил дать вам понять, что вас там не

видел. А теперь, конечно, другое дело. Теперь я обязан говорить правду.

Андрей откинулся и забросил руку за спинку стула.

— Вы же говорите, что это вроде сна. Тогда какая разница, видели вы меня во сне или не видели? Зачем что-то там давать понять?..

— Да нет,— сказал Изя.— Я просто постеснялся вам сказать, что именно думаю о вас иногда. И зря постеснялся.

Андрей с сомнением покачал головой.

— Ну ладно. А папку вы тоже вынесли из Красного Здания? Так сказать, из собственного сна?

Лицо Изи застыло.

— Какая папка? — сказал он нервно.— О какой папке вы все время спрашиваете? Не было у меня никакой папки.

— Бросьте, Кацман,— проговорил Андрей, томно прикрывая глаза.— Папку видел я, папку видел полицейский, папку видел этот старик... пан Ступальский. На суде вам все равно придется давать объяснения... Не отягощайте!

Изя с застывшим лицом шарил глазами по стенам. Он молчал.

— Предположим, что папка не из Красного Здания,— продолжал Андрей.— Тогда, значит, вы получили ее за городской чертой? От кого? Кто вам ее дал, Кацман?

Изя молчал.

— Что было в этой папке? — Андрей встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину.— У человека в руках папка. Человека задерживают. На пути в прокуратуру человек избавляется от папки. Тайно. Почему? По-видимому, в папке содержатся документы, которые этого человека компрометируют... Вы следите за ходом моих рассуждений, Кацман? Папка получена за городской чертой. Какие документы, полученные за городской чертой, могут скомпрометировать жителя нашего города? Какие, скажите, Кацман?

Изя, нещадно терзая бородавку, смотрел в потолок.

— Только не пытайтесь выкручиваться, Кацман,— предупредил Андрей.— Не пытайтесь продать мне какую-нибудь очередную басню. Я вас вижу насквозь. Что было в папке? Списки? Адреса? Инструкции?

Изя вдруг ударил себя ладонью по колену.

— Слушай, идиот! — заорал он.— Что за чушь ты мелешь? Кто тебе все это внушил, простая твоя душа? Какие списки, какие адреса? Майор ты Пронин задрипанный! Ты же знаешь меня три года, знаешь, что я копаюсь в руинах, изучаю историю города. Какого черта ты все время клеишь мне какой-то идиотский шпионаж? Кто здесь может шпионить, сам подумай? Зачем? Для кого?

— Что было в папке?! — гаркнул Андрей изо всех сил.— Перестаньте вилять и отвечайте прямо: что было в папке?

И тут Изя сорвался. Глаза его выкатились и налились кровью.

— Иди ты к ... матери со своими папками! — завизжал он фальцетом.— Не буду я тебе ничего говорить! Дурак ты, идиот, жандармская морда!..

Он визжал, брызгался, ругался матом, показывал дули, и тогда Андрей достал лист чистой бумаги, написал сверху: «Показания подследственного И.Кацмана относительно виденной у него и впоследствии бесследно пропавшей папки», дождался, пока Изя утихомирится, и сказал по-доброму:

— Вот что, Изя. Я тебе неофициально говорю. Дело твое дрянь. Я знаю, что ты вляпался в эту историю по легкомыслию и из-за дурацкого своего любопытства. Тебя уже полгода держат под прицелом, если хочешь знать. И я тебе советую: садись сюда вот и пиши все, как есть. Много я тебе обещать не могу, но все, что в моих силах, для тебя сделаю. Садись и пиши. Я вернусь через полчаса.

Стараясь не глядеть на притихшего от изнеможения Изю, противный сам себе из-за своего лицемерия, подбадривая себя, что в данном случае цель несомненно оправдывает средства, он запер ящики стола, поднялся и вышел.

В коридоре он поманил к себе помощника дежурного, поставил его у дверей, а сам направился в буфет. На душе у него было гадко, во рту — вязко и мерзко, будто дерьма наелся. Допрос получился какой-то кривобокий, неубедительный. Версию Красного Здания он прогадил целиком и полностью, не надо было сейчас с этим связываться. Папку — единственную реальную зацепку! — позорнейше упустил, за такие ляпы в шею надо гнать из прокуратуры... Фриц небось бы не упустил, Фриц бы сразу понял, где собака зарыта.

Сентиментальность проклятая. Как же — вместе пили, вместе трепались, свой, советский... А какой был случай — сразу всех сгрести! Шеф тоже хорош: слухи, сплетни... Тут целая сеть под носом работает, а я должен источники слухов искать...

Андрей подошел к стойке, взял рюмку водки, выпил с гадливостью. Куда же он все-таки дел эту папку? Неужели просто выбросил на мостовую? Наверное... Не съел же он ее. Послать кого-нибудь поискать? Поздно. Психи, павианы, дворники... Нет, неправильно, неправильно у нас поставлена работа! Почему такая важная информация, как наличие Антигорода, является секретом даже от работников следствия? Да об этом в газете нужно писать каждый день, плакаты по улицам развешивать, показательные процессы нужны! Я бы этого Кацмана давным-давно бы уже раскусил... Конечно, с другой стороны, и свою голову надо на плечах иметь. Раз есть такое грандиозное мероприятие, как Эксперимент, раз в него втянуты люди самых разных классов и политических убеждений, значит, неизбежно должно возникнуть расслоение... противоречия... движущие противоречия, если угодно... антагонистическая борьба... Должны рано или поздно выявиться противники Эксперимента, люди классово несогласные с ним, а значит, и те, кого они перетягивают на свою сторону — деклассированный элемент, морально неустойчивые, нравственно разложившиеся, вроде Кацмана... космополиты всякие... естественный процесс. Мог бы и сам сообразить, как все это должно развиваться...

Маленькая крепкая ладонь легла ему на плечо, и он обернулся. Это был репортер уголовной хроники «Городской газеты» Кэнси Убуката.

— О чем задумался, следователь? — спросил он.— Распутываешь запутанное дело? Поделись с общественностью. Общественность любит запутанные дела. А?

— Привет, Кэнси,— сказал Андрей устало.— Водки выпьешь?

— Да, если будет информация.

— Ничего тебе не будет, кроме водки.

— Хорошо, давай водку без информации.

Они выпили по рюмке и закусили вялым соленым огурцом.

— Я только что от вашего шефа,— сказал Кэнси, выплюнув хвостик.— Он у вас очень гибкий человек. Одна кривая идет вверх, другая кривая падает вниз, оборудование одиночных камер унитазами заканчивается — и ни одного слова по интересующему меня вопросу.

— А что тебя интересует? — спросил Андрей рассеянно.

— Сейчас меня интересуют исчезновения. За последние пятнадцать дней в городе исчезли без следа одиннадцать человек. Может быть, ты что-нибудь знаешь об этом?

Андрей пожал плечами.

— Знаю, что исчезли. Знаю, что не найдены.

— А кто ведет дело?

— Вряд ли это одно дело,— сказал Андрей.— А лучше спроси у шефа.

Кэнси покачал головой.

— Что-то слишком часто последнее время господа следователи отсылают меня то к шефу, то к Гейгеру... Что-то слишком много тайн развелось в нашей маленькой демократической общине. Вы, случаем, не превратились тут между делом в тайную полицию? — Он заглянул в пустую рюмку и пожаловался: — Что толку иметь друзей среди следователей, если никогда ничего не можешь узнать?

— Дружба дружбой, а служба службой.

Они помолчали.

— Между прочим, знаешь, Вана арестовали,— сказал Кэнси.— Предупреждал же я его, не послушался, упрямец.

— Ничего, я уже все уладил,— сказал Андрей.

— Как так?

Андрей с удовольствием рассказал, как ловко и быстро он все уладил. Навел порядок. Восстановил справедливость. Приятно было рассказывать об этом единственном удачном деле за целый дурацкий невезучий день.

— Гм,— сказал Кэнси, дослушав до конца.— Любопытно... «Когда я приезжаю в чужую страну,— процитировал он,— я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они...»

— Что ты этим хочешь сказать? — осведомился Андрей, нахмурившись.

— Я хочу сказать, что закон о праве на разнообразный труд, насколько мне известно, не содержит никаких исключений.

— То есть ты считаешь, что Вана надо было закатать на болота?

— Если этого требует закон — да.

— Но это же глупо! — сказал Андрей, раздражаясь.— На кой черт Эксперименту плохой директор комбината вместо хорошего дворника?

— Закон о праве на разнообразный труд...

— Этот закон,— прервал его Андрей,— придуман на благо Эксперименту, а не во вред ему. Закон не может все предусмотреть. У нас, у исполнителей закона, должны быть свои головы на плечах.

— Я представляю себе исполнение закона несколько иначе,— сухо сказал Кэнси.— И уж во всяком случае эти вопросы решаешь не ты, а суд.

— Суд укатал бы его на болота,— сказал Андрей.— А у него жена и ребенок.

— Dura lex, sed lex,— сказал Кэнси.

— Эту поговорку придумали бюрократы.

— Эту поговорку,— сказал Кэнси веско,— придумали люди, которые стремились сохранить единые правила общежития для пестрой человеческой вольницы.

— Вот-вот, для пестрой! — подхватил Андрей.— Нет единого закона для эксплуататора и эксплуатируемого. Вот если бы Ван отказывался перейти из директоров в дворники...

— Это не твое дело — трактовать закон,— холодно сказал Кэнси.— Для этого существует суд.

— Да ведь суд не знает и знать не может Вана, как знаю я!

Кэнси, криво улыбаясь, помотал головой.

— Господи, ну и знатоки сидят у нас в прокуратуре!

— Ладно-ладно,— проворчал Андрей.— Ты еще статью напиши. Растяпа следователь освобождает преступного дворника.

— И написал бы. Вана жалко. Тебя, дурака, мне нисколько не жалко.

— Так ведь и мне Вана жалко! — сказал Андрей.

— Но ты же следователь,— возразил Кэнси.— А я — нет. Я законами не связан.

— Знаешь что,— сказал Андрей.— Отстань ты от меня Христа ради. У меня и без тебя голова кругом идет.

Кэнси поднял глаза и усмехнулся.

— Да, я вижу. Это у тебя на лбу написано. Облава была?

— Нет,— сказал Андрей.— Просто споткнулся.— Он поглядел на часы.— Еще по рюмке?

— Спасибо, хватит,— сказал Кэнси, поднимаясь.— Я не могу выпивать так много с каждым следователем. Я пью только с теми, кто дает информацию.

— Ну и черт с тобой,— сказал Андрей.— Вон Чачуа появился. Пойди спроси его насчет «Падающих Звезд». У него там бо-ольшие успехи, он сегодня хвастался... Только учти: он очень скромный, будет отнекиваться, но ты не отставай, накачай его как следует, матерьялец получишь — во!

Кэнси, раздвигая стулья, двинулся к Чачуа, уныло склонившемуся над тощей котлеткой, а Андрей, мстительно ухмыльнувшись, неторопливо пошел к выходу. Хорошо бы подождать, посмотреть, как Чачуа будет орать, подумал он. Жалко, времени нет... Н-ну-с, господин Кацман, как там у вас дела? И не дай вам бог, господин Кацман, снова вола вертеть. Я этого не потерплю, господин Кацман...

В камере тридцать шесть весь мыслимый свет был включен. Господин Кацман стоял, прислонившись плечом к раскрытому сейфу, и жадно листал какое-то дело, привычно терзая бородавку и неизвестно чему осклабляясь.

— Какого черта! — проговорил Андрей, потерявшись.— Кто тебе разрешил? Что за манера, черт побери!..

Изя поднял на него бессмысленные глаза, осклабился еще больше и сказал:

— Никогда я не думал, что вы столько понаворотили вокруг Красного Здания.

Андрей вырвал у него папку, с лязгом захлопнул железную дверцу и, взяв за плечо, толкнул Изю к табурету.

— Сядьте, Кацман,— сказал он, сдерживаясь из последних сил. В глазах у него все плыло от ярости.— Вы написали?

— Слушай,— сказал Изя.— Вы здесь все просто идиоты!.. Вас тут сидит сто пятьдесят кретинов, и вы никак не можете понять...

Но Андрей уже не смотрел на него. Он смотрел на листок с надписью «Показания подследственного И.Кацмана...» Никаких показаний там не было, там красовался рисунок пером — мужской орган в натуральную величину.

— Сволочь,— сказал Андрей и задохнулся.— Скотина.

Он сорвал телефонную трубку и трясущимся пальцем набрал номер.

— Фриц? Воронин говорит...— Свободной рукой он рванул на себе ворот.— Ты мне очень нужен. Зайди ко мне сейчас же, пожалуйста.

— В чем дело? — недовольно спросил Гейгер.— Я домой собираюсь.

— Я тебя очень прошу! — Андрей повысил голос.— Зайди ко мне!

Он повесил трубку и посмотрел на Изю. Он сейчас же обнаружил, что не может на него смотреть, и стал смотреть сквозь него. Изя булькал и хихикал на своей табуретке, потирал ладони и непрерывно говорил, разглагольствовал о чем-то с отвратительной самодовольной развязностью, что-то о Красном Здании, о совести, о дураках-свидетелях — Андрей не слушал и не слышал. Решение, которое он принял, переполняло его страхом и каким-то дьявольским весельем. Все в нем плясало от возбуждения, он ждал и все никак не мог дождаться, что вот сейчас откроется дверь, мрачный злой Фриц шагнет в комнату, и как изменится тогда это отвратительное самодовольное лицо, исказится ужасом, позорным страхом... Особенно если Фриц явится с Румером. Одного вида Румера будет достаточно, его зверской волосатой хари с раздавленным носом... Андрей вдруг почувствовал холодок на спине. Он весь был в испарине. В конце концов еще можно переиграть. Еще можно сказать: «Все в порядке, Фриц, все уладилось, извини за беспокойство...»

Дверь распахнулась, и вошел хмурый и недовольный Фриц Гейгер.

— Ну, в чем дело? — осведомился он и тут же увидел Изю.— А, привет! — сказал он, заулыбавшись.— Что это вы затеяли посреди ночи? Спать пора, утро скоро...

— Слушай, Фриц! — завопил Изя радостно.— Ну объясни хоть ты этому болвану! Ты же здесь большое начальство...

— Молчать, подследственный! — заорал Андрей, грохнув кулаком по столу.

Изя замолк, а Фриц мгновенно подобрался и посмотрел на Изю уже как-то по-другому.

— Эта сволочь издевается над следствием,— сказал Андрей сквозь зубы, стараясь унять дрожь во всем теле.— Эта сволочь запирается. Возьми его, Фриц, и пусть он скажет, что у него спрашивают.

Прозрачные нордические глаза Фрица широко раскрылись.

— А что у него спрашивают? — с деловитым весельем осведомился он.

— Это неважно,— сказал Андрей.— Дашь ему бумагу, он сам напишет. И пусть он скажет, что было в папке.

— Ясно,— сказал Фриц и повернулся к Изе.

Изя все еще не понимал. Или не верил. Он медленно потирал ладони и неуверенно осклаблялся.

— Ну что ж, мой еврей, пойдем? — ласково сказал Фриц. Угрюмости и хмурости его как не бывало.— Пошевеливайся, мой славный!

Изя все медлил, и тогда Фриц взял его за воротник, повернул и подтолкнул к двери. Изя потерял равновесие и схватился за косяк. Лицо его побелело. Он понял.

— Ребята,— сказал он севшим голосом.— Ребята, подождите...

— Если что, мы будем в подвале,— бархатно промурлыкал Фриц, улыбнулся Андрею и выпихнул Изю в коридор.

Все. Ощущая противный тошный холодок внутри, Андрей прошелся по кабинету, гася лишний свет. Все. Он сел за стол и некоторое время сидел, уронив голову в ладони. Он был весь в испарине, как перед обмороком. В ушах шумело, и сквозь этот шум он все время слышал беззвучный и оглушительный, тоскливый, отчаянный, севший голос Изи: «Ребята,

подождите... Ребята, подождите...» И еще была торжественно ревущая музыка, топот и шарканье по паркету, звон посуды и невнятное шамканье: «...гюмку кюгасо и а-ня-няс!..» Он оторвал руки от лица и бессмысленно уставился в изображение мужского органа. Потом взял листок и принялся рвать его на длинные узкие полоски, бросил бумажную лапшу в мусорную корзину и снова спрятал лицо в руки. Все. Надо было ждать. Набраться терпения и ждать. Тогда все оправдается. Пропадет дурнота, и можно будет вздохнуть с облегчением.

— Да, Андрей, иногда приходится идти и на это,— услышал он знакомый спокойный голос.

С табуретки, где несколько минут назад сидел Изя, теперь, положив ногу на ногу и сцепив тонкие белые пальцы на колене, смотрел на Андрея Наставник, грустный, с усталым лицом. Он тихонько кивал головой, уголки рта его были скорбно опущены.

— Во имя Эксперимента? — хрипло спросил Андрей.

— И во имя Эксперимента тоже,— сказал Наставник.— Но прежде всего — во имя себя самого. Дороги в обход нет. Надо было пройти и через это. Нам ведь нужны не всякие люди. Нам нужны люди особого типа.

— Какого?

— Вот этого-то мы и не знаем,— сказал Наставник с тихим сожалением.— Мы знаем только, какие люди нам не нужны.

— Такие, как Кацман?

Наставник одними глазами показал: да.

— А такие, как Румер?

Наставник усмехнулся.

— Такие, как Румер, это — не люди. Это живые орудия, Андрей. Используя таких, как Румер, во имя и на благо таких, как Ван, дядя Юра... понимаешь?

— Да. Я тоже так считаю. И ведь другого пути нет, верно?

— Верно. Пути в обход нет.

— А Красное Здание? — спросил Андрей.

— Без него тоже нельзя. Без него каждый мог бы незаметно для себя сделаться таким, как Румер. Разве ты еще не

почувствовал, что Красное Здание необходимо? Разве сейчас ты такой же, какой был утром?

— Кацман сказал, что Красное Здание — это бред взбудораженной совести.

— Что ж, Кацман умен. Я надеюсь, с этим ты не будешь спорить?

— Конечно,— сказал Андрей.— Именно поэтому он и опасен.

И Наставник опять показал глазами: да.

— Господи,— проговорил Андрей с тоской,— если бы все-таки точно знать, в чем цель Эксперимента! Так легко запутаться, так все смешалось... Я, Гейгер, Кэнси... Иногда мне кажется, я понимаю, что между нами общее, а иногда — какой-то тупик, несуразица... Ведь Гейгер — бывший фашист, он и сейчас... Он и сейчас бывает мне крайне неприятен — не как человек, а именно как тип, как... Или Кэнси. Он же что-то вроде социал-демократа, пацифист какой-то, толстовец... Нет, не понимаю.

— Эксперимент есть Эксперимент,— сказал Наставник.— Не понимание от тебя требуется, а нечто совсем иное.

— Что?!

— Если бы знать...

— Но ведь все это во имя большинства? — спросил Андрей почти с отчаянием.

— Конечно,— сказал Наставник.— Во имя темного, забитого, ни в чем не виноватого, невежественного большинства...

— Которое надо поднять,— подхватил Андрей,— просветить, сделать хозяином земли! Да-да, это я понимаю. Ради этого можно на многое пойти...— Он помолчал, собирая мучительно разбегающиеся мысли.— А тут еще этот Антигород,— сказал он нерешительно.— Ведь это же опасно, верно?

— Очень,— сказал Наставник.

— А тогда, если я даже не совсем уверен насчет Кацмана, все равно я поступил правильно. Мы не имеем права рисковать.

— Безусловно! — сказал Наставник. Он улыбался. Он был доволен Андреем, Андрей это чувствовал.— Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Не ошибки опасны — опасна пассивность, ложная чистоплотность опасна,

приверженность к ветхим заповедям! Куда могут вести ветхие заповеди? Только в ветхий мир.

— Да! — взволнованно сказал Андрей.— Это я очень понимаю. Это как раз то, на чем мы все должны стоять. Что такое личность? Общественная единица! Ноль без палочки. Не о единицах речь, а об общественном благе. Во имя общественного блага мы должны принять на свою ветхозаветную совесть любые тяжести, нарушить любые писаные и неписаные законы. У нас один закон: общественное благо.

Наставник поднялся.

— Ты взрослеешь, Андрей,— сказал он почти торжественно.— Медленно, но взрослеешь!

Он приветственно поднял руку, неслышно прошел по комнате и исчез за дверью.

Некоторое время Андрей бездумно сидел, откинувшись на спинку стула, курил и смотрел, как голубой дым медленно крутится вокруг голой желтой лампы под потолком. Он поймал себя на том, что улыбается. Он больше не чувствовал усталости, исчезла сонливость, мучившая его с вечера, хотелось действовать, хотелось работать, и досада брала при мысли, что вот придется все-таки сейчас пойти и несколько часов проспать, чтобы не ходить потом вареным.

Он нетерпеливым движением придвинул телефон, снял трубку и сейчас же вспомнил, что телефона в подвале нет. Тогда он поднялся, запер сейф, проверил, заперты ли ящики стола, и вышел в коридор.

Коридор был пуст, дежурный полицейский кивал носом за своим столиком.

— Спите на посту! — укоризненно бросил ему Андрей, проходя мимо.

В здании царила гулкая тишина, как всегда в это время, за несколько минут до включения солнца. Сонная уборщица лениво возила по цементному полу сырую тряпку. Окна в коридорах были распахнуты, вонючие испарения сотен человеческих тел рассеивались и выползали в темноту, вытесняемые холодным утренним воздухом.

Грохоча каблуками по скользкой железной лестнице, Андрей спустился в подвал, небрежным взмахом руки усадил

на место подскочившего было охранника и распахнул низкую железную дверь.

Фриц Гейгер, без куртки, в сорочке с закатанными рукавами, насвистывая полузнакомый маршик, стоял возле ржавого рукомойника и обтирал волосатые мосластые руки одеколоном. Больше в комнате никого не было.

— А, это ты,— сказал Фриц.— Это хорошо. Я как раз собирался подняться к тебе... Дай сигаретку, у меня все кончились.

Андрей протянул ему пачку. Фриц извлек сигарету, размял ее, сунул в рот и с усмешкой посмотрел на Андрея.

— Ну? — не выдержал Андрей.

— Что — ну? — Фриц закурил, с наслаждением затянулся.— Пальцем в небо ты попал — ну. Никакой он не шпион — даже не пахнет.

— То есть как? — проговорил Андрей, обмирая.— А папка?

Фриц хохотнул, зажав сигарету в углу большого рта, и вылил на широкую ладонь новую порцию одеколона.

— Еврейчик наш — бабник сверхъестественный,— сказал он наставительно.— В папке у него были любовные письма. От бабы он шел — разругался и любовные письма отобрал. А он свою вдову боится до мокрых штанов и, сам понимаешь, не будь дурак, от папочки этой постарался избавиться в первый же удобный момент. Говорит, бросил ее по дороге в канализационный люк... И очень жалко! — продолжал Фриц еще более наставительно.— Папочку эту, господин следователь Воронин, надо было сразу же отобрать — компромат получился бы первостатейный, мы бы нашего еврея вот где держали бы!..— Фриц показал, где они держали бы нашего еврея. На костяшках пальцев виднелись свежие ссадины.— Впрочем, протокольчик он нам подписал, так что шерсти клок мы все-таки получили...

Андрей нащупал стул и сел. Ноги не держали его. Он снова огляделся.

— Ты вот что...— сказал Фриц, опуская завернутые рукава и возясь с запонками.— Я вижу, у тебя шишка на лбу. Так вот, пойди к врачу и эту шишку запротоколируй. Румеру

я уже нос разбил и отправил в медкабинет. Это на всякий случай. Подследственный Кацман во время допроса напал на следователя Воронина и младшего следователя Румера и нанес им телесные повреждения. Так что вынужденные к обороне... и так далее. Понял?

— Понял,— пробормотал Андрей, машинально ощупывая гулю. Он еще раз огляделся.— А где... он? — спросил он с трудом.

— Да Румер, горилла этакая, опять перестарался,— с досадой сказал Фриц, застегивая куртку.— Сломал ему руку, вот здесь... Пришлось отправить в больницу.

РЕДАКТОР

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В городе издавна выходили четыре ежедневные газеты, но Андрей прежде всего взялся за пятую, которая начала выходить совсем недавно, недели за две до наступления «тьмы египетской». Газетка эта была маленькая, всего на двух полосах,— не газета, собственно, а листок,— и выпускала этот листок партия Радикального возрождения, выделившаяся из левого крыла партии радикалов. Листок «Под знаменем Радикального возрождения» был ядовитый, агрессивный, злобный, но люди, издававшие его, были всегда великолепно информированы и, как правило, очень хорошо знали, что происходит в Городе вообще и в правительстве в частности.

Андрей просмотрел заголовки: «Фридрих Гейгер предупреждает: вы погрузили город во тьму, но мы не дремлем!»; «Радикальное возрождение — единственная действенная мера против коррупции»; «А все-таки, мэр, куда делось зерно с городских складов?»; «Плечом к плечу — вперед! Встреча Фридриха Гейгера с вождями крестьянской партии»; «Мнение рабочих сталелитейного: скупщиков зерна — на фонарь!»; «Так держать, Фриц! Мы с тобой! Митинг домашних хозяек-эрвисток»; «Снова павианы?». Карикатура: задастый мэр, восседая на куче зерна,— надо понимать, того самого, которое исчезло с городских складов,— раздает оружие мрачным личностям уголовного вида. Подпись: «А ну-ка, объясните им, ребятки, куда девалось зерно!»

Андрей бросил листок на стол и почесал подбородок. Откуда у Фрица столько денег на штрафы? Господи, до чего все надоело! Он встал, подошел к окну, выглянул. В жирной

сырой тьме, еле подсвеченной уличными фонарями, грохотали телеги, слышался сиплый мат, надсадный прокуренный кашель, время от времени звонко ржали лошади. Второй день в окутанный мраком город съезжались фермеры.

В дверь постучались, вошла секретарша с пачкой гранок. Андрей досадливо отмахнулся:

— Убукате, Убукате отдайте...

— Господин Убуката у цензора,— робко возразила секретарша.

— Не будет же он там ночевать,— раздраженно сказал Андрей.— Вернется, тогда и отдадите...

— Но метранпаж...

— Все! — грубо сказал Андрей.— Ступайте.

Секретарша ретировалась. Андрей зевнул, сморщился от боли в затылке, вернулся к столу, закурил. Голова трещала, во рту было мерзко. И вообще все было мерзко, темно, слякотно. Тьма египетская... Откуда-то издалека донеслись выстрелы — слабое потрескивание, словно ломали сухие сучья. Андрей снова поморщился и взял «Эксперимент» — правительственную газету на шестнадцати полосах.

МЭР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЭРВИСТОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СПИТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ВИДИТ ВСЕ!

ЭКСПЕРИМЕНТ ЕСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТ. Мнение нашего научного обозревателя по поводу солнечных явлений.

ТЕМНЫЕ УЛИЦЫ И ТЕМНЫЕ ЛИЧНОСТИ. Комментарий политического консультанта муниципалитета к последней речи Фридриха Гейгера.

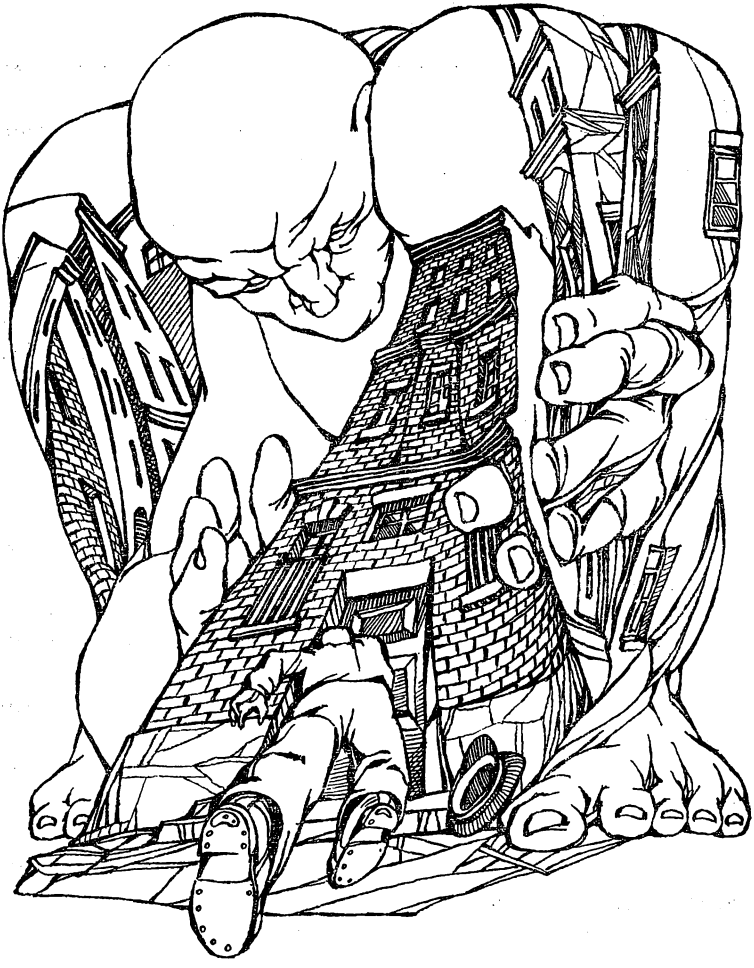
СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР. Алоиз Тендер приговорен к расстрелу за ношение оружия.

«У НИХ ТАМ ЧТО-ТО ИСПОРТИЛОСЬ. НИЧЕГО, ПОЧИНЯТ»,— говорит мастер-электрик Теодор У.Питерс.

БЕРЕГИТЕ ПАВИАНОВ, ОНИ — ВАШИ ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ! Резолюция последнего собрания общества покровительства животным.

ФЕРМЕРЫ — НАДЕЖНЫЙ КОСТЯК НАШЕГО ОБЩЕСТВА. Встреча мэра с вождями крестьянской партии.

ВОЛШЕБНИК ИЗ ЛАБОРАТОРИИ НАД ОБРЫВОМ. Сообщения о последних работах по бессветному выращиванию растений.



СНОВА «ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»?

У НАС ЕСТЬ БРОНЕВИКИ. Интервью с полицей-президентом.

ХЛОРЕЛЛА НЕ ПАЛЛИАТИВ, А ПАНАЦЕЯ.

АРОН ВЕБСТЕР СМЕЕТСЯ, АРОН ВЕБСТЕР ПОЕТ! Пятнадцатый благотворительный концерт знаменитого комика...

Андрей сгреб всю эту кучу бумаги, скатал в ком и зашвырнул в угол. Все это казалось нереальным. Реальной была тьма, двенадцатый день стоявшая над городом, реальностью были очереди перед хлебными магазинами, реальностью был этот зловещий стук расхлябанных колес под окнами, вспыхивающие в темноте красные огоньки цигарок, глухое металлическое позвякивание под брезентом в деревенских колымагах. Реальностью была стрельба, хотя до сих пор никто толком не знал, кто стреляет и в кого... И самой скверной реальностью было тупое похмельное гудение в бедной голове и огромный шершавый язык, который не помещался во рту и который хотелось выплюнуть. Портвейн с сырцом — с ума сошли, и больше ничего! Ей-то что, валяется себе под одеялом, отсыпается, а ты тут пропадай... Скорее бы все это разваливалось уже к чертовой матери, что ли... Надоело небо коптить, и шли бы они в глубокую задницу со своими экспериментами, наставниками, эрвистами, мэрами, фермерами, зерном этим вонючим... Тоже мне, экспериментаторы великие — солнечного света обеспечить не могут. А сегодня еще в тюрьму идти, тащить Изе передачу... Сколько ему еще сидеть осталось? Четыре месяца... Нет, шесть. Сука Фриц, его бы энергию да на мирные цели! Вот ведь не унывает человек. Все ему в жилу. Из прокуратуры выперли — партию создал, планы какие-то строит, борьба с коррупцией, да здравствует возрождение, с мэром вот сцепился... А хорошо бы сейчас пойти в мэрию, взять господина мэра за седой благородный загривок, ахнуть мордой об стол: «Где хлеб, зараза? Почему солнце не горит?» и под жопу — ногой, ногой, ногой...

Дверь распахнулась, ахнув о стену, и вошел Кэнси, маленький, стремительный, и сразу видно, что в ярости — глаза

щелками, мелкие зубы оскалены, смоляная шевелюра дыбом. Андрей мысленно застонал. Опять сейчас потащит с кем-нибудь воевать, подумал он с тоской.

Кэнси подошел и шваркнул об стол перед Андреем пачку гранок, исполосованных красным карандашом.

— Я этого печатать не буду! — объявил он.— Это саботаж!

— Ну, что у тебя опять? — спросил Андрей уныло.— С цензором поцапался, что ли? — Он взял гранки и уставился в них, ничего не понимая, да и не видя ничего, кроме красных линий и загогулин.

— Подборка писем — из одного письма! — яростно сказал Кэнси.— Передовицу нельзя — слишком острая. Комментарий к выступлению мэра нельзя — слишком вызывающ. Интервью с фермерами нельзя — больной вопрос, несвоевременно... Я так работать не могу, Андрей, воля твоя. Ты должен что-то сделать. Они убивают газету, эти сволочи!

— Ну подожди...— морщась, сказал Андрей.— Подожди, дай разобраться...

Большой ржавый болт ввинтился ему вдруг в затылок, в ямку у основания черепа. Он закрыл глаза и тихонько застонал.

— Стонами тут не поможешь! — сказал Кэнси, падая в кресло для посетителей и нервно закуривая.— Ты стонешь, я стенаю, а стонать должна эта сволочь, а не мы с тобой...

Дверь снова распахнулась. Цензор — жирный, потный, весь в красных пятнах,— загнанно дыша, ввалился в комнату и уже с порога пронзительно закричал:

— Я отказываюсь работать в таких условиях! Я, господин главный редактор, не мальчишка! Я — государственный служащий! Я здесь не для собственного удовольствия сижу! Я похабную ругань от ваших подчиненных выслушивать не намерен! И чтобы обзывались!..

— Да вас душить надо, а не обзывать! — прошипел из своего кресла Кэнси, сверкая глазами, как змея.— Вы саботажник, а не государственный служащий!

Цензор окаменел, переводя налитые глазки с него на Андрея и обратно. Потом он вдруг сказал очень спокойно и даже торжественно:

— Господин главный редактор! Я объявляю формальный протест!

Тут Андрей сделал наконец над собой чудовищное усилие, хлопнул ладонью по столу и сказал:

— Я попрошу всех замолчать. Всех! Сядьте, пожалуйста, господин Паприкаки.

Господин Паприкаки сел напротив Кэнси и, теперь уже ни на кого не глядя, вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и принялся вытирать потную шею, щеки, затылок, кадык.

— Значит, так...— сказал Андрей, перебирая гранки.— Мы подготовили подборку из десяти писем...

— Это тенденциозная подборка! — немедленно объявил господин Паприкаки.

Кэнси сейчас же взвился:

— У нас за вчерашний день девятьсот писем насчет хлеба! — заорал он.— И все — вот такого содержания, если не хлеще!..

— Минуточку! — сказал Андрей, повысив голос, и снова хлопнул ладонью по столу.— Дайте говорить мне! А если вам неугодно, выйдите оба в коридор и препирайтесь там... Так вот, господин Паприкаки, наша подборка основана на тщательном анализе поступивших в редакцию писем. Господин Убуката совершенно прав: мы располагаем корреспонденцией, гораздо более резкой и невыдержанной. Но в подборку мы включили как раз самые спокойные и сдержанные письма. Письма людей не просто голодных или напуганных, а понимающих сложность положения. Более того, мы даже включили в подборку одно письмо, прямо поддерживающее правительство, хотя это — единственное такое из семи тысяч, которые мы...

— Против этого письма я ничего не имею,— прервал его цензор.

— Еще бы,— сказал Кэнси.— Вы же сами его и написали.

— Это ложь! — взвизгнул цензор так, что ржавый винт снова вонзился Андрею в затылок.

— Ну, не вы, так кто-нибудь другой из вашей шайки,— сказал Кэнси.

— Сами вы шантажист! — выкрикнул цензор, снова покрываясь пятнами. Это был странный возглас, и на некоторое время воцарилось молчание.

Андрей перебрал гранки.

— До сих пор мы неплохо с вами срабатывались, господин Паприкаки,— сказал он примирительно.— Я уверен, что и сейчас нам следует найти некоторый компромисс...

Цензор замотал щеками.

— Господин Воронин! — сказал он проникновенно.— При чем здесь я? Господин Убуката — человек невыдержанный, ему только бы сорвать злость, а на ком — ему безразлично. Но вы-то понимаете, что я действую строго в соответствии с полученными инструкциями. В городе назревает бунт. Фермеры в любую минуту готовы начать резню. Полиция ненадежна. Вы что же, хотите крови? Пожаров? У меня дети, я ничего этого не хочу. Да и вы этого не хотите! В такие дни пресса должна способствовать смягчению ситуации, а не обострению ее. Такова установка, и, должен сказать, я с нею совершенно согласен. А если бы даже и был не согласен, все равно обязан, это моя обязанность... Вот вчера арестовали цензора «Экспресса» за попустительство, за пособничество подрывным элементам...

— Я вас прекрасно понимаю, господин Паприкаки,— сказал Андрей с наивозможнейшей сердечностью.— Но вы же видите, в конце концов, что подборка вполне умеренная. Поймите, именно потому, что времена тяжелые, мы не можем поддакивать правительству. Именно потому, что грозит выступление деклассированных элементов и фермеров, мы должны сделать все, чтобы правительство взялось за ум. Мы исполняем свой долг, господин Паприкаки!

— Подборку я не подпишу,— тихо сказал Паприкаки.

Кэнси шепотом выматерился.

— Мы будем вынуждены выпустить газету без вашей санкции,— сказал Андрей.

— Очень хорошо,— сказал Паприкаки с тоской.— Очень мило. Просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют. И тираж арестуют. И вас тоже арестуют.

Андрей взял листок «Под знаменем Радикального возрождения» и помахал им перед носом цензора.

— А почему не арестовывают Фрица Гейгера? — спросил он.— Сколько цензоров этой газетки арестовано?

— Не знаю,— сказал Паприкаки с тихим отчаянием.— Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют, допрыгается...

— Кэнси,— сказал Андрей.— Сколько у нас в кассе? На штраф хватит?

— Соберем между сотрудниками,— деловито сказал Кэнси и поднялся.— Я даю метранпажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь...

Он пошел к двери, цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался.

— Сердца у вас нет...— бормотал он.— И ума нет. Молососы...

На пороге Кэнси остановился.

— Андрей,— сказал он.— На твоем месте я бы все-таки сходил в мэрию и нажал там на все рычаги, какие только можно.

— Какие там рычаги...— мрачно проговорил Андрей.

Кэнси сейчас же вернулся к столу.

— Пойди к заместителю политконсультанта. В конце концов, он тоже русский. Ты же с ним водку пил.

— Я ему и морду бил,— сказал Андрей угрюмо.

— Ничего, он не обидчивый,— сказал Кэнси.— И потом, я точно знаю, что он берет.

— Кто в мэрии не берет? — сказал Андрей.— Разве в этом дело? — Он вздохнул.— Ладно, схожу. Может, узнаю что-нибудь... А с Паприкаки что будем делать? Он же сейчас звонить побежит... Побежите ведь, а?

— Побегу,— согласился Паприкаки без всякого энтузиазма.

— А я его сейчас свяжу и завалю за шкаф! — сказал Кэнси, сверкнув всеми зубами от удовольствия.

— Ну, зачем...— сказал Андрей.— Зачем это сразу: свяжу, завалю... Запри его в архиве, там телефона нет.

— Это будет насилие,— заметил Паприкаки с достоинством.

— А если вас арестуют, это не будет насилие?

— Так я же не возражаю! — сказал Паприкаки.— Я просто так... отметил...

— Иди, иди, Андрей,— сказал Кэнси нетерпеливо.— Я тут без тебя все сделаю, не беспокойся.

Андрей с кряхтением поднялся, волоча ноги, побрел к вешалке, взял плащ. Берет куда-то запропастился, он поискал внизу, среди каких-то галош, забытых посетителями в старые добрые времена, не нашел, матюкнулся и вышел в приемную. Худосочная секретарша вскинула на него испуганные серенькие глазки. Шлюшка задрипанная. Как ее звать-то?..

— Я в мэрию,— мрачно сказал он.

В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись с краю стола, кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил кофе, метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами, было накурено, намусорено, заведующий литературным отделом, феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квазигосударства наподобие Андорры, высокопарно вещал тоскующему автору: «Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры, материал оказался крепче вас и лабильнее...» «Ногой, ногой, ногой»,— думал Андрей, проходя. Ему вдруг вспомнилось, как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно,— совсем недавно! — казалось таким перспективным, нужным, важным... «Шеф, одну минутку»,— крикнул ему Дэнни Ли, завотделом писем, и устремился было следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад. «Ногой, ногой, ногой...»

Выйдя из подъезда, он остановился и поднял воротник плаща. По улице по-прежнему грохотали телеги — и все в одну сторону, к центру города, к мэрии. Андрей засунул руки поглубже в карманы и, ссутулившись, двинулся в том же направлении. Минуты через две он заметил, что идет рядом с чудовищной колымагой с колесами в человеческий рост. Колымагу влекли два гигантских битюга, притомившихся, видно, с дальней дороги. Поклажи в колымаге видно не было за высокими дощатыми бортами, зато хорошо был виден возница на передке — даже не столько сам возница, сколько его колоссальный брезентовый плащ с треугольным капюшоном. От самого возницы усматривалась только борода, торчащая вперед, и сквозь скрип колес и перестук копыт слышались издаваемые им непонятные звуки: то ли он лошадей

своих ободрял, то ли лишние газы выпускал по деревенскому простодушию.

И этот в город, думал Андрей. Зачем? Что им тут всем нужно? Хлеба они здесь не достанут, да и не нужен им хлеб, есть у них хлеб. И вообще все у них есть, не то что у нас, у горожан. Даже оружие есть. Неужели действительно хотят устроить резню, махновщину? Может быть. Только какая им от этого польза? По квартирам шарпать?.. Ничего не понятно.

Он вспомнил интервью с фермерами, и как Кэнси был этим интервью разочарован, хотя сам же его и брал — опросил чуть ли не полсотни мужиков на площади перед мэрией. «А как народ, так и мы»; «Надоело, понимаешь, на болотах сидеть, дай, думаю, съезжу...»; «И не говорите, господин хороший, чего народ прет, куда прет, зачем? Сами удивляемся...»; «Ну, вижу я — все в город. И я — в город. Что я — рыжий, что ли?»; «...Автомат-то? А как же нам без автомата? У нас без автомата шагу ступить нельзя...»; «...Вышел это я утром коров доить, гляжу — едут. Семка Костылин едет, Жак-Француз едет, этот, как его... ах, ядрит-твою, все время я его забываю, за Вшивым Бугром живет... тоже едет! Я спрашиваю, ребята, мол, куда? Да вот, говорят, солнца седьмой день нету, надо бы в город съездить...»; «А вы у начальства спросите. Начальство — оно все знает...»; «Так говорили же, что трактора автоматические давать будут! Чтобы самому дома сидеть, поясницу чесать, а он бы за тебя чтобы работал... Третий год обещают...».

Уклончиво, смутно, неясно. Зловеще. То ли они просто хитрят, то ли сбивает их в кучу какой-то инстинкт, а может быть, и организация какая-нибудь тайная, хорошо замаскированная... Тогда что же — Жакерия? Антоновщина?.. В чем-то их понять можно: солнца нет двенадцатый день, урожай гибнет, что будет — неясно. Вот их и сорвало с насиженных мест...

Андрей миновал небольшую тихую очередь в мясной магазин, потом другую — в хлебный. Стояли в основном женщины, у многих на рукавах были почему-то белые повязки. Андрей, конечно, сразу вспомнил про Варфоломеевскую ночь и тут же подумал, что на самом деле сейчас не ночь, а день,

час дня, а лавки до сих пор закрыты. На углу, под неоновой вывеской ночного кафе «Квисисана», кучкой стояли трое полицейских. Вид у них был какой-то странный — неуверенный, что ли? Андрей замедлил шаг, прислушиваясь.

— Что ж нам теперь, в драку лезть прикажете? Так их больше раза в два...

— А пойдем и так и доложим: не пройти туда, и все тут.

— А он скажет: «Как это не пройти? Вы — полиция».

— Ну полиция, ну и что? Мы полиция, а они — милиция...

Милиция еще какая-то, подумал Андрей, проходя. Не знаю я никакой милиции... Он миновал еще одну очередь, свернул на Главную. Впереди уже виднелись яркие ртутные фонари Центральной площади, обширное пространство которой все было занято чем-то серым, шевелящимся, окутанным не то паром, не то дымом, но тут его остановили.

Рослый молодой человек, собственно, юнец даже, переросток, в плоской кепке с козырьком, надвинутым на самые глаза, заступил дорогу и спросил негромко:

— Вы куда, сударь?

Руки он держал под бока, на обоих рукавах у него были белые повязки, а у стены позади него стояло еще несколько человек самого разнообразного вида, и все тоже с белыми повязками на рукавах.

Краем глаза Андрей заметил, что дядёк в брезентовом плаще проследовал дальше со своей колымагой беспрепятственно.

— Я в мэрию,— сказал Андрей, вынужденный остановиться.— А в чем дело?

— В мэрию? — громко повторил юнец и оглянулся через плечо на своих. Еще двое отделились от стены и подошли к Андрею.

— А позвольте спросить, зачем вам в мэрию? — осведомился коренастый, небритый, в промасленном комбинезоне и в каскетке с буквами «джи» и «эм». У него было энергичное мускулистое лицо и недобрые шарящие глаза.

— Кто вы такие? — спросил Андрей, нащупывая в кармане медный пестик, который вот уже четвертый день таскал с собой по причине неспокойного времени.

— Мы — добровольная милиция,— ответил коренастый.— Что вам понадобилось в мэрии? Кто вы такой?

— Я — главный редактор «Городской газеты»,— сердито сказал Андрей, стискивая пестик. Ему очень не нравилось, что за разговором юнец зашел к нему слева, а третий добровольный милиционер, тоже парень, по всему видно, крепкий, сопел над ухом справа.— Иду в мэрию с протестом против действий цензуры.

— А,— сказал коренастый с неопределенным выражением.— Понятно. Только зачем вам в мэрию? Арестовали бы цензора и выпускали бы свою газету на здоровье.

Андрей решил пока держаться нагло.

— А вы меня не учите,— сказал он.— Цензора мы и без ваших советов арестовали. И вообще, позвольте мне пройти.

— Представитель прессы...— проворчал тот, что сопел над правым ухом.

— А чего? Пусть идет,— снисходительно разрешил юнец слева.

— Пусть,— сказал коренастый.— Пусть идет. Только пусть потом на нас не пеняет... Оружие у вас есть?

— Нет,— сказал Андрей.

— Зря,— сказал коренастый, отступая в сторону.— Проходите...

Андрей прошел. За спиной его коренастый сказал петушиным голосом: «Жасмин — хорошенький цветочек! Он пахнет очень хорошо...», и милиционеры засмеялись. Андрей знал этот стишок, и ему захотелось сердито обернуться, но он только ускорил шаг.

На Главной оказалось довольно много народу. Держались они в основном вдоль стен, кучками стояли в подворотнях, все были с белыми повязками. Некоторые торчали прямо посередине мостовой — подходили к проезжающим фермерам, что-то говорили им, и фермеры ехали дальше. Магазины все были закрыты, но очередей возле них здесь уже не было. Около булочной пожилой милиционер с узловатой тростью втолковывал какой-то одинокой старушенции: «Я вам совершенно наверняка говорю, мадам. Магазины сегодня не откроются. Я сам владелец бакалеи, мадам, я знаю, что говорю...» Старушенция визгливо отвечала в

том смысле, что умрет здесь, на этих ступеньках, но очереди своей не бросит...

Старательно подавляя в себе нарастающее чувство тревоги и какой-то ирреальности окружающего — все было, как в кино,— Андрей добрался до площади. Горловина Главной, выходящая на площадь, была плотно забита телегами, повозками, арбами, колымагами, возами. Здесь воняло конским потом, свежим навозом, мотали головами разномастные лошади, зычно перекликались сыны болот, вспыхивали цигарки. Несло дымом — где-то недалеко палили костер. Из-под арки вышел, застегиваясь на ходу, толстый усач в техасской шляпе — едва не налетел на Андрея, чертыхнулся благодушно и пошел пробираться между телегами, рявкающим голосом выкликая какого-то Сидора: «Сюда давай, Сидор! Во двор давай, там можно! Под ноги только смотри, не вляпайся!..»

Андрей покусал губу и пошел дальше. У самого входа на площадь телеги стояли уже на тротуаре. Многие были распряжены, стреноженные кони вприскочку бродили кругом, уныло обнюхивая асфальт. В телегах спали, курили, ели, слышалось аппетитное бульканье и причмокивание. Андрей взобрался на какое-то крыльцо и посмотрел поверх становища. До мэрии было шагов пятьсот, но это был лабиринт. Трещали и дымились костры, сизые от ртутных фонарей дымы тянулись поверх фургонов и колымаг и, как в гигантский дымоход, втягивались в Главную улицу. Какая-то сволочь с жужжанием уселась Андрею на щеку и впилась, словно булавку вонзила. Андрей с омерзением прихлопнул что-то крупное, колючее, сочно хрустнувшее под ладонью. Понатащили с болот, сердито подумал он. Из приоткрытой парадной отчетливо тянуло аммиаком. Андрей соскочил на тротуар и решительно двинулся в лошадино-тележный лабиринт, на первых же шагах угодив в мягкое и рассыпчатое.

Тяжелое округлое здание мэрии возвышалось над площадью, как пятиэтажный бастион. Почти все окна были темны, только в некоторых горел свет, и еще тускло и желтовато светились выведенные наружу колодцы лифтов. Лагерь фермеров окружал здание кольцом, между телегами и

мэрией пролегало пустое пространство, освещенное яркими фонарями на фигурных чугунных столбах. Под фонарями толклись фермеры, почти все с оружием, а напротив них, у входа в мэрию, стояла шеренга полицейских — судя по знакам различия, преимущественно сержантов и офицеров.

Андрей уже проталкивался через вооруженную толпу, когда его окликнули. Он остановился и завертел головой.

— Да здесь я, вот он я! — гаркнул знакомый голос, и Андрей увидел наконец дядю Юру.

Дядя Юра вперевалочку приближался к нему, заранее отводя ладонь для рукопожатия — все в той же гимнастерочке, в пилотке набекрень, и известный Андрею пулемет висел у него на широком ремне через плечо.

— Здорово, Андрюха, городская твоя душа! — провозгласил он, с треском ударяя своей жесткой ладонью в ладонь Андрея.— А я тут все тебя ищу, буча идет, нет, думаю, не может быть, чтобы нашего Андрюхи тут не было! Он — парень заводной, думаю, обязательно где-нибудь тут же крутится...

Дядя Юра был основательно на взводе. Он стащил пулемет с плеча, оперся на ствол подмышкой, как на костыль, и продолжал с той же горячностью:

— Я туда, я сюда — нет Андрюхи. Ах ты, ядрит-твою, думаю, что же это такое? Фриц твой белобрысый — этот здесь. Толкается среди мужиков, речи произносит... А тебя нет как нет!

— Подожди, дядя Юра,— сказал Андрей.— Ты-то чего сюда приперся?

— Права качать! — ухмыльнулся дядя Юра. Борода его раздвинулась веником.— Исключительно для этой цели сюда прибыл, но ничего у нас тут, видно, не получится.— Он сплюнул и растер огромным сапожищем.— Народ — вша. Сами не знают, чего пришли. То ли просить пришли, то ли требовать пришли, а может, не то и не другое, а просто по городской жизни соскучились — постоим здесь, засрем ваш город, да и назад, по домам. Говно народ. Вот...— Он обернулся и помахал кому-то рукой.— Вот, к примеру, возьми Стася Ковальского, дружка моего... Стась, т-твою... Иди сюда!

Стась подошел — худой сутулый мужик с унылыми вислыми усами и редкой шевелюрой. От него так и шибало самогоном. На ногах он держался исключительно инстинктивно, однако то и дело воинственно вскидывал голову, хватался за странный автомат-коротышку, висящий у него на шее, и, с огромным трудом приподнимая веки, угрожающе оглядывался по сторонам.

— Вот — Стась...— продолжал дядя Юра.— Ведь воевал же, Стась, воевал, ну скажи! Нет, ты скажи: воевал? — требовал дядя Юра, горячо обхватив Стася за плечи и качаясь вместе с ним.

— Хэ! Хо!..— откликнулся Стась, всем своим видом стараясь показать, что воевал, что еще как воевал, слов нет выразить, как воевал.

— Он пьяный сейчас,— объяснил дядя Юра.— Он не может, когда солнца нет... О чем это я? Да! Ты спроси его, дурака, чего он здесь топчется? Оружие есть. Ребята боевые есть. Ну, чего еще, спрашивается?

— Подожди,— сказал Андрей.— Чего вы хотите?

— Так я же тебе и говорю! — проникновенно сказал дядя Юра, выпуская Стася, которого сразу же по длинной дуге унесло в сторону.— Я тебе втолковываю! Один раз дать на гадов — и все! У них же пулеметов нет! Сапогами затопчем, шапками закидаем...— Он вдруг замолчал, снова вскинул на спину пулемет.— Пошли.

— Куда?

— Выпьем. Надо допивать все к чертовой матери и ехать отсюда по домам. Чего, в самом деле, время тратить? У меня там картошка гниет... Пошли.

— Нет, дядя Юра,— сказал Андрей извиняющимся голосом.— Не могу сейчас. Мне в мэрию надо.

— В мэрию? Пошли! Стась! Стась, т-твою...

— Да подожди, дядя Юра! Ты же... того... не пустят тебя.

— М-меня? — взревел дядя Юра, сверкнув глазами.— А ну, пошли! Посмотрим, кто там меня не пустит. Стась!..

Он обхватил Андрея за плечи и поволок через пустое, ярко освещенное пространство прямо на шеренгу полицейских.

— Ты пойми,— горячо бормотал он прямо в ухо упирающемуся Андрею.— Страшно, понял? Никому не говорил, тебе

скажу. Жутко! А если оно теперь вовсе не загорится больше, а? Затащили нас сюда и бросили... Нет, пусть объяснят, пусть правду скажут, суки, а так жить нельзя. Я спать перестал, понял? Такого со мной и на фронте не бывало... Ты думаешь, я пьяный? Ни хрена я не пьяный — это страх, страх во мне ходит!..

У Андрея озноб пошел по спине от этого горячечного бормотания. Он остановился шагах в пяти от шеренги (ему казалось, что на площади все стихло и все смотрят на него — и полицейские, и фермеры) и, стараясь говорить внушительно, произнес:

— Ты вот что, дядя Юра. Я сейчас схожу, улажу один вопрос насчет моей газеты, а ты меня здесь подожди. Потом пойдем ко мне и обо всем как следует поговорим.

Дядя Юра изо всех сил замотал бородой.

— Нет, я с тобой. Мне тоже надо один вопрос уладить...

— Да не пустят тебя! И меня из-за тебя не пустят!

— Пойдем, пойдем...— приговаривал дядя Юра.— Как так — не пустят? Почему? Мы — тихо, благородно...

Они были уже совсем рядом с шеренгой, дородный капитан полиции в щегольской форме, с расстегнутой кобурой слева на поясе шагнул им навстречу и холодно осведомился:

— Вам куда, господа?

— Я главный редактор «Городской газеты»,— сказал Андрей, тихонько отпихивая дядю Юру, чтобы не обнимался.— Я должен встретиться с господином политическим консультантом.

— Попрошу документы,— обтянутая лайкой ладонь протянулась к Андрею.

Андрей достал удостоверение, отдал капитану и покосился на дядю Юру. К его удивлению, дядя Юра стоял теперь спокойно, пошмыгивал носом и то и дело поправлял ремень своего пулемета, хотя никакой надобности в этом не было. Глаза его, вроде бы и не пьяные совсем, неторопливо шарили по шеренге.

— Можете пройти,— вежливо сказал капитан, возвращая удостоверение.— Хотя должен вам сказать...— Он не кончил и обратился к дяде Юре: — А вы?

— Это со мной,— поспешно сказал Андрей.— В некотором роде представитель... э-э... части фермеров.

— Документы!

— Какие у мужика могут быть документы? — сказал дядя Юра с горечью.

— Без документов не могу.

— Почему же это нельзя без документов? — совсем огорчился дядя Юра.— Без какой-то бумажки паршивой я, значит, уже и не человек?

Кто-то жарко задышал Андрею в затылок. Это Стась Ковальский, все еще воинственно взбрыкивая и пошатываясь, подпирал теперь тыл. По освещенному пространству вяло, словно бы нехотя, подтягивались еще какие-то люди.

— Господа, господа, не скапливаться! — нервно сказал капитан.— Да проходите же, сударь! — зло прикрикнул он на Андрея.— Господа, назад! Скапливаться запрещено!..

— То есть если у меня бумажки какой-то исчириканной нет,— сокрушался дядя Юра,— то уже мне, значит, ни проходу, ни проезду...

— Дай ему в рыло! — неожиданно ясным голосом предложил сзади Стась.

Капитан схватил Андрея за рукав плаща и резко рванул на себя, так что Андрей сразу же очутился за спинами шеренги. Шеренга быстро сомкнулась, заслоняя от него фермеров, столпившихся перед капитаном, и он, не дожидаясь дальнейшего развития событий, быстро зашагал к сумрачному, слабо освещенному порталу. За спиной гудели:

— Хлеб им давай, мясо им давай, а как пройти куда-нибудь...

— Па-апрашу не скапливаться! Имею приказ арестовывать...

— Почему представителя не пропускаешь, а?

— Солнце! Солнце, сволочи, когда обратно зажжете?

— Господа, господа! Ну при чем тут я?

По беломраморной лестнице навстречу Андрею, звеня подковками, сыпались новые полицейские. Эти были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Сдавленный голос скомандовал: «Баллоны приготовить!» Андрей дошел до верха лестницы и оглянулся. Освещенное пространство

было теперь усеяно людьми. Фермеры, кто медленно, а кто и бегом, двигались к большой черной куче образовавшегося толковища.

Андрей с усилием оттянул на себя дверь — тяжелую, высокую, обитую медью — и вошел в вестибюль. Здесь тоже было полутемно, и стоял резкий явственный запах казармы. В роскошных креслах, на диванах и прямо на полу спали вповалку полицейские, укрывшись шинелями. На слабо освещенной галерее, тянувшейся под потолком вдоль трех стен вестибюля, маячили какие-то фигуры. Андрей не разобрал, было ли у них оружие.

По мягкой ковровой дорожке он взбежал на второй этаж, где располагался отдел прессы, и двинулся по широкому коридору. Его вдруг охватило сомнение. Что-то слишком тихо было сегодня в этом огромном здании. Обычно здесь толклась масса народу, стрекотали пишущие машинки, гремели телефонные звонки, гул стоял от разговоров и начальственных окриков, а сейчас ничего этого не было. Некоторые кабинеты были распахнуты настежь, там стояла тьма, да и в самом коридоре горела только каждая четвертая лампа.

Предчувствие его не обмануло: кабинет политконсультанта оказался заперт, а в кабинете заместителя сидели два каких-то незнакомых человека в одинаковых серых пальто, застегнутых до подбородка, в одинаковых котелках, надвинутых на глаза.

— Прошу прощения,— сердито сказал Андрей.— Где я могу найти господина политконсультанта или его заместителя?

Головы в котелках неторопливо повернулись к нему.

— А зачем вам? — спросил тот, что был поменьше ростом.

Лицо этого человека показалось вдруг Андрею не таким уж незнакомым, да и голос тоже. И почему-то стало неприятно и странно оттого, что этот человек находится здесь. Нечего ему здесь было делать... Андрей насупился и, стараясь говорить отрывисто и решительно, объяснил, кто он и что ему нужно.

— Да вы заходите,— произнес полузнакомый человек.— Что это вы стоите там в дверях?

Андрей вошел и огляделся, но он ничего не видел: перед глазами все время маячило только это гладко выбритое скопческое лицо. Где же я его видел? Неприятная какая-то личность... и опасная... Зря я сюда зашел, только время теряю.

Маленький человек в котелке тоже пристально его рассматривал. Было тихо. Высокие окна затянуты были тяжелыми портьерами, и шум снаружи едва доносился сюда. Маленький человек в котелке вдруг легко вскочил и подошел к Андрею вплотную. Серые глазки его, почти без ресниц, мигали, а от верхней пуговицы пальто подскочил к самому подбородку и снова ушел вниз могучий хрящеватый кадык.

— Главный редактор?..— проговорил маленький человек, и тут Андрей наконец узнал его и в обессиливающем томлении, теряя ощущение ног под собою, понял, что узнан сам.

Скопческое лицо ощерилось, показывая редкие дурные зубы, маленький человек присел, и Андрей ощутил жестокую боль в животе, словно у него лопнули внутренности, и сквозь тошную муть в глазах увидел вдруг навощенный пол... Бежать, бежать... Целый фейерверк вспыхнул у него в мозгу, и над ним закачался, медленно поворачиваясь, далекий темный потолок, испещренный трещинами... из наваливающейся душной тьмы выскакивали раскаленные добела пики и втыкались в ребра... убьет... убьет же!.. Голова вдруг распухла и, обдирая уши, полезла в какую-то узкую вонючую щель, а громовой голос неторопливо говорил: «Спокойнее, Копчик, спокойнее, не все сразу...» Андрей закричал изо всех сил, теплая густая каша наполнила его рот, он захлебнулся, и его вырвало.

В комнате никого не было. Огромная портьера была отдернута, окно распахнуто, тянуло сырым холодным воздухом, и слышался какой-то отдаленный рев. Андрей с трудом поднялся на четвереньки и пополз вдоль стены. К двери. Прочь отсюда...

В коридоре его снова вырвало. Он полежал немного в блаженном изнеможении, затем попробовал подняться на ноги. Плохо мне, подумал он. Ох, как мне плохо. Он сел и ощупал лицо. Лицо было влажное и липкое, и тут он обнаружил, что смотрит только одним глазом. Болели ребра,

трудно было дышать. Болели челюсти, и ужасной, невыносимой болью сводило низ живота. Сволочь, Копчик. Изуродовал меня... Андрей заплакал. Он сидел на полу в пустом коридоре, прислонившись спиной к золоченым завитушкам, и плакал. Ничего не мог с собой сделать. Плача, он с трудом задрал полу плаща и полез рукой под брючный ремень. Болело ужасно, но не там, а выше. Весь живот болел. Трусы были мокрые.

Кто-то, тяжело бухая сапогами, прибежал из глубины коридора и остановился над ним. Какой-то полицейский — красный, распаренный, без фуражки, с растерянными глазами. Постоял несколько секунд словно бы в нерешительности и вдруг опрометью бросился бежать дальше, а из глубины коридора уже бежал второй, на ходу сдирая с себя китель.

Тут до Андрея дошло, что там, откуда они бежали, стоит ревущий многоголосый гомон. Тогда он с усилием поднялся и, придерживаясь за стену, поплелся на этот гомон, все еще всхлипывая, со страхом ощупывая лицо и то и дело останавливаясь, чтобы постоять, согнувшись и держась за живот.

Он добрался до лестницы и ухватился за скользкие мраморные перила. Внизу в огромном вестибюле ворочалась густая человеческая каша. Совершенно непонятно было, что там делается. Прожекторные лампы, установленные вдоль галереи, озаряли холодным слепящим светом это месиво, в котором мелькали разномастные бороды, форменные фуражки, золотые шнуры витых полицейских аксельбантов, примкнутые штыки, растопыренные пятерни, бледные лысины, и от всего этого поднимался к потолку теплый влажный смрад.

Андрей закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого, и ощупью, перебирая руками по перилам, кое-как, задом, боком, стал спускаться, сам не понимая, зачем он это делает. Несколько раз он останавливался, чтобы отдышаться и постонать, открывал глаза, глядел вниз, ему снова становилось невмоготу от этого зрелища, он опять зажмуривался и опять принимался перебирать руками по перилам. Уже внизу руки его ослабели окончательно, он

сорвался и прокатился по последним ступенькам до мраморной лестничной площадки, украшенной гигантскими бронзовыми плевательницами. Сквозь муть и гомон он услышал вдруг надсадный хриплый рев: «Гляди, да это же Андрюха!.. Ребята, там наших насмерть убивают!..» Открыв глаза, он увидел совсем рядом дядю Юру, всклокоченного, в растерзанной гимнастерке, глаза дикие, выкаченные, борода растопырена, и он увидел, как дядя Юра поднял на вытянутых руках свой пулемет и, не переставая реветь быком, ударил длинной очередью по галерее, по прожекторам, по стеклам двусветного зала...

Потом были какие-то отрывочные впечатления, потому что сознание приливало и отливало вместе с приливами и отливами боли и дурноты. Сначала он обнаружил себя в центре вестибюля. Он, оказывается, упрямо полз на карачках к далекой распахнутой двери, перебираясь через неподвижные тела, оскользаясь руками в мокром и холодном. Кто-то однообразно стонал совсем рядом, приговаривая: «О господи, о господи, господи...» На ковре было полно осколков стекла, стреляных гильз, обломков штукатурки. В распахнутую дверь ворвались с ревом и бежали прямо на него какие-то страшные люди с горящими факелами в руках...

Потом он очутился снаружи, в портале. Он сидел, расставив ноги, упираясь ладонями в холодный камень, и на коленях у него лежала винтовка без затвора. Пахло свежим дымом, где-то на краю сознания грохотал пулемет, дико визжали лошади, а он монотонно твердил вслух, втолковывая самому себе: «Тут меня растопчут, тут меня обязательно растопчут...»

Но его не растоптали. Он очнулся уже на мостовой, в стороне от лестницы. Он прижимался щекой к шершавому граниту, над ним светила ртутная лампа, винтовки не было, и тела, кажется, тоже не было, он словно бы висел в пустоте со щекой, прижатой к граниту, а на площади перед ним, как на сцене, разыгрывалась некая диковинная трагедия.

Он увидел, как вдоль цепи фонарей, окаймлявших площадь, вдоль кольца сцепившихся телег и повозок со звоном и лязгом мчится бронеавтомобиль, его пулеметная башня

ходит из стороны в сторону, обильно плюясь огнем, светящиеся трассы мечутся по всей площади, а перед броневиком, задрав голову, галопом скачет лошадь, волоча оборванные постромки... И вдруг из гущи телег, наперерез броневику, выкатился фургон, крытый брезентом, лошадь бешено рванулась в сторону и разбилась о фонарный столб, а броневик резко затормозил, его занесло, и тут на открытое пространство выбежал длинный человек в черном, взмахнул рукой и плашмя упал на асфальт. Под броневиком вспыхнуло пламя, раскатился гулкий удар, и железная махина грузно осела назад. Человек в черном уже снова бежал. Он обогнул броневик, сунул что-то в смотровую амбразуру водителя и отскочил в сторону, и тогда Андрей увидел, что это Фриц Гейгер, а амбразура озарилась изнутри, в броневике грохнуло, и из амбразуры вылетел длинный коптящий язык пламени. Фриц, пригнувшись, на полусогнутых ногах и растопырив длинные, до земли, руки, боком, как краб, двигался вокруг машины, и тут бронированная дверца распахнулась, на асфальт вывалился охваченный пламенем лохматый тюк и с пронзительным воем стал кататься, рассыпая искры...

Потом снова был обморок, словно занавес опустился, и какие-то свирепые голоса, и нечеловеческие визги, и топот множества ног. От горящего броневика несло вонью раскаленного железа и бензина. Фриц Гейгер в окружении толпы людей с белыми повязками на рукавах, возвышаясь над ними на целую голову, выкрикивал команды, резко взмахивал, показывая в разные стороны, длинными руками, лицо и белобрысые растрепанные волосы были у него покрыты копотью. Другие люди с белыми повязками облепили фонари перед входом в мэрию, лезли зачем-то наверх и спускали оттуда, сверху, длинные, мотающиеся под ветром веревки. Кого-то волокли по лестнице, отбивающегося, дрыгающего ногами, кто-то все визжал высоким бабьим голосом так, что закладывало уши, и вдруг лестница вся покрылась народом, замелькали черные бородатые лица, залязгало оружие. Визг прекратился, темное тело поползло вверх вдоль фонарного столба, судорожно дергаясь и извиваясь. Из толпы ударили выстрелы, дергающиеся ноги обмякли, вытянулись, и темное тело начало медленно крутиться в воздухе.

А потом Андрей очнулся уже от ужасной тряски. Голова его моталась на жестких пахучих узлах, он куда-то ехал, везли его куда-то, и знакомый остервенелый голос выкрикивал: «Н-но! Н-но, лярва, т-твою!.. Пошла!» А прямо перед ним на фоне черного неба горела мэрия. Жаркие языки вырывались из окон, сыпали искры в черноту, и видно было, как слегка покачиваются, свешиваясь с фонарных столбов, длинные вытянутые тела.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вымытый и переодетый, с повязкой через правый глаз, Андрей полулежал в кресле и угрюмо смотрел, как дядя Юра и Стась Ковальский, у которого голова была тоже обмотана бинтом, жадно хлебают прямо из кастрюли какое-то дымящееся варево. Заплаканная Сельма сидела рядом с ним, судорожно вздыхала и все пыталась взять его за руку. Волосы ее были растрепаны, краска с ресниц измазала щеки, лицо было опухшее и все горело красными пятнами. И дико выглядел на ней легкомысленный прозрачный халатик, спереди весь мокрый от мыльной воды.

— ...Это он забить тебя хотел,— объяснял Стась, не переставая хлебать.— Нарочно тебя так, понимаешь, аккуратно обрабатывал, чтобы надольше хватило. Я эту штуку знаю, меня голубые гусары тоже вот так же обрабатывали. Только я весь курс, понимаешь, прошел — уже меня ногами топтать стали, да тут, слава божьей матери, оказалось, что я не тот, другого им надо было...

— Нос сломали — это ерунда,— подтверждал дядя Юра.— Нос не это самое... и сломанный сойдет... А ребро...— Он махнул рукой с ложкой.— Я их сколько себе ломал, ребер этих. Главное — кишки целы, печенки-селезенки...

Сельма судорожно вздохнула и снова попыталась взять Андрея за руку. Он посмотрел на нее и сказал:

— Хватит реветь. Поди переоденься, и вообще...

Она послушно встала и вышла в другую комнату. Андрей пошарил во рту языком, нащупал еще что-то твердое и вытолкнул на палец.

— Пломбу выбил,— проговорил он.

— Ну да? — удивился дядя Юра.

Андрей показал. Дядя Юра присмотрелся и покачал головой. Стась тоже покачал головой и сказал:

— Редкий случай. А только я, когда отлеживался,— три месяца, знаешь ли, отлеживался,— так я все больше зубы сплевывал. Баба мне ребра парила каждый день. Умерла потом, а я вот видишь — жив. И хоть бы хрен.

— Три месяца! — сказал дядя Юра с презрением.— Мне когда задницу оторвало под Ельней, я полгода по госпиталям мотался. Это же жуткая вещь, браток, когда ягодицу оторвет. Там, понимаешь, в ягодице, все главные сосуды сплетаются. А мне по касательной как шваркнет болванкой!.. Ребята, спрашиваю, что же это такое, где же задница-то? А мне, веришь, штаны содрало начисто по самые голенища, как не было штанов... в голенищах еще что-то осталось, а сверху — ну ничего!..— Он облизал ложку.— Федьке Чепареву тогда голову оторвало,— сообщил он.— Той же болванкой и оторвало...

Стась тоже облизал ложку, и некоторое время они сидели молча и глядели в кастрюлю. Потом Стась деликатно кашлянул и снова запустил ложку в пар. Дядя Юра последовал его примеру.

Вернулась Сельма. Андрей взглянул на нее и отвел глаза. Вырядилась, дура. Серьги свои гигантские нацепила, декольте, намазалась опять, как шлюха... Шлюха и есть... Не мог он на нее смотреть, ну ее к черту совсем. Сначала этот срам в прихожей, а потом срам в ванной, когда она, рыдая в голос, стягивала с него обмоченные трусы, а он глядел на сине-черные пятна у себя на животе и боках и опять плакал — от жалости к себе и от бессилия... И конечно же пьяна, опять пьяна, каждый божий день она пьяна, и сейчас, пока переодевалась, обязательно хлебнула из горлышка...

— Врач этот...— сказал дядя Юра задумчиво.— Ну, лысый этот, который сейчас приходил,— где это я его видел?

— Очень может быть, у нас и видели,— сказала Сельма, улыбаясь обольстительно.— Он в соседнем подъезде живет. Кем он сейчас работает, Андрей?

— Кровельщиком,— мрачно сказал Андрей.

Она напропалую спала с этим лысым доктором, весь дом знал. Он и не скрывался особенно. Да и никто не скрывался, впрочем.

— Как так — кровельщиком? — поразился Стась, не донеся ложку до усов.

— А вот так,— сказал Андрей.— Крыши кроет, баб кроет...— Он с кряхтением поднялся, полез в комод и вытащил сигареты. Опять двух пачек не хватало.

— Баб-то ладно...— ошарашенно бормотал Стась, потряхивая ложкой над кастрюлей.— Крыши-то как? А ежели он сорвется? Врач ведь...

— А они вечно что-нибудь в Городе придумают,— ядовито сказал дядя Юра. Он сунул было ложку за голенище, но спохватился и положил ее на стол.— Это как у нас в Тимофеевке, сразу после войны, прислали в один колхоз председателем грузина, политрука бывшего...

Зазвенел телефон. Сельма взяла трубку.

— Да,— сказала она.— Д-да... Нет, он болен, не может подойти...

— Дай сюда трубку,— сказал Андрей.

— Это из газеты,— сказала Сельма шепотом, прикрывши микрофон ладонью.

Андрей протянул руку.

— Дай трубку! — повторил он, повысив голос.— И не имей привычки за других расписываться!

Сельма отдала ему трубку и схватила пачку сигарет. Руки у нее тряслись, губы — тоже.

— Воронин слушает,— сказал Андрей.

— Андрей? — Это был Кэнси.— Куда ты провалился? Я тебя всюду ищу. Что делать? В городе фашистский переворот.

— Почему — фашистский? — ошеломленно спросил Андрей.

— Ты придешь в редакцию? Или ты правда болен?

— Приду, конечно, приду,— сказал Андрей.— Ты объясни...

— У нас списки,— торопливо проговорил Кэнси.— Спецкоры и все такое прочее... Архивы...

— Понял,— сказал Андрей.— Только почему ты думаешь, что фашистский?

— Я не думаю, я знаю,— нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей стиснул зубы, закряхтел.

— Подожди,— сказал он с раздражением.— Не пори горячку...— Он лихорадочно соображал.— Ладно, ты все подготовь, а я сейчас выхожу.

— Давай,— сказал Кэнси.— Только осторожнее на улицах.

Андрей бросил трубку и повернулся к фермерам.

— Ребята,— сказал он.— ехать надо. Подвезете до редакции?

— Отчего же, подвезем...— отозвался дядя Юра. Он уже поднимался из-за стола, на ходу заклеивая козью ножку.— Давай-ка, Стась, вставай, нечего тут рассиживаться. Мы тут с тобой рассиживаемся, а они там, понимаешь, власть берут.

— Да,— сокрушенно согласился Стась, тоже поднимаясь.— Ерунда какая-то получается. Всю головку вроде бы сняли, всех поперевешали, а солнца все равно ни хрена нет... Еж твою двадцать, куда это я машинку свою сунул?..

Он шарил по всем углам, отыскивая свой уродец автомат, дядя Юра, попыхивая козьей ножкой, неторопливо натягивал поверх гимнастерки рваный ватник, и Андрей тоже было поднялся одеваться, но натолкнулся на Сельму. Сельма стояла, загораживая ему дорогу, очень бледная и очень решительная.

— Я с тобой! — заявила она тем самым особенным наглым высоким голосом, которым обычно затевала свару.

— Пусти,— сказал Андрей, пытаясь отстранить ее здоровой рукой.

— Я тебя никуда не пущу,— сказала Сельма.— Или ты берешь меня с собой, или ты остаешься дома!

— Уйди с дороги! — заорал Андрей, срываясь.— Тебя только там не хватало, дура!

— Не пу-щу! — сказала Сельма с ненавистью.

Тогда Андрей, не разворачиваясь, но очень сильно ударил ее ладонью по щеке. Наступила тишина. Сельма не шевельнулась, только белое лицо ее с вытянутыми в ниточку губами снова пошло красными пятнами. Андрей опомнился.

— Извини,— сказал он сквозь зубы.

— Не пущу...— повторила Сельма совсем тихо.

Дядя Юра пару раз кашлянул и сказал как бы в сторону:

— Вообще-то в такое время женщине одной в квартире... нехорошо, пожалуй...

— Это точно,— подхватил Стась.— Нехорошо сейчас одной, а с нами никто не тронет, мы — фермеры...

А Андрей все стоял перед Сельмой и смотрел на нее. Он пытался хоть сейчас и хоть что-нибудь понять в этой женщине и, как всегда, ничего не понимал. Она была шлюха, шлюха природная, шлюха божьей милостью — это он понимал. Это он понял давно. Она любила его, полюбила с первого же дня — это он тоже знал, и знал, что это нисколько ей не мешает. И одной в квартире остаться сейчас ей было все равно что плюнуть, она вообще никогда ничего не боялась. Это тоже ему было прекрасно известно. Все в отдельности о себе и о ней он знал и понимал, а вот все вместе...

— Ладно,— сказал он.— Одевайся.

— Ребра-то болят? — осведомился дядя Юра, стремясь увести разговор куда-нибудь подальше в сторону.

— Ничего,— буркнул Андрей.— Терпеть можно. Перетопчемся.

Стараясь ни с кем не встречаться глазами, он сунул в карман сигареты, спички и остановился перед буфетом, где в самом дальнем углу под грудой салфеток и полотенец лежал у него пистолет Дональда. Брать или не брать? Он представил себе разные сцены и обстоятельства, в которых пистолет мог бы пригодиться, и решил не брать. Ну его к черту, обойдусь как-нибудь. Воевать я во всяком случае ни с кем не собираюсь...

— Ну пошли, что ли? — сказал Стась.

Он уже стоял у двери и осторожно продевал перебинтованную голову в ремень автомата. Сельма стояла рядом с ним в длинном своем грубом свитере, который она натянула прямо поверх декольте. На руке у нее был плащ.

— Пошли,— скомандовал дядя Юра, громыхнув об пол прикладом пулемета.

— Серьги сними,— буркнул Андрей Сельме и вышел на лестницу.

Они стали спускаться. На лестничных площадках шушукались в темноте жильцы, испуганно замолкали и

сторонились, различив вооруженных людей. Кто-то сказал: «Это Воронин...» — и сейчас же окликнул:

— Господин редактор, вы не скажете, что в городе происходит?

Андрей не успел ничего ответить, потому что на спрашивающего зашикали со всех сторон, а кто-то зловещим шепотом проговорил: «Не видишь, дурак, повели человека!..» Сельма истерически хихикнула.

Они вышли во двор, погрузились в телегу, и Сельма накинула на плечи Андрея плащ. Дядя-Юра вдруг сказал: «Тихо!» — и все стали прислушиваться.

— Палят где-то,— негромко сказал Стась.

— Длинными очередями,— добавил дядя Юра.— Не жалеют боеприпаса... И где они его берут? Десяток патронов — пол-литра самогонки, а он — во как чешет... Н-но! — заорал он.— Застоялась!

Телега с грохотом вкатилась под арку. На ступенях дворницкой стоял с метлой и совком маленький Ван.

— Гляди-ка — Ваня! — воскликнул дядя Юра.— Тпр-р-р! Здорово, Ваня! Ты что здесь, а?

— Подметаю,— отозвался Ван, улыбаясь.— Здравствуйте.

— Брось, брось подметать! — сказал дядя Юра.— Что ты, в самом деле! Поехали с нами, мы тебя министром, понимаешь, сделаем, в чесуче ходить будешь, на «Победе» раскатывать!

Ван вежливо засмеялся.

— Ладно, дядя Юра,— нетерпеливо сказал Андрей.— Поехали, поехали!..

У него сильно болел бок, в телеге сидеть было неудобно, и он уже жалел, что не пошел пешком. Незаметно для себя он привалился к Сельме.

— Ну ладно, Ваня, не хочешь — не надо,— решил дядя Юра.— Но насчет министра — приготовься! Причешись, понимаешь, шею помой...— Он взмахнул вожжами.— Н-но!

С грохотом выкатились на Главную.

— А чья это телега, не знаешь? — спросил вдруг Стась.

— Хрен его знает,— отозвался дядя Юра, не оборачиваясь.— Лошадь вроде бы этого крохобора... ну, по-над

самым обрывом живет, рыжий такой, конопатый... канадец, что ли...

— Ну? — сказал Стась.— Во, матерится, наверное.

— Нет,— сказал дядя Юра.— Убили его.

— Ну? — сказал Стась и замолчал.

Главная улица была пуста и затянута тяжелым ночным туманом, хотя по часам было пять пополудни. Впереди туман имел красноватый оттенок и беспокойно мерцал. Время от времени там ярко вспыхивали пятна белого света — то ли прожектора, то ли мощные фары,— и оттуда, глухо сквозь туман, перекрывая иногда грохот колес и перестук копыт, доносилась пальба. Что-то там происходило.

В домах по сторонам улицы многие окна были освещены, однако большей частью только в верхних этажах, выше второго. Очередей возле запертых магазинов и лавок не было, но Андрей заметил, что в некоторых подворотнях и подъездах стоит народ — осторожно выглядывают, снова прячутся, а самые отчаянные выходят на тротуар и смотрят туда, где мерцает и трещит в тумане. Кое-где на мостовой неподвижно лежали какие-то словно бы темные мешки. Андрей не сразу понял, что это, и только через некоторое время с удивлением убедился, что это мертвые павианы. В скверике возле темной школы паслась одинокая лошадь.

Телега грохотала и тряслась, все молчали. Сельма тихонько нащупала руку Андрея, и он, отдавшись боли и усталости, совсем привалился к ее теплому свитеру и закрыл глаза. Плохо мне, думал он. Ох и плохо... Что это Кэнси там горячку порет, какой там еще фашистский переворот?.. Просто остервенели все от страха, от злости, от безнадежности... Эксперимент есть Эксперимент...

Тут вдруг телегу дернуло, и сквозь грохот колес послышался такой дикий и пронзительный визг, что Андрей тут же очнулся, мгновенно весь покрывшись потом, выпрямился и очумело завертел головой.

Дядя Юра ожесточенно матерился, изо всех сил натягивая вожжи, чтобы удержать лошадь, рвущуюся куда-то вбок, а слева по тротуару, испуская нечеловеческие и в то же время совсем человеческие, полные боли и ужаса визги, неслось что-то горящее, какой-то комок пламени, оставляя за собой

брызги огня, и прежде, чем Андрей успел опомниться, понять, Стась ловко соскочил с телеги и от живота, в две коротких очереди срезал из автомата этот живой факел — только стекла зазвенели в какой-то витрине. Огненный комок, кувыркаясь, прокатился по тротуару, жалобно пискнул в последний раз и замер.

— Отмучился, бедняга,— сказал Стась хрипло, и Андрей наконец понял, что это был павиан, горящий павиан. Чушь какая-то... Теперь он лежал, свесившись с тротуара, продолжая медленно гореть, и тяжелый смрад распространялся от него по улице.

Дядя Юра снова тронул лошадь, телега покатилась, и Стась пошел рядом, положив руку на дощатый борт. Андрей, вытягивая шею, смотрел вперед, в мерцающий, сделавшийся очень светлым и розовым туман. Да, что-то там происходило, что-то совершенно непонятное — какой-то вой доносился оттуда, стрельба, рокот моторов, и время от времени яркие малиновые вспышки возникали там и сейчас же гасли.

— Слышь, Стась,— сказал вдруг дядя Юра, не оборачиваясь.— Сбегай-ка, браток, вперед, глянь, что там делается. А я за тобой потихонечку-полегонечку...

— Ладно,— сказал Стась и, взяв свой чудо-автомат под мышку, трусцой побежал вперед, держась стены дома. Очень скоро его не стало видно в мерцающем тумане, а дядя Юра все придерживал и придерживал лошадь, пока она совсем не остановилась.

— Сядь поудобнее,— шепнула Сельма.

Андрей дернул плечом.

— Да ничего такого не было,— продолжала шептать Сельма.— Это же управляющий был, он по всем квартирам ходил, спрашивал, не прячет ли кто оружие...

— Замолчи,— сказал Андрей сквозь зубы.

— Честное слово,— шептала Сельма.— Он же только на одну минутку зашел, он уже уходить собирался...

— Так без штанов и собирался? — холодно осведомился Андрей, отчаянно пытаясь отогнать отвратительное воспоминание: он, обессиленно вися на дяде Юре и Стасе, смотрит в прихожей собственной квартиры на какого-то белоглазого коротышку, воровато запахивающего халат, из-под которого

виднеются фланелевые кальсоны. И отвратительно невинное, пьяное лицо Сельмы из-за плеча коротышки. И как выражение невинности сменяется на этом лице испугом, а потом — отчаянием.

— Но он же так и ходил по квартирам — в халате! — шептала Сельма.

— Слушай, заткнись,— сказал Андрей.— Заткнись, ради бога. Я тебе не муж, ты мне не жена, какое мне до всего этого дело?..

— Но я же тебя люблю, хороший мой! — шептала Сельма с отчаянием.— Только одного тебя...

Дядя Юра гулко закашлялся.

— Едет кто-то,— произнес он.

В тумане впереди возник огромный темный силуэт, надвинулся, приближаясь, вспыхнули фары — это был грузовик, мощный самосвал. Клокоча мотором, он остановился шагах в двадцати от телеги. Послышался крикливый голос, подающий команды, какие-то люди полезли через борта и понуро разбрелись по мостовой. Хлопнула дверца, еще одна темная фигура отделилась от грузовика, постояла немного, а потом неторопливо направилась прямо к телеге.

— Сюда идет,— сообщил дядя Юра.— Ты, это, Андрей... ты в разговоры не ввязывайся. Я говорить буду.

Человек подошел к телеге. Это был, видимо, так называемый милиционер в кургузом пальтишке с белыми повязками на рукавах. На плече у него, дулом вниз, висела винтовка.

— А, фермеры,— сказал милиционер.— Здорово, ребята.

— Здорово, если не шутишь,— откликнулся дядя Юра, помолчав.

Милиционер помялся, покрутил головой, как бы в нерешительности, потом сказал стеснительно:

— Хлебца на продажу нету?

— Хлебца тебе,— сказал дядя Юра.

— Ну, может, мясо есть, картошечка...

— Картошки тебе,— сказал дядя Юра.

Милиционер совсем застеснялся, шмыгнул носом, вздохнул, посмотрел в сторону своего грузовика и вдруг с каким-то облегчением заорал: «Да вон, вон еще валяется!

Задницы слепые! Вон горелое лежит!», после чего сорвался с места и, шумно топая плоскостопыми ногами, убежал по мостовой. Видно было, как он размахивает руками и распоряжается, а понурые люди, слабо и невнятно огрызаясь, волокут что-то темное, с натугой раскачивают и швыряют в ковш самосвала.

— Картошки ему,— ворчал дядя Юра.— Мяса!..

Грузовик тронулся и проехал мимо, совсем рядом. От него ужасно понесло паленой шерстью и горелым мясом. Ковш был загружен доверху, жуткие скрюченные силуэты проплыли на фоне слабо освещенной стены дома, и вдруг Андрей почувствовал, что у него мороз пошел по коже: из этой жуткой груды, явственно белея, торчала человеческая рука с растопыренными пальцами. Понурые люди в ковше, хватаясь друг за друга и за борта, толпились возле кабины. Их было человек пять-шесть, какие-то приличного вида люди в шляпах.

— Похоронная команда,— сказал дядя Юра.— Это правильно. Сейчас их на свалку, и — вася-кот... Эге, а вон и Стась нам машет! Н-но!

В освещенном тумане впереди виднелась длинная нескладная фигура Стася. Когда телега поравнялась с ним, дядя Юра вдруг наклонился с передка, вглядываясь, и почти с испугом спросил:

— Ты что это, браток? Что это с тобой?

Стась, не отвечая, попытался вспрыгнуть на телегу боком, сорвался, громко скрипнул зубами, потом взялся обеими руками за борт и принялся что-то бормотать сдавленным голосом.

— Что он? — спросила Сельма шепотом.

Телега медленно катилась туда, где все громче рокотали моторы и хлопали выстрелы, а Стась, держась руками за телегу, шел рядом, словно не в силах взобраться, пока дядя Юра, наклонившись, не втащил его на передок.

— Да ты что? — в голос, громко спросил дядя Юра.— Ехать-то можно? Да говори ты толком, что ты болбочешь?

— Матерь божья,— сказал Стась ясным голосом.— Да зачем же они это делают? Это кто же такое приказал?

— Тпр-р-р! — сказал дядя Юра на весь город.

— Нет, ты ехай, ехай,— сказал Стась.— Ехать можно. Смотреть только не надо... Пани,— он повернулся к Сельме,— вам смотреть совсем не надо, отвернитесь, вон туда смотрите... а лучше вообще не смотрите.

У Андрея перехватило горло, он поглядел на Сельму и увидел ее расширенные, на все лицо глаза.

— Давай, Юра, давай...— бормотал Стась.— Да гони ты ее, стерву, что ты плетешься! Быстро ехай! — заорал он.— Вскачь! Вскачь!..

Лошадь помчалась вскачь, дома слева кончились, туман вдруг отступил, рассеялся, и открылся Павианий бульвар — источник шума, несомненно, находился здесь. Шеренга грузовиков с двигателями, работающими вхолостую, охватывала бульвар полукольцом. В грузовиках и между грузовиками стояли люди с белыми повязками, а по бульвару среди горящих деревьев и кустов бегали с воплями и визгами люди в полосатых пижамах и совершенно обезумевшие павианы. Все они спотыкались, падали, карабкались на деревья, срывались с ветвей, пытались спрятаться в кустах, а люди с белыми повязками стреляли, не переставая, из винтовок и пулеметов. Множество неподвижных тел усеивало бульвар, некоторые дымились и тлели. С одного из грузовиков с длинным шипением излилась огненная струя, клубящаяся черным дымом, и еще одно дерево, облепленное черными гроздьями обезьян, вспыхнуло огромным факелом. И кто-то завопил нестерпимо высоким фальцетом, перекрывая все шумы: «Я здоровый! Это ошибка! Я нормальный! Это ошибка!..»

Все это, трясясь и подпрыгивая, отдаваясь острой болью в ребрах, опалив жаром и обдав вонью, оглушив и ударив по глазам, пронеслось мимо и через минуту осталось позади, мерцающий туман вновь сомкнулся, но дядя Юра еще долго гнал лошадь, отчаянно гикая и размахивая вожжами. Это черт знает что, тупо твердил про себя Андрей, обессиленно привалившись к Сельме. Это же черт знает что такое! Они же сумасшедшие, они ополоумели от крови... Безумцы овладели городом, кровавые безумцы овладели, теперь всему конец, они же не остановятся, они же потом возьмутся за нас...

Телега вдруг остановилась.

— Ну нет,— сказал дядя Юра, поворачиваясь всем телом.— Это дело надо того...— Он пошарил в телеге среди мешков, достал большую бутылку, зубами вытащил пробку, сплюнул и принялся глотать прямо из горлышка. Потом он передал бутылку Стасю, вытер рот и сказал: — Истребляете, значит... Эксперимент... Ладно.— Он достал из нагрудного кармана свернутую газету, аккуратно оторвал угол и полез за табаком.— Круто берете. Ох, круто! Крутенько!..

Стась протянул бутылку Андрею, Андрей помотал головой. Сельма взяла бутылку, отхлебнула два раза и вернула Стасю. Все молчали. Дядя Юра дымил и трещал цигаркой, бурчал горлом, как огромный пес, потом вдруг повернулся и разобрал вожжи.

До поворота на Стульчаковый оставался всего один квартал, когда туман впереди снова озарился светом и послышался нестройный шум многих голосов. На перекрестке, прямо посредине улицы, освещенная прожекторными лампами, кишела, гудела и колыхалась огромная толпа. Перекресток был забит, проехать было невозможно.

— Митинг какой-то,— сказал дядя Юра, обернувшись.

— Это уж как водится,— уныло согласился Стась.— Если уж взялись расстреливать, значит, тут же и митинги... Объехать никак нельзя?

— Погоди, браток, а зачем нам объезжать? — сказал дядя Юра.— Надо послушать, что люди говорят. Может, насчет солнца чего скажут... Гляди, здесь наших полно.

Гул затих, и над толпой, усиленный микрофонами, раздался надсадный яростный голос:

— ...И еще раз повторяю: беспощадно! Мы очистим город!.. от грязи!.. от нечисти!.. от всех и всяческих тунеядцев!.. Воров — на фонарь!..

— А-а-а! — проревела толпа.

— Взяточников — на фонарь!..

— А-а-а!

— Кто выступает против народа, будет висеть на фонаре!

— А-а-а!

Теперь Андрей разглядел говорившего. В самом центре толпы возвышался клепаный борт какой-то военной машины, а над бортом, вцепившись в него обеими руками, озаренный

голубым светом прожектора, качался взад-вперед всем своим длинным, затянутым в черное туловищем и разевал в крике запекшийся рот бывший унтер-офицер вермахта, а ныне руководитель партии Радикального возрождения Фридрих Гейгер.

— И это будет только начало! Мы установим в городе наш, истинно народный, истинно человеческий порядок! Нам нет дела до всяких там Экспериментов! Мы не морские свинки! Мы не кролики! Мы — люди! Наше оружие — разум и совесть! Мы никому не позволим! Распоряжаться нашей судьбой! Мы сами распорядимся нашей судьбой! Судьба народа — в руках народа! Судьба людей — в руках людей! Народ доверил свою судьбу мне! Свои права! Свое будущее! И я клянусь! Я оправдаю это доверие!..

— А-а-а!

— Я буду беспощаден! Во имя народа! Я буду жесток! Во имя народа! Я не допущу никакой розни! Хватит борьбы между людьми! Никаких коммунистов! Никаких социалистов! Никаких капиталистов! Никаких фашистов! Хватит бороться друг с другом! Будем бороться друг ЗА друга!..

— А-а-а!

— Никаких партий! Никаких национальностей! Никаких классов! Каждого, кто проповедует рознь,— на фонарь!

— А-а-а!

— Если бедные будут продолжать драться против богатых! Если коммунисты будут продолжать драться против капиталистов! Если черные будут продолжать драться против белых! Нас растопчут! Нас уничтожат!.. Но если мы! Встанем плечом к плечу! Сжимая в руках оружие! Или отбойный молоток! Или рукоятки плуга! Тогда не найдется такой силы, которая могла бы нас сокрушить! Наше оружие — единство! Наш оружие — правда! Какой бы тяжелой она ни была! Да, нас заманили в ловушку! Но, клянусь богом, зверь слишком велик для этой ловушки!..

— А! — рявкнула было толпа и ошеломленно смолкла. Вспыхнуло солнце.

Впервые за двенадцать дней вспыхнуло солнце, запылало золотым диском на своем обычном месте, ослепило, обожгло серые выцветшие лица, нестерпимо засверкало в стеклах

окон, оживило и зажгло миллионы красок — и черные дымы над дальними крышами, и пожухлую зелень деревьев, и красный кирпич под обвалившейся штукатуркой...

Толпа дико взревела, и Андрей завопил вместе со всеми. Творилось что-то невообразимое. Летели в воздух шапки, люди обнимались, плакали, кто-то принялся палить в воздух, кто-то в диком восторге швырял кирпичами в прожектора, а Фриц Гейгер, возвышаясь над всем этим, как Господь Бог, сказавший «да будет свет», длинной черной рукой указывал на солнце, выкатив глаза и гордо задрав подбородок. Потом голос его снова возник над толпой.

— Вы видите?! Они уже испугались! Они дрожат перед вами! Перед нами! Поздно, господа! Поздно! Вы снова хотите захлопнуть ловушку? Но люди уже вырвались из нее! Никакой пощады врагам человечества! Спекулянтам! Тунеядцам! Расхитителям народного добра! Солнце снова с нами! Мы вырвали его из черных лап! Врагов человечества! И мы больше никогда! Не отдадим его! Никогда! И никому!..

— А-а-а!

Андрей опомнился. Стася в телеге не было. Дядя Юра, широко расставив ноги, стоял на передке, потрясал пулеметом и, судя по налившемуся кровью затылку, тоже ревел нечленораздельное. Сельма плакала, колотя Андрея кулачками по спине.

Ловко, холодно подумал Андрей. Тем хуже для нас. Чего я тут сижу? Мне бежать надо, а я сижу... Преодолевая боль в боку, он поднялся и выпрыгнул из телеги. Вокруг ревела и шевелилась толпа. Андрей полез напролом. Первое время он еще берегся, пытался защититься локтями, да разве в такой каше убережешься!.. Покрытый потом от боли и подступающей тошноты, он лез, толкался, наступал на ноги, даже бодался и наконец выбрался-таки в Стульчаковый переулок. И все это время вдогонку ему гремел голос Гейгера:

— Ненависть! Ненависть поведет нас! Хватит фальшивой любви! Хватит иудиных поцелуев! Предателей человечества! Я сам подаю пример святой ненависти! Я взорвал броневик кровавых жандармов! У вас на глазах! Я приказал повесить воров и гангстеров! У вас на глазах! Я железной

метлой выметаю нечисть и нелюдей из нашего города! У вас на глазах! Я не жалел себя! И я получил священное право не жалеть других!..

Андрей ткнулся в подъезд редакции. Дверь была заперта. Он злобно ударил в нее ногой, задребезжали стекла. Он принялся стучать изо всех сил, шепча ужасные ругательства. Дверь отворилась. На пороге стоял Наставник.

— Входи,— сказал он, посторонившись.

Андрей вошел. Наставник запер за ним дверь на засов и повернулся. Лицо у него было мучнисто-бледное с темными кругами под глазами, и он то и дело облизывал губы. У Андрея сжалось сердце — никогда раньше он не видел Наставника в таком подавленном состоянии.

— Неужели все так плохо? — спросил Андрей упавшим голосом.

— Да уж...— Наставник бледно улыбнулся.— Уж чего тут хорошего.

— А солнце? — сказал Андрей.— Зачем вы его выключали?

Наставник стиснул руки и прошелся взад-вперед по вестибюлю.

— Да не выключали мы его! — проговорил он с тоской.— Авария. Вне всякого плана. Никто не ожидал.

— Никто не ожидал...— повторил Андрей с горечью. Он стянул плащ и бросил его на пыльный диван.— Если б не выключилось солнце, ничего бы этого не было...

— Эксперимент вышел из-под контроля,— пробормотал Наставник, отвернувшись.

— Вышел из-под контроля...— снова повторил Андрей.— Вот уж никогда не думал, что Эксперимент может выйти из-под контроля.

Наставник посмотрел на него исподлобья.

— Н-ну... В известном смысле ты прав... Можно смотреть на это и таким образом... Вышедший из-под контроля Эксперимент — это тоже Эксперимент. Возможно, кое-что придется несколько изменить... заново откорректировать. Так что ретроспективно — ретроспективно! — эта тьма египетская будет рассматриваться уже как неотъемлемая, запрограммированная часть Эксперимента.

— Ретроспективно...— еще раз повторил Андрей. Глухая злоба охватила его.— А что вы теперь прикажете делать нам? Спасаться?

— Да. Спасаться. И спасать.

— Кого спасать?

— Всех, кого можно спасти. Все, что еще можно спасти. Ведь не может же быть, чтобы некого и нечего было спасать!

— Мы будем спасаться, а Фриц Гейгер будет проводить Эксперимент?

— Эксперимент остался Экспериментом,— возразил Наставник.

— Ну да,— сказал Андрей.— От павианов до Фрица Гейгера.

— Да. До Фрица Гейгера и через Фрица Гейгера, и невзирая на Фрица Гейгера. Не пускать же из-за Фрица Гейгера пулю в лоб! Эксперимент должен продолжаться... Жизнь ведь продолжается, несмотря ни на какого Фрица Гейгера. Если ты разочаровался в Эксперименте, то подумай о борьбе за жизнь...

— О борьбе за существование,— криво усмехнувшись, проговорил Андрей.— Какая уж теперь жизнь!

— Это будет зависеть от вас.

— А от вас?

— От нас мало что зависит. Вас много, вы все здесь решаете, а не мы.

— Раньше вы говорили по-другому,— сказал Андрей.

— Раньше и ты был другой! — возразил Наставник.— И тоже говорил по-другому!

— Боюсь, что я свалял дурака,— медленно проговорил Андрей.— Боюсь, что я был просто глуп.

— Боишься ты не только этого,— с каким-то лукавством заметил Наставник.

У Андрея замерло сердце, как это бывает, когда падаешь во сне. И он грубо сказал:

— Да, боюсь. Всего боюсь. Пуганая ворона. Вас когда-нибудь били сапогом в промежность?..— Новая мысль пришла ему в голову.— Да вы ведь и сами побаиваетесь? А?

— Конечно! Я же говорю тебе, что Эксперимент вышел из-под контроля...

— Э, бросьте! Эксперимент, Эксперимент... Не в Эксперименте дело. Сначала павианов, потом — нас, а потом и вас, так ведь?..

Наставник ничего не ответил. Самое ужасное заключалось в том, что Наставник не сказал на это ни слова. Андрей все ждал, но Наставник только молча бродил по вестибюлю, бессмысленно передвигал с места на место кресла, стирал рукавом пыль со столиков и даже не глядел на Андрея.

В дверь постучали — сначала кулаком, а потом сразу стали бить ногой. Андрей отодвинул засов — перед ним стояла Сельма.

— Ты меня бросил! — сказала она возмущенно.— Я еле пробилась!

Андрей стесненно оглянулся. Наставник исчез.

— Извини,— проговорил Андрей.— Мне было не до тебя.

Ему было трудно говорить. Он старался подавить в себе ужас от одиночества и ощущения беззащитности. Он с дребезгом захлопнул дверь и торопливо задвинул засов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Редакция была пуста. Видимо, сотрудники разбежались, когда началась пальба около мэрии. Андрей проходил по комнатам, равнодушно оглядывая разбросанные бумаги, опрокинутые стулья, неопрятную посуду с остатками бутербродов и чашки с остатками кофе. Из глубины редакции доносилась громкая бравурная музыка, это было странно. Сельма тащилась следом, держа его за рукав. Она все говорила что-то, что-то сварливое, но Андрей ее не слушал. Зачем я сюда приперся, думал он. Все же удрали, дружно, как один, и правильно сделали, сидел бы сейчас дома, лежал бы в постели, гладил бы свой несчастный бок и дремал, и наплевать на все...

Он вошел в отдел городской хроники и увидел Изю.

Сначала он не понял, что это Изя. За дальним, в углу, столом, согнувшись над раскрытой подшивкой, стоял, упираясь широко расставленными руками, неряшливо, ступеньками остриженный посторонний человек в подозрительной

серой хламиде без пуговиц, и только через мгновение, когда человек этот вдруг знакомо осклабился и принялся знакомым жестом щипать себя за бородавку на шее, Андрей понял, что перед ним Изя.

Некоторое время Андрей стоял в дверях и смотрел на него. Изя не слышал, как он вошел. Изя вообще ничего не слышал и не замечал — во-первых, он читал, а во-вторых, прямо у него над головой висел репродуктор, и оттуда неслись громовые бряцания победного марша. Потом Сельма ужасно завопила: «Да ведь это же Изя!» — и ринулась вперед, оттолкнув Андрея.

Изя быстро поднял голову и, осклабившись еще шире, распахнул руки.

— Ага! — заорал он радостно.— Явились!..

Пока он обнимался с Сельмой, пока звучно и с аппетитом чмокал ее в щеки и в губы, пока Сельма вопила что-то неразборчивое и восторженное и ерошила его уродливые волосы, Андрей приблизился к ним, стараясь побороть в себе острую мучительную неловкость. Режущее чувство вины и предательства, которое едва не свалило его с ног в то утро в подвале, за последний год притупилось и почти забылось, но сейчас снова пронзило его, и он, приблизившись, несколько секунд колебался, прежде чем рискнул протянуть руку. Он нашел бы совершенно естественным, если бы Изя не заметил этой его руки или даже сказал бы что-нибудь презрительное и уничтожающее — сам он наверняка поступил бы именно так. Но Изя, освободившись от объятий Сельмы, с жаром схватил его руку, пожал и с огромным интересом спросил:

— Где это тебя так разукрасили?

— Побили,— кратко ответил Андрей. Изя поразил его. Хотелось очень много ему сказать, но он спросил только: — А ты откуда здесь взялся?

Вместо ответа Изя перебросил несколько страниц подшивки и, преувеличенно жестикулируя, прочел с пафосом:

— «...Никакими доводами разума невозможно объяснить ту ярость, с которой правительственная пресса нападает на партию Радикального возрождения. Но если мы вспомним, что именно эрвисты — эта крошечная молодая

организация — наиболее бескомпромиссно выступают против каждого случая коррупции...»

— Брось,— сморщившись сказал Андрей, но Изя только повысил голос:

— «...беззакония, административной глупости и беспомощности; если мы вспомним, что именно эрвисты подняли «дело вдовы Баттон»; если мы вспомним, что эрвисты первыми предупредили правительство о бесперспективности болотного налога...» Белинский! Писарев! Плеханов! Ты сам это сочинил или твои идиотики?

— Ладно, ладно...— сказал Андрей, уже раздражаясь, и попытался отнять у Изи подшивку.

— Нет, погоди! — кричал Изя, грозя пальцем и таща подшивку к себе.— Вот тут еще один перл!.. Где это? Вот. «Наш город богат честными людьми, как и всякий город, населенный тружениками. Однако если говорить о политических группировках, то разве что лишь Фриц Гейгер может претендовать на высокое звание...»

— Хватит! — заорал Андрей, но Изя вырвал у него подшивку, забежал за ликующую Сельму и, шипя и брызгаясь, продолжал оттуда:

— «...Не будем говорить о речах, будем говорить о делах! Фридрих Гейгер отказался от поста министра информации; Фридрих Гейгер голосовал против закона, предусматривающего крупные льготы для заслуженных деятелей прокуратуры; Фридрих Гейгер был единственным видным деятелем, возражающим против создания регулярной армии, в которой ему предлагалась высокая должность...» — Изя зашвырнул подшивку под стол и принялся потирать руки.— Ты всегда был потрясающим ослом в политике! Но за эти последние месяцы ты поглупел просто катастрофически. Поделом тебе начистили чайник! Глаз-то хоть цел?

— Глаз цел,— медленно сказал Андрей. Он только сейчас заметил, что Изя как-то неловко двигает левой рукой и три пальца на этой руке у него не сгибаются вовсе.

— Да выключи ты его к чертовой матери! — заорал Кэнси, появляясь в дверях.— А, Андрей, ты уже здесь... Это хорошо. Здравствуй, Сельма,— он стремительно пересек комнату и вырвал вилку репродуктора из розетки.

— Зачем? — закричал Изя.— Я хочу слышать речи моих вождей! Пусть гремят боевые марши!..

Кэнси только бешено глянул на него.

— Андрей, пойдем, я тебе расскажу, что мы сделали,— сказал он.— И нужно подумать, что делать дальше.

Лицо и руки его были покрыты копотью. Он устремился в глубь редакции, и Андрей пошел за ним. Только сейчас он почувствовал, что в помещениях основательно попахивает горелой бумагой. Изя с Сельмой шли позади.

— Всеобщая амнистия! — шипя и булькая, повествовал Изя.— Великий вождь открыл двери узилищ! Ему понадобилось место для других заключенных...— Он заухал и застонал.— Всех уголовников выпустили до единого, а я ведь, как известно, уголовник! Даже бессрочников выпустили...

— Худой стал,— говорила Сельма с жалостью.— Все на тебе висит, облезлый ты сделался какой-то...

— Так ведь последние дни — три дня — ни жрать не давали, ни умываться...

— Так ты, наверное, есть хочешь?

— Да нет, ни черта, я тут нажрался...

Они вошли в кабинет Андрея. Здесь стояла ужасающая жара. Солнце било прямо в стекла, и жарко пылал камин. Перед камином сидела на корточках шлюшка-секретарша, тоже чумазая, как и Кэнси, и старательно ворочала кочергой в груде горящей бумаги. Все в кабинете было покрыто копотью и черными клочьями бумажного пепла.

Увидев Андрея, секретарша вскочила и улыбнулась ему испуганно и заискивающе. Вот уж не ожидал, что она останется, подумал Андрей. Он сел за свой стол и виновато, через силу, покивал ей и улыбнулся в ответ.

— ...Списки всех спецкоров, списки и адреса членов редколлегии,— деловито перечислял Кэнси.— Оригиналы всех политических статей, оригиналы еженедельных обзоров...

— Статьи Дюпена надо сжечь,— сказал Андрей.— Он у нас был главный антиэрвист, по-моему...

— Уже сжег,— нетерпеливо сказал Кэнси.— И Дюпена, и на всякий случай Филимонова...

— Что вы суетитесь? — сказал Изя весело.— Да ведь вас на руках носить будут!

— Это как сказать,— мрачно проговорил Андрей.

— Да чего там «как сказать»? Хочешь пари? На сто щелбанов!

— Да подожди, Изя! — сказал Кэнси.— Заткнись ты, ради бога, хоть на десять минут!.. Всю переписку с мэрией я уничтожил, а переписку с Гейгером пока оставил...

— Протоколы редколлегии! — спохватился Андрей.— За прошлый месяц...

Он торопливо полез в нижний ящик стола, достал папку и протянул ее Кэнси. Тот, скривившись, перебросил несколько листков.

— Да-а-а...— сказал он, качая головой.— Это я забыл... Вот как раз выступление Дюпена...— Он шагнул к камину и швырнул папку в огонь.— Перемешивайте, перемешивайте! — раздраженно приказал он секретарше, которая слушала начальство, приоткрывши рот.

В дверях появился заведующий отделом писем, потный и очень возбужденный. На руках перед собой он тащил кипу каких-то папок, прижимая их сверху подбородком.

— Вот...— пропыхтел он, с грохотом сваливая кипу возле камина.— Тут какие-то социологические опросы, я даже разбираться не стал... Вижу — фамилии, адреса... Господи, шеф, что с вами?

— Привет, Денни,— сказал Андрей.— Спасибо, что вы остались.

— Глаз цел? — спросил Денни, вытирая со лба пот.

— Цел, цел...— успокоил его Изя.— Вы все не то уничтожаете,— объявил он.— Вас ведь никто не тронет: вы — желтоватая оппозиционная либеральная газетка. Вы просто перестанете быть оппозиционными и либеральными...

— Изя,— сказал Кэнси.— Я тебя в последний раз прошу: перестань трепаться, иначе я тебя выкину вон.

— Да не треплюсь я! — сказал Изя с досадой.— Дай кончить! Вы письма, письма уничтожьте! Вам же писали, наверное, умные люди...

Кэнси воззрился на него.

— Ч-черт! — прошипел он и выскочил из кабинета. Денни устремился следом, продолжая на ходу вытирать лицо и шею.

— Ничего не понимаете! — сказал Изя.— Вы же тут все — кретины. А опасность грозит только умным людям.

— Что кретины — то кретины...— сказал Андрей.— Это ты прав.

— Ага! Умнеешь! — воскликнул Изя, размахивая искалеченной рукой.— Зря. Это опасно! Вот в этом-то и заключается вся трагедия. Сейчас очень много людей поумнеет, но поумнеет недостаточно. Они не успеют понять, что сейчас надо как раз притворяться дурачком...

Андрей посмотрел на Сельму. Сельма глядела на Изю с восторгом. И секретарша тоже глядела на Изю с восторгом. А Изя стоял, расставив ноги в тюремных башмаках, небритый, грязный, расхлюстанный, рубашка из штанов вылезла, на ширинке не хватало пуговиц,— стоял во всей своей красе, такой же, как всегда, нисколечко не изменившийся,— и разглагольствовал, и поучал. Андрей вылез из-за стола, подошел к камину, присел рядом с секретаршей и, отобрав у нее кочергу, принялся ворошить и перекапывать неохотно горящую бумагу.

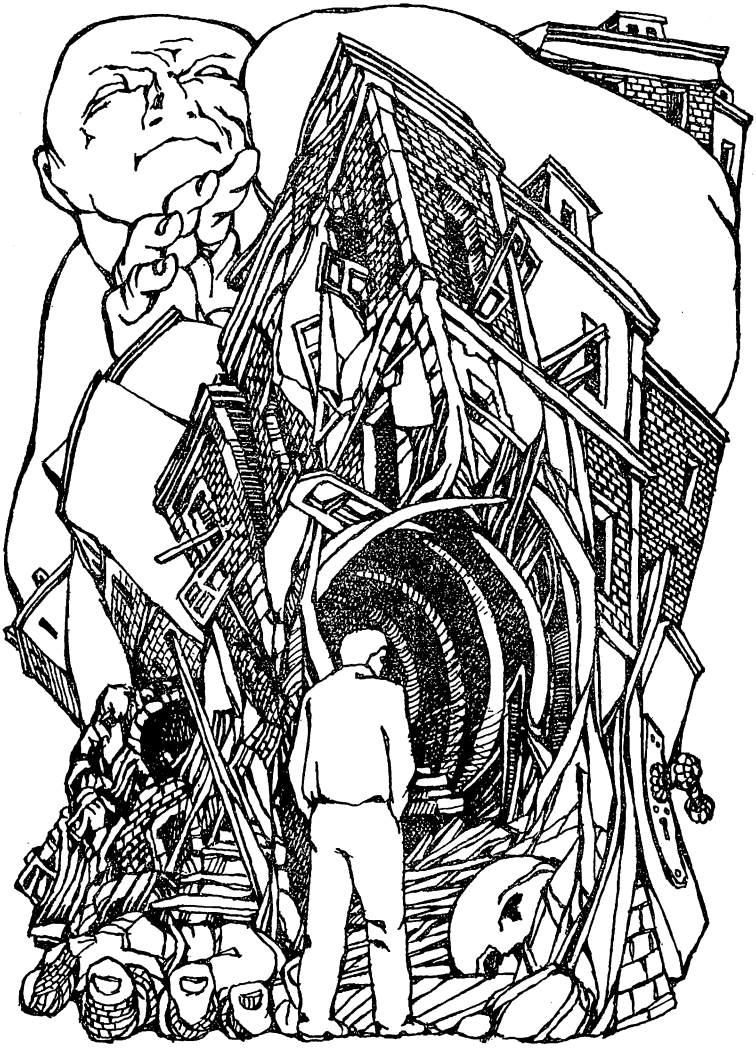
— ...А поэтому,— поучал Изя,— уничтожать надо вовсе не просто те бумаги, где ругают нашего вождя. Ругать тоже можно по-разному. Уничтожать же надо бумаги, написанные умными людьми!..

В кабинет просунулся Кэнси и крикнул:

— Слушайте, помог бы кто-нибудь... Девочки, что вы здесь зря околачиваетесь, а ну идите за мной!

Секретарша сейчас же вскочила и, на ходу поправляя перекрутившуюся юбчонку, выбежала вон. Сельма постояла, словно ожидая, что ее остановят, потом вдавила окурок в пепельницу и тоже вышла.

— ...А вас никто не тронет! — продолжал разглагольствовать Изя, ничего не видя и не слыша, как глухарь на току.— Вас еще поблагодарят, подбросят вам бумаги, чтобы вы повысили тираж, повысят вам оклады и расширят штат... И только потом, если вам вздумается вдруг брыкаться, только тогда вас возьмут за штаны и уж тут несомненно припомнят вам все — и вашего Дюпена, и вашего Филимонова, и все ваши либерально-оппозиционные бредни... Но только зачем вам брыкаться? Вы и не подумаете брыкаться, наоборот!..



— Изя,— сказал Андрей, глядя в огонь.— Почему ты тогда не сказал мне, что у тебя было в папке?

— Что?.. В какой папке?.. Ах, в той...

Изя вдруг как-то сразу притих, подошел к камину и присел рядом с Андреем на корточки. Некоторое время они молчали. Потом Андрей сказал:

— Конечно, я был тогда ослом. Полнейшим болваном. Но ведь сплетником-то и трепачом я уж никак не был. Это уж ты должен был тогда понять...

— Во-первых, ты не был болваном,— сказал Изя.— Ты был хуже. Ты был оболваненный. С тобой ведь по-человечески разговаривать было нельзя. Я знаю, я ведь и сам долгое время был таким... А потом — при чем тут сплетни? Такие вещи, согласись, простым гражданам знать ни к чему. Этак все, к чертовой матери, вразнос может пойти...

— Что? — сказал Андрей растерянно.— Из-за твоих любовных записочек?..

— Каких любовных записочек?

Некоторое время они изумленно глядели друг другу в глаза. Потом Изя осклабился:

— Господи, ну конечно же... С чего это я взял, что он тебе все это расскажет? Зачем это ему — рассказывать? Он же у нас орел, вождь! Кто владеет информацией, тот владеет миром,— это он хорошо у меня усвоил!..

— Ничего не понимаю,— пробормотал Андрей почти с отчаянием. Он чувствовал, что сейчас узнает еще что-то мерзкое об этом и без того мерзком деле.— О чем ты говоришь? Кто — он? Гейгер?

— Гейгер, Гейгер,— покивал Изя.— Наш великий Фриц... Значит, любовные записочки были у меня в папке? Или, может быть, компрометирующие фотографии? Ревнивая вдова и бабник Кацман... Правильно, такой протокол я тоже им подписал...

Изя, кряхтя, поднялся и принялся ходить по кабинету, потирая руки и хихикая.

— Да,— сказал Андрей.— Так он мне и сказал. Ревнивая вдова. Значит, это было вранье?

— Ну, конечно, а ты как думал?

— Я поверил,— сказал Андрей коротко. Он стиснул зубы и с остервенением заворочал кочергой в камине.— А что там было на самом деле? — спросил он.

Изя молчал. Андрей оглянулся. Изя стоял, медленно потирая руки, и с застывшей улыбкой глядел на него остекленевшими глазами.

— Интересно получается...— проговорил он неуверенно.— Может, он просто забыл? То есть не то чтобы забыл...— Он вдруг сорвался с места и снова присел на корточки рядом с Андреем.— Слушай, я тебе ничего не скажу, понял? И если тебя спросят, то так и отвечай: ничего не сказал, отказался. Сказал только, что дело касается одной большой тайны Эксперимента, сказал, что опасно эту тайну знать. И еще показал несколько запечатанных конвертов и, подмигивая, объяснил, что конверты эти раздаст верным людям и что конверты эти будут вскрыты в случае его, Кацмана, ареста или, скажем, неожиданной кончины. Понимаешь? Имен верных людей не назвал. Вот так и скажешь, если спросят.

— Хорошо,— медленно сказал Андрей, глядя в огонь.

— Это будет правильно...— проговорил Изя, тоже глядя в огонь.— Только вот если тебя бить будут... Румер — это, знаешь, сволочь какая...— Его передернуло.— А может, и не спросит никто. Не знаю. Это все надо обдумать. Так, сразу, и не сообразишь.

Он замолчал. Андрей все размешивал жаркую, переливающуюся красными огоньками кучу, и через некоторое время Изя снова принялся подбрасывать в камин пачки бумаг.

— Сами папки не бросай,— сказал Андрей.— Видишь, плохо горят... А ты не боишься, что ту папку найдут?

— А чего мне бояться? — сказал Изя.— Это Гейгер пусть боится... Да и не найдут ее теперь, если сразу не нашли. Я ее в люк бросил, а потом все гадал: попал или промахнулся... А за что тебе вломили? Ты же, по-моему, с Фрицем в прекрасных отношениях...

— Это не Фриц,— сказал Андрей неохотно.— Просто не повезло.

В комнату с шумом ввалились женщины и Кэнси — они тащили на растянутом плаще целую груду писем. За ними, по-прежнему вытираясь, шел Денни.

— Ну, теперь, кажется, все,— сказал он.— Или вы еще тут что-нибудь придумали?

— Ну-ка, подвиньтесь! — потребовал Кэнси.

Плащ был положен у камина, и все принялись кидать письма в огонь. В камине сразу загудело. Изя запустил здоровую руку в недра этой кучи разноцветной исписанной бумаги, извлек какое-то письмо и, заранее осклабляясь, принялся жадно читать.

— Кто это сказал, что рукописи не горят? — отдуваясь, проговорил Денни. Он уселся за стол и закурил сигарету.— Прекрасно горят, по-моему... Ну и жара. Окна открыть, что ли?

Секретарша вдруг пискнула, вскочила и выбежала вон, приговаривая: «Забыла, совсем забыла!..»

— Как ее зовут? — торопливо спросил Андрей у Кэнси.

— Амалия! — буркнул Кэнси.— Сто раз тебе говорил... Слушай, я сейчас Дюпену позвонил...

— Ну?

Вернулась секретарша с охапкой блокнотов.

— Это всё — ваши распоряжения, шеф,— пропищала она.— Я совсем про них забыла. Тоже, наверное, надо сжечь?

— Конечно, Амалия,— сказал Андрей.— Спасибо, что вспомнили. Сжигайте, Амалия, сжигайте... Так что Дюпен?

— Я хотел его предупредить,— сказал Кэнси,— что все в порядке, все следы уничтожены. А он страшно удивился, какие следы? Разве он что-нибудь такое писал? Он только что закончил подробную корреспонденцию о героическом штурме мэрии, а сейчас работает над обзором: «Фридрих Гейгер и народ».

— Сука,— сказал Андрей вяло.— Впрочем, все мы суки...

— Говори за себя, когда говоришь такие вещи! — огрызнулся Кэнси.

— Ну, извини,— вяло сказал Андрей.— Ну, не все суки. Большинство.

Изя вдруг захихикал.

— Вот пожалуйста — умный человек! — провозгласил он, потрясая листочком.— «Совершенно очевидно,— процитировал он,— что люди, подобные Фридриху Гейгеру, ждут

только какой-нибудь большой беды, пусть даже кратковременного, но чувствительного нарушения равновесия, чтобы развязать страсти и на волне смуты выскочить на поверхность...» Кто это пишет? — Он посмотрел на обороте.— А, ну еще бы!.. В огонь, в огонь! — он скомкал листок и швырнул в камин.

— Слушай, Андрей,— сказал Кэнси.— Не пора ли подумать о будущем?

— А чего о нем думать,— проворчал Андрей, орудуя кочергой.— Проживем как-нибудь, перетопчемся...

— Я не о нашем будущем говорю! — сказал Кэнси.— Я говорю о будущем газеты, о будущем Эксперимента!..

Андрей посмотрел на него с удивлением. Кэнси был такой же, как всегда. Словно ничего не произошло. Словно ничего вообще не происходило за последние тошные месяцы. Он даже казался еще более готовым к драке, чем обычно. Хоть сейчас в драку — во имя законности и идеалов. Как взведенный курок. А может быть, с ним действительно ничего не происходило?..

— Ты говорил со своим Наставником? — спросил Андрей.

— Говорил,— ответил Кэнси с вызовом.

— Ну и что? — спросил Андрей, преодолевая обычную неловкость, как всегда при разговоре о Наставниках.

— Это никого не касается и не имеет никакого значения. При чем здесь Наставники? У Гейгера тоже есть Наставник. У каждого бандита в городе есть Наставник. Это не мешает каждому думать собственной головой.

Андрей вытащил из пачки сигарету, размял и, щурясь от жара, прикурил от раскаленной кочерги.

— Надоело мне все,— сказал он тихо.

— Что тебе надоело?

— Да все... По-моему, бежать нам надо отсюда, Кэнси. Ну их всех к черту.

— Как это — бежать? Ты что это?

— Надо сниматься, пока не поздно, и мотать на болота, к дяде Юре, подальше от всего этого кабака. Эксперимент вышел из-под контроля, мы с тобой вернуть его под контроль не можем, а значит, нечего и рыпаться. На болотах у нас, по крайней мере, будет оружие, у нас будет сила...

— Ни на какие болота я не поеду! — объявила вдруг Сельма.

— А тебе никто и не предлагает,— сказал Андрей, не оборачиваясь.

— Андрей,— сказал Кэнси.— Это же дезертирство.

— По-твоему — дезертирство, а по-моему — разумный маневр. И вообще как хочешь. Ты меня спросил, что я думаю о будущем, я тебе отвечаю: здесь мне делать нечего. Редакцию все равно разгонят, а нас пошлют дохлых павианов убирать. Под конвоем. И это еще в лучшем случае...

— А вот еще один умный человек! — провозгласил Изя с восхищением.— Слушайте: «Я — старый подписчик вашей газеты, и я, в общем и целом, одобряю ее курс. Но почему вы постоянно выступаете в защиту Ф.Гейгера? Может быть, вы недостаточно информированы? Я совершенно точно знаю, что Гейгер имеет досье на всех сколько-нибудь заметных лиц в Городе. Его люди пронизывают весь муниципальный аппарат. Вероятно, они есть и в вашей газете. Уверяю вас, эрвистов совсем не так мало, как вы думаете. Мне известно, что у них есть и оружие...» — Изя посмотрел на оборот письма.— Ах, вот это кто... «Имени моего прошу не публиковать...» В огонь, в огонь!

— Можно подумать, что ты знаешь в городе всех умных людей,— сказал Андрей.

— Между прочим, их не так уж и много,— возразил Изя, снова запуская руку в бумажную кучу.— Я уже не говорю о том, что умные люди редко пишут в газеты.

Наступило молчание. Денни, накурившись всласть, тоже подобрался к камину и принялся бросать бумагу в огонь большими охапками.

— Ворочайте, ворочайте, шеф! — сказал он.— Больше жизни! Дайте-ка мне кочергу...

— По-моему, это просто трусость — удирать сейчас из города,— сказала Сельма с вызовом.

— Сейчас каждый честный человек на счету,— подхватил Кэнси.— Если мы уйдем, кто же останется? Дюпенам прикажешь отдать газету?

— Ты останешься,— сказал Андрей устало.— Сельму вот можешь взять в газету... или Изю...

— Ты же хорошо знаком с Гейгером,— прервал его Кэнси.— Ты мог бы использовать свое влияние...

— Нет у меня на него никакого влияния,— сказал Андрей.— А если и есть, то не хочу я его использовать. Я таких вещей не умею и не терплю.

И снова все замолчали, только гудело пламя в каминной трубе.

— Хоть бы они ехали скорее, что ли,— проворчал Дэнни, бросая в огонь последнюю кипу писем.— Выпить хочется — сил нет, а выпить нечего...

— Они так сразу не приедут,— немедленно возразил Изя.— Они сначала позвонят! — Он швырнул в камин письмо, которое читал, и прошелся по кабинету.— Вы этого, Дэнни, не знаете и не понимаете. Это ритуал! Процедура, отработанная в трех странах, отработанная до тонкости, проверенная... Девочки, а нет ли здесь чего-нибудь пожрать? — спросил он вдруг.

Тощая Амалия немедленно вскочила и с писком: «Сейчас, сейчас!..» исчезла в приемной.

— Кстати,— ни с того ни с сего вспомнил Андрей.— А где цензор?

— Он очень хотел остаться,— сказал Дэнни.— Но господин Убуката выпихнул его вон. Он ужасно кричал, этот цензор. «Куда я пойду? — кричал он.— Вы меня убиваете!» Пришлось даже дверь запереть на засов, чтобы не пускать его. Сначала он бился всем телом, а потом отчаялся и ушел... Слушайте, я все-таки открою окно. Сил моих нет, как жарко...

Вернулась секретарша и, застенчиво улыбаясь бледными, без косметики, губами, вручила Изе бумажный промасленный пакет с какими-то пирожками.

— М-м! — вскричал Изя и сейчас же принялся чавкать.

— Ребра болят? — тихонько спросила Сельма, наклонившись к уху Андрея.

— Нет,— сказал Андрей коротко, поднялся и, отстранив ее, подошел к столу. И в этот момент зазвонил телефон. Все повернули головы и уставились на белый аппарат. Телефон звонил.

— Ну, Андрей! — нетерпеливо сказал Кэнси.

Андрей поднял трубку.

— Да.

— Редакция «Городской газеты»? — осведомился деловой голос.

— Да,— сказал Андрей.

— Господина Воронина попрошу.

— Я.

В трубку подышали, затем раздались гудки отбоя. С сильно бьющимся сердцем Андрей осторожно положил трубку.

— Это они,— сказал он.

Изя прочавкал что-то неразборчивое, ожесточенно кивая головой. Андрей сел. Все смотрели на него — напряженно улыбающийся Дэнни, насупленный и взъерошенный Кэнси, жалко-испуганная Амалия и бледная подобравшаяся Сельма. И Изя смотрел на него, жуя и осклабляясь, вытирая замасленные пальцы о полы куртки.

— Ну, чего вы уставились? — раздраженно сказал Андрей.— А ну, мотайте все отсюда.

Никто не двинулся с места.

— Чего ты волнуешься? — сказал Изя, рассматривая последний пирожок.— Все будет тихо-мирно, как говорит дядя Юра. Тихо-мирно, честно-благородно... Только не надо делать резких движений. Это как с кобрами...

За окном послышалось тарахтение автомобильного двигателя, скрип тормозов, пронзительный голос скомандовал: «Кайзер, Величенко, за мной! Мирович, оставаться здесь!..» — и сейчас же в дверь внизу ударили кулаком.

— Я пойду открою,— сказал Дэнни, а Кэнси подскочил к камину и принялся изо всех сил ворошить груду дымящейся золы. Пепел полетел по всей комнате.

— Резких движений не делайте! — крикнул Изя вслед Дэнни.

Дверь внизу содрогалась и жалобно дребезжала стеклами. Андрей поднялся, заложил руки за спину и, стиснув их изо всех сил, встал посредине комнаты. Давешнее ощущение дурного томления и слабости в ногах снова охватило его. Стук и грохот внизу прекратились, послышались недовольные голоса, а затем множество ног затопотало в пустых помещениях. Словно их там целый батальон,

мелькнуло в голове у Андрея. Он попятился и оперся задом о стол. Колени у него отвратительно дрожали. Бить не позволю, подумал он с отчаянием. Пусть лучше убивают. Пистолет я не взял... Зря не взял... А может, правильно, что не взял?..»

В дверь прямо напротив него решительно шагнул полный невысокий человек в хорошем пальто с белыми повязками на рукавах и в огромном берете с каким-то значком. На ногах у него были великолепно начищенные сапоги, а пальто было слабо и очень некрасиво стянуто широким ремнем, на котором слева тяжело отвисала новенькая желтая кобура. За ним ввалились еще какие-то люди, но Андрей их не видел. Он как зачарованный смотрел в одутловатое бледное лицо с расплывчатыми чертами и с маленькими закисшими глазками. Конъюнктивит у него, что ли, подумалось где-то на самом краю сознания. И выбрит так, что вроде бы даже блестит, как лакированный...

Человек в берете быстро оглядел комнату и уставился прямо на Андрея.

— Господин Воронин? — с вопросительной интонацией провозгласил он высоким пронзительным голосом.

— Я,— с трудом выдавил из себя Андрей, обеими руками вцепившись в край стола.

— Главный редактор «Городской газеты»?

— Да.

Человек в берете умело, но небрежно откозырял двумя пальцами.

— Имею честь, господин Воронин,— высокопарно произнес он,— вручить вам личное послание президента Фридриха Гейгера!

Очевидно, он намеревался ловким движением выхватить личное послание из-за пазухи, но что-то там за что-то зацепилось, и ему пришлось довольно долго копаться в недрах своего пальто, слегка перекосившись на правый бок с таким видом, словно его одолевали насекомые. Андрей смотрел на него обреченно и ничего не понимал — все было как-то не так. Не этого он ожидал. А может быть, пронесет, мелькнуло у него в голове, но он сейчас же суеверно отогнал эту мысль.

Наконец послание было извлечено, и человек в берете протянул его Андрею с недовольным и несколько обиженным видом. Андрей взял хрустнувший запечатанный конверт. Это был обыкновенный почтовый конверт, длинный, голубоватого цвета, со стилизованным изображением сердца, украшенного птичьими крылышками. Знакомым крупным почерком на конверте было написано: «Главному редактору «Городской газеты» Андрею Воронину лично, конфиденциально. Ф.Гейгер, президент». Андрей надорвал конверт и вытащил обыкновенный листок почтовой бумаги с синим обрезом.

«Милый Андрей! Прежде всего позволь от всего сердца поблагодарить тебя за ту помощь и поддержку, которые я непрерывно чувствовал со стороны твоей газеты на протяжении последних решающих месяцев. Теперь, как видишь, ситуация в корне переменилась. Уверен, что новая терминология и некоторые неизбежные эксцессы не смутят тебя: слова и средства переменились, но цели остались прежними. Бери газету в свои руки — ты назначен ее бессменным и полномочным главным редактором и издателем. Набирай себе сотрудников по собственному выбору, расширяй штат, требуй новые типографские мощности — даю тебе полный карт-бланш. Податель сего письма — младший адъютор Раймонд Цвирик — назначен в твою газету политическим представителем моего управления информации. Мужик он, как ты сам убедишься, невеликого ума, но дело свое знает хорошо и, особенно на первых порах, поможет тебе войти в курс общей политики. В случае возможных конфликтов обращайся, разумеется, непосредственно ко мне. Желаю успеха. Покажем этим слюнявым либералам, как надо работать. Дружески, твой Фриц».

Андрей прочитал личное и конфиденциальное послание дважды, потом опустил руку с письмом и огляделся. Опять все смотрели на него — бледные, решительные, напряженные. Только Изя сиял, как начищенный самовар, и тайком от окружающих отпускал в пространство воображаемые щелбаны. Младший адъютор (что бы это могло значить, черт побери, слово какое-то знакомое... адъютор, коадъютор... что-то из истории... или из «Трех мушкетеров»),

младший адъютор Раймонд Цвирик тоже смотрел на него — смотрел строго, но покровительственно. А у дверей переминались с ноги на ногу и опять же смотрели на него какие-то непонятные типы с карабинами и белыми повязками на рукавах.

— Так...— проговорил Андрей, складывая письмо и пряча его в конверт. Он не знал, с чего начать.

Тогда начал младший адъютор:

— Это ваши сотрудники, господин Воронин? — деловито осведомился он, слегка поведя рукой из стороны в сторону.

— Да,— сказал Андрей.

— Гм...— с сомнением произнес господин Раймонд Цвирик, глядя в упор на Изю, но тут Кэнси вдруг резко спросил его:

— А кто вы, собственно, такой?

Господин Раймонд Цвирик взглянул на него, а затем изумленно повернулся к Андрею. Андрей прокашлялся.

— Господа,— проговорил он.— Позвольте вам представить: господин Цвирик, младший коадъютор...

— Адъютор! — с негодованием поправил Цвирик.

— Что?.. Ах, да, адъютор. Не коадъютор, а просто адъютор... (Сельма вдруг ни с того ни с сего прыснула и зажала себе рот ладонью.) Младший адъютор, политический представитель в нашей газете. Отныне.

— Представитель чего? — непримиримо спросил Кэнси.

Андрей полез было снова в конверт, но Цвирик еще более негодующим тоном объявил:

— Политический представитель управления информации!

— Ваши документы! — резко сказал Кэнси.

— Что?! — Закисшие глазки господина Цвирика возмущенно замигали.

— Документы, полномочия — есть у вас что-нибудь, кроме вашей дурацкой кобуры?

— Кто это?! — пронзительно вскричал господин Цвирик, снова поворачиваясь к Андрею.— Кто этот человек?!

— Это господин Кэнси Убуката,— торопливо сказал Андрей.— Заместитель главного редактора... Кэнси, не надо никаких полномочий. Он же передал мне письмо от Фрица...

— Какого еще Фрица? — сказал Кэнси брезгливо.— При чем здесь какой-то Фриц?

— Резких движений! — воззвал Изя.— Умоляю вас, не делайте резких движений!

Цвирик вертел головой между Изей и Кэнси. Лицо его уже больше не лоснилось, оно медленно заливалось багровым.

— Я вижу, господин Воронин,— произнес он наконец,— ваши сотрудники не очень хорошо представляют себе, что именно произошло сегодня!.. Или наоборот! — Он все возвышал голос.— Представляют, но в каком-то странном, извращенном свете! Я вижу здесь горелую бумагу, я вижу угрюмые лица, и я не вижу никакой готовности приступить к работе. В час, когда весь Город, весь наш народ...

— А это кто? — перебил его Кэнси, указывая на типов с карабинами.— Это что, новые сотрудники?

— Представьте себе — да! Господин БЫВШИЙ заместитель главного редактора! Это новые сотрудники. Я не могу вам обещать, что они...

— Это мы еще посмотрим,— незнакомым скрипучим голосом произнес Кэнси и шагнул к Цвирику.— На каком основании...

— Кэнси! — сказал Андрей беспомощно.

— На каком основании вы здесь испаряетесь? — продолжал Кэнси, не обращая на Андрея никакого внимания.— Кто вы такой? Как вы смеете так себя вести? Почему вы не предъявляете документы? Вы просто вооруженные бандиты, которые проникли сюда с целью ограбления!..

— Заткнись, желтожопый! — дико завопил вдруг Цвирик, хватаясь, за кобуру.

Андрей качнулся вперед, чтобы стать между ними, но тут его сильно толкнули в плечо, и перед Цвириком оказалась Сельма.

— Как ты смеешь выражаться при женщинах, сволочь! — заорала она.— Зараза ты толстожопая! Бандюга!

Андрей совсем потерялся. Разом ужасно закричали и Цвирик, и Кэнси, и Сельма. Мельком Андрей заметил, что типы в дверях, неуверенно переглядываясь, стали брать карабины наизготовку, а возле них вдруг оказался Дэнни Ли, держа за ножку тяжелый редакторский табурет с железным

сиденьем, но страшнее и невероятнее всех была шлюшка Амалия, которая, как-то хищно сгорбившись и выставив длинные белые зубы, очень жуткие на осунувшемся, как у мертвой, лице, крадучись подбиралась к Цвирику, занося над своим правым плечом, словно клюшку для гольфа, дымящуюся кочергу... «Я тебя, сук-киного сына, запомнил! — неистово кричал Кэнси.— Ты деньги для школ разворовывал, стервец, а теперь в коадъюторы вылез?!» — «Я вас всех с дерьмом смешаю! Дерьмо у меня будете жрать! Враги человечества!..» — «Молчи, б...ская харя! Молчи, пока цел!..» — «Резких движений! Умоляю!..» Андрей, как зачарованный, не в силах пошевелиться, следил за вздымающейся кочергой. Он чувствовал, он знал, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое, и это ужасное уже не остановить.

— На фонарь вас! — налившись кровью, дико вопил младший адъютор, размахивая огромным автоматическим пистолетом. За всем этим гамом и шумом он успел как-то вытащить свой пистолет и теперь бестолково им размахивал и беспрерывно пронзительно орал, и тут Кэнси подскочил к нему, схватил за отвороты пальто, а он стал отпихиваться обеими руками, и вдруг грянул выстрел и сразу же другой и третий. Бесшумно мелькнула в воздухе кочерга, и все замерли.

Цвирик один стоял посредине кабинета, лицо его из багрового быстро делалось серым. Одной рукой он потирал ушибленное кочергой плечо, другая, трясущаяся, все еще была вытянута вперед. Пистолет валялся на полу. Типы в дверях, одинаково разинув рты, стояли с опущенными карабинами.

— Я не хотел...— дребезжащим голосом произнес Цвирик.

Громко ударился об пол выпавший из руки Денни табурет, и только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кэнси, который как-то странно, медленно-медленно, закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди.

— Я не хотел...— повторял Цвирик плачущим голосом.— Видит бог, я не хотел!..

Ноги у Кэнси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы и, издавши

невнятный мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу.

И тогда Сельма, страшно вскрикнув, впилась ногтями в толстое, лоснящееся, грязно-белое лицо Цвирика, а все остальные с топотом кинулись к лежащему, заслонили его, сгрудились над ним, а потом Изя выпрямился, повернул к Андрею неестественно перекошенное, с удивленно задранными бровями лицо и пробормотал:

— Он мертвый... Убит...

Грянул телефонный звонок. Ничего не соображая, Андрей, как во сне, протянул руку и взял трубку.

— Андрей? Андрей! — Это был Отто Фрижа.— Ты живздоров? Слава богу, я так за тебя беспокоился! Ну, теперь все будет хорошо. Теперь Фриц, если что, нас в обиду не даст...

Он говорил еще что-то — про колбасу, про масло,— Андрей больше его не слушал.

Сельма, сидя на корточках и обхватив голову руками, плакала навзрыд, а младший адъютор Раймонд Цвирик, размазывая по серым щекам кровь из сочащихся глубоких царапин, все повторял и повторял, как испорченный механизм:

— Я не хотел. Клянусь богом, я не хотел...

ГОСПОДИН СОВЕТНИК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вода лилась тепловатая и гнусная на вкус. Воронка душа была расположена неестественно высоко, рукой не достать, и вялые струи поливали все что угодно, только не то, что нужно. Сток, по обыкновению, забило, и под ногами поверх решетки хлюпало. И вообще было отвратительно, что приходится ждать. Андрей прислушался: в раздевалке все еще бубнили и галдели. Кажется, поминалось его имя. Андрей скривился и принялся двигать спиной, стараясь поймать струю на хребет,— поскользнулся, схватился за шершавую бетонную стенку, выругался вполголоса. Черт бы их всех драл, могли бы все-таки догадаться — устроить отдельную душевую для правительственных сотрудников. Торчи тут теперь, как корень...

На двери перед самым носом было нацарапано: «Посмотри направо», Андрей машинально посмотрел направо. Там было нацарапано: «Посмотри назад». Андрей спохватился. Знаем, знаем, в школе еще учили, сами писали... Он выключил воду. В раздевалке было тихо. Тогда он осторожно приоткрыл дверь и выглянул. Слава богу, ушли...

Он вышел, ковыляя по грязноватому кафелю и брезгливо поджимая пальцы, и направился к своей одежде. Краем глаза он уловил какое-то движение в углу, покосился и обнаружил чьи-то заросшие черным волосом тощие ягодицы. Так и есть, обычная картина: стоит голый коленками на скамейке и

глазеет в щель, где женская раздевалка. Аж закоченел весь от внимательности.

Андрей взял полотенце и стал вытираться. Полотенце было дешевенькое, казенное, пропахшее карболкой, воду оно не то чтобы впитывало, а как бы размазывало по коже.

Голый все глазел. Поза у него была неестественная, как у висельника,— дыру в стене провертел, видимо, подросток, низко и неудобно. Потом ему там смотреть стало, вероятно, не на что. Он шумно перевел дух, сел, спустив ноги, и увидел Андрея.

— Оделась,— сообщил он.— Красивая женщина.

Андрей промолчал. Он натянул брюки и принялся обуваться.

— Опять мозоль сорвал — пожалуйста...— снова сообщил голый, рассматривая свою ладонь.— Который раз уже.— Он развернул полотенце и с сомнением оглядел его с обеих сторон.— Я вот чего не понимаю,— продолжал он, вытирая голову.— Неужели нельзя сюда экскаватор пригнать? Ведь всех нас можно одним-единственным экскаватором заменить. Ковыряемся лопатами, как эти...

Андрей пожал плечами и проворчал что-то, самому себе непонятное.

— А? — спросил голый, выставляя ухо из полотенца.

— Я говорю, экскаваторов всего два в городе,— сказал Андрей раздраженно. На правом ботинке лопнул шнурок, и уйти от разговора было теперь невозможно.

— Вот я и говорю — пригнали бы один сюда! — возразил голый, энергично растирая свою цыплячью волосатую грудку.— А то — лопатами... Лопатой, если угодно, надо уметь работать, а откуда, спрашиваю я, нам уметь, если мы из горплана?

— Экскаваторы нужны в другом месте,— проворчал Андрей. Проклятый шнурок никак не завязывался.

— В каком же это другом? — немедленно прицепился голый из горплана.— У нас же здесь, как я понимаю, Великая Стройка. А где же тогда экскаваторы? На Величайшей, что ли? Не слыхал про такую.

На черта ты мне сдался с тобой спорить, подумал Андрей злобно. И чего я, в самом деле, с ним спорю? Соглашаться с

ним надо, а не спорить. Поддакнул бы ему пару раз, он бы и отвязался... Нет, не отвязался бы он все равно, о голых бабах бы принялся рассуждать — как ему полезно на них любоваться. Недотыкомка.

— Что вы ноете, в самом деле? — сказал он, выпрямляясь.— Всего-то час в сутки просят вас поработать, а вы уже разнылись, будто вам карандаш в задний проход завинчивают... Мозоль он, видите ли, сорвал! Травма производственная...

Голый человек из горплана ошеломленно смотрел на него, приоткрыв рот. Тощий, волосатый, с подагрическими коленками, с косым брюшком...

— Ведь для себя же! — продолжал Андрей, с ожесточением затягивая галстук.— Ведь не на дядю — на себя самого просят поработать! Нет, опять они недовольны, опять им все неладно. До Поворота, небось, дерьмо возил, а теперь в горплане служит, а все-таки ноет...

Он надел пиджак и принялся скатывать комбинезон. И тут человек из горплана подал наконец голос:

— Позвольте, сударь! — вскричал он обиженно.— Да я же совсем не в том смысле! Я только имел в виду рациональность, эффективность... Странно даже! Я, если угодно, сам мэрию брал!.. Я и говорю вам, что если это Великая Стройка, то все самое лучшее и должно быть сюда... И вы на меня не извольте кричать!..

— А-а, разговаривать тут с вами...— сказал Андрей и, на ходу заворачивая комбинезон в газету, пошел из раздевалки.

Сельма уже ждала его, сидя на скамеечке поодаль. Она задумчиво курила, глядя в сторону котлована, привычно положив ногу на ногу,— свежая и розовая после душа. Андрея неприятно кольнуло, что этот волосатый недоносок, очень может быть, пускал слюни и глазел в щель именно на нее. Он подошел, остановился рядом и положил ладонь ей на прохладную шею.

— Пойдем?

Она подняла на него глаза, улыбнулась и потерлась щекой о его руку.

— Давай докурим,— предложила она.

— Давай,— согласился он, сел и тоже закурил.

В котловане копошились сотни людей, летела земля с лопат, вспыхивало солнце на отточенном железе. Груженные грунтом подводы вереницей тянулись по противоположному склону, у штабелей бетонных плит скапливалась очередная смена. Ветер крутил красноватую пыль, доносил обрывки маршей из репродукторов, установленных на цементных столбах, раскачивал огромные фанерные щиты с выцветшими лозунгами: «Гейгер сказал: надо! Город ответил: сделаем!», «Великая Стройка — удар по нелюдям!», «Эксперимент — над экспериментаторами!».

— Отто обещал — сегодня ковры будут,— сказала Сельма.

— Это хорошо,— обрадовался Андрей.— Бери самый большой. Положим в гостиной на полу.

— Я хотела тебе в кабинет. На стену. Помнишь, я еще в прошлом году говорила, как только мы въехали?..

— В кабинет? — задумчиво произнес Андрей. Он представил себе свой кабинет, ковер и оружие. Это выглядело.— Правильно,— сказал он.— Оч хор. Давай в кабинет.

— Только Румеру обязательно позвони,— сказала Сельма.— Пусть даст человека.

— Сама позвони,— сказал Андрей.— Мне некогда будет... А впрочем, ладно, позвоню. Куда тебе его прислать? Домой?

— Нет, прямо на базу. Ты к обеду будешь?

— Буду, наверное. Между прочим, Изя давно напрашивается зайти.

— Ну, и очень хорошо! Сегодня же на вечер и зови. Сто лет мы уже не собирались. И Вана надо позвать, вместе с Мэйлинь...

— Умгу,— сказал Андрей. Насчет Вана он как-то не подумал.— А кроме Изи ты из наших кого-нибудь собираешься позвать? — спросил он осторожно.

— Из наших? Полковника можно позвать...— нерешительно проговорила Сельма.— Он славный... Вообще, если кого-нибудь и звать сегодня из наших, то в первую очередь Дольфюсов. Мы у них уже два раза были, неудобно.

— Если бы без жены...— сказал Андрей.

— Без жены невозможно.

— Знаешь что,— сказал Андрей,— ты им пока не звони, а вечером посмотрим.— Ему было совершенно ясно, что Ван и Дольфюсы никак не сочетаются.— Может, лучше Чачуа позовем?

— Гениально! — сказала Сельма.— Мы его на Дольфюсиху напустим. Всем будет хорошо.— Она бросила окурок.— Пошли?

Из котлована, направляясь к душевой, потянулась, пыля, очередная толпа Великих Строителей — потных, громогласных, грегочущих работяг с Литейного.

— Пошли,— сказал Андрей.

По заплеванной песчаной аллейке между двумя рядами жиденьких свежепосаженных липок они вышли на автобусную остановку, где еще стояли два битком набитых облупленных автобуса. Андрей поглядел на часы: до отправления автобусов оставалось семь минут. Из переднего автобуса раскрасневшиеся бабы выпихивали какого-то пьяного. Пьяный хрипло орал, и бабы тоже орали истеричными голосами.

— С хамами поедем или пешком? — спросил Андрей.

— А у тебя время есть?

— Есть. Пошли, над обрывом пройдемся. Там попрохладней.

Сельма взяла его под руку, они свернули налево, в тень старого пятиэтажного дома, обстроенного лесами, и по мощенной булыжником улочке направились к обрыву.

Район был здесь глухой, заброшенный. Пустые ободранные домишки стояли вкривь и вкось, мостовые проросли травой. До Поворота и сразу после в этих местах было небезопасно появляться не только ночью, но и днем — кругом здесь были притоны, малины, хавиры, селились здесь самогонщики, скупщики краденого, профессиональные охотники за золотом, проститутки-наводчицы и прочая сволочь. Потом за них взялись: одних выловили и отправили в поселения на болотах — батрачить у фермеров, других — мелкую шпану — просто разогнали кого куда, кое-кого в суматохе поставили к стенке, а все, что нашлось здесь ценного, реквизировали в пользу города. Кварталы опустели. Попервоначалу еще ходили здесь патрули, потом их сняли

за ненадобностью, а в самое последнее время было всенародно объявлено, что трущобы эти подлежат сносу, а на их месте, вдоль всего обрыва в пределах городской черты, будет разбита парковая полоса — развлекательно-прогулочный комплекс.

Сельма и Андрей обогнули последнюю развалюху и пошли вдоль обрыва по колено в высокой сочной траве. Здесь было прохладно — из пропасти накатывал волнами влажный холодный воздух. Сельма чихнула, и Андрей обнял ее за плечи. Гранитный парапет еще не дотянули до этих мест, и Андрей инстинктивно старался держаться подальше от края обрыва — шагах в пяти-шести.

Над обрывом каждый человек чувствовал себя странно. Причем у всех, по-видимому, возникало здесь одинаковое ощущение, будто мир, если глядеть на него отсюда, явственно делится на две равные половины. К западу — неоглядная сине-зеленая пустота — не море, не небо даже — именно пустота синевато-зеленоватого цвета. Сине-зеленое Ничто. К востоку — неоглядная, вертикально вздымающаяся желтая твердь с узкой полоской уступа, по которому тянулся город. Желтая Стена. Желтая абсолютная Твердь.

Бесконечная Пустота к западу и бесконечная Твердь к востоку. Понять эти две бесконечности не представлялось никакой возможности. Можно было только привыкнуть. Те, кто привыкнуть не мог или не умел, на обрыв старались не ходить, а поэтому здесь редко кого можно было встретить. Сейчас сюда выходили разве что влюбленные парочки, да и то, главным образом, по ночам. По ночам в пропасти что-то светилось слабым зеленоватым светом, будто там, в бездне, что-то тихо гнило из века в век. На фоне этого свечения черный лохматый край обрыва виден был прекрасно, а трава здесь всюду была на удивление высокая и мягкая...

— А вот когда мы построим дирижабли,— сказала вдруг Сельма,— мы тогда как — подниматься будем вверх или опускаться в этот обрыв?

— Какие дирижабли? — рассеянно спросил Андрей.

— Как — какие? — удивилась Сельма, и Андрей спохватился.

— А, аэростаты! — сказал он.— Вниз. Вниз, конечно. В обрыв.

Среди большинства горожан, ежедневно отрабатывающих свой час на Великой Стройке, было распространено мнение, будто строится гигантский завод дирижаблей. Гейгер полагал, что такое мнение следует пока всячески поддерживать, ничего при этом, однако, прямо не утверждая.

— А почему вниз? — спросила Сельма.

— Ну, видишь ли... Мы пробовали поднимать воздушные шары — без людей, конечно. Что-то там с ними наверху происходит — они взрываются по непонятной причине. Выше километра еще ни один не поднялся.

— А что там, внизу, может быть? Как ты думаешь?

Андрей пожал плечами.

— Представления не имею.

— Эх ты, ученый! Господин советник.

Сельма подобрала в траве обломок какой-то старой доски с кривым ржавым гвоздем и швырнула в пропасть.

— По кумполу там кому-нибудь,— сказала она.

— Не хулигань,— сказал Андрей миролюбиво.

— А я такая,— сказала Сельма.— Забыл?

Андрей посмотрел на нее сверху вниз.

— Нет, не забыл,— сказал он.— Хочешь, в траву завалю сейчас?

— Хочу,— сказала Сельма.

Андрей огляделся. На крыше ближайшей развалюхи, свесив ноги, курили двое каких-то в кепках. Тут же рядом, покосившись на груде мусора, стояла грубо сколоченная тренога с чугунной бабой на корявой цепи.

— Глазеют,— сказал он.— Жаль. Я бы тебе показал, госпожа советница.

— Давай вали ее, чего время теряешь! — пронзительно крикнули с крыши.— Лопух молодой!..

Андрей притворился, что не слышит.

— Ты сейчас прямо домой? — спросил он.

Сельма посмотрела на часы.

— В парикмахерскую надо зайти,— сказала она.

У Андрея вдруг появилось незнакомое будоражущее ощущение. Он вдруг как-то очень явственно осознал, что вот

он — советник, ответственный работник личной канцелярии президента, уважаемый человек, что у него есть жена, красивая женщина, и дом — богатый, полная чаша,— и что вот жена его идет сейчас в парикмахерскую, потому что вечером они будут принимать гостей, не пьянствовать беспорядочно, а держать солидный прием, и гости будут не кто-нибудь, а люди все солидные, значительные, нужные, самые нужные в городе. Это было ощущение неожиданно осознанной зрелости, собственной значимости, ответственности, что ли. Он был взрослым человеком, вполне определившимся, самостоятельным, семейным. Он был зрелый мужчина, твердо стоящий на собственных ногах. Не хватало только детей — все остальное у него было как у настоящих взрослых...

— Здравия желаю, господин советник! — произнес почтительный голос.

Оказывается, они уже вышли из заброшенного квартала. Слева потянулся гранитный парапет, под ноги легли узорные бетонные плиты, справа и впереди поднялась белесая громада Стеклянного Дома, а на пути стоял, вытянувшись и приложив два пальца к козырьку форменной фуражки, молодой опрятный негр-полицейский в голубоватой форме внешней охраны.

Андрей рассеянно кивнул ему и сказал Сельме:

— Извини, ты что-то говорила, я задумался...

— Я говорю: не забудь позвонить Румеру. Мне ведь теперь человек понадобится не только для ковра. Вина надо принести, водки... Полковник любит виски, а Дольфюс — пиво... Я возьму, пожалуй, сразу ящик...

— Да! Пусть в сортире плафон сменят! — сказал Андрей.— А ты сделай мясо по-бургундски. Амалию тебе прислать?..

Они расстались у поперечной дорожки, ведущей к Стеклянному Дому. Сельма пошла дальше, а Андрей, проводив ее (с удовольствием) глазами, свернул и направился к западному подъезду.

Обширная, выложенная бетонными плитами площадь вокруг здания была пуста, лишь кое-где виднелись голубые мундиры охраны. Под густыми деревьями, окаймлявшими площадь, торчали, как всегда, зеваки из новичков — жадно

ели глазами вместилище власти,— а пенсионеры с тросточками давали им пояснения.

У подъезда стоял уже драндулет Дольфюса, капот был, как всегда, поднят, из двигателя выпячивалась затянутая в сверкающий хром нижняя часть шофера. И тут же смердил грязный, прямо с болот, грузовик фермерского вида — над бортами неопрятно торчали красно-синие конечности какой-то ободранной говядины. Над говядиной вились мухи. Хозяин грузовика, фермер, ругался в дверях с охраной. Ругались они, видимо, довольно давно: уже дежурный начальник охраны был здесь и трое полицейских, и еще двое неторопливо приближались, поднимаясь по широким ступеням с площади.

Фермер показался Андрею знакомым — длинный, как жердь, тощий мужик с обвисшими усами. От него пахло потом, бензином и перегаром. Андрей показал свой пропуск и прошел в вестибюль, успевши уловить, однако, что мужик требовал лично президента Гейгера, а охрана внушала ему, что здесь служебный ход и что ему, мужику, надлежит обогнуть здание и попытать счастья в бюро приемной. Голоса спорящих постепенно возвышались.

Андрей поднялся в лифте на пятый этаж и вступил в дверь, на которой красовалась черно-золотая надпись: «Личная канцелярия президента по вопросам науки и техники». Сидевшие у входа курьеры встали, когда он вошел, и одинаковым движением спрятали за спины дымящиеся окурки. Больше в белом широком коридоре никого не было видно, однако из-за дверей, совсем как когда-то в редакции, доносились телефонные звонки, деловые диктующие голоса, треск пишущих машинок. Канцелярия работала на полном ходу. Андрей распахнул дверь с табличкой «Советник А.Воронин» и вступил в свою приемную.

Здесь тоже поднялись ему навстречу: толстый, вечно потеющий начальник геодезического сектора Кехада; апатичный, скорбный видом, белоглазый заведующий отделом кадров Варейкис; вертлявая стареющая тетка из финансового управления и какой-то незнакомый мальчишка спортивного вида — надо думать, новичок, ожидающий представления. А из-за своего столика с машинкой у окна

проворно поднялась, улыбаясь ему, его личный секретарь Амалия.

— Здравствуйте, здравствуйте, господа,— громко сказал Андрей, изображая самую благодушную улыбку.— Прошу прощения! Проклятые автобусы набиты битком, пришлось пешкодралить от самой стройки...

Он принялся пожимать руки: потную лапищу Кехады, вялый плавник Варейкиса, горсть сухих костей финансовой тетки (Какого черта она ко мне приперлась? Что ей тут могло понадобиться?) и чугунную лопату насупившегося новичка.

— Я думаю, даму мы пропустим вперед...— говорил он.— Мадам, прошу вас...— это финансовой тетке.— Что-нибудь срочное есть? — это вполголоса Амалии.— Благодарю вас...— Он взял протянутую телефонограмму и распахнул дверь в кабинет.— Прошу, мадам, прошу...

На ходу разворачивая телефонограмму, он прошел к столу, глядя в бумагу, показал тетке рукой на кресло, потом сел сам и положил телефонограмму перед собой.

— Слушаю вас.

Тетка затарахтела. Андрей, улыбаясь уголками губ, внимательно ее слушал, постукивая карандашиком по телефонограмме. Все было ему ясно с первых же слов.

— Простите,— прервал он ее через полторы минуты.— Я вас понял. Собственно, у нас не принято принимать людей по протекции. Однако в вашем случае мы, несомненно, имеем дело с неким исключением. Если ваша дочь действительно настолько интересуется космографией, что занималась ею самостоятельно, еще в школе... Позвоните, прошу вас, моему заведующему кадрами. Я поговорю с ним.— Он встал.— Несомненно, такие амбиции у молодежи надлежит всячески приветствовать и поощрять...— Он проводил ее до двери.— Это вполне в духе нового времени... Не благодарите меня, мадам, я просто выполнил свой долг. Всего наилучшего...

Он вернулся к столу и перечитал телефонограмму: «Президент приглашает г-на советника Воронина в свой кабинет к 14.00». Все. По какому делу? Зачем? Что с собой иметь? Странно... Скорее всего Фриц просто соскучился и хочет

потрепаться. Четырнадцать ноль-ноль — это время обеденного перерыва. Значит, обедаем у президента... Он снял трубку внутреннего телефона.

— Амалия, давайте Кехаду.

Дверь отворилась, и вошел Кехада, ведя за собой за рукав спортивного юнца.

— Хочу представить вам, господин советник,— начал он прямо с порога,— вот этого молодого человека... Дуглас Кетчер... Он — новичок, прибыл всего месяц назад, и ему скучно сидеть на одном месте.

— Ну,— сказал Андрей, засмеявшись,— нам всем скучно сидеть на одном месте. Очень рад, Кетчер. Откуда вы родом? Из какого времени?

— Даллас, штат Техас,— неожиданно глубоким басом проговорил юнец, стеснительно улыбаясь.— Шестьдесят третий год.

— Что-нибудь кончали?

— Нормальный колледж. Потом много ходил с геологами. Разведка нефти.

— Отлично,— сказал Андрей.— Это то, что нам нужно.— Он поиграл карандашом.— Вы, возможно, не знаете этого, Кетчер, но у нас здесь принято спрашивать: почему? Вы бежали? Или вы искали приключений? Или вас заинтересовал Эксперимент?..

Дуглас Кетчер насупился, взял в кулак правой руки большой палец левой, посмотрел в окно.

— Можно сказать, что я бежал,— пробубнил он.

— У них там президента застрелили,— пояснил Кехада, утирая лицо платком.— Прямо у него в городе...

— Ах, вот как! — сказал Андрей понимающе.— Вы каким-то образом попали под подозрение?

Юнец замотал головой, а Кехада сказал:

— Нет, не в этом дело. Это длинная история. Они возлагали на этого президента большие надежды, он был у них кумиром... словом — психология.

— Прóклятая страна,— изрек юнец.— Ничто им не поможет.

— Так-так,— сказал Андрей, сочувственно кивая.— Но вы знаете, что Эксперимент мы больше не признаем?

Юнец пожал могучими плечами.

— Мне это все равно. Мне здесь нравится. Только я не люблю сидеть на одном месте. В городе мне скучновато. А мистер Кехада предложил мне пойти в экспедицию...

— Я хочу послать его для начала в группу Сона,— сказал Кехада.— Парень он крепкий, кое-какой опыт у него есть, а найти людей для работы в джунглях вы знаете, как трудно.

— Ну что ж,— сказал Андрей.— Я очень рад, Кетчер. Вы мне нравитесь. Надеюсь, так будет и впредь.

Кетчер неловко кивнул и поднялся. Кехада тоже встал, отдуваясь.

— Еще одно,— сказал Андрей, поднимая палец.— Хочу предупредить вас, Кетчер, Город и Стеклянный Дом заинтересованы в том, чтобы вы учились. Нам не нужны простые исполнители, их у нас хватает. Мы нуждаемся в подготовленных кадрах. Уверен, что из вас может получиться отличный инженер-нефтяник... Как у него с индексом, Кехада?

— Восемьдесят семь,— сказал Кехада, ухмыляясь.

— Ну, вот видите... У меня есть основания быть уверенным в вас.

— Постараюсь,— буркнул Дуглас Кетчер и посмотрел на Кехаду.

— У нас все,— сказал Кехада.

— У меня тоже все,— сказал Андрей.— Всего наилучшего... И запустите ко мне Варейкиса.

Как обычно, Варейкис не вошел, а вдвинулся в кабинет по частям, то и дело оглядываясь в щель приоткрытой двери. Потом он плотно закрыл дверь, неслышно подковылял к столу и сел. Скорбь на его лице обозначилась яснее, углы губ совсем опустились.

— Чтобы не забыть,— сказал Андрей.— Тут была эта баба из финансового управления...

— Знаю,— тихо сказал Варейкис.— Дочка.

— Да. Так вот, я не возражаю.

— К Кехаде,— не то спросил, не то приговорил Варейкис.

— Нет, думаю, лучше к расчетчикам.

— Хорошо,— сказал Варейкис и вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот.— Инструкция ноль-семнадцать,— сказал он совсем тихо.

— Да?

— Закончен очередной конкурс,— так же тихо сказал Варейкис.— Выявлено восемь сотрудников с индексом интеллигентности ниже положенных семидесяти пяти.

— Почему семидесяти пяти? По инструкции предельный индекс шестьдесят семь.

— Согласно разъяснению личной канцелярии президента по кадрам,— губы Варейкиса едва шевелились,— предельный индекс интеллигентности для сотрудников личной канцелярии президента по науке и технике составляет семьдесят пять.

— Ах, вот как...— Андрей почесал темя.— Гм... Ну что ж, это логично.

— Кроме того,— продолжал Варейкис,— пятеро из этих восьми не дотягивают и до шестидесяти семи. Вот список.

Андрей взял список, просмотрел. Полузнакомые имена и фамилии, двое мужчин и шестеро женщин...

— Позвольте,— сказал он, нахмурившись.— Амалия Торн... Это же моя Амалия! Что еще за фокусы?

— Пятьдесят восемь,— сказал Варейкис.

— А в прошлый раз?

— В прошлый раз меня здесь еще не было.

— Она же секретарь! — сказал Андрей.— Мой. Мой личный секретарь!

Варейкис уныло молчал. Андрей еще раз проглядел список. Рашидов... Это, кажется, геодезист... Кто-то его хвалил. Или ругал?.. Татьяна Постник. Оператор. А, это такая с кудряшками, милая такая мордашка, что-то у нее с Кехадой было... хотя нет, это другая...

— Ладно,— сказал он.— С этим я разберусь, и мы еще поговорим. Хорошо, если бы вы по своей линии запросили разъяснений по поводу таких должностей, как секретарша, оператор... по поводу вспомогательного персонала. Не можем же мы предъявлять к ним такие же требования, как к научным сотрудникам. В конце концов, у нас и курьеры числятся...

— Слушаю,— сказал Варейкис.

— Что-нибудь еще? — спросил Андрей.

— Да. Инструкция ноль-ноль-три.

Андрей сморщился.

— Не помню.

— Пропаганда Эксперимента.

— А,— сказал Андрей.— Ну?

— Имеют место систематические сигналы по поводу следующих лиц.

Варейкис положил перед Андреем еще один листок бумаги. В списке было всего три фамилии. Все мужчины. Все трое — начальники секторов. Основных. Космографии, социальной психологии и геодезии. Салливен, Бутц и Кехада. Андрей побарабанил пальцами по списку. Экая напасть, подумал он. Опять двадцать пять за рыбу деньги. Впрочем, спокойствие. Не будем зарываться. Эту дубину все равно ничем не прошибешь, а мне с ним еще работать и работать...

— Неприятно,— произнес он.— Очень неприятно. Полагаю, информация проверена? Ошибок нет?

— Перекрестная и неоднократно подтвердившаяся информация,— бесцветным голосом сказал Варейкис.— Салливен утверждает, что Эксперимент над городом продолжается. По его словам, Стеклянный Дом, пусть даже помимо своей воли, продолжает осуществлять линию Эксперимента. Утверждает, что Поворот есть всего лишь один из этапов Эксперимента...

Святые слова, подумал Андрей. Изя то же самое говорит, и Фрицу это очень не нравится. Только Изе разрешается, а Салливену, бедняге, нельзя.

— Кехада,— продолжал Варейкис.— При подчиненных восхищается научно-технической мощью гипотетических экспериментаторов. Принижает ценность деятельности президента и президентского совета. Дважды уподоблял эту деятельность мышиной возне в картонной коробке из-под обуви...

Андрей слушал, опустив глаза. Лицо он держал каменным.

— Наконец, Бутц. Неприязненно отзывается лично о президенте. В нетрезвом виде назвал существующее политическое руководство диктатурой посредственности над кретинами.

Андрей не удержался — крякнул. Черт их за язык тянет, с раздражением подумал он, отталкивая от себя листок. Элита называется — сами себе на голову гадят...

— И все-то вы знаете,— сказал он Варейкису.— И все-то вам известно...

Не надо было этого говорить. Глупо. Варейкис, не мигая, скорбно глядел ему в лицо.

— Прекрасно работаете, Варейкис,— сказал Андрей.— Я за вами как за каменной стеной... Полагаю, эта информация,— он постучал ногтем по листку,— уже переправлена по обычным каналам?

— Будет переправлена сегодня,— сказал Варейкис.— Я был обязан предварительно поставить в известность вас.

— Прекрасно,— бодро сказал Андрей.— Переправляйте.— Он сколол булавкой оба листочка и положил их в синий бювар с надписью «На доклад президенту».— Посмотрим, что решит по этому поводу наш Румер...

— Поскольку информация такого рода поступает не впервые,— сказал Варейкис,— я полагаю, что господин Румер будет рекомендовать снять этих людей с ведущих постов.

Андрей посмотрел на Варейкиса, стараясь сфокусировать глаза где-то подальше за его спиной.

— Вчера я был на просмотре новой картины,— сказал он.— «Голые и боссы». Мы ее одобрили, так что скоро она пойдет широким экраном. Очень, очень советую вам ее посмотреть. Там, знаете ли, так...

Он принялся неторопливо и подробно излагать Варейкису содержание этой чудовищной пошлятины, которая, впрочем, действительно очень понравилась Фрицу, да и не ему одному. Варейкис молча слушал, время от времени кивая в самых неожиданных местах — как бы спохватываясь. Лицо его по-прежнему не выражало ничего, кроме уныния и скорби. Видно было, что он уже давно потерял нить и ничегошеньки не понимает. В самый кульминационный момент, когда до Варейкиса явно дошло, что ему придется выслушать все до самого конца, Андрей прервал себя, откровенно зевнул и сказал благодушно:

— Ну и так далее, в том же духе. Обязательно посмотрите... Кстати, какое впечатление произвел на вас молодой Кетчер?

Варейкис заметно встрепенулся.

— Кетчер? Пока у меня такое впечатление, что с ним все в порядке.

— У меня тоже,— сказал Андрей. Он взялся за телефонную трубку.— У вас есть еще что-нибудь ко мне, Варейкис?

Варейкис поднялся.

— Нет,— сказал он.— Больше ничего. Разрешите идти?

Андрей благосклонно покивал ему и сказал в трубку:

— Амалия, кто там еще?

— Эллизауэр, господин советник.

— Какой еще Эллизауэр? — спросил Андрей, наблюдая, как Варейкис осторожно, по частям выдвигается из кабинета.

— Заместитель начальника транспортного отдела. По поводу темы «Аквамарин».

— Пусть подождет. Принесите почту.

Амалия появилась на пороге через минуту, и всю эту минуту Андрей, покряхтывая, растирал себе бицепсы и шевелил поясницей, все приятно ныло после часа усердной работы с лопатой в руках, и он, как всегда, рассеянно думал, какая это, в сущности, хорошая зарядка для человека, ведущего по преимуществу сидячий образ жизни.

Амалия плотно прикрыла за собой дверь и, простучав по паркету высокими каблуками, остановилась рядом с ним, положив на стол папку с корреспонденцией. Он привычно обнял ее узкие твердые бедра, обтянутые прохладным шелком, похлопал по ляжке, а другой рукой открыл папку.

— Ну-с, что тут у нас? — бодро сказал он.

Амалия так и таяла у него под ладонью, она даже дышать перестала. Смешная девка и верная, как пес. И дело знает. Он посмотрел на нее снизу вверх. Как всегда в минуты ласки, лицо у нее сделалось бледное и испуганное, и когда глаза их встретились, она нерешительно положила узкую горячую ладонь ему на шею под ухом. Пальцы у нее дрожали.

— Ну что, малышка? — сказал он ласково.— Есть в этом хламе что-нибудь важное? Или мы с тобой сейчас запрем дверь и переменим позу?

Это у них было такое кодовое обозначение для развлечений в кресле и на ковре. Про Амалию он никогда не мог бы рассказать, какова она в постели. В постели он с ней ни разу не был.

— Тут проект финансовой сметы...— слабым голоском произнесла Амалия.— Потом всякие заявления... Ну, и личные письма, я их не вскрывала.

— И правильно сделала,— сказал Андрей.— Вдруг там от какой-нибудь красотки...

Он отпустил ее, и она слабо вздохнула.

— Посиди,— сказал он.— Не уходи, я быстро.

Он взял первое попавшееся письмо, разорвал конверт, пробежал, сморщился. Оператор Евсеенко сообщал про своего непосредственного шефа Кехаду, что тот «допускает высказывания в адрес руководства и лично господина советника». Андрей знал этого Евсеенко хорошо. Странный на редкость был человек и на редкость невезучий — несчастный во всех своих начинаниях. В свое время он поразил воображение Андрея, когда хвалил военное время сорок второго года под Ленинградом. «Хорошо тогда было,— говорил он с какой-то даже мечтательностью в голосе.— Живешь, ни о чем не думаешь, а если чего надо — скажешь солдатам, они достанут...» Отвоевался он капитаном и за всю войну убил одного-единственного человека — собственного политрука. Они тогда выходили из окружения, Евсеенко увидел, что политрука взяли немцы и обшаривают ему карманы. Тогда он выпалил в них из-за кустов, убил политрука и убежал. Очень он себя за этот поступок хвалил: они бы его запытали. Ну что с ним, дураком, делать? Шестой донос уже пишет. И ведь не Румеру пишет, не Варейкису, а мне. Забавнейший психологический выверт. Если написать Варейкису или Румеру, Кехаду привлекут. А я Кехаду не трону, все про него знаю, но не трону, потому что ценю и прощаю, это всем известно. Вот и получается, что и гражданский долг вроде бы выполнен, и человека не загубили... Экий урод все-таки, прости господи!..

Андрей смял письмо, выбросил в корзину и взял следующее. Почерк на конверте показался ему знакомым, очень характерный почерк. Обратного адреса не было. Внутри конверта оказался листок бумаги, текст был напечатан на машинке — копия, и не первая,— а внизу была приписка от руки. Андрей прочитал, ничего не понял, перечитал еще раз, похолодел и взглянул на часы. Потом сорвал трубку с белого телефона и набрал номер.

— Советника Румера, срочно! — гаркнул он не своим голосом.

— Советник Румер занят.

— Говорит советник Воронин! Я сказал — срочно!

— Простите, господин советник. Советник Румер у президента...

Андрей швырнул трубку и, отпихнув оторопевшую Амалию, бросился к двери. Уже схватившись за пластмассовую ручку, он понял, что поздно, все равно уже не успеть. Если все это правда, конечно. Если это не идиотский розыгрыш...

Он медленно подошел к окну, взялся за обшитый бархатом поручень и стал смотреть на площадь. Там было пусто, как всегда. Маячили голубые мундиры, в тени под деревьями торчали зеваки, старушка проковыляла, толкая перед собой детскую коляску. Проехал автомобиль. Андрей ждал, вцепившись в поручень.

Амалия подошла к нему сзади, тихонько коснулась плеча.

— Что случилось? — спросила она шепотом.

— Отойди,— сказал он, не оборачиваясь.— Сядь в кресло.

Амалия исчезла. Андрей снова поглядел на часы. На его часах уже прошла лишняя минута. Конечно, подумал он. Не может быть. Идиотский розыгрыш. Или шантаж... И в этот момент из-под деревьев появился и неторопливо двинулся через площадь какой-то человек. Он казался совсем маленьким с этой высоты и с этого расстояния, и Андрей не узнавал его. Он помнил, что тот был худощавый и стройный, а этот выглядел грузным, разбухшим, и только в самую последнюю минуту до Андрея дошло — почему. Он зажмурился и попятился от окна.

На площади грохнуло — гулко и коротко. Дрогнули и задребезжали рамы, и сейчас же где-то внизу с раздражающим дребезгом посыпались стекла. Задавленно вскрикнула Амалия, а на площади внизу завопили истошными голосами...

Отстраняя одной рукой рвущуюся не то к нему, не то к окну Амалию, Андрей заставил себя открыть глаза и смотреть. Там, где был человек, стоял желтоватый столб дыма, и за дымом ничего не было видно. Со всех сторон к этому

месту бежали голубые мундиры, а поодаль, под деревьями, быстро росла толпа. Все было кончено.

Андрей, не чувствуя ног, вернулся к столу, сел и снова взял письмо.

«Всем сильным ублюдочного мира сего!

Я ненавижу ложь, но правда ваша еще хуже лжи. Вы превратили Город в благоустроенный хлев, а граждан Города — в сытых свиней. Я не хочу быть сытой свиньей, но я не хочу быть и свинопасом, а третьего в вашем чавкающем мире не дано. В своей правоте вы самодовольны и бездарны, хотя когда-то многие из вас были настоящими людьми. Есть среди вас и мои бывшие друзья, к ним я обращаюсь в первую очередь. Слова не действуют на вас, и я подкрепляю их своей смертью. Может быть, вам станет стыдно, может быть — страшно, а может быть — просто неуютно в вашем хлеву. Это все, на что мне осталось надеяться. Господь да покарает вашу скуку! Это не мои слова, но я под ними с восторгом подписываюсь — Денни Ли».

Все это было напечатано на машинке, под копирку, третья или даже четвертая копия. А ниже шла приписка от руки:

«Милый Воронин, прощай! Я взорвусь сегодня в тринадцать ноль-ноль на площади перед Стеклянным Домом. Если письмо не опоздает, можешь посмотреть, как это произойдет, но не надо мне мешать — будут только лишние жертвы. Твой бывший друг и заведующий отделом писем твоей бывшей газеты — Денни».

Андрей поднял глаза и увидел Амалию.

— Помнишь Денни? — сказал он.— Денни Ли, завписьмами...

Амалия молча кивнула, потом лицо ее вдруг словно скомкало ужасом.

— Не может быть! — сказала она хрипло.— Неправда...

— Взорвался...— сказал Андрей, с трудом шевеля губами.— Динамитом, наверное, обвязался. Под пиджаком.

— Зачем? — сказала Амалия. Она закусила губу, глаза ее налились слезами, слезы побежали по маленькому белому лицу, повисли на подбородке.

— Не понимаю,— сказал Андрей беспомощно.— Ничего не понимаю...— Он бессмысленно уставился в письмо.— Виделись же недавно... Ну, ругались, ну, спорили...— Он снова посмотрел на Амалию.— Может, он приходил ко мне на прием? Может, я его не принял?

Амалия, закрыв лицо руками, трясла головой.

И вдруг Андрей почувствовал злость. Даже не злость, а бешеное раздражение, какое испытал сегодня в раздевалке после душа. Какого дьявола! Какого еще им рожна?! Чего им не хватает, этой швали?.. Идиот! Что он этим доказал? Свиньей он не хочет быть, свинопасом он не хочет быть... Скучно ему! Ну и катись к такой матери со своей скукой!..

— Перестань реветь! — заорал он на Амалию.— Вытри сопли и ступай к себе.

Он отшвырнул от себя бумаги, вскочил и снова подошел к окну.

На площади чернела огромная толпа. В центре этой толпы было пустое серое пространство, оцепленное голубыми мундирами, и там копошились люди в белых халатах. Карета «скорой помощи» надрывно завывала сиреной, пытаясь расчистить себе дорогу...

...Ну и что же ты все-таки доказал? Что не хочешь с нами жить? А зачем это было доказывать и кому? Что ненавидишь нас? Зря. Мы делаем все, что нужно. Мы не виноваты, что они свиньи. Они были свиньями и до нас, и после нас они останутся свиньями. Мы можем только накормить их и одеть, и избавить от животных страданий, а духовных страданий у них сроду не было и быть не может. Что мы — мало сделали для них? Посмотри, каким стал город. Чистота, порядок, прошлого бардака и в помине нет, жратвы — вволю, тряпок — вволю, скоро и зрелищ будет вволю, дай только срок,— а что им еще нужно?.. А ты, ты что сделал? Вот отскребут сейчас санитары кишки твои от асфальта — вот и все твои дела... А нам работать и работать, целую махину ворочать, потому что все, чего мы пока добились, это только начало, это все еще нужно сохранить, милый мой, а сохранивши — приумножить... Потому что на Земле, может быть, и нет над людьми ни Бога, ни дьявола, а здесь — есть... Демократ ты вонючий, народник-угодник, брат моих братьев..

Но перед глазами у него все стоял Денни, каким он был в последнюю их встречу, месяц или два назад,— усохший весь какой-то, замученный, словно больной, и тайный какой-то ужас прятался в его потухших печальных глазах,— и как он сказал в самом конце беспорядочного и бестолкового спора, уже поднявшись и бросив на серебряное блюдечко смятые бумажки: «Господи, ну чего ты расхвастался передо мной? Живот он кладет на алтарь... Для чего? Людей накормить от пуза! Да разве же это задача? В задрипанной Дании это уже умеют делать много лет. Ладно, пусть я не имею права, как ты выражаешься, распинаться от имени всех. Пусть не все, но мы-то с тобой точно знаем, что людям не это надо, что по-настоящему нового мира так не построишь!..» «А как же, мать твою туда и сюда, его строить? Как?!» — заорал тогда Андрей, но Денни только махнул рукой и не стал больше разговаривать.

Зазвонил белый телефон. Андрей нехотя вернулся к столу и взял трубку.

— Андрей? Это Гейгер говорит.

— Здравствуй, Фриц.

— Ты его знал?

— Да.

— И что ты об этом думаешь?

— Истерик,— сказал Андрей сквозь зубы.— Слякоть.

Гейгер помолчал.

— Письмо ты получил от него?

— Да.

— Странный человек,— сказал Гейгер.— Ну ладно. Жду тебя к двум.

Андрей положил трубку, и телефон зазвонил снова. На этот раз звонила Сельма. Она была очень встревожена. Слух о взрыве уже докатился до Белого Двора, по дороге, разумеется, исказился до неузнаваемости, и теперь на Белом Дворе царила тихая паника.

— Да цело, цело все,— сказал Андрей.— И я цел, и Гейгер цел, и Стеклянный Дом цел... Ты Румеру звонила?

— Какой, к черту, Румер? — возмутилась Сельма.— Я без памяти из салона прибежала — Дольфюсиха туда

ворвалась, вся белая, штукатурка сыплется, и вопит, что на Гейгера было покушение и полдома снесло...

— Ну ладно,— сказал Андрей нетерпеливо.— Мне некогда.

— Ты можешь мне сказать, что произошло?

— Один маньяк...— Андрей остановился, спохватившись.— Болван какой-то тащил взрывчатку через площадь и уронил, наверное.

— Это точно не покушение? — настойчиво спросила Сельма.

— Да не знаю я! Румер этим занимается, а я ничего не знаю!

Сельма подышала в трубку.

— Врешь ты все, наверное, господин советник,— сказала она и дала отбой.

Андрей обогнул стол и вернулся к окну. Толпа уже почти рассосалась. Санитаров не было, «скорой помощи» — тоже. Несколько полицейских поливали из брандспойтов пространство вокруг неглубокой выщерблины в бетоне. И ковыляла в обратном направлении старуха, толкая перед собой коляску с младенцем. И все.

Он подошел к двери и выглянул в приемную. Амалия была на своем месте — строгая, с поджатыми губами, совершенно неприступная — пальцы с обычной бешеной скоростью порхают по клавишам, на лице — никаких следов слез, соплей и прочих эмоций. Андрей смотрел на нее с нежностью. Молодец баба, подумал он. Хрен тебе, сказал он Варейкису с огромным злорадством. Я скорее уж тебя отсюда вышибу к чертовой матери... Амалию вдруг заслонили. Андрей поднял глаза. На нечеловеческой высоте над ним искательно маячила сплющенная с боков физиономия Эллизауэра из транспортного.

— А,— сказал Андрей.— Эллизауэр... Извините, я вас сегодня не приму. Завтра с утра, пожалуйста.

Не говоря ни слова, Эллизауэр переломился пополам в поклоне и исчез. Амалия уже стояла с блокнотом и карандашом наготове.

— Господин советник?

— Зайдите на минутку,— сказал Андрей.

Он вернулся к столу, и сейчас же снова зазвонил белый телефон.

— Воронин? — проговорил гнусавый прокуренный голос.— Румер тебя беспокоит. Ну, как ты там?

— Прекрасно,— сказал Андрей, показывая Амалии рукой: не уходи, мол, я сейчас.

— Жена как?

— Все хорошо, привет тебе передавала. Кстати, пошли к ней сегодня двоих из отдела обслуживания, там по хозяйству надо...

— Двоих? Ладно. Куда?

— Пусть ей позвонят, она скажет. Пусть сейчас прямо и позвонят.

— Ладно,— сказал Румер.— Сделаю. Не сразу, может быть, но сделаю... Я тут, понимаешь, совсем с этим барахлом зашился. Официальную версию знаешь?

— Откуда? — сердито сказал Андрей.

— В общем, так. Несчастный случай со взрывчаткой. При переносе взрывчатых веществ. Во время транспортировки. Подробности выясняются.

— Понял.

— Шел, значит, какой-то работяга-взрывник, ну и нес эту взрывчатку... Или, скажем, ее вез куда-то там... Пьяный.

— Да понял, понял я,— сказал Андрей.— Правильно. Молодец.

— Ага,— сказал Румер.— Ну там споткнулся он или... В общем, подробности выясняются. Виновные будут наказаны. Информашку сейчас размножат и тебе принесут. Ты только вот что. Письмо ты ведь получил? Кто его у тебя там читал?

— Никто.

— А секретарь?

— Я тебе говорю: никто. Личные письма я всегда вскрываю сам.

— Правильно,— сказал Румер с одобрением.— Это у тебя правильно поставлено. А то у некоторых, понимаешь, такой кабак развели с письмами... Кто попало читает... Значит, у тебя никто не читал. Это хорошо. Ты его спрячь хорошенько, это письмо,— по форме два

нуля. Там к тебе сейчас зайдет один мой холуек, так ты ему отдай, ладно?

— Это зачем? — спросил Андрей.

Румер затруднился.

— Да ведь как сказать...— промямлил он.— Может, и пригодится... Ты его, вроде бы, знал?..

— Кого?

— Ну, этого...— Румер хихикнул.— Работягу этого... со взрывчаткой...

— Знал.

— Ну, по телефону мы с тобой не будем, а этот холуек мой, он задаст тебе пару вопросов, ты уж ему ответь.

— Некогда мне с ним,— сказал Андрей сердито.— Меня Фриц к себе вызвал.

— Да ну, пять минут,— заныл Румер,— ну чего тебе стоит, ей-богу... На два вопроса ответить уже не можешь...

— Ну ладно, ладно,— нетерпеливо сказал Андрей.— У тебя все?

— Я ведь его к тебе уже направил, через минуту у тебя будет. Цвирик его фамилия. Старший адъютор...

— Ну хорошо, хорошо, договорились.

— Два вопроса всего. Не задержит он тебя...

— У тебя все? — снова спросил Андрей.

— Все. Мне тут еще других советников обзвонить надо.

— Ты вот людей к Сельме не забудь направить.

— Да не забуду. Я тут у себя записал. Пока.

Андрей повесил трубку и сказал Амалии:

— Имей в виду, ты ничего не видела и не слышала.

Амалия испуганно взглянула на него и молча ткнула пальцем в сторону окна.

— Вот именно,— сказал Андрей.— Не знаешь никаких имен и не знаешь, что вообще произошло...

Дверь приотворилась, и в кабинет просунулась смутно знакомая бледная физиономия с кислыми глазками.

— Подождите! — резко сказал Андрей.— Я вас вызову.

Физиономия исчезла.

— Поняла? — сказал Андрей.— За окном грохнуло, и больше ты ничего не знаешь. Официальная версия такая: шел пьяный работяга, нес взрывчатку со склада, виновные

выясняются.— Он помолчал раздумывая.— Где я эту харю видел? И фамилия знакомая... Цвирик... Цвирик...

— Зачем же он это сделал? — тихо спросила Амалия. Глаза у нее снова подозрительно увлажнились.

Андрей нахмурился.

— Давай-ка сейчас не будем об этом. Потом. Иди позови сюда этого холуя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда они уселись за стол, Гейгер сказал Изе:

— Угощайся, мой еврей. Угощайся, мой славный.

— Я не твой еврей,— возразил Изя, наваливая себе на тарелку салат.— Я тебе сто раз уже говорил, что я — свой собственный еврей. Вот твой еврей,— он ткнул вилкой в сторону Андрея.

— А томатного сока нет? — спросил брюзгливо Андрей, оглядывая стол.

— Хочешь томатного? — спросил Гейгер.— Паркер! Томатный сок господину советнику!

В дверях столовой возник рослый румяный мóлодец — личный адъютант президента,— малиново позванивая шпорами, приблизился к столу и с легким поклоном поставил перед Андреем запотевший графинчик с томатным соком.

— Спасибо, Паркер,— сказал Андрей.— Ничего, я сам налью.

Гейгер кивнул, и Паркера не стало.

— Дрессировочка! — прошамкал Изя набитым ртом.

— Славный парнишка,— сказал Андрей.

— А вот у Манджуро за обедом водку подают,— сказал Изя.

— Стукач! — сказал ему Гейгер с упреком.

— Почему это? — удивился Изя.

— Если Манджуро в рабочее время жрет водку, я должен его наказать.

— Всех не перестреляешь,— сказал Изя.

— Смертная казнь отменена,— сказал Гейгер.— Впрочем, точно не помню. Надо у Чачуа спросить...

— А что случилось с предшественником Чачуа? — невинно осведомился Изя.

— Это была чистая случайность,— сказал Гейгер.— Перестрелка.

— Между прочим, отличный был работник,— заметил Андрей.— Чачуа свое дело знает, но шеф!.. Это был феноменальный человек.

— Н-да, наломали мы тогда дров...— сказал Гейгер задумчиво.— Молодо-зелено...

— Все хорошо, что хорошо кончается,— сказал Андрей.

— Еще ничего не кончилось! — возразил Изя.— Откуда вы взяли, что все уже кончилось?

— Ну, пальба-то, во всяком случае, кончилась,— проворчал Андрей.

— Настоящая пальба еще и не начиналась,— объявил Изя.— Слушай, Фриц, на тебя были покушения?

Гейгер нахмурился.

— Что за идиотская мысль? Конечно, нет.

— Будут,— пообещал Изя.

— Спасибо,— сказал Гейгер холодно.

— Будут покушения,— продолжал Изя,— будет взрыв наркомании. Будут сытые бунты. Хиппи уже появились, я о них и не говорю. Будут самоубийства протеста, самосожжения, самовзрывания... Впрочем, они уже есть.

Гейгер и Андрей переглянулись.

— Пожалуйста,— сказал Андрей с досадой.— Уже знает.

— Интересно, откуда? — проговорил Гейгер, рассматривая Изю прищуренными глазами.

— Что я знаю? — спросил Изя быстро. Он положил вилку.— Погодите-ка!.. А! Так, значит, это было самоубийство протеста? То-то я думаю — что за бред собачий? Взрывники какие-то пьяные с динамитом шляются... Вот оно что! А я, честно говоря, вообразил, что это — попытка покушения... Понятно... А кто это был на самом деле?

— Некто Денни Ли,— сказал Гейгер, помолчав.— Андрей его знал.

— Ли...— задумчиво проговорил Изя, рассеянно растирая по лацкану пиджака брызги майонеза.— Денни Ли... Подожди, он такой тощий... Журналист?

— Ты его тоже знал,— сказал Андрей.— Помнишь, у меня в газете...

— Да-да-да! — воскликнул Изя.— Правильно! Вспомнил.

— Только ради бога, держи язык за зубами,— сказал Гейгер.

Изя с обычной своей окаменевшей улыбкой взялся за бородавку на шее.

— Вот это, значит, кто...— бормотал он.— Понятно... Понятно... Обложился, значит, взрывчаткой и вышел на площадь... Письма, наверное, разослал по всем газетам, чудак... Так-так-так... И что ты теперь намерен предпринять? — обратился он к Гейгеру.

— Я уже предпринял,— сказал Гейгер.

— Ну да, ну да! — нетерпеливо сказал Изя.— Все засекретил, дал официальное вранье, Румера спустил с цепи,— я не об этом. Что ты вообще об этом думаешь? Или ты полагаешь, что это случайность?

— Н-нет. Я не полагаю, что это случайность,— медленно сказал Гейгер.

— Слава богу! — воскликнул Изя.

— А ты что думаешь? — спросил его Андрей.

Изя быстро повернулся к нему.

— А ты?

— Я думаю, что во всяком порядочном обществе должны существовать свои маньяки. Денни был маньяк, это совершенно точно. У него был явный сдвиг на почве философии. И в городе, он, конечно, не один такой...

— А что он говорил? — жадно спросил Изя.

— Он говорил, что ему скучно. Он говорил, что мы не нашли настоящую цель. Он говорил, что вся наша работа по повышению уровня жизни — чепуха и ничего не решает. Он много чего говорил, а сам ничего путного предложить не мог. Маньяк. Истерик.

— А чего бы он, все-таки, хотел? — спросил Гейгер.

Андрей махнул рукой.

— Обычная народническая чушь. «Вынесет все и широкую, ясную...»

— Не понимаю,— сказал Гейгер.

— Ну, он полагал, что задача просвещенных людей — поднимать народ до своего просвещенного уровня. Но как за это взяться, он, конечно, не знал.

— И поэтому убил себя?..— с сомнением сказал Гейгер.

— Я же тебе говорю — маньяк.

— А твое мнение? — спросил Гейгер Изю.

Изя не задумался ни на секунду.

— Если маньяком,— сказал он,— называть человека, который бьется над неразрешимой проблемой,— тогда да, он был маньяк. И ты,— Изя ткнул пальцем в Гейгера,— его не поймешь. Ты относишься к людям, которые берутся только за разрешимые проблемы.

— Положим,— сказал Андрей,— Денни был совершенно уверен, что его проблема разрешима.

Изя отмахнулся от него.

— Вы оба ни черта не понимаете,— объявил он.— Вот вы полагаете себя технократами и элитой. Демократ у вас — слово ругательное. Всяк сверчок да познает приличествующий ему шесток. Вы ужасно презираете широкую массу и ужасно гордитесь этим своим презрением. А на самом деле — вы настоящие, стопроцентные рабы этой массы! Все, что вы ни делаете, вы делаете для массы. Все, над чем вы ломаете голову, все это нужно в первую очередь именно массе. Вы живете для массы. Если бы масса исчезла, вы потеряли бы смысл жизни. Вы жалкие, убогие прикладники. И именно поэтому из вас никогда не получится маньяков. Ведь все, что нужно широкой массе, раздобыть сравнительно нетрудно. Поэтому все ваши задачи — это задачи, заведомо разрешимые. Вы никогда не поймете людей, которые кончают с собой в знак протеста...

— Почему это мы не поймем? — с раздражением возразил Андрей.— Что тут, собственно, понимать? Конечно, мы делаем то, чего хочет подавляющее большинство. И мы этому большинству даем или стараемся дать все, кроме птичьего молока, которое, кстати, этому большинству и не требуется. Но всегда есть ничтожное меньшинство, которому нужно именно птичье молоко. Идея-фикс, понимаете ли, у них. Идея-бзик. Подавай им именно птичье молоко! Просто потому, что именно птичьего молока достать нельзя. Вот так и появляются социальные маньяки. Чего тут не понять? Или

ты, действительно, считаешь, что все это быдло можно поднять до элитарного уровня?

— Не обо мне речь,— сказал Изя, осклабляясь.— Я-то себя рабом большинства, сиречь слугой народа, не считаю. Я никогда на него не работал и не считаю себя ему обязанным...

— Хорошо, хорошо,— сказал Гейгер.— Всем известно, что ты сам по себе. Вернемся к нашим самоубийствам. Ты полагаешь, значит, самоубийства будут, какую бы политику мы ни проводили?

— Они будут именно потому, что вы проводите вполне определенную политику! — сказал Изя.— И чем дальше, тем больше, потому что вы отнимаете у людей заботу о хлебе насущном и ничего не даете им взамен. Людям становится тошно и скучно. Поэтому будут самоубийства, наркомания, сексуальные революции, дурацкие бунты из-за выеденного яйца...

— Да что ты несешь! — сказал Андрей с сердцем.— Ты подумай, что ты несешь, экспериментатор ты вшивый! «Перчику ему в жизнь, перчику!» Так что ли? Искусственные недостатки предлагаешь создавать? Ты подумай, что у тебя получается!..

— Это не у меня получается,— сказал Изя, протягивая через весь стол искалеченную руку, чтобы взять кастрюльку с соусом.— Это у тебя получается. А вот то, что вы взамен ничего не сможете дать, это факт. Великие стройки ваши — чушь. Эксперимент над экспериментаторами — бред, всем на это наплевать... И перестаньте на меня бросаться, я же не в осуждение вам говорю. Просто таково положение вещей. Такова судьба любого народника — рядится ли он в тогу технократа-благодетеля, или он тщится утвердить в народе некие идеалы, без которых, по его мнению, народ жить не может... Две стороны одного медяка — орел или решка. В итоге — либо голодный бунт, либо сытый бунт — выбирайте по вкусу. Вы выбрали сытый бунт — и благо вам, чего же на меня-то набрасываться?

— Соус на скатерть не лей,— сердито сказал Гейгер.

— Пардон...— Изя рассеянно растер лужу по скатерти салфеткой.— Это же арифметически ясно,— сказал он.— Пусть недовольные составляют только один процент. Если в

городе миллион человек — значит, десять тысяч недовольных. Пусть даже десятая процента — тысяча недовольных. Как начнет эта тысяча шуметь под окнами!.. А потом, заметьте, вполне довольных ведь не бывает. Это только вполне недовольные бывают. А так ведь каждому чего-нибудь да не хватает. Всем он, понимаешь, доволен, а вот автомобиля у него нет. Почему? Он, понимаешь, на Земле привык к автомобилю, а здесь у него нет и, главное, не предвидится... Представляете, сколько таких в Городе?

Изя прервал себя и принялся жадно поедать макароны, обильно заливая их соусом.

— Вкусная у вас жратва,— сказал он.— При моих достатках только в Стеклянном Доме и пожрешь по-настоящему...

Андрей посмотрел, как он жрет, фыркнул и налил себе томатного сока. Выпил, закурил сигарету. Вечно у него апокалипсис получается... Семь чаш гнева и семь последних язв...

Быдло есть быдло. Конечно, оно будет бунтовать, на то мы и Румера держим. Правда, бунт сытых — это что-то новенькое, что-то вроде парадокса. На Земле такого, пожалуй, еще не бывало. По крайней мере — при мне. И у классиков ничего об этом не говорится... А бунт есть бунт... Эксперимент есть Эксперимент, футбол есть футбол... Тьфу!

Он посмотрел на Гейгера. Фриц, откинувшись в кресле, рассеянно и в то же время старательно ковырял пальцем в зубах, и Андрея вдруг ошеломила простая и страшная в своей простоте мысль: ведь это всего-навсего унтер-офицер вермахта, солдафон, недоучка, десяти порядочных книжек за всю свою жизнь не прочитал, а ведь ему — решать!.. Мне, между прочим, тоже решать, подумал он.

— В нашей ситуации,— сказал он Изе,— у порядочного человека просто нет выбора. Люди голодали, люди были замордованы, испытывали страх и физические мучения — дети, старики, женщины... Это же был наш долг — создать приличные условия существования...

— Ну, правильно, правильно,— сказал Изя.— Я все понимаю. Вами двигали жалость, милосердие и тэ-дэ, и тэ-пэ.

Я же не об этом. Жалеть женщин и детей, плачущих от голода,— это нетрудно, это всякий умеет. А вот сумеете вы пожалеть здоровенного сытого мужика с таким вот,— Изя показал,— половым органом? Изнывающего от скуки мужика? Денни Ли, по-видимому, умел, а вы сумеете? Или сразу его — в нагайки?..

Он замолчал, потому что в столовую вошел румяный Паркер в сопровождении двух хорошеньких девушек в белых передничках. Со стола убрали и подали кофе и сбитые сливки. Изя сейчас же ими вымазался и принялся облизываться, как кот, до ушей.

— И вообще, знаете, что мне кажется? — задумчиво проговорил он.— Как только общество решит какую-нибудь свою проблему, сейчас же перед ним встает новая проблема таких же масштабов... нет, еще больших масштабов.— Он оживился.— Отсюда, между прочим, следует одна интересная штука. В конце концов перед обществом встанут проблемы такой сложности, что разрешить их будет уже не в силах человеческих. И тогда так называемый прогресс остановится.

— Ерунда,— сказал Андрей.— Человечество не ставит перед собой проблем, которые оно не способно решить.

— А я и не говорю о проблемах, которые человечество перед собой ставит,— возразил Изя.— Я говорю о проблемах, которые перед человечеством встают. Сами встают. Проблему голода человечество перед собой не ставило. Оно просто голодало...

— Ну, поехали! — сказал Гейгер.— Хватит. Повело блудословить. Можно подумать, у нас никаких дел нет, только языком трепать.

— А какие у нас дела? — удивился Изя.— У меня, например, сейчас обеденный перерыв...

— Как хочешь,— сказал Гейгер.— Я хотел поговорить о твоей экспедиции. Но можно, конечно, и отложить.

Изя замер с кофейником в руке.

— Позволь,— сказал он строго.— Зачем же откладывать? Откладывать не надо, сколько раз уже откладывали...

— Ну, а чего вы треплетесь? — сказал Гейгер.— Уши вянут вас слушать.

— Это какая экспедиция? — спросил Андрей.— За архивами, что ли?

— Великая экспедиция на север! — провозгласил Изя, но Гейгер остановил его, подняв большую белую ладонь.

— Это предварительный разговор,— сказал он.— Но решение об экспедиции я уже принял, средства выделены. Транспорт будет готов месяца через три-четыре. А сейчас надо наметить самые общие цели и программу.

— То есть, экспедиция будет комплексная? — спросил Андрей.

— Да. Изя получит свои архивы, а ты получишь свои наблюдения солнца и что там еще тебе нужно...

— Слава богу! — сказал Андрей.— Наконец-то.

— Но у вас будет, по крайней мере, еще одна цель,— сказал Гейгер.— Дальняя разведка. Экспедиция должна проникнуть на север очень глубоко. Как можно глубже. Насколько хватит горючего и воды. Поэтому людей в группу надо подобрать специальным образом, с большим пристрастием. Только добровольцев и только самых лучших из добровольцев. Никто толком не знает, что там может быть — на севере. Вполне возможно, что вам придется не только искать бумажки и глядеть в ваши трубы, но и стрелять, садиться в осаду, прорываться и так далее. Поэтому в группе будут военные. Кто и сколько — это мы еще уточним...

— Ох, как можно меньше! — сказал Андрей, морщась.— Знаю я твоих военных, работать же будет невыносимо...— Он с досадой отодвинул чашку.— И вообще я не понимаю. Не понимаю, зачем военные. Не понимаю, какая там может быть перестрелка... Там же пустыня, развалины — откуда перестрелка?

— Там, братец, все может быть,— сказал Изя весело.

— Что значит — все? Может быть, там бесы кишмя кишат, так что же нам — попов прикажешь с собой брать?

— Может быть, мне все-таки дадут высказаться до конца? — спросил Гейгер.

— Высказывайся,— проговорил Андрей расстроенно.

Всегда вот так, думал он. Как с обезьяньей лапкой. Уж если и исполнится желание, так с таким привеском, что лучше бы уж и не исполнялось совсем. Ну, нет, черта с два.

Я эту экспедицию господам офицерам не отдам. Глава экспедиции — Кехада. Глава научной части и всей группы. А иначе идите к чертовой матери, не будет вам никакой космографии, и пусть ваши фельдфебели одним Изей командуют. Экспедиция — научная, значит, во главе — ученый... Тут он вспомнил, что Кехада неблагонадежен, и это воспоминание так его разозлило, что он пропустил часть того, что говорил Гейгер.

— Что-что? — спросил он, встрепенувшись.

— Я тебя спрашиваю: на каком расстоянии от города может быть конец мира?

— Точнее — начало,— вставил Изя.

Андрей сердито пожал плечами.

— Ты мои докладные, вообще, читаешь? — спросил он у Гейгера.

— Читаю,— сказал Гейгер.— Там у тебя говорится, что при удалении на север солнце будет склоняться к горизонту. Очевидно, что где-то далеко на севере оно сядет на горизонт и вообще скроется из виду. Так вот я тебя и спрашиваю: как далеко до этого места,— ты можешь сказать?

— Не читаешь ты моих докладных,— сказал Андрей.— Если бы ты их читал, ты бы понял, что я всю эту экспедицию затеваю именно для того, чтобы выяснить, где это самое начало мира.

— Это я понял,— терпеливо сказал Гейгер.— Я тебя спрашиваю: приближенно. Хотя бы приближенно можешь ты мне назвать это расстояние? Сколько это — тысяча километров? Сто тысяч? Миллион?.. Мы устанавливаем цель экспедиции, понимаешь? Если эта цель на расстоянии миллион километров, то это уже и не цель. А если...

— Ясно, ясно,— сказал Андрей.— Так бы и говорил. Значит, так... Тут вся трудность в том, что мы не знаем ни кривизны мира, ни расстояния до солнца. Если бы у нас было много наблюдений вдоль всей линии города — понимаешь? — не нынешнего города, а от начала до конца,— тогда мы могли бы определить эти величины. Большая дуга нужна, понимаешь? По крайней мере — несколько сотен километров. А у нас весь материал на дуге в пятьдесят километров. Поэтому и точность ничтожная.

— Дай мне самый минимум и самый максимум,— сказал Гейгер.

— Максимум — бесконечность,— сказал Андрей.— Это если мир плоский. А минимум — порядка тысячи километров.

— Дармоеды вы,— сказал Гейгер с отвращением.— Сколько я в вас денег всадил, а толку от вас...

— Ты это брось,— сказал Андрей.— Я у тебя два года добиваюсь экспедиции. Хочешь знать, в каком мире ты живешь,— деньги давай, транспорт давай, людей... Иначе ничего не будет. Нам и всего-то нужна дуга километров в пятьсот. Промерим гравитацию, изменение яркости, изменение по высоте...

— Хорошо,— прервал его Гейгер.— Не будем сейчас об этом говорить. Это детали. Вы только уясните себе, что одна из целей экспедиции — добраться до начала мира. Уяснили?

— Уяснили,— сказал Андрей.— Но зачем это тебе надо — непонятно.

— Я хочу знать, что там есть,— сказал Гейгер.— А там есть что-то. Что-то такое, от чего многое может зависеть.

— Например? — спросил Андрей.

— Например, Антигород.

Андрей фыркнул.

— Антигород... Ты что, до сих пор в него веришь?

Гейгер поднялся и, заложив руки за спину, прошелся по столовой.

— Веришь, не веришь...— сказал он.— Я должен знать точно: существует он или не существует.

— Лично мне,— сказал Андрей,— давным-давно уже стало ясно, что Антигород — это просто выдумка старого руководства...

— Вроде Красного Здания,— тихонько сказал Изя, хихикнув.

Андрей нахмурился.

— Красное Здание здесь ни при чем. Гейгер и сам утверждал, что старое руководство готовило военную диктатуру, ему нужна была угроза извне — вот вам и Антигород.

Гейгер остановился перед ним.

— А почему ты, собственно, так протестуешь против похода до самого конца? Неужели тебе самому нисколько не

любопытно, что там может быть? Вот дал мне господь советников!

— Да ничего там нет! — сказал Андрей, несколько, впрочем, потерявшись.— Холодина там, вечная ночь, ледяная пустыня... Обратная сторона Луны, понимаешь?

— Я располагаю другими сведениями,— сказал Гейгер.— Антигород существует. Никакой там ледяной пустыни нет, а если она и есть, то ее можно пройти. Там город, такой же, как у нас, но что там происходит, мы не знаем, и чего они там хотят — мы тоже не знаем. А вот рассказывают, например, что у них там все наоборот. Когда у нас хорошо — у них там плохо...— Он оборвал себя и снова заходил по столовой.

— Господи,— сказал Андрей.— Что за бред?..

Он взглянул на Изю и осекся. Изя сидел, закинув руку за спинку кресла, галстук у него съехал под ухо, а сам он масляно сиял и победно глядел на Андрея.

— Понятно,— сказал Андрей.— Можно узнать, из каких источников у тебя эти сведения? — спросил он Изю.

— Все из тех же, душа моя,— сказал Изя.— История — великая наука. А в нашем городе она умеет особенно много гитик. Ведь чем, кроме всего прочего, хорош наш город? Архивы в нем почему-то не уничтожаются! Войн нет, нашествий нет, что написано пером, не вырубают топором...

— Архивы твои...— сказал Андрей с досадой.

— Не скажи! Вот Фриц не даст соврать — кто уголь нашел? Триста тысяч тонн угля в подземном хранилище! Геологи твои нашли? Нет-с, Кацман нашел. Не выходя из своего кабинетика, заметь...

— Короче говоря,— сказал Гейгер, снова усаживаясь в свое кресло,— наука наукой, архивы архивами, а я хочу знать следующее. Первое. Что у нас в тылу? Можно ли там жить? Что полезного можно оттуда извлечь? Второе. Кто там живет? На всем протяжении: от этого места,— он постучал ногтем в стол,— и до самого конца мира, или начала, или докуда вы там дойдете... Что это за люди? Люди ли? Почему они там? Как туда попали? Чем живут?.. И третье. Все, что вам удастся выяснить об Антигороде. Это ПОЛИТИЧЕСКАЯ цель, которую я перед вами ставлю. И это — истинная цель

экспедиции, Андрей, вот что ты должен понять. Ты поведешь эту экспедицию, выяснишь все, что я сказал, и доложишь результаты мне, здесь, в этой вот комнате.

— Что-что? — сказал Андрей.

— Доложишь. Здесь. Лично.

— Ты хочешь послать туда меня?

— Естественно! А ты как думал?

— Позволь...— Андрей растерялся.— С какой это стати?.. Я вовсе никуда не собирался... У меня дел по горло, на кого я все это брошу?.. Да и не хочу я никуда идти!

— То есть как это — не хочешь? Что же ты мне голову морочил? Если не тебя, кого же я пошлю?

— Господи,— сказал Андрей.— Да кого угодно! Поставь начальником Кехаду... опытнейший разведчик... Или Бутца, например...

Под пристальным взглядом Гейгера он замолчал.

— Давай лучше не будем говорить ни о Кехаде, ни о Бутце,— негромко сказал Гейгер.

Андрей не нашелся что ответить, и наступила неловкая тишина. Потом Гейгер налил себе остывшего кофе.

— В этом городе,— сказал он по-прежнему негромко,— я доверяю буквально двум-трем человекам, не более. Из них возглавить экспедицию можешь только ты. Потому что я уверен: если я попрошу тебя дойти до конца, ты дойдешь до конца. Не повернешь с полдороги и никому не разрешишь повернуть с полдороги. И когда ты потом представишь отчет, я смогу верить этому отчету. Изиному отчету, например, я бы тоже мог поверить, но Изя — ни к черту не годный администратор и совершенно никудышный политик. Понимаешь меня? Поэтому решай. Либо ты возглавляешь эту экспедицию, либо экспедиция вообще не состоится.

Снова наступило молчание. Изя с неловкостью сказал:

— О-хо-хо-хо-хо... Может, мне выйти, администраторы?

— Сиди,— приказал Гейгер, не поворачиваясь к нему.— Вон — жри пирожные.

Андрей лихорадочно соображал. Все бросить. Сельму. Дом. Налаженную спокойную жизнь... На кой черт мне это сдалось? Амалию. Тащиться куда-то. Жара. Грязь. Дрянная

жратва... Постарел я, что ли? Пару лет назад такое предложение привело бы меня в восторг. А сейчас не хочу. Ну вот совсем не хочу... Изя каждый день — в гомерических порциях. Военные. Солдатня. И ведь пешком же, наверное, всю тысячу километров — пешком, да еще с мешком на плечах, и не с пустым, мать его, мешком... И оружие. Мать честная, там ведь стрелять, может быть, придется!.. На фига мне это сдалось — под пулями торчать? На фига козе баян? На хрена волку жилетка — по кустам ее трепать?.. Надо будет дядю Юру взять обязательно — я этим военным ни хрена не верю... Жара, и мозоли, и вонь... А на самом краю — холодина, наверное, проклятущая... Хорошо хоть солнце будет все время в затылок... И Кехаду надо взять, не пойду без Кехады и все — мало ли что ты ему не доверяешь, зато с Кехадой я за научную часть буду спокоен... И столько времени без бабы — это же с ума сойти, я уже так отвык. Но ты мне за это заплатишь. Ты мне штатных единиц, во-первых, в канцелярию подбросишь — в отдел социальной психологии... и в геодезию не мешает... Во-вторых, Варейкису по рукам. И вообще все эти идеологические ограничения — чтобы духу их не было у меня в науке. В других отделах — пожалуйста, это меня не касается... Ведь там же воды нет, елки-палки! Ведь город почему все время на юг ползет — на севере источники иссякают. Что же, прикажете воду с собой тащить? На тысячу километров?..

— Что же — я воду на горбу с собой потащу? — раздраженно спросил он.

Гейгер изумленно задрал брови.

— Какую воду?

Андрей спохватился.

— В общем ладно,— сказал он.— Только военных я сам подберу, раз уж ты так на них настаиваешь. А то насуешь мне разных болванов... И чтобы единоначалие! — грозно сказал он, подняв палец.— Главный — я!

— Ты, ты,— успокаивающе сказал Гейгер. Он улыбался, откинувшись в кресле.— Ты вообще будешь подбирать всех. Единственного человека я тебе навязываю — Изю. Остальные — твои. О хороших механиках позаботься, врача подбери...

— Кстати, транспорт какой-нибудь будет у меня?

— Будет,— сказал Гейгер.— И транспорт будет настоящий. Такого еще у нас не было. На себе переть ничего не придется, разве что — оружие... Ты не отвлекайся, это все мелочи. Это мы все еще специально обсудим, когда ты подберешь начальников подразделений... Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Секретность! Это вы мне, ребята, обеспечьте. Конечно, совсем скрыть такую затею невозможно, значит, придется пустить дезу — за нефтью отправились, например. На двести сороковой километр. Но политические цели экспедиции должны быть известны только вам. Договорились?

— Договорились,— отозвался Андрей озабоченно.

— Изя, это особенно к тебе относится. Слышишь?

— Угу,— сказал Изя с набитым ртом.

— А почему, собственно, такая уж секретность? — спросил Андрей.— Что мы такое собираемся делать, чтобы вокруг этого секретность разводить?

— Не понимаешь? — спросил Гейгер, скривившись.

— Не понимаю,— сказал Андрей.— Совершенно не вижу, что тут такого... угрожающего системе.

— Да не системе, балда! — сказал Гейгер.— Тебе! Тебе это угрожает! Неужели непонятно, что они так же боятся нас, как и мы их?

— Кто — они? Антигорожане твои, что ли?

— Ну естественно! Если мы сообразили послать, наконец, разведку, почему не предположить, что они сделали это давным-давно? Что в Городе полным-полно их шпионов? Не улыбайся, не улыбайся, дурачок! Это тебе не шутки! Налетишь на засаду — вырежут вас всех, как цыплят...

— Ладно,— сказал Андрей.— Убедил. Молчу.

Некоторое время Гейгер с сомнением его рассматривал, потом сказал:

— Ну хорошо. Значит, цели вы поняли. Насчет секретности — тоже. Значит, собственно, все. Сегодня подпишу приказ о твоем назначении руководителем операции... н-ну, скажем... м-м...

— «Мрак и туман»,— подсказал Изя, невинно тараща глаза.

— Что? Нет... Слишком длинно. Скажем... «Зигзаг». Операция «Зигзаг». Хорошо звучит, правда? — Гейгер вытянул из нагрудного кармана блокнотик и что-то записал.— Ты, Андрей, можешь приступать к подготовке. Я имею в виду пока чисто научную часть. Подбирай людей, уточняй свои задачи... оборудование заказывай, снаряжение... Твоим заказам я обеспечу зеленую улицу. Кто у тебя заместитель?

— По канцелярии? Бутц.

Гейгер поморщился.

— Ну ладно,— сказал он.— Пусть будет Бутц. Взваливай на него всю канцелярию, а сам полностью переключайся на операцию «Зигзаг»... И предупреди своего Бутца, чтобы поменьше трепал языком! — гаркнул он вдруг.

— Вот что,— сказал Андрей.— Давай с тобой договоримся...

— К черту, к черту! — сказал Гейгер.— Не желаю я сейчас на эти темы разговаривать. Знаю я, что ты мне хочешь сказать! Но рыба гниет с головы, господин советник, а ты развел у себя в канцелярии... ч-черт!..

— Якобинцев,— подсказал Изя.

— А ты, еврей, молчи! — заорал Гейгер.— Черт бы вас всех подрал, болтунов!.. Сбили меня совсем... О чем я говорил?

— Что ты не желаешь на эти темы разговаривать,— сказал Изя.

Гейгер непонимающе уставился на него, и тогда Андрей сказал нарочито спокойно:

— Я очень прошу тебя, Фриц, оградить моих сотрудников от всяческих идеологических благоглупостей. Я этих людей сам подбирал, и я им верю, и если ты действительно хочешь иметь в Городе науку — оставь их в покое.

— Ну хорошо, хорошо,— проворчал Гейгер.— Не будем сегодня об этом...

— Нет, будем,— кротко сказал Андрей, умиляясь самому себе.— Ты ведь меня знаешь — я целиком за тебя. Пойми, пожалуйста: эти люди не могут не брюзжать. Так уж они устроены. Кто не брюзжит, тот ни черта не стоит. Пусть брюзжат! За идеологической нравственностью у себя в канцелярии я уж как-нибудь и сам прослежу. Можешь быть

спокоен. И скажи, пожалуйста, нашему дорогому Румеру, чтобы он зарубил на своем павианьем носу...

— А можно без ультиматумов? — высокомерно осведомился Фриц.

— Можно,— сказал Андрей совсем уже кротко.— Все можно. Без ультиматумов можно, без науки можно, без экспедиции можно...

Гейгер, шумно дыша через раздутые ноздри, смотрел на него в упор.

— Я не хочу сейчас говорить на эту тему! — сказал он.

И Андрей понял, что на сегодня хватит. Тем более, что и в самом деле на такие темы лучше говорить с глазу на глаз.

— Не хочешь, и не надо,— сказал он примирительно.— Просто к слову пришлось. Варейкис меня сегодня достал, понимаешь... Слушай, тут у меня вот какой вопрос. Общее количество груза, который я смогу с собой взять. Хотя бы ориентировочно.

Гейгер еще несколько раз с силой выдохнул воздух через ноздри, потом покосился на Изю и снова откинулся в кресле.

— Рассчитывай тонн на пять, на шесть... может быть, и больше,— сказал он.— Свяжись с Манджуро... Только учти, он хоть и четвертое лицо в государстве, но о настоящих целях экспедиции он не знает ничего. За транспорт отвечает он. Через него узнаешь все подробности.

Андрей кивнул.

— Хорошо. А из военных, ты знаешь, кого я хочу взять? Полковника.

Гейгер встрепенулся.

— Полковника? У тебя губа не дура! А с кем я здесь останусь? На полковнике весь генштаб держится...

— Вот и прекрасно,— сказал Андрей.— Значит, полковник одновременно произведет глубокую рекогносцировку. Лично изучит, так сказать, возможный театр. И отношения у меня с ним налажены... Между прочим, ребята, я сегодня устраиваю небольшую вечеринку. Мясо по-бургундски. Вы как?

На лице Гейгера немедленно появилось выражение озабоченности.

— Гм... Сегодня? Не знаю, дружище, не могу сказать точно... Просто не знаю. Возможно, заскочу на минутку.

Андрей вздохнул.

— Ладно уж. Только если сам не придешь, не присылай, пожалуйста, Румера вместо себя, как в прошлый раз. Я, понимаешь, к себе не президента приглашаю, а Фрица Гейгера. В официальных заменителях не нуждаюсь.

— Ну, посмотрим, посмотрим...— сказал Гейгер.— Еще по чашечке? Время есть. Паркер!

Румяный Паркер возник на пороге, выслушал, наклонив голову с идеальным пробором, приказ о кофе и сказал деликатным голосом:

— Господина президента ждет у телефона советник Румер.

— Легок на помине...— проворчал Гейгер, поднимаясь.— Простите, ребята, я сейчас.

Он вышел, и тотчас же явились девочки в белых передничках. Они быстро и бесшумно организовали второй круг кофе и исчезли вместе с Паркером.

— Ну а ты-то придешь? — спросил Андрей Изю.

— С удовольствием,— сказал Изя, хлебая кофе с присвистом и причмокиванием.— А кто будет?

— Полковник будет. Дольфюсы будут, Чачуа, может быть... А кто тебе, собственно, нужен?

— Дольфюсиха мне, честно говоря, не особенно нужна.

— Ничего, мы на нее Чачуа напустим...

Изя покивал, а потом вдруг сказал:

— А ведь давненько мы не собирались, а?

— Да, брат, дела...

— Врешь, врешь, какие там у тебя дела... Сидишь, коллекцию свою перетираешь... Смотри, не застрелись там случайно... Да! Я тебе, между прочим, пистолетик раздобыл. Настоящий смит-и-вессон, из прерий...

— Честно?!

— Только он ржавый, заржавел весь...

— Не вздумай чистить! — закричал Андрей, подскакивая.— Неси как есть, а то испортишь все,— руки-крюки!.. И не пистолетик это тебе, а револьвер. Где нашел?

— Где надо, там и нашел,— сказал Изя.— Погоди, в экспедиции мы столько найдем — домой не дотащишь...

Андрей поставил чашечку с кофе. Этот аспект экспедиции в голову ему еще не приходил, и он моментально ощутил необычайный подъем, представив себе уникальный набор кольтов, браунингов, маузеров, наганов, парабеллумов, зауэров, вальтеров... и дальше, в глубь времен: дуэльных лефоше и лепажей... огромных абордажных пистолетов со штыком... великолепных самоделок с Дальнего Запада... всех этих неописуемых драгоценностей, о которых он и мечтать не решался, читая и перечитывая каталог частного собрания миллионера Бруннера, каким-то чудом занесенный в город. Футляры, ящики, склады оружия... Может быть, «чешску збройовку» повезет найти, с шалльдампфером... или «астру-девятьсот»... а может быть, черт побери, и «девятку» — «маузер ноль-восемь», редкость, мечта... Да-а...

— А противотанковые мины ты не собираешь? — спросил Изя.— Или, скажем, кулеврины?

— Нет,— сказал Андрей, радостно улыбаясь.— Я только личное стрелковое оружие...

— А то вот предлагают по случаю базуку,— сказал Изя.— Недорого просят — всего двести тугриков.

— Насчет базуки, братец, иди ты к Румеру,— сказал Андрей.

— Спасибо. У Румера я уже бывал,— сказал Изя, и улыбка его застыла.

А, ч-черт, подумал Андрей с неловкостью, но тут, к счастью, вернулся Гейгер. Он был доволен.

— А ну-ка, налейте чашечку президенту,— сказал он.— О чем вы здесь?..

— О литературе и искусстве,— сказал Изя.

— О литературе? — Гейгер отхлебнул кофе.— Ну-ка, ну-ка! Что именно мои советники говорят о литературе?

— Да треплется он,— сказал Андрей.— О моей коллекции мы говорили, а не о литературе.

— А что это вдруг тебя заинтересовала литература? — спросил Изя, с любопытством глядя на Гейгера.— Такой был всегда практичный президент...

— Потому и заинтересовала, что практичный,— сказал Гейгер.— Считайте,— предложил он и принялся загибать пальцы.— В городе выходят: два литературных журнала, четыре литературных приложения к газетам, по крайней мере десяток серийных выпусков приключенческой белиберды... вот и все, кажется. И еще полтора десятка названий книг в год. И при этом — ничего сколько-нибудь приличного. Я говорил со сведущими людьми. Ни до Поворота, ни после в Городе не появилось ни одного сколько-нибудь значительного литературного произведения. Одна макулатура. В чем дело?

Андрей и Изя переглянулись. Да, Гейгер всегда умел удивить, ничего не скажешь.

— Что-то я тебя все-таки не понимаю,— сказал Изя Гейгеру.— Какое, собственно, тебе до этого дело? Ищешь писателя, чтобы поручить ему свое жизнеописание?

— А если без шуточек? — терпеливо сказал Гейгер.— В городе миллион человек. Больше тысячи числятся литераторами. И все бездари. То есть сам я, конечно, не читаю...

— Бездари, бездари,— кивнул Изя.— Правильно тебя информировали. Ни Толстых, ни Достоевских не видно. Ни Львов, ни даже Алексеев...

— А в самом деле, почему? — спросил Андрей.

— Писателей выдающихся — нет,— продолжал Гейгер.— Художников — нет. Композиторов — нет. Этих... скульпторов тоже нет.

— Архитекторов нет,— подхватил Андрей.— Киношников нет...

— Ничего такого нет,— сказал Гейгер.— Миллион человек! Меня это сначала просто удивило, а потом, честно говоря, встревожило.

— Почему? — сейчас же спросил Изя.

Гейгер в нерешительности пожевал губами.

— Трудно объяснить,— признался он.— Сам я, лично, не знаю, зачем все это нужно, но я слыхал, что в каждом порядочном обществе все это есть. А раз у нас этого нет, значит, что-то не в порядке... Я рассуждаю так. Ну, хорошо: до Поворота жизнь в городе была тяжелая, стоял кабак, и было, предположим, не до изящных искусств. Но вот жизнь в общем налаживается...

— Нет,— перебил его Андрей задумчиво.— Это здесь ни при чем. Насколько я знаю, лучшие мастера мира работали как раз в обстановке ужасных кабаков. Тут нет никакой закономерности. Мастер мог быть нищим, сумасшедшим, пьяницей, а мог быть и вполне обеспеченным, даже богатым человеком, как Тургенев, например... Не знаю.

— Во всяком случае,— сказал Изя Гейгеру,— если ты собираешься, например, резко повысить уровень жизни своих литераторов...

— Да! Например! — Гейгер снова отхлебнул кофе и, облизывая губы, стал смотреть на Изю прищуренными глазами.

— Ничего из этого не выйдет,— сказал Изя с каким-то удовлетворением.— И не надейся!

— Погодите,— сказал Андрей.— А может быть, талантливые творческие люди просто не попадают в город? Не соглашаются сюда идти?

— Или, скажем, им не предлагают,— сказал Изя.

— Бросьте,— сказал Гейгер.— Пятьдесят процентов населения города — молодежь. На Земле они были никто. Как можно было определить, творческие они или нет?

— А может быть, как раз и можно определить,— сказал Изя.

— Пусть так,— сказал Гейгер.— В городе несколько десятков тысяч человек, которые родились и выросли здесь. Как с ними? Или талант — это обязательно наследственное?

— Вообще-то, действительно, странно,— сказал Андрей.— Инженеры в городе есть прекрасные. Ученые — очень неплохие. Может быть, не Менделеевы, но на крепком мировом уровне. Взять того же Бутца... Талантливых людей пропасть — изобретатели, администраторы, ремесленники... вообще всякие прикладники...

— То-то и оно,— сказал Гейгер.— Это-то меня и удивляет.

— Слушай, Фриц,— сказал Изя.— Ну, зачем тебе лишние хлопоты? Ну, появятся у тебя талантливые писатели, ну, начнут они тебя костерить в своих гениальных произведениях — и тебя, и твои порядки, и твоих советников... И пойдут у тебя самые неприятные неприятности. Сначала ты

будешь их уговаривать, потом начнешь грозить, потом придется тебе их сажать...

— Да почему это они будут меня обязательно костерить? — возмутился Гейгер.— А может быть, наоборот — воспевать?

— Нет,— сказал Изя.— Воспевать они не станут. Тебе же Андрей сегодня объяснил насчет ученых. Так вот, великие писатели тоже всегда брюзжат. Это их нормальное состояние, потому что они — это больная совесть общества, о которой само общество, может быть, даже и не подозревает. А поскольку символом общества являешься в данном случае ты, тебе в первую и накидают банок...— Изя хихикнул.— Воображаю, как они расправятся с твоим Румером!

Гейгер пожал плечом.

— Конечно, если у Румера есть недостатки, настоящий писатель обязан их изобразить. На то он и писатель, чтобы врачевать язвы...

— Сроду писатели не врачевали никаких язв,— возразил Изя.— Больная совесть просто болит, и все...

— В конце концов, не в этом дело,— прервал его Гейгер.— Ты мне прямо ответь: нынешнее положение ты считаешь нормальным или нет?

— А что считать за норму? — спросил Изя.— Можно считать нормальным положение на Земле?

— Понес, понес! — сказал Андрей, сморщившись.— Тебя же просто спрашивают: может существовать общество без творческих талантов? Правильно я понял, Фриц?

— Я даже спрошу точнее,— сказал Гейгер.— Нормально ли, чтобы миллион человек — все равно, здесь или на Земле,— за десятки лет не дал ни одного творческого таланта?

Изя молчал, рассеянно теребя свою бородавку, а Андрей сказал:

— Если судить, скажем, по Древней Греции, то очень ненормально.

— Тогда в чем же дело? — спросил Гейгер.

— Эксперимент есть Эксперимент,— сказал Изя.— Но если судить, например, по монголам, то у нас все в порядке.

— Что ты хочешь этим сказать? — подозрительно спросил Гейгер.

— Ничего особенного,— удивился Изя.— Просто их тоже миллион, а может быть, даже и больше. Можно привести в пример еще, скажем, корейцев... почти любую арабскую страну...

— Ты еще возьми цыган,— сказал Гейгер недовольно.

Андрей оживился.

— А кстати, ребята,— сказал он.— А цыгане в городе есть?

— Провалиться вам! — сердито сказал Гейгер.— Совершенно невозможно с вами серьезно разговаривать...

Он хотел добавить еще что-то, но тут на пороге возник румяный Паркер, и Гейгер сейчас же посмотрел на часы.

— Ну, все,— сказал он, поднимаясь.— Понеслась!..— Он вздохнул и принялся застегивать френч.— По местам! По местам, советники! — сказал он.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Отто Фрижа не соврал: ковер был действительно роскошный. Он был черно-багровый, глубоких благородных оттенков, он занял всю левую стену в кабинете, напротив окон, и кабинет с ним приобрел совершенно особенный вид. Это было дьявольски красиво, это было элегантно, это было значительно.

В полном восторге Андрей чмокнул Сельму в щеку, и она снова ушла на кухню командовать прислугой, а Андрей походил по кабинету, рассматривая ковер со всех точек зрения, приглядываясь к нему то впрямую, то искоса, боковым зрением, потом раскрыл заветный шкаф и извлек оттуда здоровенный маузер — десятизарядное чудовище, рожденное в спецотделе Маузерверке, излюбленное, прославившееся в гражданскую войну оружие комиссаров в пыльных шлемах, а также японских императорских офицеров в шинелях с воротниками собачьего меха.

Маузер был чистый, воронено отсвечивающий, на вид совершенно готовый к бою, но, к сожалению, со сточенным бойком. Андрей подержал его двумя руками, покачивая на весу, потом взялся за округлую рифленую рукоять, опустил,

а затем поднял на уровень глаз и прицелился в ствол яблони за окном, как Гейгер на стрельбище.

Потом он повернулся к ковру и некоторое время выбирал место. Место скоро нашлось. Андрей сбросил туфли, залез с ногами на кушетку и приложил к месту маузер. Прижимая его к ковру одной рукой, он откинулся как можно дальше назад и полюбовался. Это было прекрасно. Он соскочил на пол, в одних носках опрометью побежал в прихожую, вытащил из стенного шкафа ящик с инструментом и вернулся обратно к ковру.

Он повесил маузер, потом люгер с оптическим прицелом (из этого люгера Копчик застрелил насмерть двух милиционеров в последний день Поворота) и возился с браунингом модели девятьсот шестого года — маленьким, почти квадратным,— когда знакомый голос за спиной произнес:

— Правее, Андрей, чуть правее. И на сантиметр ниже.

— Так? — спросил Андрей, не оборачиваясь.

— Так.

Андрей закрепил браунинг, задом спрыгнул с кушетки и попятился к самому столу, озирая дело рук своих.

— Красиво,— похвалил Наставник.

— Красиво, но мало,— сказал Андрей со вздохом.

Наставник, неслышно ступая, подошел к шкафу, присел на корточки, покопался и достал армейский наган.

— А это? — спросил он.

— Деревяшек на рукоятке нет,— сказал Андрей с сожалением.— Все время собираюсь заказать и каждый раз забываю...— Он надел туфли, присел на подоконник рядом со столом и закурил.— Сверху у меня будет дуэльный арсенал. Первая половина девятнадцатого века. Красивейшие экземпляры попадаются, с серебряной насечкой, и формы самые удивительные — от таких вот маленьких до огромных, длинноствольных...

— Лепажи,— сказал Наставник.

— Нет, лепажи как раз маленькие... А внизу, над самой кушеткой, я развешу боевое оружие семнадцатого-восемнадцатого века...

Он замолчал, представляя себе, как это будет прекрасно. Наставник, сидя на корточках, копался в шкафу. За окном

неподалеку стрекотала машинка для стрижки газонов. Чирикали и посвистывали птицы.

— Хорошая идея — повесить здесь ковер, верно? — сказал Андрей.

— Прекрасная,— сказал Наставник, поднимаясь. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер руки.— Только торшер я бы поставил в тот угол, рядом с телефоном. И телефон нужно белый.

— Белый мне не полагается,— сказал Андрей со вздохом.

— Ничего,— сказал Наставник.— Вернешься из экспедиции — будет у тебя и белый.

— Значит, это правильно, что я согласился идти?

— А у тебя были сомнения?

— Да,— сказал Андрей и погасил окурок в пепельнице.— Во-первых, мне не хотелось. Просто не хотелось. Дома хорошо, жизнь наладилась, много работы. Во-вторых, если говорить честно,— страшновато.

— Ну-ну-ну,— сказал Наставник.

— Нет, в самом деле. Вот вы — вы можете мне сказать, с чем я там встречусь? Вот видите! Полная неизвестность... Десяток страшных Изиных легенд и полная неизвестность... Ну и плюс все прелести походной жизни. Знаю я эти экспедиции! И в археологических я бывал, и во всяких прочих...

И тут, как он и ожидал, Наставник спросил с интересом:

— А что в этих экспедициях... как бы это выразиться... что в них самое страшное, что ли, самое неприятное?

Андрей очень любил этот вопрос. Ответ на него он придумал очень давно и даже записал в книжечку, и впоследствии неоднократно использовал его в разговорах с разными девицами.

— Самое страшное? — повторил он для разгону.— Самое страшное — это вот что. Представьте себе: палатка, ночь, пустыня вокруг, безлюдье, волки воют, град, буря...— Он сделал паузу и посмотрел на Наставника, который весь подался вперед, слушая.— Град, понимаете? С голубиное яйцо величиной... И надо идти по нужде.

Напряженное ожидание на лице Наставника сменилось несколько растерянной улыбкой, потом он расхохотался.

— Смешно,— сказал он.— Сам придумал?

— Сам,— гордо сказал Андрей.

— Молодец, смешно...— Наставник опять засмеялся, крутя головой. Потом он сел в кресло и стал смотреть в сад.— А хорошо здесь у вас, на Белом Дворе,— сказал он.

Андрей обернулся и тоже посмотрел в сад. Залитая солнцем зелень, бабочки над цветами, неподвижные яблони, а метрах в двухстах, за кустами сирени — белые стены и красная крыша соседнего коттеджа... И Ван в длинной белой рубахе неторопливо, покойно шагает за стрекочущей машинкой, а его младшенький семенит рядом, ухватившись за его штанину...

— Да, Ван обрел покой,— сказал Наставник.— Может быть, это и есть самый счастливый человек в городе.

— Очень может быть,— согласился Андрей.— Во всяком случае, про других своих знакомых я бы этого не сказал.

— Ну, такой уж у тебя сейчас круг знакомых,— возразил Наставник.— Ван среди них — исключение. Я бы даже просто сказал, что он вообще человек другого круга. Не твоего.

— Да-а,— задумчиво протянул Андрей.— А ведь когда-то вместе грузили мусор, за одним столом сидели, из одной кружки пили...

Наставник пожал плечами.

— Каждый получает то, чего он заслуживает.

— То, чего он добивается,— пробормотал Андрей.

— Можно и так сказать. Если угодно, это одно и то же. Вану ведь всегда хотелсь быть в самом низу. Восток есть Восток. Нам этого не понять. Вот и разошлись ваши дорожки.

— Самое забавное,— сказал Андрей,— что ведь мне с ним по-прежнему хорошо. У нас всегда есть о чем поговорить, есть что вспомнить... Когда я с ним, я никогда не испытываю неловкости.

— А он?

Андрей подумал.

— Не знаю. Но скорее да, чем нет. Иногда мне вдруг кажется, что он изо всех сил старается держаться от меня подальше.

Наставник потянулся, хрустнув пальцами.

— Да разве в этом дело? — сказал он.— Когда Ван сидит с тобой за бутылкой водки и вы вспоминаете, как оно все

было, Ван отдыхает, согласись. А когда ты сидишь с полковником за бутылкой шотландского, разве кто-нибудь из вас отдыхает?

— Какой уж тут отдых,— пробормотал Андрей.— Чего там... Полковник мне просто нужен. А я — ему.

— А когда ты обедаешь с Гейгером? А когда пьешь пиво с Дольфюсом? А когда Чачуа рассказывает тебе по телефону новые анекдоты?..

— Да,— сказал Андрей.— Все это так. Да.

— У тебя разве что с одним Изей сохранились прежние отношения, да и то...

— Вот именно,— сказал Андрей.— Да и то.

— Не-ет, и речи быть не может! — сказал Наставник решительно.— Ты только представь себе: вот здесь сидит полковник, заместитель начальника штаба вашей армии, старый английский аристократ знаменитого рода. Вот здесь сидит Дольфюс, советник по строительству, знаменитый некогда в Вене инженер. И жена его — баронесса, прусская юнкерша. А напротив — Ван. Дворник.

— Н-да,— сказал Андрей. Он почесал в затылке и засмеялся.— Бестактно как-то получается...

— Нет-нет! Ты забудь про деловую бестактность, бог с ней. Ты представь себе, что Ван будет при этом чувствовать, каково будет ему?..

— Понимаю, понимаю...— сказал Андрей.— Понимаю... Да ну, все это вздор! Позову его завтра, сядем вдвоем, посидим, Мэйлинь с Сельмой чифань нам какой-нибудь смастерят, а мальчишке я «бульдог» подарю — есть у меня, без курка...

— Выпьете! — подхватил Наставник.— Расскажете друг другу что-нибудь из жизни, и ему есть тебе о чем рассказать, и ты тоже хороший рассказчик, а он ведь ничего не знает ни про Пенджикент, ни про Харбаз... Прекрасно будет! Я даже немножко завидую.

— А вы приходите,— сказал Андрей и засмеялся.

Наставник тоже засмеялся.

— Буду мысленно с вами,— сказал он.

В это время в парадной позвонили. Андрей посмотрел на часы — было ровно восемь.

— Это наверняка полковник,— сказал он и вскочил.— Я пойду?

— Ну разумеется! — сказал Наставник.— И прошу тебя, впредь никогда не забывай, что Ванов в Городе — сотни тысяч, а советников — всего двадцать...

Это действительно был полковник. Он всегда являлся в точно назначенный срок, а следовательно — первым. Андрей встретил его в прихожей, пожал ему руку и пригласил в кабинет. Полковник был в штатском. Светло-серый костюм сидел на нем, как на манекене, седые редкие волосы были аккуратно зачесаны, туфли сияли, гладко выбритые щеки сияли тоже. Был он небольшого роста, сухой, с хорошей выправкой, но в то же время чуть расслабленный, без этой деревянности, столь характерной для немецких офицеров, которых в армии было полным-полно.

Войдя в кабинет, он остановился перед ковром и, заложив за спину сухие белые руки, некоторое время молча обозревал багрово-черное великолепие вообще и развешенное на этом фоне оружие в частности. Потом он сказал: «О!» и посмотрел на Андрея с одобрением.

— Садитесь, полковник,— сказал Андрей.— Сигару? Виски?

— Благодарю,— сказал полковник, усаживаясь.— Капля возбуждающего не помешает.— Он извлек из кармана трубку.— Сегодня был бешеный день,— объявил он.— Что там произошло у вас на площади? Мне приказали поднять казармы по тревоге.

— Какой-то болван,— сказал Андрей, роясь в баре,— получил на складе динамит и не нашел лучшего места спотыкнуться, как у меня под окнами.

— А, значит, никакого покушения не было?

— Господь с вами, полковник! — сказал Андрей, наливая виски.— Здесь у нас все-таки не Палестина.

Полковник усмехнулся и принял от Андрея бокал.

— Вы правы. В Палестине инциденты такого рода никого не удивляли. Впрочем, и в Йемене тоже...

— А вас, значит, подняли по тревоге? — спросил Андрей, усаживаясь со своим бокалом напротив.

— Представьте себе.— Полковник отхлебнул от бокала, подумал, задравши брови, потом осторожно поставил бокал на телефонный столик рядом с собой и принялся набивать трубку. Руки у него были старческие, с серебристым пушком, но не дрожали.

— И какова же оказалась боевая готовность войск? — осведомился Андрей, тоже отхлебывая из бокала.

Полковник снова усмехнулся, и Андрей ощутил мгновенную зависть — ему очень хотелось бы уметь усмехаться так же.

— Это военная тайна,— сказал полковник.— Но вам я скажу. Это было ужасно! Такого я не видывал даже в Йемене. Да что там Йемен! Такого я не видывал, даже когда дрессировал этих чернозадых в Уганде!.. Половины солдат в казармах не оказалось вовсе. Половина другой половины явилась по тревоге без оружия. Те, кто явился с оружием, не имели боеприпасов, потому что начальник склада боепитания вместе с ключами отрабатывал свой час на Великой Стройке...

— Вы, я надеюсь, шутите,— сказал Андрей.

Полковник раскурил трубку и, разгоняя дым ладонью, посмотрел на Андрея бесцветными старческими глазами. Вокруг глаз у него была масса морщинок, и казалось, что он смеется.

— Может быть, я немного и преувеличил,— сказал он,— однако посудите сами, советник. Наша армия создана без всякой определенной цели, только потому, что некое известное нам обоим лицо не мыслит государственной организации без армии. Очевидно, что никакая армия не способна нормально функционировать, если отсутствует реальный противник. Пусть даже только потенциальный... От начальника генерального штаба и до последнего кашевара вся наша армия сейчас проникнута убеждением, что эта затея есть просто игра в оловянные солдатики.

— А если предложить, что потенциальный противник все же существует?

Полковник снова окутался медвяным дымом.

— Тогда назовите его нам, господа политики!

Андрей снова отхлебнул из бокала, подумал и спросил:

— А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?

— Ну-у... я бы не назвал это собственно оперативными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на Земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса?

— Что ж,— сказал Андрей.— Я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует...

— «Что-нибудь вроде» существует и у нас,— сказал полковник.— Мы не ждем вторжения ни сверху, ни снизу. Мы не допускаем возможности серьезной угрозы с юга... исключая, разумеется, возможность успешного бунта уголовников, работающих на поселениях, но к этому мы готовы... Остается север. Мы знаем, что во время Поворота и после него на север бежало довольно много сторонников прежнего режима. Мы допускаем — теоретически,— что они могут организоваться и предпринять какую-нибудь диверсию или даже попытку реставрации...— Он затянулся, сипя трубкой.— Однако при чем здесь армия? Очевидно, что на случай всех этих угроз вполне достаточно специальной полиции господина советника Румера, а в тактическом отношении — самый вульгарной кордонной тактики...

Андрей подождал немного и спросил:

— Надо ли понимать вас так, полковник, что генеральный штаб не готов к серьезному вторжению с севера?

— Вы имеете в виду вторжение марсиан? — сказал полковник задумчиво.— Нет, не готов. Я понимаю, что вы хотите сказать. Но у нас нет разведки. Возможность такого вторжения никто и никогда серьезно не рассматривал. У нас попросту нет для этого никаких данных. Мы не знаем, что творится уже на пятидесятом километре от Стеклянного Дома. У нас нет карт северных окрестностей...— Он засмеялся, выставив длинные желтоватые зубы.— Городской архивариус господин Кацман предоставил в распоряжение генштаба что-то вроде карты этих районов... Как я понимаю, он составил ее сам. Этот замечательный документ хранится у меня в сейфе. Он оставляет вполне определенное впечатление, что господин Кацман исполнял эту схему за едой и неоднократно ронял на нее свои бутерброды и проливал кофе...

— Однако же, полковник,— сказал Андрей с упреком,— моя канцелярия представила вам, по-моему, совсем неплохие карты!

— Несомненно, несомненно, советник. Но это, главным образом, карты обитаемого Города и южных окрестностей. Согласно основной установке армия должна находиться в боевой готовности на случай беспорядков, а беспорядки могут иметь место именно в упомянутых районах. Таким образом, проделанная вами работа совершенно необходима, и, благодаря вам, к беспорядкам мы готовы. Однако, что касается вторжения...— Полковник покачал головой.

— Насколько я помню,— сказал Андрей значительно,— моя канцелярия не получила от генштаба никаких заявок на картографирование северных районов.

Некоторое время полковник смотрел на него, трубка его погасла.

— Надо сказать,— медленно проговорил он,— что с такими заявками мы обращались лично к президенту. Ответы были, признаться, совершенно неопределенные...— он снова помолчал.— Так вы полагаете, советник, что для пользы дела с такими заявками надо обращаться к вам?

Андрей кивнул.

— Сегодня я обедал у президента,— сказал он.— Мы много говорили на эту тему. Вопрос о картографировании северных районов в принцип решен. Однако необходимо посильное участие военных специалистов. Опытный оперативный работник... ну, вы, несомненно, понимаете.

— Понимаю,— сказал полковник.— Кстати, где вы раздобыли такой маузер, советник? В последний раз, если не ошибаюсь, я видел подобные чудовища в Батуми, году в восемнадцатом...

Андрей принялся рассказывать ему, где и как он достал этот маузер, но тут в передней раздался новый звонок. Андрей извинился и пошел встречать.

Он надеялся, что это будет Кацман, однако, противу всяких желаний, это оказался Отто Фрижа, которого Андрей, собственно, и не приглашал вовсе. Как-то из головы вылетело. Отто Фрижа постоянно вылетал у него из головы, хотя как начальник АХЧ Стеклянного Дома он был человеком в

высшей степени полезным и даже незаменимым. Впрочем, Сельма этого обстоятельства не забывала никогда. Вот и сейчас она принимала от Отто аккуратную корзинку, заботливо прикрытую тончайшей батистовой салфеточкой, и маленький букетик цветов. Отто был милостиво допущен к руке. Он щелкал каблуками, краснел ушами и был, очевидно, счастлив.

— А, дружище,— сказал ему Андрей.— Вот и ты!

Отто был все такой же. Андрей вдруг почему-то подумал, что из всех старичков Отто изменился меньше всех. Собственно, совсем не изменился. Все та же цыплячья шея, огромные оттопыренные уши, выражение постоянной неуверенности на веснушчатой физиономии. И щелкающие каблуки. Он был в голубой форме спецполиции и при квадратной медальке «За заслуги».

— Большущее тебе спасибо за ковер,— говорил Андрей, обняв его за плечи и ведя к себе в кабинет.— Сейчас я тебе покажу, как он у меня выглядит... Пальчики оближешь, от зависти помрешь...

Однако, попавши в кабинет, Отто Фрижа не стал ни облизывать себе пальцы, ни, тем более, помирать от зависти. Он увидел полковника.

Ефрейтор фольксштурма Отто Фрижа испытывал к полковнику Сент-Джеймсу чувства, граничащие с благоговением. В присутствии полковника он вовсе терял дар речи, стальными болтами закреплял на своей физиономии улыбку и готов был стучать каблуком о каблук в любой момент, непрерывно и со все возрастающей силой.

Повернувшись к знаменитому ковру спиной, он стал по стойке «смирно», выпятил грудь, прижал ладони к бедрам, растопырил локти и столь резко мотнул головой в поклоне, что у него на весь кабинет хрустнули шейные позвонки. Лениво улыбаясь, полковник поднялся ему навстречу и протянул руку. В другой руке у него был бокал.

— Очень рад вас видеть...— произнес он.— Приветствую вас, господин... ум-м...

— Ефрейтор Отто Фрижа, господин полковник! — с восторгом взвизгнул Отто, согнулся пополам и щепотно потрогал пальцы полковника.— Честь имею явиться!..

— Отто, Отто! — укоризненно сказал Андрей.— Мы здесь без чинов!

Отто жалобно хихикнул, вынул платок и вытер было лоб, но тут же испугался и принялся запихивать платок обратно, не попадая в карман.

— Помнится, под Эль-Аламейном,— сказал полковник добродушно,— мои ребята привели ко мне немецкого фельдфебеля...

В передней снова раздался звонок, и Андрей, вновь извинившись, вышел, оставив несчастного Отто на съедение британскому льву.

Явился Изя. Пока он целовал Сельму в обе щеки, пока он чистил по ее требованию ботинки и подвергался обработке платяной щеткой, ввалились разом Чачуа и Дольфюс с Дольфюсихой. Чачуа волочил Дольфюсиху под руку, на ходу одолевая ее анекдотами, а Дольфюс с бледной улыбкой тащился сзади. На фоне темпераментного начальника юридической канцелярии он казался особенно серым, бесцветным и незначительным. На каждой руке у него было по теплому плащу на случай ночного похолодания.

— К столу, к столу! — нежным колокольчиком зазвенела Сельма, хлопая в ладоши.

— Дорогая! — запротестовала басом Дольфюсиха.— Но мне же нужно привести себя в порядок!..

— Зачем?! — поразился Чачуа, вращая налитыми белками.— Такую красоту — и еще приводить в какой-то порядок? В соответствии со статьей двести восемнадцатой уголовно-процессуального кодекса закон имеет воспрепятствовать...

Поднялся обычный гвалт. Андрей не успевал улыбаться. Над левым его ухом клокотал и булькал Изя, излагая что-то по поводу дикого кабака в казармах во время сегодняшней боевой тревоги, а над правым — Дольфюс с места в карьер бубнил о сортирах и о главной канализационной магистрали, близкой к засорению... Потом все повалили в столовую. Андрей, приглашая, рассаживая, напропалую отпуская остроты и комплименты, увидел краем глаза, как отворилась дверь кабинета и оттуда, засовывая трубку в боковой карман, вышел улыбающийся полковник. Один. Сердце у Андрея упало,

но тут появился и ефрейтор Отто Фрижа — по-видимому, он просто выдерживал предписываемую строевым уставом дистанцию в пять метров позади старшего по званию. Началось трескучее щелканье каблуками.

— Пить будем, гулять будем!..— гортанно ревел Чачуа.

Зазвенели ножи и вилки. Не без труда водворив Отто между Сельмой и Дольфюсихой, Андрей сел на свое место и оглядел стол. Все было хорошо.

— И представьте, дорогая, в ковре оказалась вот такая дыра! Это в ваш огород, господин Фрижа, гадкий мальчишка!..

— Говорят, вы там расстреляли кого-то перед строем, полковник?

— И запомните мои слова: канализация, именно канализация когда-нибудь загубит наш город!..

— С такой красотой и такую маленькую рюмку?!..

— Отто, миленький, да оставь ты эту кость... Вот хороший кусочек!..

— Нет, Кацман, это военная тайна. Хватит с меня тех неприятностей, которые я претерпел от евреев в Палестине...

— Водки, советник?

— Благодарю вас, советник!

И щелкали под столом каблуки.

Андрей выпил подряд две рюмки водки — для разгону,— с удовольствием закусил и стал вместе со всеми слушать бесконечно длинный и фантастически неприличный тост, провозглашаемый Чачуа. Когда, наконец, выяснилось, что советник юстиции поднимает этот маленький-маленький бокал с большим-большим чувством не для того, чтобы агитировать присутствующих за все перечисленные половые извращения, а всего лишь «за самых злых и беспощадных моих врагов, с которыми я всю жизнь сражаюсь и от которых всю жизнь терплю поражения, а именно — за прекрасных женщин!..», Андрей облегченно расхохотался вместе со всеми и хлопнул третью рюмку. Дольфюсиха в совершенном изнеможении гукала и рыдала, прикрываясь салфеткой.

Все как-то очень быстро надрались. «Да! О да!» — знакомо доносилось с дальнего конца стола. Чачуа, нависнув шевелящимся носом над ослепительным декольте Дольфюсихи,

говорил, не умолкая ни на секунду. Дольфюсиха изнеможенно гукала, игриво отшатывалась от него и широченной своею спиной наваливалась на Отто. Отто уже два раза уронил вилку. Под боком у Андрея Дольфюс, оставив наконец в покое канализацию, не к месту и не ко времени впал в служебный энтузиазм и напропалую выдавал государственные тайны. «Автономия! — угрожающе бубнил он.— Ключ к ан... авн... автономии — хлорелла!.. Великая Стройка?.. Не смешите меня. Какие, к дьяволу, дирижабли? Хлорелла!» «Советник, советник,— урезонивал его Андрей.— Ради бога! Это совершенно необязательно знать всем. Расскажите мне лучше, как обстоят дела с лабораторным корпусом...» Прислуга уносила грязные тарелки и приносила чистые. Закуски уже смели, было подано мясо по-бургундски.

— Я поднимаю этот маленький-маленький бокал!..

— Да, о да!

— Гадкий мальчишка! Да как же можно вас не любить?

— Изя, отстань от полковника! Полковник, хотите я сяду рядом с вами?

— Четырнадцать кубометров хлореллы — это ноль... Автономия!

— Виски, советник?

— Бл'рю вас, советник!

В разгар веселья в столовой вдруг обнаружился румяный Паркер. «Господин президент просит извинить,— доложил он.— Срочное совещание. Он передает горячий привет госпоже и господину Ворониным, а равно и всем их гостям...» Паркера заставили выпить водки — для этого понадобился всесокрушающий Чачуа. Был произнесен тост за президента и за успех всех его начинаний. Стало немного тише, уже был подан кофе с мороженым и с ликерами. Отто Фрижа слезливо жаловался на любовные неудачи. Дольфюсиха рассказывала Чачуа про милый Кенигсберг, на что Чачуа кивал носом и страстно приговаривал: «А как же! Помню... Генерал Черняховский... Пять суток пушками ломали...» Паркер исчез, за окнами было уже темно. Дольфюс жадно пил кофе и развивал перед Андреем фантасмагорические проекты реконструкции северных кварталов. Полковник рассказывал Изе: «...ему дали десять суток за хулиганство и десять лет каторжных

работ за разглашение государственной и военной тайны». Изя брызгал, булькал и отвечал: «Да это же старье, Сент-Джеймс! У нас это еще про Хрущева рассказывали!..» «Опять политика!» — обиженно кричала Сельма. Она все-таки втиснулась между Изей и полковником, и старый воин по-отечески гладил ее коленку.

Андрею вдруг стало грустно. Он извинился в пустоту, встал и на онемевших ногах прошел в свой кабинет. Там он уселся на подоконнике, закурил и стал смотреть в сад.

В саду было черным-черно, сквозь черную листву сиреневых кустов ярко светились окна соседнего коттеджа. Ночь была теплая, в траве шевелились светлячки. А завтра что? — подумал Андрей. Ну, схожу я в эту экспедицию, ну, разведаю... оружия притащу оттуда кучу, разберу, повешу.... а дальше что?

В столовой галдели. «А вы знаете, полковник? — орал Изя.— Союзное командование предлагает за голову Чапаева двадцать тысяч!..» И Андрей сразу вспомнил продолжение: «Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и больше. Ведь за нами Гурьев, а в Гурьеве — нефть. Хе-хе-хе». «...Чапаев? — спрашивал полковник.— А, это ваш кавалерист. Но его же, кажется, расстреляли?..»

Сельма вдруг затянула высоким голосом: «А наутро Катю... будила ё ма-а-ать... Ставай, ставай, Катя. Корабли стоять...» Но ее тут же перебил бархатный рев Чачуа: «Я принес тебе цветы... Ах, какие чудные цветы!.. У меня ты те цветы не взяла... Почему не взяла?..»

Андрей закрыл глаза и вдруг с необычайно острой тоской вспомнил про дядю Юру. И Вана нет за столом, и дяди Юры нет... Ну на кой ляд, спрашивается, мне этот Дольфюс?.. Призраки окружили его.

На кушетке сидел Дональд в своей потрепанной техасской шляпе. Он положил ногу на ногу и обхватил острое колено крепко сцепленными пальцами. Уходя не грусти, приходя не радуйся... А за стол уселся Кэнси в старой полицейской форме — упер локоть в стол и положил подбородок на кулак. Он смотрел на Андрея без осуждения, но и теплоты не было в этом взгляде. А дядя Юра похлопывал Вана по спине и приговаривал: «Ничего, Ваня, не горюй, мы тебя министром

сделаем, в «Победе» ездить будешь...» И знакомо, нестерпимо щемяще запахло махоркой, здоровым потом и самогоном. Андрей с трудом перевел дух, потер онемевшие щеки и снова стал глядеть в сад.

В саду стояло Здание.

Оно стояло прочно и естественно среди деревьев, словно оно было здесь давно, всегда, и намерено простоять до окончания веков — красное, кирпичное, четырехэтажное — и как тогда, окна нижнего этажа были забраны ставнями, а крыша была покрыта оцинкованной жестью, к двери вело крыльцо из четырех каменных ступенек, а рядом с единственной трубой торчала странная крестовидная антенна. Но теперь все окна его были темны, и ставен на нижнем этаже кое-где не хватало, а стекла были грязные, с потеками, с трещинами, кое-где заменены фанерными покоробленными щитами, а кое-где заклеены крест-накрест полосками бумаги. И не было больше торжественной и мрачной музыки — от Здания невидимым туманом ползла тяжелая ватная тишина.

Не размышляя ни секунды, Андрей перекинул ноги через подоконник и спрыгнул в сад, в мягкую густую траву. Он пошел к Зданию, распугивая светлячков, все глубже зарываясь в мертвую тишину, не спуская глаз со знакомой медной ручки на дубовой двери, только теперь эта ручка была тусклая и покрыта зеленоватыми пятнами.

Он поднялся на крыльцо и оглянулся. В ярко освещенных окнах столовой весело прыгали, ломаясь причудливо, человеческие тени, слабо доносилась плясовая музыка и почему-то опять звон ножей и вилок. Он махнул на все это рукой, отвернулся и взялся за влажную резную медь. В прихожей было теперь полутемно, сыро и затхло, разлапистая вешалка торчала в углу, голая, как мертвое высохшее дерево. На мраморной лестнице не было ковра и не было металлических прутьев — остались только прозеленевшие кольца, старые пожелтевшие окурки да какой-то неопределенный мусор на ступенях. Тяжело ступая и ничего не слыша, кроме своих шагов и своего дыхания, Андрей медленно поднялся на верхнюю площадку.

Из давно погасшего камина несло застарелой гарью и аммиаком, что-то едва слышно копошилось там, шуршало и

топотало. В огромном зале было все так же холодно, дуло по ногам, черные пыльные тряпки свисали с невидимого потолка, мраморные стены темнели неопрятными подозрительными пятнами и блестели потеками сырости, золото и пурпур с них осыпались, а горделиво-скромные бюсты — гипсовые, мраморные, бронзовые, золотые — слепо и скорбно глядели из ниш сквозь клочья пыльной паутины. Паркет под ногами трещал и подавался при каждом шаге, на замусоренном полу лежали лунные квадраты, а впереди уходила вглубь и вдаль какая-то галерея, в которой Андрей никогда раньше не бывал. И вдруг целая стая крыс выскочила у него из-под ног, с писком и топотаньем пронеслась по галерее и исчезла в темноте.

Где же все они? — беспорядочно думал Андрей, бредя по галерее. Что с ними сталось? — думал он, опускаясь в затхлые недра по гремящим железным лестницам. Как же все это произошло? — думал он, переходя из комнаты в комнату, а под ногами его хрустела осыпавшаяся штукатурка, скрипело битое стекло, чавкала заросшая пушистыми холмиками плесени грязь... и сладковато пахло разложением, и где-то тикала, падая капля за каплей, вода, и на ободранных стенах чернели огромные, в мощных рамах картины, на которых ничего нельзя было разобрать...

Теперь здесь всегда так будет, думал Андрей. Что-то я сделал такое, что-то мы все сделали такое, что теперь здесь так будет всегда. Оно больше не сдвинется с места, оно навсегда останется здесь, оно будет гнить и разрушаться, как обыкновенный дряхлый дом, и в конце концов его разобьют чугунными бабами, мусор сожгут, а горелые кирпичи вывезут на свалку... Ведь ни одного же голоса! И вообще ни одного звука, только крысы в отчаянии пищат по углам...

Он увидел огромный шведский шкаф со шторной дверью и вдруг вспомнил, что точно такой же шкаф стоит у него в маленькой комнатушке — шесть квадратных метров, единственное окно во двор-колодец, рядом — кухня. На шкафу полно старых газет, свернутых в рулоны плакатов, которые до войны коллекционировал отец, и еще какого-то лежалого бумажного хлама... и когда огромной крысе мышеловкой раздробило морду, она как-то ухитрилась забраться на этот шкаф и долго там шуршала и копошилась, и каждую ночь Андрей

боялся, что она свалится ему на голову, а однажды взял бинокль и издали, с подоконника, посмотрел, что там делается, среди бумаги. Он увидел — или ему показалось, что он увидел? — торчащие уши, серую голову и страшный, блестящий, словно лакированный, пузырь вместо морды. Это было так жутко, что он выскочил из своей комнаты и некоторое время сидел в коридоре на сундуке, чувствуя слабость и тошноту внутри. Он был один в квартире, ему некого было стесняться, но ему было стыдно за свой страх, и в конце концов он поднялся, пошел в большую комнату и там завел на патефоне «Рио-риту»... А еще через несколько дней в его комнатушке появился сладковатый тошнотный запах, такой же, как здесь...

В глубоком, как колодец, сводчатом помещении странно и неожиданно отсвечивал рядами свинцовых труб огромный орган, давно уже мертвый, остывший, немой, как заброшенное кладбище музыки. А около органа, рядом с креслом органиста, лежал, скрючившись, человечек, закутанный в драный ковер, и в головах у него поблескивала пустая бутылка из-под водки. Андрей понял, что все действительно кончено, и торопливо пошел к выходу.

Спустившись с крыльца в свой сад, он увидел Изю. Изя был непривычно пьяный и весь какой-то особенно растерзанный и взлохмаченный. Он стоял, покачиваясь, держась одной рукой за ствол яблони, и смотрел на Здание. В сумраке блестели его зубы, обнаженные застывшей улыбкой.

— Все,— сказал ему Андрей.— Конец.

— Бред взбудораженной совести! — произнес Изя невнятно.

— Одни крысы бегают,— сказал Андрей.— Гниль.

— Бред взбудораженной совести...— повторил Изя и хихикнул.

РАЗРЫВ НЕПРЕРЫВНОСТИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Преодолев спазм, Андрей проглотил последнюю ложку размазни, с отвращением оттолкнул манерку и потянулся за кружкой. Чай был еще горячий. Андрей взял кружку в ладони и принялся отхлебывать маленькими глотками, уставясь в шипящий огонек бензиновой лампы. Чай был необычайно крепкий, перестоявшийся, от него разило веником, и был у него еще какой-то привкус — то ли от этой гнусной воды, которую они набрали на восемьсот двадцатом километре, то ли Кехада опять подсыпал всему командному составу своей дряни от поноса. А может быть, просто кружку плохо отмыли — была она сегодня какая-то особенно сальная и липкая.

За окном внизу побрякивали котелками солдаты. Остряк Тевосян отмочил что-то насчет Мымры, солдаты заржали было, но тут сержант Фогель заорал вдруг прусским голосом: «Вы на пост идете или к бабе под одеяло, вы, земноводное! Почему босиком? Где ваша обувь, троглодит?» Угрюмый голос отозвался в том смысле, что ноги, мол, стерты до мяса, а местами и до костей. «Закройте пасть, корова крытая! Немедленно обуться — и на пост! Живо!..»

Андрей с наслаждением пошевелил под столом пальцами босых ног. Ноги уже слегка отдышались на прохладном паркете. Холодной воды бы полный таз... Ноги бы туда... Он заглянул в кружку. Чаю оставалось еще до половины, и Андрей, мысленно послав все к чертовой матери, неожиданно для самого себя вылакал остаток в три огромных сладострастных глотка. В животе сразу же заурчало. Некоторое время Андрей опасливо прислушивался к тому, что

там происходит, потом отставил кружку, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на железный ящик с документами. Рапорты надо бы вчерашние достать. Неохота. Успею. Сейчас бы лечь, вытянуться во всю длину, курткой прикрыться и завести глаза минуток этак на шестьсот...

За окном внезапно и неистово затрещал двигатель трактора. Задребезжали остатки стекол в окнах, рядом с лампой упал с потолка кусок штукатурки. Пустая кружка, мелко подрагивая, поползла к краю стола. Андрей, весь сморщившись, поднялся, прошлепал босыми ногами к окну и выглянул.

В лицо пахнуло жаром не успевшей остыть улицы, едкой гарью выхлопов, тошной вонью разогретого масла. В пыльном свете подвижной фары бородатые люди, рассевшись прямо на мостовой, лениво ковырялись ложками в манерках и котелках. Все они были босы, и почти все разделись до пояса. Потные белые тела лоснились, а лица казались черными, и кисти рук были черные, словно все они были в перчатках. Андрей вдруг обнаружил, что никого из них не узнает. Стадо незнакомых голых обезьян... В круг света вступил сержант Фогель с громадным алюминиевым чайником в руке, и обезьяны сейчас же зашевелились, заволновались, заерзали и потянули к чайнику свои кружки. Отталкивая кружки свободной рукой, сержант принялся орать, но за треском двигателя его было почти не слышно.

Андрей вернулся за стол, рывком откинул крышку ящика и извлек журнал и вчерашние рапорты. На стол с потолка упал еще один кусок штукатурки. Андрей посмотрел наверх. Комната была высоченная — метра четыре, а то и все пять. Лепной потолок местами осыпался, и видна была дранка, наводящая на сладостные воспоминания о домашних пирогах с повидлом, которые подавались к огромному количеству прекрасно заваренного, прозрачного, в прозрачных тонкостенных стаканах, чая. С лимоном. Или можно было просто взять пустой стакан и набрать на кухне сколько угодно чистой холодной воды...

Андрей мотнул головой, снова поднялся и наискосок через всю комнату прошел к огромному книжному шкафу. Стекол в дверцах не было, и книг тоже не было — были пустые

пыльные полки. Андрей уже знал это, но все-таки еще раз осмотрел их и даже пошарил рукой в темных углах.

Комната, надо сказать, сохранилась неплохо. Были в ней два вполне приличных кресла и еще одно с продранным сиденьем — когда-то роскошное, обитое тисненой кожей. У стены напротив окна выстроились рядком несколько стульев, и стоял посередине комнаты столик на коротких ножках, и на столике — хрустальная вазочка с какой-то черной засохшей дрянью внутри. Обои отстали от стен, а местами и совсем отвалились, паркет рассохся и вспучился, но все-таки комната была в очень приличном состоянии — совсем недавно здесь еще жили, лет десять тому назад, не больше.

Впервые после пятисотого километра Андрей видел настолько хорошо сохранившийся дом. После многих километров выгоревших дотла кварталов, превратившихся в черную обугленную пустыню; после многих километров сплошных руин, поросших бурой колючкой, среди которых нелепо возвышались дрожащие от ветхости пустые многоэтажные коробки с давно уже обрушившимися перекрытиями; после многих и многих километров пустырей, усаженных сгнившими срубами без крыш, где весь уступ просматривался с дороги от Желтой Стены на востоке и до края обрыва на западе — после всего этого здесь снова начинались почти целые кварталы, выложенная булыжником дорога, и может быть, где-то здесь были люди — во всяком случае, полковник приказал удвоить караулы.

Интересно, как там полковник. Старик что-то сдал за последнее время. Впрочем, за последее время все сдали. Очень кстати, что именно сейчас, впервые за двенадцать суток, ночевка будет под крышей, а не под голым небом. Воду бы здесь найти — можно было бы сделать большой привал. Только воды здесь, кажется, снова не будет. Во всяком случае, Изя говорит, что на воду здесь рассчитывать не стоит. Во всем этом стаде только от Изи да от полковника и есть толк...

В дверь постучали, еле слышно за треском двигателя. Андрей поспешно вернулся на место, накинул куртку и, раскрывая журнал, гаркнул:

— Да!

Это был всего лишь Даган — сухой, старый, под стать своему полковнику, гладко выбритый, опрятный, застегнутый на все пуговицы.

— Разрешите прибрать, сэр? — прокричал он.

Андрей кивнул. Господи, подумал. Это же сколько сил надо потратить, чтобы так соблюдать себя в этом кабаке... А ведь он не офицер, он даже не сержант — всего-навсего денщик. Холуй.

— Как там полковник? — спросил он.

— Виноват, сэр? — Даган с грязной посудой в руках замер, повернув к Андрею длинное хрящеватое ухо.

— Как себя чувствует полковник?! — заорал Андрей, и в ту же самую секунду двигатель за окном замолчал.

— Полковник пьет чай! — заорал Даган в наступившей тишине и сейчас же сконфуженно добавил, понизив голос: — Виноват, сэр. Полковник чувствует себя удовлетворительно. Поужинал и теперь пьет чай.

Андрей рассеянно кивнул и перебросил несколько страниц журнала.

— Будут какие-нибудь приказания, сэр? — осведомился Даган.

— Нет, спасибо,— сказал Андрей.

Когда Даган вышел, Андрей взялся, наконец, за вчерашние рапорты. Вчера он так ничего и не записал. Его так несло, что он едва досидел до конца вечернего рапорта, а потом маялся полночи — торчал на корточках посреди дороги голым гузном в сторону лагеря, напряженно вглядываясь и вслушиваясь в ночной мрак, с пистолетом в одной руке и с фонариком в другой.

«День 28-й»,— вывел он на чистой странице и подчеркнул написанное двумя жирными линиями. Затем он взял рапорт Кехады.

«Пройдено 28 км,— записал он.— Высота солнца 63°51′13″.2 (979-й км). Средняя температура: в тени +23°С, на солнце +31°С. Ветер 2.5 м/сек, влажность 0.42. Гравитация 0.998. Проводилось бурение — 979-й, 981-й, 986-й км. Воды нет. Расход топлива...» Он взял рапорт Эллизауэра, захватанный испачканными пальцами, и долго разбирал куриный почерк.

«Расход топлива 1.32 нормы. Остаток на конец 28-го дня — 3200 кг. Состояние двигателей: № 1 — удовлетворительное; № 2 — изношены пальцы и что-то с цилиндрами...»

Что именно случилось с цилиндрами, Андрей так и не разобрал, хотя подносил листок к самому огню лампы.

«Состояние личного состава: физическое состояние — почти у всех потертости ног, не прекращается поголовный понос, у Пермяка и Палотти усиливается сыпь на плечах. Особых происшествий не произошло. Дважды показывались акульи волки, отогнаны выстрелами. Расход боепитания 12 патронов. Расход воды 40 л. Остаток на конец 28-го дня 1100 кг. Расход продовольствия 20 норм. Остаток на конец 28-го дня 730 норм...»

За окном пронзительно заверещала Мымра, густо заржали прокуренные глотки. Андрей поднял голову, прислушиваясь. А черт его знает, подумал он. Может, это и неплохо, что она с нами увязалась. Все-таки какое ни есть, а для ребят развлечение... Драться вот только из-за нее что-то стали последнее время.

В дверь опять постучали.

— Войдите,— сказал Андрей недовольно.

Вошел сержант Фогель — громадный, красномордый, с широкими черными пятнами пота, расплывшимися из-под мышек френча.

— Сержант Фогель просит разрешения обратиться к господину советнику! — гаркнул он, прижав ладони к бедрам и растопырив локти.

— Слушаю вас, сержант,— сказал Андрей.

Сержант покосился на окно.

— Прошу разрешения говорить конфиденциально,— сказал он, понизив голос.

Это что-то новенькое, подумал Андрей с неприятным ощущением.

— Проходите, садитесь,— сказал он.

Сержант на цыпочках приблизился к столу, присел на краешек кресла и нагнулся к Андрею.

— Люди не хотят идти дальше,— произнес он вполголоса.

Андрей откинулся на спинку стула. Так. Вот, значит, до чего дожили... Прелестно... Поздравляю, господин советник...

— Что значит — не хотят? — сказал он.— Кто их спрашивает?

— Измотаны, господин советник,— сказал Фогель доверительно.— Курево кончается, поносы замучали. А главное — боятся. Страшно, господин советник.

Андрей молча смотрел на него. Надо было что-то делать. Немедленно. Но он не знал, что именно.

— Одиннадцать дней идем по безлюдью, господин советник,— продолжал Фогель почти шепотом.— Господин советник помнит, как нас предупреждали, что будет тринадцать дней безлюдья, а потом — всем конец. Два дня всего осталось, господин советник...

Андрей облизал губы.

— Сержант,— сказал он.— Стыдно. Старый вояка, а верите бабьим слухам. Не ожидал!

Фогель криво ухмыльнулся, двинув огромной нижней челюстью.

— Никак нет, господин советник. Меня не испугаешь. Будь у меня там,— он ткнул большим корявым пальцем за окно,— будь у меня там одни немцы или хотя бы япошки, такого разговора у нас бы не было, господин советник. Но у меня там сброд. Итальяшки, армяне какие-то...

— Отставить, сержант! — возвысив голос, сказал Андрей.— Стыдно. Устава не знаете! Почему обращаетесь не по команде? Что за распущенность, сержант? Встать!

Фогель тяжело поднялся и принял стойку «смирно».

— Сядьте,— сказал Андрей, выдержав паузу.

Фогель так же тяжело сел, и некоторое время они молчали.

— Почему обратились ко мне, а не к полковнику?

— Виноват, господин советник. Я обращался к господину полковнику. Вчера.

— Ну и что?

Фогель замялся и отвел глаза.

— Господину полковнику было не угодно принять мое донесение к сведению, господин советник.

Андрей усмехнулся.

— Вот именно! Какой же вы, к чертовой матери, сержант, если не умеете держать своих людей в порядке? Страшно им, видите ли! Дети малые... Они вас должны бояться, сержант! — заорал он.— Вас! А не тринадцатого дня!

— Если бы это были немцы...— снова начал Фогель угрюмо.

— Это что же такое? — вкрадчиво сказал Андрей.— Я, начальник экспедиции, должен учить вас, как распоследнего сопляка, что надо делать, когда подчиненные бунтуют? Стыдно, Фогель! Если не знаете, почитайте устав. Насколько мне известно, там все это предусмотрено.

Фогель опять ухмыльнулся, двинув нижней челюстью. По-видимому, в уставе такие случаи все-таки не предусматривались.

— Я был о вас лучшего мнения, Фогель,— резко сказал Андрей.— Гораздо лучшего! Зарубите себе на носу: хотят ваши люди идти или не хотят — никого здесь не интересует. Все мы хотели бы сейчас сидеть дома, а не шляться по этому пеклу. Всем хочется пить, и все измотаны. И тем не менее, все выполняют свой долг, Фогель. Ясно?

— Слушаюсь, господин советник,— проворчал Фогель.— Разрешите идти?

— Ступайте.

Сержант удалился, беспощадно попирая сапогами рассохшийся паркет.

Андрей сбросил куртку и снова подошел к окну. Публика вроде бы угомонилась. В круге света возвышался невыносимо длинный Эллизауэр и, наклонившись, рассматривал какую-то бумагу, кажется, карту, которую держал перед ним широкий грузный Кехада. Вынырнув из темноты, мимо них прошел и скрылся в доме какой-то солдат — босой, полуголый, встрепанный, держа автомат за ремень. Там, откуда он шел, чей-то голос воззвал в темноте:

— Носатый! Эй, Тевосян!

— Чего тебе? — откликнулись с невидимой волокуши, где красными светляками разгорались и гасли огоньки сигарет.

— Фару поверни! Не видно здесь ни хрена...

— Да зачем тебе? В темноте не можешь?

— Загадили тут уже все... не знаю, куда ступить...

— Часовому не положено,— вмешался новый голос с волокуши.— Вали, где стоишь!

— Да посветите, мать вашу в душу! Задницу трудно вам поднять, что ли?

Длинный Эллизауэр распрямился, в два шага оказался около трактора и повернул прожектор вдоль улицы. Андрей увидел часового. Придерживая спущенные штаны, часовой неуверенно топтался на полусогнутых ногах возле той здоровенной железной статуи, которую какие-то чудаки умудрились возвести прямо на тротуаре у ближайшего перекрестка. Статуя изображала коренастого типа в чем-то вроде тоги, наголо обритого, с неприятной жабьей физиономией. В свете прожектора статуя казалась черной. Левая рука показывала в небеса, а правая с растопыренными пальцами простиралась над землей. Сейчас на этой руке висел автомат.

— Порядок, спасибочки вам! — обрадованно заорал часовой и прочно утвердился на корточках.— Можно гасить!

— Давай, давай, работай! — поощрили его с волокуши.— Мы тебя огнем прикроем в случае чего.

— Да свет-то уберите, ребята! — взмолился капризный часовой.

— Не убирайте, господин инженер,— посоветовали с волокуши.— Это он шутит. И по уставу не положено...

Но Эллизауэр все-таки убрал свет. Слышно было, как на волокуше возятся и похохатывают. Потом там засвистели дуэтом какой-то марш.

Все как всегда, подумал Андрей. Даже, пожалуй, они сегодня повеселее, чем обычно. Ни вчера, ни позавчера я этих шуточек не слыхал. Жилые дома, может быть?.. Да, очень может быть. Все пустыня, пустыня, а теперь все-таки дома. Можно хоть спокойно выспаться, волки не потревожат... Да только Фогель — не паникер. Не-ет, он не из таких... Андрей вдруг представил себе, как завтра он отдает приказ выступать, а они сбиваются в кучу, ощетиниваются автоматами и говорят: «Не пойдем!» Может быть, они потому и веселые сейчас — обо всем договорились между собой, решили завтра повернуть назад

(«...а что он нам сделает, мозгляк, чиновник задрипанный?..»), и теперь им хоть трава не расти, сам черт не брат, и все на свете они видели в гробу... И Кехада, сволочь, с ними. Он уже сколько дней ноет, что дальше идти бессмысленно... волком на меня смотрит на вечерних рапортах... ему же одно удовольствие будет, если я вернусь к Гейгеру ни с чем, как мокрая курица...

Андрей зябко передернул плечами. Сам виноват, слюнтяй, распустил вожжи, демократ вшивый, народолюбец... Надо было тогда этого рыжего Хнойпека разом поставить к стенке, мерзавца, разом всю эту банду взять за глотку — они бы у меня сейчас по струночке ходили! Главное, случай-то какой был! Групповое изнасилование, причем зверское, причем туземки, причем несовершеннолетней туземки... И как этот Хнойпек нагло ухмылялся — нагло, сыто, отвратно,— когда я орал на них... и как они все позеленели, когда я вытащил пистолет... Ах, полковник, полковник! Либерал вы, а не боевой офицер! «Ну, зачем же сразу расстреливать, советник? Существуют же и иные методы воздействия!..» Не-ет, полковник, на этих Хнойпеков иными методами, как видно, не воздействуешь... А после этого все пошло сикось-накось. Девчонка увязалась за отрядом, я это обстоятельство позорно проморгал (от удивления, что ли?), а потом начались из-за нее драки и свары... И опять же, надо было к первой же драке привязаться, поставить кого-нибудь к стенке, а девку выпороть и вышвырнуть из лагеря вон... А только — куда ее вышвырнешь? Начались горелые кварталы, безводье, появились волки...

Внизу вдруг яростно зарычали, заматерились, что-то упало и покатилось с грохотом, и в круг света из подъезда, спиной вперед, вылетела совершенно голая обезьяна, шлепнулась на задницу, поднявши клуб пыли, и еще не успела подобрать ноги, как на нее из того же подъезда тигром сиганула вторая обезьяна, тоже голая, и они сцепились, покатились по булыжной мостовой, завывая и рыча, хрипя и плюясь, изо всех сил метеля друг друга.

Андрей, вцепившись одной рукой в подоконник, другой бестолково шарил у пояса, забыв, что кобура валяется в кресле, но тут из темноты вынырнул сержант Фогель,

налетел, как черная потная туча, гонимая ураганом, навис над мерзавцами, и вот уже ухватил одного за волосы, другого за бороду, оторвал от земли, с сухим треском ударил друг о друга и отшвырнул от себя в разные стороны, как щенков.

— Очень хорошо, сержант! — раздался слабый, но твердый голос полковника.— Привязать негодяев на ночь к койкам, а завтра — на весь день в авангард вне очереди.

— Слушаюсь, господин полковник,— тяжело дыша отозвался сержант. Он глянул направо, где копошилась на булыжнике, силясь подняться, голая обезьяна, и неуверенно добавил: — Осмелюсь доложить, господин полковник, один — не наш. Картограф Рулье.

Андрей замотал головой, освобождая место в глотке, и не своим голосом проревел:

— Картографа Рулье в авангард на три дня, с полной солдатской выкладкой! При повторении драки расстрелять обоих на месте! — В горле у него что-то болезненно сорвалось.— Расстреливать на месте всех мерзавцев, которые осмеливаются драться! — просипел он.

Он пришел в себя уже за столом. Поздно, пожалуй, думал он, тупо разглядывая свои подрагивающие пальцы. Поздно. Надо было раньше... Но вы у меня пойдете! Вы у меня будете делать, что вам приказывают! Половину я велю перестрелять... сам перестреляю... но другая половина у меня пойдет по струночке. Хватит... Хватит! А Хнойпеку — первая пуля при любых обстоятельствах. Первая!..

Он пошарил за спиной, вытянул кобуру с ремнем и достал пистолет. Ствол был забит грязью. Он потянул затвор. Затвор пошел туго, оттянулся до половины и застрял в таком положении. Ч-черт, все завязло, все в грязи... За окном было очень тихо, только позвякивали в отдалении подковки часовых по булыжнику, да еще кто-то сморкался в нижнем этаже и громко шипел сквозь зубы.

Андрей подошел к двери и выглянул в коридор.

— Даган! — позвал он вполголоса.

В углу что-то шевельнулось. Вздрогнув, Андрей присмотрелся: это был Немой. Он сидел в своей обычной позе,

скрестив и каким-то очень сложным образом переплетя ноги. Глаза его влажно поблескивали в полутьме.

— Даган! — позвал Андрей громче.

— Иду, сэр! — откликнулись из глубины дома. Послышались шаги.

— Чего ты здесь сидишь? — сказал Андрей Немому.— Зайди в комнату.

Немой, не шевелясь, смотрел на него, подняв широкое лицо.

Андрей вернулся к столу и, когда Даган, постучав, заглянул в комнату, сказал ему:

— Приведите в порядок мой пистолет, пожалуйста.

— Слушаюсь, сэр,— почтительно сказал Даган, взял пистолет и у дверей посторонился, пропуская в комнату Изю.

— Ага, лампа! — сказал Изя, устремляясь прямо к столу.— Слушай, Андрей, а больше у нас нет такой лампы? Надоело мне с фонариком, глаза уже болят...

За последние дни Изя здорово похудел. Все на нем висело, и все на нем было рваное. И разило от него, как от старого козла. Впрочем, и от всех так разило. Кроме полковника.

Андрей смотрел, как Изя, ни на что не обращая внимания, подхватил стул, уселся и придвинул к себе лампу. Потом он принялся доставать из-за пазухи пачки каких-то мятых старых бумаг и раскладывать их перед собой. При этом он по обыкновению слегка подпрыгивал на стуле, шарил по бумагам глазами, словно бы пытаясь прочесть все их сразу, и время от времени пощипывал бородавку. До этой бородавки ему теперь было трудненько добираться по причине густейшей курчавой волосни, покрывавшей щеки, шею и даже, кажется, уши.

— Слушай, ты бы побрился все-таки,— сказал Андрей.

— Зачем это? — рассеянно осведомился Изя.

— Весь командный состав бреется,— сказал Андрей сердито.— Один ты ходишь как чучело.

Изя поднял голову и некоторое время смотрел на Андрея, обнажив среди волосни желтоватые, давно не чищенные зубы.

— Да? — сказал он.— А ты знаешь, я — человек непрестижный. Смотри, какая на мне курточка.

Андрей посмотрел.

— Тоже, между прочим, мог бы заштопать. Сам не умеешь — Дагану отдай.

— По-моему, у Дагана и без меня дел хватает... Кстати, в кого это ты собираешься стрелять?

— В кого надо,— сказал Андрей мрачно.

— Ну-ну,— сказал Изя и погрузился в чтение.

Андрей глянул на часы. Было уже без десяти. Андрей со вздохом полез под стол, нашарил там башмаки, вынул из них уже затвердевшие носки, понюхал украдкой, потом задрал правую ногу к свету и осмотрел стертую пятку. Ссадина немножко подзатянулась, но было еще больно. Заранее сморщившись, он осторожно натянул задубевший носок и подвигал ступней. Совсем сморщился и потянулся за ботинком. Обувшись, он опоясался ремнем с пустой кобурой, оправил и застегнул куртку.

— На,— сказал Изя и толкнул ему через стол пачку исписанных бумаг.

— Это что? — без всякого интереса спросил Андрей.

— Бумага.

— А-а...— Андрей собрал листки и спрятал в карман куртки.— Спасибо.

Изя уже снова читал. Быстро, как машина.

Андрей вспомнил, как ему не хотелось брать Изю в эту экспедицию — с его нелепым видом огородного чучела, с его вызывающе еврейской физиономией, с его наглым хихиканьем, с его самоочевидной непригодностью к тяжелым физическим нагрузкам. Было совершенно ясно, что Изя будет доставлять массу хлопот, а толку от архивариуса в походных условиях, приближенным к боевым, будет чуть. И все оказалось не так.

То есть, ТАК тоже оказалось. Изя первый стер ноги. Сразу обе. Изя был невыносим на вечерних рапортах со своими идиотскими неуместными шуточками и непрошенной фамильярностью. На третий день пути он ухитрился провалиться в какой-то погреб, и его пришлось вытаскивать всей командой. На пятый день он потерялся и задержал выступление на несколько часов. Во время стычки на триста сороковом километре он вел себя как последний кретин и только

чудом остался жив. Солдаты издевались над ним, а Кехада с ним постоянно ссорился. Эллизауэр оказался принципиальным юдофобом, и пришлось делать ему по поводу Изи специальное внушение... Было. Все было.

И при всем при том довольно скоро получилось так, что Изя сделался самой популярной в экспедиции фигурой, не считая, может быть, полковника. А в известном смысле и более популярной. Во-первых, он находил воду. Геологи много и тщетно искали источники, сверлили скалы, потели, совершали изнурительные походы во время общих привалов. Изя просто сидел в волокуше под уродливым самодельным зонтиком и копался в старых бумагах, которых у него набралось уже несколько ящиков. И он четыре раза предсказал, где искать подземные цистерны. Правда, одна цистерна оказалась пересохшей, а в другой вода порядочно протухла, но дважды экспедиция получила прекрасную воду, благодаря Изе и только Изе.

Во-вторых, он нашел склад солярки, после чего антисемитизм Эллизауэра сделался в значительной степени абстрактным. «Я ненавижу жидов,— объяснялся он своему главному мотористу.— Нет ничего на свете хуже жида. Однако я никогда ничего не имел против евреев! Возьми, скажем, Кацмана...»

Далее, Изя всех снабжал бумагой. Запасы пипифакса кончились после первого же взрыва желудочных заболеваний, и вот тут популярность Изи — единственного обладателя и хранителя бумажных богатств в стране, где не то что лопуха, пучка травы не отыщешь,— тут уж популярность Изи достигла наивозможнейшего предела.

Не прошло и двух недель, как Андрей с некоторой даже ревностью обнаружил, что Изю любят. Все. Даже солдаты, что было совершенно уже невероятно. Во время привалов они толклись около него и раскрывши рты слушали его трепотню. Они по собственному почину и с удовольствием перетаскивали с места на место его железные ящики с документацией. Они жаловались ему и выпендривались перед ним, как школьники перед любимым учителем. Фогеля они ненавидели, перед полковником — трепетали, с научниками дрались, а с Изей — смеялись. Не над ним уже — с ним!.. «Вы

знаете, Кацман,— сказал однажды полковник.— Я никогда не понимал, зачем в армии нужны комиссары. У меня никогда не было комиссара, но вас бы я, пожалуй, на такую должность взял...»

Изя кончил разбирать одну пачку бумаг и извлек из-за пазухи вторую.

— Есть что-нибудь интересное? — спросил Андрей. Спросил не потому, что ему было на самом деле любопытно, а просто захотелось как-то выразить нежность, которую он вдруг испытал к этому неуклюжему, нелепому, даже неприятному на вид человеку.

Изя не успел ответить — успел только головой помотать. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул полковник Сент-Джеймс.

— Разрешите, советник? — произнес он.

— Прошу вас, полковник,— сказал Андрей, поднимаясь.— Добрый вечер.

Изя вскочил и пододвинул полковнику кресло.

— Вы очень любезны, комиссар,— сказал полковник и медленно, в два разделения, уселся. Выглядел он как обычно — подтянутый, свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком — только вот щеки у него последнее время малость ввалились и необычайно глубоко запали глаза. И ходил он теперь уже не со своеобычным стеком, а с длинной черной тростью, на которую заметно опирался, когда приходилось стоять.

— Эта безобразная драка под окнами...— сказал полковник.— Я приношу вам свои извинения, советник, за моего солдата.

— Будем надеяться, что это была последняя драка,— сказал Андрей угрюмо.— Я больше не намерен этого терпеть.

Полковник рассеяно покивал.

— Солдаты всегда дерутся,— заметил он небрежно.— В британской армии это, собственно, поощряется. Боевой дух, здоровая агрессивность и так далее... Но вы, разумеется, правы. В таких тяжелых походных условиях это нетерпимо.— Он откинулся в кресле, достал и принялся набивать трубку.— А ведь потенциального противника все не видно,

советник! — сказал он юмористически.— Я предвижу в связи с этим большие осложнения для моего бедного генерального штаба. Да и для господ политиков — тоже, если быть откровенным...

— Наоборот! — воскликнул Изя.— Вот теперь-то для всех нас и начнутся самые горячие денечки! Поскольку настоящего противника не существует, необходимо его придумать. А как показывает мировой опыт, самый страшный противник — это противник придуманный. Уверяю вас, это будет невероятно жуткое чудовище. Армию придется удвоить.

— Вот как? — сказал полковник по-прежнему юмористически.— Интересно, кто же будет его придумывать? Уж не вы ли, мой комиссар?

— Вы! — сказал Изя торжественно.— Вы в первую очередь.— Он принялся загибать пальцы.— Во-первых, вам придется создать при генеральном штабе отдел политической пропаганды...

В дверь постучали, и прежде чем Андрей успел ответить, вошли Кехада и Эллизауэр. Кехада был мрачен, Эллизауэр неопределенно улыбался откуда-то из-под самого потолка.

— Прошу садиться, господа,— холодно предложил им Андрей. Он постучал по столу костяшками пальцев и сказал Изе: — Кацман, мы начинаем.

Изя оборвал себя на полуслове и с готовностью повернулся лицом к Андрею, перекинув руку через спинку кресла. Полковник снова выпрямился и сложил ладони на набалдашнике трости.

— Ваше слово, Кехада,— сказал Андрей.

Начальник научной части сидел прямо перед ним, широко расставив толстые, как у штангиста, ноги, чтобы не мокло в шагу, а Эллизауэр, как всегда, устроился у него за спиной, сильно там ссутулившись, чтобы не слишком торчать.

— По геологии ничего нового,— мрачно сказал Кехада.— По-прежнему глина, песок. Никаких следов воды. Здешний водопровод давно пересох. Может быть, именно поэтому они и ушли отсюда, не знаю... Данные по солнцу,

ветру и так далее...— Он достал из нагрудного кармана листок бумаги, перебросил Андрею.— У меня пока все.

Андрею очень не понравилось это «пока», но он только кивнул и стал смотреть на Эллизауэра.

— Транспортная часть?

Эллизауэр распрямился и заговорил поверх головы Кехады:

— Пройдено сегодня тридцать восемь километров. Двигатель трактора номер второй надо ставить на капитальный ремонт. Очень сожалею, господин советник, но — увы...

— Так,— сказал Андрей.— Что это значит — капитальный ремонт?

— Два-три дня,— сказал Эллизауэр.— Часть узлов придется заменить, а другие привести в порядок. Может быть, даже четыре дня. Или пять.

— Или десять,— сказал Андрей.— Дайте рапорт.

— Или десять,— согласился Эллизауэр, все так же неопределенно улыбаясь. Не вставая, он протянул через плечо Кехады свой рапорт.

— Вы это в шутку? — стараясь говорить спокойно, произнес Андрей.

— Что именно, господин советник? — Эллизауэр испугался. Или только сделал вид, что испугался.

— Три дня или десять дней, господин специалист?!

— Я очень сожалею, господин советник...— забормотал Эллизауэр.— Я боюсь сказать точно... Мы не в гараже, и потом мой Пермяк... У него какая-то сыпь, и весь день его рвало... Он у меня главный моторист, господин советник...

— А вы? — сказал Андрей.

— Я сделаю все, что смогу... Другое дело, что в наших условиях... я имею в виду — в полевых условиях...

Некоторое время он еще продолжал болтать что-то насчет мотористов, насчет крана, которого не захватили, а ведь он предупреждал... насчет сверлильного станка, которого здесь нет и быть, к сожалению, не может, снова насчет моториста и еще что-то там про поршни и пальцы... С каждой минутой он говорил все тише, все невнятней и наконец замолчал совсем, а Андрей все это время, не отрываясь, смотрел ему в глаза, и было совершенно ясно, что этот длинный трусливый

пройдоха совсем заврался, и сам уже понимает это, и видит, что все это понимают, и пытается как-то вывернуться, но не умеет, и все-таки намерен твердо стоять на своем вранье до победного конца.

Потом Андрей опустил глаза и уставился в его рапорт, в неряшливые строчки, нацарапанные куриным почерком, но ничего при этом не видел и не понимал. Сговорились, гады, думал он с тихим отчаянием. Эти — тоже сговорились. Ну, как мне теперь с ними?.. Пистолета нет, жалко... Шлепнуть Эллизауэра... или запугать так, чтобы обосрался... Нет,— Кехада, Кехада, вот кто у них главный. На меня все хочет свалить... Всю эту протухшую, провонявшую затею хочет свалить на меня одного... подонок, толстый боров... Ему хотелось заорать и изо всех сил ахнуть кулаком по столу.

Молчание становилось нестерпимым. Изя вдруг нервно заерзал на стуле и принялся бормотать:

— В чем, собственно, дело? В конце концов, торопиться нам особенно некуда. Сделаем остановку... В зданиях могут быть архивы... Воды здесь, правда, нет, но за водой можно послать вперед отдельную группу...

И тут его оборвал Кехада.

— Ерунда,— сказал он резко.— Хватит болтать, господа. Давайте ставить точки над «и». Экспедиция провалилась. Воды мы не нашли. Нефти — тоже. И не могли найти при такой организации георазведки. Несемся как сумасшедшие, людей измотали, транспорт измочалили. Дисциплина в отряде ни к черту — девок приблудных подкармливаем, тащим с собой каких-то распространителей слухов... Перспектива давным-давно утеряна, всем на все наплевать. Люди идти дальше не хотят, они не видят, зачем нужно идти, и нам нечего им сказать. Космографические данные оказались просто ни к черту не годными: готовились к полярным холодам, а заехали в раскаленную пустыню. Личный состав экспедиции подобран плохо, с бору по сосенке. Медицинское обеспечение отвратительное. Вот в результате мы и получаем то, что должны были получить: падение морального духа, развал дисциплины, скрытое неповиновение и не сегодня завтра — бунт. Все.

Кехада замолчал, вытащил портсигар и закурил.

— Что вы, собственно, предлагаете, господин Кехада? — проговорил Андрей спертым голосом. Ненавистное лицо с толстыми усами плавало перед ним в паутине каких-то неопределенных линий. Очень хотелось влепить. Лампой. Прямо по усам...

— По-моему, это тривиально,— произнес Кехада с пренебрежением.— Надо поворачивать оглобли. И немедленно. Пока целы.

Спокойствие, убеждал себя Андрей. Сейчас — только спокойствие. Как можно меньше слов. Не спорить ни в коем случае. Спокойно слушать и молчать. Ах, до чего же хочется влепить!..

— Действительно,— подал голос Эллизауэр.— До каких же пор можно идти? Мои люди меня спрашивают: что же это получается, господин инженер? Договорились идти, пока солнце не сядет за горизонт. Так оно — наоборот, поднимается. Потом договорились, что пока оно не поднимется в зенит... Опять же — не поднимается, до зенита не доходит, а скачет то вверх, то вниз...

Только не спорить, твердил про себя Андрей. Пусть болтают. Это даже интересно, что они там еще придумают сказать... Полковник не выдаст. Армия все решает. Армия!.. Неужели это они Фогеля подговорили, гады?..

— Ну, а вы-то что? — спросил Изя Эллизауэра.— Вы?

— А что — я?

— Они вас спрашивают, понятно... А что вы им отвечаете?

Эллизауэр принялся пожимать плечами и двигать реденькими бровями.

— Даже странно...— бормотал он при этом.— А что я могу им ответить, спрашивается? Вот я и хотел бы узнать, что я должен им отвечать? Откуда мне это знать?..

— То есть вы им ничего не отвечаете?

— А что я могу ответить? Что?! Отвечаю, что начальству виднее...

— Ну и ответ! — сказал Изя, ужасно тараща глаза.— Да такими ответами целую армию разложить можно, не то что несчастных водителей... Я, мол, ребятушки, хоть сейчас готов назад, да вот зверь-начальник не пускает... Вы сами-то

понимаете, зачем мы идем? Ведь вы же доброволец, вас никто не принуждал!

— Слушайте, Кацман...— попытался прервать его Кехада.— Давайте говорить о деле!

Изя даже не взглянул на него.

— Вы знали, что будет трудно, Эллизауэр? Знали. Знали, что не за пряниками идем? Знали... Знали, что Городу нужна эта экспедиция? Знали — вы образованный человек, инженер... Знали приказ: идти, пока хватает горючего и воды? Прекрасно знали, Эллизауэр!

— Да я ведь не возражаю! — торопливо заговорил вконец перепуганный Эллизауэр.— Я ведь только вам объясняю, что мои объяснения... то есть, что мне не ясно, как им надо отвечать, потому что меня ведь спрашивают...

— Да перестаньте вы вилять, Эллизауэр! — решительно сказал Изя.— Все предельно ясно: дальше идти боитесь, ведете моральный саботаж, разложили собственных подчиненных, а теперь прибежали сюда жаловаться... А вам, между прочим, даже пешком ходить не приходится. Все время ездите...

Давай, Изя, давай, голубчик, думал Андрей с умилением. Врежь ему, паскудине, врежь!.. Он уже обгадился, сейчас в сортир попросится...

— И вообще я не понимаю, из-за чего вся эта паника,— продолжал Изя все так же решительно.— Геология нас подвела? Да господь с ней, с геологией, обойдемся и без геологии. Без космографии тем более обойдемся... Неужели неясно, что главное наше дело — разведка, сбор информации. Я лично утверждаю, что экспедиция уже сегодня сделала очень много, а может сделать еще больше. Трактор поломался? Не страшно. Пусть его здесь ремонтируют, два дня или десять, я не знаю — оставим здесь самых усталых и больных, а на втором тракторе двинемся потихонечку дальше. Воду найдем — остановимся, подождем оставшихся. Ведь все очень просто, ничего особенного...

— Да, конечно, все очень просто, Кацман,— желчно сказал Кехада.— А пулю в спину не хотите, Кацман? Или в лоб? Вы слишком увлеклись своими архивами, ничего вокруг

не замечаете... Солдаты дальше не пойдут. Я это знаю, я слышал, как они договаривались...

Эллизауэр вдруг воздвигся у него за спиной и, бормоча невнятные извинения, демонстративно держась за живот, кинулся вон из комнаты. Крыса, со злорадством подумал Андрей. Сволочь трусливая. Дристун...

Кехада будто ничего не заметил.

— Из своих геологов я могу положиться только на одного человека,— продолжал он.— На солдат и на водителей нельзя полагаться вообще. Конечно, вы можете расстрелять одного или двоих для острастки... может быть, это поможет. Не знаю. Сомневаюсь. И я не уверен, что вы имеете моральное право так поступать. Они не хотят идти, потому что чувствуют себя обманутыми. Потому что они ничего не получили от этого похода и теперь уже не надеются получить. Эта прекрасная легенда, которую так находчиво придумал господин Кацман,— легенда насчет Хрустального Дворца — действовать перестала. Преобладают, знаете ли, Кацман, другие легенды...

— Какого черта? — сказал Изя, заикаясь от негодования.— Я ничего не придумывал!..

Кехада отмахнулся от него почти добродушно.

— Ладно, ладно, теперь это уже не имеет никакого значения. Теперь уже ясно, что дворца не будет, так что и говорить здесь не о чем... Вы же прекрасно знаете, господа, что три четверти ваших добровольцев шли в этот поход за добычей и только за добычей. И что они получили вместо добычи? Кровавый понос да вшивую идиотку для ночных развлечений... Но дело даже не в этом. Мало того, что они разочарованы,— они еще и напуганы. Скажем спасибо господину Кацману. Скажем спасибо господину Паку, которому мы так любезно предложили стол и дом в экспедиции. Стараниями этих господ люди чрезмерно много узнали о том, что́ нам предстоит, если мы двинемся дальше. Люди боятся тринадцатого дня. Люди боятся говорящих волков... Мало нам было акульих волков — нам пообещали говорящих!.. Люди боятся железноголовых. А в сочетании с тем, что они уже повидали — все эти немые с вырезанными языками, заброшенные концлагеря, одичавшие кретины, которые молятся источникам, и

хорошо вооруженные кретины, которые ни с того ни с сего стреляют из-за угла... В сочетании с тем, что они увидели за сегодняшний день, здесь, в этих домах — эти кости в забаррикадированных квартирах.... Прелестное и внушительное получается сочетание! И если вчера солдат больше всего на свете боялся сержанта Фогеля, то сегодня ему на Фогеля уже наплевать — у него есть страхи пострашнее...

Кехада наконец замолк и, переводя дух, вытер пот, обильно выступивший на его толстом лице. И тут полковник, иронически подняв одну бровь, произнес:

— У меня создается впечатление, что вы и сами основательно напуганы, господин Кехада. Или я ошибаюсь?

Кехада скосил на него красный глаз.

— За меня не беспокойтесь, полковник,— проворчал он.— Если я чего-нибудь и боюсь, так это — пули между лопаток. Ни за что ни про что. От людей, которым я, между прочим, сочувствую.

— Вот как? — заметил полковник.— Ну что ж... Я не берусь судить о важности настоящей экспедиции и не берусь указывать начальнику экспедиции, как ему надлежит поступать. Мое дело — выполнять приказания. Считаю, однако, необходимым сказать, что все эти рассуждения насчет бунта и неповиновения представляются мне праздной болтовней. Предоставьте моих солдат мне, господин Кехада! Если угодно, можете предоставить мне и тех ваших геологов, которым вы не доверяете. Я с удовольствием ими займусь... Должен обратить ваше внимание, советник,— все с той же убийственной вежливостью продолжал он, поворачиваясь к Андрею,— что сегодня здесь слишком много говорят о солдатах, причем почему-то как раз те лица, которые к солдатам никакого официального отношения не имеют...

— О солдатах говорят лица,— зло прервал его Кехада,— которые круглосуточно работают, едят и спят рядом с ними...

В возникшей тишине послышался легкий скрип кожаного кресла: полковник сел очень прямо. Некоторое время он молчал. Тихонько приоткрылась дверь, Эллизауэр с постной улыбкой, слегка кланяясь на ходу, прокрался к своему месту.

Ну, торопил Андрей, во все глаза глядя на полковника. Ну! Врежь ему! По усам! По роже ему, по роже!..

Полковник наконец заговорил:

— Должен также обратить ваше внимание, советник, что среди некоторой части командного состава обнаружилось сегодня явное сочувствие и, более того, потворство вполне понятным, обычным, но совершенно нежелательным настроениям среди нижних чинов армии. Как старший офицер я имею заявить следующее. В том случае, если упомянутые потворство и сочувствие примут какие-либо практические формы, я буду поступать с потворствующими и сочувствующими, как полагается поступать с таковыми в полевых условиях. В остальном, господин советник, имею честь заверить вас, что армия и впредь готова выполнять любые ваши распоряжения.

Андрей потихоньку перевел дух и с удовольствием посмотрел на Кехаду. Кехада, криво улыбаясь, прикуривал новую сигарету от окурка старой. Эллизауэра не было видно вовсе.

— А как, собственно, поступают с потворствующими и сочувствующими в полевых условиях? — с огромным любопытством осведомился Изя, который тоже был очень доволен.

— Их обычно вешают,— сухо ответил полковник.

Снова наступила тишина. Вот так-то, думал Андрей. Вам, надеюсь, все ясно, господин Кехада? Или, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Нет у вас никаких вопросов, куда там!.. Армия! Армия все решает, голубчики мои... И все равно я ничего не понимаю, думал он. Откуда у него такая уверенность? Или, может быть, это только маска, полковник? Я ведь тоже выгляжу сейчас очень уверенным. Во всяком случае, должен бы выглядеть... Обязан.

Он исподлобья посмотрел на полковника. Тот по-прежнему сидел очень прямо, стиснув в зубах погасшую трубку. И он был очень бледен. Может быть, просто от злости. Будем надеяться, что всего лишь от злости... К черту, к черту, панически подумал Андрей. Большой привал! Немедленно! И пусть Кацман достанет мне воду. Много воды. Для полковника. Для одного полковника. И прямо с сегодняшней ночи полковнику — двойную порцию воды!..

Эллизауэр, весь перекошенный, высунулся из-за толстого плеча Кехады и жалобно проскрипел:

— Разрешите... Мне необходимо... Опять...

— Сядьте,— сказал ему Андрей.— Сейчас заканчиваем.— Он откинулся в кресле и взялся за подлокотники.— Приказ на завтра. Объявляется большой привал. Эллизауэр! Все силы на неисправный трактор. Даю вам три дня сроку, извольте управиться. Кехада. Завтра весь день занимайтесь больными. Послезавтра будьте готовы выступить со мной в глубокую разведку. Кацман, вы поедете с нами... Воду! — он постучал пальцем по столу.— Воду мне, Кацман!.. Господин полковник! Завтра приказываю вам отдыхать. Послезавтра примете командование лагерем. Все, господа. Свободны.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Светя себе под ноги фонариком, Андрей торопливо поднялся на следующий этаж — кажется, уже на пятый. Ч-черт, не добегу ведь... Он приостановился и весь напрягся, пережидая острый позыв. В животе что-то с глухим ворчанием провернулось, стало чуть полегче. Дьяволы, все этажи засрали, ступить некуда. Он добрался до площадки и толкнулся в первую же дверь. Дверь со скрипом приоткрылась. Андрей протиснулся внутрь и принюхался. Вроде бы ничего... Он посветил фонариком. На рассохшемся паркете, тут же у дверей, белели кости среди заскорузлых лохмотьев, скалил зубы череп, облепленный пучками волос. Ну ясно: заглянули, но испугались... Неестественно передвигая ногами, Андрей почти побежал по коридору. Гостиная... Ч-черт, что-то вроде спальни... Где здесь у них сортир? А, вот он...

Потом, уже спокойный, хотя резь в животе так и не утихла до конца, весь покрытый холодным липким потом, он снова вышел в коридор, застегнулся во тьме и снова вытащил из кармана фонарик. Немой был тут как тут — стоял, прислонившись плечом к какому-то полированному, бесконечной высоты шкафу, засунув большие белые ладони под широкий ремень.

— Сторожишь? — рассеянно-добродушно сказал ему Андрей.— Сторожи, сторожи, а то вот саданут меня чем-нибудь тяжелым из-за угла — что тогда будешь делать?..

Он поймал себя на том, что взял привычку разговаривать с этим странным человеком, как с огромной собакой, и ему стало неловко. Он дружески похлопал Немого по голому прохладному плечу и теперь уже не торопясь пошел по квартире, светя фонариком направо и налево. Позади, не приближаясь и не отставая, слышались мягкие шаги Немого.

Эта квартира была еще роскошнее. Множество комнат, набитых тяжелой старинной мебелью, мощные люстры, огромные почерневшие картины — в музейных рамах. Но мебель почти вся была поломана — ручки у кресел оторваны, стулья валялись без ножек и без спинок, у шкафов были оторваны дверцы. Топили они здесь мебелью, что ли, подумал Андрей. При такой-то жаре? Странно...

Дом был вообще, прямо скажем, странноватый,— солдат вполне можно было понять. Некоторые квартиры стояли нараспашку, там было просто пусто, совсем ничего, голые стены. Другие квартиры были заперты изнутри, иногда даже забаррикадированы мебелью, и если удавалось вломиться внутрь, оказывалось, что там валяются на полу человеческие кости. То же самое было и в домах по соседству, и можно было предполагать, что то же обнаружится и в остальных домах этого квартала.

Все это было ни с чем не сообразно, и даже Изя Кацман пока не сумел придумать никакого вразумительного объяснения, почему одни жильцы этих домов бежали, захватив с собою все, что могли унести, даже книги, а другие — забаррикадировались в своих жилищах, чтобы там умереть, по-видимому, от голода и жажды. А может быть, и от холода — в некоторых квартирах обнаружились жалкие подобия железных печурок, а в других огонь разводили, видимо, прямо на полу или на листах ржавого железа, сорванных, скорее всего, с крыши.

— Ты понимаешь, что здесь произошло? — спросил Андрей Немого.

Тот медленно покачал головой.

— Ты был здесь когда-нибудь раньше?

Немой кивнул.

— Тогда здесь жили?

«Нет»,— показал Немой.

— Понятно...— пробормотал Андрей, пытаясь разобрать, что изображено на почерневшей картине. Кажется, что-то вроде портрета. Кажется, женщина какая-то...

— Это опасное место? — спросил он.

Немой глядел на него остановившимися глазами.

— Понимаешь вопрос?

Да.

— Можешь ответить?

Нет.

— И на том спасибо,— сказал Андрей задумчиво.— Значит, может, и ничего. Ладно, пошли домой.

Они вернулись на второй этаж. Немой остался в своем углу, а Андрей прошел к себе. Кореец Пак уже ждал его — беседовал о чем-то с Изей. Увидев Андрея, он замолчал и поднялся ему навстречу.

— Садитесь, господин Пак,— сказал Андрей и сел сам.

Пак, чуточку помедлив, осторожно опустился на сиденье стула и положил руки на колени. Желтоватое лицо его было спокойно, сонные глаза влажно поблескивали сквозь щелочки между припухшими веками. Андрею он всегда нравился — чем-то неуловимо напоминал Кэнси, а может быть, просто потому, что был всегда опрятен, благожелателен, со всеми дружелюбен, но без всякой фамильярности, немногословен, но вежлив и приветлив — всегда немного сам по себе, всегда на некотором расстоянии... А может быть, потому, что именно он, Пак, прекратил эту нелепую стычку на триста сороковом километре — в самый разгар пальбы вышел из развалин и, подняв руку с раскрытой ладонью, неторопливо двинулся навстречу выстрелам...

— Вас не разбудили, господин Пак? — спросил Андрей.

— Нет, господин советник. Я еще не ложился.

— Желудок мучает?

— Не больше, чем других.

— Но, вероятно, и не меньше...— заметил Андрей.— А как у вас с ногами?

— Лучше, чем у других.

— Это хорошо,— сказал Андрей.— А как вообще самочувствие? Очень сильно устали?

— У меня все в порядке, благодарю вас, господин советник.

— Это хорошо,— повторил Андрей.— Я вот почему побеспокоил вас, господин Пак. Завтра объявлен большой привал. Но уже послезавтра я намерен с особой группой совершить небольшую рекогносцировку. Километров на пятьдесят-семьдесят вперед. Нам надо найти воду, господин Пак. Идти будем, вероятно, налегке, но быстро.

— Понимаю вас, господин советник,— сказал Пак.— Прошу разрешения присоединиться.

— Благодарю. Хотел просить вас об этом. Итак, выходим послезавтра, прямо в шесть утра. Сухой паек и воду получите у сержанта. Договорились? Теперь вот что... Как вы полагаете, сумеем мы найти здесь воду?

— Думаю, да,— сказал Пак.— Я слышал кое-что об этих районах. Где-то здесь должен быть источник. Когда-то, по слухам, это был очень обильный источник. Теперь он, вероятно, оскудел. Но на наш отряд, возможно, и хватит. Надо посмотреть.

— А может быть, он вообще пересох?

Пак покачал головой.

— Возможно, но весьма маловероятно. Я никогда не слыхал об источниках, которые пересыхают совсем. Выход воды может уменьшиться, даже сильно уменьшиться, но совсем источники, видимо, не пересыхают.

— В документах я пока не нашел ничего полезного,— сказал Изя.— Вода в город подавалась по акведуку, а теперь этот акведук сух, как... как я не знаю что.

Пак промолчал.

— А что вы еще слыхали об этих кварталах? — спросил его Андрей.

— Разные более или менее страшные вещи,— сказал Пак.— Часть — явная выдумка. Что касается остального...— он пожал плечами.

— Ну, например? — сказал Андрей благодушно.

— Собственно, все это я уже рассказывал вам раньше, господин советник. Например, по слухам, где-то неподалеку

отсюда находится так называемый Город Железноголовых. Однако кто такие эти железноголовые, я понять так и не сумел... Кровавый водопад — но это еще, повидимому, далеко. Вероятно, речь идет о потоке, который размывает какую-нибудь горную породу красного цвета. Воды там, во всяком случае, будет много... Существуют легенды о говорящих животных — это уже на грани вероятного. А о том, что находится за этой гранью, говорить, видимо, не имеет смысла... Впрочем, Эксперимент есть Эксперимент.

— Вам, наверное, очень надоели эти расспросы,— сказал Андрей, улыбаясь.— Воображаю, как вам надоело повторять всем одно и то же в двадцатый раз. Но вы уж нас извините, господин Пак. Ведь среди нас вы — самый осведомленный.

Пак снова пожал плечами.

— К сожалению, цена моей осведомленности невелика,— сказал он сухо.— Большинство слухов не подтверждается. И наоборот — встречается много такого, о чем я никогда ничего не слыхал... А что касается расспросов, то не кажется ли вам, господин советник, что рядовые члены группы слишком осведомлены, когда речь идет о слухах? Лично я отвечаю на расспросы только тогда, когда разговариваю с кем-нибудь из командного состава. Я считаю неправильным, господин советник, что солдаты и прочие рядовые работники экспедиции в курсе всех этих слухов. Вредно для морали.

— Вполне согласен с вами,— сказал Андрей, стараясь не отводить глаз.— И во всяком случае, я бы предпочел, чтобы было побольше слухов насчет молочных рек с кисельными берегами.

— Да,— сказал Пак.— Поэтому, когда меня расспрашивают солдаты, я стараюсь уклониться от неприятных тем и муссирую, главным образом, легенду о Хрустальном Дворце... Правда, в последнее время они больше не желают слушать об этом. Все очень боятся и хотят домой.

— И вы тоже? — спросил Андрей сочувственно.

— У меня нет дома,— сказал Пак спокойно. Лицо у него было непроницаемое, глаза сделались совсем сонные.

— Н-да...— Андрей побарабанил пальцами по столу.— Ну что же, господин Пак. Еще раз — спасибо. Прошу вас отдыхать. Спокойной ночи.

Он проводил глазами спину, обтянутую выцветшей голубой саржей, подождал, пока закроется дверь, и сказал:

— Хотел бы я все-таки понять, зачем он увязался с нами?

— То есть как это — зачем? — встрепенулся Изя.— Сами они разведку организовать не могли, вот и попросились к тебе...

— А зачем им, собственно, разведка?

— Ну, дорогой мой, не всем царство Гейгера по вкусу, как тебе! Раньше они не хотели жить под господином мэром — это тебя не удивляет? А теперь они не хотят жить под господином президентом. Они хотят жить сами по себе, понимаешь?

— Понимаю,— сказал Андрей.— Только, по-моему, никто не собирается мешать им жить самим по себе.

— Это — по-твоему,— сказал Изя.— Ты ведь не президент.

Андрей залез в железный ящик, достал плоскую флягу со спиртом и принялся свинчивать колпачок.

— Неужели ты воображаешь,— сказал Изя,— что Гейгер потерпит у себя под боком хорошо вооруженную, крепкую колонию? Две сотни закаленных, битых-перебитых мужиков всего в трехстах километрах от Стеклянного Дома... Конечно, он им жить не даст. Значит, им надо уходить дальше на север. Куда?

Андрей побрызгал спиртом на руки и изо всех сил потер ладонь о ладонь.

— До чего ж осточертела эта грязь...— пробормотал он с отвращением.— Ты представить себе не можешь...

— Да-а, грязь...— сказал Изя рассеянно.— Грязь это тебе не сахар... Ты мне скажи, что ты все время пристаешь к Паку? Чем он тебе не потрафил? Я его знаю давно, чуть ли не с первого дня. Это честнейший, культурнейший человек. Что ты к нему пристал? Только твоей зоологической ненавистью к интеллигенции можно объяснить эти бесконечные иезуитские допросы. Если тебе так уж позарез надо узнать, кто распространяет слухи, осведомителей своих допрашивай, а Пак здесь ни при чем...

— У меня нет осведомителей,— холодно сказал Андрей.

Они помолчали. Потом Андрей неожиданно для себя сказал:

— Хочешь — честно?

— Ну? — жадно сказал Изя.

— Так вот, мой милый. У меня в последнее время появилось ощущение, что кто-то очень хочет нашу экспедицию прекратить. Совсем прекратить, понимаешь? Не просто, чтобы мы повернули оглобли и пошли домой, а прикончить нас. Уничтожить. Чтобы мы пропали без вести, понимаешь?

— Н-ну, брат!..— сказал Изя. Пальцы его со скрипом копались в бороде, отыскивая бородавку.

— Да-да! И я все пытаюсь понять, кому это может быть выгодно. И получается, что это выгодно твоему Паку. Молчи! Дай мне договорить! Если мы пропадем без вести, Гейгер не узнает ничего — ни о колонии, ни о чем... И вторую такую экспедицию он не скоро решится организовать. И тогда не надо им будет уходить на север, покидать насиженное место. Вот так вот у меня получается, понимаешь?

— По-моему, ты с ума сошел,— сказал Изя.— Откуда у тебя эти ощущения? Если насчет повернуть оглобли — тут никаких ощущений не надо. Все хотят повернуть... Но откуда ты взял, что нас хотят уничтожить?

— Не знаю! — сказал Андрей.— Я тебе говорю: ощущение...— Он помолчал.— Во всяком случае, я правильно решил взять Пака с собой послезавтра. Нечего ему без меня в лагере делать...

— Да он-то здесь при чем?! — гаркнул Изя.— Ну подумай ты головой своей дурацкой! Ну, уничтожит он нас, а потом что? Восемьсот километров пешком? По безводью?!

— Откуда я знаю? — огрызнулся Андрей.— Может, он трактор умеет водить.

— Ты еще Мымру заподозри,— сказал Изя.— Как это... Как в сказке о царе Додоне... Шамаханская царица.

— Н-да... Мымра...— задумчиво сказал Андрей.— Тоже штучка та еще... И этот Немой... Кто он? Откуда? Почему ходит везде за мной, как собака? Даже в сортир... Между прочим, ты знаешь, он уже, оказывается, в этих местах побывал.

— Открытие сделал! — сказал Изя пренебрежительно.— Это я давным-давно понял. Эти безъязыкие пришли с севера...

— Может быть, им здесь и вырезали языки? — сказал Андрей негромко.

Изя посмотрел на него.

— Слушай, давай выпьем,— сказал он.

— Разбавлять нечем.

— Ну, тогда хочешь, я тебе Мымру приведу?

— Иди ты к дьяволу...— Андрей поднялся, морщась, подвигал стертой ногой в ботинке.— Ладно, я пойду погляжу, как и что.— Он похлопал себя по пустой кобуре.— У тебя пистолет есть?

— Есть где-то. А что?

— Ладно, так пойду,— сказал Андрей.

Вытаскивая на ходу фонарик, он вышел в коридор. Немой поднялся ему навстречу. Справа, в глубине квартиры, из-за приоткрытой двери слышались негромкие голоса. Андрей приостановился.

— ...В Каире, Даган, в Каире! — внушительно вещал полковник.— Теперь я вижу, что вы все забыли, Даган. Двадцать первый полк Йоркширских стрелков, и командовал им тогда старина Билл, пятый баронет Стрэтфорд.

— Я прошу извинения, господин полковник,— почтительно возражал Даган.— Мы можем прибегнуть к дневникам господина полковника...

— Не надо, не надо никаких дневников, Даган! Занимайтесь своим пистолетом. Вы мне еще обещали почитать на ночь...

Андрей вышел на лестничную площадку и, как на телеграфный столб, налетел на Эллизауэра. Эллизауэр курил, ссутулившись, прислонясь задом к железным перилам.

— Последняя перед сном? — спросил Андрей.

— Так точно, господин советник. Сейчас ложусь.

— Ложитесь, ложитесь,— сказал Андрей, проходя.— Знаете: больше спишь — меньше грешишь.

Эллизауэр почтительно хихикнул ему вслед. Верста коломенская, подумал Андрей. Попробуй мне только в три дня не управиться — самого в волокушу запрягу...

Нижние чины располагались на нижнем этаже (хотя гадить они наладились на верхних). Разговоров здесь слышно не было — все или почти все, видимо, уже спали.

Сквозь распахнутые — для сквозняка — двери квартир, выходящих в вестибюль, доносился разноголосый храп, сонное чмоканье, бормотание, хриплый прокуренный кашель.

Андрей заглянул сначала в квартиру налево. Здесь устроились армейцы. Из маленькой комнатушки без окон виднелся свет. Сержант Фогель в одних трусах и в фуражке, сдвинутой на затылок, сидел за столиком и прилежно заполнял какую-то ведомость. В армии был порядок: дверь комнатушки была настежь, так что никто не мог бы войти или выйти незамеченным. На звук шагов сержант быстро поднял голову и всмотрелся, прикрывая лицо от света лампы.

— Это я, Фогель,— сказал Андрей негромко и вошел.

Сержант мигом поставил ему стул. Андрей сел и огляделся. Так, в армии порядок. Все три бидона с расходной водой здесь. Ящики с консервами и галетами для завтрашнего завтрака тоже уже здесь. И ящик с сигаретами. Прекрасно вычищенный пистолет сержанта лежал на столе. Дух в комнатушке стоял тяжелый, мужской, походно-полевой. Андрей положил руку на спинку стула.

— Что на завтрак, сержант? — спросил он.

— Как обычно, господин советник,— сказал Фогель, удивившись.

— Давайте-ка придумайте что-нибудь не как обычно,— сказал Андрей.— Кашу, что ли, рисовую с сахаром... Консервированные фрукты остались?

— Можно рисовую кашу с черносливом,— предложил сержант.

— Давайте с черносливом... Воды выдайте утром двойную порцию. И по полплитки шоколаду... Шоколад остался?

— Есть еще немного,— сказал сержант неохотно.

— Вот и выдайте... Сигареты что — последний ящик?

— Точно так.

— Ну, ничего не поделаешь. Завтра — как обычно, а с послезавтрашнего дня сокращайте норму... Да, и вот еще что. Полковнику с сегодняшнего дня и впредь — двойную порцию воды.

— Осмелюсь доложить...— начал было сержант.

— Знаю,— прервал его Андрей.— Скажете, что это мой приказ.

— Слушаюсь... Угодно господину советнику... Анастасис! Куда?

Андрей обернулся. В коридоре, покачиваясь на нетвердых ногах и придерживаясь рукой за стену, стоял совершенно раскисший со сна солдат — тоже в одних трусах и в ботинках.

— Виноват, господин сержант...— промямлил он. Видно было, что он ничего не соображает. Потом руки его опустились по швам.— Разрешите отлучиться в уборную, господин сержант!

— Бумага нужна?

Солдат почмокал губами, пошевелил лицом.

— Никак нет. Имеется...— Он показал зажатый в кулаке клочок бумаги, видимо, из Изиных архивов.— Разрешите идти?

— Ступай... Прошу прощения, господин советник. Всю ночь бегают. А случается, что и просто так... под себя... Раньше хоть марганцовка помогала, а теперь вот ничего уже не помогает... Угодно будет, господин советник, проверить караулы?

— Нет,— сказал Андрей, поднимаясь.

— Прикажете сопровождать?

— Нет. Останьтесь.

Андрей снова вышел в вестибюль. Здесь было так же жарко, но воняло все-таки поменьше. Рядом бесшумно вырос Немой. Слышно было, как на лестнице, этажом выше, оступается и шипит сквозь зубы рядовой Анастасис. Не дойдет ведь до сортира, на пол навалит, подумал Андрей с гадливым сочувствием.

— Ну что,— сказал он вполголоса Немому.— Посмотрим, как гражданские устроились?

Он пересек вестибюль и вошел в дверь квартиры напротив. Походно-полевой дух стоял и здесь, но армейского порядка уже не было. Пригашенная лампа в коридоре тускло освещала сваленные кое-как приборы в брезентовых чехлах вперемежку с оружием, грязный рюкзак с развороченными внутренностями, брошенные у стены манерки и кружки.

Взявши лампу, Андрей шагнул в ближайшую комнату, и сейчас же ему под ноги попался чей-то ботинок.

Здесь спали водители — голые, потные, распростертые на мятом брезенте. Даже простыни не постелили... Впрочем, простыни были, надо думать, грязнее всякого брезента. Один из водителей вдруг поднялся, сел, не раскрывая глаз, зверски поскреб плечи и проговорил невнятно: «На охоту идем, а не в баню... На охоту, понял? Вода желтая... под снегом желтая, понял?» Еще не договорив, он снова обмяк и повалился на бок.

Андрей убедился, что все четверо на месте, и прошел к следующей комнате. Здесь уже обитала интеллигенция. Спали на раскладушках, застелив их серыми простынями, спали тоже неспокойно, с нездоровым храпом,— постанывали, скрипели зубами. Двое картографов в одной комнате, двое геологов — в соседней. В комнате геологов Андрей уловил незнакомый сладковатый запах, и ему сразу же вспомнилось, что ходит слух, будто геологи покуривают гашиш. Позавчера сержант Фогель отобрал сигарету с анашой у рядового Тевосяна, начистил ему зубы и пригрозил сгноить в авангарде. И хотя полковник отнесся к этому случаю скорее юмористически, Андрею все это очень не понравилось.

Остальные комнаты в огромной квартире были пусты, только на кухне, закутавшись с головой в какое-то тряпье, спала Мымра — измотали ее, видно, за этот вечер. Из-под гнусного тряпья торчали тощие голые ноги, все в ссадинах и каких-то пятнах. Вот еще беда на нашу голову, подумал Андрей. Шамаханская царица. Черт бы ее побрал, проклятую сучку. Шлюха грязная... Откуда? Кто такая? Бормочет невразумительное на непонятном языке... Почему в Городе — непонятный язык? Как это может быть? Изя услышал — обалдел... Мымра. Это ведь Изя ее так назвал. Правильно назвал. Очень похоже. Мымра.

Андрей вернулся к комнате водителей, поднял лампу над головой и показал Немому на Пермяка. Немой, бесшумно скользнув между спящими, нагнулся над Пермяком и взял его обеими ладонями за уши. Потом он выпрямился. Пермяк уже сидел, упираясь одной рукой в пол, а другой — отирая с губ набежавшую во сне слюнку.

Поймав его взгляд, Андрей мотнул головой в сторону коридора, и Пермяк сразу же поднялся на ноги — легко и беззвучно. Они прошли в пустую комнату в глубине квартиры, Немой плотно закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Андрей посмотрел, где сесть. Комната была пуста, и он сел прямо на пол. Пермяк опустился перед ним на корточки. В свете лампы конопатое лицо его казалось нечистым, спутанные волосы падали на лоб, и сквозь них чернела корявая татуировка «раб Хрущова».

— Пить хочешь? — спросил Андрей вполголоса.

Пермяк кивнул. На лице его появилась знакомая блудливая улыбочка. Андрей извлек из заднего кармана плоскую флягу, где на донышке плескалась вода, и протянул ему. Он смотрел, как Пермяк пьет — маленькими скупыми глотками, шумно дыша через нос, двигая щетинистым кадыком. Вода сразу же испариной выступала у него на теле.

— Тепленькая...— сипло сказал Пермяк, возвращая пустую фляжку.— Холодной бы... из-под крана... Эх!

— Что там у вас с двигателем? — спросил Андрей, засовывая фляжку обратно в карман.

Пермяк растопыренной ладонью собрал пот с лица.

— Говно — двигатель,— сказал он.— Его у нас вторым делали, не поспевали к сроку... Чудо еще, что до сего дня продержался.

— Починить можно?

— Починить можно. Денька два-три потыркаемся — починим. Только это ненадолго. Еще километров двести прочапаем, снова будем загорать. Говно — двигатель.

— Понятно,— сказал Андрей.— А ты не заметил, кореец Пак около солдат не вертится?

Пермяк досадливо отмахнулся от этого вопроса. Он придвинулся к Андрею и проговорил ему в самое ухо:

— Нынче на обеденном привале солдаты договорились дальше не идти.

— Это я уже знаю,— сказал Андрей, стискивая зубы.— Ты мне скажи, кто у них верховодит?

— Не могу никак разобрать, начальник,— свистящим шепотом ответил Пермяк.— Болтает больше всех Тевосян,

но ведь он трепло, а потом он последнее время что ни утро — торчит...

— Что?

— Торчит... Ну — под балдой, накурившись... Его никто не слушает. А вот кто настоящий заводила — не пойму.

— Хнойпек?

— А хрен его знает. Может, и он. Человек в авторитете... Водители вроде бы тоже за, то есть чтобы дальше не идти. От господина Эллизауэра толку никакого нет — он только хихикает, как падло, да всем старается угодить... боится, значит. А я что могу? Я только их подзуживаю, что на солдат полагаться нельзя, что они нашего брата-водителя ненавидят. Мы, мол, едем — они идут. Им паек солдатский, а нам — как господам ученым... За что, мол, им нас любить? Раньше действовало, а теперь что-то плохо действует. Главное что? Тринадцатый день послезавтра...

— А ученые как? — прервал его Андрей.

— А хрен их знает. Ругаются страшными словами, а вот за кого они — не могу понять. Каждый божий день у них с солдатами из-за Мымры грызня... А господин Кехада знаете, что говорил? Что полковник, мол, долго не протянет.

— Кому говорил?

— Я так думаю, что это он всем говорит. А сам я слышал, как он это своим геологам объяснял, чтобы они с оружием не расставались. На этот случай. Сигаретки нет, Андрей Михайлович?

— Нет,— сказал Андрей.— А как сержант?

— К сержанту не подступишься. С ним — где залезешь, там и слезешь. Камешек. Убьют они его первого. Очень ненавидят.

— Ладно,— сказал Андрей.— А как все-таки насчет корейца? Агитирует он солдат или нет?

— Не видел. Он всегда особняком держится. Ежели хотите, я, конечно, за ним специально присмотрю, но, по-моему, это пустой номер...

— Ну, вот что,— сказал Андрей.— С завтрашнего дня — большой привал. Работы, в общем, никакой. Только на тракторе. А солдаты будут вообще только валяться да болтать. Ты вот что, Пермяк. Ты мне выясни, кто у них главный. Это

у тебя будет дело номер один. Придумай что-нибудь, тебе там видней, как это сделать...— Он поднялся, и Пермяк тоже вскочил.— Тебя сегодня правда рвало?

— Да, скрутило чего-то... Сейчас вроде полегче.

— Надо что-нибудь?

— Да нет, лучше не стоит. Курева бы...

— Ладно. Трактор почините — премию выдам. Иди.

Пермяк выскользнул за дверь мимо посторонившегося Немого, а Андрей подошел к окну и оперся на подоконник, выжидая положенные пять минут. В отсветах подвижной фары грузно чернели остовы волокуш и второго трактора, блестели остатки стекол в черных окнах дома напротив. Справа невидимый в темноте часовой, позвякивая подковами, бродил взад-вперед поперек улицы и тихонько насвистывал что-то унылое.

Ничего, подумал Андрей. Выкарабкаемся. Заводилу бы найти... Он представил себе снова, как по его приказу сержант выстраивает солдат без оружия в одну шеренгу и как он, Андрей, начальник экспедиции, с пистолетом в опущенной руке медленно идет вдоль этой шеренги, вглядываясь в окаменевшие заросшие лица, как он останавливается перед отвратной рыжей харей Хнойпека и стреляет ему в живот — раз и второй раз... Без суда и следствия. Так будет с каждым мерзавцем и трусом, который осмелится...

А господин Пак, по-видимому, и на самом деле ни при чем, подумал он. И на том спасибо. Ладно. Завтра еще ничего не случится. Еще дня три ничего не случится, а за три дня можно много чего придумать... Можно, например, хороший источник найти, километрах в ста впереди. К воде, небось, поскачут, как лошади... Ну и духотища же все-таки здесь. Всего-то один вечер здесь стоим, а уже дерьмом везде воняет... И вообще время всегда работает на начальство против бунтовщиков. Везде так было и всегда так было... Вот они сегодня сговорились, что завтра дальше не пойдут. Утром поднимутся оскаленные, а мы им — большой привал. Идти-то, ребята, оказывается, никуда и не надо, зря оскалились... А тут еще тебе и каша с черносливом, чаю вторая кружка, шоколад... Вот так-то, господин Хнойпек! А до тебя я все-таки доберусь, дай только срок... Ч-черт, спать охота. Пить охота...

Ну, про питье ты, положим, забудь, господин советник, а вот спать надо. Завтра — чуть свет... Провалился бы ты, Фриц, со своей экспансией. Тоже мне — император всея говна...

— Пойдем,— сказал он Немому.

За столом Изя все еще листал свои бумажки. Теперь он взял себе новую дурную привычку — бороду кусать. Завернет волосню свою на горсть, сунет в зубы и грызет. Экое чучело, право... Андрей подошел к раскладушке и принялся застилать простыню. Простыня липла к рукам, как клеенка.

Изя вдруг сказал, повернувшись к нему всем телом:

— Так вот. Жили они здесь под управлением Самого Любимого и Простого. Все с большой буквы, заметь. Жили хорошо, всего было вдоволь. Потом стал меняться климат, наступило резкое похолодание. А потом еще что-то произошло, и они все погибли. Я тут нашел дневник. Хозяин забаррикадировался в квартире и помер от голода. Вернее, он не помер, а повесился, но повесился от голода — сошел с ума... Началось с того, что на улице появилась какая-то рябь...

— Что появилось? — спросил Андрей, переставая стаскивать ботинки.

— Какая-то рябь появилась. Рябь! Тот, кто попадал в эту рябь, исчезал. Иногда успевал еще заорать, а иногда и того не успевал — просто растворялся в воздухе — и все.

— Бред какой-то...— проворчал Андрей.— Ну?

— Те, кто вышел из дому, все погибли в этой ряби. А те, кто испугался или сообразил, что дело дрянь, те поначалу выжили. Первое время по телефону переговаривались, потом стали понемножку вымирать. Жрать ведь нечего, на улице — мороз, дров не запасли, отопление не работает...

— А рябь куда делась?

— Ничего по этому поводу не пишет. Я тебе говорю, он к концу с ума сошел. Последняя запись у него такая...— Изя пошелестел бумагами.— Вот, слушай: «Не могу больше. Да и зачем? Пора. Сегодня утром Любимый и Простой прошел по улице и заглянул ко мне в окно. Это — улыбка. Пора». И все. Квартира у него, заметь, на пятом этаже. Он, бедняга, петельку к люстре приладил... Петелька, между прочим, так до сих пор и висит.

— Да, похоже, на самом деле с ума сошел,— сказал Андрей, забираясь в постель.— Это от голода, точно. Слушай, а насчет воды, как, ничего?

— Пока ничего. Я полагаю, нам завтра надо идти до конца акведука... Ты что, уже спать?

— Да. И тебе советую,— сказал Андрей.— Прикрути лампу и выметайся.

— Слушай,— сказал Изя жалобно.— Я хотел еще немножко почитать. У тебя лампа хорошая.

— А твоя где? У тебя такая же.

— Понимаешь, она у меня разбилась. В волокуше... Я на нее ящик поставил. Нечаянно...

— Кр-ретин,— сказал Андрей.— Ладно. Забирай лампу и уходи.

Изя торопливо зашуршал бумагой, двинул стулом, потом сказал:

— Да! Тут тебе Даган пистолет твой принес. И от полковника что-то передавал, но я забыл...

— Ладно, дай сюда пистолет,— сказал Андрей.

Он сунул пистолет под подушку и повернулся на бок, спиной к Изе.

— А хочешь, я тебе одно письмо почитаю? — вкрадчиво сказал Изя.— У них тут, понимаешь, было что-то вроде полигамии...

— Пошел вон,— спокойно сказал Андрей.

Изя хихикнул. Андрей с закрытыми глазами слушал, как он возится, шуршит, скрипит рассохшимся паркетом. Потом скрипнула дверь, и когда Андрей открыл глаза, было уже темно.

Рябь какая-то... Н-да. Ну, тут уж как повезет. Сие от нас не зависит. Думать надо только о том, что от нас зависит... Вот в Ленинграде никакой ряби не было, был холод, жуткий, свирепый, и замерзающие кричали в обледенелых подъездах — все тише и тише, долго, по многу часов... Он засыпал, слушая, как кто-то кричит, просыпался все под этот же безнадежный крик, и нельзя сказать, что это было страшно, скорее тошно, и когда утром, закутанный до глаз, он спускался за водой по лестнице, залитой замерзшим дерьмом, держа за руку мать, которая волочила санки с привязанным

ведром, этот, который кричал, лежал внизу возле клетки лифта, наверное, там же, где упал вчера, наверняка там же — сам он встать не мог, ползти тоже, а выйти к нему так никто и не вышел... И никакой ряби не понадобилось. Мы выжили только потому, что мать имела обыкновение покупать дрова не летом, а ранней весной. Дрова нас спасли. И кошки. Двенадцать взрослых кошек и маленький котенок, который был так голоден, что когда я хотел его погладить, он бросился на мою руку и жадно грыз и кусал пальцы... Вас бы туда, сволочей, подумал Андрей про солдат с неожиданной злобой. Это вам не Эксперимент... И тот город был пострашнее этого. Я бы там обязательно сошел с ума. Меня спасло, что я был маленький. Маленькие просто умирали...

А город, между прочим, так и не сдали, подумал он. Те, кто остался, понемножку вымирали. Складывали их штабелями в дровяных сараях, живых пытались вывезти — власть все равно функционировала, и жизнь шла своим чередом — странная, бредовая жизнь. Кто-то просто тихо умирал; кто-то совершал героические поступки, потом тоже умирал; кто-то до последнего вкалывал на заводе, а когда приходило время, тоже умирал... Кто-то на всем этом жирел, за кусочки хлеба скупал драгоценности, золото, жемчуг, серьги, потом тоже умирал — сводили его вниз к Неве и стреляли, а потом поднимались, ни на кого не глядя, закидывая винтовочки за плоские спины... Кто-то охотился с топором в переулках, ел человечину, пытался даже торговать человечиной, но тоже все равно умирал... Не было в этом городе ничего более обыкновенного, чем смерть. А власть оставалась, и пока оставалась власть, город стоял.

Интересно все-таки, было им нас жалко? Или они о нас просто не думали? Просто выполняли приказ, а в приказе было про город и ничего не было про нас. То есть про нас, конечно, тоже было, но только в пункте «ж»... На Финляндском вокзале под ясным, белым от холода небом стояли эшелоны дачных вагонов. В нашем вагоне было полно детишек, таких же, как я, лет двенадцати — какой-то детский дом. Ничего почти не помню. Помню солнце в окнах и пар дыхания, и детский голос, который все повторял и повторял

одну и ту же фразу, с одной и той же бессильно-злобной визгливой интонацией: «Иди на х... отседова!», и снова: «Иди на х... отседова!», и снова...

Подожди, я не об этом. Приказ и жалость — вот я о чем. Вот мне, например, солдат жалко. Я их прекрасно понимаю и даже им сочувствую. Отбирали ведь добровольцев, и вызвались, конечно, в первую голову авантюристы, сарынь-накичку, которым в благоустроенном нашем городе скучно и томно, которые не прочь посмотреть совсем новые места, автоматиком поиграть при случае, пошарить по развалинам, а вернувшись — набить карманы наградными, нацепить свеженькие лычки, гоголем походить среди девок... И вот вместо всего этого — понос, кровавые мозоли, чертовщина жуткая какая-то... Тут забунтуешь!

А мне? Мне что — легче? Я что — тоже за поносом сюда шел? Мне тоже неохота дальше идти, я тоже впереди ничего хорошего уже не вижу, у меня, черт вас побери, тоже были кое-какие надежды — свой, понимаете ли, хрустальный дворец за горизонтом! Я, может быть, сейчас рад-радехонек скомандовать: все, ребята, поворачивай оглобли!.. Мне ведь тоже осточертела эта грязь, я тоже разочарован, я тоже, черт побери, боюсь — какой-нибудь там ряби паршивой или людей с железными головами. У меня, может быть, все внутри оборвалось, когда я этих безъязыких увидел: вот оно, предупреждение тебе — не ходи, дурак, возвращайся... А волки? Когда я один в арьергарде шел, потому что вы все со страху обдристались, думаете, мне сладко было? Выскочит из пыли, отхватит ползадницы, и нет его... Вот так-то, голубчики, сволочи мои дорогие, не вам одним тяжело, у меня тоже от жажды внутри все потрескалось...

Ну хорошо, сказал он себе. А на кой ляд ты тогда идешь? Вот прямо завтра и дай команду — птичкой полетим, через месяц будем дома, бросишь Гейгеру под ноги свои высокие полномочия и скажешь: ну тебя, брат, на хер, сам иди, если тебе так приспичило экспансию разводить, если у тебя, понимаешь, в одном месте свербеж... Да нет, собственно, почему обязательно со скандалом? Как-никак, а прошли девятьсот километров, карту сделали, архивов раздобыли десять ящиков — мало, что ли? Ну нет там ничего дальше! Сколько же

можно еще ноги мозолить? Это ведь не Земля, не шар! Антигорода никакого, конечно, нет, это совершенно теперь ясно — никто здесь о нем и слыхом не слыхивал... В общем, оправдания найдутся. Оправдания... То-то и оно, что оправдания!

Тут ведь вопрос как стоит? Договорились идти до конца, и приказано было тебе идти до конца. Так? Так. Теперь: дальше идти можешь? Могу. Жратва есть, горючее есть, оружие в порядке... Люди, конечно, измотались, но все целы-невредимы... Да и не так уж измотались, в конце концов, коли Мымру по вечерам валяют... Нет, брат, не сходятся у тебя концы с концами. Дерьмовый ты начальник, скажет тебе Гейгер, ошибся я в тебе! А тут еще ему Кехада — в одно ухо, Пермяк — в другое, а там уже и Эллизауэр на подхвате...

Эту последнюю мысль постарался Андрей поскорее от себя отогнать, но было уже поздно. С ужасом он обнаружил, что для него, оказывается, отнюдь не маловажную роль играет его положение господина советника и что ему крайне не нравится думать о том, что положение это может вдруг измениться.

Ну и пусть изменится, думал он, защищаясь. Что я — с голоду подохну без этого положения? Пожалуйста! Пусть господин Кехада садится на мое место, а я сяду — на его. Дело от этого пострадает, что ли?.. Господи, подумал он вдруг. Да какое, собственно, дело-то? Что ты несешь, милый? Ты ведь уже теперь не маленький — о судьбах мира заботиться... Судьбы мира, знаешь ли, и без тебя обойдутся, и без Гейгера... Каждый должен делать свое дело на своем посту? Пожалуйста, не возражаю. Готов делать свое дело на своем посту. На своем. На этом самом. На посту власть имущего. Вот так-то, господин советник!.. А какого черта? Почему бывший унтер-офицер битой армии имеет право властвовать над миллионным городом, а я — без пяти минут кандидат наук, человек с высшим образованием, комсомолец — не имею права властвовать над отделом науки? Что же это — у меня хуже выходит, чем у него? В чем дело?..

Ерунда все это — «имею право, не имею права»... Право на власть имеет тот, кто имеет власть. А еще точнее, если угодно,— право на власть имеет тот, кто эту власть осуществляет. Умеешь подчинять — имеешь право на власть. Не умеешь — извини!..

И вы у меня пойдете, мерзавцы! — сказал он спящей экспедиции. Не потому вы у меня пойдете, что я сам рвусь, как этот павиан бородатый, в неизведанные дали, а потому вы у меня пойдете, что я вам прикажу идти. А прикажу я вам идти, сукины вы дети, разгильдяи, ландскнехты дрисливые, не из чувства долга перед Городом или, упаси бог, перед Гейгером, а потому, что у меня есть власть, и эту власть я должен постоянно подтверждать — и перед вами, паскудниками, подтверждать, и перед собой. И перед Гейгером... Перед вами — потому что иначе вы меня сожрете. Перед Гейгером — потому что иначе он меня выгонит и будет прав. А перед собой... Это, знаете ли, королям и всяким там монархам была в свое время лафа. Власть у них была от Бога, лично, без власти ни они сами себя не представляли, ни ихние подданные. Да и то, между прочим, зевать им не приходилось. А мы, маленькие люди, в Бога не верим. Нас на трон мирром не мазали. Мы должны сами о себе позаботиться... У нас, знаете ли, так: кто смел, тот и съел. Самозванцев нам не надо — командовать буду я. Не ты, не он, не они и не оне. Я. Армия меня поддержит...

Во наколбасил, подумал он с некоторой даже неловкостью. Он перевернулся на другой бок, а руку для удобства засунул под подушку, где было попрохладней. Пальцы его наткнулись на пистолет.

...Это как же вы намереваетесь всю эту свою программу осуществлять, господин советник? Это же — стрелять придется! Не в воображении своем стрелять («Рядовой Хнойпек, выйти из строя!..»), не онанизмом умственным заниматься, а вот так — взять и выпалить живому человеку, может быть, безоружному, может быть, даже ничего не подозревающему, может быть, и не виноватому, в конце концов... да плевать на все это! — ЖИВОМУ человеку — в живот, в мягкое, в кишки... Нет, этого я не умею. Этого я никогда не делал и, ей-богу, не представляю... На триста сороковом километре я, конечно, тоже палил, как и все, со страху просто, ничего же не понимал... Но там я никого не видел, и там в меня, черт побери, тоже стреляли!..

Ладно, подумал он. Ну, хорошо — гуманизм там, отсутствие привычки опять же... А если они все-таки не пойдут?

Я им прикажу, а они мне ответят: шел бы ты на хер, братец, сам иди, если у тебя в одном месте свербеж...

А ведь это идея! — подумал он. Выдать разгильдяям немного воды, часть жратвы выделить на обратную дорогу, поломанный трактор пусть чинят... Идите, мол, без вас обойдемся. Как бы это было роскошно — разом освободиться от дерьма!.. Впрочем, он сразу представил себе лицо полковника при таком предложении. М-да, полковник этого не поймет. Не та порода. Он как раз из этих... из монархов. Ему мысль о возможном неподчинении просто в голову не приходит. И уж во всяком случае, мучиться над всеми этими проблемами он не станет... Военно-аристократическая косточка. Ему хорошо — у него и отец был полковник, и дед был полковник, и прадед был полковник — вон какую империю отгрохали, то-то, небось, народу перебили... Вот он пусть и расстреливает, в случае чего. В конце концов, это его люди. Я в его дела вмешиваться не намерен... Ч-черт, надоело мне это все! Интеллигентщина распротухлая, развел гнидник под черепушкой!.. Должны идти — и все! Я выполняю приказ, и вы извольте выполнять. Меня не приласкают, если нарушу, и вам тоже, черт вас дери, не поздоровится! И все. И к черту. Лучше о бабах думать, чем об этой ерунде. Тоже мне — философия власти...

Он снова перевернулся, скручивая под собою простыню, и с натугой представил себе Сельму. В этом ее сиреневом пеньюаре — как она наклоняется перед постелью и ставит на столик поднос с кофе... Он подробно представил себе, как все это было бы с Сельмой, а потом вдруг — уже без всякой натуги — очутился на службе в своем кабинете, где обнаружил в большом кресле Амалию с юбчонкой, закатанной до подмышек... Тогда он понял, что дело зашло слишком далеко.

Он отбросил простыню, сел нарочито неудобно, чтобы край раскладушки врезался в задницу, и некоторое время сидел, таращась в слабо освещенный рассеянным светом прямоугольник окна. Потом он посмотрел на часы. Было уже больше двенадцати. А вот встану сейчас, подумал он. Спущусь на первый этаж... Где она там дрыхнет — на кухне, что ли? Раньше эта мысль всегда вызывала у него здоровое отвращение. Сейчас этого не получалось. Он представил себе голые грязные ноги Мымры, но не задержался на них, а

пошел выше... Ему вдруг стало интересно, а какая она голая. В конце концов, баба есть баба...

— Господи! — сказал он громко.

Дверь сейчас же скрипнула, и на пороге появился Немой. Черная тень во тьме. Только белки поблескивают.

— Ну чего пришел? — сказал ему Андрей с тоскою.— Иди спи.

Немой исчез. Андрей нервно зевнул и повалился боком на койку.

Проснулся он от ужаса, весь мокрый.

— ...Стой, кто идет? — снова завопил под окном часовой. Голос у него был пронзительный, отчаянный, словно он звал на помощь.

И сейчас же Андрей услышал тяжелые хрусткие удары, как будто кто-то огромный мерно ударял огромной кувалдой по крошащемуся камню.

— Стрелять буду! — пронзительно завизжал часовой совсем уже нечеловеческим голосом и принялся стрелять.

Андрей не запомнил, как оказался у окна. В темноте справа судорожно билось оранжевое пламя выстрелов. В огненных отсветах выше по улице чернело что-то громоздкое, неподвижное, непонятных очертаний, и из него вылетали и рассыпались снопы зеленоватых искр. Андрей ничего не успел понять. Обойма у часового кончилась, на мгновение наступила тишина, потом он там в темноте снова дико завизжал — совсем как лошадь,— забухал ботинками и вдруг оказался в круге света под самым окном — влетел, завертелся на одном месте, размахивая пустым автоматом, затем, не переставая визжать, бросился к трактору, забился в черную тень под гусеницу и все дергал, дергал из-за пояса запасную обойму, и никак не мог выдернуть... И тогда снова послышались хрусткие удары кувалды о камень: бумм-бумм-бумм...

Когда Андрей в одной куртке, без штанов, в башмаках с болтающимися шнурками выскочил с пистолетом в руке на улицу, там уже было полно народу. Сержант Фогель ревел быком:

— Тевосян, Хнойпек! Направо! Приготовиться вести огонь! Анастасис! На трактор, за кабину! Наблюдать, приготовиться вести огонь!.. Живее! Дохлые свиньи!.. Василенко!

Налево! Залечь, вести... Налево, раздолбай славянский! Залечь, вести наблюдение!.. Палотти! Куда, макаронник!..

Он схватил бегущего без памяти итальянца за шиворот, со страшной силой ударил его башмаком в зад и швырнул к трактору.

— За кабину, животное!.. Анастасис, дайте свет вдоль улицы!..

Андрея толкали в спину, в бока. Стиснув зубы, он пытался удержаться на ногах, абсолютно ничего не соображая, борясь с нестерпимым желанием заорать что-то бессмысленное. Он прижался к стене и, выставив перед собой пистолет, затравленно озирался. Почему они все бегут туда? А вдруг те нападут сзади? Или с крыши? Или из дома напротив?..

— Водители! — ревел Фогель.— Водители, на трактора!.. Кто там стреляет, ублюдки?! Прекратить огонь!..

Понемногу в голове у Андрея прояснилось. Дело, оказывается, было совсем не так уж и плохо. Солдаты залегли, где было приказано, суета прекратилась, и наконец кто-то на тракторе повернул прожектор и осветил улицу.

— Вон он! — крикнул придушенный голос.

Коротко ударили и сейчас же смолкли автоматы. Андрей успел заметить только что-то огромное, чуть ли не выше домов, уродливое, с торчащими в разные стороны обрубками и шипами. Оно отбросило вдоль улицы бесконечную тень и сразу же свернуло за угол в двух кварталах выше по улице. Исчезло из виду, а тяжелые удары кувалды по хрустящему камню сделались тише, потом еще тише, а вскоре затихли совсем.

— Что там произошло, сержант? — произнес спокойный голос полковника над головой Андрея.

Полковник, застегнутый на все пуговицы, упершись руками в подоконник и слегка наклонившись вперед, стоял у окна.

— Часовой поднял тревогу, господин полковник,— отозвался сержант Фогель.— Рядовой Терман.

— Рядовой Терман, ко мне,— сказал полковник.

Солдаты завертели головами.

— Рядовой Терман! — рявкнул сержант.— К полковнику!

В рассеянном свете прожектора было видно, как рядовой Терман лихорадочно выкарабкивается из-под гусеницы. Снова у него, у бедняги, что-то там зацепилось. Он рванулся изо всех сил, встал на ноги и закричал петушиным голосом:

— Рядовой Терман по приказанию господина полковника явился!

— Ну и чучело! — сказал полковник брезгливо.— Застегнитесь.

И в этот момент включилось солнце. Это было так неожиданно, что над лагерем пронеслось многоголосное сдавленное мычание. Многие закрыли глаза ладонями. Андрей зажмурился.

— Почему подняли тревогу, рядовой Терман? — осведомился полковник.

— Посторонний, господин полковник! — с отчаянием в голосе выпалил Терман.— Не отзывался. Шел прямо на меня. Земля дрожала!.. Согласно уставу окликнул два раза, потом открыл огонь...

— Ну что ж,— сказал полковник.— Хвалю.

В ярком свете все казалось совсем не таким, как пять минут назад. Лагерь теперь был как лагерь — осточертевшие волокуши, грязные железные бочки с горючим, покрытые пылью трактора... На этом обычном, уже обрыдлом фоне полураздетые вооруженные люди, лежавшие и сидевшие на корточках со своими пулеметами и автоматами, всклокоченные, с помятыми лицами и растрепанными бородами, казались нелепыми и смешными. Андрей вспомнил, что он и сам без штанов и что ботиночные шнурки у него болтаются, ему стало неловко. Он осторожно попятился к дверям, но там толпой стояли водители, картографы и геологи.

— Осмелюсь доложить,— говорил тем временем приободрившийся Терман.— Это был не человек, господин полковник.

— А что же это было?

Рядовой Терман затруднился.

— Похоже скорее на слона, господин полковник,— авторитетно сказал Фогель.— Или же на допотопное чудовище.

— На стегозавра больше всего похоже,— подал голос Тевосян.

Полковник тут же обратил на него взгляд и несколько секунд с любопытством его рассматривал.

— Сержант,— сказал он наконец.— Почему ваши люди раскрывают рот без разрешения?

Кто-то злорадно хихикнул.

— Р-р-разговорчики! — страшным шепотом произнес сержант.— Разрешите наказать, господин полковник?

— Полагаю...— начал было полковник, и тут его прервали.

— В-ва-ва-ва-в-в...— тихонько, а потом все громче завыл кто-то, и Андрей заметался взглядом по лагерю, ища, кто это воет и почему.

Все испуганно зашевелились, все завертели головами, а потом Андрей увидел: Анастасис, стоя позади тракторной кабины, тычет рукой куда-то вперед, весь белый, даже зеленый, и не может выговорить ни одного связного слова. Андрей, заранее напрягаясь, готовый ко всему, поглядел, куда он тычет, но ничего там не увидел. Улица была пуста, в дальнем конце ее уже дрожало жаркое марево. Потом сержант вдруг гулко прочистил горло и надвинул фуражку на лоб, кто-то тихо, с отчаянием, выругался, а Андрей все еще не понимал, и только когда незнакомый голос у него над ухом прохрипел: «Господи, твоя воля!..», Андрей, наконец, понял. У него волосы зашевелились на затылке, и ослабели ноги.

Статуи на углу не было. Огромный железный человек с жабьим лицом и пафосно растопыренными руками исчез. Остался на перекрестке только засохший кал, который вчера навалили вокруг статуи солдаты.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Так я пошел, полковник,— сказал Андрей, поднимаясь.

Полковник тоже поднялся и тотчас же тяжело оперся на трость. Сегодня он был еще бледнее, лицо обтянуто, и он казался совершенным стариком. Даже от выправки его, можно сказать, ничего не осталось.

— Счастливого пути, господин советник,— проговорил он. Выцветшие глазки его глядели почти виновато.— Черт возьми, в сущности, командирская рекогносцировка — это ведь мое дело...

Андрей взял со стола автомат и закинул ремень на плечо.

— Не знаю, не знаю...— сказал он.— У меня, например, такое ощущение, будто я удираю, бросивши все на вас... А вы больны, полковник.

— Да, представьте себе, сегодня я...— полковник оборвал себя.— Я полагаю, вы вернетесь до темноты?

— Я вернусь значительно раньше,— сказал Андрей.— Эту вылазку я не рассматриваю даже как рекогносцировку. Я просто хочу показать этим трусливым ублюдкам, что ничего страшного впереди нет. Ходячие статуи, видите ли!..— Он спохватился.— Я не имел в виду упрекнуть ваших солдат, полковник...

— Пустяки...— Полковник слабо отмахнулся тощей рукой.— Вы совершенно правы. Солдаты всегда трусливы. Я ни разу в жизни не видел храбрых солдат. Да и с какой стати им быть храбрыми?

— Ну,— улыбнулся Андрей,— если бы впереди нас ожидали всего-навсего танки противника...

— Танки! — сказал полковник.— Танки — другое дело. Но вот я прекрасно помню случай, когда рота парашютистов отказалась вступить в деревню, где жил известный на всю округу колдун.

Андрей засмеялся и протянул полковнику руку.

— До встречи,— сказал он.

— Минуточку,— остановил его полковник.— Даган!

В комнате возник Даган с флягой, оплетенной серебряной сеткой, в руке. На столе появился серебряный подносик, а на подносике — серебряные же стопочки.

— Прошу вас,— сказал полковник.

Они выпили и обменялись рукопожатием.

— До встречи,— повторил Андрей.

Он спустился по вонючей лестнице в вестибюль, холодно кивнул Кехаде, который прямо на полу возился с каким-то прибором вроде теодолита, и вышел на пышущую жаром улицу. Короткая тень его легла на пыльные потрескавшиеся

плиты тротуара, и сейчас же рядом появилась вторая тень, и тогда Андрей вспомнил про Немого. Он оглянулся. Немой стоял в своей обычной позе, засунув ладони за широкий пояс, с которого свисал устрашающего вида тесак. Густые черные волосы его стояли дыбом, босые ноги были расставлены, а коричневая кожа лоснилась, словно смазанная жиром.

— Может, автомат возьмешь все-таки? — спросил Андрей.

«Нет».

— Ну, как хочешь...

Андрей огляделся. Изя и Пак сидели в тени волокуши и, развернув карту, рассматривали схему города. Двое солдат, вытянув шеи, заглядывали им через головы. Один из них поймал взгляд Андрея, поспешно отвел глаза и толкнул другого в бок. Оба сейчас же отошли и скрылись за волокушей.

У второго трактора копошились водители во главе с Эллизауэром. Водители были кто в чем, а на маленьком черепе Эллизауэра красовалась гигантская широкополая шляпа. Тут же торчали еще два солдата — подавали советы, часто сплевывая в сторону.

Андрей посмотрел вверх — вдоль улицы. Пусто. Раскаленный воздух дрожит над булыжником. Марево. За сто метров уже ничего не разобрать — как в воде.

— Изя! — позвал он.

Изя и Пак оглянулись и встали. Кореец подобрал с мостовой и взял под мышку свой маленький самодельный автомат.

— Что, уже? — бодро спросил Изя.

Андрей кивнул и пошел вперед.

Все смотрели на него: прищурившийся от солнца Пермяк, придурковатый Унгерн, испуганно округливший свой вечно полураскрытый рот, угрюмый Горилла-Джексон, медленно вытиравший руки куском пакли... Эллизауэр, очень похожий на грязный, ободранный грибок с детской площадки, приложил два пальца к полям шляпы с самым торжественным и сочувствующим видом, а поплевывавшие солдаты перестали поплевывать, обменялись неслышными замечаниями сквозь зубы и дружно запылили прочь. Тру́сите, гниды, мстительно

подумал Андрей. Окликнуть вас сейчас для смеха — в штаны ведь навалите...

Они прошли мимо часового, который поспешно сделал «на караул», и зашагали по булыжнику — впереди Андрей с автоматом за плечом, следом по пятам — Немой с рюкзаком, в котором лежали четыре банки консервов, пачка галет и две фляги воды, сзади, отстав шагов на десять, шлепал разбитыми башмаками Изя — за спиной у него был пустой рюкзак, в одной руке он держал схему, а другой судорожно обхлопывал карманы, как бы ища, не забыл ли чего-нибудь. Последним, чуть вразвалочку, походкой человека, привыкшего к дальним переходам, легко шагал кореец Пак с коротствольным автоматом под мышкой.

Улица была раскалена. Солнце свирепо жарило лопатки и плечи. От стен домов медленными волнами накатывал жар. Ветра сегодня не было совсем.

Позади, в лагере, завели многострадальный двигатель — Андрей не обернулся. Чувство освобождения вдруг овладело им. На несколько славных часов из его жизни исчезали вонючие солдаты с их простой до непонятности психологией; исчезал интриган Кехада, который был виден весь насквозь и от этого особенно осточертел; исчезали все эти омерзительные заботы о чужих стертых ногах, о чужих скандалах и драках, о том, что кого-то рвет — не отравление ли? — а кого-то особенно интенсивно и с кровью несет — не дизентерия ли?.. Провалиться бы вам всем, твердил Андрей с каким-то даже упоением. Век бы я вас не видел. До чего же без вас хорошо!..

Правда, он тут же вспомнил о сомнительном корейце Паке, и на секунду ему показалось, что светлая радость освобождения замутится сейчас новыми заботами и подозрениями, но он тут же легкомысленно махнул на это рукой. Кореец как кореец. Спокойный человек, никогда ни на что не жалуется. Дальневосточный вариант Иосифа Кацмана, вот и все... Он вдруг вспомнил, как брат рассказывал ему когда-то, что на Дальнем Востоке все народы, а особенно японцы, относятся к корейцам в точности так же, как в Европе все народы, а особенно русские и немцы, относятся к евреям. Это показалось ему сейчас

забавным, и почему-то вдруг вспомнился Кэнси... Да, Кэнси бы сюда, дядю Юру, Дональда... Э-хе-хе... Если бы удалось дядю Юру уговорить в эту экспедицию, сейчас бы все было по-другому...

Он вспомнил, как за неделю до выхода он специально выкроил несколько часов, взял у Гейгера лимузин с пуленепробиваемыми стеклами и смотался к дяде Юре. Как они пили в большой двухэтажной хате, где было чисто, светло, вкусно пахло мятой, домашним дымком, свежепеченым хлебом. Пили самогон, закусывали заливным поросенком, хрустящими малосольными огурчиками, каких Андрей не едал бог знает сколько лет, обгладывали бараньи ребрышки, макали куски мяса в соус, пропитанный чесночными запахами, а потом дебелая голландка Марта, супруга дяди Юры, беременная уже по третьему разу, внесла свистящий самовар, за который дядя Юра в свое время отдал воз хлеба да воз картошки, и они долго, основательно, фундаментально пили чай, заедая каким-то невиданным вареньем — потели, отдувались, обтирали мокрые лица свежими полотенцами с вышивкой, а дядя Юра все бубнил: «Ничего, ребята, жить теперь вполне можно... Пригоняют мне каждый день пяток тунеядцев из лагеря, воспитываю их трудом, сил, понимаешь, не жалею... ежели что — сразу по зубам, но зато жрут они у меня здесь от пуза, что сам ем, то и им даю, я тебе не эксплуататор какой-нибудь...» А при прощании, когда Андрей уже садился в машину, дядя Юра, сжимая его ладонь своими лапищами, превратившимися, казалось, в сплошную мозоль, проговорил, ища глазами его взгляд: «Ты меня простишь, Андрюха, я знаю... Все бы бросил, и бабу бы свою бросил... Вот этих бросить не могу, не позволяю себе...» — и указал большим пальцем через плечо в сторону двух белоголовых мальчуганов-погодков, которые тихо, чтобы не услышали, тузили друг друга за крыльцом...

Андрей обернулся. Лагеря видно уже не было, марево закрыло его. Тарахтенье двигателя едва доносилось — как из ваты. Изя шел теперь рядом с Паком, махал у него перед носом схемой и кричал что-то про масштаб. Пак, собственно,

не спорил. Он только улыбался и, когда Изя порывался остановиться, чтобы развернуть схему и показать все наглядно, деликатно брал его за локоть и увлекал вперед. Серьезный человек, несомненно. На такого при прочих равных условиях вполне можно было бы положиться. Интересно, чего они не поделили с Гейгером?.. Люди они совершенно разные, это ясно...

Пак учился в Кембридже и имел звание доктора философии. Вернувшись в Южную Корею, он принял участие в каких-то студенческих беспорядках против режима, и Ли Сын Ман засадил его в кутузку. Из кутузки его в пятидесятом году освободила северокорейская армия, о нем написали в газетах, как о настоящем сыне корейского народа, который ненавидит клику Ли Сын Мана и американских империалистов, он сделался заместителем ректора, а через месяц его снова посадили в кутузку, где без предъявления обвинения продержали до самого десанта в Чемульпо, когда кутузка попала под огонь частей Первой кавалерийской дивизии, стремительно рвавшейся на северо-восток. В Сеуле стоял ад кромешный, Пак уже не рассчитывал остаться в живых, и тут ему предложили участие в Эксперименте.

В Город он попал задолго до Андрея, переменил двадцать специальностей, сцепился, конечно, с господином мэром и вошел в подпольную организацию интеллигентов, поддерживавшую тогда движение Гейгера. Что-то у них там с Гейгером произошло. Так или иначе, большая группа подпольщиков еще за два года до Поворота тайно покинула город и ушла на север. Им повезло: на трехсотпятидесятом километре они нашли в развалинах «снаряд времени» — здоровенную металлическую цистерну, битком набитую самыми разнообразными предметами культуры и образцами технологии. Место было хорошее — вода, плодородная почва у самой Стены, много уцелевших зданий,— там они и осели.

Они ничего не знали о том, что произошло в городе, и когда появились обшитые броней трактора экспедиции, решили, что это — за ними. К счастью, в короткой яростной и нелепой схватке погиб всего один человек. Пак узнал Изю, своего старинного приятеля, и понял, что происходит ошибка... А потом он попросился к Андрею. Он сказал, что им

движет любопытство, что он давно уже планировал поход на север, но у эмигрантов не было на это средств. Андрей не очень ему поверил, но с собой взял. Ему показалось, что Пак будет полезен своими знаниями, и Пак действительно оказался полезен. Он делал для экспедиции все, что мог, с Андреем всегда был дружелюбен и предупредителен, с Изей — тем более, но вызвать его на откровенность оказалось невозможно. Ни Андрей, ни даже Изя так и не узнали, откуда у него столько сведений мифического и реального характера относительно предстоящего пути, для чего он все-таки увязался с экспедицией и что он вообще думал — о Гейгере, о Городе, об Эксперименте... Пак никогда не поддерживал разговоров на отвлеченные темы.

Андрей приостановился и, дождавшись своего арьергарда, спросил:

— Ну, вы договорились, что именно вас интересует?

— Что именно? — Изя наконец развернул свою схему.— Смотри...— Он стал показывать траурным ногтем.— Мы сейчас вот здесь. Значит, раз, два... через шесть кварталов должна быть площадь. Вот здесь какое-то большое здание, наверное, правительственное. Сюда нам надо обязательно попасть. Ну, а если по дороге попадется что-нибудь интересное... Да! Вот сюда бы еще интересно добраться. Далековато немного, но масштаб тут ни к черту, так что неизвестно, может быть, это все рядом... Видишь, написано: «Пантеон». Я люблю пантеоны.

— Ну что ж...— Андрей поправил автомат.— Можно и так, конечно... А воду, значит, мы сегодня искать не будем?

— До воды далеко,— негромко сказал Пак.

— Да, брат...— подхватил Изя.— До воды, брат... Видишь, у них здесь указано — водонапорная башня... Это здесь? — спросил он Пака.

Пак пожал плечами.

— Я не знаю. Но если в этих кварталах вода вообще осталась, то только здесь.

— Да-а-а...— протянул Изя.— Далековато. Километров тридцать, за день не обернуться... Правда, масштаб... Слушай, а зачем тебе воду именно сейчас? За водой пойдем завтра, как и договаривались... вернее, поедем.

— Хорошо,— сказал Андрей.— Пошли.

Теперь они шли рядом, и некоторое время все молчали. Изя непрерывно крутил головой и как бы принюхивался, но ни справа, ни слева ничего интересного не обнаруживалось. Трех- и четырехэтажные дома, иногда довольно красивые. Выбитые стекла. Некоторые окна заколочены покоробившейся фанерой. На балконах — полуразвалившиеся цветочные ящики, многие дома заплетены жестким пыльным плющом. Большой магазин — огромные, запыленные до непрозрачности витрины, почему-то уцелевшие, а двери — выломаны... Изя сорвался, трусцой сбегал заглянул, снова вернулся.

— Пусто,— сообщил он.— Полный разгром.

Какое-то общественное здание — не то театр, не то концертный зал, не то кино. Потом опять магазин — витрина расколота,— и еще магазин на другой стороне... Изя вдруг остановился, шумно потянул носом и поднял грязноватый палец.

— О! — сказал он.— Здесь где-то!

— Что? — спросил Андрей, озираясь.

— Бумага,— коротко отозвался Изя.

Ни на кого не глядя, он уверенно устремился к зданию на правой стороне улицы. Здание это было как здание, ничем особенным от соседних не отличалось, разве что подъезд был пороскошнее да в общем облике его чувствовался некий готический акцент. Изя исчез в подъезде, и они не успели еще пересечь улицы, как он снова высунулся и азартно позвал:

— Давайте сюда, Пак! Библиотека!..

Андрей только головой покрутил от восхищения. Ай да Изя!

— Библиотека? — сказал Пак, ускоряя шаги.— Не может быть!..

В вестибюле было прохладно и полутемно после полыхающей желтым жаром улицы. Высокие готические окна, выходившие, по-видимому, во внутренний двор, были украшены цветными витражами. Пол, выложенный узорной плиткой. Белого камня лестницы, уходящие вправо и влево... По левой уже взбегал Изя, Пак легко нагнал его, и они, шагая через три ступеньки, скрылись из виду.

— А нам-то на кой черт туда тащиться? — сказал Андрей Немому.

Тот был согласен. Андрей поискал, где присесть, и присел на прохладные белые ступени. Автомат он снял и положил рядом. Немой уже сидел на корточках у стены, закрыв глаза и охватив колени длинными мощными руками. Было тихо, только бубнили наверху неразборчивые голоса.

Надоело, подумал Андрей с раздражением. Мертвые кварталы надоели. Раскаленное это безмолвие. Загадки эти... Людей бы найти, пожить бы с ними, порасспросить их... и чтобы угостили чем-нибудь... все равно чем, только бы не овсянкой этой обрыдлой... и холодного вина! Много, сколько хочешь... или пива. В животе у него заурчало, и он испуганно напрягся, прислушиваясь. Нет, ничего. Сегодня — тьфу-тьфу — ни разу еще не бегал, и на том спасибо. И пятка вроде бы зажила...

Наверху что-то повалилось с тяжелым рассыпчатым грохотом. Изя разборчиво проорал: «Ну куда вы лезете, ей-богу!..» Раздался смех, и голоса забубнили снова.

Копайтесь, копайтесь, подумал Андрей. Только на вас и надежда. Только от вас и можно ждать хоть какого-нибудь толку... И останется от всей этой бездарной затеи мой отчет да двадцать четыре Изиных ящика с бумагами!..

Он вытянул ноги и сам вытянулся на ступеньках, опираясь на локти. Немой вдруг чихнул, звонко откликнулось эхо. Андрей откинул голову и стал глядеть в далекий сводчатый потолок. Хорошо строили, красиво, лучше чем у нас. И вообще жили, как видно, не худо. И все равно сгинули... Очень это все Фрицу не понравится — он бы, конечно, потенциального противника предпочел. А то что такое получается: жили-жили, строили-строили, прославляли какого-то своего Гейгера... любимого и простого... А в результате — пожалуйста: пустота. Как и не было никого. Одни кости, да и тех что-то маловато для такого поселения... Вот так-то, господин президент! Человек предполагает, а Господь рябь какую-нибудь напустит и — конец всему...

Он тоже чихнул и потянул носом. Прохладно здесь както... А Кехаду хорошо бы под суд отдать, когда вернемся... Мысли его легко свернули в привычное русло: как загнать

Кехаду в угол, чтобы он и пикнуть не смел, чтобы вся документация была как на ладони и чтобы Гейгеру все сразу стало ясно... Он отмахнулся от этих мыслей — они были не к месту и не ко времени. Сейчас надо было думать только о завтрашнем дне. Да и о сегодняшнем не помешало бы. Например, куда все-таки девалась статуя? Пришел кто-то рогатый, стегозавр какой-то... взял ее под мышку и уволок. Зачем? И потом, в ней, между прочим, тонн пятьдесят весу. Такая зверюга захочет — трактор под мышкой унесет... Уходить отсюда нам надо, вот что. Если б не полковник, сегодня же ноги бы нашей здесь не было... Он стал думать о полковнике и вдруг поймал себя на том, что прислушивается.

Какой-то отдаленный неясный звук появился — не голоса, голоса наверху бубнили по-прежнему,— нет, там, на улице, за высокими приотворенными дверями подъезда. Явственно зазвенели разноцветные стекла в витраже, и явственно завибрировали каменные ступеньки под локтями и задом, словно где-то неподалеку была железная дорога и по ней шел сейчас поезд — тяжелый грузовой состав. Немой вдруг широко раскрыл глаза и повернул голову, настороженно прислушиваясь.

Андрей осторожно подтянул под себя ноги и встал, держа автомат за ремень. Немой сейчас же тоже встал, кося на него одним глазом и все продолжая прислушиваться.

Взявши автомат наизготовку, Андрей бесшумно перебежал к дверям и осторожно выглянул. Жаркий пыльный воздух обжег ему лицо. Улица была желта, раскалена и пуста по-прежнему. Только ватной тишины больше не было. Огромный далекий молот с унылой равномерностью бил в мостовую, и удары эти заметно приближались — тяжелые, хрусткие удары, дробящие в щебень булыжник мостовой.

В доме напротив со звоном осыпалась расколотая витрина. От неожиданности Андрей отпрянул, но тут же взял себя в руки и, закусив губу, оттянул затвор автомата. Черт меня сюда понес, подумал он краем сознания.

Молот все приближался, и совершенно непонятно было — откуда, но удары были все тяжелее, все звонче, и была в них

какая-то несокрушимая и неотвратимая победительность. Шаги судьбы, мелькнуло в голове у Андрея. Он растерянно оглянулся на Немого.

Он испытал шок. Немой стоял, прислонившись плечом к стене, и сосредоточенно орудовал своим тесаком, обрезая ноготь на мизинце левой руки. Вид у него при этом был совершенно равнодушный и даже скучающий.

— Что?! — хрипло спросил Андрей.— Ты что это?..

Немой посмотрел на него, кивнул и снова занялся своим ногтем. Бумм, бумм, бумм,— раздавалось совсем близко, земля под ногами содрогалась. И вдруг наступила тишина. Андрей сейчас же снова выглянул. Он увидел: на ближнем перекрестке, доставая головой до третьего этажа, возвышается темная фигура. Статуя. Старинная металлическая статуя. Тот самый давешний тип с жабьей мордой — только теперь он стоял, напряженно вытянувшись, задрав объемистый подбородок, одна рука заложена за спину, другая — то ли грозя, то ли указуя в небеса — поднята, и выставлен указательный палец...

Андрей, обмирая, как в дурном сне, смотрел на это бредовое чудовище. Но он знал, что это не бред. Статуй был как статуй — дурацкое бездарное сооружение из металла, покрытое не то окалиной, не то черной окисью, нелепо и не на месте установленное... В горячем воздухе, поднимавшемся от мостовой, очертания его дрожали и колебались точно так же, как очертания домов вдоль улицы.

Андрей почувствовал руку на своем плече и оглянулся — Немой улыбался и успокаивающе кивал ему. Бумм, бумм, бумм — снова раздалось на улице. Немой все держал его за плечо — трепал, гладил, мял мускулы ласковыми пальцами. Андрей резко отстранился и снова выглянул наружу. Статуи не было больше. И снова была тишина.

Тогда Андрей оттолкнул Немого и на ватных ногах побежал по лестнице наверх, где по-прежнему, как ни в чем не бывало, бубнили голоса.

— Хватит! — рявкнул он, врываясь в библиотечный зал.— Пошли отсюда!

Голос у него совсем сел, и они его не услышали, а может быть, и услышали, но не обратили внимания — они были

заняты. Помещение было огромное, уходило в глубину черт-те знает куда, стеллажи, набитые книгами, глушили звуки. Один из стеллажей был повален, книги лежали горой, и в этой горе копались Изя и Пак — оба очень довольные, разгоряченные, потные, азартные... Андрей, шагая прямо по книгам, подошел к ним, взял за воротники, поднял.

— Пошли отсюда,— сказал он.— Хватит. Пошли.

Изя глянул на него затуманенными глазами, рванулся, вырвался и сразу же пришел в себя. Глаза его быстро обшарили Андрея с головы до ног.

— Что с тобой? — спросил он.— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось,— зло сказал Андрей.— Хватит здесь копаться. Куда вам надо? В пантеон? Вот и пошли в пантеон.

Пак, которого он все еще держал за шиворот, деликатно подвигал плечами и кашлянул. Андрей отпустил его.

— Ты знаешь, что мы здесь нашли?..— с азартом начал Изя и сразу же оборвал себя.— Слушай, да что стряслось?

Андрей уже взял себя в руки. Все, что было там внизу, казалось совершенно нелепым и невозможным здесь — в этом строгом душном зале, под испытующим взглядом Изи, рядом с невозмутимо корректным Паком.

— Мы не можем тратить столько времени на каждый объект,— сказал он хмурясь.— У нас всего одни сутки. Пойдемте.

— Библиотека — это не каждый объект! — немедленно возразил Изя.— Это первая библиотека за весь маршрут... Слушай, на тебе лица нет. Что случилось в конце концов?!

Андрей все никак не мог решиться рассказать. Не знал — как.

— Пошли,— буркнул он, повернулся и зашагал по книгам к выходу.

Изя догнал его и, взявши под руку, пошел рядом. Немой в дверях посторонился, пропуская их. Андрей все не знал, как начать. Все начала и все слова были дурацкими. Потом он вспомнил про дневник.

— Ты мне вчера дневник читал...— проговорил он. Они уже спускались по лестнице.— Ну, этого... который повесился...

— Да?

— Вот тебе и да!

Изя остановился.

— Рябь?

— Неужели вы ничего не слышали? — сказал Андрей с отчаянием.

Изя замотал бородой, а Пак ответил негромко:

— Вероятно, мы увлеклись. Мы спорили.

— Маньяки...— сказал Андрей. Он судорожно перевел дух, оглянулся на Немого и выговорил наконец: — Статуя. Пришла и ушла... Шляются, понимаешь, по городу, как живые...

Он замолчал.

— Ну? — нетерпеливо сказал Изя.

— Что — ну? Все!

Напряженное лицо Изи изобразило огромное разочарование.

— Ну и что? — сказал он.— Ну, статуя... ночью тоже шлялась одна, ну и что?

Андрей открыл и снова закрыл рот.

— Железноголовые,— подал голос Пак.— По-видимому, эта легенда возникла именно здесь...

Андрей, не в силах произнести ни слова, переводил взгляд с Изи на Пака и обратно. Изя сочувственно — дошло до него, наконец-то! — тянул губы дудкой и все порывался потрепать Андрея по руке, а Пак, полагая, очевидно, что все необходимые разъяснения даны, украдкой поглядывал через плечо на дверь в библиотеку.

— Т-так...— выдавил, наконец, Андрей.— Очень мило. Значит, вы сразу в это поверили?..

— Слушай, ты успокойся,— сказал Изя, ухватив его все-таки за рукав.— Конечно, поверили, а почему не поверить? Эксперимент, он все-таки и есть Эксперимент. За всеми этими нашими поносами и склоками мы о нем забыли, но на самом-то деле... Елки-палки, да что тут такого? Ну, статуи, ну, ходят... А здесь у нас библиотека! И знаешь, какая любопытная картина выясняется: люди, которые здесь жили,— наши современники, двадцатый век...

— Понятно,— сказал Андрей.— Пусти рукав.

Ему уже было совершенно ясно, что он свалял дурака. Впрочем, эта парочка еще не видела статуй по-настоящему. Посмотрим, как они запоют, когда увидят. Правда, Немой тоже как-то странно...

— Нечего меня уговаривать,— сказал он.— Сейчас на эту библиотеку времени у нас нет. Будем проходить мимо тракторами — навалите хоть целую волокушу. А сейчас пошли. Я обещал вернуться к отбою.

— Ну, хорошо,— успокаивающе сказал Изя.— Ну, пошли. Пошли.

Н-да, думал Андрей, торопливо сбегая по лестнице. Как же это я, с неловкостью думал он, распахивая двери подъезда и выходя на улицу первым, чтобы никто не мог видеть его лица. И ведь не солдат, не шоферюга какой-нибудь, думал он, шагая по раскаленному булыжнику. Это все Фриц, думал он со злостью. Объявил, понимаешь, что нет больше никакого Эксперимента, а я и поверил... то есть не поверил, конечно, а просто принял новую идеологию — из лояльности и по долгу службы... Нет, ребята, все эти новые идеологии — это для дураков, для массы... Но ведь и то сказать: четыре годика жили — ни о каком Эксперименте и не вспоминали, других дел было по горло... Карьерку делали, ядовито подумал он. Ковры доставали, экспонатики для личных коллекций...

На перекрестке он приостановился, искоса глянул в переулок. Статуя была там — грозила полуметровым черным пальцем, неприятно ухмылялась жабьей пастью. Я, мол, вас, сук-киных котов!..

— Эта, что ли? — спросил Изя небрежно.

Андрей кивнул и пошел дальше.

Они шли и шли, постепенно дурея от жары и слепящего света, наступая на собственные короткие уродливые тени, пот соляной коркой застывал на лбу и на висках, и даже Изя перестал уже трепаться о крушении каких-то там своих стройных гипотез, и даже неутомимый Пак уже приволакивал ногу — подошва оторвалась, а Немой время от времени широко разевал черный рот и, высунув страшный обрубок языка, принимался часто-часто, как собака, дышать... И ничего больше не происходило, только один раз Андрей,

не успев совладать с собой, вздрогнул, когда, подняв случайно глаза, увидел в распахнутом окне четвертого этажа огромное позеленевшее лицо, уставившееся на него слепыми выпученными глазами. Что ж, зрелище и в самом деле было жуткое — четвертый этаж и пятнистая зеленая харя во все окно.

Потом они вышли на площадь.

Таких площадей они еще не встречали. Она была похожа на вырубленный диковинный лес. Как пни, были понатыканы на ней постаменты — круглые, кубические, шестигранные, звездообразные, в виде каких-то абстрактных ежей, артиллерийских башен, мифических зверей — каменные, чугунные, из песчаника, из мрамора, из нержавеющей стали, даже, кажется, из золота... И все эти постаменты были пусты, только в полусотне метров впереди голову крылатого льва попирала обломанная выше колена голая нога в человеческий рост, босая, с необычайно мускулистой икрой.

Площадь была огромная, противоположного конца ее видно не было за мутным маревом, а справа, под самой Желтой Стеной, виднелись искаженные потоками горячего воздуха очертания длинного приземистого строения с фасадом из тесно поставленных колонн.

— Ну и ну! — непроизвольно вырвалось у Андрея.

А Изя проговорил непонятно:

— То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки...— и спросил: — А куда они, собственно, все подевались?

Никто ему не ответил. Все смотрели и не могли насмотреться, даже, кажется, Немой. Потом Пак сказал:

— Нам, по-видимому, надо вон туда...

— Это и есть ваш Пантеон? — спросил Андрей, чтобы что-нибудь сказать, а Изя произнес с каким-то возмущением:

— Я не понимаю! Что же это они — все по городу шляются? Почему же мы их тогда почти не видели? Их же здесь должны быть тысячи, тысячи!..

— Город Тысячи Статуй,— сказал Пак.

Изя живо повернулся к нему.

— Что, и такая легенда существует?

— Нет. Но я так бы его назвал.

— Трам-тарарам! — сказал Андрей, которого осенила неожиданная мысль.— Как же мы здесь пройдем с нашими тягачами? Тут же никакой взрывчатки не хватит — эти надолбы подрывать...

— Я думаю, должна быть дорога вокруг площади,— сказал Пак.— Над обрывом.

— Пошли? — сказал Изя. Ему уже не терпелось.

И они двинулись напрямик к пантеону, шагая между постаментами, по булыжнику, который был здесь разбит и искрошен в мелкий щебень, в белую пыль, ярко мерцающую на солнце. Время от времени они приостанавливались и то пригибались, то становились на цыпочки, чтобы прочесть надписи на постаментах, и надписи эти были странными до того, что от них брала оторопь.

НА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ОТ УЛЫБКИ.— БЛАГОСЛОВЕНИЕ МУСКУЛЮС ГЛЮТЕУС ТВОЕГО СПАСЛО МАЛЫХ СИХ.— ВЗВИЛОСЯ СОЛНЦЕ, И ПОГАСЛА ЗАРЯ ЛЮБВИ, НО. И даже просто: КОГДА! Изя хохотал и гукал, бил кулаком в ладонь, Пак улыбался, качая головой, а Андрею было неловко, он чувствовал неуместность этого веселья, даже неприличие какое-то, но ощущения его были неуловимы, и он только терпеливо торопил: «Ну, хватит, хватит,— повторял он.— Пошли. Ну, какого черта? Опаздываем же, неудобно...»

Зло брало глядеть на этих идиотов — нашли, понимаете, место и время развлекаться. А они все задерживались и задерживались, водили грязными своими пальцами по выбитым строчкам, зубоскалили, ерничали, и он махнул на них рукой и почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что голоса их остались далеко позади и слов разобрать нельзя.

Так оно и лучше, подумал он с удовольствием. Без этой дурацкой свиты. В конце концов, я что-то не помню, а приглашали ли их? Что-то там было сказано про них, но что именно? То ли просили быть в парадной форме, то ли просили, наоборот, не быть вообще... Ах, какое это теперь имеет значение? Ну, в крайнем случае, посидят внизу. Пак еще туда-сюда, а Изя вдруг начнет придираться к слогу, не дай бог, еще сам полезет говорить... Нет-нет, без них лучше,

правда, Немой? Ты держись у меня за спиной, вот здесь, справа, да поглядывай хорошенько! Тут, брат, хлопать ушами не приходится. Не забывай: мы здесь в стане настоящих оппонентов, это тебе не Кехада и не Хнойпек, на вот, возьми автомат, мне нужна свобода движений, и вообще лезть с автоматом на кафедру — я ведь, слава богу, не Гейгер... Позволь, а где же мои тезисы? Вот тебе и на! Как же я без тезисов?..

Пантеон высился перед ним и над ним всеми своими колоннами, разбитыми выщербленными ступенями, оскалившимися ржавой арматурой, из-за колонн несло ледяным холодом, там было темно, оттуда пахло ожиданием и тленом, а гигантские золоченые створки были уже отворены, и оставалось только войти. Он зашагал со ступеньки на ступеньку, внимательно следя за собой, чтобы — упаси бог! — не споткнуться, не растянуться здесь, на глазах у всех, он все ощупывал свои карманы, но тезисов нигде не было, потому что они, конечно, остались в железном ящике... нет, в новом костюме, я ведь хотел надеть новый костюм, а потом решил, что так будет эффектнее...

...Черт побери, как же я буду без тезисов? — подумал он, вступая в темный вестибюль. Что же там у меня было, в моих тезисах? — думал он, осторожно ступая по скользкому полу черного мрамора. Кажется, во-первых, про величие, весь напрягаясь, вспоминал он, чувствуя, как ледяной холод заползает ему под рубашку. Здесь было очень холодно, в этом вестибюле, могли бы предупредить, все-таки не лето на дворе, песком могли бы, между прочим, посыпать, руки бы не отвалились, а то того и гляди затылком здесь навернешься...

...Ну, куда у вас тут? Вправо, влево? Ах да, пардон... Значит, так. Во-первых, о величии, думал он, устремляясь в совсем уже темный коридор. Вот это другое дело — ковер. Догадались! А факельщиков, конечно, поставить не сообразили. Всегда у них здесь так: либо поставят факельщиков или даже юпитера, либо — вот как сейчас... Таким образом: величие.

...Говоря о величии, мы вспоминаем так называемые великие имена. Архимед. Очень хорошо! Сиракузы, эврика,

бани... в смысле, ванны. Голый. Дальше. Аттила! Дож венецианский. То есть я прошу прощения: это Отелло — дож венецианский. Аттила — гуннов царь. Едет. Нем и мрачен, как могила... Да чего там далеко ходить за примерами? Петр! Величие. Великий. Петр Великий. Первый. Петр Второй и Петр Третий не были великими. Очень может быть потому, что не были первыми. Великий и первый чрезвычайно часто выступают как синонимы. Хотя-а-а... Екатерина Вторая, Великая. Вторая, но, тем не менее, великая. Это исключение важно отметить. Мы часто будем иметь дело с исключениями такого рода, которые, так сказать, только подтверждают правило...

Он крепко сцепил руки за спиной, упер подбородок в грудь и, втянув нижнюю губу, несколько раз прошелся взад и вперед, каждый раз изящно огибая свой табурет. Потом он отодвинул табурет ногой, уперся напряженными пальцами в стол и, сдвинув брови, поглядел поверх слушателей.

Стол был совершенно пустой, обитый серым цинком, и тянулся перед ним, как шоссе. Дальнего конца его не было видно, в желтоватом тумане мигали там колеблемые сквозняком огоньки свечей, и Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж кто-кто, а он-то должен был бы иметь возможность видеть, кто там — на том конце стола. Видеть его гораздо более важно, чем этих... Впрочем, это не моя забота...

Рассеянно и снисходительно он оглядел ряды этих. Они смирно восседали по обе стороны стола, повернув к нему внимательные лица — каменные, чугунные, медные, золотые, бронзовые, гипсовые, яшмовые... и какие там еще бывают у них лица. Например, серебряные. Или, скажем, нефритовые... Слепые глаза их были неприятны, да и вообще, что там могло быть приятного в этих громоздких тушах, колени которых торчали на метр, а то и на два выше поверхности стола. Хорошо было уже то, что они молчали и не шевелились. Всякое движение сейчас было бы невыносимым. Андрей с наслаждением, даже с каким-то сладострастием прислушивался, как истекают последние капли превосходно задуманной паузы.

— Но каково правило? В чем оно состоит? В чем его субстанциональная сущность, имманентная только ему и никакому другому предикату?.. И здесь мне, боюсь, придется говорить вещи, не совсем привычные и далеко не приятные для вашего слуха... Величие! Ах, как много о нем сказано, нарисовано, сплясано и спето! Что был бы человеческий род без категории величия? Банда голых обезьян, по сравнению с которыми даже рядовой Хнойпек показался бы нам венцом высокой цивилизации. Не правда ли?.. Ведь каждый отдельный Хнойпек не имеет меры вещей. От природы он научен только пищеварить и размножаться. Всякое иное действие упомянутого Хнойпека не может быть оценено им самостоятельно ни как хорошее, ни как плохое, ни как полезное, ни как напрасное или вредное,— и именно вследствие такого вот положения вещей каждый отдельный Хнойпек при прочих равных условиях рано или поздно, но с неизбежностью попадает под военно-полевой суд, каковой суд уже и решает, как с ним поступить... Таким образом, отсутствие суда внутреннего закономерно и, я бы сказал, фатально восполняется наличием суда внешнего, например, военно-полевого... Однако, господа, общество, состоящее из Хнойпеков и, без всякого сомнения, из Мымр, просто не способно было уделять такого огромного внимания суду внешнему — неважно, военно ли это полевой суд или суд присяжных, тайный суд инквизиции или суд Линча, суд Фемы или суд так называемой чести. Я не говорю уже о товарищеских и прочих судах... Надлежало найти такую форму организации хаоса, состоящего из половых и пищеварительных органов как Хнойпеков, так и Мымр, такую форму этого вселенского кабака, чтобы хоть часть функций упомянутых внешних судов была бы передана суду внутреннему. Вот, вот когда понадобилась и пригодилась категория величия! А дело в том, господа, что в огромной и совершенно аморфной толпе Хнойпеков, в огромной и еще более аморфной толпе Мымр время от времени появляются личности, для которых смысл жизни отнюдь не сводится к пищеварительным и половым отправлениям по преимуществу. Если угодно — третья потребность! Ему, понимаете, мало чего-нибудь там переварить и попользоваться

чьими-нибудь прелестями. Ему, понимаете, хочется еще сотворить что-нибудь такое-этакое, чего раньше, до него, не было. Например, инстанционную или, скажем, иерархическую структуру. Козерога какого-нибудь на стене. С яйцами. Или сочинить миф про Афродиту... На кой хрен ему это все сдалось — он и сам толком не знает. И на самом деле, ну зачем Хнойпеку Афродита Пеннорожденная или тот же самый козерог. С яйцами. Есть, конечно, гипотезы, есть, и не одна! Козерог ведь, как-никак,— это очень много мяса. Об Афродите я уже и не говорю... Впрочем, если уж быть до конца честным и откровенным, происхождение этой третьей потребности для нашей материалистической науки остается пока загадкой. Но в настоящий момент это и не должно нас интересовать. В настоящий момент нам важно, друзья мои, что? Что в общей серой толпе вдруг появляется личность, которая не удовлетворяется, пакость такая, овсяной кашей или грязной Мымрой, каковая имеет все ноги в цыпках, не удовлетворяется, значит, широко доступным реализмом, а начинает идеализировать, абстрагироваться, зараза, начинает — мысленно обращает овсяную кашу в сочного козерога под чесночным соусом, а Мымру — в роскошную особу с бедрами и хорошо помытую — из океана она у него. Из воды... Да мать же моя мамочка! Да ведь такому человеку цены нет! Такого человека надо поставить на высокое место и водить к нему Хнойпеков и Мымр побатальонно, чтобы учились они, паразиты, понимать свое место. Вот вы, задрипы, умеете так, как он? Вот ты, ты, рыжий, вшивый, умеешь котлету нарисовать, да такую, чтобы сразу же жрать захотелось? Или анекдотец хотя бы сочинить? Не умеешь? Так куда же ты, говно, лезешь с ним ровняться? Пахать иди, пахать! Рыбу удить, ракушки промышлять!..

Андрей оттолкнулся от стола и, восторженно потирая руки, снова прошелся взад и вперед. Очень здорово все получилось. Великолепно! И без никаких там тезисов. И все эти долдоны слушали, затаив дыхание. Хоть бы один пошевелился... Да уж, я — такой. Я, разумеется, не Кацман, я больше помалкиваю, но уж если меня доведут, если меня, черт побери, спросят... Правда, на том, невидимом конце

стола тоже, кажется, принялся кто-то говорить. Еврей какой-то. Может быть, Кацман пробрался? Ну, это мы еще посмотрим — кто кого.

— Итак — величие — как категория, возникла из творчества, ибо велик лишь тот, кто творит, то бишь создает новое, небывалое. Но спросим себя, государи мои, кто же тогда будет их мордой в дерьмо тыкать? Кто им скажет: куда, тварюга, лезешь, куда прешь? Кто сделается, так сказать, жрецом творца — я не боюсь этого слова? А сделается им тот, сударики мои, кто рисовать упомянутую котлету или, скажем, Афродиту не умеет, но и ракушки промышлять тоже ни в какую не хочет — творец-организатор, творец-выстраиватель-в-колонны, творец, дары вымогающий и оные же и распределяющий!.. И вот тут мы вплотную подходим к вопросу о роли Бога и дьявола в истории. К вопросу, прямо скажем, запутанному, архисложному, к вопросу, в котором, на наш взгляд, все завраліись... Ведь даже неверующему младенцу ясно, что Бог — это хороший человек, а дьявол, наоборот, плохой. Но ведь это же, господа, козлиный бред! Что мы про них на самом деле знаем? Что Бог взял хаос в свои руки и организовал его, в то время как дьявол, наоборот, ежедневно и ежечасно норовит эту организацию, эту структуру разрушить, вернуть к хаосу. Верно ведь? Но, с другой стороны, вся история учит нас, что человек как отдельная личность стремится именно к хаосу. Он хочет быть сам по себе. Он хочет делать только то, что ему делать хочется. Он постоянно галдит, что от природы свободен. И зачем далеко за примерами ходить — возьмите все того же пресловутого Хнойпека!.. Вы понимаете, надеюсь, к чему я клоню? Ведь чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку, эту самую хаотическую аморфную хнойпекомымренность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить, выстроить — желательно, в одну колонну,— нацелить в одну точку и вообще уконтрапупить. Или, говоря проще, упупить. И, между прочим, это им, как правило, удавалось! Хотя, правда, лишь на небольшое время и лишь ценой большой крови... Так теперь я вас спрашиваю: кто же на самом деле хороший человек? Тот, кто стремится

реализовать хаос — он же свобода, равенство и братство,— или тот, кто стремится эту хнойпекомымренность (читай: социальную энтропию!) понизить до минимума? Кто? Вот то-то и оно!

Прекрасный получился период. Сухой, точный и в то же время не лишенный страстности... Ну что это он там бубнит — на том конце? Надо же, хамло какое! И работать мешает, и вообще...

С очень неприятным чувством Андрей вдруг обнаружил в ровных рядах внимательных слушателей несколько повернутых к нему затылков. Он присмотрелся. Сомнений не было — затылки. Раз, два... шесть затылков! Он изо всех сил откашлялся и строго постучал костяшками пальцев по оцинкованной поверхности. Это не помогло. Ну, погодите, подумал он с угрозой. Я вас сейчас! Как это будет по-латыни?..

— Quos ego! — рявкнул он.— Вы, кажется, вообразили себе, будто вы что-то себе значите? Мы, мол, большие, а вы-де все копошитесь там внизу? Мы, мол, каменные, а вы — плоть гниющая? Мы, дескать, во веки веков, а вы — прах, однодневки? Вот вам! — он показал им дулю.— Да кто вас помнит-то? Понавозводили вас каким-то давно забытым охламонам... Архимед — подумаешь! Ну, был такой, знаю, голый по улицам бегал безо всякого стыда... Ну и что? При надлежащем уровне цивилизации ему бы яйца за это дело оторвали. Чтобы не бегал. Эврика ему, понимаешь... Или тот же Петр Великий. Ну ладно, царь там, император всея Руси... Видали мы таких. А вот как была его фамилия? А? Не знаете? А памятников-то понаставили! Сочинений понаписали! А студента на экзамене спроси — дай бог, если один из десяти сообразит, какая у него была фамилия. Вот тебе и великий!.. И ведь со всеми с вами так! Либо никто вас вообще не помнит, только глаза лупят, либо, скажем, имя помнят, а фамилию — нет. И наоборот: фамилию помнят — например, премия Каллинги,— а имя... да что там имя! Кто он такой был-то? То ли писатель он был, то ли вообще спекулянт шерстью... Да и кому это надо, сами вы посудите? Ведь если всех вас запоминать, так забудешь, сколько водка стоит.

Теперь он видел перед собой больше десяти затылков. Это было обидно. А Кацман на том конце стола бубнил все громче, все напористей, но все так же неразборчиво.

— Приманка! — заорал Андрей изо всех сил.— Вот что такое ваше хваленое величие! Приманка! Глядит на вас Хнойпек и думает: это надо же, какие люди бывали! Вот я теперь пить брошу, курить брошу, Мымру свою по кустам валять перестану, в библиотеку пойду запишусь и тоже всего этого достигну... То есть это предполагается, что он так должен думать! Но думает-то он, на вас глядючи, совсем не то. И ежели караула вокруг вас не выставить, в загородку вас не взять, так он понавалит вокруг, мелом слова напишет да и пойдет обратно к своей Мымре, очень довольный. Вот вам и воспитательная функция! Вот вам и память человечества!.. Да на кой хрен, в самом деле, Хнойпеку память? На кой хрен ему вас помнить, скажите вы мне на милость? То есть, конечно, были такие времена, когда помнить вас всех считалось хорошим тоном. Деваться было некуда, запоминали. Александр, мол, Македонский, родился тогда-то, помер тогда-то. Завоеватель. Буцефал. «Графиня, ваш Буцефал притомился, а кстати, не хотите ли вы со мной переспать?» Культурно, образно, по-светски... Теперь, конечно, в школах тоже приходится зубрить. Родился тогда-то, помер тогда-то представитель олигархической верхушки. Эксплуататор. Здесь уж совсем непонятно, кому это нужно. Экзамены, бывало, сдашь — и с плеч долой. «Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же табуретки ломать?» Фильм был такой, «Чапаев». Смотрели? «Брат умирает — Митька, ухи просит...» Вот и все применения вашему Александру Македонскому...

Андрей замолчал. Все эти разговоры были ни к чему. Никто его не слушал. Перед ним были только затылки — чугунные, каменные, железные, нефритовые... бритые, лысые, курчавые, с косицей, с выщерблинами, а то и вовсе скрытые за кольчугами, шлемами, треуголками... Не нравится, горько подумал он. Правда глаза колет. К песнопениям привыкли, к одам. Егзиге монументум... А что я такого вам сказал? Ну, не врал, конечно, не подличал перед вами — что думал, то и сказал. Я ведь не против величия. Пушкин,

Ленин, Эйнштейн... Я идолопоклонства не люблю. Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо. Потому что каждый делает, что в его силах. Один — революцию, другой — свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает, так что же я — говно теперь?..

А голос за желтым туманом знай бубнил свое, и уже были слышны отдельные слова: «...невиданное и необычайное... из катастрофического положения... только вы... заслужило вечной благодарности и вечной славы...» Вот этого я особенно не терплю, подумал Андрей. Особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются. Братья навек. Вечная дружба. Навеки вместе. Вечная слава... Откуда они все это берут? Что они видят вечного?

— Хватит врать! — крикнул он через стол.— Совесть надо иметь!

Никто не обратил на него внимания. Он повернулся и побрел обратно, чувствуя, как сквозняк пробирает его до костей, вонючий сквозняк, пропитанный испарениями склепа, ржавчины, окислившейся меди... А ведь это не Изя там болтал, вяло подумал он. Изя таких слов сроду не произносил. Зря я на него... Зря я сюда пришел. Зачем меня, собственно, сюда принесло? Наверное, мне показалось, будто я что-то понял. Все-таки мне уже за тридцать, пора разбираться, что к чему. Что за дикая идея — убеждать памятники, что они никому не нужны? Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны... Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит?..

Что-то со мной сделалось за последние годы, подумал он. Что-то я утратил... Цель я утратил, вот что. Каких-нибудь пять лет назад я точно знал, зачем нужны те или иные мои действия. А теперь вот — не знаю. Знаю, что Хнойпека следует поставить к стенке. А зачем это — непонятно. То есть понятно, что тогда мне станет гораздо легче работать, но зачем это нужно — чтобы мне было легче работать? Это ведь только мне одному и нужно. Для себя. Сколько лет я уже живу для себя... Это, наверное, правильно: за меня для меня никто жить не станет, самому приходится позаботиться. Но ведь скучно

это, тоскливо, сил нет... И выбора нет, подумал он. Вот что я понял. Ничего человек не может и не умеет. Одно он может и умеет — жить для себя. Он даже зубами скрипнул от безнадежной ясности и определенности этой мысли.

Он вышел из склепа в тень колонн и зажмурился. Желтая раскаленная площадь, утыканная пустыми постаментами, лежала перед ним. Оттуда волнами накатывал жар, как из печи. Жар, жажда, изнурение... Это был мир, в котором надлежало жить и, следовательно, действовать.

Изя спал, уткнувшись лбом в раскрытый томик, вытянувшись на каменных плитах в тени. На штанах сзади у него зияла прореха, ноги в стоптанных башмаках были неестественно вывернуты. По́том от него разило за версту. Немой был тут же — сидел на корточках с закрытыми глазами, привалившись спиной к колонне, на коленях у него лежал автомат.

— Подъем,— сказал Андрей устало.

Немой раскрыл глаза и встал. Изя приподнял голову и поглядел на Андрея сквозь заплывшие веки.

— Где Пак? — спросил Андрей, озираясь.

Изя сел, вцепился скрюченными пальцами в пыльную шевелюру и принялся ожесточенно чесаться.

— Ч-черт...— пробормотал он невнятно.— Слушай, жрать же хочется невыносимо... Сколько можно?

— Сейчас пойдем,— сказал ему Андрей. Он все озирался.— Где Пак?

— Поше-ауэтеку,— ответил Изя, неистово зевая.— Ф-фу, разморило совершенно к чертям...

— Куда пошел?

— В библиотеку пошел.— Изя вскочил, подобрал свой томик и принялся запихивать его в мешок.— Мы решили, что он пока отберет книги... Сколько это сейчас времени? У меня вроде остановились...

Андрей взглянул на часы.

— Три,— сказал он.— Пошли.

— Может, пожрем сначала? — предложил Изя нерешительно.

— На ходу,— сказал Андрей.

Он испытывал какое-то смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось. Что-то было не так. Он взял у Немого автомат и, заранее щурясь, шагнул на раскаленные ступеньки.

— Ну вот...— ворчал позади Изя.— Теперь — жрать на ходу... Я его как честный человек дожидался, а он толком пожрать не дает... Немой, дай-ка сюда мешок...

Андрей, не оглядываясь, быстро шел между постаментами. Ему тоже хотелось есть, внутри так и сосало, но что-то толкало его идти, и идти быстро. Он поудобнее пристроил ремень автомата на плечо и снова мельком посмотрел на часы. Было все те же три часа без одной минуты. Он поднес запястье к уху. Часы стояли.

— Эй, господин советник! — позвал его Изя.— Держи.

Андрей приостановился и принял у него две галеты, проложенные жирной консервированной свининой. Изя уже смачно хрумкал и причмокивал. Рассматривая на ходу сандвич — откуда половчее кусать,— Андрей спросил:

— Когда Пак ушел?

— Да почти сразу же и ушел,— сказал Изя с набитым ртом.— Мы с ним осмотрели этот пантеон, ничего интересного не обнаружили, вот он и отправился.

— Зря,— сказал Андрей. Он понял, что его беспокоило.

— Что — зря?

Андрей не ответил.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Никакого Пака в библиотеке не оказалось. Он, конечно, сюда и не думал заходить. Книги валялись грудой, как и раньше.

— Странно,— сказал Изя, растерянно вертя головой.— Он же сказал, что отберет все по социологии...

— «Он сказал, он сказал...» — сквозь зубы проговорил Андрей. Он пхнул носком башмака подвернувшийся пухлый том, повернулся и сбежал по лестнице. Обвел все-таки, в конце концов. Обвел косоглазый. Еврей дальневосточный... Он сам толком не понимал, в чем заключается хитрость

дальневосточного еврея, но всеми фибрами души чувствовал: обвел!

Теперь они шли, прижимаясь к стенам,— Андрей по правой стороне улицы, Немой, который тоже понял, что дело дрянь,— по левой. Изя полез было на середину, но Андрей так на него гаркнул, что архивариус опрометью вернулся к нему и пошел след в след, возмущенно сопя и презрительно фыркая. Видимость была — метров пятьдесят, а дальше улица представлялась словно бы в аквариуме — все там мутно дрожало, отсвечивало, поблескивало, и даже вроде бы какие-то водоросли струились над мостовой.

Когда они поравнялись с кинотеатром, Немой вдруг остановился. Андрей, следивший за ним краем глаза, остановился тоже. Немой стоял неподвижно, он словно к чему-то прислушивался, держа обнаженный тесак в опущенной руке.

— Гарью несет...— тихонько проговорил сзади Изя.

И Андрей сейчас же почувствовал запах гари. Вот оно, подумал он, стискивая зубы.

Немой поднял руку с тесаком, махнул вдоль улицы и двинулся дальше. Они прошли еще метров двести со всей возможной осторожностью. Запах гари усиливался. Запах горячего металла, тлеющего тряпья, солярки и еще какие-то сладковатые, почти вкусные запахи. Что же там произошло? — думал Андрей, стискивая зубы до хруста в висках. Что он там учинил? — твердил он в тоске. Что там горит? Это же там горит, несомненно... И тут он увидел Пака.

Он сразу подумал, что это Пак, потому что на трупе была знакомая куртка из выцветшей голубой саржи. Ни у кого в лагере больше не было такой куртки. Кореец лежал на углу, разбросав ноги, уронивши голову на самодельный коротковольный автомат. Ствол автомата был направлен вдоль улицы в сторону лагеря. Пак был какой-то непривычно толстый, словно раздутый, и кисти рук у него были черно-синие и лоснились.

Андрей еще не успел как следует понять, что же он на самом деле видит, как Изя с каким-то карканьем оттолкнул его, бросился, отдавив ему ногу, через перекресток и упал

рядом с трупом на колени. Андрей сглотнул и посмотрел в сторону Немого. Немой энергично кивал и показывал тесаком куда-то вперед, и Андрей разглядел там, на самой границе видимости, еще одно тело. Кто-то там лежал еще — посередине улицы,— тоже толстый и черный, а сквозь марево видно было теперь, как поднимается над крышами искаженный рефракцией столб серого дыма.

Опустив автомат, Андрей пересек перекресток. Изя уже поднялся с колен, и, подойдя, Андрей сразу понял — почему: от трупа в голубой сарже невыносимо тянуло сладким и тошным.

— Боже мой...— проговорил Изя, поворачивая к Андрею залитое потом помертвевшее лицо.— Они же его убили, подонки... Они же все вместе его одного не стоят...

Андрей мельком глянул под ноги, на страшную раздутую куклу с черной язвой вместо затылка. Солнце тускло отсвечивало на россыпи медных гильз. Андрей обошел Изю и, больше уже не прячась, не пригибаясь, зашагал наискосок через улицу к следующей раздутой кукле, над которой уже сидел на корточках Немой.

Этот лежал на спине, и хотя лицо у него было чудовищно вспухшее и черное, Андрей узнал его: это был один из геологов, заместитель Кехады по съемке — Тэд Камински. Особенно страшно было, что он в одних трусах и почему-то в ватнике, какие носили водители. Видимо, ему попало в спину, и очередь прошила его насквозь — на груди телогрейка была вся в дырах, и из дыр торчали клочья серой ваты. Шагах в пяти валялся автомат без рожка.

Немой тронул Андрея за плечо и указал вперед. Там, приткнувшись к стене на правой стороне улицы, скорчился еще один труп. Оказалось, это был Пермяк. Его убило, видимо, на середине улицы, там еще оставалось на булыжнике высохшее черное пятно, но он, мучаясь, пополз к стене, оставляя за собой густой черный след, и там, у стены, мучаясь, умер, подвернув голову и изо всех сил обхватив руками разорванный пулями живот.

Они здесь убивали друг друга в приступе неистовой ярости, как взбесившиеся хищники, как остервеневшие тарантулы, как обезумевшие от голода крысы. Как люди.

Поперек ближайшего к лагерю немощеного переулка на засохших нечистотах валялся Тевосян. Он гнался за трактором, который свернул в этот переулок и уходил к обрыву, коверкая спекшуюся землю торопливыми гусеницами. Тевосян гнался за ним от самого лагеря, стреляя на ходу, а с трактора стреляли по нему, и здесь, на перекрестке, где в ту ночь стояла статуя с жабьей харей, в него попали, и он остался лежать, оскалив желтые зубы, в своем испачканном пылью, нечистотами и кровью солдатском мундирчике. Но перед смертью, а может быть, и после смерти, он попал тоже: на полпути к обрыву, вцепившись скрюченными пальцами в раскрошенную гусеницами землю, вздутой горой громоздился сержант Фогель, и дальше трактор шел уже без него — до самого обрыва и вниз, в пропасть.

В лагере лениво догорала волокуша. По исковерканным простреленным бочкам, иссиня-черным от жара, еще бегали чадные язычки оранжевого пламени, и медленно поднимались в тусклое небо клубы жирного дыма. Из черной спекшейся кучи на волокуше торчали чьи-то горелые ноги, и тянуло тем самым вкусным запахом, от которого теперь тошнило.

Из окна комнаты картографов свисал голый труп Рулье — длинные волосатые руки его почти касались тротуара, а на тротуаре валялся автомат. Вокруг окна вся стена была избита и исковеркана пулями, а на противоположной стороне улицы лежали друг на друге скошенные одной очередью Василенко и Палотти. Оружия возле них не было, а на усохшем лице Василенко сохранилось выражение безмерного изумления и испуга.

Второго геолога, второго картографа и зампотеха Эллизауэра расстреляли, поставив к той же стене. Так они и лежали рядком под пробитой пулями дверью — Эллизауэр в кальсонах, остальные — голые.

А в самом центре этой смердящей гекатомбы, прямо посередине улицы, на длинном столе с алюминиевыми ножками, покрытый британским флагом, спокойно лежал, сложивши руки на груди, полковник Сент-Джеймс, в парадном мундире, при всех орденах, все такой же сухой, невозмутимый и даже иронически улыбающийся. Рядом, привалившись

к ножке стола, уткнувшись седой головой в мостовую, лежал Даган — тоже в парадном мундире — и в руках у него была зажата сломанная трость полковника.

И это было все. Шестеро солдат, в том числе и Хнойпек, инженер Кехада, приблудная девка Мымра и второй трактор со второй волокушей — исчезли. Остались трупы, осталось сваленное горой геологическое оборудование, осталось несколько автоматов в пирамиде. И смрад. И жирная копоть. И удушающая вонь жареного мяса от догорающей волокуши. Андрей ввалился в свою комнату, упал в кресло и со стоном уронил голову на руки. Все было кончено. Навсегда. И не было спасения от боли, и не было спасения от стыда, и не было спасения от смерти.

...Я привел их сюда. Я. Я их бросил здесь одних, трус, подонок. Отдохнуть захотелось. От рыл ихних отдохнуть захотелось вонючке, чистоплюю, слизняку... Полковник, ах, полковник! Нельзя было умирать, нельзя!.. Если бы я не ушел, он бы не умер. Если бы он не умер, никто бы здесь и пикнуть не посмел. Звери, звери... Гиены! Стрелять надо было, стрелять!..

Он снова протяжно застонал и заерзал мокрой щекой по рукаву. В библиотеках прохлаждался... речи статуям произносил... раздолбай, трепло, все прогадил, все растерял... Ну и подыхай теперь, сволочь! Никто не заплачет. На кой хрен ты такой кому нужен?.. Но страшно ведь, страшно... Гонялись друг за другом, стреляли — в лежащих стреляли, в мертвых стреляли, к стенке ставили с руганью, с мордобоем... До чего же вы дошли, ребята, а? До чего я вас довел?.. И зачем? Зачем?!

Он ударил по столешнице стиснутыми кулаками, выпрямился, обтер лицо ладонью. Было слышно, как за окном невнятно и страшно вскрикивает Изя и Немой успокаивающе курлыкает, словно голубь. Не хочу жить, подумал Андрей. Не хочу. К черту все это... Он поднялся из-за стола — туда, к Изе, к людям — и вдруг увидел перед собой раскрытый журнал экспедиции. Он с отвращением оттолкнул его от себя, но тут же заметил, что последняя страница исписана не его рукой. Он снова сел и стал читать.

Кехада писал:

— «День 31-й. Вчера, утром 30-го дня экспедиции, советник Воронин с архивариусом Кацманом и эмигрантом Паком отправились на рекогносцировку с расчетом возвратиться в лагерь к отбою, но не возвратились. Сегодня в 14 часов 30 минут скоропостижно, от сердечного приступа, скончался временно исполняющий обязанности начальника экспедиции полковник Сент-Джеймс. Поскольку советник Воронин до сих пор из рекогносцировки не возвратился, принимаю командование экспедицией на себя. Подпись: заместитель начальника экспедиции по науке Д.Кехада. 31-й день экспедиции, 15 часов 45 мин.».

Далее следовала обычная муть о расходе продовольствия и воды, о температуре, о ветре, а также приказ о назначении сержанта Фогеля начальником по военной части, выговор зампотеху Эллизауэру за медлительность и приказ ему же — максимально форсировать ремонт второго трактора. Дальше Кехада писал:

«Я намерен завтра провести торжественные похороны безвременно усопшего полковника Сент-Джеймса и сразу же после церемонии выслать хорошо вооруженный отряд на поиски рекогносцировочной группы советника Воронина. Буде исчезнувшая группа не обнаружится, я намерен отдать приказ о возвращении, поскольку считаю дальнейшее продвижение вперед еще более бессмысленным, нежели раньше».

«День 32-й. Рекогносцировочная группа не вернулась. За безобразную драку, учиненную минувшей ночью, картографа Рулье и рядовых Хнойпека и Тевосяна предупреждаю в последний раз и лишаю на день водного пайка...»

Дальше на бумаге шел чернильный зигзаг с брызгами, и записи на этом кончались. Видимо, на улице поднялась стрельба, Кехада выскочил и больше уже не возвращался.

Андрей перечитал записи дважды. Да, Кехада, ты этого хотел. Чего хотел, то и получил. А я все на Пака грешил, царство ему небесное... Он, прикусив губу, зажмурился, когда перед глазами его снова встала раздутая кукла в синей выцветшей куртке, и вдруг до него дошло: тридцать второй день. Как — тридцать второй? Тридцатый! Вчера я записывал

за двадцать восьмой... Он торопливо перебросил страницу. Да. Двадцать восьмой... И трупы эти раздутые — они же лежат уже несколько суток... Господи, да что же это?.. Один, два... Какое же сегодня число? Ведь мы же сегодня утром ушли!

И он вспомнил жаркую, уставленную пустыми постаментами площадь, и ледяную тьму пантеона, и слепые статуи за бесконечно длинным столом... Это было давно. Это было очень давно. Да-а... Закрутила, значит, завертела гадская сила, заморочила, одурманила меня... Я же мог в тот же день вернуться, полковника живого бы застал, не допустил бы...

Дверь распахнулась, и в комнату шагнул не похожий на себя Изя — весь словно высохший, с вытянутым костистым лицом, угрюмый, озлобленный, точно и не он только что, как женщина, вскрикивал под окнами. Он швырнул в угол полупустой мешок, сел в кресло напротив Андрея и сказал:

— Трупы лежат не меньше трех дней. Что происходит, ты понимаешь?

Андрей молча толкнул ему через стол журнал. Изя жадно схватил, разом проглотил записи, поднял на Андрея красные глаза.

Андрей сказал, криво усмехаясь:

— Эксперимент есть Эксперимент.

— Дрянь корявая, паршивая...— сказал Изя с ненавистью и отвращением. Он еще раз проглядел записи и бросил журнал на стол.— С-суки!

— По-моему, это нас на площади скрутило,— сказал Андрей.— Где постаменты...

Изя кивнул, откинулся в кресле и, задрав бороду, закрыл глаза.

— Ну, что будем делать, советник? — спросил он.

Андрей молчал.

— Ты мне только стреляться не вздумай! — сказал Изя.— Знаю я тебя... комсомольца... орленка.

Андрей снова криво усмехнулся и потянул себя за воротник.

— Слушай,— проговорил он.— Пойдем отсюда куда-нибудь...

Изя открыл глаза и уставился на него.

— Смрад из окна...— сказал Андрей с трудом.— Не могу...

— Пошли ко мне,— сказал Изя.

В коридоре Немой поднялся им навстречу. Андрей взял его за голую мускулистую руку и потянул за собой. Все вместе они вошли в Изину комнату. Окна здесь глядели на другую улицу. За окнами, над низкими крышами уходила ввысь Желтая Стена. Здесь совсем не было смрада, и было почему-то даже прохладно, только вот сесть было негде — весь пол и все сплошняком было завалено бумагой и книгами.

— На пол, на пол садись,— сказал Изя, а сам повалился на свою развороченную грязную постель.— Давай думать,— сказал он.— Я подыхать не собираюсь. У меня здесь еще куча дел.

— А чего думать? — сказал Андрей угрюмо.— Все равно... Воды нет, увезли, а жратва вся сгорела. Дороги назад нет — через пустыню нам не пройти... Даже если мы этих гадов догоним... Да нет — где нам их догнать, несколько дней прошло...— Он помолчал.— Если бы воду найти... Далеко до этой твоей водокачки?

— Километров двадцать,— сказал Изя.— Или тридцать.

— Если ночью идти, по холодку...

— Ночью идти нельзя,— сказал Изя.— Темно. И волки.

— Здесь нет волков,— возразил Андрей.

— Откуда ты знаешь?

— Ну, тогда давай стреляться к чертовой матери,— сказал Андрей.

Он уже знал, что не будет стреляться. Он хотел жить. Никогда раньше он не знал, что можно так сильно хотеть жить.

— Ну ладно,— сказал Изя.— А если серьезно?

— А если серьезно, то я хочу жить. И я выживу. Мне теперь на все наплевать. Мы теперь с тобой вдвоем, понял? Мы теперь с тобой должны выжить, и все. И провались они все к чертовой матери. Просто найдем воду и будем около нее жить.

— Правильно,— сказал Изя. Он сел на кровати, запустил руку под рубаху и принялся скрестись.— Днем будем пить воду, а по ночам я буду тебя поя...ть.

Андрей посмотрел на него, не понимая.

— Ты можешь еще что-нибудь предложить? — спросил он.

— Пока нет. Все правильно — сначала надо найти воду. Без воды нам карачун. А что дальше — там посмотрим... Я вот что сейчас думаю. По всему видно, что они драпали отсюда опрометью, сразу после бойни. Страшно стало. Повалились на волокушу и — газу! Надо бы в доме пошарить — наверняка здесь и вода, и жратва найдутся...

Он хотел еще что-то сказать, но остановился с разинутым ртом. Глаза его выкатились.

— Гляди, гляди! — сказал он испуганным шепотом.

Андрей стремительно повернулся к окну.

Сначала он ничего особенного не заметил, он только услышал — какое-то отдаленное громыхание, словно обвал, словно где-то камни сыпались... Потом глаза его уловили некое движение на желтом вертикальном склоне над крышами.

Сверху, из голубоватой белесой мглы, куда уходил мир, быстро катилось острием вниз странное треугольное облако. Оно двигалось с неимоверной высоты и было еще очень далеко от подножья стены, но уже можно было различить, что на острие бешено крутится, налетая на невидимые выступы и подскакивая, какое-то тяжелое тело мучительно знакомых очертаний. При каждом ударе от этого тела отлетали куски и продолжали падать рядом, веером летело каменное крошево, и вспухали клубы светлой пыли, втягиваясь в облако, образуя его, расходясь углом, как бурун за кормой быстроходного катера, а отдаленный громыхающий гул стал громче и распался на отдельные удары, дробный треск обломков о монолит, грозное шуршание гигантского оползня...

— Трактор! — перехваченным голосом произнес Изя.

Андрей понял его только в самую последнюю секунду, когда изувеченная, истерзанная машина стремительно нырнула за крыши, пол под ногами дрогнул от страшного удара, столбом взвилась кирпичная пыль, взлетели на воздух

обломки, клочья жести — через мгновение все это скрылось под лавиной желтого обвала.

Они еще долго молчали, прислушиваясь, как там гремит, трещит, хрустит, перекатывается, и пол под ногами все вздрагивал, а над крышами уже ничего не было видно за неподвижным желтым облаком.

— Ничего себе! — сказал Изя.— Как их туда занесло?

— Кого? — тупо спросил Андрей.

— Это же наш трактор, балда!

— Какой наш трактор? Который удрал?

Изя помолчал, изо всех сил сандаля нос грязными пальцами.

— Не знаю,— сказал он.— Не понимаю ничего... А ты понимаешь? — спросил он вдруг, повернувшись к Немому.

Тот равнодушно кивнул. Изя с досадой ударил себя по коленям, но тут Немой сделал странный жест: протянул перед собой указательный палец, круто опустил его к полу, а затем поднял выше головы, описавши в воздухе вытянутое кольцо.

— Ну? — жадно сказал Изя.— Ну?

Немой пожал плечами и повторил тот же жест. И Андрей вдруг вспомнил — вспомнил и сразу все понял.

— «Падающие Звезды»! — сказал он.— Это ж надо же!..— Он горько рассмеялся.— Надо же, когда я это понял!..

— Что ты понял? — заорал Изя.— Какие звезды?

Андрей, все еще смеясь, махнул рукой.

— Плевать,— сказал он.— Плевать, плевать и плевать! Какое нам теперь до этого дело? Хватит болтать, Кацман! Нам выжить надо, понимаешь ты? Выжить! В этом гнусном неправдоподобном мире! Нам вода нужна, Кацман!..

— Подожди, подожди...— пробормотал Изя.

— Я ничего больше не хочу! — заорал Андрей, тряся сжатыми кулаками.— Я не желаю больше ничего понимать! Не желаю ничего узнавать!.. Ведь там трупы валяются, Кацман! Трупы!.. Они ведь тоже жить хотели, Кацман! А теперь просто вздулись и гниют!

Изя, выпятив бороду, слез с кровати, схватил Андрея за куртку и с силой посадил на пол.

— Тихо! — сказал он, страшно сопя.— По морде тебе дать? Сейчас дам. Баба!

Андрей скрипнул зубами и замолчал. Изя отдуваясь вернулся на койку и снова принялся скрестись.

— Трупов он не видал...— ворчал он.— Мира этого он не видал... Баба.

Андрей, уткнувшись лицом в ладони, давил и затаптывал в себе бессмысленный и отвратительный вой. Но краем сознания он уже понимал, что с ним сейчас происходит, и это помогало. Очень страшно было: быть здесь, среди мертвецов, еще вроде бы живым, но на самом-то деле уже мертвым... Изя говорил что-то, но он не слушал. Потом его отпустило.

— Что ты говоришь? — спросил он, отнимая руки от лица.

— Я говорю, что пойду пошарю у солдатни, а ты пошарь у интеллигенции. И в комнате у Кехады пошарь — у него там где-то геологический эн-зе должен храниться... Не дрейфь, перезимуем...

В этот момент погасло солнце.

— М-мать! Вот некстати! — сказал Изя.— Теперь фонарь надо искать... Подожди-ка, ведь твой фонарь у меня должен быть...

— Часы,— сказал Андрей с трудом.— Часы надо поставить...

Он поднес запястье к глазам, разглядел фосфоресцирующие стрелки и поставил их на двенадцать ноль-ноль. Изя, ругаясь сквозь зубы, возился в темноте, двигал зачем-то койку, шуршал бумагой. Потом чиркнула и загорелась спичка. Изя стоял посредине комнаты на карачках и водил спичкой из стороны в сторону.

— Ну чего вы расселись, мать вашу!..— заорал он.— Фонарь ищите! Живее, а то у меня спичек всего три штуки!..

Андрей нехотя поднялся, но Немой уже нашел фонарь, поднял стекло и передал Изе. Стало светлее. Изя, сосредоточенно шевеля бородой, регулировал горелку. Руки у него были крюки, горелка не желала регулироваться. Немой, весь лоснящийся от пота, вернулся в угол, сел на корточки и

оттуда жалобно и преданно глядел на Андрея распахнутыми глазами ребенка. Воинство. Огрызки битой армии...

— Дай сюда фонарь,— сказал Андрей.

Он отобрал у Изи фонарь, наладил горелку и приказал:

— Пошли.

Он толкнул дверь в комнату полковника. Окна здесь были плотно закрыты, стекла целы, и поэтому смрада совсем не чувствовалось. Пахло табаком и одеколоном. Полковником.

Все было аккуратно прибрано, два упакованных чемодана отсвечивали добротной кожей, походная раскладная койка застелена была без единой морщинки, в головах на гвозде висела портупея с кобурой и фуражка с громадным козырьком. На громоздком комоде в углу стоял на войлочном кружке газовый фонарь, рядом — коробок спичек, стопка книг, футляр с биноклем...

Андрей поставил свой фонарь на стол и еще раз огляделся. Поднос с флягой и перевернутыми стаканчиками оказался на полке пустого стеллажа.

— Подай,— сказал он Немому.

Немой кинулся, схватил и поставил поднос на стол, рядом с фонарем. Андрей разлил коньяк по стаканчикам. Стаканчиков было всего два, и для себя он наполнил колпачок фляжки.

— Берите,— сказал он.— За жизнь.

Изя одобрительно посмотрел на него, взял стаканчик, понюхал с видом знатока.

— Это вещь! — сказал он.— За жизнь, значит?.. Да разве это жизнь? — Он хихикнул, чокнулся с Немым и выпил. Глаза его увлажнились.— Хорошо-о...— слегка осипшим голосом проговорил он.

Немой тоже выпил — как воду, без всякого интереса. А Андрей все еще стоял с полным колпачком и пить не торопился. Что-то ему еще хотелось сказать, он и сам не знал толком — что. Какой-то очередной большой этап заканчивался, и начинался новый. И хотя ничего хорошего от завтрашнего дня ожидать не приходилось, завтрашний день все-таки был реальностью — особенно ощутимой потому, что это будет, может быть, один из очень и очень немногих

оставшихся дней. Это было совсем незнакомое Андрею и очень острое ощущение.

Но он так и не придумал, что еще сказать,— только повторил: «За жизнь» — и выпил.

Потом он зажег газовый фонарь полковника и вручил его Изе, пообещав:

— Если и этот раскокаешь, борода безрукая, надаю по шее...

Изя, оскорбленно ворча, удалился, а Андрей все медлил уходить, рассеянно оглядывая комнату. Следовало бы, конечно, пошарить здесь — наверняка у Дагана хранилась для полковника какая-нибудь заначка,— но шарить именно здесь почему-то казалось... стыдным, что ли?

— Не стесняйтесь, Андрей, не стесняйтесь,— услыхал он вдруг знакомый голос.— Мертвым ничего не нужно.

Немой сидел на краю стола, болтая ногой, и это уже был не Немой, точнее — не совсем Немой. Он по-прежнему был в одних штанах и с тесаком на широком поясе, но кожа его стала теперь сухой и матовой, лицо округлилось, на щеках проступил здоровый персиковый румянец. Это был Наставник — собственной персоной,— и Андрей впервые при виде него не ощутил ни радости, ни надежды, ни подъема. Он ощутил досаду и неловкость.

— Опять вы...— проворчал он, поворачиваясь к Наставнику спиной.— Давненько не видались...

Он подошел к окну и, прижавшись лбом к теплому стеклу, стал смотреть во тьму, слабо озаряемую огоньками догорающей волокуши.

— А мы тут, как видите, помирать собрались...

— Зачем же помирать? — бодро произнес Наставник.— Надо жить! Умереть, знаете ли, никогда не поздно и всегда рано, не так ли?

— А если мы не найдем воды?

— Вы ее найдете. Всегда находили и теперь найдете.

— Хорошо. Найдем. Жить около нее всю жизнь? Зачем же тогда жить?

— А зачем вообще жить?

— Вот и я все думаю: а зачем жить? Глупую я прожил жизнь, Наставник. Дурацкую какую-то... Болтался все время

как дерьмо в проруби — ни вверх, ни вниз. Сначала за идеи какие-то сражался, потом — за дефицитные ковры, а потом совсем уже ополоумел... людей вот погубил...

— Ну-ну-ну, это несерьезно,— сказал Наставник.— Люди всегда гибнут. При чем же тут вы?.. Вы начинаете новый этап, Андрей, и на мой взгляд — решающий этап. В известном смысле даже хорошо, что все получилось именно так. Рано или поздно все это с неизбежностью должно было произойти. Ведь экспедиция была обречена. Но вы могли бы погибнуть, так и не перейдя этого важного рубежа...

— Что же это за рубеж, интересно? — произнес Андрей, усмехаясь. Он повернулся к Наставнику лицом.— Идеи уже были — всякая там возня вокруг общественного блага и прочая муть для молокососов... Карьеру я уже делал, хватит, спасибо, посидел в начальниках... Так что же еще может со мной случиться?

— Понимание! — сказал Наставник, чуть повысив голос.

— Что — понимание? Понимание чего?

— Понимание,— повторил Наставник.— Вот чего у вас еще никогда не было — понимания!

— Понимания этого вашего у меня теперь вот сколько! — Андрей постукал себя ребром ладони по кадыку.— Все на свете я теперь понимаю. Тридцать лет до этого понимания доходил и вот теперь дошел. Никому я не нужен, и никто никому не нужен. Есть я, нет меня, сражаюсь я, лежу на диване — никакой разницы. Ничего нельзя изменить, ничего нельзя исправить. Можно только устроиться — лучше или хуже. Все идет само по себе, а я здесь ни при чем. Вот оно — ваше понимание, и больше понимать мне нечего... Вы мне лучше скажите, что я с этим пониманием должен делать? На зиму его засолить или сейчас кушать?..

Наставник кивал.

— Именно,— сказал он.— Это и есть последний рубеж: что делать с пониманием? Как с ним жить? Жить-то ведь все равно надо!

— Жить надо, когда понимания нет! — с тихой яростью сказал Андрей.— А с пониманием надо умирать! И если бы я не был таким трусом... если бы не вопила так во мне

проклятая протоплазма, я бы знал, что делать. Я бы веревку выбрал — покрепче...

Он замолчал.

Наставник взял флягу, осторожно наполнил один стаканчик, другой и задумчиво завинтил колпачок.

— Ну, начнем с того, что вы не трус,— сказал он.— И веревкой вы не воспользовались вовсе не потому, что вам страшно... Где-то в подсознании, и не так уж глубоко, уверяю вас, сидит в вас надежда — более того, уверенность,— что можно жить и с пониманием тоже. И неплохо жить. Интересно.— Он ногтем стал двигать к Андрею по столу один из стаканчиков.— Вспомните-ка, как отец заставлял вас прочесть «Войну миров», как вы не хотели, как вы злились, как вы засовывали проклятую книжку под диван, чтобы вернуться к иллюстрированному «Барону Мюнхгаузену»... Вам было скучно от Уэллса, вам было от него тошно, вы не знали, на кой ляд он вам сдался, вы хотели без него... А потом вы прочли эту книжку двенадцать раз, выучили наизусть, рисовали к ней иллюстрации и пытались даже писать продолжение...

— Ну и что? — угрюмо сказал Андрей.

— И такое было с вами не однажды! — сказал Наставник.— И будет еще не раз. В вас только что вбили понимание, и вам от него тошно, вы не знаете, на кой оно вам ляд, вы хотите без него...— Он взял свой стаканчик.— За продолжение! — сказал он.

И Андрей шагнул к столу, и взял свою рюмку, и поднес ее к губам, с привычным облегчением чувствуя, как снова рассеиваются все угрюмые сомнения и уже брезжит что-то впереди, в непроницаемой, казалось бы, тьме, и сейчас надо выпить, и бодро стукнуть пустой рюмкой по столу, и сказать что-нибудь энергичное, бодрое, и взяться за дело, но в этот момент кто-то третий, кто до сих пор всегда молчал, все тридцать лет молчал — то ли спал, то ли пьяный лежал, то ли наплевать ему было — вдруг хихикнул и произнес одно бессмысленное слово: «Ти-ли-ли, ти-ли-ли!..»

Андрей выплеснул коньяк на пол, бросил стаканчик на поднос и сказал, засунув руки в карманы:

— А ведь я еще кое-что понял, Наставник... Пейте, пейте на здоровье, мне не хочется.— Не мог он больше смотреть

на это румяное лицо. Он повернулся к нему спиной и снова отошел к окну.— Поддакиваете много, господин Наставник. Слишком уж вы беспардонно поддакиваете мне, господин Воронин-второй, совесть моя желтая, резиновая, пользованный ты презерватив... Все тебе, Воронин, ладно, все тебе, родимый, хорошо. Главное, чтобы все мы были здоровы, а они нехай все подохнут. Жратвы вот не хватит — Кацмана пристрелю, а? Милое дело!..

Дверь у него за спиной скрипнула. Он обернулся. Комната была пуста. И стаканчики были пусты, и фляга была пуста, и в груди было как-то пусто, словно вырезали оттуда что-то большое и привычное. То ли опухоль. То ли сердце...

И уже привыкая к этому новому ощущению, Андрей подошел к койке полковника и снял с гвоздя ремень с пистолетом, изо всех сил запоясался и передвинул кобуру на живот.

— На память,— громко сказал он белоснежной подушке.

ИСХОД

Солнце было в зените. Медный от пыли диск висел в центре белесого, нечистого неба, ублюдочная тень корчилась и топорщилась под самыми подошвами, то серая и размытая, то вдруг словно оживающая, обретающая резкость очертаний, наливающаяся чернотой и тогда особенно уродливая. Никакой дороги здесь и в помине не было — была бугристая серо-желтая сухая глина, растрескавшаяся, убитая, твердая, как камень, и до того голая, что совершенно непонятно было, откуда здесь берется такая масса пыли.

Ветер, слава богу, дул в спину. Где-то далеко позади он засасывал в себя неисчислимые тонны гнусной раскаленной пороши и с тупым упорством волочил ее вдоль выжженного солнцем выступа, зажатого между пропастью и Желтой стеной, то выбрасывая ее крутящимся протуберанцем до самого неба, то скручивая туго в гибкие, почти кокетливые, лебединые шеи смерчей, то просто катил клубящимся валом, а потом, вдруг остервенев, швырял колючую муку в спины, в волосы, хлестал, зверея, по мокрому от пота затылку, стегал по рукам, по ушам, набивал карманы, сыпал за шиворот...

Ничего здесь не было, давно уже ничего не было. А может быть, и никогда. Солнце, глина, ветер. Только иногда пронесется, крутясь и подпрыгивая кривляющимся скоморохом, колючий скелет куста, выдранного с корнем бог знает где позади. Ни капли воды, никаких признаков жизни. И только пыль, пыль, пыль, пыль...

Время от времени глина под ногами куда-то пропадала, и начиналось сплошное каменное крошево. Здесь все было

раскалено, как в аду. То справа, то слева начинали выглядывать из клубов несущейся пыли гигантские обломки скал — седые, словно мукой припорошенные. Ветер и жара придавали им самые странные и неожиданные очертания, и было страшно, что они вот так — то появляются, то вновь исчезают, как призраки, словно играют в свои каменные прятки. А щебень под ногами становился все крупнее, и вдруг россыпь кончалась, и снова под ногами звенела глина.

Камни вели себя очень плохо. Они выворачивались из-под ноги, они норовили поглубже вонзиться в подошву, проткнуть ее, добраться до живого тела. Глина вела себя поприличнее. Но и она делала все, что могла. Она вдруг вспучивалась плешивыми холмами, она устраивала ни с того ни с сего дурацкие косогоры, она расступалась в глубокие крутые овраги, где на дне невозможно было дышать от застоявшейся тысячелетней жары... Она тоже играла в свою игру, в свое глиняное «замри-отомри», учиняла метаморфозы в меру своей скудной глиняной фантазии. Все здесь играло в свои игры. И все — в одни ворота...

— Эй, Андрей! — сипло позвал Изя.— Андрюха-а!..

— Чего тебе? — через плечо спросил Андрей и остановился.

Тележка, вихляясь на разболтанных колесиках, по инерции накатила на него и ударила под коленки.

— Смотри!..

Изя стоял шагах в десяти позади и показывал что-то в протянутой руке.

— Что это? — спросил Андрей без особого интереса.

Изя налег на постромки и, не опуская руки, подкатил свою тележку к Андрею. Андрей смотрел, как он идет,— страшный, в бороде по грудь, со вставшей дыбом, серой от пыли шевелюрой, в неимоверно драной куртке, сквозь дыры которой проглядывало волосатое мокрое тело. Бахрома его порток едва прикрывала колени, а правый башмак вопиял о каше, выставляя на свет грязные пальцы со сломанными черными ногтями... Корифей духа. Жрец и апостол вечного храма культуры...

— Расческа! — торжественно провозгласил Изя, приблизившись.

Расческа была из самых дешевых — пластмассовая, со сломанными зубьями,— не расческа даже, а обломок расчески, и у места облома можно было еще разобрать какой-то ГОСТ, но пластмасса была выбелена многими десятилетиями солнечного жара и жестоко изъедена пылевой коростой.

— Ну вот,— сказал Андрей.— А ты все галдишь: никто до нас, никто до нас.

— И совсем я не так галдю,— сказал Изя миролюбиво.— Давай посидим, а?

— Ну, посидим,— согласился Андрей без всякого энтузиазма, и Изя тут же, не снимая постромок, плюхнулся задом прямо на землю и принялся засовывать обломок расчески в нагрудный карман.

Андрей поставил свою тележку поперек ветра, сбросил постромки и уселся, прислонившись спиной и затылком к горячим канистрам. Ветра сразу же стало заметно меньше, но зато теперь голая глина немилосердно жгла ягодицы сквозь ветхую ткань.

— Где же твой резервуар? — сказал он с презрением.— Трепло.

— Иш-ши, иш-ши! — откликнулся Изя.— Должон быть!

— Это еще что такое?

— А это такой анекдот, про купца,— объяснил Изя с охотой.— Пошел один купец в публичный дом...

— Ну, поехали! — сказал Андрей.— Все об ёй? Угомона на тебя нет, Кацман, ей-богу!..

— Я угомона себе позволить не могу,— объявил Изя.— Я должен быть готов при первой же возможности.

— Сдохнем мы тут с тобой,— сказал Андрей.

— Ни боже мой! И не думай, и не мысли!

— Да я и не думаю,— сказал Андрей.

Это была правда. Мысль о неизбежной, конечно, смерти очень редко теперь приходила ему в голову. Черт его знает, в чем тут было дело. То ли острота этого ощущения обреченности уже совсем притупилась, то ли плоть уже настолько высохла и изнемогла, что перестала орать и вопить и только еле-еле сипела где-то на пороге слышимости... А может быть, количество перешло, наконец, в качество, и начало действовать постоянное присутствие Изи с его почти

неестественным равнодушием к смерти, которая все ходила около них кругами, то приближаясь почти вплотную, то вдруг снова удаляясь, но никогда не упуская их из виду... Так или иначе, но вот уже много дней Андрей если и заговаривал о неизбежном конце, то только для того, чтобы снова и снова убедиться в своем растущем равнодушии к нему.

— Что ты говоришь? — переспросил он.

— Я говорю: ты, главное, не бойся здесь подохнуть...

— Да ты мне это уже сто раз говорил. Я уже давным-давно не боюсь, а ты все знай долдонишь свое...

— Ну и хорошо,— мирно сказал Изя. Он вытянул ноги.— Чем бы это мне подошву подвязать? — осведомился он глубокомысленно.— Отвалится ведь в ближайший же кол времени...

— А вон конец от постромок отрежь и подвяжи... Дать тебе ножик?

Некоторое время Изя молча созерцал торчащие пальцы.

— Ладно,— сказал он наконец.— Совсем отвалится — тогда... Может, хлебнем по глотку?

— Ручки зябнуть, ножки зябнуть? — сказал Андрей и сразу вспомнил дядю Юру. Дядя Юра вспоминался теперь с трудом. Он был из другой жизни.

— Не пора ли нам дерябнуть? — с живостью подхватил Изя, искательно заглядывая Андрею в глаза.

— Фигу тебе! — сказал Андрей с удовольствием.— Знаешь, какой водицы хлебни? Которую ты где-то там вычитал. Наврал ведь мне про резервуар, да?

Как он и ожидал, Изя немедленно взбеленился.

— Иди ты на хер! Что я тебе — гувернантка?

— Ну, значит, рукопись твоя наврала...

— Дурак,— сказал Изя с презрением.— Рукописи не врут. Это тебе не книги. Надо только уметь их читать...

— Ну, значит, читать ты не умеешь...

Изя только посмотрел на него и сейчас же завозился, поднимаясь.

— Всякое говно здесь будет...— бормотал он.— А ну вставай! Резервуар хочешь? Тогда нечего рассиживаться... Вставай, говорю!

Ветер, ликуя, хлестнул колючками по ушам и радостно, как веселый пес, запылил кругами над плешивой глиной, а глина с натугой двинулась навстречу и некоторое время вела себя смирно, словно собиралась с силами, а потом начала опрокидываться косогором...

Понять бы все-таки до конца, куда меня несет черт, подумал Андрей. Всю жизнь меня куда-то несет — не сидится мне на месте, дураку... Главное, ведь смысла никакого уже нет. Раньше все-таки всегда бывал какой-то смысл. Ну, пусть даже самый мизерный, пусть даже завиральный, но все-таки, когда меня били, скажем, по морде, я всегда мог сказать себе: это ничего, это — во имя, это — борьба...

...Всему на свете цена — дерьмо, сказал Изя. (Это было в Хрустальном Дворце, они только что поели курятины, жаренной под давлением, и теперь лежали на ярких синтетических матрасиках на краю бассейна с прозрачной подсвеченной водой.) Всему на свете цена — дерьмо, сказал Изя, ковыряя в зубах хорошо отмытым пальцем. Всем этим вашим пахарям, всем этим токарям, всем вашим блюмингам, крекингам, ветвистым пшеницам, лазерам и мазерам. Все это — дерьмо, удобрения. Все это проходит. Либо просто проходит без следа и навсегда, либо проходит потому, что превращается. Все это кажется важным только потому, что большинство считает это важным.

А большинство считает это важным потому, что стремится набить брюхо и усладить свою плоть ценой наименьших усилий. Но если подумать, кому какое дело до большинства? Я лично против него ничего не имею, я сам в известном смысле большинство. Но меня большинство не интересует. История большинства имеет начало и конец. Вначале большинство жрет то, что ему дают. А в конце оно всю свою жизнь занимается проблемой выбора, что бы такое выбрать пожрать этакое? Еще не жратое?.. Ну, до этого пока еще далековато, сказал Андрей. Не так далеко, как ты воображаешь, возразил Изя. А если даже и далеко, то не в этом дело. Важно, что есть начало и есть конец... Все, что имеет начало, имеет и конец, сказал Андрей. Правильно, правильно, сказал Изя нетерпеливо. Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства

имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной... Элитарист ты паршивый, лениво сказал ему Андрей, поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба...

...Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглотал, Изе бы не оставил — пусть резервуар ищет...

Справа, из-за серо-желтых клубов, выглянули какие-то руины — полуобвалившаяся глухая стена, щетинистая от пыльных растений, остатки неуклюжей четвероугольной башни.

— Ну вот, пожалуйста,— сказал Андрей, останавливаясь.— А ты говоришь: никто до нас...

— Да не говорил я этого никогда, балда стоеросовая! — просипел Изя.— Я говорил...

— Слушай, а может, резервуар — здесь?

— Очень может быть,— сказал Изя.

— Пойдем посмотрим.

Они сбросили постромки и побрели к развалинам.

— Хе! — сказал Изя.— Норманнская крепость! Девятый век...

— Воду, воду ищи,— сказал Андрей.

— Иди ты со своей водой! — сказал Изя с сердцем. Глаза его округлились, выкатились, давно забытым жестом он полез под бороду искать свою бородавку.— Норманны...— бормотал он.— Надо же... Интересно, чем их сюда заманили?

Цепляясь лохмотьями за колючки, они преодолели пролом в стене и оказались в затишье. На четырехугольной гладкой площади возвышалось низкое строение с рухнувшей крышей.

— Союз меча и гнева...— бормотал Изя, торопливо устремляясь к дверному проему.— То-то же я ни хрена не понимал, что это за союз... откуда здесь меч какой-то... Так разве сообразишь такое?..

В доме было полное запустение, полное и древнее. Вековое. Провалившиеся стропила перемешались с обломками сгнивших досок — остатков длинного, во всю длину дома,

стола. Все было пыльное, трухлявое, истлевшее, а вдоль стены слева тянулись такие же пыльные трухлявые скамьи. Не переставая бормотать, Изя полез копаться в этой груде тлена, а Андрей выбрался наружу и пошел вокруг дома. Очень скоро он наткнулся на то, что было когда-то резервуаром — огромная круглая яма, выложенная каменными плитами. Сейчас камни эти были сухие, как сама пустыня, но когда-то вода здесь, без сомнения, была: глина на краю ямы, твердая, как цемент, сохранила глубокие отпечатки обутых ног и собачьих лап. Худо дело, подумал Андрей. Былой ужас взял его за сердце и сейчас же отпустил: на противоположном конце ямы звездой распластались по глине широкие лохматые листья «женьшеня». Андрей трусцой побежал к ним вокруг ямы, на бегу нашаривая в кармане нож.

Несколько минут, пыхтя, обливаясь потом, он неистово ковырял ножом и ногтями окаменелую глину, отгребал крошки и снова ковырял, а потом, ухватившись обеими руками за толстое основание корня — холодное, сырое, мощное,— потянул сильно, но осторожно, так, чтобы, упаси бог, не обломилось бы где-нибудь посередине.

Корень был из больших — сантиметров семьдесят длиной, а толщиной в кулак — белый, чистый, лоснящийся. Прижав его к щеке обеими руками, Андрей пошел к Изе, но по дороге не удержался — вгрызся в сочную хрусткую плоть, с наслаждением принялся жевать, стараясь не торопиться, стараясь разжевывать как можно тщательнее, чтобы не потерять зря ни единой капли этой восхитительной мятной горечи, от которой во рту и во всем теле становится свежо и прохладно, как в утреннем лесу, а голова делается ясной, и больше ничего не страшно, и можно сдвинуть горы...

Потом они сидели на пороге дома и радостно вгрызались, и хрустели, и чавкали, весело подмигивая друг другу с набитыми ртами, а ветер разочарованно выл у них над головами и не мог достать до них. Снова они его обманули — не дали поиграть костями на плешивой глине. Теперь снова можно было помериться силами.

Они выпили по два глотка из горячей канистры, впряглись в свои тележки и зашагали дальше. И идти теперь было легко,

Изя не отставал больше, а вышагивал рядом, шлепая полуоторванной подметкой.

— Я там, между прочим, еще один кустик приметил,— сказал Андрей.— Маленький. На обратном пути...

— Зря,— сказал Изя.— Надо было сожрать.

— Мало тебе?

— А чего добру пропадать?

— Не пропадет,— сказал Андрей.— На обратном пути пригодится.

— Да не будет никакого обратного пути!

— Этого, брат, никто не знает,— сказал Андрей.— Ты мне лучше вот что скажи: вода еще будет?

Изя задрал голову и посмотрел на солнце.

— В зените,— сообщил он.— Или почти в зените. Ты как полагаешь, господин астроном?

— Похоже.

— Скоро начнется самое интересное,— сказал Изя.

— Да что тут такого интересного может быть? Ну, перевалим мы через нулевую точку. Ну, пойдем к Антигороду...

— Откуда ты знаешь?

— Об Антигороде?

— Нет. Почему ты думаешь, что мы вот так просто перевалим и пойдем?

— Да ни хрена я об этом не думаю,— сказал Андрей.— Я о воде думаю.

— Господи, твоя воля! В нулевой точке — начало мира, ты понимаешь? А он — о воде!..

Андрей не ответил. Начался подъем на очередной бугор, идти стало трудно, постромки врезались в плечи. Хорошая штука «женьшень», подумал Андрей. Откуда мы о нем знаем?.. Пак рассказывал? Кажется... А, нет! Мымра как-то притащила в лагерь несколько корней и принялась поедать, а солдаты отобрали у нее и сами попробовали. Да. Все они потом ходили гоголем, а Мымру валяли всю ночь до утра... А Пак уже потом рассказывал, что этот «женьшень», как и настоящий женьшень, попадается очень редко. Он растет в тех местах, где когда-то была вода, и очень хорош при упадке сил. Только вот хранить его нельзя, есть надо немедленно, потому что через час или даже меньше корень

вянет и становится чуть ли не ядовитым... Около Павильона было много этого «женьшеня», целый огород... Вот там мы его наелись от пуза, и все язвы у Изи прошли за одну ночь. Хорошо было у Павильона. А Изя все разглагольствовал там насчет здания культуры...

...Все прочее — это только строительные леса у стен храма, говорил он. Все лучшее, что придумало человечество за сто тысяч лет, все главное, что оно поняло и до чего додумалось, идет на этот храм. Через тысячелетья своей истории, воюя, голодая, впадая в рабство и восставая, жря и совокупляясь, несет человечество, само об этом не подозревая, этот храм на мутном гребне своей волны. Случается, оно вдруг замечает на себе этот храм, спохватывается и тогда либо принимается разносить этот храм по кирпичикам, либо судорожно поклоняться ему, либо строить другой храм, по соседству и в поношение, но никогда оно толком не понимает, с чем имеет дело, и, отчаявшись как-то применить храм тем или иным манером, очень скоро отвлекается на свои так называемые насущные нужды: начинает что-нибудь уже тридцать три раза деленное делить заново, кого-нибудь распинать, кого-нибудь превозносить — а храм знай себе все растет и растет из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, и ни разрушить его, ни окончательно унизить невозможно... Самое забавное, говорил Изя, что каждый кирпичик этого храма, каждая вечная книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый архитектурный силуэт несет в себе спрессованный опыт этого самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи о целях и противоречиях его существования; что каким бы он ни казался отдельным от всех сиюминутных интересов этого стада самоедных свиней, он, в то же время и всегда, неотделим от этого стада и немыслим без него... И еще забавно, говорил Изя, что храм этот никто, собственно, не строит сознательно. Его нельзя спланировать заранее на бумаге или в некоем гениальном мозгу, он растет сам собою, безошибочно вбирая в себя все лучшее, что порождает человеческая история... Ты, может быть, думаешь (спрашивал Изя язвительно), что сами непосредственные строители этого храма — не свиньи? Господи, да еще какие свиньи иногда! Вор и подлец Бенвенуто Челлини, беспробудный пьяница

Хемингуэй, педераст Чайковский, шизофреник и черносотенец Достоевский, домушник и висельник Франсуа Вийон... Господи, да порядочные люди среди них скорее редкость! Но они, как коралловые полипы, не ведают, что творят. И все человечество — так же. Поколение за поколением жрут, наслаждаются, хищничают, убивают, дохнут — ан, глядишь,— целый коралловый атолл вырос, да какой прекрасный! Да какой прочный!.. Ну ладно, сказал ему Андрей. Ну — храм. Единственная непреходящая ценность. Ладно. А мы все тогда при чем? Я-то тогда здесь при чем?..

— Стой! — Изя схватил его за постромку.— Подожди. Камни.

Действительно, камни здесь были удобные — округлые, плоские, словно затвердевшие коровьи лепешки.

— Очередной храм возводить? — проговорил Андрей, ухмыляясь.

Он отбросил постромки, шагнул в сторону и подхватил ближайший камень. Камень был именно такой, какой требовался для фундамента,— снизу бугрястый, колючий, сверху — гладкий, обточенный пылью и ветром. Андрей уложил его на сравнительно ровную россыпь мелкого щебня, втер его, двигая плечами, поглубже и попрочнее и пошел за следующим.

Выкладывая фундамент, он испытывал что-то вроде удовлетворения: как-никак, это была все-таки работа, не бессмысленные движения ногами, а дело, совершаемое с определенной целью. Можно было оспаривать эту цель, можно было объявить Изю психопатом и маньяком (каковым он, конечно, и был)... А можно было вот так, камень за камнем, выкладывать по возможности ровную площадку для фундамента.

Изя рядом пыхтел и кряхтел, ворочая самые большие камни, спотыкался, совсем отодрал подошву, а когда фундамент был готов, поскакал к своей тележке и извлек из-под тряпья очередной экземпляр своего «Путеводителя».

Когда в Хрустальном Дворце они окончательно поняли и почти поверили, что больше никогда и никого не встретят по пути на север, Изя засел за пишмашинку и со сверхъестественной быстротой написал «Путеводитель по бредовому

миру». Потом он сам размножил этот «Путеводитель» на диковинном копировальном автомате (в Хрустальном Дворце было до черта самых разнообразных и удивительных автоматов), сам запаял все пятьдесят экземпляров в конверты из странного прозрачного и очень прочного материала под названием «полиэтиленовая пленка» и доверху загрузил свою тележку, едва оставив место для мешка с сухарями... А теперь вот этих конвертов осталось у него всего штук десять, а может быть, и меньше.

— Сколько их у тебя еще осталось? — спросил Андрей.

Изя, пристраивая конверт в центре фундамента, рассеянно ответил:

— А хрен его знает... Мало. Давай камни.

И они снова принялись таскать камни, и скоро над конвертом выросла пирамида метра в полтора высотой. Выглядела она в этой безлюдной пустыне довольно странно, но чтобы она выглядела еще более странно, Изя полил камни ядовито-красной краской из огромного тюбика, который нашел на складе под Башней. Потом он отошел к тележке, уселся и принялся приматывать оторвавшуюся подошву обрывком веревки. При этом он то и дело поглядывал на свою пирамиду, и на лице его сомнение и неуверенность сменялись постепенно удовлетворением и все нарастающей гордостью.

— А?! — сказал он Андрею, совершенно уже раздувшись и напыжась.— Даже полный дурак мимо не пройдет — сообразит, что это не зря...

— Ага,— сказал Андрей, присаживаясь рядом на корточки.— То-то тебе будет много пользы, что дурак эту пирамиду раскопает.

— Ничего, ничего,— проворчал Изя.— Дурак — тоже существо разумное. Сам не поймет — другим расскажет...— Он вдруг оживился.— Возьми, например, мифы! Как известно, дураков — подавляющее большинство, а это значит, что всякому интересному событию свидетелем был, как правило, именно дурак. Эрго: миф есть описание действительного события в восприятии дурака и в обработке поэта. А?!

Андрей не ответил. Он смотрел на пирамиду. Ветер осторожно подбирался к ней, неуверенно пылил вокруг, слабо посвистывал в щелях между камнями, и Андрей вдруг очень

ясно представил себе бесконечные километры, оставшиеся позади, и протянувшийся по этим километрам реденький пунктир таких вот пирамид, отданных ветру и времени... И еще он представил себе, как к этой вот пирамиде подползает на карачках иссушенный, словно мумия, путник, подыхающий от голода и жажды... как он неистово, из последних сил, обламывая ногти, ворочает и расталкивает эти камни, а воспаленное воображение уже рисует ему там, под камнями, тайник с едой и водой... У Андрея вырвался истерический смешок. Вот уж тут бы я обязательно застрелился. Невозможно такое перенести...

— Ты чего? — подозрительно спросил Изя.

— Ничего, ничего, все в порядке,— сказал Андрей и поднялся.

Изя тоже встал и некоторое время критически смотрел на пирамиду.

— Ничего смешного здесь нет! — объявил он. Он потопал ногой, обмотанной лохматой веревкой.— На первое время сойдет,— сообщил он.— Пошли?

— Пошли.

Андрей впрягся в тележку, а Изя все-таки не удержался и еще раз обошел вокруг своей пирамиды. Он явно тоже что-то представлял себе сейчас, какие-то картины, и картины эти льстили его натуре, он украдкой улыбался, потирал руки и шумно пыхтел в бороду.

— Ну и вид у тебя! — сказал Андрей, не удержавшись.— Ну прямо как у жабы. Навалил икры и теперь от гордости опомниться не можешь. Или как у кеты.

— Но-но! — сказал Изя, продевая руки в постромки.— Кета после этого дела подыхает...

— Вот именно,— сказал Андрей.

— Но-но! — грозно сказал Изя, и они двинулись дальше.

Потом Изя вдруг спросил:

— А ты кету едал?

— Навалом,— сказал Андрей.— Под водку знаешь как идет? Или бутерброды к чаю... А что?

— Так...— сказал Изя.— А вот мои дочки ее уже не пробовали.

— Дочки? — удивился Андрей.— У тебя есть дочки?

— Целых три,— сказал Изя.— И ни одна не знает, что такое кета. Я им объяснил, что кета и осетрина — это такие вымершие рыбы. Наподобие ихтиозавров. А они будут то же самое рассказывать своим детям про селедку...

Он говорил еще что-то, но Андрей, пораженный, его не слушал. Вот тебе и на! Три дочки! У Изи! Шесть лет я его знаю, и мне даже в голову не приходило ничего подобного. Как же он тогда решился — сюда? Ай да Изя... Черт знает, какие люди на свете бывают... Нет, ребята, подумал он. Все правильно и все верно: никакой нормальный человек до этой пирамиды не доберется. Нормальный человек, как до Хрустального Дворца дойдет, так там на всю жизнь и останется. Видел я их там — нормальных людей... Хари от задницы не отличишь... Нет, ребята, если сюда кто-то и доберется, так только какой-нибудь Изя-номер-два... И как он раскопает эту пирамиду, как разорвет конверт, так сразу про все и забудет — так и умрет здесь, читаючи... Хотя, с другой стороны, меня ведь сюда занесло?.. Чего для? На Башне было хорошо. В Павильоне — и того лучше. А уж в Хрустальном Дворце... Как в Хрустальном Дворце, я никогда еще не жил и жить больше не буду... Ну хорошо — Изя. У него шило в жопе, ему на одном месте не сидится. А если бы не было со мной Изи — ушел бы я оттуда или остался? Вопрос!..

...Почему мы должны идти вперед? — спрашивал Изя на Плантации, а черномазые девчонки, гладкие, титястые, сидели рядом и смирно слушали нас. Почему мы все-таки и несмотря ни на что должны идти вперед? — разглагольствовал Изя, рассеянно поглаживая ближайшую по атласному колену. А потому, что позади у нас — либо смерть, либо скука, которая тоже есть смерть. Неужели тебе мало этого простого рассуждения? Ведь мы же первые, понимаешь ты это? Ведь ни один человек еще не прошел этого мира из конца в конец: от джунглей и болот — до самого нуля... А может быть, вообще вся эта затея только для того и затеяна, чтобы нашелся такой человек?.. Чтобы прошел он от и до?.. Зачем? — угрюмо спрашивал Андрей. Откуда я знаю — зачем? — возмущался Изя. А зачем строится храм? Ясно, что храм — это единственная видимая цель, а зачем — это некорректный вопрос. У человека должна быть цель, он без

цели не умеет, на то ему и разум дан. Если цели у него нет, он ее придумывает... Вот и ты придумал, сказал Андрей, непременно тебе нужно пройти от и до. Подумаешь — цель!.. Я ее не придумывал, сказал Изя, она у меня одна-единственная. Мне выбирать не из чего. Либо цель, либо бесцельность — вот как у нас с тобой дела обстоят... А чего же ты мне голову забиваешь своим храмом, сказал Андрей, храм-то твой здесь при чем?.. Очень даже при чем, с удовольствием, словно только того и ждал, парировал Изя, храм, дорогой ты мой Андрюшечка, это не только вечные книги, не только вечная музыка. Этак у нас получится, что храм начали строить только после Гутенберга или, как вас учили, после Ивана Федорова. Нет, голубчик, храм строится еще и из поступков. Если угодно, храм поступками цементируется, держится ими, стоит на них. С поступков все началось. Сначала поступок, потом — легенда, а уже только потом — все остальное. Натурально, имеется в виду поступок необыкновенный, не лезущий в рамки, необъяснимый, если угодно. Вот ведь с чего храм-то начинался — с нетривиального поступка!.. С героического, короче говоря, заметил Андрей, презрительно усмехаясь. Ну, пусть так, пусть с героического, снисходительно согласился Изя. То есть ты у нас получаешься герой, сказал Андрей, в герои, значит, рвешься. Синдбад-Мореход и могучий Улисс... А ты дурачок, сказал Изя. Ласково сказал, без всякого намерения оскорбить. Уверяю тебя, дружок, что Улисс не рвался в герои. Он просто БЫЛ героем — натура у него была такая, не мог он иначе. Ты вот не можешь говно есть — тошнит, а ему тошно было сидеть царьком в занюханной своей Итаке. Я ведь вижу, ты меня жалеешь — маньяк, мол, психованный... Вижу, вижу. А тебе жалеть меня не надо. Тебе завидовать мне надо. Потому что я знаю совершенно точно: что храм строится, что ничего серьезного, кроме этого, в истории не происходит, что в жизни у меня только одна задача — храм этот оберегать и богатства его приумножать. Я, конечно, не Гомер и не Пушкин — кирпич в стену мне не заложить. Но я — Кацман! И храм этот — во мне, а значит, и я — часть храма, значит, с моим осознанием себя храм увеличился еще на одну человеческую душу. И это уже прекрасно. Пусть я даже ни

крошки не вложу в стену... Хотя я, конечно, постараюсь вложить, уж будь уверен. Это будет наверняка очень маленькая крупинка, хуже того — крупинка эта со временем, может быть, просто отвалится, не пригодится для храма, но в любом случае я знаю: храм во мне был и был крепок и мною тоже... Ничего я этого не понимаю, сказал Андрей. Путано излагаешь. Религия какая-то: храм, дух... Ну еще бы, сказал Изя, раз это не бутылка водки и не полуторный матрас, значит, это обязательно религия. Что ты ерепенишься? Ты же сам мне все уши прогундел, что потерял вот почву под ногами, что висишь в безвоздушном пространстве... Правильно, висишь. Так и должно было с тобой случиться. Со всяким мало-мальски мыслящим человеком это, в конце концов, случается... Так вот я и даю тебе почву. Самую твердую, какая только может быть. Хочешь — становись обеими ногами, не хочешь — иди к херам! Но уж тогда не гунди!.. Ты мне не почву подсовываешь, сказал Андрей, ты мне облако какое-то бесформенное подсовываешь! Ну ладно. Ну, пусть я все понял про твой храм. Только мне-то что от этого? В строители твоего храма я не гожусь — тоже, прямо скажем, не Гомер... Но у тебя-то храм хоть в душе есть, ты без него не можешь — я же вижу, как ты по миру бегаешь, что твой молодой щенок, ко всему жадно принюхиваешься, что ни попадется — облизываешь или пробуешь на зуб! Я вот вижу, как ты читаешь. Ты можешь двадцать четыре часа в сутки читать... и, между прочим, все при этом запоминаешь... А я ничего этого не могу. Читать — люблю, но в меру все-таки. Музыку слушать — пожалуйста. Очень люблю слушать музыку. Но тоже не двадцать же четыре часа! И память у меня самая обыкновенная — не могу я ее обогатить всеми сокровищами, которые накопило человечество... Даже если бы я только этим и занимался — все равно не могу. В одно ухо у меня залетает, из другого выскакивает. Так что мне теперь от твоего храма?.. Ну правильно, ну верно, сказал Изя. Я же не спорю. Храм — это же не всякому дано... Я же не спорю, что это достояние меньшинства, дело натуры человеческой... Но ты послушай. Я тебе сейчас расскажу, как мне это представляется. У храма есть (Изя принялся загибать пальцы) строители. Это те, кто его возводит. Затем, скажем, м-м-м...

тьфу, черт, слово не подберу, лезет все религиозная терминология... Ну ладно, пускай — жрецы. Это те, кто носит его в себе. Те, через души которых он растет и в душах которых существует... И есть потребители — те, кто, так сказать, вкушает от него... Так вот Пушкин — это строитель. Я — это жрец. А ты — потребитель... И не кривись, дурак! Это же очень здорово! Ведь храм без потребителя был бы вообще лишен человеческого смысла. Ты, балда, подумай, как тебе повезло! Ведь это же нужны годы и годы специальной обработки, промывания мозгов, хитроумнейшие системы обмана, чтобы подвигнуть тебя, потребителя, на разрушение храма... А уж такого, каким ты стал теперь, и вообще нельзя на такое дело толкнуть, разве что под угрозой смерти!.. Ты подумай, сундук ты с клопами, ведь такие, как ты,— это же тоже малейшее меньшинство! Большинству ведь только мигни, разреши только — с гиком пойдут крушить ломами, факелами пойдут жечь... было уже такое, неоднократно было! И будет, наверное, еще не раз... А ты жалуешься! Да ведь если вообще можно ставить вопрос: для чего храм? — ответ будет один-единственный: для тебя!..

— Андрюх! — позвал Изя знакомым противным голосом.— А может, хватанем?

Они были на самой верхушке здоровенного бугра. Слева, где обрыв, все было затянуто сплошной мутной пеленой бешено несущейся пыли, а справа почему-то прояснело, и видна была Желтая Стена — не ровная и гладкая, как в пределах Города, а вся в могучих складках и морщинах, словно кора чудовищного дерева. Внизу впереди начиналось ровное, как стол, белое каменное поле — не щебенка, а цельный камень, сплошной монолит — и тянулось это поле, насколько хватал глаз, и покачивались над ним в полукилометре от бугра два тощих смерча — один желтый, другой черный...

— Это что-то новенькое,— сказал Андрей, прищурившись.— Смотри-ка — сплошной камень...

— А? Да, пожалуй... Слушай, давай по стаканчику — четыре часа уже...

— Давай,— согласился Андрей.— Только спустимся сначала.

Они спустились с бугра, освободились от постромок, и Андрей потащил из своей коляски раскаленную канистру. Канистра зацепилась за ремень автомата, потом за мешок с остатками сухарной крошки, но Андрей все-таки выволок ее и, зажав между колен, откупорил. Изя приплясывал рядом, держа наготове две пластмассовые кружки.

— Соль достань,— сказал Андрей.

Изя сразу перестал плясать.

— Да брось ты...— заныл он.— Зачем? Давай так дернем...

— Без соли не получишь,— сказал Андрей утомленно.

— Тогда давай так,— сказал Изя, осененный новой мыслью. Он уже поставил кружки на камень и рылся в своей коляске.— Тогда давай я свою соль просто так съем, а потом водой запью.

— Господи,— сказал пораженный Андрей.— Ну, ладно, давай так.

Он разлил по половине кружки горячей, пахнущей железом воды, принял у Изи пакетик с солью и сказал:

— Давай язык.

Он высыпал щепотку соли на толстый обложенный Изин язык и смотрел, как Изя морщится, давится, жадно протягивая руку к кружке, а потом подсолил свою воду и стал ее пить маленькими скупыми глотками, не испытывая никакого удовольствия, как лекарство.

— Хорошо! — сказал Изя, крякнув.— Только мало. А?

Андрей кивнул. Выпитая вода сразу же выступила пóтом, и во рту осталось все, как было, без малейшего облегчения. Он приподнял канистру, прикидывая. На пару дней, наверное, еще хватит, а потом... А потом еще что-нибудь найдется, сказал он себе со злостью. Эксперимент есть Эксперимент. Жить не дадут, но и подохнуть — тоже... Он бросил взгляд на белое, пышущее жаром плато, расстилавшееся впереди, покусал сухую губу и принялся устанавливать канистру обратно в коляску. Изя, присев, опять перебинтовывал свою подошву.

— А ты знаешь,— пропыхтел он,— и в самом деле какое-то странное место... Что-то я такого даже не припомню...— Он поглядел на солнце, прикрывшись ладонью.— В

зените,— сказал он.— Ей-богу, в зените. Что-то будет... Да выброси ты к черту эту железяку, что ты с ней возишься?!

Андрей аккуратно пристраивал автомат около канистры.

— Без этой железяки мы бы за Павильоном костей бы с тобой не собрали,— напомнил он.

— Так то — за Павильоном! — возразил Изя.— С тех пор мы с тобой уже пятую неделю идем, и даже мух не видно...

— Ладно,— сказал Андрей.— Не тебе тащить... Пошли.

Каменное плато оказалось на удивление гладким. Коляски катились по нему как по асфальту — только колесики повизгивали. Но жара стала еще страшнее. Белый камень швырял солнце обратно, и глазам теперь не было никакого спасения. Пятки жгло, будто башмаков не было вовсе, а вот пыли, как это ни странно, нисколько не уменьшилось. Если уж мы здесь не загнемся, думал Андрей, тогда — жить нам вечно... Он шел сильно сощурившись, а потом закрыл глаза совсем. Стало немного легче. Так вот я и пойду, подумал он. А глаза буду открывать через каждые, скажем, двадцать шагов. Или через тридцать... Гляну — и дальше...

Из очень похожего белого камня был выложен подвал Башни. Только там было прохладно и полутемно, а вдоль стен стояли во множестве ящики толстого картона, набитые почему-то разным скобяным товаром. Здесь были гвозди, шурупы, болты любых размеров, банки с клеями и красками, бутылки с разноцветными лаками, столярный и слесарный инструмент, завернутые в промасленную бумагу шарикоподшипники... Съестного не нашлось ничего, но в углу из обрезка ржавой трубы, торчащего в стене, текла и уходила под землю тонкая струйка холодной невероятно вкусной воды...

...Все в твоей системе хорошо,— сказал Андрей, в двадцатый раз подставляя кружку под струю.— Одно мне не нравится. Не люблю я, когда людей делят на важных и неважных. Неправильно это. Гнусно. Стоит храм, а вокруг него быдло бессмысленно кишит. «Человек есть душонка, обремененная трупом!» Пусть даже оно на самом деле так и есть. Все равно это неправильно. Менять это надо к чертовой матери...

...А я разве говорю, что не надо? — вскинулся Изя.— Конечно, хорошо бы было этот порядочек переменить. Только как? До сих пор все попытки изменить это положение, сделать человеческое поле ровным, всех поставить на один уровень, чтобы было все правильно и справедливо, все эти попытки кончались уничтожением храма, чтобы не возвышался, да отрубанием торчащих над общим уровнем голов. И все. И над выровненным полем быстро-быстро, как раковая опухоль, начинала расти зловонная пирамида новой политической элиты, еще более омерзительной, чем старая... А других путей, знаешь ли, пока не придумано. Конечно, все эти эксцессы хода истории не меняли и храма полностью уничтожить не могли, но светлых голов было порублено предостаточно.

...Знаю,— сказал Андрей.— Все равно. Все равно мерзко. Всякая элита — это гнусно...

...Ну, извини! — возразил Изя.— Вот если бы ты сказал: «всякая элита, владеющая судьбами и жизнями других людей,— это гнусно»,— вот тут я бы с тобой согласился. А элита в себе, элита для себя самой — кому она мешает? Она раздражает — до бешенства, до неистовства! — это другое дело, но ведь раздражать — это одна из ее функций... А полное равенство — это же болото, застой. Спасибо надо сказать матушке-природе, что такого быть не может — полного равенства... Ты меня пойми, Андрей, я ведь не предлагаю систему переустройства мира. Я такой системы не знаю, да и не верю, что она существует. Слишком много всяких систем было испробовано, а все осталось в общем по-прежнему... Я предлагаю всего только цель существования... тьфу, да и не предлагаю даже, запутал ты меня. Я открыл в себе и для себя эту цель — цель моего существования, понимаешь? Моего и мне подобных... Я ведь и говорю-то об этом только с тобой и только теперь, потому что мне жалко стало тебя — вижу, что созрел человек, сжег все, чему поклонялся, а чему теперь поклоняться — не знает. А ты ведь без поклонения не можешь, ты это с молоком матери всосал — необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь. Тебе же навсегда вдолбили в голову, что ежели нет идеи, за которую стоит умереть, то

тогда и жить не стоит вовсе. А ведь такие как ты, добравшись до окончательного понимания, на страшные вещи способны. Либо он пустит себе пулю в лоб, либо подлецом сверхъестественным заделается — убежденным подлецом, принципиальным, бескорыстным подлецом, понимаешь?.. Либо и того хуже: начнет мстить миру за то, что мир таков, каков он есть в действительности, а не согласуется с каким-нибудь там предначертанным идеалом... А идея храма, между прочим, хороша еще и тем, что умирать за нее просто-таки противопоказано. За нее жить надо. Каждый день жить, изо всех сил и на всю катушку...

...Да, наверное,— сказал Андрей.— Наверное, все это так и есть. И все-таки эта идея еще не моя!..

Андрей остановился и крепко взял Изю за рукав. Изя тотчас же открыл глаза и спросил испуганно:

— Что? Что такое?

— Помолчи,— сказал Андрей сквозь зубы.

Что-то там было впереди. Что-то двигалось — не крутилось столбом, не стелилось над самым камнем, а двигалось сквозь все это. Навстречу.

— Люди,— сказал Изя с восторгом.— Слушай, Андрюха, люди!

— Тихо, скотина,— шепотом сказал Андрей.

Он и сам уже понял, что это люди. Или человек... Нет, кажется, двое. Стоят. Наверное, тоже заметили... Опять ни черта не видно за проклятой пылью.

— Ну вот! — сказал Изя торжествующим шепотом.— А ты все стонал — подохнем...

Андрей осторожно сбросил лямки и попятился к своей коляске, не сводя глаз с неразборчивых теней впереди. Ч-черт, сколько их там, все-таки? И сколько до них отсюда? Метров сто, что ли? Или меньше?.. Он ощупью нашарил в коляске автомат, оттянул затвор и сказал Изе:

— Сдвинь тележки, ложись за них. Прикроешь меня, если что...

Он сунул Изе автомат и, не оборачиваясь, медленно пошел вперед, положив руку на кобуру. Видно было отвратительно. Пристрелит он меня, подумал он об Изе. Прямо в затылок засадит...

Теперь можно было различить, что один из тех тоже идет навстречу — смутный долговязый силуэт в крутящейся пыли. Есть у него оружие или нет? Вот тебе и Антигород. Кто бы мог подумать?.. Ох, не нравится мне, как он руку свою держит!.. Андрей осторожно расстегнул кобуру и взялся за рубчатую рукоятку. Большой палец сам лег на предохранитель. Ничего, все обойдется. Должно обойтись. Главное — не делать резких движений...

Он потянул пистолет из кобуры. Пистолет зацепился. Стало страшно. Он дернул сильнее, потом еще сильнее, потом изо всех сил. Он ясно увидел резкое движение того, что шел ему навстречу (рослый, ободранный, изможденный, до глаз заросший нечистой бородой)... Глупо, подумал он, нажимая спусковой крючок. Был выстрел, была вспышка встречного выстрела, был — кажется — крик Изи... И был удар в грудь, после которого разом погасло солнце...

— Ну, вот, Андрей,— произнес с некоторой торжественностью голос Наставника.— Первый круг вами пройден.

Лампа под зеленым стеклянным абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая «Ленинградская правда» с большой передовой под названием: «Любовь ленинградцев к товарищу Сталину безгранична». Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе-колодце за окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Через раскрытую форточку тянуло влажным оттепельным воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас,— гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего. Вернее — отдельно от будущего...

Андрей бесцельно разгладил газету и сказал:

— Первый? А почему — первый?

— Потому что их еще много впереди,— произнес голос Наставника.

Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а где-то

далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе горела Вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова, и совершенно — еще более! — невозможно было остаться среди всего этого. Теперь. После всего.

— Изя! Изя! — пронзительно прокричал женский голос в колодце.— Изя, иди уже ужинать!.. Дети, вы не видели Изю?

И детские голоса внизу закричали:

— Иська! Кацман! Иди, тебя матка зовет!..

Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленницами дров.

1970—1972, 1975

СОДЕРЖАНИЕ

ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ 5

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ 207

СТРУГАЦКИЙ А.Н., СТРУГАЦКИЙ Б.Н.

С 87 **Гадкие лебеди:** Романы./ Худ. А.Карапетян.— СПб.: Издательство «Terra Fantastica» компании «Корвус», 1993.— 608 с. с илл.— (Серия «Русский роман»).

Два знаменитых романа, являющиеся краеугольными камнями современной русской литературы. Два чудовищных мира, созданных для переплавки человеческих душ в надежде на появление нового поколения, знающего истину.

ISBN 5-7921-0019-5 ББК 84

Аркадий Натанович **СТРУГАЦКИЙ**
Борис Натанович **СТРУГАЦКИЙ**
ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ

Менеджеры: А.А.Кривцов, Н.Ю.Ютанов
Редактор Л.И.Филиппов
Художественный редактор А.Е.Нечаев
Технический редактор А.Н.Соколов
Корректоры: К.В.Вальская, Н.Б.Орлова, Л.И.Филиппов

Сдано в набор 10.11.92. Подписано к печати 07.05.93. Формат 84×108 1/32. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 31.9. Тираж 50 000 экз. Зак. 331. Цена свободная.

Издательство «Terra Fantastica» компании «Корвус»:
190068, С.-Петербург, Вознесенский пр., 36-4

Отпечатано с оригинал-макета в ГПП «Печатный Двор». 197110, С.-Петербург, Чкаловский пр., 15

РУССКИЙ

РОМАН

ПЛАЧУ ДЕВЯТЫЙ

Легендарные романы классиков литературы Аркадия и Бориса Стругацких «Гадкие лебеди» (1966 г.) и «Град обреченный» (1970–1975 гг.), долгое время известные только по рукописям, с необычными для современной литературы яркостью и талантом повествуют о двух городах: одном, стоящем у гигантской Стены и являющимся полигоном для многолетнего трагического Эксперимента, и другом, где загадочные "мокрецы", похожие на людей, появляются из Дождя, чтобы сменить собой человечество... Фантастические реалии, созданные Аркадием и Борисом Стругацкими, уже завоевали поклонников во всех странах мира, книги этих писателей издаются миллионными тиражами, а романы «Гадкие лебеди» и «Град обреченный» представляют собой вершинные достижения в творчестве знаменитых фантастов.

РУССКИЙ РОМАН

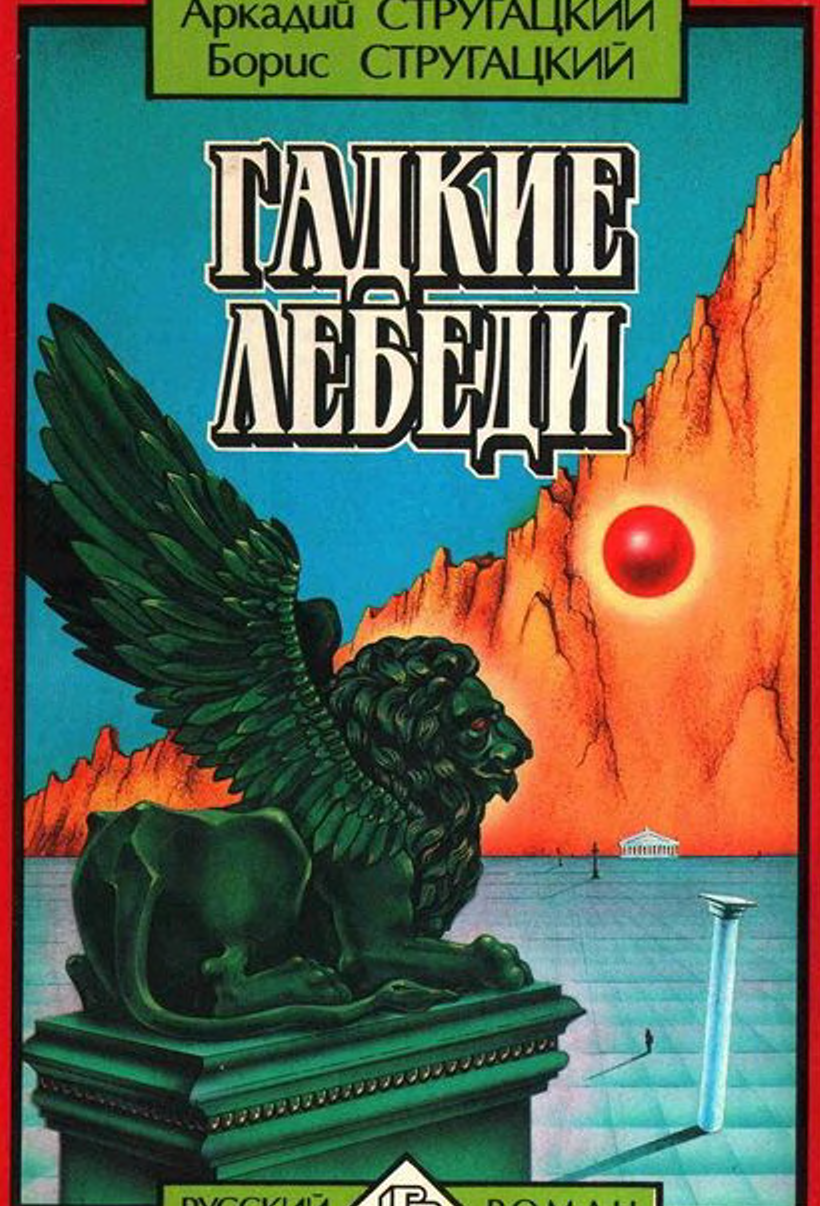
РУССКИЙ РОМАН

А. СТРУГАЦКИЙ
Б. СТРУГАЦКИЙ

ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ

Аркадий СТРУГАЦКИЙ
Борис СТРУГАЦКИЙ

ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ



РУССКИЙ РОМАН